А. П. ЧЕХОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





А. П. Чехов.
Фотография 1900-х годов.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

А. П. ЧЕХОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ББК 84Р1
Ч-56

Вступительная статья
А. М. ТУРКОВА

Составление, подготовка текста и комментарии
Н. И. ГИТОВИЧ

Рецензент
А. Л. ГРИШУНИН

Оформление художника
В. МАКСИНА

Ч $\frac{4702010100-197}{028(01)-86}$ 19-86

«НЕУЛОВИМЫЙ» ЧЕХОВ

Его знало великое множество людей — родственники и приятели по гимназии, по Московскому университету, по редакциям юмористических журналов, где начал свой путь Антоша Чехонте, совсем малоизвестные и знаменитые литераторы, актеры, художники, а также несчетное число тех, кто соприкасался с Антоном Павловичем по делам и обстоятельствам самого различного рода.

И многим, писавшим о нем, казалось, что они отлично знают Чехова, чуть ли не запанибрата с ним. Перо иных мемуаристов оказывалось сродни палке Ионыча, которой тот, осматривая назначенный к продаже дом, бесцеремонно тыкал во все двери, приговаривая: «Это кабинет? Это спальня? А тут что?»

А вот В. А. Серов, проницательнейший портретист, сказал, что Чехов «неуловим», и считал свой набросок с него неудачным.

«Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное лицо, какое только мне приходилось встречать в жизни», — писал А. И. Куприн, тоже убежденно прибавляя, что чеховское лицо «никогда не могла уловить фотография и... к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников».

С этим не во всем можно согласиться. Художникам с Чеховым и впрямь не повезло. Сам он весьма юмористически отзывался об известном бразовском портрете, что он там словно бы хрену нанюхался. Но среди снимков есть замечательные, которыми нельзя налюбоваться (и которые подтверждают восторженные слова Константина Коровина: «Он был красавец...»).

Нечто подобное можно сказать и о многочисленных мемуарных зарисовках и свидетельствах — с той существенной разницей, что тут мощь и живая игра чеховской натуры не просто ощутимы, но и запечатлены в реальной конкретности его поступков, высказываний, отношения к событиям и людям.

Посему читатель не должен удивляться, если, начав вроде бы «за упокой» — со слов о «неуловимости», мы станем далее нередко возглашать «во здравие» многих мемуарных свидетельств, сохранивших для будущих поколений драгоценные черты чеховского облика.

Александр Блок утверждал, что произведения каждого писателя — это «только внешние результаты подземного роста» его души [1]. Слова эти часто вспоминаешь, думая о чеховской биографии, о его творческом пути.

Сам Антон Павлович был до чрезвычайности скуп на какие-либо признания этого рода. Он даже шутливо каялся в том, что страдает своего рода «автобиографофобией».

Дополнительным доказательством этому служит следующий эпизод. После смерти И. И. Левитана С. П. Дягилев в течение нескольких лет упрашивал Чехова написать для журнала «Мир искусства» воспоминания об этом художнике, прекрасно знакомом Антону Павловичу с юных лет. Чехов пообещал, но так ничего и не сделал. Конечно, он был уже тяжко болен. Известную роль могло тут сыграть и его уклончивое отношение к попыткам Дягилева вообще «завербовать» Чехова в сотрудники и даже в редакторы своего журнала. Однако едва ли не главной причиной, почему аккуратнейший Антон Павлович не исполнил своего обещания, вероятней, было то, что, говоря о покойном, Чехову вряд ли бы удалось избежать упоминаний о его однокашнике, своем брате Николае и обо всем чеховском семействе и себе самом.

В одном из писем к Вл. И. Немировичу-Данченко по поводу его прозаических произведений Чехов заметил: «...Вы становитесь все лучше и лучше, и точно каждый год к Вашему таланту прибавляется по этажу».

Пользуясь этим удачным образом, можно сказать, что «закладка фундамента» чеховского характера и таланта осталась волей обстоятельств как бы вне поля зрения писавших о нем.

Отнюдь не только соображения объема объясняют отсутствие в настоящем издании известных воспоминаний Александра Чехова о таганрогском детстве и куда менее известных заметок на эту же тему, написанных рано умершим Николаем. В тех и других есть элемент «сочинительства» или, уж во всяком случае, стилизации, навеянных у Николая Павловича веселыми импровизациями Антоши Чехонте, в «паре» с которым он нередко выступал в журналах 80-х годов, а у Александра — «набитостью» руки на расхожей газетной беллетристике и, быть может, бессознательным желанием использовать сочувственный и слегка сентиментальный интерес читателей начала века к не лишенному горечи детству недавно скончавшегося писателя («приходилось с грустью и со слезами отказываться от всего того, что свойственно и даже настоятельно необходимо детскому возрасту, и проводить время в лавке, которая ему ненавистна»).

Если в других, часто совсем беглых и эпизодических, также не вместившихся в рамки настоящей книги, рассказах современников о Чехове-гимназисте внимание почти неизменно акцентируется на его юморе,

---

[1] Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 369-370.

веселости, любительских актерских выступлениях [1], то в воспоминаниях старшего брата все эти солнечные блики просыпающегося таланта «заживо» погребены под густыми мрачными красками, слегка напоминающими о подчеркнуто-обличительных полотнах поздних, уже заметно окостенелых в своих приемах передвижников [2].

В известной мере перекликается с подобной трактовкой истолкование многочисленными биографами писателя его знаменитого письма к А. С. Суворину. Антон Павлович советовал своему корреспонденту: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...» Предлагаемый сюжет столько раз «пересекается» с реальной биографией самого пишущего, что возникает искушение полностью отождествить их. Однако все-таки маловероятно, чтобы убежденный «автобиографофоб» даже в пору наибольшей близости с Сувориным столь откровенно и достаточно простодушно предлагал в качестве литературного материала свои глубоко личные переживания.

Один из решающих периодов своей жизни — последние гимназические годы в Таганроге — Чехов провел в одиночестве, вдали от постепенно перебравшейся в Москву семьи. И при своем появлении в университетском, а позже — литераторском, кругу, откуда исходят первые обстоятельные воспоминания о нем «сторонних» наблюдателей, он предстал перед своими новыми знакомыми, да и отчасти перед домашними, уже во многом определившимся человеком — с огромной выдержкой, необычайной силой воли и целомудренной скрытностью, «неуловимостью».

---

[1] Исключение составляет, пожалуй, лишь свидетельство И. Я. Шамковича о гневной реакции юного Чехова на пощечину, которую один гимназист дал другому «по идейным соображениям» (*ЦГАЛИ*). При всей внешней мимолетности этого эпизода он явственно перекликается с позднейшим уничтожающе-брезгливым отзывом Антона Павловича о способности брата Александра дать пощечину «кому бы то ни было и где бы то ни было», а также с едкой репликой Шабельского в пьесе «Иванов» о Львове: «Того и гляди, что из чувства долга по рылу хватит...»

[2] Между тем И. А. Бунин вспоминал, например, что, рассказав о «проклятом холоде», царившем в отцовской лавке, Антон Павлович прибавлял: «А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги». Это сохранившееся в памяти ощущение физического удовольствия от прикосновения к обычным вещам наводит на мысль, что в глазах мальчика сидение в лавке не всегда было лишь постылой обязанностью. Тут, вероятно, существовал и элемент детской «игры в торговлю».

Даже многие годы спустя, в скупом наброске своей биографии, Антон Павлович умолчал о мотивах, по которым он остановился на профессии врача: «...выбрал медицинский факультет не помню по каким соображениям...»

Это невольно напоминает разговор, происходящий в пьесе «Три сестры»:

«Маша. ...Вы любили мою мать?

Чебутыкин. Очень.

Маша. А она вас?

Чебутыкин (*после паузы*). Этого я уже не помню».

Ясно, что старый доктор целомудренно оберегает свою тайну — может быть, самое дорогое, что было у него в жизни. И так же, как невозможно принять его слова всерьез, трудно поверить в «забывчивость» Чехова насчет столь важного шага.

Чехову было уже восемнадцать лет, когда умер Некрасов и над его могилой звучали благодарные и восторженные слова. Избежал ли таганрогский гимназист общего увлечения?

«Я очень люблю Некрасова, уважаю его, ставлю высоко...» — в своей обычной сдержанной манере отозвался Чехов на газетную анкету в 1902 году. Но неизмеримо примечательнее одно вроде бы совсем беглое упоминание в его коротеньком поздравительном письме В. С. Миролюбову (30 декабря 1902 года):

«В «Новом времени» от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове. Давно, давно уж не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного».

Это написано в пору резко отрицательного отношения Чехова к суворинской газете, а к самому В. В. Розанову, в ней сотрудничавшему, он присматривался с недобрым любопытством [1].

Несомненно, для того, чтобы столь сильное предубеждение поколебалось, статья должна была чем-то сильно тронуть Антона Павловича. И уже хотя бы из-за этого ее стоит внимательно прочесть. «Он, — сказано в ней о Некрасове, — был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевающим, а любовно шедшим впереди. Идет толпа и поет; но впереди ее, в кусточках, в перелеске (представим толпу, идущую в лесу) идет один певец, высокий тенор, и заливается — поет одну песню со всеми. И ни к кому он не подлаживается, и никто к нему не подлаживается, а выходит ладно».

Уже эти патетические строки, напечатанные в том самом «Новом времени», где и Некрасов и все освободительное движение шестидесятых годов не раз подвергались всевозможным язвительным нападкам, действительно, были крайне неожиданны и не могли не привлечь внимания.

---

[1] «Что у Вас, у хорошего, прямого человека, что у Вас общего с Розановым...» — писал он тому же В. С. Миролюбову годом ранее, 17 декабря 1901 года.

В статье Розанова как бы зазвучали «забытые слова» шестидесятничества «Легко, свободно, невыразимо могуче Некрасов, как бы захватив пригоршнями две волны, деревенско-мужицкую и школьно-интеллигентную, плеснул их друг на друга, к взаимному оплодотворению, к живому союзу в любви и помощи. Никто столько как он не сделал, чтобы сельская учительница стала другом деревни, ее же другом стал сельский врач: мы говорим, конечно, об идеале, о мечте, которая, однако, влечет за собою огромную действительность...» И, процитировав некрасовское стихотворение «Сеятелям» с его знаменитым финалом («Сейте разумное, доброе, вечное...»), автор статьи заключал: «Это зовет как знамя — воинов; это годно как флаг развиться над русскою школою» [1].

Можно представить, с каким особым чувством читал все это Чехов, недавний сельский врач и строитель нескольких школ в Серпуховском уезде! И стоит задуматься: не проясняет ли реакция писателя на эту статью некоторые побудительные мотивы выбора профессии помимо обычно упоминаемого биографами наивного пожелания матери: «...и непременно по медицинскому факультету иди, уважь меня, самое лучшее занятие...»[2]

Вспоминая о своем решении, Чехов писал, что «в выборе потом не раскаялся». Занятия медициной, по его словам, не только обогатили его знаниями, знакомством с научным методом, но и значительно раздвинули область его наблюдений.

Если уже таганрогская жизнь (и в том числе часы, проведенные в отцовской лавке!) дала ему немалый запас материала, то профессия врача и разъезды, с ней связанные, сталкивали его с самыми разными слоями тогдашнего общества. Позднейшие, запомнившиеся более молодым писателям настоятельные советы Антона Павловича почаще «ездить непременно третьим классом» (в тех самых, впоследствии увековеченных Александром Блоком, зеленых вагонах, где «плакали и пели»), опирались на собственный опыт, хотя, конечно же, далеко не исчерпывали и не «выдавали» всех чеховских средств познания действительности.

И когда читаешь известные воспоминания В. Г. Короленко о веселой готовности молодого Чехова писать о «первой попавшейся на глаза вещи» — хотя бы пепельнице, нельзя не почувствовать, что эта уверенность («Хотите — завтра будет рассказ...») порождается сознанием богатства уже накопленного всевозможного материала, как бы способного немедленно «кристаллизоваться» в литературную форму при малейшем «соприкосновении» с каким-либо предметом или сюжетом.

Кладовые чеховской памяти, чеховского опыта были подобны той сказочно плодородной почве, о которой он юмористически заметил в своих записных книжках, что ткни в нее оглоблю — и вырастет тарантас.

---

[1] Розанов В. В. 25-летие кончины Некрасова (27 декабря 1877 — 27 декабря 1902). Новое время, 1902, № 9630, 24 декабря.
[2] *Летопись,* с. 36.

Если обстоятельства, при которых совершился его «законный брак» (известно шутливое изречение Чехова, что медицина — это его законная жена, а литература — любовница), писатель вообще утаил, то «роман» с последней очень часто преподносился им как в переписке, так и в разговорах в утрированно-легкомысленном виде. «По его словам,— пишет Короленко,— он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частию как на наслаждение и забаву, частию же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи». А Суворин в своей некрологической статье о Чехове с умилением рассказывал, будто первый рассказ Антон Павлович вообще написал всего лишь ради того, чтобы раздобыть денег на именинный пирог для матери.

И совершенно не исключено, что эта легенда лукаво сочинена самим Чеховым, чтобы не только лишить свое вступление в литературу малейшего эффектного ореола, придав ему крайне случайный характер, но и оставить в тени все свои предшествующие этому «пробы пера», о которых известно хотя бы из его переписки с братом Александром.

Многие авторы воспоминаний отлично передают атмосферу, которая создавалась вокруг Чехова, его заразительное обаяние, нескончаемые выдумки, всевозможные шутливые импровизации. Читать эти страницы — наслаждение. В них оживает очаровательная фигура молодого писателя, его доброжелательность, неподдельное упоение жизнью, начинающей хотя бы немного улыбаться ему после труднейших таганрогских и первых московских лет, одарять его радостями литературных успехов, дружеских привязанностей, искреннего поклонения его таланту и человеческим качествам. В мемуарах подчас говорится о «пленении», «опьянении» Чеховым, которое испытывали пишущие.

Полнейшее благополучие царит и в отзывах о «милой Чехии», как окрестил семью своего молодого друга добрый и простодушный поэт А. Н. Плещеев.

Темные краски Александра Павловича в мгновенье ока сменяются сияющей акварелью. Мемуаристы наперебой говорят об «атмосфере сплоченной, дружной семьи... радостной идиллии» (В. Г. Короленко), о «чудесных стариках» — «милом» Павле Егоровиче и «кроткой» Евгении Яковлевне (Т. Л. Щепкина-Куперник).

Тот «этаж» чеховской жизни, когда юный студент и начинающий писатель перенял у отца и возложил на свои, далеко еще не окрепшие плечи все тяготы содержания немалого семейства, прочно укрыт от постороннего внимания, а если и упоминается мемуаристами, то исключительно в «диккенсовских» тонах: «С умилением она рассказывала мне, — пишет Т. Л. Щепкина-Куперник о матери писателя, — о той, для нее незабвенной минуте, когда Антоша — тогда еще совсем молоденький студентик — пришел и сказал ей:

— Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу!»

Между тем, надо полагать, что процесс «передачи власти» в семье вряд ли мог совершаться абсолютно гладко. Да и в дальнейшем не обходи-

лось без рецидивов и осложнений. Даже десять лет спустя в письме к И. Л. Щеглову (18 апреля 1888 года) Чехов говорит о «родственном клобке», к которому «привык... как к шишке на лбу» (определение далеко не идиллического толка!). И почти одновременно пишет Александру Павловичу еще резче — о «скоплении взрослых людей, живущих под одной крышей только потому, что в силу каких-то непонятных обстоятельств нельзя разойтись», и о том, что его «разговоры... замучили».

Все подобные свидетельства самого Чехова, Александра Павловича и редкие обмолвки некоторых мемуаристов (например, М. Е. Плотова — о переменах в стиле мелиховской жизни во время отлучек Антона Павловича) необходимо учитывать. И, конечно, вовсе не затем, чтобы «очернить» кого-либо из родичей писателя, но чтобы должным образом оценить слова Б. А. Лазаревского, что самым выдающимся качеством Чехова было терпение, и убедиться в его величайшей самоотверженности. («У вас вся жизнь для других, и как будто бы личной жизни Вы и не хотите!» — написала ему однажды Л. С. Мизинова [1], и вряд ли только личные, субъективные мотивы продиктовали ей эти слова.)

К ранее приведенному отзыву Константина Коровина следует добавить, что Чехов был не просто красавцем, но и поистине богатырской натурой, долго выдерживавшей огромные «перегрузки» физического и нравственного свойства.

«Обман зрения» ряда мемуаристов не исчерпывался вышеуказанной стороной жизни писателя. Феерия незамысловатых пиршеств, веселых выдумок, дружеских розыгрышей кажется кое-кому из мемуаристов главным, если не единственным содержанием тогдашнего периода чеховской жизни (может быть, не в обиду им будь сказано,— по аналогии со своей собственной). И вот И. Л. Щеглов, прозванный Чеховым Жаном, с полным убеждением характеризует большой период в жизни своего приятеля «Антуана» — с 1886 по 1896 годы — как «наиболее счастливую половину его личной жизни» и в то же время как годы, которые «зато и промелькнули... нелепо, неуловимо, точно сладкий майский сон, промелькнули в безоглядной сумасбродной суете, оставив в воспоминаниях какие-то светлые праздничные клочки...» [2]

Странным образом это говорится о времени, когда созданы «Припадок», «Скучная история», «Палата № 6», «Черный монах», когда совершается путешествие на Сахалин. О времени, когда уже явственно определилось драматическое своеобразие писательской позиции Чехова, противостоящей многим обветшалым канонам поздненароднической идеологии и либеральной критики.

Зато Константин Коровин, который с присущей ему, великому жизнелюбу, и в живописи и в мемуарах яркостью запечатлел день, прове-

---

[1] *ГБЛ.*

[2] С осторожностью надо отнестись и к утверждению энергичного Вл. И. Немировича-Данченко, будто у Чехова в молодости «было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал».

денный с молодым Чеховым, не упустил в этой картине острейшего, хотя и шутливого по форме, спора писателя со знакомыми студентами, рьяно порицавшими мнимую безыдейность его произведений.

То, что в этом диспуте Левитан и сам Коровин целиком на стороне Чехова, не случайно. Оба они, равно как и Врубель, Серов, Нестеров, принадлежали к тому поколению, чьи художественные взгляды современный нам исследователь характеризует как «хотя во многом и полемизирующие с творческими позициями передвижников и настаивающие на важном самостоятельном значении красоты и «отрадного» в искусстве, но отнюдь не противостоящие передовым принципам русской художественной культуры, а лишь отражающие ее новый важный этап» [1]. Известно, что в знаменитом «мамонтовском кружке», к которому прямо принадлежали или тяготели все названные художники, чеховские произведения встречались восторженно. «Читала ли ты Чехова рассказ «Святой ночью», — писала, например, Е. Д. Поленова Е. Г. Мамонтовой в марте 1889 года,— что за прелесть. Вот чудный мотив для картины, полупейзажной, полужанровой. Его рассказы вообще очень вдохновительно действуют, есть превосходные картинки жизни...» [2]

Коровинские воспоминания лишний раз напоминают о том, что чеховские взгляды и искания в литературе были ярчайшим проявлением происходившего в русском искусстве конца века процесса обновления художественного языка.

В передаче позднейшего газетного хроникера известен рассказ того же мемуариста о разговоре, происшедшем у него с Левитаном в Третьяковской галерее возле картины В. Г. Перова «Птицелов»: «Они нашли соловья хорошо написанным, а лес показался «железным». Молодые художники решили, что должно быть иначе: соловья не должно быть заметно, а лес должен быть такой, чтобы все понимали, что в нем поет соловей» [3]. Размышления, весьма близкие принципам чеховской пейзажной «живописи», — вспомним хотя бы знаменитые, «программные» для писателя картину лунной ночи «через блеск «горлышка от разбитой бутылки» в рассказе «Волк», аналогичный совет в письме к брату Александру и завистливые слова Треплева о стиле Тригорина в «Чайке». Недаром в одном из левитановских писем к Чехову сказано: «Ты поразил меня как пейзажист...»

Возникающий в коровинских воспоминаниях мотив решительного, порой демонстративно-заостренного («У меня нет никаких идей...») сопротивления Чехова прямолинейным и назойливым претензиям к искусству звучит и в других мемуарах, пусть с различной степенью отчетливости и с различными «знаками» оценки.

---

[1] Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М., Советский художник, 1984, с. 80.

[2] Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М., Искусство, 1964, с. 419.

[3] Константин Коровин вспоминает... М., Изобразительное искусство, 1971, с. 787.

В. Г. Короленко об этой чеховской позиции отзывается довольно сдержанно, хотя в то же время с присущей ему объективностью признает ее историческую обусловленность: «Русская жизнь, — пишет он, — закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившихся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом».

Что же касается, например, И. А. Бунина, то он явно искал в чеховских убеждениях опору для своей собственной, куда более далеко идущей «автономии» по отношению к общественным устремлениям уже совсем другой исторической полосы.

Некоторые досадливые рассуждения о чеховской самостоятельности и «неподатливости» временами комически напоминают сетования Павла Егоровича Чехова на сыновнее равнодушие к религиозной обрядности: «Что бы съездить в церковь да помолиться?»

Даже Л. Н. Толстой, восхищаясь произведениями младшего собрата, одновременно, как свидетельствует, например, С. Т. Семенов, «очень скорбел, что у него еще не выработалось собственного миросозерцания».

А что уж говорить о претензиях, предъявляемых писателю «повседневной» критикой 80-х годов и даже более поздних лет!

«Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная — помните, у меня рассказ «Холодная кровь»? — и изображать-то мне решительно все равно, что именно — собаку или утопленника, поезд или первую любовь...» — вспоминал, по словам Бунина, Антон Павлович. И еще более горько и насмешливо говорил А. М. Горькому: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать... Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом».

Много разнообразнейших «обид непонимания», наносимых писателю, зафиксировано в печатаемых воспоминаниях!

Наибольшую известность в этом отношении получила, конечно, история провала на Александринской сцене пьесы «Чайка», оказавшейся непонятной не только специфической публике, пришедшей на бенефис комической актрисы Левкеевой, но и самим актерам и большинству рецензентов. Неоднократно печатавшиеся воспоминания Л. А. Авиловой и И. Н. Потапенко, а также мемуары М. М. Читау и дневниковые записи С. И. Смирновой-Сазоновой дают яркое представление об этом событии, которое Потапенко назвал «одним из самых нелепых... в истории петер¬ бургских казенных театров».

В этой «нелепости», однако, была своя логика. «То, чего недоставало, — общий тон, единство настроения, — был недостаток коренной и про- ------- не здесь только, а и в других постановках», — замечает тот же

мемуарист. Чеховская «Чайка» как бы прилетела из близившегося театрального будущего, подготовленного исканиями Станиславского и Немировича-Данченко, и пророчила его наступление.

Менее громкими, но достаточно безапелляционными были «приговоры», выносившиеся многими влиятельными критиками чеховской прозе. Характерные для нее отсутствие откровенного морализаторства, указующего перста, отчетливой «подсказки» читателю и предоставление ему самому права вынести суждение об изображенном автором воспринимались критикой не как особенная, новаторская манера письма, а как серьезнейший идейно-художественный изъян (в частности — в той статье «корифея» народнической критики Н. К. Михайловского, о которой говорил Антон Павлович Бунину).

Даже сама приверженность Чехова к жанру рассказа, зачастую чрезвычайно лаконичного, казалась лишним свидетельством «ограниченности» или, на худой конец, «незрелости» его таланта. «Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться», — вспоминал Чехов.

Неспособность должным образом оценить специфику его творческой индивидуальности естественным образом повлияла и на трактовку его общей писательской позиции. За то, что он, по выражению А. И. Куприна, «не расточался в словесной пене», его именовали равнодушным. За то, что любил народ без громких фраз об этом чувстве, обвиняли в общественном индифферентизме.

Ноты некоторого наивного высокомерия по отношению к мнимой чеховской аполитичности проскальзывают даже у таких вдумчивых писателей, как В. В. Вересаев, хотя он и делает исключение для последнего, ялтинского периода жизни Антона Павловича.

Разумеется, в эти годы, годы общедемократического подъема, предшествовавшего первой русской революции, годы триумфального возвращения на сцену «Чайки» и дальнейшего плодотворного сотрудничества ее автора с молодым Художественным театром, к чеховскому таланту прибавились новые «этажи». Однако это бурно «пошло в рост» то, что уже содержалось и в прежнем творчестве писателя.

Однажды Антон Павлович шутливо заметил, что «вырос возле моря, хоть и возле паршивенького, но моря...». Нечто подобное он мог бы сказать и о том времени, когда складывались его личность и талант.

Писатель вступал в жизнь в атмосфере все усиливавшейся реакции, общественной деморализации и застоя. Известные стихи Я. П. Полонского, посвященные памяти С. Я. Надсона, применимы и к Чехову:

Он вышел в сумерки. Прощальный
Луч солнца в тучах догорал.
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал.

Даже по мнению такой видной деятельницы освободительного движения, как Вера Засулич, «все, что народничество могло сказать, было уже

оказано лет десять тому назад, и теперь у него нет больше, сил уже даже на то, чтобы сделать «усилия»,— все ограничивается одними и теми же фразами» [1]. Сходные процессы шли и среди либералов. А в литературном быту это порой оборачивалось уже совершеннейшей карикатурой при всех добрых качествах и благородных побуждениях тех или иных людей. «Все, что он скажет,— вспоминал Вл. И. Немирович-Данченко о В. А. Гольцеве, вызывавшем острые насмешки молодого Чехова, хотя впоследствии сделавшемся его добрым знакомым,— все вперед знали наизусть».

Однако веяние отступившего и обмелевшего «моря» ощущалось и в «сумерках».

«Смолкли честные, доблестно павшие», как писал Некрасов. Однако сам «звук» их речей еще как бы дрожал в воздухе, а по временам громыхал гневный голос прорывавшегося через цензурные путы Щедрина.

Характеризуя компанию «медицинской молодежи», к которой примыкал Чехов в начале 80-х годов, младший брат писателя Михаил вспоминал, что там «Салтыков-Щедрин не сходил с уст — им положительно бредили» [2]. В ранних произведениях Чехова заметно явное воздействие сатирических приемов Салтыкова. Внимательно следил за его творчеством Антон Павлович и в дальнейшем [3], а на смерть сатирика отозвался в письме к А. Н. Плещееву примечательными строками: «Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага».

Обстоятельства первых лет существования Чехова в литературе сложились так, что ему не привелось, хотя бы даже мимолетно, общаться со Щедриным, как это посчастливилось сделать ранее его приятелю И. Л. Щеглову после первых же публикаций. Появление чеховских рассказов в «Новом времени» и поддержка, оказанная Сувориным молодому писателю, вряд ли могли подвигнуть его на знакомство с Салтыковым. И уж, казалось бы, все это тем более могло заранее решительно настроить последнего против сотрудника газеты, которую сатирик неизменно честил устно и письменно. Однако если со стороны одного из «столпов» народничества и недавнего сподвижника Щедрина по «Отечественным запискам» Н. К. Михайловского Чехов встречал более чем сдержанное к себе отношение, то Салтыков необыкновенно высоко оценил «Степь». И этот отзыв был, бесспорно, немаловажен для Антона Павловича.

---

[1] Переписка Карла Маркса и Фридриха Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951, с. 308.

[2] *Чехов в восп.,* с. 85.

[3] «Сегодня в Русских Ведомостях сказка Щедрина, посылаю ее»,— скупо, но многозначительно писал Чехову приятель его брата Николая, впоследствии известный архитектор, Ф. О. Шехтель 15 февраля 1886 г. (*ГБЛ*). «Прочтите в субботнем (15 февр.) № Русских вед. сказку Щедрина,— писал Чехов в свою очередь Н. А. Лейкину.— Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм!»

Были у молодого писателя и совсем малозаметные, «капиллярные» связи с уходящей в прошлое эпохой освободительного движения. Рядом с Антошей Чехонте обитал в юмористических журналах автор известного «Реквиема» («Не плачьте над трупами павших борцов...») поэт Л. И. Пальмин — смешной, опустившийся человек, в котором, однако, порой вспыхивал дух былого «шестидесятничества».

Мимолетными, порой добродушно-ироническими, но неизменно сочувственными упоминаниями о «Лиодоре Ивановиче», бесплатном пациенте молодого доктора, буквально пестрят чеховские письма 80-х годов. И любопытно, что, когда впоследствии, слушая рассказы Антона Павловича о Пальмине, А. И. Куприн заинтересованно реагировал лишь на деталь его быта, использованную в «Палате № 6», то ощутил «неудовольствие» рассказчика. Оно, конечно, прежде всего объяснимо присущим Чехову целомудренным отношением к своему писательскому труду (тот же Куприн отмечал, что «пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив»), а также обостренной реакцией на отыскивание в его произведениях черт и сюжетов, сколько-нибудь напоминающих жизненные обстоятельства друзей и знакомых. Однако в данном случае чеховское «неудовольствие» могло быть вызвано и досадой на то, что собеседник обратил внимание лишь на деталь полуанекдотического свойства, тогда как для самого Антона Павловича пальминский «сюжет» к этому отнюдь не сводился.

Сама многообразная общественная деятельность Чехова находилась в непосредственной связи с идеями, получившими широчайшее распространение именно в шестидесятые — святые, по выражению писателя (это при его-то антипатии к громким словам!), — годы.

В этом отношении примечательно уже путешествие на Сахалин, вызывавшее недоумение даже среди ближайшего окружения писателя и объяснявшееся порой крайне наивно [1], а в суворинском «Новом времени» даже ехидно-издевательски.

Сам путешественник в присущей ему манере уверял, будто все дело в том, что «поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный», «а для меня,— пояснял он,— это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать». Или еще того пуще: «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора».

Однако когда Суворин высказал сомнение в целесообразности затеваемой поездки, Чехов ответил ему с необыкновенной горячностью: «Жа-

---

[1] «В 1889 году я,— писал, например, М. П. Чехов,— кончил курс в университете и готовился к экзаменам... и потому пришлось повторять лекции по уголовному праву и тюрьмоведению. Эти лекции заинтересовали моего брата, он прочитал их и вдруг засбирался» (Чехов М. П. Вокруг Чехова; Чехова Е. М. Воспоминания. М., Художественная литература, 1981, с. 143). А И. Н. Потапенко безапелляционно именует поездку на Сахалин «самой ненужной из всех, какие можно было выдумать».

лею что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили *миллионы* людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников...»

В заключение же Антон Павлович не преминул снова заявить, что сам-то он едет «за пустяками».

Характерно и то, что в пору подготовки к путешествию Чехов внимательнейшим образом изучал «Морской сборник» 50—60-х годов, бывший одним из значительнейших изданий того времени и, в частности, печатавший бытовые и этнографические исследования писателей — членов «литературной экспедиции», организованной для ознакомления с отдаленными местностями России. (Тогда же Антон Павлович прочел и одну из работ участника этого начинания — книгу «Сибирь и каторга» С. В. Максимова, с которым был знаком и которого впоследствии рекомендовал избрать в почетные члены Российской Академии наук.)

А очевиднейший, непосредственный литературный итог «экспедиции» самого Чехова — книгу «Остров Сахалин» — даже один из присяжных «зоилов» писателя, критик А. М. Скабичевский ставил в связь с знаменитейшим произведением шестидесятых годов — «Записками из Мертвого дома» Достоевского — и, видимо, не только по ее разоблачительной силе, но и по вызванному ею огромному общественному резонансу.

Но особенно широко развернулась общественная деятельность Чехова в мелиховский и ялтинский период. А. М. Горький запомнил горячие вроде бы даже не «чеховские» по своей патетике слова Антона Павловича во славу учителя («Нужно, чтобы он был первым человеком в деревне») и широкого образования, без которого «государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича». (В устах писателя это были не просто благие пожелания, а изложение своей собственной программы, которую он посильно и осуществлял, строя и поддерживая окрестные школы и внимательнейшим образом относясь к нуждам местных учителей, о чем красноречиво свидетельствуют, например, воспоминания М. Е. Плотова и В. Н. Ладыженского.)

Высказав Горькому этот взгляд на образование, Чехов тут же шутливо назвал свои проекты «фантазиями» и повинился перед собеседником, что невзначай «целую передовую статью из либеральной газеты... закатил». Однако сказанное им живо вызывает в памяти вовсе не какую-либо ординарную статейку тех лет, а публицистические «Мечты и грезы» Достоевского, где страстно утверждалось, что «на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав» [1].

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 21. Л., Наука, 1980, с. 93.

И многое другое в чеховских поступках и высказываниях выглядит как продолжение «старых, но еще не допетых песен», как с сочувственной улыбкой характеризовал он речи одного из героев «Палаты № 6» «о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, которая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупоумии и жестокости насильников».

«Часто в Москве в то время мне приходилось слышать,— вспоминает Т. Л. Щепкина-Куперник о начале 90-х годов: — «Чехов не общественный деятель». Но это было более чем близоруко. Его все возрастающая литературная слава как-то заслоняла от публики его общественную деятельность, а кроме того, он сам никогда не распространялся о ней».

«О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности,— писал впоследствии и Куприн. — Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди».

Иное дело, что, как заметил И. Н. Потапенко, чеховский отзыв о Мамине-Сибиряке, который не приурочивал свой талант к преобладающему направлению, вполне мог быть отнесен и к самому автору этих слов.

Чеховская самостоятельность поразительна. Замечательно верно сказал об этом Горький: «Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые,— требовали».

Стоит вдуматься в свидетельство близко стоявшей к Чехову — в литературно-бытовом плане — Т. Л. Щепкиной-Куперник: «...он разделял наши увлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы... но я не могла отделаться от того впечатления, что «он не с нами», что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший, хотя многие члены нашей компании... были много старше его». Достаточно привнести в это впечатление малейшую крупицу недоброжелательства, чтобы получить столь распространенный одно время «портрет» Чехова — этакого стороннего наблюдателя, живущего, «добру и злу внимая равнодушно».

Между тем Чехов просто органически не принимал те стереотипы общественного мышления, которые были еще в ходу, в обращении, хотя совершенно обесцененные нравственно и бесплодные литературно.

Выше уже упоминалось, что Б. А. Лазаревский не без основания считал самым выдающимся чеховским свойством терпение. И действительно, обращает на себя внимание та, запечатленная в ряде мемуаров выдержка, с какой «старший» втолковывает очевидные для него самого вещи «детям». «Я же ничего сегодня и не отрицал в нашем литературном споре, — передает, например, чеховские слова В. Н. Ладыженский. — Только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городового! Больше ничего».

К сожалению, иные мемуаристы категорически убеждены, будто «старшие» — это как раз они.

«Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и больных вопросах, которые давно стоят перед русскою жизнью в их строгой повелительности, — говорит, к примеру, С. Я. Елпатьевский о беседах с Чеховым даже в ялтинский период, — но разговор о них недолго продолжался. Лицо его делалось усталым и скучным, говорил он слова скучные и утомительные... и охотно переходил на другие темы, и было видно, что ему скучно говорить и хочется уйти от надоедливой темы и что он не любит острого, требовательного, повелительного».

Можно подумать, будто это мемуары одного из тех, описанных Коровиным, студентов, которые обличали Чехова в «безыдейности»!

Любопытно, однако, упоминание о нелюбви писателя к «повелительному». Тут верно уловлена неприязнь Чехова к категоричности, к самодовольной уверенности в обладании абсолютной истиной, к укладыванию реальной жизни на прокрустово ложе готовых, априорных суждений. В этом отношении характерно вежливо-решительное возражение Антона Павловича В. В. Вересаеву по поводу того, «так» или «не так» уходят в революцию девушки, подобные героине «Невесты»: «Туда разные бывают пути».

Вот это представление о «разных путях» жизни вообще — едва ли не самое устойчивое качество Чехова — человека и художника, сообщавшее его уму, его взгляду на события и людей особую гибкость, тонкость, беспристрастность.

И. Е. Репин наметанным глазом портретиста подметил, что «тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица». А М. М. Ковалевский, как бы продолжая эту мысль, писал, что «и в самом литературном творчестве в нем выступала, как редко у кого, способность точного анализа, не примиримого ни с какой сентиментальностью и ни с какими преувеличениями».

Это нежелание «сны золотые навевать» также выглядело в глазах некоторых современников проявлением мнимого чеховского бесстрастия и пессимизма, с чем сам писатель решительно не соглашался. «...какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь»... Какой я «пессимист»? — печально-иронически жаловался он Бунину. — Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент».

Примечательнейший эпизод запечатлен в малоизвестных воспоминаниях Вас. И. Немировича-Данченко. Прослушав стихотворение Владимира Соловьева «Панмонголизм», исполненное черного пессимизма в отношении будущего, «Чехов задумался, потемнел даже. И потом вдруг встал и заговорил горячо, возбужденно, даже... гневно, совсем не похоже на него и по возбуждению, и по языку:

— Выдержим, и не такое еще выдерживали. Край громадных мас-

штабов. Нельзя его судить и отпевать по событиям сегодняшним. Они пройдут, а Россия останется...» [1]

Вас. И. Немирович-Данченко не всегда точен как мемуарист. Но в данном случае эта, «не похожая» на чеховскую, речь выглядит вполне правдоподобно, особенно если вспомнить знаменитые слова старика из повести «В овраге»: «Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!»

Говоря о чеховской «прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом, счастье», Куприн считал знаменательным, что писатель «с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием». («Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники...» — говорится далее; то же отмечается и в воспоминаниях М. А. Членова.)

Жадный интерес к жизни во всем ее богатстве, во всех ее возможностях сказался и в отношении Чехова к искусству.

В. А. Фаусек сохранил примечательную фразу Антона Павловича: «Люблю видеть успех других», вполне естественную в устах этого человека с «необыкновенно правильной душой», как метко выразился И. Н. Потапенко, и, увы, резко контрастировавшую с той злорадной реакцией, которую продемонстрировали некоторые коллеги писателя по случаю провала «Чайки» на Александринской сцене.

«Мне не приходилось, — пишет Щепкина-Куперник, — видеть писателя, который бы так тепло и с такой добротой относился к своим молодым собратьям, как Чехов. Он постоянно за кого-то хлопотал по редакциям, чьи-то вещи устраивал и искренно радовался, когда находил что-нибудь, казавшееся ему талантливым. Достаточно вспомнить его отношение к молодому Горькому...»

И. Л. Щеглов рассказывает о «самом живом товарищеском участии», принятом Чеховым в судьбе его пьесы. Куприн приводит многочисленные, порой весьма трогательные примеры заботливости и внимания, проявленных Антоном Павловичем к «одному начинающему писателю», в котором угадывается сам мемуарист.

«Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший... но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство...» — благодарно пишет и отнюдь не щедрый на похвалы кому-нибудь Бунин.

Сложным было отношение Чехова к нарождавшимся в последние годы его жизни новым течениям в литературе и искусстве. Уже в образе Константина Треплева проницательно схвачены характерные черты их представителей, вызывавшие у писателя двойственное отношение.

---

[1] Немирович-Данченко Вас. И. На кладбищах. Ревель, 1921, с. 52—53.

Сами поиски «новых форм», свежих выразительных средств, естественно, не встречали у Чехова, новатора по природе, никаких возражений. (Кстати, фатальным образом история с сорвавшейся «постановкой» пьесы Треплева как бы предвосхитила судьбу самой «Чайки» в Александринском театре с его собственными ревнивыми Аркадиными.) Однако Чехов подметил в своем герое и небезопасную агрессивность, наклонность «толкаться», по выражению Тригорина, подобную той, которую писатель юмористически отмечал и в дягилевском «Мире искусства», где, по словам Антона Павловича, «будто сердитые гимназисты пишут».

Заостренный и почти уничтожающий отзыв Чехова о «декадентах», который сообщает А. Серебров (Тихонов), в частности, направлен против непомерных претензий некоторых «апостолов» русского символизма, на открытие никому до них неведомых истин. (До времен, когда и Пушкина вознамерились столкнуть «с парохода современности», Чехов не дожил.)

О ядовитых чеховских насмешках над декадентами с удовольствием вспоминает и Бунин. Однако порой он, быть может, как это уже отмечалось в литературе о Чехове, несколько сгущает краски в силу своей собственной решительной антипатии к большинству представителей новых течений.

Во всяком случае, Антон Павлович благожелательно, хотя и с большой долей иронии, относился к К. Д. Бальмонту, ценил Ю. К. Балтрушайтиса, а в начале творческого пути Д. С. Мережковского «замолвил слово» [1] за него перед Сувориным (что не помешало «протежированному» вскоре в своей известной книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» безапелляционно заявить, что Чехов в силу своего «слишком крепкого, может быть, к несчастью для него, несколько равнодушного здоровья» «маловосприимчив ко многим вопросам и течениям современной жизни» [2]).

Вряд ли простой вежливостью объясняется и чеховская просьба (в письме к Дягилеву) передать «глубокую благодарность» Д. В. Философову за статью о постановке «Чайки» в Художественном театре. Конечно, к содержащимся в ней «комплиментам» автору пьесы как «яркому поэту эпохи упадка... утонченному эстету конца века» [3] Чехов, надо полагать, отнесся иронически как к очередной попытке залучить его в союзники. Однако Антона Павловича могло заинтересовать настойчивое стремление критика отделить Чехова от «чеховщины», по мнению Философова, «подчеркнутой» в Художественном театре. Под «чеховщиной» понимается сведение многообразного содержания пьес писателя преимущественно

---

[1] «Спасибо, что замолвили за меня слово Суворину. Он согласился издавать мою книгу»,— писал Чехову Мережковский 16 декабря 1891 года (*ГБЛ*).

[2] Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. XV. СПб. М. 1913, с. 286.

[3] Мир искусства, 1902, № 11, с. 50.

к изображению «сумеречного», тусклого существования героев, преобладание элегически минорных нот, приглушенность сатирических мотивов, «...это их Алексеев (Станиславский, — *А. Т.*) сделал такими плаксивыми»,— говорил Чехов Сереброву (Тихонову) о своих пьесах. Возможно, что именно в противовес этой тенденции Чехов протестовал, когда «Вишневый сад» именовали драмой, и склонен был скорее считать его водевилем. Утверждение Философова, что «значение Чехова не исчерпывается «чеховщиной» [1], вполне отвечало собственным, казалось бы — парадоксальным, претензиям драматурга к постановкам, сделавшим его пьесы знаменитыми.

Не только эти, еще далеко не полностью исследованные взаимоотношения Чехова с «декадентами» доказывают, что его доброжелательность к чужому таланту, готовность выслушать и понять иное, чем его собственное, мнение имели определенные границы и никогда не превращались в отступничество от основных идейных и творческих принципов, которыми он руководствовался.

Уже в наше время Сергей Антонов в «Письмах о рассказе» обратил внимание на тот эпизод из воспоминаний И. Л. Щеглова, где последний «уличил» автора «Степи» в стилистической небрежности. Речь шла о бабушке Егорушки, которая «до своей смерти была жива и носила с базара мягкие бублики». «Тогда он еще не достиг совершенства стиля...» — с комичной важностью заключал мемуарист, хотя, по справедливому замечанию Антонова, этот «нескладный» оборот исходит от самого малолетнего героя и прекрасно передает всю наивность его мышления. Чехов пощадил самолюбие своего «критика» и не стал опровергать его мнения, но исправлять мнимый промах и не подумал, придав своему отказу самый легкомысленный характер: «А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!»

А. Серебров (Тихонов) колоритно запечатлел острый спор Чехова с ним, когда он решил было превознести все написанное пользовавшимися тогда громкой известностью авторами, к которым и сам Антон Павлович в общем благоволил. Речь шла, между прочим, и о М. Горьком, стремительно возраставшая слава которого ослепляла многих читателей, подобных юному чеховскому собеседнику, и заставляла их, по досадливому замечанию Антона Павловича, «совсем не то ценить в Горьком, что надо» — не высокую художественную простоту его лучших рассказов, а те черты, которые представлялись его старшему собрату искусственными и излишне бравурными.

Поразившая актеров Художественного театра величайшая деликатность Чехова в советах и подсказках при воплощении его пьес, о которой в один голос свидетельствуют все участники и свидетели репетиций, также сочеталась с непреклонностью в главном. «Лишь одно он отстаивал особенно энергично,— отмечает К. С. Станиславский, только что писав-

---

[1] Мир искусства, 1902, № 11, с. 49.

ший, что Чехов выражал свое мнение «очень редко, осторожно и почти трусливо», — как и в «Дяде Ване», так и здесь (в «Трех сестрах». — *А. Т.*) он боялся, чтобы не утрировали и не карикатурили провинциальной жизни, чтобы из военных не делали обычных театральных шаркунов с дребезжащими шпорами...» А будущей жене писателя, О. Л. Книппер, запомнилось его неожиданное изъявление недовольства исполнением последнего акта «Чайки», запомнилось как пример того, как «решительно и необычно для него протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе».

И конечно же, апофеозом чеховской принципиальности и открытым проявлением его гражданского и этического чувства был его знаменитый отказ, совершенный вместе с В. Г. Короленко, от звания почетного академика в знак протеста против позорного аннулирования избрания в Академию наук А. М. Горького после выраженного царем неудовольствия. Это событие по праву запечатлелось в памяти многих мемуаристов.

У некоторых тогда вообще впервые «открылись глаза» на истинного Чехова, поскольку, например, четкая позиция, которую он занял по отношению к нашумевшему в конце века делу Дрейфуса и которая привела его к резкому конфликту с Сувориным, не получила столь широкой огласки.

Однако, разумеется, обилие мемуарных свидетельств о горячем сочувствии писателя нараставшему общественному подъему и его надеждах на будущее своей родины порождено не только «прозрением» мемуаристов, но и очевидными переменами в умонастроении самого Чехова.

Рос не только новый чеховский дом в Ялте. Рос и сам писатель — и в своих последних произведениях, и в своем понимании событий, хотя болезнь и вынужденное пребывание в Крыму остро воспринималось им как величайшее препятствие на пути познания новой, изменяющейся России.

Воспоминания всех, кто бывал у Чехова в Ялте, говорят о жадном «впитывании» писателем всех доносившихся до него сведений о том, что происходит в «эпицентре» нараставших событий.

В этой связи примечательна заметная эволюция отношения Чехова к студенческим волнениям, которые прежде часто казались ему лишь одной из форм поверхностного и быстро «выветривающегося» либерализма, а на рубеже веков стали, по свидетельству мемуаристов, вызывать у писателя несравненно больший интерес и сочувствие.

Стремлением пополнить запас своих знаний о жизни промышленной России была, очевидно, продиктована и поездка уже тяжелобольного Чехова вместе с Саввой Морозовым в его уральские «владения». Интересны также свидетельства Н. Гарина (Михайловского) и других, что писатель лелеял планы нового путешествия на Дальний Восток по своей медицинской специальности в связи с началом войны с Японией.

Реакция Чехова на события этой войны, запечатленная в знаменитой книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и в ныне публикуемой мемуарной заметке В. Л. Книппер-Нардова, по своей страстности

и бескомпромиссности живо напоминает отношение передовой части русского общества середины прошлого века к Крымской войне, чреватой в случае победы упрочением реакционного порядка, а в случае поражения — возможностью «сильных и благих потрясений», если воспользоваться пушкинскими словами. Думается, что чеховские высказывания на этот счет близки и оценкам современной ему радикальной публицистики.

Увы, сила чеховского духа, его мысли, возраставшая мощь его как художника находились в трагическом контрасте с неумолимо развивавшейся болезнью. Во многих воспоминаниях о встречах с писателем в эти годы вольно или невольно запечатлелись доныне ранящие сердце подробности его физического угасания — все возраставшие слабость и худоба, руки, лежавшие на обострившихся коленях, тяжелые приступы кашля и кровохарканья, после которых он, по собственному выражению, превращался в «стрекозиные мощи».

Величайшая выдержка и тут не изменяла Чехову, и лишь в некоторых, запомнившихся мемуаристам разговорах, во «вспыхивавших», по свидетельству Станиславского, «фразах большого томления и грусти», слышится тайный отголосок той горькой мысли, которой он напрямик и всерьез, кажется, лишь однажды поделился в мимолетном ночном дорожном разговоре с М. М. Ковалевским: «Как врач, я знаю, что моя жизнь будет коротка».

Быть может, и сюжет «водевиля», рассказанный им еще в Мелихове Т. Л. Щепкиной-Куперник («пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва сердца!»), порожден грустным раздумьем писателя о краткости отпущенных ему сроков.

Начало века с общими и, в частности, самого Чехова надеждами не могло не обострить этого ощущения: «...дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает!»

В памяти современников не доживший до «солнца» писатель остался его предвестником, обладателем «необыкновенно правильной души», вносившим в мир ноты высочайшей человечности и решительного неприятия всякой несправедливости.

Вероятно, Чехов при его величайшей скромности чувствовал себя крайне неловко, когда Лев Толстой в его присутствии со слезами на глазах восхищался «Душечкой», говоря:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор.

Но трудно найти слова, которые вернее передавали бы ощущение, порождаемое и творчеством писателя, и самой его личностью.

«Хорошо вспомнить о таком человеке, — писал Горький, — тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл».

А. Турков

А. П. ЧЕХОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

К. А. КОРОВИН

ИЗ МОИХ ВСТРЕЧ С А. П. ЧЕХОВЫМ

I

Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году.

В Москве, на углу Дьяковской и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера»,— почему «восточные» неизвестно... Это были самые захудалые меблированные комнаты. У «парадного» входа, чтобы плотнее закрывалась входная дверь, к ней приспособлены были висевшие на веревке три кирпича...

В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов [1], а наверху, на втором этаже — И. И. Левитан, бывший в то время еще учеником Училища живописи, ваяния и зодчества.

Была весна. Мы вместе с Левитаном шли из школы, с Мясницкой,— после третьего, последнего, экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали: я — за рисунок, Левитан — за живопись... [2]

Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне:

— Зайдем к Антоше (то есть Чехову)...

В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций,— Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете [3], на врача.

Он сидел на краю дивана. На нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него, в номере были незнакомые нам молодые люди — студенты.

Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы.

Он был красавец: У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, — от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты... Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе, и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естественен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость — всегда были в Антоне Павловиче.

Был весенний, солнечный день... Левитан и я звали Антона Павловича пойти в Сокольники.

Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствовавших студентов спросил:

— Что же, на шее будете носить? Как швейцары?

Ему ответил Левитан:

— Нет, их не носят... Это просто так... Дается в знак отличия при окончании школы...

— Как на выставках собаки получают... — прибавил другой студент [4].

Студенты были другие, чем Антон Павлович. Они были большие спорщики и в какой-то своеобразной оппозиции ко всему.

— Если у вас нет убеждений,— говорил один студент, обращаясь к Чехову, — то вы не можете быть писателем...

— Нельзя же говорить, что у меня нет убеждений, — говорил другой, — я даже не понимаю, как это можно не иметь убеждений.

— У меня нет убеждений, — отвечал Антон Павлович.

— Вы говорите, что вы человек без убеждений... Как же можно написать произведение без идеи? У вас нет идей?..

— Нет ни идей, ни убеждений... — ответил Чехов.

Странно спорили эти студенты. Они были, очевидно, недовольны Антоном Павловичем. Было видно, что он не отвечал какой-то дидактике их направления, их идейному и поучительному толку. Они хотели управлять, поучать, руководить, влиять. Они знали все — все понимали. А Антону Павловичу все это, видимо, было очень скучно.

— Кому нужны ваши рассказы?.. К чему они ведут?

В них нет ни оппозиции, ни идеи... Вы не нужны «Русским ведомостям», например. Да, развлечение и только...

— И только, — ответил Антон Павлович.

— А почему вы, позвольте вас спросить, подписываетесь Чехонте?.. К чему такой китайский псевдоним?..

Чехов засмеялся.

— А потому, — продолжал студент, — что когда вы будете доктором медицины, то вам будет совестно за то, что вы писали без идеи и без протеста...

— Вы правы... — отвечал Чехов, продолжая смеяться.

И прибавил:

— Поедемте-ка в Сокольники... Прекрасный день... Там уже цветут фиалки... Воздух, весна.

И мы отправились в Сокольники.

От Красных ворот мы сели на конку и проехали мимо вокзалов, мимо Красного пруда и деревянных домов с зелеными и красными железными крышами. Мы ехали по окраине Москвы...

Дорогой Левитан продолжал прерванный разговор.

— Как вы думаете?.. — говорил он. — Вот у меня тоже так-таки нет никаких идей... Можно мне быть художником или нет?

— Невозможно, — ответил студент, — человек не может быть без идей...

— Но вы же крокодил!.. — сказал студенту Левитан. — Как же мне теперь быть?.. Бросить?..

— Бросить...

Антон Павлович, смеясь, вмешался в разговор:

— Как же он бросит живопись?.. Нет! Исаак хитрый, не бросит... Он медаль на шею получил... Ждет теперь Станислава... А Станислав, это не так просто... Так и называется: Станислав, не бей меня в морду...

Мы смеялись, студенты сердились.

— Какая же идея, если я хочу написать сосны на солнце, весну...

— Позвольте... сосна — продукт, понимаете?.. Продукт стройки... Понимаете?.. Дрова — народное достояние... Это природа создает для народа... Понимаете?.. — горячился студент, — для народа...

— А мне противно, когда рубят дерево... Они такие же живые, как и мы, и на них поют птицы... Они — птицы — лучше нас... Я пишу и не думаю, что это дрова. Это я не могу думать... Но вы же крокодил!.. — говорил Левитан.

— А почему это птицы певчие лучше нас?.. Позвольте... — негодовал студент.

— Это и я обижен, — сказал Антон Павлович, — Исаак, ты должен это доказать.

— Потрудитесь доказать... — серьезно настаивал студент, смотря на Левитана своими острыми глазами с выражением чрезвычайной важности.

Антон Павлович смеялся.

— Глупо... — отрезал Левитан.

— Вот скоро Сокольники, мы уже подъезжаем...

Сидевшая рядом с Левитаном какая-то тетка из мещанок протянула ему красное пасхальное яйцо и сказала:

— Съешь, красавчик... (Левитан был очень красив.) Батюшка мой помер... Нынче сороков... Помяни его...

Левитан и Чехов рассмеялись. Левитан взял яйцо и спросил, как звали отца, чтобы знать кого поминать...

— Да ты што, красавчик, нешто поп?

Баба была немножко навеселе.

— Студенты, студенты... А народ — под мышкой книжка, боле ничего... тоже...

Мы приехали к кругу в Сокольники.

Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Левитану, сказала на прощание:

— Помяни родителя... Звали Никита Никитич... А как семинарию окончишь, волосы у тебя будут хороши... Приходи в Печатники... Анфису Никитишну все знают... Накормлю... Небось голодные, хоша ученые...

Антон Павлович смеялся, студенты были серьезны. У студентов была какая-то придавленность. Казалось, что забота-старуха по пятам преследовала их. Они были полны каких-то навязчивых идей. Что-то тяжелое и выдуманное тяготело над ними, как какая-то служба, сковывающая их молодость. У них не было простоты и уменья просто отдаться минуте жизни. А весна была так хороша! Но когда Левитан, указывая на красоту леса, говорил: «Посмотрите, как хорошо», — один из студентов ответил: «Ничего особенного... просто тоска... Лес, и черт с ним!.. Что тут хорошего...»

— Ничего-то вы, цапка, не понимаете! — повторил Левитан.

Мы шли по аллее.

Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей тайной земле.

Студенты, с пледами на плечах, тоже оживились и запели:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
Выпьем мы за него,
За его идеал...

Антон Павлович и Левитан шли рядом, а впереди шли студенты... Издали видно было, как большие их волосы лежали на их пледах, что было модно тогда.

— Что это там летит?.. — крикнул один из них, обращаясь к Левитану.

— Это, вероятно, сокол... — пошутил Антон Павлович.

Летела ворона!

— А в Сокольниках, должно быть, и нет больше соколов... — прибавил Чехов. — Я никогда не видал, какой сокол... Сокол ясный... О чем задумались, соколики... Должно быть, сокола и охота с ними были распространены на Руси...

Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, где лежал путь железной дороги. Показались столы, покрытые скатертями. Много народу пило чай... Самовары дымились... Мы тоже сели за один из столиков, — чаепитие было принято в Сокольниках. Сразу же к нам подошли разносчики...

Булки, сухари, балык, колбаса копченая наполняли их лотки...

— Пожалуйте, господа хорошие...

Около нас за другим столом разместились сильно подвыпившие торговцы типа Охотного ряда и недружелюбно оглядывали нас.

— Вы студенты... — заговорил один, сильно пьяный, обращаясь в нашу сторону, — которые ежели... — и он показал нам кулак.

Другой уговаривал его не приставать к нам.

— Не лезь к им... Чево тебе... Мож, они и не студенты... Чево тебе...

— Слуга служи, шатун шатайся... — говорил в нашу сторону пьяный с осовелыми глазами...

Видно было, что мы не нравились этой компании — трудно понимаемая вражда к нам, «студентам», прорывалась наружу.

Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней.

И помню, он сказал мне, когда мы шли обратно:

— А в весне есть какая-то тоска... Глубокая тоска и беспокойство... Все живет, но, несмотря на жизнь природы есть непонятная печаль в ней.

А когда мы расстались с нашими студентами, он сказал, улыбаясь мне и Левитану:

— Эти студенты будут отличными докторами... Народ они хороший... И я завидую им, что у них головы полны идей...

II

Много прошло времени после этой прогулки нашей в Сокольниках, и по приезде в Крым, в Ялту — весной 1904 года [5] — я был у Антона Павловича Чехова в доме его в Верхней Аутке. На дворе дачи, когда я вошел в калитку, передо мной, вытянув шею, на одной ноге стоял журавль. Увидев меня, он расправил крылья и начал прыгать и делать движения, танцуя — как бы показывая мне, какие выкрутасы он умеет разделывать.

Антона Павловича я застал в его комнате. Он сидел у окна и читал газету «Новое время».

— Какой милый журавль у вас, — сказал я Антону Павловичу, — он так забавно танцует...

— Да, это замечательнейшее и добрейшее существо... Он любит всех нас, — сказал Антон Павлович. — Знаете ли, он весной прилетел к нам вторично. Он улетал на зиму в путешествие в другие, там, разные страны, к гиппопотамам, и вот опять к нам пожаловал. Его мы так любим, Маша (сестра) и я... — не правда ли, странно это и таинственно?.. — улететь и прилететь опять... Я не думаю, что это только за лягушками, которых он в саду здесь казнит... Нет, он горд и доволен еще тем, что его просят танцевать. Он — артист, и любит, когда мы смеемся на его забавные танцы. Артисты любят играть в разных местах и улетают. Жена вот улетела в Москву, в Художественный театр...

Антон Павлович взял бумажку со стола, свернутую в короткую трубочку, закашлялся и, плюнув в нее, бросил в банку с раствором.

В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто — немножко, как у больных. Пахло креозотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий — портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии — тоже портреты, и среди них — Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенки, Левитана и других.

В комнату вошла Марья Павловна и сказала, что прислуга-кухарка заболела, лежит, что у ней сильная головная боль. Антон Павлович сначала не обратил на это внимания, но потом внезапно встал и сказал:

— Ах, я и забыл... Ведь я доктор... Как же, я ведь доктор... Пойду, посмотрю, что с ней...

И он пошел на кухню к больной. Я шел за ним и, помнится, обратил внимание на его подавшуюся под натиском болезни фигуру; он был худ, и его плечи, остро выдаваясь, свидетельствовали об обессиливавшем его злом недуге...

Кухня была в стороне от дома. Я остался на дворе с журавлем, который опять танцевал и так развеселился, подпрыгивая, что расправил крылья, полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился передо мной.

— Журка, журка!.. — позвал я его, и он близко подошел ко мне и боком смотрел своим острым глазом, вероятно, дожидаясь награды за искусство. Я подал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал... Что? Вероятно — «мошенник!» или еще что-нибудь худшее, так как я ничего ему не заплатил за представление.

После я показал Антону Павловичу бывшие со мной только что написанные в Крыму свои вещи, думая его немножко развлечь... — это были ночью спящие большие корабли... Он попросил меня оставить их у себя.

— Оставьте... Я еще хочу посмотреть их, один... — сказал он...

Антон Павлович собирался ехать в Москву. Я не советовал ему делать этого — он выглядел совсем больным и сипло кашлял. За обедом он говорил мне:

— Отчего вы не пьете вино?.. Если бы я был здоров, я бы пил... Я так люблю вино...

На всем лежала печать болезни и грусти.

Я сказал ему, что хочу купить в Крыму маленький кусочек земли и построить себе здесь мастерскую, но не в Ялте, а где-нибудь около.

— Маша, — сказал он сестре, — знаешь что, отдадим ему свой участок... Хотите, в Гурзуфе, у самых скал... Я там жил два года, у самого моря... Слушай, Маша, я подарю эту землю Константину Алексеевичу... Хотите?.. Только там очень море шумит, «вечно»...[6] Хотите?.. — И там есть маленький домик. Я буду рад, что вы возьмете его...

Я поблагодарил Антона Павловича, но и я у самого моря не смог бы жить, — я не могу спать так близко от него, и у меня всегда сердцебиение...

Это была последняя моя встреча с А. П. Чеховым.

После я жил в Гурзуфе и построил себе там мастерскую. И из окна моего был виден домик у скалы, где когда-то жил Антон Павлович. Этот домик я часто воспроизводил в своих картинах[7]. Розы... и на фоне моря интимно выделялся домик Антона Павловича. Он давал настроение далекого края, и море шумело около бедного домика, где жила душа великого писателя, плохо понятого своим временем.

— Меня ведь женщины не любят... Меня все считают насмешником, юмористом, а это *неверно*... — не раз говорил мне Антон Павлович.

В. Г. КОРОЛЕНКО

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

I

С Чеховым я познакомился в 1886 или в начале 1887 года [1] (теперь точно не помню). В то время он успел издать два сборника своих рассказов. Первый, который я видел в одно из своих посещений на столе у Чехова, назывался «Сказки Мельпомены» и, кажется, составлял издание какого-то юмористического журнала. Самая внешность его носила отпечаток, присущий нашей юмористической прессе. На обложке стояло: «А. Чехонте», и был изображен мольберт, а перед ним — карикатурная фигура длинноволосого художника. Если память мне не изменяет, виньетку эту рисовал брат Антона Павловича, художник, умерший в самом конце восьмидесятых или начале девяностых годов, человек, как говорили, очень талантливый, но неудачник... Эту первую книжку Чехова мало заметили в публике, и теперь редко кто ее, вероятно, помнит. Но некоторые (кажется, не все) рассказы из нее вошли в последующие издания.

Затем, помнится, в начале 1887 года появилась уже более объемистая книга «Пестрых рассказов», печатавшихся в «Будильнике», «Стрекозе», «Осколках» и на этот раз подписанных уже фамилией А. П. Чехова [2]. Эта книга была замечена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говорили разно, но много, и в общем это был большой успех [3]. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского «юмора» неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание

Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику «А. Чехонте». Кажется, Григорович же устроил издание «Пестрых рассказов», и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин [4], который и пригласил его работать в «Новом времени». В первые же свидания мои с Чеховым Антон Павлович показывал мне письма Григоровича. Одно из них было написано из-за границы. Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти [5]. Чехов, [показывая] мне и это письмо, прибавил:

— Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...

Эта пессимистическая нотка показалась мне тогда случайной в устах веселого автора веселых рассказов, перед которым жизнь только еще открывала свои заманчивые дали... Но впоследствии я часто вспоминал эти слова, и они уже не казались мне случайными...

После выхода в свет «Пестрых рассказов» имя Антона Павловича Чехова сразу стало известным, хотя оценка нового дарования вызывала разноречие и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшиеся коегде сквозь яркую смешливость, — еще более оттеняли молодое веселье этих действительно «пестрых» рассказов.

II

В то время в Петербурге издавался журнал «Северный вестник». Издательницей его была А. М. Евреинова, редакция (первоначальная) составилась из бывших сотрудников «Отечественных записок». Во главе ее стоял Ник. Конст. Михайловский, близкое участие принимал Глеб Ив. Успенский и С. Н. Южаков, а в редактировании беллетристического и стихотворного отдела участвовал А. Н. Плещеев. Меня приглашали тоже ближе примкнуть к этому журналу, и я ехал в Петербург, между прочим, и по этому поводу. В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике, какие, кажется, можно встретить только еще в Москве. Это был каменный особнячок, примыкавший к большому дому, но сам составлявший одну квартиру в два этажа. Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя «свобода от партий», казалось мне, имела свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, это ненадолго... Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный «По пути»):[6] где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету, тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью

русский «искатель» лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа... И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке «Северного вестника» о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел, — это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще не определившуюся большую силу, относились с некоторым сомнением. Отношение к Чехову Михайловского читателям известно: он часто и с большим интересом возвращался к его работам, признавал огромные размеры его таланта, но тем суровее отмечал некоторые черты, в которых видел неправильное отношение к литературе и ее назначению. Ни о ком, однако, из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове, а в последние годы, как это тоже известно, он относился к Чехову с большой симпатией... Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, «Северный вестник» Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова как сотрудника.

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом «деле», но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев, заехавший к нему проездом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи *.

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

* В то время он был уже врачом, хотя и без практики, а брат его, Михаил Павлович, начинал тоже печататься в юмористических журналах (под псевдонимом). (*Примеч. В. Г. Короленко.*).

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница».

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь, — мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, — радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность: частью это был еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмеяться между прочим над «умным дворником», рекомендующим в кухне читать книги, и над парикмахером, который во время стрижки узнает, что его невеста выходит замуж за другого, и потому оставляет голову клиента недостриженной... [7] Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным. Кажется, в то время был уже напечатан (в «Новом времени») очерк «Святою ночью» [8], чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще примиряющей и здоровой, но уже, как небо от земли, удаленной от беспредметно смешливого настроения большинства «Пестрых рассказов». И в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника «Осколков», проступало

какое-то особенное выражение, которое в старину назвали бы «первыми отблесками славы»... Я помню, что в словах матери, видимо счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы там встретимся, и г-жа Чехова сказала со вздохом:

— Да, мне кажется, что Антоша теперь уже не мой... [9]

Как это часто бывает, у матери было верное предчувствие...

Мы условились встретиться в Петербурге в редакции «Осколков», где я действительно нашел Чехова в назначенный день [10], в кабинете редактора г. Лейкина. Здесь, между прочим, произошел небольшой инцидент: накануне г. Лейкин похвастался перед Чеховым прекрасным рассказом, присланным в «Осколки» неизвестным еще начинающим автором, помнится из Царского Села. Редактор пришел в восторг и пригласил автора для личных переговоров, с целью привлечь его к журналу. Чехов захотел прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это был просто-напросто один из его собственных очерков, старательно переписанный с печатного и подписанный неведомой фамилией. Лучший признак известности: плагиат уже, очевидно, оценил новое дарование и тянулся к нему, как чужеядное растение...

III

Через некоторое время первый журнальный рассказ А. П. Чехова был написан. Назывался он «Степь» [11]. Во время моего пребывания в Петербурге А. Н. Плещеев получил из Москвы письмо, в котором Чехов писал, что работа у него подвигается быстро. «Не знаю, что выйдет, но только чувствую, что вокруг меня пахнет степными цветами и травами», — так приблизительно (цитирую на память) определял Чехов настроение этой своей работы [12], и это же, несомненно, чувствуется в чтении. На этом первом «большом» рассказе Чехова лежал еще, правда, отпечаток привычной ему формы. Некоторые критики отмечали, что «Степь» — это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием в воздухе степной

бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом. Младший Чехов (Михаил Павлович) говорил мне вскоре после того, как рассказ появился в «Северном вестнике», что в нем очень много автобиографических, личных воспоминаний.

Есть в нем, между прочим, одна подробность, которая казалась мне очень характерной для тогдашнего Чехова. В рассказе фигурирует Дениска, молодой крестьянский парень. Выступает он в роли кучера. Бричка с путниками останавливается в степи на привал в знойный, удушливый полдень. Горячие лучи жгут головы, откуда-то несется песня, «тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом... Точно над степью носился невидимый дух и пел», или сама она, «выжженная, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя»... В это время Дениска просыпается первым из отдыхающих путников. Он подходит к ручью, пьет, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзаж, на еще более тоскливую песню, неизвестно откуда несущуюся и говорящую о неизвестной вине, Дениска переполнен ощущением бодрости и силы.

— А ну, кто скорее доскачет до осоки! — говорит он Егорушке, главному герою рассказа, и не только одерживает победу над усталым от зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этим, предлагает тотчас же скакать обратно.

Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И действительно, в самый разгар восьмидесятых годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песнью, он явился беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы. То и дело у него неизвестно откуда являлись разные проекты, и притом как-то сразу, в готовом виде, с мелкими деталями... Однажды он стал развивать передо мною план журнала, в котором будут участвовать беллетристы, числом двадцать пять, «и все начинающие, вообще молодые». В другой раз, устремив на меня свои прекрасные глаза с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

— Слушайте, Короленко... Я приеду к вам в Нижний.

— Буду очень рад. Смотрите же — не обманите.

— Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели.

Я засмеялся. Это был опять Дениска.

— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте.

IV

Он сдержал слово, приехал в Нижний и очаровал всех, кто его в это время видел [13]. А в следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы [14]. Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

— Я действительно пишу и непременно напишу драму, — сказал он, — «Иван Иванович Иванов»... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизодами, которые видишь ясно в воображении, — вдруг пустота...

— Через которую, — сказал я, — приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

— Вот, вот...

— Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

— Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и как будто утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова, — в этой драме впервые сказался перелом в настроении Чехова. Я помню, как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, например о фразе: «Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках». Правда, это говорит Иванов, но русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя; да, сказать правду, в «Иванове» не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила в прежних произведениях Чехова. Драма русской жизни захватывала в свой широкий водоворот вышедшего на ее арену писателя: в его произведении чувствовалось невольно веяние какой-то тенденции,

чувствовалось, что автор на что-то нападает и что-то защищает, и спор шел о том, что именно он защищает и на что нападает. Вообще эта первая драма, которую Чехов переделывал несколько раз [15], может дать ценный материал для вдумчивого биографа, который пожелает проследить историю душевного перелома, приведшего Чехова от «Нового времени», в котором он охотно писал вначале и куда не давал ни строчки в последние годы, — в «Русские ведомости», в «Жизнь» и в «Русскую мысль»... Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта *.

Следующий за «Степью» рассказ «Именины» был тоже напечатан в «Северном вестнике». За ним следовал третий («Огни»)...[16] Его настроение значительно усложнялось, а пожалуй, и омрачалось несколько циничными, но еще более грустно-скептическими нотами, и Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом [17]. Остальное памятно, без сомнения, всей читающей России. За «Пестрыми рассказами» последовал сборник с характерным названием: «В сумерках». Затем «Хмурые люди»; [18] затем в «Русской мысли» появилась «Палата № 6» [19] — произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с каким выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом. К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе... [20]

---

* Драма «Иванов» была напечатана в «Северном вестнике» (март 1889 г.). (*Примеч. В. Г. Короленко.*)

V

После этих первых встреч, довольно частых в начале нашего знакомства, мы виделись с Чеховым все реже и реже. Наши литературные связи и симпатии (я говорю о личных связях и симпатиях в литературной среде) в конце 80-х и начале 90-х годов были различны, и выходило так, что они перекрещивались редко также и впоследствии, когда он сошелся с родственными и мне литературными кругами. Я тогда же (то есть в конце 80-х годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе с ним отправились в назначенный час в «Пале-Рояль», где тогда жил Михайловский [21] и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала «Мир божий»). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна — человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный — задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

— Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

— Это *хорошо*... — но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора «Пестрых рассказов», была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмористическим образам из боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо — я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежа-

ми смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы... Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось — к сожалению, даже слишком скоро — на самом Чехове.

Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его *самого*, — и они разошлись несколько холодно, пожалуй, с безотчетным нерасположением друг к другу.

Теперь нет уже обоих. Успенский умер раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены с надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящем.

Вспоминается мне еще один разговор с Чеховым, о Гаршине. Не помню, было ли это после смерти Гаршина или под конец его омраченной жизни...[22] Я недавно вернулся из Сибири[23], и во мне еще были живы и свежи глубокие впечатления от ее величаво-угрюмой природы и ее людей. И мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршина от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное — снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... если бы взамен этого поставить его лицом к лицу только с первобытной природой и первобытным *человеком*, — то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

— Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два «раздвинулись частицы» у Успенского, и сколько ни искал он исцеления во «врачующем просторе»[24] родины, как ни метался по степям и ущельям Южного Урала, по горным хребтам Кавказа, по Волге и «захолустным рекам» средней *России*, — ему не удалось стряхнуть все глубже

въедавшейся в душу тоски, как и сознания «общей ответственности» перед правдой жизни за все ее неправды. А затем «раздвинулись частицы» и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая, разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а значит, и физические процессы...

Мои встречи с Чеховым во второй половине 90-х годов уже были не часты и случайны. В период уже определившейся болезни мы встретились только три-четыре раза. Один раз это было в 1897 г., в редакции «Русской мысли» [25]. В то время я тоже был болен. Чехов расспрашивал меня со вниманием товарища и врача и, выйдя из редакции, на улице задушевно пожал мне руку и сказал:

— Ничего... вы поправитесь, уверяю вас, вы поправитесь.

— И вы тоже поправитесь, Антон Павлович!.. — сказал я с верой, истекавшей из сильного желания верить.

— Да, да, надеюсь... Мне и теперь лучше, — ответил он, и мы расстались.

В последний раз я видел его в 1902 г. в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении [26]. Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей даче, которую построил (по-художнически непрактично) под Ялтой; с ним жили сестра и жена. Как и в первую нашу встречу, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда, Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании. Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти. Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку. Во время разговора он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстым.

— Поленца, «Крестьянин» [27]. Читали? Хорошая книга, — сказал он. — Вот если бы мне еще написать одну такую книгу... я считал бы, что этого довольно. Можно умереть.

Он умер раньше.

VI

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь — Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой меланхолией, двое других — беспросветной тоской. Пушкин называл Гоголя «веселым меланхоликом», и это меткое определение относится одинаково ко всем перечисленным писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов...

Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность, — употребляя терминологию химиков, — неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..

И. Л. ЛЕОНТЬЕВ-ЩЕГЛОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АНТОНЕ ЧЕХОВЕ

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Одно из самых дорогих украшений моего рабочего стола — портрет Антона Чехова с дружеской надписью: «...на добрую нежную память о старине глубокой, когда мы познакомились...»

В самом деле, когда мы познакомились?

На фотографии помечено «12 января 1902 г.»; а познакомились мы... в декабре 1887 года... Старина, нельзя сказать, чтобы особенно глубокая!..

Знакомство произошло в большой зале ресторана гостиницы «Москва»; [1] помню даже такую мелочь — именно за последним столом у окна, что против входа в залу, — тем более помню, что за этим самым столом, по странной случайности, не раз приходилось скромно пировать со свежеиспеченным офицериком Каспийского полка Семеном Надсоном...

Заочно, по сочинениям, мы знали друг друга достаточно; но свидеться пришлось здесь лишь впервые; да, кажется, и в Петербурге Чехов был тогда впервые [2], по крайней мере в качестве литературной знаменитости.

Не застав А. П. в номере гостиницы, я оставил ему записку и сошел вниз, в зал ресторана... В ожидании, заказал стакан чаю, взял какую-то газету и уже было углубился в чтение, когда услышал вдруг около себя мягкий, деликатный оклик:

— По всей видимости... Щеглов?

Я бросил газету...

Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый очень невзыскательно, по-провинциальному, с лицом от-

крытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку.

Я полюбопытствовал в свою очередь:

— По всей видимости... Чехов?

И мы оба рассмеялись.

Через какие-нибудь четверть часа я уже беседовал с Чеховым по душе, точно с человеком, с которым познакомился десять лет тому назад; а затем, когда в третьем часу пополуночи мы с ним прощались на подъезде палкинского ресторана (куда мы перекочевали из «Москвы»), он звал меня по-приятельски «Жаном», а я его «Антуаном»...

И вот пробежало семнадцать с лишком лет, а эти нежные дружеские отношения как завязались сразу, под веселую руку, так и остались душевно неприкосновенными на всю жизнь, невзирая на разность литературных положений и всяческие житейские превратности.

Не умею вам сказать, как это так случилось: это секрет Чехова, который он унес с собой в могилу, — чудесный секрет... брать человека в душевный плен прямо с места! Не я один, разумеется, испытал на себе эту непосредственность чеховского захвата; хотя должен оговориться, что далеко не на всех распространял он в одинаковой мере свое душевное гостеприимство...

На моих глазах, между прочим, произошло такое «мирное пленение» Алексея Николаевича Плещеева.

Ал. Ник., с первых же рассказов Чехова, появившихся на страницах «Нового времени» [3], сделавшийся его горячим почитателем, с нетерпением ожидал появления в Петербурге самого автора. Чехов же почему-то предпочел явиться первый раз к маститому поэту вместе со мной, как с давним приятелем А. Н., и всю дорогу от гостиницы до квартиры Плещеева сильно волновался...

Чехов удивительно умел владеть собой, и это чуть ли не единственный случай на моей памяти, когда я его видел таким; видимо, он чуял, что через скромный плещеевский порог ему отмыкалась заветная дверь в большую литературу.

Алексей Николаевич, при входе Чехова, пришел в некоторое трогательное замешательство.

— Антон Павлович, наконец-то! Ну, вот, как я рад...

Антон Павлович на радушный прием полусконфуженно пробормотал какую-то любезность. Мы сели. Как теперь помню, Плещеев, для начала разговора, осведомился у Чехова об одном общем московском знакомом. Чехов чуть-

чуть улыбнулся и обронил по адресу московского знакомого добродушное, но чрезвычайно меткое замечание, заставившее нас рассмеяться... И вот, не прошло получаса, как милейший А. Н. был у Чехова в полном «душевном плену» и волновался в свою очередь, тогда как Чехов быстро вошел в свое обычное философски-юмористическое настроение. Загляни кто-нибудь случайно тогда в кабинет Плещеева, он наверное бы подумал, что беседуют давние близкие друзья... и ни за что бы не поверил, что один из трех был совсем новый, приезжий гость. Да, явился Чехов к Плещееву почти чужим человеком, а вышел от него закадычным приятелем...

В этот первый приезд Чехова в Петербург редкий день что не приходилось с ним видеться: то мы виделись у Плещеева или у А. С. Суворина, то сходились, заранее сговорившись, в театре, то засиживались за поздним ужином у Палкина или в «Малом Ярославце»; несколько раз он был у меня, несмотря на то, что я тогда жил очень далеко от центра города — на Петербургской стороне...

Экое, подумаешь, славное время было!.. Даже выражение «знакомство с Чеховым» как-то сюда не укладывается — вернее было бы назвать тогдашнее настроение — «опьянение Чеховым»... опьянение его талантом, умом, юмором, всей его личностью, чуждой фразы и мелочной условности. И я ли один, спрашивается, испытал это чувство? В большей или меньшей степени его переживали все соприкасавшиеся тогда с Чеховым... А кого только не перебывало тогда в его узеньком полутемном номерке гостиницы «Москва», начиная с маститых литературных знаменитостей и кончая неведомыми юными дебютантами? Этот месяц его пребывания в Петербурге [4] вышел словно «медовый месяц» чеховской славы, и сам Чехов заметно был захвачен искренним радушием, теснившим его со всех сторон. Отличавшийся чисто хохлацкой замкнутостью, Чехов в этот раз, против воли, сбивался со своего основного сдержанного тона и распахивался подчас с юношеской беззаботностью.

Грешный человек, я, в свою очередь, принимал эти случайные товарищеские излияния с одинаковой беспечностью и, счастливый душевной близостью дорогого человека, меньше всего помышлял о нем как о литературной знаменитости, чьи мысли и замечания просятся в записную книжку... До записыванья ли было в этом чудесном угаре дружбы и молодости? И только теперь, когда угар рассеялся, вижу, сколько драгоценнейших перлов безжалостно

утеряно... Далекие воспоминания, словно морская пучина — сиди и жди, пока с возмущенного дна не выкинутся на берег, вместе со всяким посторонним сором, случайные редкие перлы!

А сколько погибло, между прочим, тонких «чеховских сюжетов», импровизированных под наплывом известного настроения и затем бесследно таявших в разгаре дальнейшей беседы. В моей памяти уцелели два-три из них и то, как в дымке тумана, без ярких подробностей, оживлявших тогда пересказ...

Один отрывок оставил во мне особенно сильное, неизгладимое впечатление. А история была самая будничная... «Молодой муж, учитель гимназии, собирается утром на службу. Жена, к его удивлению, еще не вставала, и он, встревоженный, идет в спальню и будит... Та нехотя поднимается, спускает ноги с кровати и вяло натягивает чулок на левую ногу... На его вопрос она сипло произносит одно слово: «Нездоровится». Слово самое обыкновенное, но голос, каким оно произнесено, тусклый, безучастный взгляд, какие-то темные пятна, видные на груди от спустившейся с плеча рубахи, — все это заставляет молодого педагога похолодеть от предчувствия чего-то страшного, неизбежного... Но ему все-таки надо идти на службу, он прощается и выходит на улицу... И вот здесь, на улице, его вдруг охватывает такая безысходная тоска, что он с трудом волочит ноги, точно ноги стали не его, а чужие... Да, он знает, что его жена скоро умрет, и знает, что доктора тут ничего не могут, и все-таки идет в гимназию... И в то же время думает про себя: зачем вообще всякие гимназии и педагогия, и столько тягостных хлопот — все одно, в конце концов, смерть?.. Он проходит мимо памятника Пушкину и опять думает: «Для чего теперь Пушкин, и сладкие стихи, и громкая слава, и все?..»

Разумеется, это была случайная импровизация за стаканом доброго вина; но, в устах Чехова, она произвела на меня тогда странное, щемящее впечатление, точно рассказ пушкинского Моцарта о загадочном появлении «черного человека»... Помните, у Пушкина:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится. Вот и теперь,
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит...[5]

Чехову этот «черный» гость тоже не давал покоя, и от времени до времени его призрак появляется то в образе

«Черного монаха», то в трогательном силуэте бедной «Кати Климовой» («Тиф»); его зловещее дыхание уже чувствуется в жалобных стонах «Скрипки Ротшильда», в «Скучной истории» и «Попрыгунье»...

Припоминаю еще небольшой пересказ, начало какого-то романа, тоже, кажется, не попавшего на бумагу. Здесь отпечатлелась та же меланхолическая светотень смерти и жизни... Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи железнодорожной станции... Кого хоронили, теперь не помню; остались в памяти лишь подробности обстановки... «что в воздухе чуялась весна, что на соседней с вырытой могилой решетке бестолково чирикали воробьи, и печальное погребальное пение, относимое ветром в сторону, звучало почему-то совсем не печально... Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее не искренна и что она больше вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих... Часть вагонов переводили на другой путь, и хриплые окрики кондукторов перемешивались с глухим цоканьем буферов и сердитым фырканьем паровоза... Из-за низенькой ограды кладбища видна была часть станционной платформы; и видно было, как по платформе прогуливался тоненький офицер в военной тужурке, с хлыстиком в руке; какая-то беременная баба в желтом головном платке тащила корзину с бельем, а на бабу лаяла белая лохматая собачка, должно быть, собачка начальника станции».

Дальше не помню...

Зато отчетливо помню остов другого рассказа, хотя заглавие его пропустил мимо ушей, кажется, он должен был назваться «В грозу»:

«Проселочной дорогой, по ржаному полю, идут трое: захудалый мещанин, портной по ремеслу, и два монаха. Один монах толстый, плешивый, болтливый, нечто вроде пушкинского «Варлаама»; другой длинный, молчаливый, похожий обликом на изображение угрюмых монахов на воротах лавры... Все трое сошлись случайно, подгоняемые надвигающейся позади них большой грозовой тучей. Однако же зловещая туча догоняет их, кругом темнеет, как ночью, и совсем близко от них разражается оглушительный удар грома. На счастье, около дороги попадается старый развесистый дуб, и они в смятении спасаются под его прикрытие... Между тем гроза, сопровождаемая вихрем и ливнем, обращается в настоящее светопреставление. Больше

всех боится грозы толстый монах и, под внушением своего спутника, — мрачного монаха, сбивчиво прорицающего что-то из Апокалипсиса, начинает вдруг каяться в грехах, причем вдается в совершенно лишние подробности любострастного характера. Мещанин плачет и, после одного особенно сильного удара грома, тоже выбалтывает всякую дрянь... Но вот гроза проходит, горизонт проясняется и виднеющийся вдали, на горе, купол городского собора загорается солнцем. Монахи и портной отряхиваются, осматриваются, и всем троим делается стыдно. Толстый монах пытается свалить происшедшее с ним на бесовское наваждение, но неудачно... Молча доходят они до города и молча расходятся затем в разные стороны».

Как жаль, что этот рассказ не был написан Чеховым!.. Если вспомнить удивительное описание грозы в чеховской «Степи», можно наверное сказать, что Получился бы один из тех заразительно жизненных, классически сжатых рассказов, какие умел писать только Чехов, — художественный перл, вроде его «Ведьмы» и «Свирели»... А юмор Чехова — смелый, сочный, жизнерадостный, как бы ярко он вспыхнул здесь, хотя бы в той же покаянной исповеди блудного монаха!..

В этот первый писательский период источник чеховского юмора бил особенно сильной струей, и его брильянтовые брызги сверкали в изобилии всюду — в рассказах, письмах, в устных беседах и случайных замечаниях.

Пьес Чехов тогда еще не писал, и одноактная шутка «Сила гипнотизма», о которой он вскользь упоминает в одном из писем ко мне, так и осталась неиспользованной... Это была чуть ли не единственная из тогдашних чеховских импровизаций в драматической форме, из коей, впрочем, в моей памяти сохранилась лишь часть «сценария»...

Какая-то черноглазая вдовушка вскружила головы двум своим поклонникам: толстому майору с превосходнейшими майорскими усами и юному, совершенно безусому, аптекарскому помощнику. Оба соперника, — и военный, и штатский, — от нее без ума и готовы на всякие глупости ради ее жгучих очей, обладающих, по их уверению, какой-то особенной демонической силой. Происходит забавная любовная сцена между соблазнительной вдовушкой и толстым майором, который, пыхтя, опускается перед вдовушкой на колени, предлагает ей руку и сердце и клянется, что из любви к ней пойдет на самые ужасные жертвы. Жестокая вдовушка объявляет влюбленному майору, что она ничего не имеет против его предложения и что

единственное препятствие к брачному поцелую... щетинистые майорские усы. И, желая испытать демоническую силу своих очей, вдовушка гипнотизирует майора и гипнотизирует настолько удачно, что майор молча поворачивается к двери и направляется непосредственно из гостиной в первую попавшуюся цирюльню. Затем происходит какая-то водевильная путаница, подробности которой улетучились из моей головы, но в результате которой получается полная победа безусого фармацевта. (Кажется, предприимчивый жених, пользуясь отсутствием соперника, подсыпает вдовушке в чашку кофе любовный порошок собственного изобретения.) И вот, в тот самый момент, когда вдовушка падает в объятия аптекаря, в дверях появляется загипнотизированный майор и, притом в самом смешном и глупом положении: он только что сбросил свои великолепные усы... Разумеется, при виде коварства вдовушки, «сила гипнотизма» моментально кончается, а вместе с тем кончается и водевиль.

Помню, над последней сценой, то есть появлением майора без усов, мы оба очень смеялись. По-видимому, «Силе гипнотизма» суждено было сделаться уморительнейшим и популярнейшим из русских фарсов, и я тогда же взял с Чехова слово, что он примется за эту вещь, не откладывая в долгий ящик.

«Что же, Антуан, «Сила гипнотизма»?» — запрашиваю его вскоре в одном из писем...

«Силу гипнотизма» напишу летом — теперь не хочется!» [6] — беспечно откликается Антуан из своего московского затишья.

Но прошло лето, наступила зима, затем пробежало много лет, и иные меланхолические мотивы заслонили беспардонно веселую шутку молодости [7].

Беседа с Чеховым была для меня величайшим наслаждением. Вопросы искусства и литературы, мимоходные мнения о разных лицах, самые заурядные будничные мелочи — все получало в его устах свежую оригинальную окраску, ту неуловимую прелесть жизни и юмора, которая почти непередаваема на бумаге. Наконец много говорено было с глазу на глаз такого задушевно интимного, товарищески откровенного, для чего пока не пришло еще срока.

Известное замечание Чехова, что «у русского человека настоящая беседа, по душе, всегда приходится после полуночи», — имело самое широкое применение в наших тогдашних беседах, и так как обстановкой их являлся, по обыкновению, ресторан, то нет ничего удивительного, что,

по окончании собеседования, каждый из нас думал о постели, а не о посмертной славе и мемуарах.

Хотя П. А. Сергеенко в своих воспоминаниях о Чехове находит в нем черты «гетевской организации» [8], но, конечно, Антон Чехов по своей хохлацко-казацкой натуре был очень далек от педантичности Вольфганга Гете; а я отнюдь не обладал граммофонной способностью Иоганна Эккермана...[9] В моих черновых бумагах за 1887 г. отыскалось всего две строки на этот счет:

«8—15 декабря. — Познакомился с Антоном Чеховым. Импровизация Чехова. «Сила гипнотизма» Чехова и т. д.».

«Сила гипнотизма» Чехова» — не правда ли, как символично звучит сейчас эта фраза в применении к притягательной личности Антона Чехова? «Сила» эта пережила самого Чехова и распространяет до сих пор свое мистическое влияние в письмах Чехова и воспоминаниях о нем — то как посмертный упрек, то как чуткий совет, тоном остроумной шутки или сердечного замечания...

Спросите об этом всех, кто знал более или менее близко Чехова.

Наверное, все подтвердят то же самое.

II. МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Осенью следующего года мне случилось быть в Москве, и, разумеется, первый визит мой был на Кудринскую-Садовую, где тогда проживал А. П. Чехов со своими родителями, сестрой и тремя братьями (Иваном, Михаилом и Николаем). В родной семье редко чувствуешь себя так душевно легко, тепло и уютно, как чувствовал я себя в радушной семье Чехова... в «Милой Чехии», по выражению А. Н. Плещеева.

Надо сказать, что очутился я в Москве довольно неожиданно, вызванный телеграммой Ф. А. Корша, ставившего в своем театре мою трехактную комедию «Дачный муж»... Благодарно вспоминаю, что в моем воспалительном авторском состоянии «Милая Чехия» сыграла благодетельнейшую роль согревающего компресса. Да это ли одно? Дорогой Ант. Павл. принимал в моем «Дачном муже» самое живое товарищеское участие: перечитывал пьесу — в рукописи, присутствовал с семьею в ложе на первом представлении, сделал мне несколько крайне ценных указаний... Между прочим, он советовал совсем откинуть третий акт, напичканный, по его выражению, «дешевой

моралью», и заключить пьесу стоном дачного мужа, как доминирующим аккордом.

Как сейчас помню поздний осенний вечер на Кудринской-Садовой, в знакомом деревянном флигеле. Я сижу на диване в кабинете Чехова, а неподалеку от меня, согнувшись над письменным столом, сидит сам Чехов и при свете лампы что-то дописывает... Сверху, из второго этажа, доносятся нежные, меланхолические звуки шопеновского ноктюрна. Это брат Антона — Николай Павлович, художник, фантазирует на рояли. (Чехов очень любил музыку и особенно любил обдумывать свои работы под ласкающую музыкальную мелодию.)

Дописав страничку, Чехов кладет перо и оборачивается ко мне:

— Это утро, Жан, я думал о вас... все думал, отчего вы так мало сравнительно пишете! И, знаете, отчего это?

Он встал и, подойдя ко мне, тоном трогательной отеческой журьбы продолжал:

— Все оттого, что вы до чертиков субъективны! Так, Жан, нельзя... Нельзя выворачивать только пережитое — этак ведь никаких нервов не хватит!! Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось как бы второй натурой!..

Я заметил Чехову, что в тридцать лет не так-то легко себя переделать, и что он, как врач по профессии, находится в этом отношении в более благоприятных условиях.

— Ну, этого не скажите, — проговорил Чехов, задумчиво пощипывая свою бородку. — Мне медицина, напротив, скорей мешает предаваться вольному искусству, мешает, понимаете, в смысле непосредственности впечатления! Как бы это вам объяснить потолковее?..

Чехов принялся ходить взад и вперед по комнате — обычная его повадка, когда он хотел что-нибудь рассказать или доказать, — потом остановился у окна и заглянул на освещенный луной дворик.

— Вот, например, простой человек смотрит на луну и умиляется, как перед чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном смотрит на нее совсем иными глазами... у него уже нет и не может быть этих дорогих иллюзий! И у меня, как медика, их тоже мало... и, конечно, жаль — это как-то сушит жизнь...

Мы помолчали. Мысль Чехова неожиданно перескакивает в другую сторону, и, отвернувшись от окна, он смотрит на меня смеющимися глазами:

— Знаете что, Жан: напишемте-ка вместе развеселую комедию?.. Право же, это идея!

Откровенно сказать, идея эта пришлась мне очень по сердцу, и осуществление ее было, по-видимому, в пределах возможности. Но препятствие заключалось в том, что Чехов был коренной московский обыватель, а я жил постоянно в Петербурге и бывал в Москве изредка, наездами. Так идея эта и не осуществилась, хотя Чехов не однажды возвращался к ней во время наших свиданий. Но как раз, когда он стал соблазнять меня, «какую уйму деньжищ мы могли бы заработать таким гонкуровским способом» [10], нас позвали наверх ужинать.

Там уже семья Чехова была в полном сборе, с отцом Чехова, Павлом Егоровичем, во главе; был еще кое-кто из молодых, товарищей Ивана и Михаила Чеховых... Многим московским питомцам «Эрмитажа» и Тестова, вероятно, покажется ересью, если я отмечу здесь, что нигде и никогда так вкусно не едал и не пивал, как за столом у Чеховых, по крайней мере так весело и аппетитно. Достаточно я пожил на свете, но, повторяю, в редком доме встречал такое трогательное радушие, такую счастливую атмосферу душевности и непринужденности!.. Мать Чехова, дорогая Евгения Яковлевна, и его молоденькая сестра, Мария Павловна, были решительно добрыми гениями Антона Павловича, и нежно заботливому уходу, которым он был неизменно окружен в свою недолгую жизнь, наверное, позавидовал бы не один современный муж...

После ужина Николай Павлович опять играл на рояли; потом что-то пели хором, чему-то оглушительно громко смеялись — и, в заключение, молодежь, возбужденная чудною лунною ночью, потащила меня, как приезжего гостя, шататься по стогнам первопрестольной. Антона Чехова тоже очень соблазняла прогулка, но у него на плечах была какая-то срочная работа... и он остался. Уходя, я видел, как он уселся за письменный стол, как-то по-стариковски сгорбившись, и снова взялся за перо.

Да, не мало тяжести лежало тогда на плечах бедного Антона! Можно сказать, весь дом Чеховых в то время держался на одном Антоне. И нужду же пережил он в начале своей писательской деятельности — боже упаси! Мне пришлось случайно пробежать одно из писем Чехова к Д. В. Григоровичу, где он описывает свои первые писательские мытарства, — даже жутко становится, когда вспомнишь, на чью долю выпало столько горьких мук!!

Тем более чести Петербургу, что он первый «открыл»

Чехова и поддержал его морально и материально. Москва (то есть в сущности московская интеллигенция) очень много шумела на его похоронах и много перепортила могильных цветников в Новодевичьем монастыре; но чествовать писателя, достаточно уже прославленного в столице и за границей, не такая, признаться, громкая заслуга. Честь открытия все же остается за Петербургом. Москве, таким образом, принадлежит честь «зарытия таланта» — траурная церемония, нередко практикуемая московскими узкопартийными кружками даже при жизни писателя!..

Кстати сказать, меня немало озадачивала одна черта у Чехова: отчего он, коренной житель Москвы, так мало использовал эту коренную Москву в своих произведениях — эту удивительную Москву, так мало меняющуюся, когда все на свете меняется, все еще яркую, когда все тускнеет и подкрашивается под один однообразный серый цвет, кипящую юмором и анекдотами чуть не на каждом шагу в своих неведомых переулках и тупиках, в торговых рядах и трактирах!..

Теперь, вглядываясь вдумчивее в обстоятельства московской жизни Чехова, вижу ясно, что, именно живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве: приходилось исключительно думать о хлебе насущном и писать, писать, писать... Самое главное место занимал в этот «оседлый» московский период в его обиходе — письменный стол, тогда как в Петербурге, куда он наезжал изредка и где временно отдыхал от всяких работ и забот, заглавную роль играл пиршественный стол — понимая, разумеется, это слово в широком символическом смысле. Оттого, в большинстве своих писем, он всегда с такой теплотой вспоминает свои петербургские дни, своих петербургских друзей и разные петербургские мелочи.

Но вопрос о том, какой из городов он больше любил — Петербург или М о с к в у, — по отношению к Чехову до некоторой степени праздный вопрос. Чехов больших городов «вообще» не любил и мог бы ответить на такой вопрос стихом Бодлера:

Я люблю... облака — там, в небесах,
эти чудные облака!

Больше всего Чехов любил природу и лучше всего себя чувствовал на лоне природы. Наиболее жизнерадостные, наиболее тонкие и поэтические из его писем вылились из-под его пера именно с этого вечно юного лона! Все же Петербургу первое время принадлежали его лучшие симпа-

тии и держались крепко добрый десяток лет, вплоть до злополучного первого представления на александринской сцене его «Чайки» [11]. Этот роковой день непредвиденно рассорил Чехова с Петербургом, и с той поры он делается его редким гостем или появляется на самое короткое время и с сохранением строжайшего инкогнито.

В общем этот первый период чеховской литературной известности — 1886 по 1896 год — можно считать наиболее счастливой половиной его личной жизни, причем самая безоблачная полоса захватывает первые три года (получение Пушкинской премии [12], шумный успех «Иванова» [13], сближение с А. Н. Плещеевым, Д. В. Григоровичем, П. И. Чайковским, Всеволодом Гаршиным, Владимиром Короленко и друг.). Зато и промелькнули эти первые годы нелепо, неуловимо, точно сладкий майский сон, промелькнули в безоглядной сумасбродной суете, оставив в воспоминании какие-то светлые праздничные клочки... [14] В Москве мы по большей части засиживались с Чеховым в дешевенькой ресторации Вельде (рядом с Малым театром), изредка ужинали у Тестова, и еще реже в «Большой Московской»...

Вспоминается мне, между прочим, одно полночное пиршество в «Большой Московской» гостинице в обществе А. П. Чехова и А. С. Суворина. Как ни был последний в то время удручен своей недавней семейной потерей [15], Чехов сумел-таки его расшевелить и зажечь. Надо и то сказать — тема, тронутая Чеховым (о рутине и тенденциозности, заедающих современную русскую литературу и искусство), пришлась особенно по душе Суворину, и он распахнулся, что называется вовсю, решительно увлекая своей художественной чуткостью, заразительной искренностью и чисто юношеской запальчивостью... Тема оказалась, однако, чересчур обширной, и было неудивительно, что, когда мы покинули «Большую Московскую» гостиницу, на улице светало и в московских церквах звонили к ранней обедне. А между тем, Суворин все еще продолжал «гореть» и махать руками, и что-то доказывать... до самого подъезда «Славянского базара», куда мы его довели. Со стороны нашу компанию смело можно было принять за московских студентов, слушающих профессора-шестидесятника, и меньше всего, конечно, подумать... об издателе «Нового времени» и его сотрудниках... [16]

Да уж не во сне ли, в самом деле, это все было?..

О тогдашних «петербургских свиданиях» нечего и говорить: теперь, издали, они мне представляются какой-то непрерывной вереницей радостных тостов во славу русской

литературы в лице Антона Павловича, бывшего повсюду почетнейшим застольным гостем. Числа и месяцы в этой суматохе невольно спутываются... То встречаешь с Антоном Чеховым новый год у Суворина, то справляешь вместе «капустник» у артиста Свободина, то присутствуешь на импровизированной в честь Чехова литературно-музыкальной вечеринке у старика Плещеева... Сегодня устраивается в «Малом Ярославце» торжественная «кулебяка» в день ангела Чехова, а спустя дня два сам Чехов тащит меня на Васильевский остров «на блины» к какому-то совершенно неведомому мне хлебосольному помещику — само собой разумеется, ярому поклоннику А. П.

Припоминаются невольно и собственные именины, справлявшиеся мной в оные дни весело и шумно, и на них в числе гостей — наиболее дорогие сердцу лица: А. Н. Плещеев, А. П. Чехов, П. М. Свободин... Пародируя шиллеровского «Дон Карлоса», с полным правом могу воскликнуть:

«...О, эта жизнь была

нелепа, но божественно прекрасна! Прошли все эти сны».

III. ЧЕХОВ И ТЕАТР

«Пишу докторскую диссертацию на тему: о способах прививки Ивану Щеглову ненависти к театру»... — острит в одном из своих писем Антон Чехов.

В следующем письме ко мне он снова дружески журит меня за мою слабость к драматургии: «Театр — это змея, сосущая вашу кровь. Пока у вас беллетрист не победит драматурга, до тех пор я буду есть вас и предавать ваши пьесы проклятию. Так и знайте».

В другом письме опять то же самое: «Вы хотите спорить со мной о театре? Сделайте ваше одолжение, но вам не переспорить моей нелюбви к эшафотам, где казнят драматургов. Современный театр — это мир бестолочи, тупости и пустозвонства!» [17]

Эта заведомая нелюбовь к театру, как к чему-то искусственному и низшему по существу, проходит доминирующей нотой в большинстве писем Чехова, в особенности в начале его литературной деятельности [18].

Драматургом же сделался он, можно сказать, нечаянно, попав однажды в театр Корша на представление заигранной одноактной пьески «Победителей не судят» (сюжет пьески вертится на укрощении грубого, но добродушного моряка великосветской красавицей). «Победителей не

судят» — переделка с французского, и довольно-таки топорная, изящной салонной вещицы Пьера Бертона «Les jurons de Cadillac», в которой восхищали в шестидесятых годах в Михайловском театре петербургскую публику г-жа Напталь-Арно и г. Дьёдонне. У Корша отличались г-жа Рыбчинская и г. Соловцов, находившийся, кстати сказать, в приятельских отношениях с Чеховым. Соловцов своей дюжей фигурой, зычным голосом и резкой манерой, подходивший как нельзя более к заглавной роли, настолько понравился Чехову, что у него, как он сам мне рассказывал, явилась мысль написать для него «роль»... нечто вроде русского медведя, взамен французского.

Таким образом, появился на свет водевиль «Медведь» — чеховский театральный первенец, жизненностью и оригинальностью оставивший далеко за флагом своих шаблонных водевильных сверстников.

Сценический успех «Медведя» не помешал, однако, Чехову критически отнестись к самому исполнению. «Соловцов играл феноменально, — пишет он мне, цитируя любимое словечко режиссера театра Корша. — Рыбчинская была прилична и мила. В театре стоял непрерывный хохот; монологи обрывались аплодисментами. В 1-е и 2-е представление вызывали и актеров, и автора [19]. Все газетчики, кроме Васильева [20], расхвалили... Но, душа моя, играют Соловцов и Рыбчинская не артистически, без оттенков, дуют в одну ноту, трусят и проч. Игра топорная». И заключает с обычным добродушным юмором: «После первого представления случилось несчастье: кофейник убил моего медведя. Рыбчинская пила кофе, кофейник лопнул от пара и обварил ей лицо. Второй раз играла Глама, очень прилично. Теперь Глама уехала в Питер, и, таким образом, мой пушной зверь поневоле издох, не прожив и трех дней».

Почти одновременно явился на свет непредвиденный «драматический выкидыш» (слово Чехова) уже в виде большой четырехактной комедии... Чехов недаром называл своего «Иванова» «выкидышем»: если «Медведь» написан был для Соловцова, что называется, в один присест, то «Иванов» был набросан чуть ли не на пари с Коршем в каких-нибудь две недели, тот самый «Иванов», который впоследствии произвел такой фурор на александринской сцене. В этот же «сезон», по его собственному свидетельству (письмо А. Н. Плещееву) [21], он написал «Степь», «Огни» и массу мелких рассказов... Это был ослепительный взрыв чеховского таланта, окрыленного шумным литературным успехом!.. Добавьте к этому, что в промежуток,



Афиша первой постановки
пьесы А. П. Чехова «Иванов». 1887.

между делом, он еще выпустил преуморительнейший одноактный водевиль «Предложение», сделавшийся сразу любимейшим детищем провинциальных сцен.

Вообще, надо сказать, к веселому остроумному водевилю Чехов питал явную слабость и в театре особенно любил смотреть веселые пьесы. И мне, и другим он не раз повторял, что «написать хороший водевиль — труднейшая штука», подразумевая под словом «хороший» искреннюю вспышку человеческого смеха. «Plus j'y réfléchis plus je

trouve, que toute la philosophie se résume en bonne humeur *, — обмолвился как-то Эрнест Ренан, и в применении к воззрению Антона Чехова на добродушную веселую шутку эти слова великого ученого можно было передать по-русски грибоедовским стихом:

Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль... [22]

Когда несколько лет спустя, в одно из наших московских свиданий, я попенял Чехову, отчего он не написал обещанного водевиля («Сила гипнотизма»), Чехов задумчиво, как бы про себя, проговорил:

— Ничего не поделаешь... нужного настроения не было! Для водевиля нужно, понимаете, совсем особое расположение духа... жизнерадостное, как у свежеиспеченного прапорщика, а где возьмешь, к лешему, в наше паскудное время?.. Да, Жан, написать искренний водевиль далеко не последнее дело!!

«Водевиль» является, некоторым образом, в роли мирового посредника между Чеховым и театром. Что же до наших личных приятельских отношений с Чеховым, то тут он сыграл негласную роль свата, и сам Чехов признавался, что первую симпатию ко мне и желание познакомиться возымел, посмотрев в театре Корша мою комедию «В горах Кавказа», которую, впрочем, он отнюдь не считал комедией, видя в ней лишь «счастливый образчик русского оригинального водевиля» (что для меня тем более лестно).

Кстати сказать, наше последнее «петербургское» свидание, по странному совпадению симпатий, вышло как раз «водевильное», то есть произошло в ложе во время представления моего водевиля «Автора в театре нет». Все время Чехов очень смеялся и, по падении занавеса, под гул последних аплодисментов, дружески-наставительно мне заметил:

— Вот, Жан, ваш настоящий жанр... Не бросайте, милый, водевили... поверьте, это благороднейший род, и который не всякому дается!

Возвращаюсь, однако, к «Иванову».

Спешно написанный, еще более спешно разыгранный артистами театра Корша и возбудивший разноголосицу в московской прессе, «Иванов» в конец расстроил нервы Чехову, когда автор, ввиду постановки пьесы на петербургской казенной сцене, принялся за переделку и взглянул на нее строгим оком художника... Впрочем, каждому ориги-

---

* Чем более я размышляю, тем более убеждаюсь, что сущность философии заключается в хорошем расположении духа (*фр.*).

нальному драматургу известно, что гораздо легче написать новую пьесу, чем переделать старую, а Чехову пришлось, вдобавок, переработать все коренным образом... Разница между московским и петербургским «Ивановым» получилась разительная, доходившая до последней корректурной крайности, если вспомнить, что у Корша Иванов умирал от разрыва сердца, а на александринской сцене застреливался из револьвера... «Я замучился, и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое я чувствовал последние недели, — поверяет Чехов поэту Плещееву по окончании переделки. — Раньше своей пьесе я не придавал никакого значения и относился к ней с снисходительной иронией: написал, мол, и черт с ней. Теперь же, когда она вдруг нежданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана. Последний акт поразительно плох. Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил 4-й акт до неузнаваемости, отшлифовал самого Иванова — и так замучился, до такой степени возненавидел свою пьесу, что готов кончить ее словами Кина: «Палками Иванова, палками!!» [23]

Едва ли автор мог подозревать, что в Петербурге «Иванова» встретят овациями!..

На его авторское счастье, пьеса шла в бенефис режиссера Александринского театра Ф. А. Федорова-Юрковского (бенефис за 25-летнюю службу), ввиду чего роли были распределены между лучшими силами труппы, без различия рангов и самолюбий. Ансамбль вышел чудесный, и успех получился огромный [24].

Публика принимала пьесу чутко и шумно с первого акта, а по окончании третьего, после заключительной драматической сцены между Ивановым и больной Саррой, с увлечением разыгранной В. Н. Давыдовым и П. Я. Стрепетовой, устроила автору, совместно с юбиляром-режиссером, восторженную овацию. «Иванов», несмотря на многие сценические неясности, решительно захватил своей свежестью и оригинальностью, и на другой день все газеты дружно рассыпались в похвалах автору пьесы и ее исполнению. Исполнение действительно должно было польстить Чехову; даже такая незначительная эпизодическая роль, как роль помешанного на картах акцизного Косых, в лице покойного Арди вылилась в яркий комический тип. Превосходны были Варламов и Жулева (супруги Лебедевы) и прямо великолепен Свободин в роли опустившегося язвительного графа Шабельского.

В тот же вечер, после четырехактного «Иванова», шел старинный классический фарс «Адвокат Пателен» (в 3 действиях), так что спектакль, состоявший в общем из семи актов, затянулся до второго часа ночи и не дал мне возможности поздравить Чехова после спектакля.

Я увиделся с ним на другой день, на веселом банкете, устроенном в честь его помещиком С[оковниным], восторженнейшим поклонником Чехова. Вид Чехов имел сияющий, жизнерадостный, хотя несколько озадаченный размерами «ивановского успеха». На обеде было несколько литераторов, артист Свободин и дальний родственник последнего, пристав Василеостровской части, оказавшийся не только горячим почитателем А. П., но и вообще тонким знатоком литературы. Обед вышел на славу, причем славили Чехова, что называется, во всю ивановскую, а сам хозяин, поднимая бокал шампанского в честь Чехова, в заключение тоста, торжественно приравнял чеховского «Иванова» к грибоедовскому «Горе от ума».

Я взглянул искоса на Чехова: он густо покраснел, както сконфуженно осунулся на своем месте, и в глазах его мелькнули чуть-чуть заметные юмористические огоньки — дозорные писательские огоньки, свидетельствовавшие о непрерывной критике окружающего... «И Шекспиру не приходилось слышать тех речей, какие прослышал я!» — не без иронии писал он мне потом из Москвы.

Но русские поклонники родных талантов неумолимы.

Несмотря на то, что Чехов, переутомленный столичной суетой, спешил в Москву, восторженный помещик, вопреки всяким традициям, накануне отъезда А. П. собрал всех снова «на гуся».

Снова шампанское, снова шумные «шекспировские тосты»...

Все это могло вскружить голову хоть кому, только не Чехову. Возвращаясь вместе с Чеховым после «прощального гуся» на извозчике, я был озадачен странной задумчивостью, затуманившей его лицо, и на мой попрек он как-то машинально, не глядя на меня, проговорил:

— Все это очень хорошо и трогательно, а только я все думаю вот о чем...

— Есть еще о чем думать после таких оваций! — невольно вырвалось у меня.

Чехов нахмурился, что я его прервал, и продолжал:

— Я все думаю о том... что-то будет через семь лет? — И с тем же хмурым видом настойчиво повторил: — Что-то будет через семь лет?..

Как раз через семь лет было в Петербурге... первое представление чеховской «Чайки».

Считать ли те слова пророчеством или предчувствием — бог весть! Но почему-то вспомнились они только сейчас, когда заворошились воспоминания о злополучном спектакле; а тогда и я пропустил их мимо, да и сам Чехов, по-видимому, тоже позабыл.

По крайней мере незадолго до представления «Чайки» я получил от него из Мелихова сообщение об этом в самом жизнерадостном тоне: «Около 6 — жажда славы повлечет меня в Северную Пальмиру на репетиции моей «Чайки». Предполагается, что эта пьеса пойдет 17-го октября в бенефис Левкеевой, причем роль героини семнадцати лет, тоненькой барышни, будет играть сама бенефициантка». (Левкеева была очень толста, с усиками на губах и отличалась последнее время в ролях комических старух.) [26]

Но уже накануне спектакля я видел Чехова не в розовом настроении. Он только что вернулся с репетиции «Чайки» и имел вид совсем нездоровый, пил усиленно содовую воду и в антрактах резко критиковал исполнителей (кроме В. Ф. Комиссаржевской, которая, по его замечанию, одна вела роль в надлежащем тоне).

Что же такое случилось?

А вот возьмемте наудачу любую из петербургских газет, вышедших на другой день юбилейного бенефиса Левкеевой...

«Вчерашнее юбилейное торжество омрачено было беспримерным скандалом. Такого головокружительного падения пьесы мы не запомним...» — читаю в одной газете.

Разворачиваю другую: «Давно не приходилось присутствовать при таком полном провале».

Быть может, еще хотите взглянуть третью?..

«Чехова «Чайка» погибла: ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос и шмелей наполнили воздух зрительного зала — до того сильно и ядовито было шипенье...»

Перечитывая теперь эти театральные злыдни, прямо глазам не веришь! Чего тут только нет! «Птичья пьеса», «нелепица в лицах», «кляуза на живых людей», «экземпляр для театральной кунсткамеры» и т. д.

«Присутствовал весь литературный мир», — оповещалось в газетах. Но это очень громко звучит в печати, а на деле представляет какой-нибудь десяток добрых литературных имен. Прибавьте сюда дюжину чутких восторженных поклонниц Чехова... вот и все!.. Это капля в широком

море бенефисной публики, той особенной петербургской бенефисной публики, которая, заплатив тройную плату за места, ищет на сцене вовсе не литературы, а любимой актрисы, в ослепительных бенефисных туалетах и раздражительно любопытного зрелища — зрелища и зрелища прежде всего!..

А ее, не угодно ли, угощают пьесой, написанной дерзко наперекор театральной рутине, да еще, вдобавок, исполненной в том тусклом банальном тоне, в каком актеры-любители разыгрывают всякие переделки. И г-жа рутина-публика точно вдруг помешалась от разочарования и с капризной придирчивостью вину актеров всецело перенесла на автора... Бедному автору ставилось решительно все в вину, самые простые мелочи!..

На сцене в первом акте, после захода солнца, темнеет.

— Почему это вдруг стало темно? Как это нелепо! — слышу чей-то голос позади моего кресла.

Во втором акте Треплев (Аполлонский) кладет у ног Нины Заречной (Комиссаржевская) убитую чайку. Рядом со мной опять кто-то ворчит:

— Отчего это Аполлонский все носится с какой-то дохлой уткой? Экая дичь, в самом деле!..

В антракте (между вторым и третьим действием) сталкиваюсь в проходе между креслами с одним превосходительным членом театральной дирекции.

— Помилуйте, — говорю я ему, — разве можно такие тонкие пьесы играть так возмутительно неряшливо?

Театральный генерал презрительно фыркает.

— Так, по-вашему, это «пьеса»? Поздравляю! А по-моему, это — форменная чепуха!

Прохожу в буфет и встречаю там знакомого полковника, большого театрала. Вот, думаю, с кем отведу душу...

— Ну, и отличился же сегодня Сазонов! — негодую я: — Вместо литератора Тригорина играет доброй памяти Андрюшу Белугина?..[27]

Но миролюбивый полковник раздраженно на меня набрасывается:

— Да-с, и надо в ножки ему поклониться, что еще «играет»! Удивляюсь на дирекцию — как можно ставить на сцену такую галиматью!..

Возвращаюсь в партер, удрученный до последней степени.

В третьем акте, во время глубоко трогательной сцены между Аркадиной и Треплевым, в бенефисной публике, бог

весть с чего, вызывает веселое настроение белая повязка, похожая на чалму, которую мать накладывает на голову раненого сына (в последнем издании «Чайки» Чехов сделал очень тонкую поправку в этом месте) [28].

Следующая за ней сцена между Аркадиной и ее сожителем — литератором Тригориным — прямо великолепна по реализму и оригинальности замысла. Но сцена разыграна была Сазоновым и Дюжиковой грубо и банально, и момент, когда Аркадина падает на колени перед Тригориным, показался большинству смешным и неестественным.

А сцена последней встречи Треплева с Ниной Заречной в четвертом акте? Она исполнена такого захватывающего лиризма, что ее невозможно читать без слез, и Нина — Комиссаржевская — начала эту сцену прекрасно; но в конце сцены незначительная авторская ремарка все испортила. Декламируя монолог, Нина стаскивает с постели простыню и накидывает на себя, как театральную тогу — и эта мелочь непредвиденно вызвала в публике глупый хохот. На втором представлении «роковая простыня» сдана была в театральную гардеробную, но конец пьесы — этот удивительнейший в своей трагической простоте конец — на первом представлении пропал, как проглоченная театральная реплика, возбудив последнее недоумение и... шипение.

«Чайка» кончена, и я выхожу из театра точно в дурмане. Впереди меня протискивается к выходу литератор Б. Он бледен, как полотно, и на его обычно многодовольной физиономии написан ужас.

О, как я понимаю этот ужас истинного литератора после того, что случилось.

Заметят, пожалуй, что ж тут особенно трагического? Мало ли пьес на своем веку проваливалось, проваливается и будет проваливаться...

Если бы провалился в 1889 г. «Иванов», это было бы, пожалуй, сполгоря; но Чехов 1896 г. давно перерос автора «Иванова» и «Пестрых рассказов» — это уже был популярнейший и заслуженнейший русский писатель, и в лице его нанесена была обида чести русского литератора, вообще — обида, которой нет слов... Для человека, хоть сколько-нибудь знающего историю русской литературы, было до боли очевидно, что со времени оплевания в Александринском театре комедии Гоголя [29], мы ушли не далеко, и «через шестьдесят лет» в той же зале, наполненной образованной публикой, температура общественного уважения к писателю стояла на нуле!..

Для Чехова обида была тем чувствительнее, что именно

«Чайка» — одно из субъективнейших произведений этого на редкость объективного русского писателя.

Вот вам, на семилетнем промежутке, два торжественные спектакля — и какая разница в результатах!.. И какая ирония! — добавил бы я, если вспомнить, что Чехов решительно не любил своего «Иванова» и называл его «Болвановым» и «психопатической пьесой» и искренно удивлялся, когда она увеличивала его доходы... Лично мне он как-то высказался об «Иванове», что это одна из тех пьес, «которая никогда не всосется в репертуар и будет даваться в провинции лишь в экстренных случаях, когда у антрепренера иссякнет запас новинок». «Чайку» же Чехов любил затаенной ревнивой любовью кровного художника.

И в самом деле, какое же может быть сравнение? Один «язык» в «Чайке» чего стоит!..

В «Иванове» много лишних слов, заметны следы вымученноста и грубоватости, малодушные уступки в пользу театральной условности... В «Чайке», напротив, — настоящий, типичный Чехов: скупой на слова, презрительно враждебный к дешевым эффектам, стиль всюду тонкий, изящный, душевно проникновенный, напоминающий местами «стихотворение в прозе»... Характеристики второстепенных лиц, вроде Сорина, например, поражают своей живописной сжатостью: два-три штриха, и перед вами живой портрет, точно сейчас выскочивший из рамы.

Но меланхолическая, как вечерняя заря, «соната Шуберта» была разыграна в тоне штраусовского «Персидского марша». После этого чего же удивляться, если в результате получилась невообразимая какофония?

Бедный Чехов, «бедный неразгаданный пионер»! Недаром он бежал из театра без оглядки, смертельно уязвленный в самое сердце...

Да, на первом представлении «Чайка» пала — но посмотрите, какая вдруг странность! — в своем падении она непредвиденно увлекла и повалила все театральные манекены и очистила путь новому, свежему веянию... Какникак, а уже после «Чайки» на сцене стала немыслима прежняя ложь и мишура, и даже театральные закройщики в алчной погоне за успехом стали усиленно приспособляться к чеховской манере.

Я не без умысла так распространился о первом представлении «Чайки», ибо отныне этот день в истории театра является заметным символическим рубежом.

Когда года четыре тому назад я впервые попал в московский театр Станиславского и увидел на хмурой темно-серой

занавеси ее единственное украшение — символ чеховской «Чайки», — я был растроган до слез... Осмеянная, неразгаданная новая идея, очевидно, свершила обычный мистический круг и нашла своего ревнивого служителя и поэта.

Повторяю, Чехов не любил театра, и его связь со сценой была не столько органической, сколько экономической; но раз театр его полюбил и обогатил («Иванов» и «Медведь»), Чехов не мог остаться равнодушным к его судьбам и из драматурга-импровизатора превратился в драматурга-новатора, вдумчивого искателя новых форм и настроений...

Эти искания тревожили его еще задолго до появления «Чайки». Помню, дня за два, за три до петербургского представления «Иванова» он очень волновался его недостатками и условностями и импровизировал мне по этому поводу мотив совсем своеобразного одноактного драматического этюда «В корчме» — нечто вроде живой картины, отпечатлевающей в перемежающихся настроениях повседневную жизнь толпы...

— Понимаете, при поднятии занавеса на сцене совсем темно, хоть глаз выколи... За окном гроза, в трубе воет ветер, и молния изредка освещает группы ночлежников, спящих вповалку, как попало... Корчма грязная, неприютная, с сырыми облезлыми стенами... Но вот буря стихает... слышно, как визжит дверь на блоке, и в корчму входит новый человек... какой-нибудь заблудившийся прохожий — лицо интеллигентное, утомленное. Светает... Многие пробуждаются и с любопытством оглядывают незнакомца... Завязывается разговор, и так далее. Понимаете, что-нибудь в этом духе?.. А насчет «Иванова» оставьте, — резко оборвал он, — это не то, не то!.. Нельзя театру замерзать на одной точке!..

Как ни случайна и отрывочна приведенная драматическая фантазия, но она очень характерна для Чехова как драматурга и может быть отмечена как первый зародыш «пьесы с настроением» — новый до чрезвычайности сложный род, нашедший такого талантливого толкователя, как К. С. Станиславский.

Чехову тем более было тяжко пережить оскорбительное падение «Чайки», что самые близкие его друзья и сочувственники, наиболее способные по своему душевно-художественному складу угадать и поддержать новое искание, ушли в иной мир, конечно лучший, чем закулисный и журнальный.

Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое зна-

комство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством [30].

Другой задушевнейший друг Чехова, П. М. Свободин, осенью 1892 г. умирает от разрыва сердца на сцене Михайловского театра во время представления комедии Островского «Шутники».

Наконец следующие два года похитили других двух преданных его сочувственников: поэта Плещеева и композитора Чайковского (последнему, как известно, посвящена Чеховым книга «Хмурые люди»).

Особенно нежно любил он Свободина, и его смерть вызывает со стороны Чехова глубоко прочувствованные строки: «А Свободин-то каков? Этим летом он приезжал ко мне два раза и жил по нескольку дней. Он всегда был мил, но последние полгода своей жизни он производил какое-то необыкновенно трогательное впечатление. Или, быть может, это мне казалось только, так как я знал, что он скоро умрет. Я, да и вы тоже, потеряли в нем человека, который искренно привязывался и искренно любил, не разбирая, великие или малые дела мы совершаем... Он за глаза всегда называл вас Жаном и любил сказать о вас что-нибудь хорошее. Это был наш приятель и наш заступник» [31].

Невольно вспоминается мне по этому поводу один эпизод, имевший место в январе 1891 года.

Накануне были мои именины, прошедшие шумно и весело, с почетным застольным гостем А. Н. Плещеевым во главе, и я проснулся довольно поздно. Разбудил меня чей-то сильный звонок. Горничная через дверь объясняет мне в замешательстве, что пришли какие-то два незнакомые господина и хотят непременно меня видеть.

— Кто такие?

— Они так сказывают, что чиновники от градоначальника и по весьма важному делу. — Наскоро одеваюсь и, не на шутку встревоженный, выхожу в залу.

И что же? Вместо полицейских чиновников вижу на пороге Чехова и Свободина. Оба весело переглядываются, явно довольные удавшейся мистификацией.

Излишне говорить, как я обрадовался, тем более обрадовался, что визит пришелся как раз на другой день именин, и я имел возможность достойно угостить дорогих друзей. Но все же долго не мог успокоиться, ибо времена были невеселые, и я имел основание сильно волноваться. За завтраком, между словом, я попрекнул Чехова за его выходку.

— Ах, Антуан, как вы меня ужасно расстроили! Вы

ведь знаете, что я человек нервный и болезненный — и вдруг такая внезапность...

Чехов подлил себе и Свободину вина и окинул меня зорким, докторским испытующим взглядом:

— Ну, вам, Жан, нечего особенно беспокоиться!.. Нервы у вас, положим, щеглиные; но зато у вас кость широкая и легкие крепкие. — И добавил, добродушно ухмыляясь: — Вот увидите, вы еще на наших некрологах заработаете!!

И мы все трое весело чокнулись...

Увы!..

IV. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

«...Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса», — говорит Треплев в «Чайке», и эти слова смело можно применить к истории болезни Чехова.

Доктор Тарасенков в своих записках «о болезни Гоголя»[32] выразил, между прочим, предположение, что в такой тонкосложной художественной натуре, какова была у Гоголя, душевные страдания являлись первопричиной телесного недуга, а отнюдь не обратно, — и это характерное для медика предположение можно всецело отнести ко всякой глубокой художественной натуре вообще и, в частности, к Антону Чехову.

Душевное потрясение в настоящем случае было слишком сильно и противоречие между двумя «приемами» слишком ошеломляюще, чтобы пройти без последствий... Насколько преувеличенно шумны были похвалы, венчавшие «Иванова», настолько же была груба до неприличия «обида непонимания», отметившая представление «Чайки». Это была смертельная обида в буквальном смысле, и долго потом Чехов не только избегал разговоров об этом представлении, но не выносил даже случайной обмолвки по этому поводу.

Злополучное представление, как уже известно, состоялось поздней осенью 1896 г.; а уже ранней весной следующего года — следовательно, менее, чем через полгода — Чехов лежал в московской клинике с явно обнаруженными признаками чахотки...

В апреле 1897 г., в бытность мою в Москве, я получил от Чехова открытку (со штемпелем от 5 апреля) с приглашением навестить его: «Милый Жан, буду с нетерпением ожидать вас. Приходите во всякое время дня, кроме промежутка от часа до трех пополудни, когда происходит кормление и прогуливание больных зверей. Я скажу швейцару,

чтобы он принял вас. Или лучше всего, когда придете, пришлите мне со швейцаром вашу карточку, и я скажу, чтобы вас привели ко мне немедленно. Мне гораздо лучше. Я уже гуляю. — Обитатель палаты № 14, А. Чехов. Суббота. Клиника проф. Остроумова».

Невеселое вышло это свидание!..

Кроме того, в помещении, где находился Чехов, было еще двое больных, и это стесняло свободу беседы... Помещение — светлое, высокое, просторное, каковым русские литераторы редко пользуются, находясь в добром здоровье.

Чехов лежал на койке в больничном халате, заложив руки за голову, и о чем-то думал... Сбоку, вровень с кроватью, помещалась предательская жестяная посудина, прикрытая чистым полотенцем, куда А. П. изредка откашливался. С другой стороны — столик, и на нем пачка писем, чья-то толстая рукопись и вазочка с букетом живых цветов. Увидя меня, он поднялся с кровати, протянул исхудалую руку и улыбнулся своей милой доброй «чеховской» улыбкой.

Я сел рядом на стул.

— Ну, что, Антуан, как дела?

— Да что, Жан, — плохиссиме! Зачислен отныне официальным порядком в инвалидную команду... Впрочем, медикусы утешают, что я еще долгонько протяну, если буду блюсти инвалидный устав... Это значит: не курить, не пить... ну, и прочее. Не авантажная перспектива, надо признаться!

И его грустное, утомленное лицо стало еще грустнее.

Чтобы переменить разговор, я обратил внимание на толстую рукопись, лежавшую на столике...

— Ах, это? Это один юноша мне всучил... Начинающий писатель — усиленно просил проштудировать... Поди, думает, невесть какая сладость быть русским писателем! — Чехов вздохнул и показал глазами на пачку писем: — Один ли он тут!

«Ну, люди, — подумал я про себя, — даже в госпитале, больному человеку, не дадут покоя!» — А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверное, какая-нибудь московская поклонница?

— И не угадали: не поклонница, а поклонник... Да еще, вдобавок, московский богатей, миллионер. — Чехов помолчал и горько усмехнулся: — Небось, и букет преподнес, и целый короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их... этих поклонников!

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно и с видимым удовольствием вставил Чехов. — Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой! [33]

Я невольно разволновался.

— Вот интересно, о чем вы с ним разговаривали?

Чехов чуть-чуть нахмурился и уклончиво отвечал:

— Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено, да и потом... при всем моем глубочайшем почтении к Льву Николаевичу, я во многом с ним не схожусь... во многом! — подчеркнул он и закашлялся от видимого волнения [34].

Очевидно было, что его более тронул и обрадовал самый факт посещения, чем его душевный результат, и также очевидно было... что критика и мораль Льва Толстого у койки больного, нуждающегося писателя пришлась не совсем ко двору.

Чтоб излишне не утомлять Чехова, я поднялся и стал прощаться. Он проводил меня в коридор до самых дверей, убеждая навестить его в непродолжительном времени в Мелихове.

— Слышите, Жан, я беру с вас слово!.. И, пожалуйста, не откладывайте по обыкновению, ибо летом медикусы посылают меня на кумыс. — И уже у самых дверей он добавил, мягко улыбнувшись: — А ведь знаете, я почти привык здесь... здесь так удобно думать! А по утрам я хожу гулять, хожу в Новодевичий монастырь... на могилу Плещеева. Другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки... И на душе бывает так странно и тихо!..

Имея всегда под рукой сочинения Чехова и, при случае, перечитывая некоторые из них, я всегда умилялся глубокой правдивостью Чехова, сколько в изображении, столько же в настроении, — этой чертой истинного художника, не допускающего ни малейшей подмены ни в слове, ни в чувстве.

И теперь, набрасывая эти поминальные заметки о посещении палаты № 14, рука моя невольно потянулась к томику, заключающему в себе «Палату № 6», где описывается посещение церкви Андреем Ефимычем: «Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях, и ему было покойно, грустно...»

Не правда ли — как странно? Чуть не дословное повторение чеховской последней фразы, случайно вырвавшейся при прощании в клинике... Это же меланхолически-религиозная нота проходит вскользь в одном из писем ко мне, где он упоминает об открытии памятника поэту Плещееву на кладбище Новодевичьего монастыря. «26 сент. освящали памятник на могиле Плещеева... Я слушал пение монашенок, думал о padre *, о вас» [35]. Как видите, и в письме, и в беседе, и в повести, Чехов всюду один и тот же... всюду самый теснейший союз чувства и слова!..

Но это так, мимоходом, под наплывом дорогих воспоминаний.

Тогда же, выходя из клиники, я думал совсем о другом...

Я думал о печальной участи одного из самых правдивейших русских писателей, осужденного на медленное догорание в расцвете своего таланта. Сколько, подумаешь, всяких утомительных сочувствий окружало его больничную койку, и среди этой пестрой толпы сочувственников, великих и малых, не нашлось ни единого, который бы догадался позабыть на больничном чеховском столике... «чек» на необходимую сумму для выезда за границу. А ведь такой «чек», вовремя полученный, мог бы спасти его, тем более, что Чехов, как это я узнал впоследствии, именно в это время находился в исключительной крайности. И вот, потрясенный физически и нравственно, он возвращается в свое подмосковное именьице на новые работы и заботы...

А вместо желанного отдыха на голову больного, нуждающегося писателя обрушилось доморощенное «Pollice verso!» («Добей его!») в виде неугомонного паломничества в Мелихово разных незваных гостей и непрошеных сочувственников. Кого тут только не было!..

То приезжает целая замоскворецкая семья, будто бы, «чтобы насладиться беседой бесценного Антона Павловича», а в сущности для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от московской сутолоки, и заставляющая исполнять Чехова роль чичероне мелиховских окрестностей... То является какая-нибудь профессорская чета, говорящая без умолку с утра до вечера и жалующаяся на другой день Чехову, что им мешало спать пение петуха и мычание коровы... То налетает тройка совершенно незнакомых студентов, — по словам последних, «исключительно затем, чтобы справиться о драгоценном здоровье Антона Павловича», — и остающаяся на двое суток, и т. д., и т. д.

* Padre — прозвище поэта Плещеева в посвященной ему мной литературной характеристике. (*Примеч. И. Л. Щеглова.*)

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно[36].

Приехав в конце апреля в Мелихово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый... Помню, в ожидании ужина, мы сидели на скамеечке возле его дома, в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов; рядом, у ног Чехова, лежал, свернувшись, его мелиховский любимчик, собачка Бром, маленькая, коричневая, презабавная, похожая на шоколадную сосульку... Чеховски деликатно, меткими полунамеками, А. П. повествовал мне о своих житейских невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление.

— Знаете, Жан, что мне сейчас надо? — заключил он, и в его голосе звучала страдальческая нота. — Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие; когда вздумается, — погулять, когда вздумается, — почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать... Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!

Я исподлобья взглянул на Чехова и подумал: «Боже мой! что сделала «литература» с человеком в какие-нибудь десять лет! Тогда, при первой встрече в гостинице «Москва», это был цветущий юноша, а теперь... чуть только не старик».

Но зато какая была вместе с тем перемена в духовном отношении! Это был как бы другой человек. В тот первый период жизнерадостной юности и неугомонных успехов Чехов обнаруживал «по временам» досадные черты какой-то студенчески легкомысленной заносчивости и даже, пожалуй, грубоватости... Но уже в третий свой приезд в Петербург (в 1891 г., после своего путешествия на Сахалин)[37] этих резких диссонансов как не бывало, что дало мне повод как-то заметить А. П. в интимной беседе, что «после Сахалина он значительно исправился». Чехов нимало не обиделся на мой случайный каламбур и сумрачно проговорил:

— Да, много чего я там насмотрелся... много чего передумал!

Смерть брата (художника) и путешествие на Сахалин наложили на Чехова свою мистическую печать... В своих

работах он стал вдумчивее, углубленнее, в речах осмотрительнее, деликатнее, в отношениях к людям заметно сдержаннее. Пережитые потрясения точно открыли ему новое, более широкое поле зрения, и он глядел теперь вперед, как бы через головы людей, храня про себя ему одному ведомые психологические загадки и откровения. Видимо, даже самый недуг, постигший Чехова и физически его подтачивающий, косвенно влиял на это духовное обновление (невольно вспоминается чуткое слово Гоголя «о значении болезней»)[38].

Про теперешнего Чехова можно было сказать, несколько перефразируя, то же, что он сказал о своем друге, Свободине: «Он всегда был душевно притягателен, но последнее время производил какое-то совсем особенное, необыкновенно трогательное впечатление».

Не могу обойти попутно еще одной художнической черты: одновременно с личным совершенствованием совершенствовался и слог Чехова.

Зато как быстро и легко писал он вначале!

Помню, в первые дни нашего знакомства, зашел я как-то к нему в номер гостиницы «Москва». Вижу — Чехов сидит и быстро пишет. Я хотел было отретироваться, рассчитывая, что пришел не очень кстати и наверное помешал.

— Напротив, Жан, вы пришли как нельзя более кстати и должны мне помочь. Я сейчас описываю путешествие «артиллерийской бригады» и боюсь, как бы где не наврать. Вот, будьте добры, как бывший артиллерист, внимательно проштудируйте эту страничку!

И он усадил меня на свое место. Передо мною было окончание известного чеховского рассказа «Поцелуй»... И мне попались на глаза следующие строки: «Само орудие некрасиво. На передке лежат мешки с овсом, прикрытые брезентом, а орудие все завешено чайниками, солдатскими сумками, мешочками и имеет вид маленького, безвредного животного, которого, неизвестно для чего, окружили люди и лошади. По бокам его с подветренной стороны, размахивая руками, шагают шесть человек прислуги. За орудием опять начинаются новые уносные, ездовые, коренные, а за ними тянется новое орудие, такое же некрасивое и невнушительное, как и первое. За вторым следует третье, четвертое, около четвертого офицер и т.д.»

Тут Чехов остановил меня:

— Нет, вы начните раньше... вот отсюда: «Впереди всех шагали четыре человека с шашками...» Я вам говорю серьезно, мне очень важно знать ваше мнение!

Я стал читать с начала и прямо был поражен верностью описания и еще более был поражен, когда рассказ появился в «Новом времени» (рассказ был стремительно закончен в тот же вечер и наутро сдан в набор), поражен удивительной чуткостью, с какой схвачен был самый дух и склад военной среды. Просто не верилось, что все это написал только соскочивший с университетской скамьи студентик, а не заправский военный, прослуживший по крайней мере несколько лет в артиллерии!

С строго придирчивой точки зрения можно, пожалуй, найти некоторые «длинноты», именно в описании движения бригады — единственный недостаток рассказа, написанного чуть ли не в двое суток... Даже его обширная «Степь», эта великолепнейшая поэма, на страницах которой природа дышит и люди шевелятся, как живые, написана была сравнительно очень быстро... Но, разумеется, и на солнце есть пятна, и одно такое незначительное стилистическое пятнышко я как-то указал Чехову, когда мы разговорились о «Степи». Именно почему-то вспомнилась в самом начале (где говорится о смерти бабушки) фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла...» Что-то в этом роде.

— Быть не может! — воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «до своей смерти она была жива и носила с базара мягкие *бублики*». — Чехов *рассмеялся*. — Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай![39]

И равнодушно захлопнул книгу.

Тогда он еще не достиг совершенства стиля, обнаруженного в позднейших произведениях, где идея, так сказать, вплотную срастается со словом. То была пора творческого половодья, когда река вдохновения выступала из берегов и несла смелого пловца вперед, минуя мели и пороги.

Когда после ужина мы перешли в *кабинет*, — тесноватый, но уютный чеховский *кабинетик*, — зашел разговор на эту же самую тему о стиле. Как раз незадолго перед этим я прочел его повесть «Моя жизнь», напечатанную в «Ниве» (в «Литературных приложениях»), и находился под обаянием ее художественной красоты. В этой повести, столь оскорбительно замолчанной критикой, Чехов выступает истинным мастером слова и, как стилист, становится плечом к плечу с Тургеневым. <...> Напечатанные перед тем в «Русской мысли» и наделавшие столько шума «Мужи-

ки», признаться, меньше меня удовлетворили. Главный недостаток, на мой взгляд, было самое заглавие, слишком обобщавшее фигуры, явно списанные с пригородных мужиков (села Жукова), и в этом смысле какое-либо другое название, вроде, например, «Жуковцы», дало бы более мягкое освещение теме. Напротив, заглавие «Моя жизнь» было, по-моему, слишком мелко и скромно для такой глубоко захватывающей повести. Наконец меня озадачили в «Мужиках» две-три строки, прозрачно напоминавшие известную проповедническую манеру Л. Толстого, тем более озадачили, что Чехов был чуть ли не единственный из современных писателей, уцелевший как художник от толстовского влияния [40].

Все это без обиняков, по-товарищески, я выложил А. П.

— Оно, пожалуй, и так, — задумчиво отозвался Чехов, — а вот, небось, критика распинается за «Мужиков», а о «Моей жизни» — ни гугу!

Я указал Чехову на роман самого Л. Толстого: «Семейное счастье» — вещь изумительную по тонкости и глубине — и тоже почти пропущенную критикой. И потом, заметил я, «Моя жизнь» напечатана в «Ниве», а наши критики неисправимые рутинеры и, по-видимому, смешивают «Ниву» с журналом для малолетних, хотя страницы «Нивы» зачастую украшаются самыми громкими именами. Недалеко взять почтеннейшего А. М. Скабичевского (напомнил я ему), который открыл в Чехове талант лишь после того только, как он стал печататься в «Русской мысли».

Чехов, приготавливавший в то время к изданию «Мужиков», серьезно призадумался и затем нерешительно заговорил:

— Так вы, Жан, полагаете, что в издание и «Мою жизнь» можно будет включить?..

Я прямо развел руками при виде такого непостижимого авторского простодушия. Результат, однако, означенной случайной беседы был тот, что «Моя жизнь» вышла в свет в одном томе с «Мужиками» и, кроме того, в последних исчезли предательские строки, выдававшие мимолетное толстовское влияние [41].

Разговор завязался о «писании» вообще, и я напомнил Чехову о его рассказе «Поцелуй», который он шутя дописал почти на моих глазах в номере петербургской гостиницы.

— Славное время было! — вздохнул я.

— Было да сплыло! — вздохнул Чехов в свою оче-

р е д ь . — Теперь, если страничку в день нацарапаешь — и то благодать... Да и мешают мне здесь, не дай бог!.. Можете себе представить, не далее как на этих днях из Москвы пожаловала сюда чуть не дюжина гостей... Точно у меня, в самом деле, постоялый двор какой-то! И всех-то надо напоить, накормить, придумать, где уложить на ночь...

Чехов закашлялся, поднялся с дивана и плотнее притворил форточку.

Мы помолчали.

— Знаете, Жан, какая у меня мелькнула сейчас идея? — проговорил Чехов, и лицо его повеселело: — Верст десять отсюда сдается хуторок — снимемте его вместе на лето для «писания»... Туда к нам ни один леший не заглянет!

Мне оставалось только вздохнуть, так как личные мои обстоятельства не только не позволяли мне думать о такой соблазнительной перспективе, но и в Мелихове не позволяли оставаться более суток.

И видя, что меня с непривычки разморило с дороги, добавил:

— Однако идите-ка спать... а я сяду писать!

— Антуан, помилосердствуйте... скоро полночь! Ведь это вредно!

Он безнадежно махнул рукой.

— Что же делать, когда мне утром не дают ни минуты покоя!

В этом же смысле не раз жаловалась мне мать Чехова, добрейшая и гостеприимнейшая Евгения Яковлевна.

— Уж мы прячем Антошу, прячем — все-то ему мешают! — говорила она мне вздыхая.

На другой день я мог в этом убедиться воочию: в буквальном смысле ему не давали ни минуты покоя!.. С раннего утра к нему забрался какой-то помещик, который сидел очень долго, потом явился земский врач, затем сельский батюшка, затем еще кто-то в военной форме — кажется, мелиховский исправник... Из окна отведенного мне флигелька было отлично видно, как к крыльцу скромного одноэтажного чеховского домика то подкатывала бричка, то деревенский тарантас, и как прислуга поминутно бегала через двор, из кухни в комнаты, с разной снедью и посудой, то накрывая на стол, то убирая со стола. А в маленькой проходной горенке, около чеховского кабинета, почти не переводились мужики и бабы — кто за делом, кто за пустяками, кто за врачебной помощью... И, в довершение несчастья, к завтраку свалился, как снег на голову, гость Из

Москвы — неведомый толстый немец, молодой и франтоватый, чуть ли не зубной врач по профессии (которого Чехов как-то случайно встретил в Москве около клиники и, как «коллеге» в некотором роде, сообщил гостеприимно свой мелиховский адрес).

Толстый немец был откомандирован со своим толстым чемоданом ко мне во флигель и заставил меня бросить срочную работу, взятую с собой, — корректуру, которую я должен был сдать на другой день в московскую редакцию. Когда фатальный немец ушел перед обедом осматривать мелиховские окрестности, я снова принялся за работу. Это была корректура только что законченной мной четырехактной комедии «Затерянный мудрец».

За работой я недослышал, как вошел в комнату Чехов, и, видя, что я занят, он молча прилег рядом на диване.

— Можно? — деликатно проговорил он немного погодя, протягивая руку к прочитанным гранкам.

Я, разумеется, выразил свое полнейшее удовольствие.

Как раз ему попался конец первого акта, заключающийся словами старика профессора перед портретом Пушкина: «Черт меня догадал родиться в России... с душой и талантом!..» Последнюю фразу Чехов прочел вполголоса про себя с особенной выразительностью и обратился в мою сторону.

— Это у вас, Жан... откуда?

— Это — слова Пушкина из письма жене [42].

— Как это странно... мне именно сегодня приходили в голову почти те же слова!..

Он задумался и принялся читать дальше.

Кстати сказать, около этого времени А. П. перерабатывал своего неудачного «Лешего» — из каковой переработки, как известно, получилась его лучшая драматическая вещь «Дядя Ваня» [43], — и, как это ни странно, обоих «сверстников» постигла одновременно одна и та же судьба, то есть обе не были одобрены литературно-театральным комитетом: мой «Затерянный мудрец» — петербургским, а его «Дядя Ваня» — московским... и обе нашли впоследствии приют на частной сцене: моя комедия в Суворинском театре, а чеховская — в театре Станиславского... Страннее всего, что и мой чуткий «затерянный» профессор (проф. Макушин), и чеховский — бездарный, но «популярный» (проф. Серебряков) одинаково были отвергнуты «профессорским» синклитом. Житейская правда остается, таким образом, за Чеховым, так как в синклите не оказалось ни одного... Макушина!

Дочитав корректурные листки, Чехов сделал мне несколько ценных указаний «относительно необходимости в драматическом произведении большей простоты и близости к жизни, не только в речах действующих лиц, но даже в самых их именах и фамилиях»; и затем стал упрашивать меня погостить еще лишние сутки, убеждая, что корректуру можно отличнейшим образом переслать редакции почтой. Соблазн был очень велик, и я стал сдаваться, когда неожиданно вернулся с прогулки московский немец. Чехов вдруг закашлялся и скоро ушел, мрачно покосившись на толстый немецкий чемодан, загромождавший проход.

Ах, этот немец! Он испортил всю музыку...

Немец оказался, однако, довольно добродушным малым и сразу выложил свои карты... Дело в том, что у него была запасена где-то, на границе Румынии, невеста, и он собирался жениться, для чего и выхлопотал трехмесячный отпуск... И вот, проездом в Румынию, ему пришло в голову заехать к «коллеге» и погостить недельку-другую в Мелихове.

При последних словах я внутренно похолодел за Чехова и решил во что бы то ни стало спасти его от немца... Я чуял как художник, что Чехов не только был переутомлен недавним московским наваждением, но именно находился в том знакомом художническом возбуждении, когда особенно хочется работать... И я стал усиленно гипнотизировать немца — я ему стал объяснять, что Чехов первый русский писатель и что он серьезно болен и нуждается в полнейшем покое. <...> Немец долго сосредоточенно думал, посмотрел с унынием на свой великолепный чемодан и вдруг решительно выпалил:

— Вы правы, Herr Щеглов: всякий черт сюда лезет!.. Давайте езжать назад!!

Я почти со слезами обнял благородного немца (сначала, признаться, я понял его фразу в единственном числе и не разобрал, что он ставит на одну доску свое шапочное знакомство и мою десятилетнюю писательскую дружбу!).

Нечего было делать — надо было «езжать назад»... вместе — уж выручать товарища, так выручать!

К величайшему недоумению Чехова, за обедом я мужественно объявил, что «мы» сегодня же должны непременно ехать в Москву и усердно просим дать лошадей, чтобы не опоздать на поезд.

Но этим анекдот не кончается...

Выехали мы вовремя и ехали все время благополучно,

когда, на половине дороги, немец вдруг побледнел и, ухватив кучера за кушак, остановил тарантас.

— Что случилось?

Немец тупо посмотрел на меня:

— Надо езжать назад: я забыл мой пальто!..

Мне сделалось нехорошо. Но внезапно счастливая мысль озарила мой мозг, и ко мне вернулось самообладание.

— Что ж, вернемтесь, — с мнимой покорностью поддакнул я, — только очень жаль... что вашей свадьбе теперь не бывать!

— Это зачем? — толстая физиономия немца выразила ужас и недоумение.

— Очень просто, зачем — затем, что нет на свете хуже приметы... как возвращаться с пути назад! Во время путешествия это самое роковое предзнаменование!..

И я привел ему наудачу два-три примера, когда самые лучшие планы рушились только из-за того, что человек возвращался назад за каким-нибудь пустяком. Был даже такой случай... Один мой товарищ, превосходнейший молодой человек, назначивший своей невесте свидание, забыл дома свой портсигар и вернулся с дороги. И что же бы вы думали? Невеста, не дождавшись в назначенный час жениха, неожиданно помешалась и выбросилась из окошка... А что до пальто (оставлено было второе, «осеннее пальто»), то я уверял его, что по нынешнему теплому времени оно было бы прямо в тягость, и самое лучшее телеграфировать со станции, чтобы пальто выслали по новому адресу — прямо по адресу вашей невесты, — лукаво добавил я. Напоминания о невесте размягчили сентиментального немца... и мы снова двинулись в путь, причем возбужденный немец даже посулил кучеру на чай [44].

Записывая теперь этот анекдот, вижу с горечью, что жертва моя куплена была слишком дорогой ценой. Мог ли, впрочем, я тогда подозревать, что это свидание с Чеховым «будет последним»?.. Не успел осмотреться в Мелихове, как уже пришлось уезжать!.. Урывками осмотрел я сельскую церковь в Мелихове, украшенную, по словам сторожа, усердием Чехова, видел мельком строящуюся школу (опять стараниями того же Чехова), урывками беседовал кой с кем из мелиховских мужиков, с трогательной ласковостью отзывавшихся о новом мелиховском помещике; а затем уцелели в памяти... уморительная собачка Бром, клумба с яркими фантастическими тюльпанами и благоухающий вишневый сад — этот отныне исторический

«вишневый сад», в это утро первого мая бывший в полном цвету, точно нежный свадебный букет.

И говорить приходилось с Чеховым тоже урывками. Помню, когда уже подали к крыльцу тарантас, Чехов что-то говорил мне, но я сильно волновался, и в памяти мелькают сейчас только отдельные фразы: «Когда-то, Жан, мы с вами увидимся?.. Что-то будет через семь лет?.. Теряем мы жизнь!..»

Когда мы уже хотели двинуться в путь, Чехов присел на подножку тарантаса и с полверсты провожал нас. Затем он слез и пешком пошел домой... Я невольно оглянулся ему вслед... Чехов шел чуть-чуть сгорбившись, опираясь на палочку, и, вероятно, думал про себя свою странную хмурую думу: «Что-то будет через семь лет?!»

Роковая цифра!..

Через семь лет пришла... европейская известность и вместе с ней — смерть.

И. Е. РЕПИН

О ВСТРЕЧАХ С А. П. ЧЕХОВЫМ

К сочинениям А. П. Чехова мне не пришлось много рисовать — в настоящее время нет никакого рисунка, относящегося к милому, незабвенному писателю [1].

И в жизни мне не посчастливилось в общении с ним. Встречались очень редко. Живее всего он рисуется мне при первой встрече. Он посетил меня в моей студии у Калинкина моста (вероятно, в 1887 году).

Положительный, трезвый, здоровый он мне напоминал тургеневского Базарова.

Как-то раз, сидя у меня, он увлекся воспоминанием своей практики земского врача. Нарисовал несколько живейших картин в деревнях, когда он являлся туда на вскрытие трупов скоропостижно умерших.

Дело происходило больше на открытом воздухе.

Зрители выползали со всех углов и переулков и все смелее и смелее обступали доктора, раскладывавшего хирургические инструменты вблизи покойника, торжественно лежащего на столе посреди улицы. Увлеченный своим неприятным делом по обязанности, Чехов не замечал, как любознательные мальчишки все больше и больше подвигались к умершему, наконец, мешали доктору... При этом воздух!.. Хотя и на открытом воздухе.

И вдруг при повороте раздутого мертвеца, полного газов, покойник сделал губами «бр-р-р». Публике показалось, что он оживает... С визгом бросились врассыпную, кувыркаясь друг через друга, во все стороны испуганные мальчишки [2].

Один раз в собрании Литературного общества мне удалось сделать с него очень удачный набросок (он не позировал) [3]. Кто-то выпросил этот набросок, по обыкнове-

нию (их много было сделано за время моего посещения собраний с разных лиц).

Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества.

Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души.

Куоккала

А. С. ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ *

Первая встреча с Антоном Чеховым — одно из самых светлых воспоминаний моей молодости. В редакциях юмористических изданий, куда мне приходилось захаживать за гонораром, Чехов в это время уже почти не бывал. Я пришел к Чехову по его приглашению в 1887 году [1], когда звезда его начала восходить ослепительно ярко после ряда великолепных беллетристических «субботников», появившихся в «Новом времени», — «Агафья», «Ведьма», «Мечты», — просидел у него целый вечер и ушел с таким впечатлением, как будто мы были знакомы несколько лет.

Пришел я в сумерки; в течение длинного зимнего вечера я не раз поднимался и начинал прощаться, но Чехов говорил:

— Ну, что там! Садитесь. Ни я, ни вы работать сегодня не будем (это был вечер Нового года). Потолкуем!

— Потолкуем!

Это был магнит, который при дальнейшем знакомстве неизменно притягивал меня к одному из больших и мягких кресел чеховского кабинета. Порой, придя, я заставал Чехова за работой, спешил проститься, но Чехов неизменно говорил:

— Сядьте. Я скоро кончу. Потолкуем.

Я познакомился с Чеховым, когда он жил на Кудринской-Садовой в доме д-ра Корнеева, в оригинальном, как рассказы Чехова, флигельке, похожем на маленький замок; хорошо помню полукруглые окна, выходившие на Садовую, в форме башен. Квартира была расположена в двух этажах. Во втором этаже жили мать, отец и сестра Чехова, внизу был большой кабинет писателя и две спальни — его и брата

* Кое о чем из истории моего долголетнего знакомства с Ан. П. Чеховым я уже рассказывал в печати, но большая часть этой главы написана мною в 1924—25 годах. (*Примеч. А. С. Лазарева-Грузинского.*)

Михаила, студента, кончавшего юридический факультет. Из нижнего в верхний этаж вела красивая чугунная лестница с широкой площадкой на повороте, на которой лежало отличное чучело волка. В большой комнате верхнего этажа, расположенной над кабинетом Чехова, я помню пианино, аквариум, нарядную мебель и большую картину Николая Чехова, талантливо начатую, но заброшенную и не конченную им. Картина изображала швею, уснувшую на рассвете над работой. Вероятно, об этой картине Чехов писал брату Александру в апреле 83-го года: «Николай шалаберничает, гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош. Ты видишь его теперешние работы. Что он делает? Делает все то, что п*о*шло, копеечно... А между тем в зале стоит начатой замечательная картина». Эта начатая, может быть, даже ранее 83-го года картина не была законченной и в 87-м году. Да, вероятно, так незаконченной и осталась.

Где теперь находится эта картина? На чеховской даче в Крыму? [2]

Указав на аквариум, пианино и мебель, Чехов сказал мне:

— Хорошо быть литератором, А. С. Это все дала мне литература.

Но когда я с некоторым почтением взглянул на вещи, данные литературой, Чехов рассмеялся и пояснил, что пианино взято им напрокат, а часть мебели принадлежит его брату Николаю. Кажется, это была в некотором роде «литературная» мебель. В письме к брату Александру в апреле 83-го года Чехов пишет: «Живем сносно. Есть пианино, мебель хорошая. Помнишь уткинскую мебель? Теперь вся она у нас» [3].

Уткина была издательницей «Будильника» и после продажи журнала, вероятно, уехала из Москвы.

В кабинете Чехова близ входа в его спальню открытые полки с книгами тянулись от пола до потолка. Это была библиотека Чехова, составившаяся по преимуществу с помощью покупок на старой московской Сухаревке, положившей начало библиотекам многих московских писателей и журналистов. Кстати: одна из моих Сухаревских покупок чуть-чуть огорчила Чехова: почти вслед за выходом его сборника «В сумерках» я купил на Сухаревке сборник стихотворений Минаева «В сумерках», вышедший в очень красивой красочной обложке в Петербурге в конце шестидесятых годов [4]. Чехов не знал, что книга с заглавием его сборника уже была раньше в продаже.

Книг в библиотеке Чехова жалось друг к другу немало, быть может до тысячи и даже значительно больше; все они имели очень зачитанный вид; здесь были старые, разрозненные толстые журналы, отдельные томики разных авторов, имевших некоторое влияние на творчество Чехова; покупалось все это в разное время, понемножку, при получении из редакций более крупного гонорара или аванса; полные собрания сочинений в те времена стоили дорого, и на них у Чехова не хватало денег. Да и помещение ранее не позволяло особенно шириться его библиотеке. Из переписки Чехова видно, в каких квартирках приходилось ему жаться до сравнительно большой квартиры в доме Корнеева, в которой было комнат шесть или семь.

Из книг чеховской библиотеки отмечу «Жен артистов» Доде, которых Чехов пародировал в альманахе «Будильника» на 1882 год, «Записки мелкотравчатого» Дрианского, знакомство с которыми помогло Чехову внести много оригинальных охотничьих терминов в его имевшую хороший успех пьеску «Предложение», томики Брет-Гарта, Золя, «Калифорнийский рудник» Дмитрия Гирса, талантливого сотрудника «Отечественных записок». Чехов любил покупать старинные книги и курьезные, вроде «письмовников». Одна из старинных, купленных Чеховым на Сухаревке, книг — «Толкователь слов разных и терминов иностранных, в российском флоте употребляемых» (заглавие цитирую на память, приблизительно), — по словам Чехова, дала ему тему для превосходного юмористического рассказа об отставном контр-адмирале Ревунове-Караулове, приглашенном в качестве почетного гостя на свадьбу и доведшем толкованием морских терминов всех хозяев до белого каления. Юмористический рассказ этот — «Свадьба с генералом» — впервые был напечатан в № 50 «Осколков» за 1884 год. Этот же персонаж под именем Федора Яковлевича Ревунова-Караулова, капитана 2-го ранга, позже вошел в забавную пьеску Чехова «Свадьба». Перечитывая рассказ о контр-адмирале, нельзя не восхищаться тем искусством, с каким фантазия Чехова облекла сухие морские термины в плоть и кровь.

Об одном из «письмовников» память моя сохранила такую сцену. Однажды в Бабкине или Мелихове, в серый день, когда стекла окон стали тусклыми от потоков дождя, Чехов достал какой-то «письмовник» и начал читать его мне и Ивану Павловичу, гостившему в деревне. Читал он очень забавно, а письма были почти сплошь такой отча-

янной чепухой, что мы все не могли не смеяться, и скука, навеянная серым днем, от нас отошла.

Но вернусь к дому Корнеева на Садовой.

Взяв одну из книг чеховской библиотеки, я уходил с головою в чтение, а Чехов оканчивал начатый рассказ, тщательно обдумывая каждую фразу, медленно нанизывая строчки, как медленно нижут тонкие искусные пальцы жемчуг для какой-нибудь пленительнейшей из драгоценных вещей старины. Времена небрежного многописания в эти дни уже безвозвратно прошли для Чехова; «Антошу Чехонте» сменил взыскательный художник, не допускавший неряшливости письма в собственной работе и строго относившийся к неряшеству в работе других.

Чехов не был скороспелым баловнем фортуны и успеха добился медленным, тяжелым, почти «каторжным» трудом, как определял его труд в письме ко мне ранее меня познакомившийся с Чеховым петербургский журналист и секретарь «Осколков» — Билибин. Чехова мало знали даже после ряда прелестных маленьких вещиц, и к первым годам его литературной карьеры применимы слова Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны [5]. Горькая ирония чеховского «Пассажира 1-го класса», несомненно, имеет автобиографические черты.

Однажды, кажется даже при первой встрече, я спросил Чехова:

— У вас много знакомых?

Чехов ответил:

— Нет.

Я удивился; я сказал, что, сидя в глуши покровских лесов, думал об обширном кружке его московских знакомых, но он только рукою махнул:

— Полноте, кому нужны мы, пишущие люди? Кто интересуется нами? Вы знаете, я окончил Московский университет. В университете я начал работать в журналах с первого курса; пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом «А. Чехонте», который, как вы видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что «А. Чехонте» — я, никто из них этим не интересовался. Знали, что я нишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела.

Как курьез, мимоходом отмечу, что угадать Антона Чехова в «Антоше Чехонте» было до крайности легко еще потому, что масса страниц хотя бы в московском журнале «Зритель» состояла из текста Антоши Чехонте, иллюстри-

рованного рисунками его брата Н. Чехова, ставившего под ними свою полную подпись. Но никто не хотел угадывать. Стена равнодушия стояла в юности между товарищами Чехова по университету и им. Поистине мы ленивы и нелюбопытны.

В сумбурной статье Н. М. Ежова о Чехове («Исторический вестник», 1909), о которой я буду говорить дальше, автор уверяет, что переписка Чехова не может дать о нем надлежащего представления, ибо в письмах своих Чехов «прихорашивался», а вот если бы расспросить товарищей Чехова по университету, их рассказы, несомненно, дали бы интереснейший сырой материал.

Уже из рассказов самого Чехова ясно, какой материал о нем могли дать его товарищи по университету. И действительность совершенно не подтвердила предположений Н. М. Ежова. Как раз в последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету, но кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то «близ окошка», мне от них ничего не пришлось услыхать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты.

Но вышеописанное равнодушие не вызывало ответного равнодушия Чехова. Чехов был одним из самых отзывчивых людей, которых я встречал в своей жизни. Для него не существовало мудрого присловья «моя хата с краю, я ничего не знаю», которым практические люди освобождаются от излишних хлопот. Услышав о чьем-либо горе, о чьей-либо неудаче, Чехов первым долгом считал нужным спросить:

— А нельзя ли помочь чем-нибудь?

Необычайно трогательна и характерна фраза Чехова, которую вспоминает, кажется, Мария Павловна, на ту тему, что на каждую просьбу нужно отозваться, и если нельзя дать того, что просят, в полной мере, то нужно дать хоть половину, хоть четверть, но дать непременно.

Эту отзывчивость Чехов пронес через всю свою жизнь, как драгоценное вино, не расплескав, не утратив ни капли.

В письменном столе Чехова вечно лежали чужие рассказы, он исправлял их, рассылал в те издания, где сам работал, и даже в те, где сам не работал, в «Московскую иллюстрированную газету», например; давал советы начинающим авторам, если видел в них хотя тень дарования; хлопотал об издании книг тех беллетристов, у которых уже успели накопиться материалы для книг.

— Вам нужно издаться! — говорил он мне и другим беллетристам при мне много р а з . — Вас будут знать. Выпущенная книга повысит ваш гонорар.

На робко брошенные мысли, что издаться не легко, что охотников до издания книг начинающих авторов немного, Чехов возражал:

— Пустяки! Подождите, нужно будет придумать что-нибудь.

И, конечно, при своих литературных связях он придумывал кое-что и находил для своего протеже издателя.

На первом же году знакомства Чехов спросил меня:

— Скажите, А. С., сколько в месяц дает вам литература?

Я мысленно подсчитал свой месячный заработок и назвал цифру; цифра оказалась очень маленькой.

Чехов нахмурился:

— Так мало?!

— Что же делать?! Мои литературные заработки случайны.

В первые годы писательства я работал только в юмористических журналах, а журналы эти не особенно щедро оплачивали литературный материал; щедрее других был Лейкин, который, кроме того, чтобы привязать меня к «Осколкам», печатал мои статьи с таким расчетом, чтобы в месяц мне набегало не менее 35—40 рублей. Эта была моя «осколочная» рента. Но другие редакторы юмористических изданий совершенно моих интересов не блюли, и то я застал уже лучшие времена, когда гонорар выплачивался везде без задержки. С худшими познакомился при начале своей литературной карьеры Чехов: «Осколков» еще не существовало, а в Москве аккуратно платили гонорар далеко не везде и не всегда.

Разговор о моих скудных литературных заработках оборвался, но Чехов его не забыл; через два-три месяца он решил бросить работу в «Петербургской газете», где около трех лет довольно аккуратно печатал беллетристические наброски по понедельникам; в это время Чехов уже писал «Степь», и «Петербургская газета» не представляла для него интереса. И вот, в результате решения расстаться с газетой, ко мне в глушь Покровского уезда пришло из Москвы такое письмо от Чехова, помеченное 22 марта 1888 года:

«Милейший Александр Семенович! Для Вас представляется возможность работать в «Петербургской газете». Если Вы согласны (наверное, да), то поспешите написать Лейкину приблизительно следующее:

«Чехов писал мне, что Вы согласны взять на себя труд

познакомить меня с «Пет. газ.» и порекомендовать меня ей для понедельников. Благодаря Вас за любезность, я спешу воспользоваться и проч. и проч.».

Что-нибудь в этом роде. Полюбезнее и официальнее. Само собой разумеется, что, начав работать в «Газете», Вы утеряете необходимость мыкать свою музу по «Развлечениям» и проч.

В Питере я прожил 8 дней очень недурно. Останавливался у Суворина: разливанная чаша... Суворин — замечательный человек нашего времени *.

Буду рад, когда Вы напишете субботник. С Голике не говорил о Вашей книге, ибо он не был на вокзале среди провожатых. Впрочем, успеете.

Печатаем 2-е издание «Сумерек», новую книгу и детскую книгу «В ученом обществе» [6].

Будьте здоровы.

Ваш *А. Чехов».*

Конечно, Чехов и сам мог бы рекомендовать меня в «Пет. газету», но он боялся обидеть Лейкина; Лейкин считался столпом газеты и по традиции проводил туда сотрудников «Осколков»: ранее провел Чехова, в 1888 году — меня.

Я последовал совету Чехова и написал Лейкину; Лейкин ответил, что охотно рекомендует меня, и дал два-три дельных указания насчет «Пет. газеты»; помню, он советовал мне заботиться более о том, чтобы дебютный рассказ был свеж и занимателен, а не о том, чтобы он был юмористичен или смешон; для «Пет. газеты» этого не нужно. Дебютный рассказ у меня вышел удачным. Лейкин передал его в газету, в следующий же понедельник он появился в газете, а из редакции мне было прислано письмо с предложением продолжать работу. Конечно, я откликнулся на предложение; около восьми лет я печатался по понедельникам на страницах «Пет. газеты», и это постоянное сотрудничество дало мне определенный, довольно значительный по тому времени заработок и помогло из глухих лесов перебраться в Москву.

Когда после пяти-шести рассказов, появившихся в газете, я приехал в Москву, Чехов весело сказал мне:

— Поздравляю!

— С чем это?

---

* Позже взгляд Чехова на Суворина значительно изменился. (*Примеч. А. С. Лазарева-Грузинского.*)

— Был у меня Худеков. Вы знаете, он в восторге от вас!

Худеков, проездом в Петербург, заглянул к Чехову и просидел у него вечер. Худеков просил Чехова не бросать «Пет. газету» совсем и хотя изредка давать туда рассказы, обещая платить, помнится, по полтиннику за строчку, что было значительно выше нововременского гонорара. Чехов рассказывал подробно, что именно говорил обо мне Худеков (я не помню этого), и ему было приятно передать хорошие вести. Позже, через год или полтора, вернувшись из Ялты, он так же весело рассказал мне, что где-то за табльдотом в Ялте встречался с моими поклонниками и слышал, как какой-то франт говорил франтихе:

— А знаете, Нина Яковлевна, нынче в «Петербургской газете» опять рассказ Грузинова идет.

И мы оба смеялись, потому что русский человек не может не переврать фамилии автора в лучшем случае, а в худшем на вопрос об авторе понравившейся ему вещи ответит вам простодушно:

— Фамилия автора? Ну, знаете, я ее не запомнил!

Не удосужившись во время пребывания в Петербурге поговорить об издании моей книги с Голике, Чехов впоследствии перетолковал об издании ее с Лейкиным, и первая книжка моих рассказов Лейкиным была издана.

Вот письмо Чехова об издании книжки от 31 августа 1888 года:

«31 августа 1888 г.

Простите, добрейший Александр Семенович, что я запаздываю ответом на Ваше письмо; а ответ нужен, ибо мне заданы Вами кое-какие вопросы.

Вопрос о книге, по моему мнению, должен быть решен в положительном смысле. Чем раньше, тем лучше.

Книга, извините за выражение, даст Вам кукиш с маслом; пользу от нее (14 р. 31 коп.) получите Вы не раньше, как через 5 лет, а в соиздательстве с милейшим Лейкиным не раньше, как через 21 год. Но, надеюсь, Вы, как истый Грузинский, ждете от книги не финансов, а совсем иной пользы, о чем мы с Вами уже и говорили. Издать книгу — это значит повысить свой гонорар и стать одним чином выше. Для пишущего книга, умело изданная, по значению своему равносильна стихии... Она влечет в храм славы и, что важнее и серьезнее всего, делает Вас известным в кружках литературных, т. е. в тех, извините за выражение, ватерклозетах, в которые, к счастью для человечества, дозволяется входить только очень немногим, но без кото-

рых пишущему индивидую обойтись невозможно (к несчастью, конечно). Как писать: ксчастью или к счастью? Забыл.

Теперь вопрос: где издать книгу? Если хотите издать в «Осколках», то делайте это помимо Николая Александровича. Лейкин хороший человек, но Голике еще лучше. Если бы я был уверен, что после Вашей смерти это письмо не попадет в руки Лейкина, то высказался бы перед Вами смелее и с полною откровенностью; но так как письма мои Вы бережете, то осторожно ставлю точку и молчу.

Издать у Суворина можно. Протежировать я берусь и письменно и устно. Суворин никогда Вас не читал (он не читает газетной беллетристики, а в журналах пробегает рецензии — только), но он верит мне, ибо я еще его ни разу не обманывал, да и не обману, если предложу издать Вашу книжку. Издать книжку, очень возможно, он согласится и сейчас, но в тысячу раз *лучше,* если Вы, прежде чем издавать, познакомитесь поближе с «Нов. вр.», т. е. напечатаете в нем 3—4 субботника. Суворину приятнее будет издать своего человека. Про Вас я уже говорил обоим Сувориным: и отцу и сыну... Буду говорить и, буде пожелаете, писать Буренину. Можете быть уверены, что каждый Ваш рассказ прочтется. В субботниках чувствуется большая нужда.

В Москве буду 5—6 сентября. Это письмо посылаю через N. (Чехов направил письмо по адресу нашего общего московского знакомого), ибо не знаю, где вы: фланируете ли по Москве, или же воспитываете грядущие поколения в Киржаче. Поклон N.

Ваш *А. Чехов».*

Чехов оказался отличным провидцем, материальной пользы от изданных Лейкиным моих «Нескучных рассказов» я не получил даже и через двадцать один год. Когда издание окупилось, Лейкин сделал совершенно нелепое распоряжение выдавать мою книгу книгопродавцам только за наличный расчет, тогда как даже издания классиков солидные фирмы получали на комиссию, да и свои собственные, весьма читавшиеся книги он давал столичным книгопродавцам на комиссию в каком угодно количестве. Распоряжение Лейкина, конечно, не содействовало дальнейшему движению моей книги. Но о ней было несколько одобрительных рецензий. Многие из рассказов были пере-

ведены Филиппом Матефой на чешский язык. В Праге эти переводы, печатавшиеся по преимуществу в воскресных приложениях лучших чешских газет, вышли отдельным томиком в какой-то универсальной библиотеке наряду с томиками выдающихся западных писателей: Мериме, Мопассана, Брет-Гарта, Ришпена, Матильды Серао и др. Да однажды, сидя в приемной зубного врача и карикатуриста Чемоданова, я видел, как одна из его пациенток в ожидании приема смеялась, читая «Нескучные рассказы».

Вот и все, что я могу записать им на приход.

Ничто так не любил Чехов в человеке, как талант, и людей, обнаруживавших хотя бы небольшие блестки таланта, не стесняясь выделял из среды заурядной толпы. Вот два случая, врезавшихся в мою память.

Однажды при мне в кабинете Чехова сидели молодой беллетрист *** и один из приятелей Чехова, тоже причастный к литературе, малый добрый, но не в достаточной мере тактичный.

— Гм... так ты работаешь у Лейкина? — спросил он беллетриста.

— Работаю, — скромно объяснил беллетрист.

— А я бросил. К чертям послал. Ну его!

Чехов поморщился, минут пять говорили о посторонних вещах.

— Так работаешь, значит, у Лейкина? — возвратился добрый малый к старой теме. — И теперь работаешь?

— Да, да, работаю, — сконфуженно подтвердил беллетрист.

— А я его к чертям послал! Я бросил.

При всей деликатности и мягкости Чехов умел спокойно, добродушно, но вместе с тем твердо ставить на свое место зарывавшихся лиц. Когда человек, причастный к литературе, в третий раз заявил, что он бросил работу у Лейкина, свертывавший папироску Чехов повернулся к нему и сказал спокойно:

— Послушай, ведь он же талантливый человек и нередко пишет отличные вещи, а тебе литература может дать разве пятнадцать копеек в месяц. Прекрасно сделал, что бросил.

Разговор о Лейкине больше не возобновлялся. В другой раз при мне один из братьев Чехова осадил того же беллетриста, собиравшегося проехаться по Волге, не совсем тактичным допросом:

— Но ведь туда придется потратиться... У вас есть деньги?

Чехов, слушавший с улыбкой этот допрос, вдруг сказал брату:

— Брось! Он — талантливый человек, сядет к столу, напишет, вот и деньги!

Большими друзьями Чехова были талантливый архитектор Шехтель, талантливый пейзажист Левитан, он очень дружил с талантливыми артистами — покойным Свободиным, здравствующим Давыдовым, позже — с Потапенкой, с Максимом Горьким.

— Посмотрите, как талантливо сделал Чемоданов толпу! — показал он мне однажды страницу старого «Будильника», в котором доктор и карикатурист Чемоданов действительно интересно залил страницу целым морем голов.

— «Талантливо!»

Этого было совершенно достаточно, чтобы привлечь к себе внимание Чехова.

В цитированном выше письме Чехов пишет, что Суворин верит ему, потому что он ни разу не обманывал Суворина; я тоже не обманывал Чехова, давая отзывы о литературной братии и т. п., и с удовольствием вспоминаю, что Чехов в присутствии родных или знакомых не раз говорил, желая услышать мой отзыв о новой пьесе, которой он еще не видел, или о новой книжке журнала, которой он не успел прочесть:

— Расскажите мне, А. С, я хочу слышать ваше мнение. *Я вам верю.*

Об одном из моих отзывов я до сих пор не могу вспоминать без улыбки.

Помню, в первую пору знакомства с Чеховым мы вели оживленный спор о вещах, вошедших в его сборник «Пестрые рассказы». Некоторыми Чехов был очень недоволен, я отстаивал их и затем сказал:

— Но есть у вас рассказ, который черт знает зачем попал в сборник. На вашем месте я ни за что бы его не включил!

— Какой это? — заинтересовался Чехов.

— «О вреде табака».

Мне показалось, что Чехов посмотрел на меня какими-то странными глазами; но затем он сказал задумчиво:

— Нет, что же... «О вреде табака» неплохой р а с с к а з... — Он добавил еще что-то в его защиту, все глядя на меня странными глазами, но я ответил упрямо:

— Не знаю... Может быть... Но я бы в свой сборник его не включил.

У меня создалось такое впечатление, что Чехов питает

пристрастие к своему слабому детищу, подобно тому как многие родители наиболее любят своих захудалых детей, и только уже после смерти Чехова, читая в первом томе его писем письмо к В. В. Билибину от 14 февраля 86 года, я узнал истинный взгляд Чехова на никогда не нравившуюся мне вещь:

«Работы очень много, — пишет Чехов. — Некогда даже обедать. Сейчас только что кончил сцену-монолог «О вреде табака», который предназначался в тайнике души моей для комика Градова-Соколова. Имея в своем распоряжении только $2^{1}/_{2}$ часа, я испортил этот монолог и... послал его не к черту, а в «Пет. газ.». Намерения были благие, а исполнение вышло плохиссимое...»

Письмо это писано Чеховым приблизительно за год до нашего спора о слабом монологе; кстати: во второе издание «Пестрых рассказов» Чехов, насколько помню, этот монолог не включил [7].

В одном из писем к Е. М. Ш., рассказы которой Чехов исправлял, шлифовал и рассылал по редакциям очень усердно, Чехов поминает обо мне и говорит, что я «тоже прошел через его цензуру» [8]. Я не знаю точно, что подразумевал Чехов под этими словами, но если правку рассказов, то это не совсем верно. Фактически Чехов исправил 2—3 моих субботника, которые прошли в «Нов. времени» и за которые Суворин — помимо Чехова, ибо Чехов был удивлен этим гонораром — заплатил мне небывалый для нововременских новичков гонорар. Да еще Чехов просмотрел мой водевиль «Старый друг» и сделал мне много ценных указаний. В «Осколках» я напечатал длинный ряд рассказов еще до знакомства с Чеховым, а затем ни один мой рассказ из десятков и даже сотен, появившихся в «Пет. газете» или где бы то ни было, не был известен Чехову до появления его в печати. Я не любил быть навязчивым, да и самая срочность постоянной работы в «Пет. газете» служила препятствием для какой-либо правки Чехова, тем более что я около трех лет до переезда в Москву писал в газету из глухого угла Владимирской губернии. Во время редактирования Чеховым беллетристического отдела в «Русской мысли» [9] он не раз предлагал мне написать рассказ для журнала, а я не раз сообщал ему темы, на которые думал писать; некоторые темы Чехов вполне одобрил, но тут дело не дошло ни до правки, ни до цензуры Чехова, потому что никакого рассказа для «Русской мысли» я не написал. Я не был ленив, работал много, но у меня было почти физическое отвращение к работе в толстых журна-

лах, потому что в газетах я писал свободно то, что мне хотелось писать, писал — как поют птицы, а для толстых журналов в те годы тенденция была почти обязательна. Я испытывал то чувство, которое Чехов так метко характеризует в одном из писем 94 года: «хочется про чертей писать, про страшных, вулканических женщин, про колдунов, но, увы, требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг» [10]. Мне смертельно не хотелось писать этих благонамеренных повестей, и я не мог принудить себя к этой работе.

Но если откинуть узкий смысл правки рассказов, то, безусловно, я многим обязан Чехову, и влияние его на меня было очень велико. Он открывал мне тайны писательства, до которых без его помощи мне пришлось бы брести ощупью весьма продолжительный срок. Такие замечания Чехова: «для того чтобы подчеркнуть *бедность* просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в *рыжей* тальме», были для меня целым откровением. (Кстати: эту рыжую чеховскую тальму в своих статьях о Чехове покойный Измайлов цитировал, можно сказать, до износа.) [11] Некоторые взгляды Чехова звучали парадоксально, но были, в сущности, верны. «Искусство писать, — говорил он мне, — состоит, собственно, не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное». Так и бывает, так и должно быть с новичками, у которых есть дарование и есть вкус, принуждающий бежать вялости, серости, шаблона. Рукопись новичка должна пестреть десятками помарок, которые, впрочем, не всегда уменьшают ее размер; ведь на смену вялых, слабых, плохо изложенных мыслей являются новые, яркие мысли, красивые слова. Позже рукописи могут быть прекрасными и без единой помарки, как были прекрасны рукописи Чехова, лишенные поправок, но это потому, что у людей, искусившихся в писательстве, процесс смены вялого жизненным и серого ярким происходит уже не на бумаге, а до перенесения слов и мыслей на бумагу, в мозгу.

В одном письме ко мне Чехов писал:

«Стройте фразу, делайте ее сочней, жирней... Надо рассказ писать 5 — 6 дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтобы каждая фраза прежде, чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два и обмаслилась. Само собой разумеется, что сам я по лености не придерживаюсь сего правила, но вам, молодым, рекомендую его тем более охотно, что испы-

тал не раз на себе самом его целебные свойства и знаю, что рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками» [12].

По поводу этих перечеркнутых и испачканных рукописей мне пришлось как-то говорить с Чеховым. Ничуть не отрицая необходимости работать над рукописями, я ссылался на здравые, по моему мнению, слова одного из критиков, который говорил, что секрет творчества не в бесконечных поправках, иначе с помощью этих поправок можно бы создавать шедевры, но ведь этого не бывает, и каждый автор может дать вещь только в меру своего дарования или таланта. Чехов этого не оспаривал.

В том же письме к Е. М. Ш. Чехов бросает замечание, что я как будто не оправдал тех надежд, которые на меня возлагали. Не знаю, что это были за надежды, но в газетных новеллах я хорошо решал те задачи, которые перед собой ставил. Печатали меня охотно и много. Позже, в 1899 году, когда я сообщил Чехову, что ушел из «Новостей дня» после восьмилетней работы и скучаю, он писал мне из Ялты: «Отчего бы не попробовать Вам работать в «Неделе», в «Сыне отечества», «Биржевых ведомостях»? Ведь газет так много, и Ваше сотрудничество каждою из них было бы принято с распростертыми объятиями» (письмо от 10 февраля 1899 г.). Но в указанные Чеховым издания мне не пришлось обращаться, в том же феврале я получил предложения постоянной работы от двух больших газет — петербургской и харьковской, в которых и работал — в петербургской до ее запрещения в 1901 году, а в харьковской — до ее закрытия в 1918 году.

Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и странным упорством и в зимние вечера в кабинете корнеевского дома, и в летние дни во время прогулок в бабкинском лесу; каждый раз наш разговор на эту тему заканчивался фразой Чехова:

— И что бы там ни болтали, а ведь вечно лишь то, что художественно!

В одном из писем, кажется к Щеглову [13], Чехов обмолвился странным признаньем, что не сумеет объяснить, почему ему нравится Шекспир и совсем не нравится Златовратский. Но его заключительная фраза к речам о тенденциозности могла бы служить прекрасным ответом на вопрос о Шекспире и Златовратском.

Однако почему Чехов так упорно возвращался тогда к мыслям о тенденциозности? Мне кажется, этим его писательский организм реагировал на те упреки в «безразличии», «безучастии» и даже «беспринципности», которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел.

У Чехова я познакомился с Александром Игнатьевичем Иваненко, молодым музыкантом, которого переписка Чехова рисует очень простодушным человеком и с которого Чехов будто бы написал Епиходова. Иваненко был очень мил, но не так простодушен, как об этом можно думать по чеховским письмам, а что касается до житейских несчастий, то Иваненке действительно не везло. Он рассказывал мне, что был принят в консерваторию по классу рояли, но перед началом учения прихворнул, и когда явился в консерваторию недели через две после начала занятий, оказалось, что все рояли уже разобраны учениками, для него не осталось ни одного свободного часа, и учиться ему было не на чем.

— Хотите играть на флейте? Вот все, что могу вам предложить, — сказало какое-то консерваторское начальство.

Иваненко махнул рукой и начал учиться играть на флейте. Мечтать о рояли и кончить флейтой — это действительно несчастье, достойное Епиходова. Но дело не в этом. Дело в том, что благодаря Иваненке я узнал справедливость изречения: история повторяется.

Кажется, еще так недавно Чехов писал и говорил обо мне Суворину, а уже в 1892 году, редактируя «Будильник», я получил от Чехова такую записку:

«Мой знакомый А. И. Иваненко с моего благословения написал рассказ. Не дадите ли Вы по пятачку за строчку? Я сердит на Вас, Александр Семенович, и имею на то полное основание. Поклон.

Ваш. *А. Чехов»* [14].

У Иваненки кое-что можно было брать, и несколько рассказов его я напечатал в «Будильнике». Подписывался Иваненко псевдонимом «Юс малый». А Чехова я запросил, за что он сердит на меня, но ответ получил примерно через месяц. Чехов писал:

«2 октября 1892 г.

Простите, добрейший Александр Семенович, что я так

поздно отвечаю на Ваше письмо. Виною тому текущие дела и леность.

Да, я на Вас неистово сердит, но единственно за то только, что Вы минувшим летом отказали мне в удовольствии видеть Вас у себя в Мелихове. Я весьма огорчен. Теперь уже нет смысла ехать ко мне, так как идет холодный дождь и дороги прескверные, приходится невылазно сидеть в комнате. Попробую еще раз пригласить Вас на рождество и в другой раз весною, а там уж как знаете... Летом у меня Вы увидели бы много курьезного и, пожалуй, интересного. У меня просторно, есть бараны, есть щенки Мюр и Мерилиз, есть всякая овощь и даже пара свиней. Тишина и благорастворение воздухов... Я вижу, Вы зеваете, воображая мою жизнь, но, уверяю Вас, остроумцам из «Иллюстрированной газеты» живется скучнее, чем уездным обывателям, а ведь от Москвы так и несет названными остроумцами, жареной колбасой и Левинским!

За Иваненко благодарю. Только, пожалуйста, не особенно урезывайте его творения. Ведь он пишет не для славы, а для пищи и одежды. У него, несомненно, есть свежесть и хохлацкая игривость, но он сильно отстал в знаках препинания.

Участковым врачом я буду состоять до 15 октября, когда упразднят в моем участке холеру. У меня прибавится досуга, и я, пожалуй, буду чаще наведываться в Москву, хотя мне ехать туда и жить там положительно не для чего.

На моей литературной бирже настроение далеко не бойкое. Приготовил для печати одну повесть и оканчиваю другую — вот и все за пять летних месяцев. Денег нет. Вчера заработал медициной шесть рублей, да хочу продать 200 пудов ржи, но это все гроши. Вся надежда на повести.

Как поживает N [15]? Что он пописывает? Вот бы кому забросить к черту Плющиху и последовать моему примеру. В деревне и дешевле, и здоровее, и горизонты не заслонены домами.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш. *А. Чехов.*

Вот мои расходы по имению за текущее лето:

Молотилка 30 р.
Экипаж с верхом 70 р. } Куплено по случаю.
Новый пруд 150 р.
Перестройка конюшни 30 р.

Итого 280 р.

Да по мелочам вышло тысячи две».

Я пригласил Иваненку к себе, он бывал у меня и рассказывал много интересного о семье Чехова и особенно о Николае Чехове, тогда уже покойном. Вместе с Чеховыми он жил где-то близ Сум на даче, да и вообще был южным уроженцем и земляком Чехова.

В том же 1892 году я получил от Чехова еще одну записку с упоминанием об Иваненке. Записка без даты: [16]

«Здравствуйте, Александр Семенович! Остановился я у черта на куличках — Новая Басманная, Петровско-Басманное училище. Приехал я по весьма важным и спешным делам и 17 уеду опять. Нужно спешить, так как дома около меня холера. Приеду еще через 1—$1^1/_2$ недели. Не повидаться ли нам? Мне известно, что завтра к 12 дня меня дома не будет, а остальное мне неизвестно. Я соскучился по Вас...

Пользуясь тем, что сожитель наш «Юс малый» посылает Вам свой рассказ, я вкладываю это письмо в его пакет — способ избавить себя от 5 коп. марки! Завтра в 12 ч. в «Славянском базаре» завтракаю с Лавровым и Гольцевым. Весьма вероятно, что к 3—4 часам или к 5 буду дома. Поехал бы к Вам, но, честное слово, занят по горло.

Ваш *А. Чехов»*.

Все эти письма и записки Чехова не вошли в собрание его писем и являются в печати впервые [17].

Два слова об Иваненке. Писателя, хотя бы самого маленького, из Иваненки не вышло, и он вскоре сам бросил писание рассказов, да, помнится, и в консерватории у него что-то обстояло не совсем благополучно; он не кончил консерватории и уехал на родину, на юг.

Я познакомился с Чеховым, как уже поминал выше, в самом начале 87-го года. Один из русских писателей, рассказывая о первой встрече с Чеховым приблизительно в то же время, писал, что в лице Чехова он нашел много сходства с лицом простого деревенского парня, и это же подтвердил кто-то из его семьи [18]. О таких субъективных впечатлениях не спорят. Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким, в сущности, он и был года за два, за три до нашей встречи. От этого времени сохранился замечательный портрет Чехова, дающий о нем превосходное представление. Мне он подарен Чеховым в апреле 1889 года (под надписью на портрете есть дата), но снят в Петербурге

у Пазетти, кажется, годом раньше; лицо в три четверти; на Чехове пиджак, крахмальная сорочка и белый галстук.

Этот портрет мне всегда казался очаровательным благодаря тому выражению смелости, которое вообще было свойственно Чехову, кроме дней тяжелой болезни, но которого нет между тем ни на одном из чеховских портретов, более или менее известных публике. Ведь даже письма Чехова дают представление о нем как о смелом человеке, но на портретах его более не смелости, а задушевности и грусти.

В конце восьмидесятых годов у Чехова оставалось уже не так много необычайной жизнерадостности, о которой мне рассказывали общие знакомые, дружившие с Чеховым в годы его студенчества, и, между прочим, брат известного пейзажиста, тоже художник, Адольф Ильич Левитан.

— Во время наших пирушек Антоша был душой общества, — рассказывал Левитан. — Бог знает, чего только он не придумывал. Мы умирали от смеха.

Но болезнь в конце восьмидесятых годов еще не обострилась у Чехова, и иногда ему хотелось дурачиться. Он брал что-нибудь вроде рекламного прейскуранта аптекарского магазина, становился в позу и начинал нам читать этот прейскурант, делая скользкие, а иногда и совсем нецензурные примечания к названию и свойствам медикаментов. Остроумие искрилось в этих примечаниях, и даже люди, искусившиеся в юморе, не могли не смеяться. В первые дни нашего знакомства он очень уговаривал меня не уезжать и остаться в Москве на его именины, на которых он будет танцевать какую-то необычайную, никогда не виданную мною кадриль. Партнерами его по кадрили он называл, помнится, Левитана, брата Николая и Шехтеля. Но я вернулся на службу раньше именин Чехова, и мне не удалось увидать этой замечательной кадрили.

Подобно тому как он читал прейскуранты, Чехов однажды поднялся с кресла, взял со стола тоненькую тетрадку и, стоя посреди комнаты, жестикулируя, меняя голоса, прочел нам очень живую и веселую пьеску. Это был только что законченный им «Медведь» [19].

Читал Чехов мастерски, — известно, что в ранней юности он не без успеха выступал на сцене; всю пьеску он прочел свободно, не задыхаясь, не спадая с голоса, хотя от публичных выступлений на литературных вечерах уклонялся и тогда, и позже, ссылаясь на слабость голоса, на быструю утомляемость. От публичных выступлений его удерживал, по его собственному признанию, беспричинный

и глупый страх толпы, чувство, которое было для него непреоборимым. В небольших компаниях не было человека общительнее его.

Среди других курьезов когда-то в Москве вышла брошюрка, трактовавшая Чехова как какого-то уединенного философа; на самом деле Чехов не терпел одиночества и уединялся только от несимпатичных ему людей, от людей назойливых и не представлявших для него интереса. Но даже и от этих людей он не всегда уединялся. Одно время его одолел беллетрист Сергей Филиппов, издававший какие-то спутники и путеводители и печатавший рассказы в «Русских ведомостях».

— Приходит, сидит целыми часами, — жаловался мне Чехов, — и целыми часами рассказывает какую-то чепуху.

— Да что именно?

— А черт его знает что!

Чехов махнул рукой. Дня через два я зашел вечером к Чехову и как раз застал у него Сергея Никитича Филиппова; просидел Филиппов целый вечер, говорил не смолкая и действительно рассказывал черт знает что. Между прочим вздором он рассказал, что страшно боится покойников, и, когда у него умер отец, он, взрослый и, нужно заметить, весьма кряжистый мужчина, дрожал от страха, не мог войти ночью в комнату, где лежало тело отца, и чуть ли даже не смог проститься с покойником. Мне вся эта история показалась неправдоподобной, да и Чехов слушал ее хмуровато: боязнь покойника была еще менее понятна, еще менее могла понравиться Чехову как врачу. В лучшем случае страхи этого здорового, бородатого мужчины были только трусостью и лестной рекомендации дать ему не могли.

С. Н. Филиппов одолевал Чехова в доме Корнеева, а когда Чехов переехал на Малую Дмитровку, в дом Фирганг, придя как-то вечером к Чехову, я застал неизвестного мне старичка с немецкой фамилией, который был тоже охотник поговорить, и едва я прислушался к его речам, на меня пахнуло С. Н. Филипповым. Чехов сидел в кресле, гладил мангуса и казался утомленным. К счастью, старичок с немецкой фамилией скоро ушел. Чехов оживился.

— Кто это? — спросил я.

— Писатель. Одолел. Заговорил.

— Что же он пишет?

— Какие-то статьи в «Наблюдателе». Под псевдонимом «Молотов» [20]. Вы не читали?

— Нет. А зачем он к вам ходит?

— А черт его знает зачем!

Но даже от С. Н. Филиппова, даже от «Молотова» Чехов не пытался уединиться; не пытался потому, что был не уединенный, а необычайно «общественный» человек. Мне он предлагал писать вместе с ним водевиль «Гамлет, принц датский». А. С. Суворину предлагал писать большую пьесу; [21] когда Курепин надумал писать коллективный роман, Чехов тотчас согласился принять в нем участие; [22] то и дело Чехов приглашал к совместным поездкам; с молодым Сувориным собирался чуть ли не в Иерусалим, а мне говорил:

— Поедемте в Финляндию!

Или:

— Я еду в Петербург. Поедемте вместе.

Мне ни разу не случалось ездить с Чеховым в Петербург, но я провожал его на Николаевский вокзал при его поездках в Петербург очень часто. Чехов говорил мне, что при отъезде из дома его охватывает жуткое чувство одиночества, время на вокзале перед отъездом тянется чересчур тоскливо и он рад, когда кто-нибудь из добрых знакомых возле него. Я же в Москве бывал только в каникулярное время, и дни мои были свободны. Помню одни из подобных проводов ранней весной 87-го или 88-го года. Дорога портилась, полозья саней скрипели, ударяясь об обнажавшиеся камни и рельсы конки, и я не совсем доверчиво слушал фантазию Чехова на ту тему, что лошадь, которая нас везет на вокзал, должна испытывать удовольствие от своего труда. Но когда он мне передал тему рассказа, который просится под его перо, я решительным образом забраковал эту тему. В дополнение к тому, что я писал (в сборнике «Энергия») о неосуществившихся и пропавших романах и пьесах Чехова [23], скажу пару слов и про этот неосуществившийся рассказ.

Чехов передал мне, что ему хочется описать впечатления простого деревенского парня, который попал в большой город и в первый раз едет на извозчике. Живя в глуши, бродя по лесным дорогам и по деревенским проселкам, я то и дело встречался с этими деревенскими парнями, проезжавшими мимо на бойких лошадях, а в дни свадеб и в дни масленичного катанья мчавшимися на отличных тройках с непрестанно звеневшими бубенцами. Ну какое впечатление могла произвести и чем поразить такого парня езда на какой-нибудь заморенной московской кляче?

Я высказал Чехову свои соображения, он чуть-чуть

поспорил со мной, но, насколько я знаю, рассказ на такую тему Чеховым не был написан.

Как удивительно противоречивы показания современников о Чехове, доказывает следующий факт. В воспоминаниях И. Н. Потапенки о Чехове имеются любопытные строчки:

«Творчество стыдливо, и у Чехова это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было. Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила» [24].

А К. С. Баранцевич, гостивший на юге у Чехова, рассказывает [25], что на столе в кабинете Чехова валялось несколько четвертушек бумаги, и на одной из них был начат Чеховым какой-то рассказ. За целую неделю, если судить на взгляд, в рассказе не прибавилось ни строчки, и всякий желающий мог свободно читать начатую работу Чехова. На даче околачивался какой-то почти неизвестный Чехову захолустный обыватель, и этот обыватель тоже мог читать чеховский набросок.

В этих противоречивых показаниях истина всецело на стороне К. С. Баранцевича.

Кроме первых лет юмористического скорописания, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, чеканя каждую фразу. Но работая медленно и вдумчиво, Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, ни священнодействия, никогда его творчество не требовало уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей. У Чехова слишком много было внутренней творческой силы и той мудрости, о которой говорит тот же Потапенко, — да и не один он, — чтобы обставлять работу свою такими побрякушками.

Не думаю, чтобы я представлял исключение из общего правила, но при мне Чеховым были написаны многие рассказы в «Пет. газету» (между прочим, «Сирена»), некоторые «субботники» в «Новое время», многие страницы «Степи». Я потому запомнил «Сирену», что писал ее Чехов в Бабкине целый день, а кончив, обратился ко мне с просьбой:

— Прочитайте «Сирену» [26], А. С.! Не пропустил ли я где-нибудь слова или запятой? Нет ли бессмыслиц? Кстати, это рекорд: рассказ написан без единой помарки.

«Сирена» была действительно написана без помарок; пока Чехов курил и устало потягивался, я прочел рассказ; все слова и все запятые были на своих местах; только в конце рассказа, там, где один из персонажей берется за шляпу,

вместо шляпы стояла «шляпка». Чехов исправил описку, сказав шутливо:

— Нужно исправить! Он — не дама.

При мне и брате Иване Павловиче Чеховым был написан небольшой, но прекрасный рассказ о настоятеле монастыря, который так красиво рассказывал монахам о зле и соблазнах мира, что наутро все монахи покинули монастырь [27]. Закончив рассказ, Чехов прочел нам его, и затем младший брат Чехова, Михаил Павлович, повез рассказ на Николаевский вокзал, чтобы сдать его на курьерский поезд.

Не делал секрета Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек.

Однажды, летним вечером, по дороге с вокзала в Бабкино и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который, увы, никогда не был написан. А в другой раз, сидя в кабинете корнеевского дома, я спросил у Чехова о тонкой тетрадке:

— Что это?

Чехов ответил:

— Записная книжка [28]. Заведите себе такую же. Если интересно, можете просмотреть.

Это был прообраз записных книжек Чехова, позже появившихся в печати; книжечка была крайне миниатюрных размеров, помнится самодельная, из писчей бумаги; в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку об особенном лае рыжих собак — «все рыжие собаки лают тенором» — я вскоре встретил на последних страницах «Степи».

В 1892 году из Москвы Чехов переехал в мелиховскую усадьбу, где мне приходилось бывать только изредка, всегда в компании с кем-нибудь; естественно, что при гостях Чехов не работал, но думаю, что его десятилетние писательские привычки остались.

В прекрасной книге жизни Чехова есть одна загадочная, как будто темная страничка; это — история с «Попрыгуньей».

В восьмидесятых годах Чехов дружил в Москве с Софьей Петровной Кувшинниковой. Это была дама уже не первой молодости, лет около сорока, художница-дилетантка, работою которой руководил Левитан. Никакой художественной школы, как я слышал, она не кончила. Муж ее был полицейским врачом, кажется при Сущевской части. Раз в неделю на вечеринки Кувшинниковых собирались

художники, литераторы, врачи, артисты. Часто бывали Чехов и Левитан. Я не был знаком с Кувшинниковой, но о ней мне много рассказывали жанрист Левитан, брат знаменитого пейзажиста, покойная артистка Малого театра Вера Сергеевна Васильева и кое-кто еще из друживших с Кувшинниковой лиц. По просьбе Измайлова я дал ему некоторые сведения о Кувшинниковой, и они напечатаны в его книге о Чехове [29] без ссылки на меня.

По общему отзыву, Софья Петровна была женщиной интересной и незаурядной, хотя не отличавшейся красотой. В ней было что-то, что собирало в ее кружок выдающихся людей, но, кажется, стремления к оригинальности в ней было больше, чем подлинной, неподдельной оригинальности. Очень красочно и ярко В. С. Васильева описывала мне свою первую встречу с Кувшинниковой.

Весенним солнечным утром в дачной местности, где стоял какой-то эскадрон и по знакомству можно было достать верховую лошадь, В. С. Васильева шла по лугу. И видит, что к ней летит странная амазонка, в развевающемся капоте, с развевающимися волосами, с обнаженными ногами, вся — стремление, вся — порыв; легкий капот амазонки надет прямо на голое тело. Это и была Софья Петровна Кувшинникова, позже числившая В. С. Васильеву в числе ближайших друзей.

Когда в 1892 году в двух номерах «Севера» появился известный рассказ Чехова «Попрыгунья», в Москве заговорили, что Чехов героиню «Попрыгуньи» списал с Кувшинниковой, а любовь героини к художнику Рябовскому — это любовь Кувшинниковой к Левитану. Неосторожность или ошибка Чехова в сюжете «Попрыгуньи» несомненны: взяв в героини художницу-дилетантку, в друзья дома он взял художника, да еще пейзажиста. Но еще большую ошибку он сделал, дав в мужья героине врача. Положим, муж Кувшинниковой был не выдающийся врач, будущее светило науки, как муж «попрыгуньи», а заурядный полицейский врач, все же в общем это увеличило сходство семьи «попрыгуньи» с семьей Кувшинниковой и дало лишний повод различным литературным и нелитературным Тартюфам вопить по адресу Чехова: «разбой! пожар!» [30], а Кувшинниковой и Левитану — лишний повод к претензии на Чехова. Если бы Чехов сделал мужем «попрыгуньи» не врача, а ну хотя бы педагога или инженера, у Тартюфов не нашлось бы материала для воплей о «пасквиле», о котором вопили они весьма усердно.

Да, Чехов ошибся. Без этой ошибки история с «Попры-

гуньей» была бы решительным вздором, потому что серьезный и вдумчивый Левитан совершенно не походил на ничтожного Рябовского, а пустельга-«попрыгунья» — на Кувшинникову, во всяком случае не бывшую пустельгой. Чехов любил Левитана и карикатурить его не стал бы. Мне Чехов говорил о Левитане: «Это еврей, который стоит пятерых русских», и с какою-то почти нежностью рассказывал, что, уехав в Италию, Левитан так стосковался там по русской природе, что быстро вернулся назад. У Левитана была тонкая, художественная натура; кроме живописи, он страстно любил музыку, и я помню, как однажды, очутившись в Новом театре на «Гугенотах» [31] с очень плохим составом исполнителей, он испытывал почти физическую боль при какофонии певцов (наши места были рядом) и бежал из театра задолго до окончания оперы.

Наиболее отрицательным типом в «Попрыгунье» является Рябовский, потому что у самой «попрыгуньи» все же бывают минуты раскаянья и добрых порывов души, но и Левитан, разожженный Тартюфами, кончил тем, что с год или года полтора подулся на Чехова, а затем старая дружба поставила крест на истории с «Попрыгуньей» и не прерывалась до смерти Левитана в течение шести или семи лет. Рассердилась на Чехова и Кувшинникова, вероятно под влиянием тех же Тартюфов, так как сорокалетней женщине — и притом не пустельге — узнавать себя в двадцатилетней пустельге не было особых резонов. Я не знаю, состоялось ли примирение между Чеховым и Кувшинниковой, но, конечно, утверждение кого-то из «историографов» случая с «Попрыгуньей», что от дома Кувшинниковой Чехову было «категорически отказано», — решительный вздор [32].

Характерно одно: московская сплетня, рассказывая о раздражении Кувшинниковой и Левитана, ни одним словом не поминала, как же на «Попрыгунью» реагировал муж? Из этого умолчания можно сделать вывод, что коллега Чехова по медицинскому факультету, как более уравновешенный человек, не придавал особого значения рассказу и смотрел на него не как на «пасквиль», а просто как на художественную вещь, как на одну из лучших миниатюр за последний период творчества Чехова.

А теперь два слова о «пасквиле». Пасквилем называется письменное или печатное произведение, заключающее в себе оглашение позорящих чью-либо честь обстоятельств. Какие же позорящие чью-либо честь обстоятельства оглашает Чехов в «Попрыгунье»?

Осип Дымов — чудеснейший человек, стоящий вне всякого упрека. Попрыгунья довела своим поведением и изменой мужа почти до самоубийства. Но ведь С. П. Кувшинникова мужа до самоубийства не доводила, во дни появления «Попрыгуньи» ее муж был жив и здоров, значит к ней это «оглашение» не могло относиться. Остается оглашение романа, но роман был известен всем знакомым, роман был решительно другого свойства, чем роман «попрыгуньи», и к трагическим результатам не привел. Такие романы имела добрая половина литературной и художественной Москвы. И в массе случаев мужья после разъезда не играли трагедии, а просто и мило ходили в гости к прежней жене и ее новому другу. Мог ли Чехов иметь что-либо против таких романов? Чехов был свободолюбив и никогда не выступал в роли цензора нравов. Но, в общем, все же нельзя отрицать в «Попрыгунье» какой-то неосторожности, какой-то литературной ошибки Чехова.

Софья Петровна Кувшинникова пережила и мужа, и Левитана, и Чехова и своею красивою смертью доказала, что она — не пустельга. Об ее смерти мне рассказывал Адольф Левитан. Живя в глуши под Москвою, на даче, она заразилась, ухаживая за каким-то одиноким, оброшенным заразным больным, и умерла в несколько дней.

Художницей она была слабой. Я побывал на посмертной выставке ее картин в Московском обществе любителей художеств; картин хватило на целую выставку, но успеха выставка не имела.

Литературные Тартюфы, кроме «Попрыгуньи», называют «прямым пасквилем» чеховскую «Ариадну». В «Ариадне» Чехов будто бы вывел известную артистку Л. Б. Яворскую. Это уже решительный вздор.

Л. Б. Яворская в пору знакомства с Чеховым играла в московском театре Корша. Это была красивая, изящная женщина и не блестящая, но весьма и весьма интересная комедийная актриса. Благодаря ей и талантливой игре Яковлева (Наполеон) известная пьеса Сарду «Мадам Сан-Жен» при первой ее постановке в Москве прошла у Корша свыше ста раз в одном сезоне. Вся Москва бегала смотреть «Мадам Сан-Жен». И действительно, Катрин Юбше в исполнении Яворской и Наполеона в исполнении Яковлева стоило и стоило посмотреть. Чехов чуть-чуть был увлечен Яворской. Однажды, зайдя в театр Корша днем за редакционными билетами, я увидел Чехова выходящим откуда-то из глубины театральных недр.

— Антон Павлович, что вы тут делаете? — с удивлением спросил я. — Я думал, вы в Мелихове. Ах, да! я и забыл, что вы ухаживаете за Яворской!

— Откуда вы знаете это?

— Откуда? Да об этом вся Москва говорит!

— Tout Moskou, tout Moskou! * — рассмеялся Чехов, но в дальнейшем разговоре (мы ушли вместе) не отрицал ухаживанья. А затем увлечение прошло, Яворская уехала из Москвы в Петербург, и к мимолетному роману Чехова была поставлена точка.

Кто первым пустил в публику и затем в печать вздор об «Ариадне»?

Возможно, что сама же Яворская. Как актриса, Л. Б. Яворская любила рекламу, а вздор с «Ариадной» делал вокруг ее имени некоторую шумиху. Журналисты, явно не расположенные к Чехову, делали вид, что верят сплетне, а искренне верили ей только люди малоосведомленные, плохо знавшие Чехова да и саму Яворскую. Решительно никакого «пасквиля» в «Ариадне» на Л. Б. Яворскую нет. Л. Б. Яворская была актриса, прежде всего актриса и как не актриса была не мыслима. Ариадна же — не актриса и не причастна к сцене ни с какой стороны.

Большой труд А. А. Измайлова «Чехов», составленный из его газетных статей, не обработан при выпуске и издан очень небрежно, с массой погрешностей, придающих совершенно неверное освещение фактам. Исправлю две-три, касающиеся моих сообщений.

Я как-то рассказывал Измайлову, что, зная доброту Чехова, братья-писатели не особенно церемонились с ним. Л. И. Пальмин однажды вызвал Чехова к себе, как к больному, телеграммой; когда же Чехов явился, оказалось, что Пальмина не было дома, а романист Прохоров-Риваль протащил Чехова через половину Москвы лечить горничную меблированных комнат, в которых он жил, от пустой головной боли. Последние четыре слова этой фразы у Измайлова опущены («Чехов», стр. 215), получается явный вздор, как будто Чехов был специалистом по лечению, скажем, генералов, что ли, и лечить горничную считал ниже своего достоинства. Дело не в том, что пациентка была горничной, а в том, что у ней была пустейшая головная боль, с которой она сама могла дойти до Чехова.

---

* Вся Москва, вся Москва! (*фр.*)

На стр. 166 «Чехова» Измайлов пишет:

«Юмористический жанр требовал таких жертв себе, что А. П. иногда считал нужным даже скрывать свое новое «произведение» от домашних. В одних из воспоминаний о нем (А. Грузинского) рассказан комический случай, как А. П., сам спрятавший вкладной лист «Осколков» с каким-то скабрезным рисунком, притворно помогал сестре, заинтересовавшейся нумером, найти его».

Маленькое сообщение мое, черточка из жизни Чехова, и здесь спутано, сбито, и получается новый явный вздор: Чехов иногда считал нужным скрывать от домашних свое новое произведение и потому прятал лист со скабрезным рисунком. Да что же, Чехов рисовал в «Осколках» карикатуры, что ли? Ведь не мог же не знать Измайлов, что карикатур Чехов не рисовал!

Вот моя картинка из жизни Бабкина в июле 1887 года:

«Приносят почту. Среди газет № журнала «Осколки». В № очень забавный, но несколько легкомысленный рассказ Чехова о надворном советнике Семигусеве, на крыльцо которого прачка на короткое время положила своего младенца («Беззаконие»). Надворный советник находит младенца, принимает его за своего собственного, подкинутого одной из его пассий со злобы, и чуть ли не идет с младенцем к жене каяться во грехах. В рассказе есть несколько фраз, к которым вполне применимы слова Беранже, говорившего, что он пишет не для институток. Нас зовут завтракать.

— Вы прочли «Осколки», А. С? — спрашивает Чехов.

— Да.

— Я тоже. Нужно их прибрать.

Чехов запирает текст в стол и оставляет только картинки. После завтрака мы собираемся идти за грибами и на минуту возвращаемся в кабинет, кажется затем, чтобы захватить папиросы.

— Антоша, пришли «Осколки»? — спрашивает сестра Чехова, в то время только что вышедшая из подростков.

— Пришли, — отвечает Чехов и подает сестре картинки.

— Антоша, а где же текст?

— Текст? Я не знаю, где текст. А. С., вы не брали текст? — спрашивает он у меня серьезно.

— Нет, не брал, — еще серьезнее отвечаю я.

— Я тебе найду текст, Маша, — утешает сестру Чехов. — Только не сейчас, после...»

И все.

Вступление о юмористическом жанре — никчемно, по-

тому что никаких жертв он не требовал. Лейкин не любил скабрезных вещей, и Чехов да и другие сотрудники «Осколков» писали их крайне редко.

В 1909 году, в пятилетие со дня смерти Чехова, выступил со своим «Опытом характеристики» Чехова Н. М. Ежов. «Опыт» произвел в прессе тех лет большой шум [33], и с очень резкими возражениями против «Опыта» выступили проф. Сакулин, Григ. Спир. Петров, Измайлов и др. известные журналисты. К сожалению, возражения затрогивали более нравственную сторону дела, а не были фактическим опровержением того вздора о Чехове, который в очень большом количестве дал в своем «Опыте» автор, что и позволило Н. М. Ежову во втором его выступлении «Моя статья о Чехове» [34] утверждать, что ни один из сообщенных фактов не был опровергнут. По существу же, факты не были опровергнуты не потому, что их нельзя было опровергнуть, а потому, что никто их опровержением не занялся.

Нравственная сторона дела весьма важная, но, конечно, не все же исчерпывающая сторона. Один из журналистов, например, упрекал Н. М. Ежова, примерившего светлого и хорошего человека на свой аршин и нарисовавшего его дрянцом человеком, в некоторой неблагодарности, так как Н. М. Ежов именно Чехову обязан всей своей литературной карьерой. Все это так. Но что же тут делать, если чувство благодарности, предположим, Н. М. Ежову незнакомо, и откуда он может взять его, если этого чувства у него нет? А самое главное — плох ли, хорош ли, благодарен или не благодарен Чехову Н. М. Ежов, сам Чехов не может стать от этого ни хуже, ни лучше, если бы характеристика Чехова Н. М. Ежовым была верна. Поэтому, оставляя в покое нравственную сторону вопроса, я коснусь только его фактической стороны.

Недавно я внимательно перечитал «Опыт характеристики». Все, что касается семьи Ант. П., отца, воспитания детей, т. е. все, что Н. М. Ежов переписал у Ал. П. Чехова (А. С—го) и о чем рассказывал ему Ник. Павл. Чехов, фактически верно и точно. Но там, где Н. М. Ежов пытается делать собственные характеристики, подводить самостоятельные итоги, он обнаруживает полное незнание того, о чем он берется судить, и сделанные им выводы оказываются явным вздором. Примером неосведомленности Н. М. Ежова может служить тот простой факт, что он не знает даже, скольких лет умер Чехов. В последней главе своего «Опыта» он пресерьезно сообщает, что «Чехов

скончался сравнительно молодым человеком, всего 42 лет от роду».

Бесцельно и скучно отмечать шаг за шагом все, что насочинял Н. М. Ежов в своем «Опыте», поэтому я отмечу только два-три вздора и поставлю к отметкам точку. Покойный Измайлов в «Чехове» называет статью Ежова мутной и полной предубеждений против Чехова и говорит, что в силу осторожности ее хочется обойти. А. А. Измайлов не разбирался в статье внимательно, но критическое чутье подсказало ему верный взгляд на статью Н. М. Ежова. Несомненно, эту статью нужно обходить, и людям, пишущим о Чехове, совершенно с нею не считаться.

А теперь возвращусь к статье.

В гл. V «Опыта», рассказывая о «Лешем», Н. М. Ежов говорит:

«Центральной фигурой в нем являлся лесничий, любящий лес и рассуждающий о том, какова будет посаженная березка... через тысячу лет? Он-то и был «Леший», не знавший (вместе с автором), что «тысячелетних» берез не бывает».

Такое «невежество», конечно, было бы в высшей степени постыдным и для автора и для лесничего, но дело-то в том, что в «Лешем» ни о какой тысячелетней березке лесничий не рассуждает и вообще речей о тысячелетней березке нет. Н. М. Ежов в высшей степени бесцеремонно сам сочинил эту тысячелетнюю березку и делает Чехова ответственным за собственное его, Ежова, сочинение.

Н. М. Ежов не знает не только текста Чехова, — не знает Буренина, не знает «Нового времени», в котором работал много лет. В гл. II, говоря о вступлении Чехова в «Новое время», Н. М. Ежов пишет, что не Григорович рекомендовал Чехова Суворину, нет, это произошло не совсем так. «Может быть, Чехов никогда не попал бы в «Новое время», если бы в этой газете действительно не имелось «недреманного литературного ока» в лице В. П. Буренина. Уже давно этот критик, просматривая газеты и журналы, заметил очерки А. Чехонте и не раз говорил в редакции «Нов. времени» при Суворине и других, что в малой прессе и в лейкинском юмористическом журнале есть маленький Мопассан, какой-то Чехонте, пишущий очень остроумные рассказы. Однажды, беседуя с заехавшим в редакцию Григоровичем, г. Буренин сказал:

— Читали вы рассказы Чехонте? Прочитайте, славная вещь! *И хорошо бы его куда-нибудь в серьезный журнал пристроить».*

Эта неизвестно для чего сочиненная Н. М. Ежовым и вложенная им в уста В. П. Буренина фраза ст*о*ит сочиненной им же тысячелетней березки. Все мало-мальски знакомые с В. П. Бурениным и «Новым временем» люди знают, что в устах В. П. Буренина она так же умна, как намерение облагодетельствовать бедную девушку, отправив ее для продажи на рынок невольниц. Буренин, ненавидевший толстые журналы и начавший травить Чехова именно после его перехода в толстые журналы, мечтает «пристроить» Чехова в толстый журнал?! Нет, это положительно стоит тысячелетней березки! Я не говорю уже о том (это частность), что В. П. Буренин, старый и опытный журналист, привык, конечно, излагать свои мысли более литературным языком: «пристраивают» бедных старух в богадельню да маменькиных сынков на теплые места, а не талантливых писателей в толстые журналы. Разве Чехов хотя бы того же Н. М. Ежова «пристроил» в «Новое время»?

Далее Н. М. Ежов пишет:

«Быстрая литературная карьера А. П. Чехова совершенно изменила его самого и его отношения к окружающим. Удача вскружила ему голову. Он стал суховат с прежними благоприятелями, стал глядеть свысока на знакомства. Прежние товарищи по небольшим изданиям казались ему мелюзгой»... «Чехов, войдя в известность, ужасался при появлении всякого малозначительного гостя и не любил разговоров даже с близкими знакомыми (?); только там, где для самого Чехова имелся интерес, выступали на сцену и любезности, и приглашения вновь, и дружеские поцелуи».

Как один из «прежних благоприятелей» Чехова, на основании собственных воспоминаний и писем Чехова, категорически утверждаю, что все это вздор. Литературные удачи ничуть не изменили отношения Чехова ни к В. А. Гиляровскому, ни ко многим другим «благоприятелям» из среды писателей и журналистов, ни ко мне. Как раньше, в 1887 году, он сетовал в письмах, что я не зашел проститься, уехал от его именин, и звал к себе, так и после пушкинской премии и литературных удач он писал мне: «не повидаться ли нам?» (92 г.), «я соскучился по Вас» (92 г.), «Я ждал Вас всю неделю. Отчего Вы не приехали?» (92 г., из Мелихова), «Если найдется свободная минутка, то напишите мне. Я очень скучаю» (99. г., из Ялты), «все праздники я буду сидеть дома и читать корректуру. Буду очень рад повидаться с Вами» (99 г., Москва), «Очень бы

хотелось повидаться с Вами, потолковать. Напишите мне, в какой день и час Вы могли бы зайти ко мне, и тогда я останусь дома, буду поджидать» (903 г., Москва).

Оригиналы всех писем, откуда я извлек эти фразы Чехова, у меня целы; где же здесь «сухость» и «гляденье свысока»? Или, быть может, приглашения и дружелюбие Чехова объясняются тем, что для самого Чехова имелся в свидании со мной «интерес»? Но какой же? Клятвенно уверяю, что как для Чехова, так и для меня в них имелся единственный интерес — интерес старинной приязни.

Бывали случаи — об этом я слышал от самого Чехова, — когда Чехов обрывал переписку и прекращал сношения с людьми, к которым ранее относился с большой приязнью. Но происходило это не по той причине, на которую указывает Н. М. Ежов, а потому, что люди эти оказывались очень грубыми, плохо воспитанными людьми (Чехов не переносил грубости), к тому же совершенно не оправдавшими тех надежд, которые возлагал на них Чехов. Потеряв интерес к ним, Чехов не видел причин поддерживать старое знакомство, и только. А его известность, его литературные удачи были тут решительно ни при чем.

Н. М. Ежов с некоторою гордостью устанавливает точный цвет глаз Чехова. Да, цвет глаз он разглядел, но то, что было за глазами — души Чехова, — он не разглядел и не понял, не знает ее, с легким сердцем сочиняет небылицы и судит о Чехове вкривь и вкось.

Кстати, кроме «Опыта», напечатанного в «Историческом вестнике», Н. М. Ежов неоднократно выступал с писаньями о Чехове в газетных фельетонах, неизменно обнаруживая в этих писаньях ту же неосведомленность и ту же бесцеремонность в обращении с истиной, образчики которых я привел выше. В одном из таких фельетонов Н. М. Ежов рассказывает, что у Чехова «не было основательного знания того быта, который он пробовал серьезно затронуть». Как пример этого незнания Н. М. Ежов приводит рассказ «Бабы», в котором Чехов будто бы совершенно неверно изобразил канун большого праздника в фабричной среде, что дает повод критику Чехова назидательно воскликнуть: «с подобным поверхностным отношением к делу ничего путного нельзя написать: не только рассказа «с идеей», а и простой корреспонденции».

Конечно, всем, внимательно читавшим Чехова, хорошо известно, что в чеховском рассказе «Бабы» ни о какой фабричной среде, ни о каком кануне большого праздника и речи нет. Но это простое обстоятельство очень мало забо-

тит Н. М. Ежова. Он твердо уверен, что хотя «с подобным поверхностным отношением к делу» даже простой корреспонденции путно нельзя написать, но писать критические статьи о Чехове и легко и возможно.

В том же фельетоне, отзываясь весьма неодобрительно о «Жене» и «Дуэли», Н. М. Ежов уверяет, что «эти повести Чехова, печатавшиеся в «Русской мысли» эпохи Лаврова и Гольцева, как бы восприняли на себя бесцветность самого журнала». Хвалить или порицать «Жену» и «Дуэль» Н. М. Ежов, конечно, вполне волен, это дело его личного вкуса, но интересно было бы узнать, как на этих вещах Чехова могла отразиться бесцветность «Русской мысли», когда в пору их написания и напечатания Чехов в «Русской мысли» даже и не работал, а напечатаны они были, как это всем, кроме Н. М. Ежова, известно, — «Жена» в «Северном вестнике» (1892, № I), а «Дуэль» в «Новом времени» (1891, №№ 5621, 5622 и след.)?

В извиненье Н. М. Ежова можно сказать, что судит о Чехове вкривь и вкось не один он, охотников до подобных суждений весьма много. Они говорят о сдержанности, о скрытности Чехова. Конечно, он не видел нужды исповедоваться первому встречному, но масса интимных вещей, рассыпанных в письмах Чехова, доказывает, что Чехов не был скрытным. Мне он рассказывал об одном своем студенческом увлечении то, что другие, наверно, предпочли бы не рассказывать. Будучи скрытным или чрез меру тщеславным, а его рисовали порой и таким, он не стал бы передавать неодобрительных отзывов о своих вещах. А только от Чехова я узнал, что после «Степи» А. В. Круглов писал в какой-то маленькой петербургской газетке: «Нужно обладать большой долей самомнения и нахальства, чтобы после Гоголя браться за описание степи». Позже А. В. Круглов переменил мнение о Чехове и после смерти Чехова писал где-то [35], что горячо любил Чехова и что портрет «дорогого Антона Павловича» — лучшее украшение его письменного стола.

Чехов был одним из самых душевных людей, которых я знал когда-либо. Я не скажу ничего нового, отметив, что в Чехове были видны большой ум и большая духовная сила, но, кроме того, в его внешности, в манере держать себя сквозило какое-то врожденное благородство, точно он был странным и чуждым пришельцем в доме родителей, быть может и милых (мать Чехова), но совсем уже не затейливых людей. И мне казалось, что от Чехова не может укрыться ни малейшая фальшь и ему невозможно солгать; позже

то же писал о Льве Толстом один из знакомых Толстого. Очень талантливым членом семьи Чеховых был рано умерший художник — Николай, но это был простой, очень несложный «рубаха-парень». Антон Чехов стоял от него на недосягаемой высоте, и появление Антона в семье Чеховых было для меня загадкою, которой я не мог разрешить за всю жизнь.

В восьмидесятых годах, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось услышать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял собой Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

— Он был очень красив...

Подобно Щедрину, Чехов превыше всего ставил писательское звание, всегда интересовался писателями, большими и маленькими, и немало из этих последних вывел или по крайней мере стремился «вывести в люди». Познакомившись у Чехова с Лейкиным, я на следующий день сказал Чехову, что первое знакомство с Лейкиным оставило во мне приятное впечатление. Чехов ответил:

— У Лейкина, как и у всех нас, есть свои недостатки. Но есть и достоинства. Лейкин прежде всего — литератор. И это нужно ценить. Возьмите Горбунова: тот все дружит с генералами, а у Лейкина нет этих замашек. Для Лейкина прежде литератор, а затем — генерал.

Несмотря на наружную сдержанность, в характере Чехова было много азарта, страсти, увлечения тем делом, за которое он брался. С увлечением он ухаживал за своими цветами в Мелихове, с увлечением играл в крокет в Бабкине — помню, иногда партия затягивалась, на землю опускались густые сумерки, но Чехов не хотел бросать игры, и мы с Киселевым кончали партию, подставляя зажженные спички к невидимым шарам, — с увлечением работал за письменным столом над рассказами, без чего, несмотря на большой талант, в книгах Чехова не было бы рассыпано так много превосходных вещей. Надумав писать «субботник» для «Нового времени», он отдавал всего себя теме и, случалось, по целой неделе сосредоточенно думал только о ней.

С легкой руки артистов Художественного театра, которые оригинальности ради нередко каждый тип на сцене снабжают каким-нибудь необычайным говорком, во многих воспоминаниях Чехов заговорил удивительным языком,

каким он никогда не говорил в действительности: «я же... вы же видите... послушайте же» и т. д. Чехов любил обращение «батенька», любил слово «знаете», — и только. Однажды я рассказал ему, что один из наших приятелей, человек женатый, увлекся знакомой барышней, очень красивой (к слову сказать, о красоте этой барышни есть отметки в чеховской переписке), и хочет просить у жены развода.

Чехов ответил задумчиво:

— Ну, батенька, не даст она развода ему!

— Почему?

— Просить развода у женщины... да знаете, это то же, что сказать беллетристу: «мне не нравится ваш рассказ»!

В разговоре Чехова, как драгоценные камни, сверкали оригинальные сравнения, но, в общем, он говорил превосходным, правильным языком, да не мог такой мастер слова мямлить и твердить что-то несуразное:

— Я же... послушайте же... — и т. д.

Кстати, Чехов угадал: наш приятель не получил от жены развода и до смерти, около двадцати лет, прожил с любимой женщиной, как говорили раньше, в «гражданском браке».

Чьи-то воспоминания рисовали Чехова чуть ли не трусом. Хотя оружие писателей, по определению самого же Чехова, — не огнестрельное оружие *, но память моя сохранила один случай, хорошо рисующий «трусость» Чехова.

Однажды, в жаркий июльский день, мы с Чеховым в большом лесу близ Бабкина собирали грибы. Чехов очень любил это занятие и, чтобы отправиться в лес, делал после завтрака перерыв даже в срочной работе. Лес близ Бабкина был березовый, как я поминал уже, большой, и грибов в нем водилось множество.

Сначала мы брели вместе, затем разошлись; вначале перекликались, затем потеряли друг друга, и Чехов перестал отзываться на мой призыв. Я жил лет семь перед этим в глухих лесах Покровского уезда, где в то время не совсем еще перевелись медведи, привык к лесу, но не мог поручиться, что быстро найду выход из бабкинского леса. Да и Чехов мог хватиться и искать меня где-нибудь совсем

* На сборнике «В сумерках» Чехов написал мне: «Собрату по оружию (не огнестрельному, — примечание для его начальства)». (*Примеч. А. С. Лазарева-Грузинского.*)

в другой стороне. В результате, после некоторого раздумья, я пошел в ту сторону, где скрылся Чехов, и, пройдя с полверсты, начал звать Чехова насколько мог громко:

— Антон Па-вло-вич!!!

Вдруг кусты невдалеке от меня затрещали, раздвинулись, и на поляну, где я стоял, широко шагая, вышел, почти выбежал Чехов. В одной руке у него покачивался тоненький хлыстик, которым он раздвигал траву, собирая грибы, в другой беспомощно трепыхалась корзинка с грибами.

— Что с вами, А. С? — испуганно спросил Чехов.

— Со мной? Ровно ничего.

— Я думал, на вас волк напал!

Я рассмеялся и сказал, что, если бы на меня напал волк, я не стал бы звать его на помощь, но это было бесконечно трогательно — с тоненьким хлыстиком, который едва ли вспугнул бы и зайца, он бежал, чтобы помочь мне отбиться от волка.

С тех пор прошло более тридцати лет, но и сейчас, как живая, стоит передо мной в березовом бабкинском лесу, с испугом в глазах, стройная фигура этого прекрасного писателя и благородного человека...

Л. А. АВИЛОВА

А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.
И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланиты.
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза
Невозможным...
И радость, и слава —
Все в этом сиянье бездонном
И дальном.
Но смятые травы
Печальны.
И листья крутятся в лесу обнаженном...
И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне все жальче и жальче...
О глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

А. Блок

...уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны!

Тургенев [1]

I

24 января 1889 года я получила записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты [2]. Она была много старше меня. Маленькая, белокуренькая, с большими мечтательными глазами и крошечными ручками и ножками, она всегда возбуждала во

мне чувства нежности и зависти. Рядом с ней я казалась самой себе слишком высокой, румяной и полной... Ничуть не похожей на мечту, как она. Кроме того, я была москвичкой и только второй год жила в Петербурге, следовательно я была еще провинциалкой, а она была не только столичной дамой, но и много путешествовала за границей, носила парижские туалеты, жила в собственном богатом особняке. У нее бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и ее прошлое, ее замужество по любви с «увозом» прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший ее избранника, особенно зорко наблюдал за ней, все это окружало ее в моих глазах волшебным ореолом. А что представляла из себя я! Девушку с Плющихи, вышедшую замуж за только что окончившего студента, занимавшего теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моем прошлом? Одни несбывшиеся мечты. Я была невестой человека, которого, мне казалось, я горячо любила. Но я в нем разочаровалась и взяла свое слово обратно. И из всего этого, очень тяжелого для меня, переживания я вынесла твердое решение: не поддаваться более дурману влюбленности, а выбрать мужа трезво, разумно, как выбирают вещь, которую придется долго носить. И я выбрала и гордилась своим выбором. Он был очень умен, очень способен и, помимо университета, приобрел много разнородных знаний благодаря своей любознательности и любви к чтению.

Несколько грубоватый в своих выражениях, он был искренен, прям, часто язвителен, никогда не стеснялся выразить свое мнение и, несмотря на свой очень молодой возраст, импонировал даже взрослым и внушал к себе уважение.

— Зубаст! — говорил про него мой зять, муж сестры Нади, и смеялся.

Но и он относился к Мише не как к мальчишке, а как равный к равному. Я еще хорошо помнила, как он отозвался о моем прежнем женихе, офицере.

— Что ж, — сказал *он*, — хорош! И рейтузы обтянуты, и ус... «Гусар, на саблю опираясь»... [3] Хорош!

Этот отзыв, по всей вероятности, положил начало моему охлаждению.

Миша знал, что я не люблю его, как принято любить женихов. Он сам принимал горячее участие в моем неудачном романе и даже держал пари с моим прежним женихом, что я не выйду за него замуж.

Пари было заключено на полдюжины шампанского в моем присутствии и было принято как шутка. Мы так и поняли, что Миша хочет угостить нас. Но он был предусмотрительнее и проницательнее нас. Свое пари он выиграл, но... шампанского не получил. «Зато женюсь-то я, а не о н », — утешался Миша, и ему, казалось, было совсем безразлично, что его будущая жена только ценит, а не любит его. Он как будто даже забыл о моем признании. Но, как потом оказалось, совсем не забыл, и я за это признание долго и тяжело платилась.

Была мечта — сделаться писательницей. Я писала и стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг. Как я плакала над Ионой [4], который делился своим горем с своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него был и — умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали, и многие плакали? О, могущественное, волшебное художественное слово!

«Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Я сама кормила своего сынишку Левушку, которому было уже девять месяцев, но весь вечер я могла быть свободна, так как после купанья он долго спокойно спал, да и няня у меня была надежная, очень преданная и любящая. Она и меня вынянчила в свое время.

Миша был занят, да его и не интересовало знакомство с Чеховым, и я ушла одна.

Он ходил по кабинету и, кажется, что-то рассказывал, но, увидев меня в дверях, остановился.

— А, девица Ф л о р а , — громко сказал Сергей Николаевич, мой з я т ь , — Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница.

Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлен. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я еще заплетала иногда в две длинные, толстые косы.

— Знает наизусть ваши рассказы, — продолжал Сергей Николаевич, — и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признается.

Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.

Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов», но что он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признавался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь. Да и Петербург ему не нравится. Поскорее бы все кончить и уехать, а впредь он дает себе слово не писать больше для театра. А ведь артисты прекрасные и играют прекрасно, но что-то чуждое для него, что-то «свое» играют.

Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошел ко мне и взял одну из моих кос.

— Я таких еще никогда не видел, — сказал он. А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда...

За столом мы сели рядом.

— Она тоже пописывает, — снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич. — И есть что-то... Искорка... И мысль... Хоть с куриный нос, а мысль в каждом рассказе.

Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

— Не надо мысли! — сказал он. — Умоляю вас, не надо. Зачем? Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить! И я могу писать про все, что вам угодно, — прибавил он с улыбкой. — Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: «Бутылка». Не надо мыслей. Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа.

И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула.

— Да, — сказал он, — писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я все-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видали, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия...

Он неожиданно повернулся ко мне.

— Вы будете на первом представлении «Иванова»? — спросил он.

— Вряд ли. Трудно будет достать билет.

— Я вам пришлю[5], — быстро сказал он. — Вы здесь живете? У Сергея Николаевича?

Я засмеялась.

— Наконец я могу сказать вам, что я не девица Флора и не воспитанница Сергея Николаевича. Это он так зовет меня в шутку. Я сестра Надежды Алексеевны, и вообразите, замужем и мать семейства. И так как я кормлю, я должна спешить домой.

Сергей Николаевич услыхал, что я сказала, и закричал мне:

— Девица Флора, придут за тобой, если нужно. Мы живем в двух шагах, — объяснил он Антону Павловичу. — Сиди. Спит твой пискун. Антон Павлович, не пускайте ее.

Антон Павлович нагнулся и заглянул мне в глаза. Он сказал:

— У вас сын? Да? Как это хорошо.

Как трудно иногда бывает объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

— Я опять сюда приду, — сказал Антон Павлович. — Мы встретимся? Дайте мне все, что вы написали или напечатали. Я все прочту очень внимательно. Согласны?

Когда я вернулась домой, Левушку уже пеленала няня, и он кряхтел и морщился, собираясь покричать.

— У меня сын? Как это хорошо, — сказала я ему смеясь и радуясь.

Миша вошел в детскую следом за мной.

— Взгляни на себя в з е р к а л о, — сердито сказал о н . — Раскраснелась, растрепалась. И что за манера носить косы! Хотела поразить своего Чехова. Левушка плачет, а она, мать, с беллетристами кокетничает.

Слово «беллетрист» было у Миши синонимом пустобреха. Я это знала.

— Чехов — беллетрист? — сухо спросила я.

Миша стал ходить по комнате.

— А что? Понравился? Расскажи.

Я показала ему глазами на Леву: он глотал, закатывая глазки, нельзя было мешать ему. Миша ушел и стал ходить и свистеть в другой комнате. Я давно привыкла к его свисту, но теперь не могла не возмутиться. Вечный «Стрелочек»! «Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...» Неужели ему самому не противно?

И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчетная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья, свертывала свой ослепительный павлиний хвост, жалобно вытягивала шею. Кончено! Все по-прежнему. И жить будем по-прежнему. Почему жизнь должна быть легка и прекрасна? Кто это обещал?..

Но у меня сын. Да, сын! Вот этот комочек. У него кругленькие щечки и на одной капля молока. Он вытащил из-под пеленки ручонку и положил ее ко мне на грудь. Лапка моя ненаглядная! Спи, моя радость!

II

Что такое семейное счастье? Это редкое, очень прихотливое растение, за которым нужен постоянный, очень заботливый уход.

С рождения Левы я стала очень ухаживать за своим «семейным счастьем».

Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нем и всегда с легкой мечтательной грустью. А у меня уже было трое детей: Лева, Лодя и грудная Ниночка. Миша был примерным отцом. Чтобы увеличить средства к жизни, он взял еще вечернюю работу, а все свободное время возился и нянчился с детьми. Но он был несколько неловок и, когда брал ребенка на руки, ронял с него одеяло и пеленки, а играя со старшими, ломал их игрушки. Мальчики с укоризной говорили ему: «Эх, папа!» — но всегда ждали его прихода с радостью и нетерпением. Даже Ниночка тянулась к нему ручонками и ласково ворковала на его руках.

Несомненно, наше семейное счастье окрепло. Миша как-то сказал мне:

— Ну что, мать? Пришпилили тебе хвост? Не хочешь теперь разводиться?

Я поморщилась.

— Что? выражение тебе не нравится? Так ведь я не беллетрист. А ведь помнишь, как ты в первый же год предлагала мне разойтись?

Еще бы этого не помнить! Этот первый год моего замужества остался у меня в памяти как кошмар. Во-первых, полной неожиданностью был невероятно скверный характер мужа и его несносная требовательность. Первый раз мы поссорились, только что вернувшись из церкви, где нас повенчали. Он требовал, чтобы я надела калоши, чтобы идти гулять. Я не хотела надевать калош. Мы стояли друг против друга, как два молодых петуха перед дракой. Позже мы ссорились из-за таких же пустяков по нескольку раз в день. Я отстаивала свою самостоятельность, он — свой авторитет.

А откуда взялся этот авторитет? Он был всего на год старше меня, и я помнила его еще гимназистом второго класса. И разве он смел противоречить мне хотя в чем-нибудь, пока я не стала его женой?

Я хотела заниматься литературой. Гольцев как-то предложил мне принести ему все, что я написала, и затем стал заставлять меня работать. Он объяснял мне недостатки моих рассказов и требовал, чтобы я их переделывала. Иногда он говорил мне: «Это совсем хорошо, можно было бы даже напечатать, но вам еще рано. Поработайте».

Когда я ему сказала, что выхожу замуж, он огорченно воскликнул:

— Ну, теперь кончено! Теперь из вас ничего не выйдет!

А я тогда дала себе слово, что ничего не «кончено», что я буду работать и что замужество ничему не помешает. Но я ошиблась! Сразу жизнь сложилась так, что у меня совсем не было времени писать. Миша до обеда был в департаменте. Казалось бы, я могла быть свободной и делать то, что я хочу, тем более, что у меня была прислуга. Но это только так казалось. Весь день уходил на мелочи: я должна была идти за покупками и брать припасы именно там, где назначал Миша: кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой и т. д.

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать это дело кухарке; я должна была набить папиросы. И еще главной заботой моей жизни были — двери.

Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся. И горе мне, если, возвращаясь со службы, Миша улавливал малейший запах из кухни. Вечером, когда Миша садился писать свою диссертацию, я тогда устраивалась в спальне и принималась за свою рукопись, но сейчас же раздавался окрик:

— Зачем дверь в спальню закрыта? Открой! Да ты что там делаешь? Иди ко мне!

— Мне хочется писать.

— Тебе только хочется, а мне надо. И я тут запутался в предложении. Помоги-ка мне выбраться, беллетристка.

Потом он начинал ходить по комнате и свистеть «Стрелочка».

Когда я ему предложила разойтись, он сказал:

— Из-за чего? Подумай. Ведь все наши недоразумения и ссоры из-за твоего упрямства. Ты привыкла жить безалаберно, руководствуясь только капризом. Ты считаешь это свободой, а я — беспорядком. У меня скучнейшая служба, потому что ты пожелала жить в городе, а не в деревне, где я мог бы заниматься хозяйством. Я с этим помирился. Почему ты не можешь помириться с тем, что тебе приходится держать дом в порядке? Неужели ты можешь требовать, чтобы я только восхищался твоей красотой и говорил тебе любезности? И ты хочешь разводиться? Из-за чего? Стыдно!

Но я предложила ему разойтись не из-за того, что он не говорил мне любезностей, а из-за его слишком тяжелого и, как оказалось, наследственного нрава. Я думала заставить его встряхнуться, оглянуться на себя. Я предложила ему разойтись после того, как он, уже далеко не в первый раз, с бешенством кричал, что я не имела права женить его на себе, искалечить всю его жизнь из-за каких-то соображений и расчетов, из эгоизма, без любви, зная, как велика и сильна его любовь. Разве он не встретил бы девушку, которая по-настоящему полюбила бы его! Полюбила бы, а не выбрала бы, как я.

Как это ни странно, но с такой точки зрения я никогда не смотрела на наш брак. И я стала чувствовать за собой какой-то неоплатный долг. Как было исправить эту чудовищную вину, если была вина? Ведь я ничего не скрыла от него, и он знал с самого начала, что я не люблю его. Поэтому, после одного очень бурного скандала, я и предложила ему разойтись. Но разве он мог на это согласиться?

Я отлично знала, что он любит меня больше, а не

меньше прежнего, что он жить без меня не может. А кроме того, мы уже знали, что у нас будет Левушка, и с одинаковым умилением и нетерпением ждали его.

И его рождение внесло «семейное счастье». Мы стали менее упорно бороться друг с другом, стали уступчивее. Явилось еще двое детей, и уж не могло быть речи о том, чтобы мы разъехались или развелись. Мне «пришпилили хвост», а Мише пришлось очень много работать, чтобы содержать семью.

В эти три года мы очень сжились, сдружились, и мне стало гораздо легче сносить припадки гнева Миши, тем более что он всегда в них горько раскаивался и старался загладить свою вину. Он даже почти не мешал мне писать в свободное время, а я начала печататься, и теперь жизнь казалась мне полной и часто, когда дети не болели, счастливой.

Было только скучно.

III

В январе 1892 года Сергей Николаевич праздновал 25-летний юбилей своей газеты [6]. Торжество должно было начаться молебном, а затем приглашенные должны были перейти в гостиную, где был накрыт длиннейший стол для обеда. В столовой гости не поместились бы, и поэтому там все было приготовлено для церковной службы.

Из гостиной в столовую проходили вдоль балюстрады лестницы из передней, а против лестницы было вделано в стену громадное зеркало. Я встала у дверей гостиной и могла, не отражаясь сама в зеркале, видеть в нем всех, кто поднимался, раньше, чем они показывались на площадке. Шли мужчины и женщины, много знакомых, много незнакомых, и я с тоской думала о том, какой скучный предстоял день. Посадят меня за стол с каким-нибудь важным гостем, которого я должна буду занимать, а обедать будут долго, долго, часами, и все надо будет ухитряться находить темы для разговора, казаться оживленной и любезной.

И вдруг я увидела в зеркале две поднимающиеся фигуры. Случается, что один взгляд снимает моментальную фотографию и сохраняет ее в памяти на всю жизнь. Я как сейчас вижу непривлекательную голову Суворина, а рядом молодое, милое лицо Чехова. Он поднял правую руку и откинул назад прядь волос. Глаза его были чуть прищурены, и губы слегка шевелились. Вероятно, он говорил, но я не могла этого слышать. Они поспели к само-

му началу молебна. Все столпились в столовой, послышалось пение, тогда я тоже вмешалась в толпу. И, пока служили и пели, я вспоминала мою первую встречу с Антоном Павловичем, то необъяснимое и нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? Вспомнит ли? Возникнет ли опять между нами та близость, которая три года назад вдруг так ярко осветила мою душу?

Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки.

— Я не ожидала вас видеть, — сказала я.

— А я ожидал, — ответил он. — И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны?

Мы вместе прошли в гостиную.

— Давайте выберем место?

— Бесполезно, — ответила я. — Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбиляру.

— А как было бы хорошо здесь — в уголке, у окна. Вы не находите?

— Хорошо, но не позволят. Привлекут.

— А я упрусь! — смеясь сказал Чехов. — Не поддамся.

Мы сели, смеясь и подбадривая друг друга к борьбе.

— А где же Антон Павлович? — раздался громкий вопрос Сергея Николаевича. — Антон Павлович! Позвольте вас просить...

Надя тоже искала глазами и звала.

Чехов приподнялся и молча провел рукой по волосам.

— Ах, вот они где. Но и вашей даме здесь место рядом с вами. Прошу!

— Да пусть, как хотят, — неожиданно сказала Надя, — Если им там больше нравится...

Сергей Николаевич засмеялся, и нас оставили в покое.

— Видите, как хорошо, — сказал Антон Павлович. — Победили.

— Вы многих тут знаете? — спросила я.

— А не кажется вам, — не отвечая, заговорил Антон Павлович, — не кажется вам, что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?

— Да... — нерешительно ответила я.

— Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я все-таки мало знаю о вас, а вы — обо мне.

— Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни?

— А что мы были тогда друг другу? — спросил Чехов.

— Только не муж и жена, — быстро ответила я.

Мы оба рассмеялись.

— Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? — фантазировал Чехов.

— Ах, мне даже что-то вспоминается, — смеясь сказала я.

— Вот видите. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

— Это я от растерянности. Я плавать не умела. Значит, я вас и потопила.

— Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, я пошел ко дну и увлек вас с собой.

— Я не в претензии. Встретились же мы теперь как друзья.

— И вы продолжаете вполне мне доверять?

— Как доверять? — удивилась я. — Но ведь вы меня потопили, а не спасли.

— А зачем вы тянули меня за шею?

Антона Павловича не забывали присутствующие. Его часто окликали и обращались к нему с вопросами, с приветствиями, с комплиментами.

— Я сейчас говорю соседу: «Какая конфетка ваш рассказ...»

Эта «конфетка» нас ужасно рассмешила, и мы долго не могли смотреть друг на друга без смеха.

— А как я вас ждала, — вдруг вспомнила я. — Как я вас ждала! Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда еще не была замужем.

— Почему ждали? — удивился Антон Павлович.

— А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли.

— Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, — серьезно сказал Чехов.

И мы стали говорить о Москве, о Гольцеве, о «Русской мысли».

— Не люблю Петербурга, — повторил Чехов. — Холодный, промозглый весь насквозь. И вы недобрая: отчего вы не прислали мне ничего? А я вас просил. Помните? Просил прислать ваши рассказы.

Стали подходить чокаться шампанским. Чокались, кла-

нялись, улыбались. Антон Павлович вставал, откидывал волосы, слушал, опустив глаза, похвалы и пожелания. И потом садился со вздохом облегчения.

— Вот она — слава, — заметила я.

— Да, черт бы ее побрал. А ведь большинство ни одной строчки не прочли из того, что я написал. А если и читали, то ругали меня. А мне сейчас не слов хочется, а музыки. Почему нет музыки? Румын бы сюда. Необходима музыка. Вам сколько лет? — спросил он неожиданно.

— Двадцать восемь.

— А мне тридцать два. Когда мы познакомились, нам было на три года меньше: двадцать пять и двадцать девять. Как мы были молоды.

— Мне тогда еще не было двадцати пяти, да и теперь нет двадцати восьми. В мае будет.

— А мне было тридцать два. Жалко.

— Мне муж часто напоминает, что я уже не молода, и всегда набавляет мне года. Вот и я немного набавляю.

— Не молоды? В двадцать семь лет?

Стали вставать из-за стола. Обед тянулся часа три, а для меня прошел быстро. Я увидела Мишу, который пробирался ко мне, и сразу заметила, что он очень не в духе.

— Я еду домой. А ты?

Я сказала, что еще останусь.

— Понятно, — сказал он, но мне показалось нужным познакомить его с Чеховым.

— Это мой муж, Михаил Федорович, — начала я.

Оба протянули друг другу руки. Я не удивилась сухому, почти враждебному выражению лица Миши, но меня удивил Чехов: сперва он будто пытался улыбнуться, но улыбка не вышла, и он гордым движением откинул голову. Они не сказали оба ни слова, и Миша сейчас же отошел.

Я осталась, но ненадолго: гости стали поспешно расходиться. Хозяева устали.

А дома меня ждала гроза. Мише очень не понравилась наша оживленная беседа за столом, очень не понравилось, что мы не сели там, где нам было назначено.

— Вы обращали не себя всеобщее внимание, — кричал Миша, — а ты вела себя неприлично. Мне стыдно было за тебя! Стыдно!

— А мне и сейчас за тебя стыдно. Что это за сцена ревности? Этого еще недоставало.

— Не ревности, а... а... негодования. Моя жена, мать моих детей, должна вести себя прилично.

Мы то ссорились, то дулись весь вечер.

Но я тогда не ожидала, что еще ждет меня.

Какой-то услужливый приятель рассказал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения. Он наговорил мне столько обидного и грубого, что в другой раз я бы этого не стерпела. Но в настоящем случае казалось мне, что он прав. О, какое это было крушение! Почти невероятно, что из-за Чехова я попала в грязную историю. Но как же не верить? В сущности, я так мало знала Антона Павловича. Я считала его близким, симпатичным, благородным. Вся душа моя тянулась к нему, а он, пьяный, выставил меня на позор и на посмешище.

— Ты кинулась ему на шею, психопатка! — кричал Миша, — завязала любовную интрижку под предлогом любви к литературе. Ты носишь мое имя, а это имя еще никогда по кабакам не трепали. Он хочет увезти тебя, а знаешь ли ты, сколько у него любовниц? Пьяница! бабник!

Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а все-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы[7], но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась.

После обеда он сказал мне мимоходом:

— Я никогда не видал вас такой оживленной.

«Он! — решила я. — Конечно, несомненно — он. Выдумал, насплетничал...» Я справилась и узнала, что действительно он участвовал на ужине после юбилея. Я сказала о своих предположениях Мише.

— Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, — признался Миша. — Но ведь это известная скотина!

Я почувствовала большое облегчение.

Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать

ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но все-таки в письме упрекнула его за лишнюю болтовню за приятельским ужином. Он сейчас же ответил мне:

«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком неясно, чтобы в нем можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли?

Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни — это все равно, что просить у жида взаймы: бесполезно. Думайте про меня, как хотите.

...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге» [8].

С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей «счастливой семейной жизни»?

И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце.

IV

В те случайные промежутки, когда у нас в доме было вполне благополучно: дети здоровы, Миша спокоен и в духе, я часто думала о том, что я пользуюсь в настоящее время самым большим счастьем, которое суждено мне судьбою. Большего и иного не должно быть никогда. Правда, радовали еще успехи по литературе, были письма Чехова. Но писать мне удавалось не много и не часто, потому что дети неизбежно хворали, то врозь, то все вместе, и тогда я могла думать только о них, отдавать все свое время и днем и ночью только им. Да и Мишин несчастный характер прорывался против его воли так неожиданно, что остеречься и уберечься было невозможно. И это делало меня всегда очень несчастной.

Письма Антона Павловича я получала тайком, через почтовое отделение, до востребования, и делала это потому, что боялась, как бы письмо не пришло в мое отсутствие и не попало бы в недобрый час. Но Миша знал о нашей переписке, и я иногда давала ему некоторые письма на прочтение.

— Ты видишь, как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...

— Ерунда, — говорил Миша. — А я воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь?

Нет, я не дала.

И вдруг зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой:

— Постарайся прийти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши.

— Почему? — удивилась я.

— А вот увидишь. Знаешь, что я выдумала? Ни за что не угадаешь! «Скучную историю».

— Не понимаю.

— Ну, «Скучную историю». Ведь ты читала же.

— Конечно. Но что же ты могла выдумать?

— Помнишь, там: бутылка шампанского, сыр...

— Да ты сегодня ждешь... Чехова?

Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась.

— Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернется только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придет еще кое-кто...

— У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа, — сказала я.

— Отлично! Будет очень уютно.

Я сказала Мише, что иду «на Чехова». Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся.

Антона Павловича не было, когда я пришла к Наде. Она сидела у себя в комнате в капоте и писала. И опять у нее был хитрый вид.

— Ты еще не одета?

— Успею. Знаешь, Лида, тебе следовало бы делать прическу ниже. Хочешь, я тебя перечешу? К тебе так больше пойдет.

— Ни за что не хочу! Ах, Надя! — сказала я смеясь, но с укоризной.

— Ничего дурного я не делаю и тебе никогда не посове-

тую! — вдруг возмутилась Надя. — Жить так, как ты живешь, — нельзя. Помнишь, когда ты стала невестой, я тебе говорила: ты плохо выбрала, Миша тебе не пара. Довольно с него того, что он получил. А он запер тебя в клетку, делает из тебя кухарку. Из таких, как ты, кухарок не делают. Меня это возмущает. Вырвись из-под этого ига! Живи, как должна жить! У тебя столько возможностей, и все он подавил...

— Надя! — испуганно вскрикнула я.

— Да, не выдержала, высказалась и очень рада. Ты дурно не поступишь, я в тебе уверена, но не уступай того, что принадлежит тебе по праву, не уничтожайся. Это возмутительно!

Надя редко так горячилась, и я была поражена.

— Поздно! — сказала я.

И в это время Петр доложил, что приехал Антон Павлович Чехов [9].

— Ах, а мне еще надо одеться. — Иди, Лида, займи его.

Я пошла. Он стоял в кабинете.

— А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге?

— Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный... У вас расстроенный вид. Вы здоровы? Все благополучно?

— И здорова, и благополучно, и все хорошо.

Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки еще не было.

— Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу...

Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал.

Петя принес замороженную бутылку.

— Вы узнаете? — спросила Надя, указывая на поднос.

Он сразу не понял.

— «Скучная история», — напомнила Надя.

Он улыбнулся и откинул прядь волос.

— Да, да...

Скоро в кабинет стали входить гости.

— А Сергей Николаевич только к двенадцати, — говорила Надя.

Разговор стал общим.

Вдруг я спросила Антона Павловича:

— А вы еще не видали Чехова?

— Кого? — удивился он.

— Чехова. Вы когда приехали?

— Я приехал вчера, — ответил он, — но я сам Чехов.

Я сконфузилась.

— Лейкина, Лейкина! — закричала я. — Я знаю, что вы Чехов.

Все засмеялись, а Антон Павлович смеялся и смотрел, как я краснею до слез.

— Нет, я еще не видал Лейкина, — сказал он. — Ведь вы про Лейкина? Наверно, про Лейкина? Не про кого другого?

Я тоже начала смеяться и вдруг испугалась, что не смогу остановиться и заплачу, и потихоньку вышла из комнаты.

Что это со мной? Как глупо! Это нервы из-за Надиных разговоров.

Когда я вернулась, Чехов встал и пошел мне навстречу. Мы поговорили стоя и как-то незаметно перешли в гостиную.

— Расскажите мне про ваших детей, — попросил Антон Павлович.

О, это я делала охотно!

— Да, дети... — задумчиво сказал Чехов. — Хороший народ. Хорошо иметь своих... иметь семью...

— Надо жениться.

— Надо жениться. Но я еще не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности.

— А вы счастливы? — спросил он вдруг.

Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной.

— Счастливы? — настаивал он.

— Но что такое счастье? — растерянно заговорила я. — У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить — это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь все, все! Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни более широкой, более яркой не повредить семье. Я люблю

ее. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье?

— Это ненормальность устройства нашей семьи, — горячо заговорил Чехов. — Это зависимость и подчиненность женщины. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю все, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: опишите вашу жизнь. Напишите искренне и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможете не только себе, но и многим другим. Вы обязаны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем если будете только покоряться и мириться. Что вы, бог с вами.

Он повернулся и стал ходить по комнате.

— Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила...

— Если бы я женился, — задумчиво заговорил Чехов, — я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности [10].

В гостиную вошел Петя.

— Лидия Алексеевна! За вами прислали из дома.

— Что случилось? — вздрогнув, вскрикнула я.

— Левушка, кажется, прихворнул. Анюта прибежала.

— Антон Павлович, голубчик... Я не вернусь туда прощаться. Вы объясните Наде. До свидания!

Я вся дрожала.

Он взял мою руку.

— Не надо так волноваться! Может быть, все пустяки. С детьми бывает... Успокойтесь, умоляю вас.

Он шел со мной вниз по лестнице.

— Завтра дайте мне знать, что с мальчиком. Я зайду к Надежде Алексеевне. Дома выпейте рюмку вина.

Анюта спокойно стояла в передней.

— Что с Левой?

— Да барин меня за вами послал, чтобы вы домой.

— Что у Левы болит?

Анюта, девушка лет семнадцати, служила помощницей старухи-няни.

— Знаю только, он проснулся и стал просить пить. А не жаловался. Барин пришел...

Миша сам открыл мне дверь.

— Ничего, ничего, — смущенно заговорил он. — Он уже

опять спит, и, кажется, жару нет. Без тебя я встревожился. Без тебя я не знаю, что делать. Пил почему-то. Разве он ночью пьет? Про тебя спросил: где мама? Мама скоро придет? Видишь, мать, без тебя мы сироты.

Он пошел со мною в детскую. Лева спокойно спал. Никакого жара у него не было.

Миша крепко обнял меня, не отпуская.

— Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что все в порядке.

Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи, потому что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: «Ими только в собак швырять».

— А ты представляешь себе, как ты меня испугал?..

— Ну, прости. Сердишься? Уж такая ты у меня строгая. Держишь меня в ежовых. А я все-таки без тебя жить не могу. Ну, прости. Ну, поговорим... Весь вечер без тебя...

А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определенно, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича. Люблю!

V

Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц — без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая.

Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно и мирно.

В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости [11], и меня тоже пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме.

Я сперва поехала в театр, кажется на итальянскую оперу, где у нас был абонемент. К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная.

— А я боялась, что вы уже не приедете, — громко заговорила она, — а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, — шепнула она, но так громко, что только переменился звук голоса, а не сила его.

— Я задержала? Кого? Что?

— Ждут, ждут...

— Блины? Неужели у вас блины?

— А как же? А как же? — и она расхохоталась и потащила меня за руку в кабинет Николая Александровича.

Там было много народу. Лейкин встал и заковылял мне навстречу.

— Очень вы поздно. А-а! в театре были... А муж ваш на Кавказе? Кажется, вы со всеми знакомы? Потапенко, Альбов, Грузинский, Баранцевич...

— Рыбьи стоны! [12] — закричала Прасковья Никифоровна и захохотала.

Оставался еще один гость, которого не назвали. Он встал с дивана и остался в стороне. Я обернулась к нему.

— Блин! — крикнула Прасковья Никифоровна. — Вот это блин и есть.

Мы молча пожали друг другу руки.

— Ты, Прасковья Никифоровна... Почему блин? Почему Антон Павлович блин? — недоумевал Николай Александрович.

Все опять заняли свои места.

— Вот я говорю, — возобновляя прерванный разговор, заговорил Николай Александрович, обращаясь ко мне, — я ему говорю, — кивнул он на Чехова, — что жалко, что он со мной не посоветовался, когда писал свой последний рассказ. Что ж. Я не говорю. Он написал хорошо, но я бы написал иначе. И было бы еще лучше. Помните у меня — видны из подвального этажа только идущие ноги: прошмыгали старые калоши... просеменили дамские туфельки, пробежали рваные детские башмаки. Ново. Интересно. Надо уметь сделать рассказ. Я бы сделал иначе.

Антон Павлович улыбнулся.

— Ваш подвальный этаж вам чрезвычайно удался, — заметил кто-то из гостей.

И сейчас же образовался целый хор хвалителей. Вспоминали другие рассказы, смеялись, удивлялись юмору. А мне вспомнились слова Нади: «Ты знаешь? Он совсем не думает, что пишет смешное. Он думает, что пишет очень серьезно. Ведь он списывает с натуры, со своих и жениных родственников. Даже с себя. Выходит очень смешно, а ему кажется, что это серьезно. Он сам не замечает смешного, почему он пишет, а не торгует в лавке? Странный талант!»

Скоро позвали ужинать. Было всего очень много: и закусок, и еды, и водки, и вин, но больше всего было шума. Только один хозяин сидел серьезный и как бы подавленный своими заслугами и как литератор, и как думский деятель, и как гостеприимный домовладелец. Он только нахваливал подаваемые блюда и все сравнивал с Москвой.

— А такого сига, Антон Павлович, вам в вашей Москве

подадут? Нежность, сочность. Не сиг, а сливочное масло. Вы там хвалитесь поросятами. А не угодно ли? Не хуже, я думаю. У Сергея Николаевича я на днях за обедом телятину ел. Я бы его угостил вот этой! Надо самому выбрать, толк надо знать. У меня действительно телятина! А он миллионер.

Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного (а может быть, и не военного) и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим человеком на свете.

— Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа! Я знаю!

Когда стали вставать из-за стола, он сказал:

— Я хочу проводить вас. Согласны?

Мы вышли на крыльцо целой гурьбой. Извозчики стояли рядком вдоль тротуара, и некоторые уже отъезжали с седоками, и, опасаясь, что всех разберут, я сказала Чехову, чтобы он поторопился. Тогда он быстро подошел к одним саням, уселся в них и закричал мне:

— Готово, идите.

Я подошла, но Антон Павлович сел со стороны тротуара, а мне надо было обходить вокруг саней. Я была в ротонде, руки у меня были несвободны, тем более что я под ротондой поддерживала шлейф платья, сумочку и бинокль. Ноги вязли в снегу, а сесть без помощи было очень трудно.

— Вот так кавалер! — крикнул Потапенко отъезжая.

Кое-как, боком, я вскарабкалась. Кто-то подоткнул в сани подол моей ротонды и застегнул полость. Мы поехали.

— Что это он кричал про кавалера? — спросил Чехов. — Это про меня? Но какой же я кавалер? Я — доктор. А чем же я проштрафился как кавалер?

— Да кто же так делает? Даму надо посадить, устроить поудобнее, а потом уже самому сесть как придется.

— Не люблю я назидательного тона, — отозвался Антон Павлович. — Вы похожи на старуху, когда ворчите. А вот будь на мне эполеты...

— Как? Опять про эполеты? Неужели вам не надоело?

— Ну вот. Опять сердитесь и ворчите. И все это оттого, что я не нес ваш шлейф.

— Послушайте, доктор... Я и так чуть леплюсь, а вы еще толкаете меня локтем, и я непременно вылечу.

— У вас скверный характер. Но если бы на мне были густые эполеты...

В это время он стал надевать перчатки, длинные, кожаные.

— Покажите. Дайте мне. На чем они? На байке?

— Нет, на меху. Вот.

— Где вы достали такую прелесть?

— На фабрике, около Серпухова. Завидно?

Я их надела под ротондой и сказала:

— Ничуть. Они мои.

Извозчик уже съезжал с моста.

— А куда ехать, барин?

— В Эртелев переулок! [13] — крикнула я.

— Что? Зачем? На Николаевскую.

— Нет, в Эртелев. Я вас провожу, а потом усядусь поудобнее и поеду домой.

— А я за вами, сзади саней побегу, как собака, по глубокому снегу, без перчаток. Извозчик, на Николаевскую!

— Извозчик! В Эртелев!

Извозчик потянул вожжи, и его кляча стала.

— Уж и не пойму... Куда же теперь?

Поехали на Николаевскую. Я отдала перчатки, а Антон Павлович опять стал нахваливать их, подражая Лейкину:

— Разве у Сергея Николаевича есть такие перчатки? А миллионер. Не-ет. Надо самому съездить в Серпухов (или в Подольск? забыла) на фабрику, надо знать толк... Ну, а вы будете писать роман? Пишите. Но женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Пишите много, подробно. Пишите и сокращайте. Пишите и сокращайте.

— Пока ничего не останется.

— У вас скверный характер. С вами говорить трудно. Нет, умоляю, пишите. Не нужно вымысла, фантазии. Жизнь, какая она есть. Будете писать?

— Буду, но с вымыслом. Вот что мне хочется. Слушайте. Любовь неизвестного человека. Понимаете? Вы его не знаете, а он вас любит, и вы это чувствуете постоянно. Вас окружает чья-то забота, вас согревает чья-то нежность. Вы получаете письма умные, интересные, полные страсти, на каждом шагу вы ощущаете внимание... Ну, понятно? И вы привыкаете к этому, вы уже ищете, боитесь потерять. Вам уже дорог тот, кого вы не знаете, и вы хотите знать. И вот что вы узнаете? Кого вы найдете? Разве не интересно?

— Нет. Не интересно, матушка! — быстро сказал Че-

хов, и эта поспешность и решительность, а еще слово «матушка», которое тогда еще не вошло у нас в обычай, так насмешили меня, что я долго хохотала.

— Почему я — матушка?

Мы подъезжали к Николаевской.

— Вы еще долго пробудете здесь? — спросила я.

— Хочется еще с неделю. Надо бы нам видеться почаще, каждый день. Согласны?

— Приезжайте завтра вечером ко мне, — неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился:

— К вам?

Мы почему-то оба замолчали на время.

— У вас будет много гостей? — спросил Чехов.

— Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоем и будем говорить, говорить...

— Я вас уговорю писать роман. Это необходимо.

— Значит, будете?

— Если только меня не увлекут в другое место. Я здесь (у Суворина) от себя не завишу.

— Все равно, буду вас ждать. Часов в девять.

Мы подъехали, и я вышла и позвонила у подъезда.

Извозчик с Чеховым отъехал и стал поворачивать, описывая большой круг по пустынной широкой улице. Мы продолжали переговариваться.

— Непременно приеду, — говорил Чехов своим прекрасным низким басом, который как-то особенно звучал в просторе и тишине, в мягком зимнем воздухе. — Хочу убедить вас писать роман. И как вы были влюблены в офицера.

— Кто это сказал?

— Вы сами. Давно. Не помните? Будете спорить?

Дверь отпирал швейцар в пальто внакидку.

— Ну, до завтра.

— Да. А вы не будете сердиться? Будете подобрее? Женщина должна быть кротка и ласкова.

Я, раздеваясь в спальне, думала:

«Пригласила. Будет. Что же это я сделала? Ведь я его люблю, и он... Нет! Он-то меня не любит. Нет! Ему со мной только легко и весело. Но ведь теперь я уже сделала проступок. Миша с ума сойдет, а я... мне уж нечем защищаться и бороться. Правоты у меня нет. Но какое счастье завтра! Какое счастье!»

Не было у меня предчувствия, что меня ждет.

VI

И вот настал этот вечер.

С девяти часов я начала ждать.

У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая. Я представила себе так: сперва я затащу Чехова в детскую. Пусть позавидует. Дети еще не будут спать, а будут ложиться, а тогда они особенно прелестны. Самое веселое у них время. Потом мы пойдем пить чай. Потом перейдем в кабинет, где гораздо уютнее, чем в гостиной. Сколько необходимо сказать друг другу.

Ужинать позднее. Шампанское я не посмела купить. Чувствовалось,что это было бы чуть не оскорблением Мише.

Да и на то, что я купила, истратила денег больше, чем могла. (Помню, я решила: не заплачу по счету в свечную, подождут.)

В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя. Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Меня особенно поразило то, что они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я еще ничего не могла сказать, но она... Я ее положительно не выносила. И он, и она были математики, преподавали где-то, у них в квартире стояли рядом два письменных стола, и это меня почему-то возмущало. Оба были очень заняты и навещали нас, слава богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер!

— Да, это мы, мы! — закричала В. У. — А Михаил Федорович на Кавказе? Ха! ха! ха!

У нее была манера хохотать во все горло по всякому поводу и даже без всякого повода. Если она говорила — она хохотала. Как она могла преподавать? Я помню, что она рассказывала мне про смерть ее единственного ребенка и при этом заливалась хохотом.

И теперь этот хохот разнесся по всей квартире. Конечно, пришлось пригласить их в гостиную. Тускло горела большая лампа, и весь воздух был пропитан тоской. А В. У. бушевала; она рассказывала, как одна девушка

заболела меланхолией вследствие смерти или измены ее жениха и как В. У. посоветовала ей решать задачи. Она стала решать и выздоровела, утешилась и теперь усиленно занимается математикой и счастлива.

— Почему вы не решаете задачек? — удивлялась она мне, — это дисциплинирует ум, исключает всякую мечтательность, укрепляет волю. Заставляйте детей решать задачки. Вы увидите, как это им будет полезно, ха, ха, ха.

В десять часов Маша доложила, что чай подан.

Я вздрогнула и кинулась в столовую. Так оно и было! Весь мой ужин стоял на столе. И вино и фрукты.

— Да как же? — оправдывалась Маша на мой упрек, — при барине всегда... Еще нарочно пошлет купить угощение...

— Да здесь целый пир! — вдруг закричала В. У. за моей спиной. — Вы ждали гостей? Петя, мы с тобой так рано обедали... Как приятно. Ха, ха, ха. Но почему?

Они с аппетитом принялись за еду. Я угощала, подкладывала.

— Очень вкусный соус. Это ваша кухарка? Как? Вы сами? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать. Больше в сфере фантазии, поэзии.

И тут она так расхохоталась, что даже подавилась.

На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не придет, и я уже была этому рада. Все равно все пропало.

Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чем-то спросил Машу.

— Что с вами? — крикнула В. У. — Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно.

Но я сделала над собой невероятное усилие и оправилась.

— Нет, я ничего, — слабо сказала я. — Почему вам показалось?

— Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули...

Вошел Антон Павлович [14], и я представила друг другу своих гостей.

Какой это был взрыв хохота!!

— Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали! Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили.

Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впилась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохо-

тала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала. Все у него расплывчато, нет точности, нет математичности. Математичности нет, нет! Ха, ха, ха!

Антон Павлович несколько раз растерянно оглядывался на меня. Вдруг он спросил меня:

— Вы курите? — В. У. на миг замолчала, удивленно моргая. Я тоже удивилась.

— Нет...

— Мне показалось, что у вас папироса.

— У меня ничего нет, — и я показала ему руки.

— Вам не надо курить.

Я предложила ему закусить. Он отказался.

В. У. опять закричала, подскакивая на своем стуле и сотрясая воздух. И от этого крика было душно, трудно было дышать. Я боялась, что мне опять будет дурно, потому что чувствовала сильную слабость и легкое головокружение.

Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза.

Но вдруг Ш. встал и сказал жене:

— Вера, нам пора домой.

— Домой? — вскрикнула она. — Но, Петя, когда я дождусь еще случая высказать то, что Чехов должен выслушать? Должен же он понять свой долг как писатель...

Она опять забарабанила, но меня утешало то, что ее муж стоял, а не садился вновь. Он настаивал, что пора ехать, и я, конечно, не возражала. Но я боялась, что он не сладит с расходившейся женой и предоставит ей возможность исполнить свой долг и наставить Чехова на путь истинный. Но, к счастью, он сладил. Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждет от него многого. Наконец крик перешел в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс все этажи. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет.

— Вы устали, — сказал Антон Павлович. — Я уйду, вас утомили гости.

Что со мной делалось? Я едва могла говорить.

— Прошу вас, останьтесь.

— Кстати... не можете ли вы дать мне то, что обещали. Газеты с вашими рассказами и рукопись.

Я все собрала заранее и передала ему пакет.

— Почему вы не хотите, чтобы я обратился с рукописью к Гольцеву, в «Русскую мысль»?

— Потому что ее примут не за ее достоинство, а по вашей протекции.

— Но ведь я-то отдам ее по достоинству. Вы не верите мне?

— Не то что не верю, Антон Павлович, а я вашей оценки часто совсем не понимаю. «Рассказ хорош, даже очень хорош, но то, что есть Дуня (героиня моего рассказа), должно быть мужчиной. Сделайте ее офицером, что ли. А героя (у меня герой был студент, и он любил Дуню), героя — чиновником департамента окладных сборов» [15]. Видите, я даже выучила наизусть вашу рецензию. Но какой же роман между офицером и чиновником департамента окладных сборов? А если романа вовсе не нужно, то что же хорошо и даже очень хорошо в моем рассказе?

— Ну, и оставили бы все, как было. Правда, хорошо. Ведь я писал вам, что по языку вы мастер и что я платил бы вам, будь я редактором, не меньше двухсот за лист. А вы идете не туда, куда я вас посылаю, а бог знает куда. Зачем вы попали в «Сын отечества»? С. Н. Кривенко — милейший человек, но не в этом суть. Вы знаете, как прозвали его газету? Очень метко. Труп честного покойника. И вы не оживите этот труп. К чему вы пошли туда?

— Это *что*, — вяло сказала я. — Вы не знаете, куда я еще ходила! К Буренину.

Чехов так и подскочил. Даже фалды его сюртука взлетели.

— Какой идиот послал вас к этому негодяю? — не повышая голоса, но грозно спросил он и так нахмурился, что я удивилась.

— Да, *ходила*, — подтвердила я. — Он сказал мне, что если я сама буду приносить ему свои рассказы... Понимаете? Ему и *сама*... — то он будет их печатать.

Сказала и раскаялась. Совсем лишнее! глупо! Ведь это мне просто понравилось, что Антон Павлович сердится, и я постаралась еще усилить впечатление. Это называется кокетством.

— Ну, конечно, я ушла со своей рукописью [16] и никогда больше носа туда не *покажу*, — прибавила я.

— Умоляю вас, верьте мне немножко. Следуйте моим советам и не подвергайтесь опасности попасть в неловкое положение. Хороших людей гораздо больше, чем дурных. Хотелось бы уберечь вас от дурных.

Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш.! Я собрала, что могла, и отнесла на Мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна.

— Я не хочу этого, — сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это брезгливо. Взял бутылку с вином, отставил ее и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать.

— Вам надо лечь спать, — сказал Чехов, — вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расстаться...

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не гостеприимна и, сверх того, устала и хочу спать.

«Кошмар», — промелькнуло у меня в голове.

— Я вас любил, — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. — Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением.

— О, какая холодная рука!

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго. Я успею еще поужинать и погово-

рить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

— Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Он опять внимательно оглянулся, пошел к столику у окна и взял пакет с рукописями. Я же сидела как мертвая, не шевелясь.

В ушах у меня шумело, в голове вихрем неслись мысли, но ни одной я не могла остановить, схватить, понять. Сказать я тоже ничего не могла. Что делалось в моей голове? Как это было мучительно! Мысли это неслись, или облака несло ветром? Каждую минуту я могла упасть в обморок. Мысли... Облака... — «А Антон Павлович уходит».

Я с трудом встала и пошла его провожать.

— Так не увидимся, — повторил он. Я молчала и только вяло пожала его руку.

Мы жили на четвертом этаже. Вся лестница была ярко освещена. Я стояла на площадке и смотрела, как он бежит вниз. На первом повороте я его окликнула:

— Антон Павлович!

Он остановился и поднял голову. Подождал и опять побежал.

Я ничего не сказала.

VII

Когда Антон Павлович ушел, я закуталась в платок и стала ходить по комнатам. Ходила и тихо стонала. Было не то что больно, а невыносимо тревожно, тесно в груди. Перед глазами все стояло лицо Антона Павловича, строгое, с холодными, требовательными глазами. Представлялись и жалкие остатки ужина на блюдах... Невольно я отмахивалась рукой: фу! Кошмар!

Очень устала ходить и немного пришла в себя. В голове облака начали проясняться, исчезать.

«Я вас любил...» — вдруг ясно прозвучало в ушах.

Я пришла в темный кабинет и села на прежнее место.

«Знали вы это?»

Закрыв глаза, я сидела, откинувшись на спинку кресла.

«Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить...»

Я закрыла лицо руками и дрожала.

«...еще тяжелее расстаться... Еще тяжелее...»

И тогда я заплакала.

«А теперь? — думала я, — кончено? Расстались? Завтра уедет в Москву. Я — не такая, как была: неинтересная, вялая, сонная, негостеприимная. Подурнела, постарела... Любил... И за это теперь ненавидит. И глаза ненавидящие... Кончено, все кончено! и свидания, и дружба, и переписка. Расстались, а ему не тяжело».

И вдруг я вспомнила: а мои рукописи-то он взял! Долго искал, нашел и взял. Значит, вернет, может быть напишет что-нибудь? Еще, значит, не все кончено... Не совсем все, можно еще ждать чего-то? Читать будет мое. Конечно, из великодушия, по доброте своей, но со скукой, с досадой, может быть с отвращением. Ах, лучше бы не читал!

Я плакала навзрыд, вытирая мокрое лицо мокрым платком.

— Нет, я не знала! — повторяла я про себя, отвечая на его вопрос: знали ли вы? — Нет, я не знала! Я была бы счастлива, если бы знала, а я не была счастлива, никогда, никогда!

«Вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить».

Он это сказал. И еще: «Вы были для меня святыней...»

Я встала и зажгла свечу.

— Не забыть бы ни одного слова! записать. Я сейчас плохо понимаю, но я еще слышу его голос. Припомнить все! Потом *пойму*. — Я записывала и, если только представляла слова не в том порядке, сейчас слышала это. Вызывала голос и восстанавливала точно. Он говорил много, я записала мало, только то, что звучало в ушах его голосом.

Почему-то меня эта запись немного успокоила. Я начала рассуждать.

Да когда же это я успела постареть, подурнеть и т. д.? Ведь только вчера (неужели вчера?) мы болтали и хохотали, и оба чувствовали ту близость, которая возникла между нами с самой первой встречи.

И вчера он хотел видеться все дни, которые он пробудет в Петербурге.

И зачем было ему говорить о своей былой любви?

А если он страдал весь вечер, как и я? Я обещала, что мы будем одни, и вдруг напустила на него эту Ш., которая истерзала его.

А если... если он не решился сказать «люблю» и сказал «любил» и ждал моего ответа, а я сидела как мертвая и не сказала ни одного слова? Если эти ненавидящие глаза

и гневное лицо были выражением страдания? Если мы оба не поняли друг друга и я думала, что Антон Павлович «бросил» меня, а он думал, что я молчу, потому что равнодушна, хочу спать и мне надоели гости?

Я переходила от одного предположения к другому, но когда я останавливалась на мысли, что я оттолкнула Антона Павловича, мне было еще тяжелее, чем когда я думала, что я надоела ему. И неразрешим был вопрос: хотел ли Антон Павлович сблизиться, или хотел он отделаться от меня.

Уж очень невероятна, невозможна для меня была мысль, что он не только любил, но и любит меня до сих пор.

Запуталась я и замучилась ужасно.

А на другой день я получила с посыльным пакет с книгой и моими рукописями и письмо [17]. Книга была только что вышедший сборник его рассказов с сухой надписью: «Л. А. Авиловой от автора». Письмо следующее:

«15 февраля 1895 года. СПБ.

Несмотря даже на то, что в соседней комнате пели Маркони и Баттистини, оба Ваши рассказа я прочел с большим вниманием. «Власть» милый рассказ, но будет лучше, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика. Что же касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь, и притом громоздкая вещь. Вы нагромоздили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Надо сделать или большую повесть, этак листа в четыре, или же маленький рассказ, начав с того момента, когда барина несут в дом.

Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков. Для чего это Вам понадобилось ощупывать палкой прочность поверхности снега? И зачем прочность, точно дело идет о сюртуке или мебели (нужно плотность, а не прочность). И поверхность снега тоже неловкое выражение. Зачем встречаются и такие штуки: «Никифор отделился от столба ворот» или «отделился от стены».

Пишите роман. Пишите роман целый год, потом полгода сокращайте его, а потом печатайте. Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать по бумаге, чтоб труд был кропотливым, медлительным. Простите за сии наставления. Иногда приходит желание напустить на себя важность и прочесть нотацию. Сегодня

я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю.

Желаю Вам всего хорошего. Искренне преданный

Чехов».

Разбранил меня Антон Павлович: «отяжелела, отсырела». Сердится. А я уже успела о многом размыслить и хотя не пришла ни к чему определенному, но, казалось мне, стала рассуждать логично. Очень мне не по душе была эта логика, очень не хотелось ей подчиняться, но должен же был разум взять верх над чувством? Из-за этого чувства сколько уж я наделала глупостей! Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить?

Все это я делала без дурного умысла и воображала, что и Антон Павлович не видит в этом ничего предосудительного. А теперь я вспоминала слова Миши: «Удивительно, до чего ты наивна! Прямо до глупости. Все мужчины более или менее свиньи, и надо с этим считаться. Не клади плохо, не вводи вора в грех. У тебя же какая-то мания доверия. Сколько раз я тебе говорил: не суди по себе. Ты урод. У тебя темперамента ни на грош, а воображения — сверх головы. Ты не знаешь людей, а воображаешь их, считаешь их такими, какими тебе захочется их видеть, ну и садишься в лужу».

Я поняла, что села в лужу.

Оставалось только повиниться Мише, лишний раз услыхать от него горькую правду, а затем... затем предать все забвению и опять жить без праздничного, яркого солнца, без этого тайного счастья, уже привычного, уже необходимого.

Но «у женщины логики н е т », — всегда говорил Миша. И опять он оказывался прав (я всегда огорчалась, когда он оказывался прав).

Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело, как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, мое горе.

«Я вас любил и думал только о вас...»

И я решила. Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула! Я причинила ему боль. И он не знает, в каком я была состоянии... и какое это было ужасное недоразумение... и как мне тяжело.

Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На

одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова», а с другой — «Стран. 267, стр. 6 и 7».

Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» [18].

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли».

Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Я сделала все это с тоски и отчаяния, перемахнула, лишь бы Антон Павлович не чувствовал себя отвергнутым и лишь бы не потерять его совсем. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?

VIII

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил мой подарок. Я ожидала последствий и тревожилась и волновалась. То мне казалось, что он приедет, то я ждала от него письма и вперед сочиняла содержание. Иногда это была холодная отповедь, на которую я тотчас же отвечала возможно язвительнее, то несколько небрежных строк, милостыня, как бы разрешение продолжать знакомство и переписку.

Но время шло, и не было ни Чехова, ни письма [19], не было ровно ничего.

Как мне надоело разбираться в моих мыслях! Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уж выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича.

Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова. Я не могла не восхищаться не только его талантом, но и им самим, всем, что он говорил, его мыслями, его взглядами.

Правда, говорил он мало, но и этими короткими фразами точно освещал жизнь всей своей большой, сложной, благородной личностью.

Для меня его взгляд был не то что законом, которому нужно подчиниться, а откровением, которое нельзя не схватить с жадностью и нельзя откинуть, забыть. Мне часто приходилось слышать беседы «умных» людей и испытывать досаду, неприязнь, даже возмущение.

Выражая это возмущение, я чувствовала, что не умею обосновать его, но и преодолеть не могла. Когда говорил Антон Павлович, хотелось смеяться от счастья. Он как-то открывал в душе человека лучшее, и человек изумленно радовался, что обладает такими сокровищами, о которых и не подозревал. Я по крайней мере всегда испытывала это чувство. Вот почему было естественно и неизбежно, что я любила Антона Павловича. Но почему бы он мог любить меня? Только потому, что я была молода и приблизительно красива? Но сколько женщин были моложе и красивее! Правда, он любил мои письма, находил меня талантливой, иногда соглашался с моим мнением. Как-то он сказал мне: «У вас врожденная, не прописная нравственность. Это много». Сказал он это по следующему поводу: завязался общий разговор о том, справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Одни говорили, что справедливость тут ни при чем и что раз церковь благословила союз, то он должен быть крепок и нерушим. Другие горячо протестовали, приводя всякие доводы. Чехов молчал — и вдруг тихо спросил: «А ваше мнение?» Я сказала: «Надо знать, стоит ли». — «Не понимаю. Как стоит ли?» — «Стоит ли новое чувство тех жертв... Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит».

Позже, гораздо позже, я вспомнила этот разговор и могла предположить, что он имел большое значение. Тогда Антон Павлович и сказал мне:

— У вас не прописная нравственность... Это много.

Но разве этого было достаточно, чтобы он мог любить? Он!

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него.

И я жила. По-видимому, жила даже веселее прежнего.

Старший сын сестры Нади женился. Сергей Николаевич перестроил и отделал для молодых второй этаж своего дома, и как только они поселились там, так принялись веселиться. К моему удивлению, Миша не только никогда не отказывался от их приглашений, но тоже веселился от

души и стал гораздо оживленнее и общительнее. Своих старых, необычайно скучных знакомых он почти забросил, и у нас образовался новый круг, в котором гораздо легче дышалось. Собирались часто и много танцевали, флиртовали и всячески забавлялись. Случалось, что расходились раньше обычного только из-за того, что слишком уставали от хохота. У меня тоже был флирт, и такого милого и забавного поклонника у меня еще никогда не бывало. Он был молод, красив, элегантен и до того заразительно весел, что мог расшевелить мертвого. При каждом удобном случае он признавался мне в любви и всегда очень забавно: провожая меня на извозчике домой, целовал воротник моей шубы, совал мои ноги в свою высокую бобровую шапку, чтобы я не озябла... Один раз он сказал, что ему тяжело от сознания, что Миша может на него сердиться, если подозревает, как он увлечен. Он признался, что очень любит и уважает Мишу и не хотел бы предательски поступить относительно его. Поэтому он думает, что лучше всего не скрывать, как он относится ко мне. Пусть он знает! Пусть решит, достоин ли он его дружбы.

Я передала, смеясь, этот разговор мужу, а он тоже весело рассмеялся...

— Дурак твой Кока, — сказал он, — если воображает, что он опасен мне. Скажи ему при случае, что я его тоже очень люблю и разрешаю ему ухаживать за тобой сколько его душе угодно.

Я запротестовала:

— Напрасно! Он мне тоже очень нравится. И я не понимаю, почему ты как будто не замечаешь этого. Почему, когда ездили на тройках, он с твоего согласия ехал со мной на лихаче? Почему мы постоянно вместе?..

Миша еще больше развеселился.

— Но ведь тебе весело с ним? Ну и прекрасно.

И, лукаво прищурившись, он прибавил:

— А разве не забавно, что он и не воображает, какого дурака разыгрывает. Думает, что он опасен. Ха! Ха! А я вот посмотрю, какая у него будет рожа, когда он раскусит, на кого он попал.

Я невольно вспомнила бурные сцены ревности из-за Антона Павловича, и мне стало обидно и досадно.

А Миша точно угадал мои мысли.

— А! Это дело другое! — вскрикнул он, и его веселое настроение сразу пропало. — Ты подумала о Чехове? О, это дело другое!

А мне казалось, что я с каждым днем все меньше

и меньше думаю об Антоне Павловиче. Он отвернулся от меня, ну и я стала равнодушной. Я, несомненно, выздоравливала. Разве я тосковала? Разве я предпринимала хотя что-нибудь, чтобы опять сблизиться с ним? Разве, наконец, мне не было искренне весело в новой компании, в обществе этого «дурака» Коки?

И только иногда, изредка, вернувшись из какой-нибудь поездки за город или с вечера с танцами, удостоверившись, что Миша заснул, я садилась к столу и писала Антону Павловичу письмо.

Я писала и плакала. Плакала так, что потом ложилась изнеможенная, разбитая.

Писем этих я никогда не отсылала, да и в то время, как писала, знала, что не пошлю.

Знала, что и от него не получу больше никогда ничего. Мой брелок (если он догадался, что он от меня), возможно, раздосадовал его. Разве не мог он принять этот подарочек как неуместную шутку? Когда, возвращаясь от Лейкиных, я передала ему тему своего будущего рассказа и старалась внушить ему, как интересно быть любимым неизвестным *, он решительно ответил:

— Не интересно, матушка!

Не вспомнился ли ему этот разговор? Не представилось ли ему, что я так неискусно решила заинтриговать его?

«И пусть будет так! — думала я. — Пусть будет так!»

IX

Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиной на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам.

— Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! — крикнул он. — Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!

Миша посмотрел на часы.

— Куда теперь ночью ехать? Ты с ума сошел.

— Двенадцати еще нет. Какая же ночь? Ну, двигайтесь!

Он схватил меня за руку и стал тащить.

---

* Тогда Куприн еще не написал «Гранатовый браслет». (*Примеч. Л. А. Авиловой.*)

— Но куда ехать? — слабо протестовала я.

Алеша взял газету.

— Маскарад сегодня в театре Суворина. Прекрасно!

— А костюмы? Или домино?

— Пустяки! Найдем. Только живее!

Он стащил меня с кресла и бегом проводил в спальную.

— Одевайся! и я...

Миша наотрез отказался ехать.

Когда мы одевались в передней, он кричал нам:

— Сумасшедшие! Шлендры!

— Молчи, департаментская крыса! — отвечал Алеша.

Мы взяли извозчика и поехали на Владимирскую. Там был маленький костюмерный магазин, но, увы! Он был уже заперт.

— Ничего не значит, — сказал Алеша и стал стучать в дверь.

— Перестань! — кричала я ему с извозчика. — Что ты делаешь! Ну, скандал: городовой идет.

— И прекрасно! — нисколько не смутился брат.

Когда городовой подошел, Алеша тихо сказал ему что-то и, мне показалось, пожал ему руку, и тогда тот сейчас же постучал сам, и, несмотря на то, что стучал он гораздо тише, дверь немедленно отворилась, и на пороге показалась хозяйка в нижней юбке и ночной кофте. Городовой сказал ей несколько слов, откозырял Алеше и даже помог мне выйти из саней.

Мы выбирали костюмы при свете одной свечи. Но и выбрать было не из чего: все было разобрано. Мне удалось только найти черное домино. По моему росту оно было немного коротко, но пришлось удовольствоваться и этим.

Через несколько минут мы подъезжали к театру.

— Ты не бросай меня одну, — просила я брата, — мне будет жутко.

Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых.

— Не подавись! — предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: — Смотри направо...

Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль.

— Теперь, конечно, я свободен? — сказал Алеша и сейчас же исчез.

Я подошла к Антону Павловичу [20].

— Как я рада тебя видеть! — сказала я.

— Ты не знаешь меня, маска, — ответил он и пристально оглядел меня.

От волнения и неожиданности я дрожала, может быть он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повел меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Владимир Иванович Немирович-Данченко.

— Э-ге-ге! — сказал он Чехову. — Уже подцепил!

Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал:

— Если тебя окликнут, не оборачивайся, не выдавай себя.

— Меня здесь никто не знает, — пропищала я.

Немирович как-то ухитрялся кружить вокруг нас и все повторял свое: «Э-ге-ге!»

— Неужели он узнал тебя? — беспокоился Чехов. — Не оборачивайся! Хочешь пить? Пойдем в ложу, выпьем по стакану шампанского.

Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ложам и оказались в пустом коридоре.

— Вот, как хорошо! — сказал Чехов. — Я боялся, что Немирович назовет тебя по имени и ты как-нибудь выдашь себя.

— А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

— Знаешь, скоро пойдет моя пьеса, — не отвечая на вопрос, сообщил он.

— Знаю. «Чайка».

— «Чайка». Ты будешь на первом представлении?

— Буду. Непременно.

— Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь.

Он опять взял мою руку и прижал к себе.

— На что ты мне ответишь?

— На многое. Но следи и запомни.

Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы.

— Это ложа Суворина. Сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

— Не понимаю! — сказала я. — Ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я?

— Ты поймешь... Сядь, пей, пожалуйста.

— Жарко!

Я подошла к зеркалу.

— Хочешь попудриться? Я отвернусь: сними маску. — И он сел ко мне спиной. Я следила за ним в зеркало: он не шевельнулся, а я маску не сняла.

Потом мы сидели рядом и пили.

— Тебе нравится название: «Чайка»?

— Очень.

— Чайка... Крик у нее тоскливый... Когда она кричит, хочется думать о печальном.

— А почему ты сегодня печальный? — спросила я. — Все глядишь вверх, будто тебе ни до кого дела нет, даже глядеть на людей скучно. — Он улыбнулся.

— Ты не угадала, маска, — сегодня мне не скучно.

Я опять вернулась к «Чайке».

— Ну, как можно сказать что-нибудь со сцены? Если бы еще ты знал, кто я, то я бы подумала, что ты вывел меня в своей пьесе...

— Нет, нет!

— Ну, не понимаю и не пойму! Тем более что ответишь ты не мне, вероятно, а той, за кого ты меня принимаешь.

— Пойдем вниз, — предложил Антон Павлович. — Неприятно, если сюда придут.

Мы вернулись в зал, сперва ходили, а потом сели в уголке.

— Расскажи мне что-нибудь, — попросил Чехов. — Расскажи про себя. Расскажи свой роман.

— Какой роман? Это ты пишешь романы, а не я.

— Не написанный, а пережитый. Ведь любила ты кого-нибудь?

— Не знаю.

Двигалась мимо нас, шуршала и шумела толпа. Не обычная, нарядная толпа, а какая-то сказочная или кошмарная. Вместо женских лиц — черные или цветные маски с узкими прорезами для глаз. То здесь, то там высовывались звериные морды из-под поднятых капюшонов мужских домино, ярко блестели пластроны фрачных сорочек. И над всем этим гремел непрерывно оркестр пьянящими вальсами, страстными ариями. Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Вероятно, выпитое шампанское не прошло даром. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо.

— Я тебя любила, — сказала я ему. — Тебя, тебя...

— Ты интригуешь, маска, — сказал о н . — И ты противоречишь себе: ты только что сказала «не знаю».

— Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой! ненаглядный!

Он откинул прядку волос со лба и поднял глаза к потолку.

— Ты мне не веришь? Ответь мне.

— Я не знаю тебя, маска.

— Если не знаешь, то все-таки принимаешь меня за кого-то. Ты сказал, что ответишь мне со сцены.

— Сказал на всякий случай. Если ты не та, кому я хотел сказать, это значения не имеет. Тогда ты не поймешь.

— А кому ты хотел сказать?

Он улыбнулся:

— Тебе!

— Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь?!

— Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь.

— И эта артистка должна быть очень, очень внимательна и следить?

— Ты!

Он опять улыбнулся и наклонил голову ко мне.

— Ты будь внимательна и следи. Но ты не кончила рассказывать свой роман. Я слушаю.

— Роман скучный, а конец печальный, Антон.

— Конец печальный?

— Я же тебе сказала, что не знаю, любила ли я действительно. Разве это значит любить, если только борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной надеждой: кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется, я наконец победила. Разве это любовь?

— Не было бы любви, не было бы и б о р ь б ы , — быстро сказал он.

— А! Значит, ты мне веришь!

— Я не знаю тебя, маска.

Он взял меня под руку и встал.

— Тут много любопытных глаз. Ты не хочешь еще вина? Я хочу.

Мы опять поднялись в ложу, после того как Чехов удостоверился, что она пуста.

На столе стояли две почти полные бутылки. Мы опять уселись и теперь стали весело и бессвязно болтать. Он настаивал, что я артистка, что он знает меня в драматических ролях. Я стала дразнить его Яворской.

— Ты еще влюблен в нее, несчастный?

— Неужели ты думаешь, я тебе отвечу?

— А почему нет?

— Да только потому, что ты сама Яворская.

— Ты в этом уверен?

— Убежден.

— Давно бы сказал. Я бы сняла здесь маску.

— Сними.

— Нет, поздно, домой пора.

Мы выглянули в зал. Публика очень заметно поредела. Я увидела Алешу, который щурился во все стороны. Очевидно, искал меня. Мы, смеясь, быстро спустились и около лестницы столкнулись с Сувориным и К°.

— Антон Павлович! — закричал о н. — Мы все вас искали, искали...

Я быстро пожала руку Антону Павловичу и бросилась к Алеше.

— Ты довольна? — спросил он.

— Довольна и немножко пьяна. А ты доволен?

— Доволен, но совершенно трезв.

И дорогой, и дома в постели я думала:

«Я — Яворская? Он ответит со сцены Яворской?»

X

Мы с Мишей обыкновенно бывали на всех премьерах драматических представлений, и я думала, что и на этот раз мы пойдем вместе. Но Миша передал мне только один билет [21].

— Вот тебе, чехистка! С трудом достал, и то не в партере, а в амфитеатре.

— А ты?

— У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря...

Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алеше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и все время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую? Он сказал, что «убежден», что я Явор-

ская. Я решила, что этого не может быть. Это он пошутил. Ни в фигуре, ни в манерах у меня с Яворской сходства не было ни малейшего. Но мало ли у него могло быть других знакомых женщин!

Между прочим, я вспомнила: в тот вечер я второй раз в жизни была в маскараде. В первый раз я была с Мишей и с целой компанией знакомых. Я старалась интриговать, но ко мне привязывались незнакомые и приглашали ужинать, кататься на тройке. Я пугалась и обращалась в бегство. Было не весело, а противно, и ни за что я не пошла бы с кем-нибудь под руку и не приняла бы предложения выпить вина. С Чеховым я сейчас же согласилась подняться в пустую ложу, и почему-то меня даже не удивило, что он весь вечер вел себя так, как будто мы были не в маскараде, а в гостях у общих знакомых. Почему-то он даже оберегал меня от «любопытных» глаз и боялся, что я себя выдам. А я отнеслась к этому так, будто иначе и быть не могло. Раз я была с Чеховым, то все это было вполне естественным, кто бы я ни была. За это ручалось его уважение к женщине, за это ручалось его личное достоинство, его благородство. Нет, Чехов не был более или менее свинья.

Но кому же хотел он ответить со сцены?

— Тебе! — сказал он.

И когда я его спросила, артистка ли должна следить внимательно, он ответил:

- Ты!

И вот почему-то во мне росла уверенность, что это «ты» — это я. Весь день я была в большом возбуждении.

Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы.

Началось первое действие.

Очень трудно описать то чувство, с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его ни говорил, я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог: «Люди, львы, орлы...», я услышала в партере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех, или это был не смех, а ропот, возмущение? Во всяком случае, это было что-

то неприятное, враждебное. Но этого не может быть! Чехов так популярен, так любим!

Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, — хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали:

«Символистика»... «Писал бы свои мелкие рассказы»... «За кого он нас принимает?»... «Зазнался, распустился»...

Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.

— Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие...

Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов... Чехов...

Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но я и не хотела. В зале стало тихо, все злобствующее, язвительное, злорадно захлебывающееся — все ушло разливать свою желчь на просторе, собираясь в кружки, стараясь перекричать друг друга. Литературно-журналистская братия! Та, которая кланялась ему низко, подобострастно льстила. Им ли было не радоваться, когда неожиданно явился случай лягнуть его побольнее. Слишком быстро и высоко он поднялся, и теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними.

Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я увидала в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было.

И опять упорно, но уже безнадежно, я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспомнилось: Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелек тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флигелек, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тогда был Петербург с Александринкой, далеко был день первого представления, а теперь далеко Мелихово с его покоем и тишиной, и вместо флигелька — переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари.

Пьеса с треском проваливалась [22]. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!

А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому.

Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон [23] и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги».

«Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел: «страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

— Есть мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось, как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому.

«Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?

Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было, значит — он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать, не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть! Но мне казалось, что сейчас, в его тяжелом состоянии, он едва бы узнал меня, прошел бы мимо, даже подосадовал бы, возможно, что я встретилась ему. Он ответил

мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятной. Недаром я, как виноватая, боялась его. Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры и фойе. Ведь я сразу увидала бы по его лицу, нужна ли я ему.

Но я его нигде не встретила, а позже услыхала, как говорили, что Чехов убежал из театра. Об этом шептались, передавая друг другу эту новость. Сбежал!

В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Комиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: «Люди, львы, орлы...»

Но едва она успела начать, как весь зал покатился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы!

Смеялись над простыней, и надо сказать, что Комиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Ясинский, звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты.

У вешалок возбуждение еще не улеглось. И там смеялись. Громко ругали автора и передавали друг другу:

— Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.

— Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха...

Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:

— Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый... И ведь он еще так молод... Ведь он еще очень молод.

Дома меня ждал Миша с кипящим самоваром и холодным ужином. Он сам открыл мне дверь.

— Ну, что? Большой успех?

— Провал, — неохотно ответила я. — Ужасный провал!

— Не ходи в детскую, — предупредил он, удерживая меня за руку. — Я только что там был. Все спят, как сурки. Были очень веселы, бегали, играли. Сядь, расскажи.

— Провал, — повторила я и передала приблизительно, что я видела и слышала.

— Ах, уж и подлецы эти с..... д... газетные писаки! — горячо сказал Миша. — Подхалимы, мерзавцы... То готовы ж... лизать человеку, пока он в славе, но споткнись он, все набросятся на него, как собаки. Говоришь, сбежал Чехов? Да, воображаю, какие у него кошки на сердце скребут! Да не его дело писать пьесы! Писал бы еще что-нибудь вроде «Степи». Тут он мастер.

Какое для меня было неожиданное облегчение, что Миша ругал не Чехова, а его врагов и завистников. Я ждала, что он придерется к случаю сказать про него что-нибудь враждебное, но ему, очевидно, стало жалко Чехова, и он забыл свою вражду.

— Подожди, мать, — говорил он, — это пустяк, что его освистали. Покажет он им еще себя. Опять будут пресмыкаться и хвостом вилять, а он уж теперь их раскусит. Слишком добродушен твой Чехов: со всякой сволочью готов обниматься.

Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило: 121, 11 и 12.

Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? Ах, скорей бы, скорей!

Наконец чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повозился там, посвистел и прошел через гостиную в спальную.

— Мать! Ты скоро?

— Да, сейчас.

Тогда и я прошла в кабинет; пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руках я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла: «...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»

В полном недоумении я опять пересчитала строки. Нет, я не ошиблась: «...кие феномены...»

— Мать! старуха! — кричал Миша. — Что ты там делаешь?

«Что ты смотришь на меня с таким восторгом»... Я медленно закрыла книгу, положила ее на место. Смеется он, что ли, надо мной?

«Я тебе нравлюсь?»

Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его «ответ»? Представляет ли он себе мое чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения я прочту: «Я тебе нравлюсь?» Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном?

Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и мое собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?»

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливца», и тут, на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все знал.

Ну, и что же?

XI

Собираясь в театр, я надела новое платье, серо-голубое, очень легкое, гофрированное, мягко шуршащее из-за шелковой подкладки. Парижская отделка была удивительная: она не блестела, а только мерцала. Платье мне очень нравилось, и я знала, что оно ко мне шло.

Было уже почти время ехать, как вдруг явился гость, приезжий из Москвы. Не желая опаздывать, я пошла будить Мишу, который, по обыкновению, спал после обеда.

— И. С. Д., — сказала я ему, — а мне пора.

Миша сразу проснулся.

— Сними колпак с лампы, — попросил он. — Ты в новом? Плохо видно.

Я сняла. Стало светлей.

— Ведь это я выбирал материю, — сказал он. — Разве ты так выбрала бы? Недурной у меня вкус! А? И Александринка твоя молодец. Здорово шьет! Ну-ка, повернись. Красивая ты у меня баба, только очень упрямая.

— Так иди же. Ты слышал: Иван Сергеевич.

— Слышал. Черт бы его побрал. Этакие нелепые люди, эти москвичи! Лезут в гости или рано утром, или после

обеда... Ну, посиди с ним минутку. Помнишь, он еще гимназистом в тебя так втюрился, что плакал в углу. Пусть опять влюбится. Ты сегодня — хоть куда. Ну, иди, а я покурю.

В театре Суворина шла какая-то переводная пьеса. Оглядывая зал, я вдруг увидела Чехова в ложе рядом с Сувориным. А я и не знала, что он в Петербурге. Почему он мне не написал, что собирается? Вообще странная дружба! Заметил меня и отвернулся. И как это смешно и дико: papa Суворин и maman Суворина, а в середине Чехов, их детище. И Чехов знает, что я его «обожаю», и, вероятно, поэтому поворачивается ко мне спиной. Носит он мой брелок?

Но он не знает, что я выздоравливаю, что уже нет у него прежней власти надо мной. Я критикую его рассказы, я очень независима. Я сделала большие успехи.

В антракте я пошла в фойе. Спешно спускаясь вниз уже после звонка, я увидела Антона Павловича. Он стоял в коридоре у дверей своей ложи, той самой, где мы когда-то пили шампанское. Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку.

— Пьеса скучная, — поспешно сказал он. — Вы согласны? Не стоит смотреть ее до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна?

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — ответила я. — Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных.

Антон Павлович нахмурился.

— Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо.

— И вы находите, что самое удобное на улице, под дождем и снегом?

— Так скажите: где? когда?

— Пригласите меня, по привычке, ужинать в ресторан.

— По какой привычке? Почему вы думаете, что у меня такая привычка? Что с вами?

Дверь ложи открылась, и показался Суворин.

— Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место.

Я засмеялась и быстро пошла по коридору.

— Кажется, ясно, что я выздоровела, — сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шел снег и вместе со снегом — дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти.

— Свезу? — спросил извозчик.

Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали.

— Удивительно умно все, что я сделала и сказала! — казнила я себя. — Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! Кто мне навязал эту несчастную, дурацкую любовь! А он хотел поговорить со мной. О чем? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?

Я подумала и с грустью решила: нет, он понял. Он все понимает, он все знает. Вот теперь видит мое пустое место, и ему тяжело.

Но как тяжело? Из сострадания?

Ах, если бы и он любил меня! Если бы...

А тогда что?

Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла.

XII

Мы решили встретиться в Москве. Я должна была быть там в марте, Антон Павлович сказал, что приедет из Мелихова.

18 марта 1897 года он написал мне:

«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень — несмотря на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать/ Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму Вам руку, низко кланяюсь.

Ваш *Чехов».*

Я послала ему свой московский адрес, и вот 23 марта я получила в Москве записку с посыльным:

«Б. Московская гостиница, № 5. Суббота.

Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдете ли Вы

возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего.

Ваш *Чехов».*

Я сейчас же ответила, что вечером буду у него.

Пусть этот вечер решит все вопросы, которые так измучили меня. Затем мы и назначили друг другу это свидание, чтобы все выяснить и решить. Я знала, что мы решим расстаться, но как? Скажет ли он мне наконец, что я значу для него? Одинаково ли трудно будет нам расстаться, или он, жалея меня, сам отнесетея к этому равнодушно? Конечно, я пойму, я угадаю. Его письма всегда казались мне холодными, натянутыми, чужими. Что это за фраза: «Теперь я не надую вас». Когда он надувал? И как будто не он просил меня встретиться в Москве, а я его упросила. «Не надую!» Я решила непременно поставить ему это на вид, а еще и то, что он кончил же тем, что позвал меня ужинать в ресторан. Насчет того, что не будет ни неловкого положения, ни нежелательных встреч, я была совершенно спокойна. Я еще не забыла его поведения на маскараде.

В Москве я остановилась у моего старшего брата, а этот брат был женат на сестре моего мужа. Поэтому дома я не сказала, что собираюсь к Чехову. Знал об этом брат Алеша и устроил все так, что мне незачем было выдумывать что-либо, чтобы объяснить мое отсутствие вечером. Он воспользовался тем, что в этот день были мои именины, и позвал меня к себе. Старший брат и его жена были толстовцы, именин не признавали и именинных пиршеств избегали. Впрочем, все это относится только к брату, но не к его жене. Она с удовольствием явилась бы вечером к Алеше, посмотреть на гостей, послушать музыку, поужинать и даже выпить. Но Алеша сказал ей: «Я тебя не зову: у меня тесно, а ты очень толстая». Она обиделась и заявила, что не пошла бы, если бы даже он просил.

Я обещала Алеше приехать к нему попозже, очень долго я в гостинице все равно не засижусь.

Ехала я к Антону Павловичу с радостью, но без мучительного волнения. Я даже с удивлением чувствовала, что вполне владею собой, даже спокойна. С моей стороны не будет психопатии, а с его стороны спокойствие и выдержка всегда обеспечены. А сколько надо сказать! Сколько надо выяснить!

Как я и обещала в письме, в восемь часов я входила в «Московскую».

Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице.

№ 5.

Вдруг швейцар окликнул меня:

— А вы к кому?

— Номер 5. К Чехову.

— Так его дома нет. Вышел.

— Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал...

— Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным.

Я стояла на лестнице в полной растерянности.

Прибежал какой-то лакей.

— Вот не верят, что Антон Павловича дома нет, — сказал ему швейцар.

— Кажется, к себе в имение обратно уехали, — сообщил лакей. — Я слышал, они господину Суворину говорили: «Вечером домой...» А поехали они завтракать в Славянский. Значит, сюда и не вернулись.

— Он мне назначил. Я ему писала...

— Писем да записок с утра тут вон сколько накопилось, — сказал швейцар.

Тогда я быстро спустилась. На подзеркальнике грудкой лежала почта, и я быстро перебрала ее, нашла свое письмо и зажала его в руке. Теперь я убедилась, что Антона Павловича действительно нет дома, оделась и ушла. А лакей продолжал строить предположения:

— Не иначе, как в деревню уехали. Экстренность, что ли, какая... Они господину Суворину говорили...

Я взяла извозчика и поехала к Алеше.

К нему уже начали собираться гости, и уже было шумно и весело.

— Да, я раздумала, — сказала я Алеше на его недоумевающий взгляд.

Когда стали играть и петь, мне стало до того тяжело, что я не выдержала и спряталась в Алешину спаленку. Сидела там и то мотала головой, то судорожно вздыхала.

Скоро Алеша вошел ко мне. Он был очень встревожен, но стеснялся спрашивать и молча глядел на меня. В комнате горела только лампадка у образов.

Я протянула к нему руки, и он опустился передо мной на колени.

— Что? Что?

Когда я ему рассказала, как меня приняли в «Московской», он вскочил.

— А что ты думаешь?

— Я думаю, что Суворин увлек его куда-нибудь, а про меня он забыл. И ехал он к Суворину.

— А я тебе говорю, что этого не может быть! Чехов? Нет! Или эти негодяи там что-нибудь напутали, или... я не знаю что! Но, во всяком случае, нельзя же этого так оставить. Надо выяснить.

— Как?

— Поедем сейчас туда... Я войду и все выясню. Возможно, он уже дома.

— Но я... я ни за что не хочу его видеть!

— Хочешь, я ему скажу? Что сказать?

— Не знаю. Сейчас ничего не знаю. Не ходи к нему, ничего не говори. Только справься...

— Но Чехов так поступить не мог! Тут не Суворин, а какая-нибудь важная причина. Ну, едем!

— А твои гости?

— Повеселятся и без меня. Няня их накормит...

Но мы не поехали, а пошли пешком, хотя с Плющихи до «Московской» очень далеко. Погода была такая весенняя, воздух такой упоительный! Только что прошел небольшой дождь, и казалось, даже камни мостовой стали душистыми. Снегу уже нигде не было, весна в этом году была ранняя. Говорили, что уже прошла река.

Мы шли и говорили про Антона Павловича.

— Пойми, Алеша, — убеждала я. — С тех пор, как я узнала, что люблю его, я только мучилась, только боролась, только старалась избавиться от этой любви. Я по-прежнему, нет! больше прежнего привязалась к Мише, а про детей... Ну, ты сам знаешь, что для меня дети! Видишь ли, я жила обыкновенной женской жизнью, пока не взошло для меня это солнце. Но когда оно взошло... Ты осуждаешь меня? Но подумай: если бы я полюбила бы какого-нибудь Коку, так как он красивей, веселей, забавней Миши — я презирала бы себя. И случись такая гадость, неужели было бы трудно избавиться от нее? Надо только порвать сразу, не видеть, не слышать. Могу ли я это с Чеховым? Ведь он всюду. Тогда не надо ни читать, ни бывать в театре, ни слушать разговоров. Где его нет? Как от него уйти? А если нельзя, все равно нельзя, то как отказаться от того, что он дает мне? Пусть это мучительно, пусть отравлено, но то, что я имею от него, — это счастье! Его письма, его внимание, его голос, его глаза, устремленные на меня, о, какое это счастье! Иногда, вообрази, мне кажется, что он любит меня. Да, это случается, и тогда... Ну, тогда еще большая

мука. Но какое счастье! Какое счастье! Видишь, я все говорю: счастье, а разве я счастлива? Это, знаешь, как улыбка на заплаканном лице. Нет, конечно, он меня не любит, но он знает, что я его люблю, и это ему не неприятно. Все-таки это связывает нас, все-таки это какая-то близость. За что осуждать меня, если я никому, никому зла не делаю, ни у кого ничего не отнимаю? В чем я виновата?

— Да кто же говорит?.. — горячо протестовал Алеша.

— Миша говорит: все мужчины более или менее свиньи. Разве его можно приравнивать ко всем? Ни к кому я бы в гостиницу не поехала ни за что, а к нему поехала, потому что нет человека чище, выше, благороднее, чем он.

Алеша сказал:

— И сегодня, ты увидишь, он не виноват...

Алеша вошел в гостиницу один, но пробыл там недолго. Взял меня под руку, и мы пошли обратно.

— Не вернулся, — сказал он. — Говорят, приехал больной. Завтра еще справлюсь.

Опять стал накрапывать дождь и скоро пошел редкий, но крупный. Стало как будто еще теплей и ароматнее.

На другой день пришел Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьезно заболел и его отвезли в клинику.

А 25-го утром я получила записку:

«Москва, март 1897 г.

Вот Вам мое преступное curriculum vitae: * в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в Славянский базар; доктора; пролежал я более суток — и теперь дома, т. е. в Больш. моск. гостинице.

Ваш *А. Чехов.*

Понедельник».

Около трех дня во вторник мы с Алешей входили в приемную клиники. Нас встретила женщина в белом: старшая сестра или надзирательница, не знаю.

— Вот... моя сестра хотела бы видеть Чехова, — сказал Алеша.

На лице женщины в белом выразился ужас, и она подняла плечи и руки.

* краткое жизнеописание (*лат.*).

— Невозможно! Совершенно невозможно! Антон Павлович чрезвычайно слаб. Может быть допущена только Марья Павловна.

— А нельзя ли нам поговорить с доктором?

— С доктором? Но это бесполезно. Он скажет вам то же, что и я.

— А все-таки я хотел бы...

Сестра пожала плечами, подумала и вышла.

Пришел доктор и сразу заявил:

— Антона Павловича видеть нельзя. Допустить вас я не могу ни в коем случае.

Тогда заговорила я.

— В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я сегодня получила его записку и... вот... приходила, но что меня не пустили.

— Сегодня получили записку? Но он заболел еще третьего дня.

Я достала письмо Чехова и протянула ему.

— Он писал вчера.

Доктор отстранил письмо и насупился.

— Подождите, — сказал он и быстро вышел.

— Видишь? Пустит... — сказал Алеша.

Когда доктор вернулся, он сперва пристально посмотрел на меня, покачал головой и развел руками.

— Что тут поделаешь? — сказал он. — Антон Павлович непременно хочет вас видеть. Постойте... Вы в Москве проездом?

— Да.

— И это, чтобы видеться с вами, он, больной, поехал из деревни в такую погоду?

— Приехал Суворин... — начала я.

Доктор усмехнулся.

— Так, так! И, чтобы встретиться с Сувориным, он рискнул жизнью? Дело в том, сударыня, что он опасен, что всякое волнение для него губительно. Вам, конечно, лучше знать, что вы делаете. Я снимаю с себя ответственность. Да.

Я растерялась.

— Что же мне делать? Уйти?

— Невозможно теперь. Он вас ждет. Волнуется. Что тут поделаешь? Идемте.

Мы стали подниматься по лестнице.

— Чтобы он не говорил ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдет кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше. Сюда... Ну... Ну... — мягче

прибавил о н , — ничего... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду.

Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери.

— Как вы д о б р ы . . . — тихо сказал он.

— О, нельзя говорить! — испуганно прервала я. — Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь?

Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати.

— Три м и н у т ы , — сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку.

— Скажите: вы пришли бы?

— К вам? Но я была, дорогой мой.

— Были?! О, как не везет нам! не везет нам!

— Да не разговаривайте! нельзя. И это не важно.

— Что?

— Что я была и...

— Не важно? Не важно?

— Ведь лишь бы вы скорей поправились.

Он нахмурился.

— Так не важно?

— Ну, в другой раз. Ведь вы знаете, что все будет, как вы хотите.

Он улыбнулся.

— Я с л а б , — прошептал о н . — Милая...

— О чем вам рассказать, чтобы вы молчали?

— Сегодня едете?

— Нет, завтра.

— Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?

— Конечно.

Вошел доктор и с любезной улыбкой обратился к Чехову:

— Пора, Антон Павлович. Не утомитесь.

— Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба...

Доктор предупреждающе поднял палец и потом подал ему листик бумаги и карандаш. Антон Павлович написал:

«Возьмите мою корректуру[24] у Гольцева в «Русской мысли» сами. И принесите мне почитать что-нибудь ваше и еще что-нибудь».

Когда я прочла, он взял у меня записку и приписал: «Я Вас очень лю... благодарю». «Лю» он зачеркнул и улыбнулся.

Я простилась и пошла к двери.

Вдруг Антон Павлович окликнул меня.

— Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! — громко сказал он.

— Это платье — Чайка, — смеясь, сказала я.

Доктор возмутился:

— Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже, — никого не пущу. Никого!

Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.

Алеша молча отдувался и вздыхал.

— Алеша, — сказала я, — ты меня не жалей: у меня на сердце тепло, тепло...

XIII

Дома меня ждали две телеграммы. Одна: «Надеюсь встретить 27. Очень соскучились». Другая: «Выезжай немедленно. Ждем целуем».

На другое утро третья: «Телеграфируй выезде. Жду завтра непременно».

Я отправилась в редакцию «Русской мысли» к Гольцеву за корректурой.

Гольцев удивился.

— Зачем она ему сейчас? Успел бы позже.

Узнав, что я была в клинике, он стал меня расспрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.

— Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.

— Плохо, что весна, — сказал кто-то. — Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных.

— Я слышал, что он очень плох, очень опасен... — сказал еще кто-то.

— Значит, к нему допускают посетителей?

— Нет, нет, — сказал Гольцев. — Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется,

Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович не произвел на меня впечатления умирающего, а тут говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... «Самое опасное время»... Чувствовалось, что считали его погибшим.

Идти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.

На Замоскворецком мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю

реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчащейся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, и от этого слегка кружилась голова.

Вот... Подточило, изломало, осилило и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, осиливает и уносит. «Самое опасное время»... «Плох Антон Павлович! Очень плох!»

Припоминалась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были напечатаны слова: «Одинокому везде пустыня».

«До тридцати лет я жил припеваючи», — как-то сказал он мне.

После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?

Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе.

Не нашел счастья Антон Павлович! Едва прошел хмель молодости, когда беспредметно бьет ключом в груди радость бытия, едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно было вначале это чувство, но становилось все определеннее, все ощутимее, иначе, к чему бы заказывать себе такую печать? [25] И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него еще нет.

И вдруг почему-то вспомнилось смешное.

— Зачем вы прислали мне двугривенный? — спросил меня Антон Павлович.

— Двугривенный?!

— Ну да. Вы отдали его железнодорожному сторожу на станции Лопасня для передачи мне.

— Я вам записку передала!

— Записку сторож так замазал, что на ней ничего разобрать было невозможно, кроме разве вашей подписи. Двугривенный он мне вручил целешеньким. Я взял.

Это «я взял» смешило меня каждый раз, как я о нем вспоминала, и даже теперь мне опять стало смешно.

А река все мчалась и мчалась...

Нет! Антон Павлович не умрет... Допустить эту мысль — это потерять голову, это...

Я чуть не уронила пачку, которую держала под мышкой, встряхнула головой и быстро направилась к берегу.

Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: «И еще что-нибудь». Так вот, пусть цветы будут «что-нибудь».

В клинику я пришла как раз вовремя. Меня встретила сестра.

— Нет, Антону Павловичу не лучше, — ответила она на мой вопрос. — Ночью он почти не спал. Кровохарканье, пожалуй, даже усилилось...

— Так меня не пустят к нему?

— Я спрашивала доктора, он велел пустить.

Сестра, очевидно, была недовольна и бросала на меня неодобрительные взгляды.

Я сорвала с своего букета обертку из тонкой бумаги.

— Ах! — вскрикнула сестра. — Но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного...

Я испугалась.

— Если нельзя, так оставьте... оставьте себе.

Она улыбнулась.

— Все-таки, раз вы принесли, покажите ему.

В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза.

Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо.

— Все мои любимые, — прошептал он. — Как хороши розы и ландыши...

Сестра сказала:

— Но этого, Антон Павлович, никак нельзя: доктор не позволит.

— Я сам доктор, — сказал Чехов, — Можно! Поставьте, пожалуйста, в воду.

Сестра опять кинула на меня враждебный взгляд и ушла.

— Вы опоздали, — сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку.

— Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два.

— Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал...

Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчет о моем посещении Гольцева.

— К сожалению, я почти все читал, — тихо говорил он. — Неизданные статьи Л. Н. Толстого?[26] Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю...

— Нельзя вам говорить! — прервала я его, — а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича.

— Когда вы едете?

— Сегодня.

— Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!

Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал.

— По-моему, на один день — можно.

— Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети?

— А я уверен, что все здоровы. Останьтесь один день для меня. Для меня, — повторил он.

Я тихо сказала:

— Антон Павлович! Не могу.

Я представила себе: что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, дождется меня. Какой прием меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича, и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты.

Мысли беспорядочно неслись в моей голове.

— Значит, нельзя, — сказал Антон Павлович.

И я убедилась, что он опять все знает и все понимает. И Мишину ревность, и мой страх.

«Я уверен, что все здоровы».

— Не владею я собой... Слаб я... — прошептал он. — Простите...

Вошел доктор. Антон Павлович показал ему на цветы и уверенно сказал:

— Мне это не вредно.

Доктор наклонился, понюхал и неопределенно заметил:

— Хорошо!

Потом обратился ко мне:

— Плохо ведет себя наш больной: не спит, возбужден. — Засмеялся и прибавил: — Своеволен. Сладу с ним нет.

Я встала, чтобы уходить. Я понимала, что доктор очень не одобряет мои посещения и будет рад, что я уеду.

— Сегодня уезжаете? — как раз спросил он.

— Сегодня вечером.

— А если бы до *вечера*... — вдруг быстро начал Чехов, но, не договорив, замолчал, взглянул на доктора.

— Вам отдыхать надо, *отдыхать*, — твердил доктор.

Надо было проститься и уйти, но я была так поглощена своими мыслями, что плохо сознавала, что делала. И я стала собирать на кровати разбросанные книги и бумаги и заворачивать их.

Случайно я обернулась и увидела, что Антон Павлович лукаво улыбается и заслоняет обеими руками цветы. Я опомнилась, засмеялась и опять положила пакет на постель.

Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: «Любовь моя! Ведь я не знаю... не смею верить... Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам необходима для вашего счастья. Но никогда... Если я останусь сегодня, это будет решительный шаг. А говорить об этом нельзя. Вы слабы, вас нельзя волновать».

— Выздоравливайте! — сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле.

— Счастливого *пути*, — сказал он, и я быстро пошла к двери. И, как в прошлый раз, он меня окликнул.

— В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая.

— Ну конечно! — сказал доктор.

— Но мне необходимо! — заволновался Антон Павлович.

— Конечно, конечно.

— Я говорю серьезно! Так вот, значит, в конце апреля... Я буду непременно.

— А до тех пор будем *писать*, — сказала я и быстро скрылась, поймав на себе строгий взгляд доктора.

На этот раз не было у меня тепла на сердце. Я отказала Антону Павловичу в его горячей просьбе: «...для меня». И вот для него я не смогла сделать такого пустяка, как остаться на один день.

«Я прошу...»

Не могла! Не одолела чего-то. А это «что-то» напирало со всех сторон: Мишино состояние духа, которое я чувствовала на расстоянии, отношение доктора и сестры, даже отношение моего старшего брата и его жены. Они как-то явно недоумевали: почему эти письма с посыльным? Почему меня пускают в клинику? Почему телеграммы из Петербурга?

Я знала, почему телеграммы: в редакции газеты Сергея Николаевича сразу стало известно о болезни Чехова, значит узнал и Миша. Известно стало и о том, кто посещает больного.

Я шла домой в очень тяжелом настроении, то обвиняя, то оправдывая себя, и вдруг увидала перед собой Льва Николаевича. Он часто гулял по Девичьему полю. Он узнал меня и остановился.

— Откуда вы? Из монастыря?

— Нет, из клиники.

Я рассказала ему про Антона Павловича.

— Как же, как же, я знал, что он заболел, но думал, что к нему никого не допускают. Завтра же пойду его навестить [27].

— Пойдите, Лев Николаевич. Он будет рад. Я знаю, что он вас очень любит.

— И я его люблю, но не понимаю, зачем он пишет пьесы.

«Вот, — думала я, — человек, который беспощадно осудил бы меня, если бы знал, что во мне происходит.

Я знаю наверно, как он осудил бы меня, этот гигант мысли и гениальности, но его мнение мне безразлично. Я не верю в его правоту. Как это может быть?»

Ужасно захотелось видеть кого-нибудь, кто не был бы ни враждебен, ни безразличен к тому, что я сейчас так мучительно переживала, и я пошла к Алеше.

XIV

Ночью в вагоне я не спала. Не могла сладить со своими сложными, запутанными мыслями и чувствами. Лежала и томилась. Уж начало чуть-чуть светать, когда я вдруг очутилась на берегу моря. Море было свинцовое и тяжелое под низко нависшим тяжелым, свинцовым небом.

Волны бежали одна за другой, все с белыми сердитыми гребнями, и с непрерывным грохотом разбивались почти у моих ног. Рядом со мной шел Чехов и говорил что-то, но его слов я разобрать за шумом не могла. Вдруг впереди замелькало что-то маленькое, беленькое и стало быстро приближаться. Это был ребенок. Он бежал нам навстречу и радостно взвизгивал и подпрыгивал. Ему могло быть не больше двух-трех лет.

«— Ребенок! — вскрикнула я. — Откуда здесь мог взяться ребенок? И такой прелестный и веселый!

Антон Павлович вздрогнул и остановился.

— Это не ребенок, — задыхаясь, сказал он, — нет! Это не ребенок. Я знаю! Он притворяется...

— Кто? — спросила я, чувствуя, что от страха у меня отнимаются ноги.

— Какой же ребенок, — продолжал Антон Павлович и встал впереди меня, как бы заслоняя и защищая. — У него рот в крови... рот в крови.

А ребенок был уже близко, но все бежал, взмахивая ручонками, радуясь и взвизгивая.

— Надо его бросить в море! — крикнул Антон Павлович. — В море! В море! А я не могу. Не могу-у-у».

От ужаса я проснулась. Поезд с грохотом шел через мост, паровоз пронзительно свистел.

Все еще только занимался рассвет. Сколько же я спала? Минуту, не больше.

Миша увидел меня в окне вагона, вошел с носильщиком, показал ему мои вещи, схватил меня под руку и повел. Шли мы быстро, молча. Я только спросила:

— Что дети?

— Здоровы. Все хорошо.

Вышли на подъезд.

— Куда прикажете извозчика? — спросил носильщик.

— У меня есть. Неси за мной, — сказал Миша.

Подошли к извозчику, Миша откинул фартук.

— Простите, барин, я занят, — сказал извозчик.

— Да ведь я же тебя нанял, дурак! — крикнул Миша.

— Нет, не вы, — сказал сзади какой-то господин, бросил в пролетку чемодан и занес ногу на подножку.

— А я для вас фартук отстегнул? — закричал Миша. — Вы — нахал!

Другой извозчик кричал во все горло:

— Барин! я с вами приехал! барин! вы меня нанимали!

Я тащила Мишу за рукав.

— Я нахал? А вы кто? Или вы пьяны? Если бы вы не с дамой...

— Умоляю вас... — просила я, — умоляю...

— Барин, вы со мной приехали, — надрывался извозчик.

— Вас проучить надо, нахал! — упорствовал Миша, отталкивая мою руку, так как я изо всей силы тащила его, но я цеплялась, и его гнев обратился на меня.

— Ты отстанешь наконец?

Извозчик с седоком отъехали. Извозчик смеялся и крутил головой, а седок вежливо раскланялся.

Наш носильщик стоял и ждал у другой пролетки. Мы поехали. Миша молчал, и я тоже. Подъехали к нашему дому, а швейцара у дверей не оказалось. Он выбежал только тогда, когда Миша открыл дверь и закричал: «Швейцар!»

И тут опять разразилась гроза.

— Места своего не знаешь?! Зачем вас, дармоедов, держат!

Я побежала вверх по лестнице и еще долго слышала Мишин голос.

В гостиной, обнимаясь с детьми, я опять услыхала взрыв негодования: на этот раз виновата была горничная, потому что пахло чем-то, чем не должно было пахнуть.

Когда все смолкло, Миша вошел в гостиную и спокойно сказал:

— Ну, здравствуй, мать! Хорошо съездила?

— Съездила хорошо, а вернулась очень неприятно.

— Ну ладно, ладно! — сказал Миша, отмахиваясь рукой, — дам сейчас швейцару трешку. Что там! Иди, старуха, кофе пить! Ведите маму, детишки. Кофе горячий...

И вот опять потекла моя жизнь по старому руслу. Опять мелкие заботы по хозяйству, постоянная тревога за детей, и опять Мишина требовательность и раздражительность, ссоры, примирения, изредка крупные скандалы, гости, театры, Кока...

29-го я получила письмо от Антона Павловича.

«Москва 1897 г. марта 28.

Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, Вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас.

Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но все еще лежу, а если и пишу письма, то лежа.

Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку.

Ваш *Чехов*».

Мои цветы...

А мне Москва уже казалась сном. И еще казалось, что я выдумала и лестницу наверх, и маленькую палату с кроватью, столом и стулом, и милое лицо на подушке, и темные, ласковые, зовущие глаза.

Чтобы я не взяла обратно цветы, он с лукавой улыбкой заслонял их руками.

Разве было все это?

Написал он мне: «Я Вас очень лю благодарю»?

Просил он меня остаться? и виновато признавался: «Я слаб... Я не владею собой».

И вот сейчас лежит он все там же, и цветы мои стоят перед ним на столе, но он уже не ждет меня. Я отказалась остаться «для него» даже на один день, и он понял, что для меня семья дороже его счастья, что моя любовь между прочим, что во мне ничего нет настоящего: ни мужества, ни самоотверженности, ни силы. Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся. «Одинокому везде пустыня».

Во мне он что-то искал, но не нашел.

«Счастливого пути!» — сказал он.

Посмею ли я теперь когда-нибудь хотя бы намеком сказать ему, что я его люблю?

Никогда! никогда!

Услышу ли я от него еще когда-нибудь: «Милая»?

Никогда! никогда!

Все кончено! все пропало! потому что я ничтожество и все чувства мои ничтожны. Я добра...

Взглянул на меня человек сверху, протянул мне руку. Но... он ошибся. Он услыхал только трусливый лепет: «Антон Павлович! я не могу!»

И тогда спокойно ответил:

— Значит, нельзя.

О, как я теперь все иначе слышала и понимала, чем в Москве! Как я вдруг далеко, далеко отошла от Чехова! И как постепенно, незаметно я дошла до этого искреннего презрения к себе! Даже написать Чехову мне казалось невозможным.

А я мечтала о том, чтобы он полюбил меня!

Меня? Зачем?

XV

Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется «Шутка» [28].

Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только так кажется?

Они вновь поднимаются на гору, вновь садятся в сани. Вот сани перекачнулись через край, полетели... И опять слышится: «Я люблю вас, Надя».

Кто это говорит? Ветер? Или тот, кто сидит сзади?

Как только они останавливаются, так все обычно, буднично, и лицо спутника равнодушно.

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.

Кажется, рассказ Чехова называется «Шутка».

Антон Павлович не приехал весной в Петербург, осенью его послали доктора в Ниццу. Он писал мне оттуда: «За границей я проживу, вероятно, всю зиму». Писал еще: «Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам»[29].

Это он писал в октябре. А в начале ноября: «Пока была хорошая погода, все было благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость»[30].

Я посылала ему свои напечатанные рассказы, а он давал мне подробные отзывы.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу. Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь в сравнении с Вами я написал целые горы. Кроме «Забытых писем», во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорится, и работаете как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору. Пейзаж Вы чувствуете, он у Вас хорош, но Вы не умеете экономить, и то и дело он попадается на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Затем, Вы не работаете над фразой, ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться о ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стала» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки,

как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», — ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом «казался» и «касался», но «безупречная» — это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка, и шероховатость Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели — «Забытые письма». Газеты с Вашими рассказами сохраню и пришлю Вам при оказии, а Вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне».

Я была плохая ученица и стала ясно понимать советы Антона Павловича позже, когда сама дошла до потребности «слушать» то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать их так, чтобы не было «оскорбления». Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении, и если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.

Я была убеждена, что Чехов понял это, так же, как и я, и относится ко мне иначе, чем прежде, и когда я писала ему, я чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки.

На лето Антон Павлович вернулся в Россию, и в конце июля я получила от него следующее письмо: [31]

«Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова «помешать», вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти.

Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из «Осколков» мои мелкие рассказы и продал их Сытину на 10 лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб. из «Рус. мысли», где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.

Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости.

Когда я теперь пишу или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, — простите за сравнение. Противно мне

не самое писание, а этот литературный entourage *, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу.

Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской «Русской мысли»; уже написал, надо кончить. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для крысиного хвоста, пусть подпись будет куцей.

Ваш *Чехов».*

Я ждала августовскую книгу «Русской мысли» с большим волнением. В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так [32]. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.

Одно заглавие «О любви» сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что «О любви» касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?

«Вот я сейчас прочту художественную оценку своей личности,—думала я.—И поделом!»

Зачем, после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, —зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?

Теперь я прочту свой приговор.

В Мишином кабинете за письменным столом я разрезала книгу и стала читать.

Как это было трудно! Любовь повара и горничной. Она не хочет выходить за него замуж, а хочет жить «так», а он не хочет жить «так», потому что религиозен. Совсем не этого я ожидала! При чем тут повар и горничная?

Но вот Луганович приглашает к себе Алехина, и появляется его жена, Анна Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. «Анна Алексеевна Лугано-

---

* окружение (*фр.*).

вич...» Мои инициалы. У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Антоном Павловичем.

«И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое...»

Мне сейчас же вспомнилось:

«А не кажется вам, что когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?»

Это спросил Антон Павлович на юбилейном обеде.

И я читала нетерпеливо, жадно.

«...Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Через страницу, уже после второго свидания, Алехин говорил:

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома... Честно ли это?.. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?..»

«И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях...»

Я уже не плакала, а рыдала, захлебываясь, и книга стала вся мокрая и сморщенная. Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.

«...Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга...»

«В последние годы у Анны Алексеевны уже бывало другое настроение... она выказывала странное раздражение против меня, что бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас».

О, как же! Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шапку в грязь. Ему, вероятно, взду-

малось откинуть по привычке прядь волос, и он махнул рукой по шапке.

Но ведь я раздражалась больше всего, когда мучительнее, отчаяннее любила его.

Но и это он понимал и прощал.

Алехин и Анна простились навсегда в вагоне. Она уезжала.

«Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Я дочла и легла головой на книгу.

Из какого «высшего» надо исходить — я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, — я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться из этих тисков невозможно, — если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой с моей семьей. Надо было разорвать душу пополам.

Что он хотел сказать словами: «Как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить»?

Мне мешало то, что я любила мужа и детей. В этом я не видала ничего ненужного, мелкого и обманчивого. И что он понял нового — я вообразить себе не могла. Оставалась все та же безнадежность и безвыходность.

Я ужаснулась, когда увидала, что я сделала с книгой. Надо было спрятать ее так, чтобы никто не видел. Лучше даже было уничтожить, сжечь. Но перед этим я еще раз перечла весь рассказ, и, как это ни странно, настроение у меня сразу переменилось: умиление и нежность вдруг сменились отчаянием и раздражением.

Я схватила листок бумаги и написала Антону Павловичу письмо. Что я писала — я не обдумывала. Но чтобы не раздумать послать, я сейчас же пошла и бросила письмо в почтовый ящик. Уже на обратном пути я пожалела о том, что сделала. Неласково было мое письмо.

А через несколько дней я получила ответ:

«30 августа, Мелихово.

Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.

Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей, теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так (т. е. писал бы), что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время,—зима заграницей отвратительна,—совсем выбило меня из колеи.

Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно. Сыро.

Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш *Чехов».*

Припомнилось мое письмо.

Я благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа.

«Я здесь встречалась с одним из Ваших приятелей, о котором его жена говорит, что он делает всякие гадости и подлости, чтобы потом реально и подробно описывать их в своих романах. Конечно, в заключение он бьет себя в грудь от раскаяния.

Вы упражняетесь в великодушии и благородстве. Но, увы, тоже раскаиваетесь».

Потом были такие фразы:

«Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется... Писать скучно, надоело, но рука «набита» и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство».

А в ответе нет ни одной, ни одной язвительной, раздра-

женной строки. Он даже выражает желание жить в ненавистном ему Петербурге, жалуется, что надо уезжать. Хоть бы упрекнул. Хоть бы пристыдил. Как-то он написал мне: «Верьте, Вы строги не по заслугам» [33]. Это, кажется, был единственный выговор за все время.

XVI

Весь конец 1898 года был для меня чрезвычайно тяжелым: все трое детей заболели коклюшем, и одновременно Ниночка схватила где-то скарлатину, и не успела еще поправиться, как у Левушки началось воспаление легких. Я замучилась.

В январе 1899 года все начало приходить в норму, а в самом начале февраля я получила из Ялты письмо от Чехова.

«5 февраля. Ялта.

Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной. Не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в «Петербургской газете». И также походатайствуйте, чтобы в редакции позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо эта просьба моя не может быть исполнена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду, если же просьба моя более или менее исполнима, если у Вас есть переписчик, то напишите мне, и тогда я пришлю Вам список рассказов, которые не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в «Петербургской газете». Но когда Вы напишете мне, что переписчик есть, я сейчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу библиографу, чтобы он потрудился снабдить Вас точными датами. Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучаю просьбой, мне ужасно совестно, но, после долгих размышлений, я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой. Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, а что хуже всего — я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, «с отвращением читать жизнь свою» [34].

Как Вы поживаете? Что нового?

Мое здоровье порядочно, по-видимому; как-то среди зимы пошла кровь, но теперь опять ничего, все благополучно.

По крайней мере напишите, что Вы не сердитесь, если вообще не хотите писать. В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове. Я точно армейский офицер, заброшенный на окраину. Ну, будьте здоровы, счастливы, удачливы во всех Ваших делах. Поминайте меня почаще в Ваших святых молитвах, меня многогрешного.

Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь «марксист».

Преданный *А. Чехов.*

Трудно передать, до чего меня обрадовало это письмо! Поработать для Чехова — какое это счастье! И все складывалось удачно: из редакции мне прислали на дом переплетенные по полугодиям комплекты газеты, Миша порекомендовал мне двух переписчиков. Беда была только в том, что никто не помнил, в каком году начал писать в газете Антон Павлович. Я отправилась за справкой к старожилу библиографу Быкову. Он был очень любезен, но ничего не помнил, и единственным результатом моего визита было то, что он продушил меня крепчайшими духами, пожимая мне руку.

Конечно, я сейчас же написала Антону Павловичу, что начинаю орудовать, и получила от него в ответ:

«За Вашу готовность помочь мне и за Ваше милое, доброе письмо шлю Вам большое спасибо, очень, очень большое. Я люблю письма, написанные не в назидательном тоне. Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть. Но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел; я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами, я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати, о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я это, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тысяч, которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут мне давать ежегодно две тысячи. До сделки с Марксом книжки

давали мне около $3^1/_2$ тысяч ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, «Мужикам», получил 8 тысяч. Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, но не очень завидуйте моему умению жить. Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две — роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю?

...Зачем я в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу»

Я лежала на полу перед развернутой книгой переплетенной газеты размером во весь лист и, макая руку в тарелку с водой, чтобы несколько смыть с нее вековую пыль, перелистывала каждый номер, читая подписи под фельетонами.

Так как Антон Павлович не помнил ни года напечатания, ни заглавия своего первого рассказа в этой газете, мне пришлось начать с самых отдаленных времен. Изредка попадались рассказы, подписанные одной буквой «Ч», и тогда я читала их, чтобы угадать, не принадлежали ли они перу Антона Павловича.

Я спросила Антона Павловича:

«Подписывались ли вы когда-нибудь одной буквой?»

Он ответил: «Не помню, матушка».

Сергей Николаевич тоже не знал.

Но рассказы «Ч» были до такой степени плохи, что я решила не обращать на них больше внимания. Таким образом я пролистала года два без всякой пользы.

Начихалась я отчаянно. Каждая страница поднимала облако пыли.

Итак, лежала я на полу и листала, а из головы не выходило письмо Чехова.

Ведь это были горькие жалобы. А Антон Павлович не легко жаловался и тосковал. Значит же, круто, тяжело ему пришлось.

Постепенно вспоминалась фраза из «О любви».

«Я был несчастлив...»

Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?

Я собралась с духом и решила поговорить с Мишей. Было это вечером, в его кабинете. Он искал в ящике своего письменного стола какую-то коробочку, в которой должна была находиться сломанная запонка. Ее надо было отдать

починить. Коробочка не находилась, и он сердился. Я стояла у окна, где было почти темно.

— Ты тут рылась?

— Я не открывала этого ящика.

— Рассказывай! У меня нет уголка в доме, где бы я мог...

Он не докончил фразы, потому что коробочка оказалась у него под рукой. Он стал разглядывать запонку.

— Вот что, Миша, — начала я, — мне надо с тобой поговорить.

Я упомянула о болезни Чехова и его одиночестве и тоске.

— Помнишь, ты жалел о том, что вытребовал меня телеграммами из Москвы, когда он лежал в клинике? Исправь теперь свою вину, отпусти меня на несколько дней в Ялту. Нельзя же, право, смотреть на мою дружбу с Чеховым с обычной точки зрения, нельзя не оказать ему больше доверия, больше уважения. Мой приезд развлечет, доставит ему маленькую радость.

Я говорила и удивлялась, что Миша меня не прерывает, а слушает молча. Я заранее была уверена, что наш разговор не пройдет гладко, а вызовет гром и молнии, но у меня были причины надеяться, что дело может повернуться в мою пользу.

— Почему бы мне не поехать? — продолжала я. — Ведь я уже не молода и не легкомысленна, Антон Павлович болен...

Но тут-то и разразилась гроза.

— Ах, он болен! В Ялту? К Чехову? Он болен? Конечно, болен, он чахоточный. Знаем мы этих чахоточных! Ведь это первые... (Он сказал слово, которое я повторить не могу.) Да! Это свойство болезни. Ведь это вы живете в розовом тумане, ровно ничего не знаете, ничего не понимаете.

Ах, как трудно было выдержать спокойный, мирный тон! Кровь бросилась в голову.

— Ты несправедлив, — сказала я, — и то, что ты говоришь, возмутительно. Я десять лет знаю Антона Павловича. Знаю его хорошо. Знаю и его безукоризненное отношение ко мне...

— Что ты знаешь?! — кричал Миша. — Что ты можешь знать?

Тогда и я перестала владеть собой.

Когда он любил меня и ревновал, я это понимала и прощала ему его грубость, но теперь, когда он был влюблен в другую, когда смотрел на меня только как на соб-

ственность, которую, отложив, все-таки надо было прибе-речь, — теперь я возмутилась и негодовала.

— Я уеду! — в заключение нашего длинного и бурного разговора заявила я. — Ты так и знай. Уеду! Почему я не только должна терпеть, но и должна всячески содействовать твоему увлечению ничтожной женщиной, а ты, где и как только можешь, препятствуешь моей дружбе с самым умным, благородным и талантливым человеком?

— Ты истеричка! — визгливым голосом закричал Миша. — Тебя лечить надо. И ты воображаешь, я не понимаю: ведь ты мне устроила сцену ревности, как самая пошлая баба. Уедешь, а на другой день после твоего приезда в Ялту появится заметка в газете: «Писательница Авилова прибыла в Ялту к Чехову». Будет публичный скандал. Я буду басней города.

А на другой день Миша был тих, любезен, предупредителен, но жаловался на здоровье — в сердце перебои, колотье.

— Так было у отца незадолго до его смерти.

Когда он ушел на службу, моя маленькая Ниночка уселась у меня на коленях, прижалась ко мне и сказала:

— Мамочка, не уезжай от нас. Нам будет очень плохо. Папа будет болен. А я буду плакать, плакать!..

— Это тебя папа научил сказать?

— Да, папа.

— А еще что он просил сказать?

— А я забыла.

Я не уехала.

Почему бы этому «армейскому офицеру» не написать хоть раз ясно и просто? Не выразить своего желания меня видеть? А если в «Шклов» уже приехал кто-нибудь, кто сумеет лучше развлечь его?

Чехов писал мне часто, но в этих письмах я уже не чувствовала призыва.

Не слышала я больше: «Я люблю вас, Надя». Все было обычно, буднично и равнодушно.

Я не поехала в «Шклов», потому что уже опять мало верила, что я там нужна.

XVII

Весной мне пришлось ехать в Москву. Между прочим, я рассказала Алеше, у которого я остановилась, что Антон Павлович хочет купить для матери и сестры в Москве дом, но не знает, как за это приняться.

— Чего же проще! — заявил Алеша, — вот мы заготовим ему списочек домов, которые продаются и, по твоему мнению, подходящи. Укажет их нам один мой знакомый, который как раз занимается продажей и покупкой домов. Он, конечно, жулик, но меня он надувать не захочет. За это ручаюсь. Приступим?

— Ты знаешь, мне ничего не поручено.

— Ну, еще бы. Чехову это бы и в голову не пришло. Но раз он хочет купить и затрудняется, то надо помочь.

Мы оба весело смеялись.

— Люблю покупать дома и нанимать квартиры, — заявил брат. — И никогда никто не подозревает, что я забавляюсь, а на самом деле не мог бы купить и курятника. Суетятся, ухаживают, смотрят в глаза... А я хожу и подробно все оглядываю. Ах, какие это здания. Один раз я чуть не дворец покупал...

Так как мне приходилось все равно много ездить по городу с тем же комиссионером, который взялся помочь купить нужную мне мебель для дома в деревне, то заодно я смотрела и продающиеся дома, пригодные для Чехова. Я убедилась, что мой комиссионер умеет приобретать вещи за их половинную стоимость, пользуясь ему одному знакомыми условиями, разнообразными связями, а главное, своим опытом и пониманием.

— Стараюсь для вашего брата, — часто напоминал он мне.

— А для Чехова постараетесь?

— Это уж будьте покойны. Прямо, можно сказать, подарю ему дом. Мы тоже с понятием в людях. Убыток с другого покупателя наверстаем.

Но Антон Павлович написал мне 23 марта: «Деньги мои, как дикие птенцы, улетают от меня, и через года два придется поступить в философы» [36].

А в апреле: «Если мать и сестра еще не отказались от мысли купить себе дом, то непременно побываю у А[нгереса] на Плющихе. Если я куплю дом, то у меня окончательно не останется ничего — ни произведений, ни денег. Придется поступить в податные инспекторы» [37].

Так мне и не пришлось купить Антону Павловичу дом.

В Петербурге дело с перепиской приходило к благополучному концу.

«Вы присылаете не бандероли, а тюки, — писал Антон Павлович. — Ведь марок пошло по крайней мере на 42 рубля» [38].

В середине апреля он уже приехал в Москву. Я ему написала, что 1 мая буду проездом на вокзале, и он ответил:

«1-го мая я буду еще в Москве. Не приедете ли Вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины» [39].

Но мне приехать к Чеховым было очень неудобно. От поезда до поезда было часа два или немного больше, и надо было накормить всех завтраком, выхлопотать отдельное купе. Ехать на каких-нибудь четверть часа не стоило. Так я и написала Антону Павловичу. Едва мы кончили завтракать, как увидали Антона Павловича, который шел, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивая нас. В руках у него был пакет.

— Смотрите, какие карамельки, — сказал он поздоровавшись. — Писательские. Как вы думаете: удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести?

На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского...

— Чехова еще нет? Странно! Успокойтесь: скоро будет.

Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени.

— А отчего она у вас похожа на классную даму? — спросил он.

Я возмутилась.

— Почему — классная дама?

Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что мое материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась.

— Меня дети любят, — ответил он на мое удивление, что девочка нисколько не дичится его. — А я вот что хочу предложить вам: сегодня вечером играют «Чайку» только для меня [40]. Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра. Согласны?

Согласиться я никак не могла. Надо было бы везти детей, француженку и горничную в гостиницу, телеграфировать сестре в деревню, телеграфировать мужу в Петербург. Все было чрезвычайно сложно и трудно.

— Вы никогда со мной ни в чем не согласны! — хмуро сказал Антон Павлович. — Мне очень хотелось, чтобы вы видели «Чайку» вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

Но как мы ни прикидывали, все оказывалось, что нельзя.

— А у вас есть с собой теплое пальто? — вдруг спросил

Антон Павлович. — Сегодня очень холодно, хотя первое мая. Я в драповом озяб, пока сюда ехал.

— И я очень жалею, что вы ехали, — сказала я. — Еще простудитесь по моей вине.

— А с вашей стороны безумие ехать в одном костюме. Знаете, я сейчас напишу записку Маше, чтобы она привезла вам свое драповое. Я сейчас же пошлю... Она успеет.

Мне стоило большого труда уговорить его отказаться от этой мысли.

— Так телеграфируйте мне, если простудитесь, и я приеду вас лечить. Ведь я хороший доктор. Вы, кажется, не верите, что я хороший доктор?

— Приезжайте ко мне не лечить, а погостить, — попросила я. — На это вы согласны?

— Нет! — сказал он быстро и решительно. И сейчас же перевел разговор на другое.

— Пришлось вам повозиться со мной эту зиму! Неужели вы читали все, что переписывали ваши писатели? Как мне вас было жалко. А дом-то вы мне покупали... — Он хмуро улыбнулся. — Не было у бабы заботы, да завела баба порося...

Пришел носильщик и объявил, что можно занимать места, взял багаж и пошел, а следом за ним побежали дети и француженка.

Антон Павлович взял мой ручной саквояж и две коробки конфет, которые мне привезли провожающие в Петербурге. Мы тоже собрались идти, когда я заметила, что пальто его расстегнуто. Так как руки его были заняты, то я остановила его и стала застегивать пальто.

— Вот как простужаются, — сказала я.

— И вот как всегда, всегда напоминают, что я больной, что я уже никуда не гожусь. Неужели никогда, никогда нельзя этого забыть? Ни при каких обстоятельствах?

— А я вот здорова, да насилу отговорила вас посылать за теплой одеждой Марии Павловны. Вам можно заботиться о том, чтобы я не простудилась, а мне нельзя?

— Так зачем же мы ссоримся, матушка? — спросил Антон Павлович и улыбнулся.

— Вы сегодня не в духе, — заметила я и, смеясь, прибавила: — Хотя в новых калошах.

— Совсем не новые, — опять сердито возразил Антон Павлович.

Мы шли по платформе.

— Вы знаете: теперь уже десять лет, как мы знако-

мы, — сказал Чехов. — Да. Десять лет. Мы были молоды тогда.

— А разве мы теперь стары?

— Вы — нет. Я же хуже старика. Старики живут, где хотят и как хотят. Живут в свое удовольствие. Я связан болезнью во всем...

— Но ведь вам лучше.

— Оставьте! Вы сами знаете, чего стоит это улучшение. А знаете, — неожиданно оживляясь, прибавил он, — мне все-таки часто думается, что я могу поправиться, выздороветь совсем. Это возможно. Это возможно. Неужели же кончена жизнь?

Из окна купе смеялись и кивали три детских личика. Опять подбежал носильщик, получил свою мзду и исчез.

— Пойдемте в вагон, — предложил Антон Павлович. — Мало того, что у вас скверный характер, вы легкомысленны и неосторожны. Ваш костюм меня возмущает. Как вы поедете ночью на лошадях?.. Сколько верст?

Ребята обрадовались нам, как будто мы давно не видались. Антон Павлович сейчас же опять взял Ниночку на колени, а мой сын протянул Антону Павловичу книгу:

— Я ее купил здесь в киоске. Вы это читали?

Антон Павлович взял книгу и перелистал ее.

— Я эту книгу читал, — очень серьезно сообщил он. — Это сочинение Пушкина. Это хорошая книга. Ты хорошо выбрал.

Лодя просиял.

— Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович?

— Да, я очень люблю стихи Пушкина. Пушкин прекрасный поэт.

— Чуть не забыла отдать вам ваш последний рассказ, — спохватилась я. — Почему-то он остался...

— Воображаю, какая это дрянь. Вы его тоже читали?

— Нет, это не дрянь. Это рассказ Чехонте. Я очень люблю рассказы Чехонте. Это прекрасный писатель, — смеясь возразила я.

— А сегодня вечером пойдет «Чайка». Без публики, только для меня. Ах, какие артисты. Какие артисты. А я сердит на вас, что вы не захотели остаться...

Послышался звонок, и Антон Павлович встал.

Мне вдруг вспомнилось прощание Алехина с Лугановичв вагоне перед самым отходом поезда: «Я обнял ее,

она прижалась к моей груди...» Я почувствовала, как вдруг заколотилось сердце и будто что-то ударило в голову.

«Но мы прощаемся не навсегда, — старалась я внушить самой себе. — Возможно, что он даже приедет ко мне или к Сергею Николаевичу».

Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболеете, не приеду, — сказал он. — Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся.

Он быстро пожал мою руку и вышел.

— Мама, мама, — кричали дети, — иди скорей, скорей...

Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся.

Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз.

Тем не менее, я больше никогда его не видала, и наше прощание в вагоне было прощанием навсегда. Почему? Я не знаю.

В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался еще более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звезды.

Кончилось ли теперь представление «Чайки»? Вероятно, кончилось. Вероятно, после представления ужинают. Станиславский, Немирович, исполнители. Красивые, изящные артистки (хороша бы я была между ними в своем дорожном костюме!). Антон Павлович доволен, счастлив, он уже, конечно, забыл, что рассердился на меня за мой отказ остаться. Он счастлив, но упорно, бессменно стояло передо мной лицо Антона Павловича таким, каким я его видела утром: постаревшим, болезненным, строгим и требовательным. «Если даже заболеете — не приеду. Я дорого потребую, вам не по средствам». Ушел, почти не простившись.

Но теперь он доволен, конечно, не думает обо мне.

Солнце мое! О солнце мое, такое скупое на тепло и ласку для меня!

Но и в теплом платке было очень холодно. Без малейшего ветра, воздух набегал волнами, и в нем, как хрустальные ледяные ключи, били соловьиные трели.

Все, что последовало, было для меня мучительной загадкой. Я написала ему. Он не ответил. Я написала вторично, предполагая, что письмо мое пропало. Но и на второе письмо не было ответа. Долго спустя, когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту.

Этого последнего письма, которого я себе долго, долго простить не могла, потому что в нем я уж не могла скрыть ни своей любви, ни своей т о с к и , — этого письма он не мог не получить, так как оно было заказное. Но Антон Павлович и на него не ответил, и я поняла, что между нами не недоразумение, а полный разрыв. Я поняла, что Антон Павлович твердо решил порвать всякие отношения, а раз он это решил, так оно и будет.

Я растерялась. Целыми часами сидела я где-нибудь в запущенной части сада, в грачиной роще или на канаве, и думала свою неразрешимую думу. Почему? За что? За то, что я отказалась остаться на представление «Чайки»? Нет, этого не может быть! За то, что я застегнула ему пальто? За то, что возможно, после бессонной ночи в вагоне я была неавантажна, неинтересна, некрасива? Возможно еще, что, окруженная детьми, багажом, у меня был вид самодовольной наседки?

Чего я только не передумала! но ни на одном предположении остановиться не могла: все было слишком невероятно для Антона Павловича, не только невероятно, но даже обидно и унизительно для него. А если и приходило в голову, то... должно же было хоть что-нибудь прийти в голову. Но важно было не то, что я думала, а то, что я чувствовала. Это было не горе, а какая-то недоумевающая и испуганная растерянность.

Как-то раз видела я, как мальчишки на бульваре выжгли глаза мыши, а потом пустили ее бегать. Мышь металась, кружилась и пищала, а мальчишки хохотали.

Мне выжгли что-то, что прежде давало мне уверенность, равновесие, спокойствие. У меня осталось одно недоумение: почему все так изменилось? И я сама и все окружающее? И как жить в этом новом, тяжелом мире?

Странно: у нас с Антоном Павловичем никогда не было «назидательных» разговоров. Он не высказывал мыслей, не

поучал, не убеждал; он даже всегда уклонялся от отвлеченных разговоров, а любил слушать рассказы из пережитого. И больше любил слушать, чем говорить. А между тем такое громадное влияние он имел на людей! Чем он действовал? Выражением глаз? Складкой на лбу? Тем, как он слушал? Для меня было несомненно, что он воспитал меня, что он помог мне разобраться и утвердиться во многом. Рассказать о том, как это произошло, я бы не могла. Мне кажется, одно его присутствие вносило ясность, глубину и благородство в жизнь, прогоняло духоту и затхлость.

И этого друга я лишилась!

Как-то вдруг захлопнулось окно на воздух, на солнце, на даль...

Конечно, можно и нужно было продолжать жить так, как уже давно наладилась жизнь. Обыкновенная женская жизнь. Да и все в ней было хорошо: Мишино увлечение меня мало беспокоило, я очень скоро уверилась, что оно ничуть не влияло на его отношение к семье; дети у меня были прекрасные: здоровые, способные, милые. Наконец, мои литературные успехи давали мне немало радости. Даже Миша стал относиться к моим занятиям гораздо снисходительнее и потихоньку от меня собирал все газеты и журналы, где были напечатаны мои рассказы. Когда я это случайно узнала, меня это очень порадовало. Вообще все было хорошо. Наше семейное счастье процветало.

Но душу свою я разорвала пополам.

XVIII

Как-то я зашла к Худековым; по обыкновению, я собиралась пройти через гостиную в кабинет Сергея Николаевича, как вдруг Надя выбежала мне навстречу, схватила меня за руку и увела в бильярдную.

— Сергей Николаевич занят? Кто у вас?

— Нет, не то, — сказала Надя, — мне надо с тобой поговорить. Слушай... Ты знаешь? ты знаешь, что Антон Павлович женился? Знала? Нет?

Нет, я не знала.

— Мне все равно, — ответила я. — Не все ли мне равно?

Но сейчас же я почувствовала сильную слабость, хо-

лодный пот на лбу и опустилась на первый попавшийся стул.

Надя мочила мне голову, дала что-то выпить. Я скоро пришла в себя.

— Вот история! — смеясь сказала я. — С чего это мне стало дурно? Ведь мне, правда, все равно.

— Можешь идти? Я тебя провожу. А к Сереже не заходи, на тебе лица нет.

Мы вышли на улицу.

— На Книппер женился?

— Да. Ужасно странная свадьба...

Она стала рассказывать то, что слышала.

— Ни любви, ни даже увлечения...

— Ах, оставь, пожалуйста! — сказала я. — Конечно, увлекся. И прекрасно сделал, что женился. Она артистка. Будет играть в его пьесах. Какая связь! Общее дело, общие интересы. Прекрасно. Я за него очень рада.

— Но, понимаешь, он очень болен. Что же, она бросит сцену, чтобы ухаживать за ним?

— Я уверена, что он этого и не допустит. Я знаю его взгляд на брак.

— Нет, это не брак. Это какая-то непонятная выходка. Что же ты думаешь, что Книппер им увлечена? С ее стороны это расчет. А разве он этого не понимает?

— Ну, что же? и расчеты часто бывают удачные. Все-таки очень хорошо, что он женился. Жалко, что поздно.

Надя опять стала рассказывать то, что говорили об этой свадьбе.

— Даже никто из близких не знал и не ожидал. И на жениха он был так мало похож...

Она проводила меня до дома и ушла обратно.

Через некоторое время я возвращалась домой из Союза писателей, и меня провожал один из его членов. Фамилию его я забыла.

— Я только что из Москвы, — говорил он, — и, между прочим, был у Чехова. Ведь вы с ним знакомы?

— Да. Встречались.

— Вот... Он мне говорил... Он даже сказал, что хорошо знает вас. И очень давно. Спрашивал о вас. И у меня осталось впечатление, что он очень... да, очень тепло к вам относится.

Я молчала.

— Видел и его жену. Артистку Книппер.

— Понравилась?

Он сделал какой-то сложный жест рукой.

— Артистка. Одета так... — опять жест. — Движения, позы... Во всем, знаете, особая печать. Странно, рядом с Антоном Павловичем. Он почти старик, осунувшийся, вид болезненный... На молодожена не похож. Она куда-то собиралась, за ней заехал Немирович...

Опасаясь сплетен, я быстро перевела разговор на другую тему.

Очень хотелось спросить: что он обо мне спрашивал? Что он говорил? Из чего можно было получить впечатление, что он тепло ко мне относится?

Но я ничего не спросила. Мне было достаточно и того, что я слышала, чтобы едва сдерживать свое волнение.

С этой поры я часто слышала разговоры об этой свадьбе. Всегда говорили: «странно». А я не могла понять: почему странно? Разве не естественно, что писатель-драматург влюбился в артистку, для которой он писал роли? Она была талантлива, приятной наружности.

Когда-то, очень давно, случилось так, что мы играли с ней вместе в одном любительском спектакле. Ставили пьесу: «Странное стечение обстоятельств» [41]. Помню только, что в этой пьесе были две Софьи Андреевны и одну играла я, а другую — Книппер. Режиссировал Рощин-Инсаров и предсказывал мне блестящий успех, если я поступлю на сцену. Книппер была тогда очень незаметной, застенчивой, молчаливой молодой девушкой. Говорили, что у нее очень строгий отец. Брат ее, Константин, бывал у нас в доме и тоже жаловался на чрезмерную строгость отца. Мать я видела, и она на меня произвела впечатление очень чопорной и натянутой. Мы попытались познакомиться домами, но это не вышло.

Как-то, катаясь на тройках, вздумалось нам заехать за Ольгой Леонардовной и Константином. Подкатили мы со звоном и шумом к подъезду Книппер, стали звонить, как вдруг из двери испуганно выскочил Константин и замахал на нас руками. Он сказал что-то и сейчас же запер дверь.

— Что он сказал? Что он сказал? — спрашивали из саней.

— У него только что умер маленький брат, — шептали те, кто ходил звонить.

— Умер брат? Брат?

Мы отъехали шагом, чтобы не слышно было бубенцов.

Все чувствовали себя так, будто были в чем-то виноваты, и стыдились. Настроение сразу упало.

Можно ли и надо ли мне было поздравить Антона Павловича? Пожелать ему от души, и от всей души, счастья и здоровья? Мне этого хотелось, вместе с тем я не решалась. За это долгое время после разрыва я успела многое понять и обдумать.

И мне казалось, что я поняла верно.

«Знаете ли вы, что теперь уже десять лет, как мы знакомы? Да, десять лет».

Целых десять лет неопределенных и напряженных отношений. Два раза пытался он положить конец этой неопределенности. Надо было сойтись или разойтись. Но «нам не везло». Объясниться до конца не удалось, помешала болезнь. («Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?») Кроме моей семьи, встала между нами еще и эта преграда: болезнь. И вот он решил одним ударом покончить и с нашей «тихой и грустной любовью» и со всеми сомнениями, надеждами и ожиданиями. Случилось так, что мы, как и в его рассказе, прощались в вагоне. Почему мне не вспомнилось тогда, что его строгое, холодное, почти злое лицо, когда он повернулся ко мне, чтобы проститься, было совершенно такое же, как несколько лет назад, когда он сидел у меня и говорил: «Я вас любил. Знали ли вы это?» Я тогда испугалась его «ненавидящих» глаз. А он страдал. И в вагоне он страдал. Он сказал, что не приедет ко мне ни за что и что мне это стоило бы слишком дорого: «Я дорого возьму». А он только что видел меня с детьми и знал, что эта цена мне непосильна. Теперь мне было ясно, что это была последняя попытка узнать, насколько я его люблю. И потом он ушел и даже не оглянулся. Он твердо решил: это конец.

Так нужно ли и можно ли было мне поздравить его? Я сперва решила, что невозможно, но когда я узнала, что он спрашивал обо мне и «отзывался тепло», желание мое написать стало почти непреодолимо.

Я узнала, что он один в Ялте, а Книппер в Москве, и я сделала вот что: я написала записочку, в которой передавала просьбу нашей общей знакомой, А. А. Луганович, переслать ее письмо П. К. Алехину, адрес которого Антону Павловичу, наверное, известен. Письмо Луганович я положила в отдельный конверт. Луганович писала Алехину, что узнала об его женитьбе и горячо, от всего сердца желает ему счастья. Она писала, что и сама успокоилась и, хотя вспоминает его часто, вспоминает с любовью, но без

боли, так как в ее личной жизни много радостей и удовольствий. Она счастлива и очень хотела бы знать, счастлив ли также и он.

Потом она благодарила его за все, что он ей дал. «Была ли наша любовь настоящая любовь? Но какая бы она ни была, настоящая или воображаемая, как я благодарю Вас за нее! Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей, душистой росой. Если бы я умела молиться, я молилась бы за Вас. Я молилась бы так: Господи! пусть он поймет, как он хорош, высок, нужен, любим. Если поймет, то не может не быть счастлив».

И Анна Алексеевна получила ответ от Алехина через мое посредство.

«Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо. Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите, как хотите. Повторяю, я очень благодарен за письмо. Очень.

Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.

Я всегда желал Вам счастья, и, если бы мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.

А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив. В молодости я был жизнерадостен — это другое.

Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т. д.

Алехин».

Это письмо, подписанное Алехиным, я в числе прочих не отдала Марии Павловне для собрания «Писем» [42]. Почему Алехин? Надо было бы объяснять, выдать нашу тайну. Письмо у меня было украдено с другими письмами и бумагами. Украдено из-за красивого ящичка, в котором хранилось.

Но это было не последнее письмо Антона Павловича. Он мне ответил еще в 1904 году.

Тогда начиналась японская война, и мне очень хотелось сделать что-нибудь в пользу раненых. Я была возбуждена, полна энергии, а мне некуда было приложить свои силы.

Тогда я задумала издать сборник. Знакомых писателей у меня было много, и со многими у меня были хорошие отношения. Для печатания книги я надеялась на Сергея Николаевича. Я мечтала, что и материал и издание будут непременно очень хороши, а мне все обойдется чуть не даром. Значит, моя помощь одной моей работой и хлопотами принесет немало денег.

Прежде всего я написала Чехову.

Он ответил, что в настоящее время у него нет ни одной подходящей рукописи и что он вообще моей затее не сочувствует. «Если Вы не прочь выслушать мое мнение, то вот оно: сборники составляются очень медленно, туго, портят составителю настроение, но идут необыкновенно плохо. Особенно сборники такого типа, как Вы собираетесь издать, т. е. из случайного материала. Простите мне, ради бога, эти непрошеные замечания, но я бы повторил их пять, десять, сто раз, а если бы мне удалось удержать Вас, то я был бы искренно рад. Ведь пока Вы работаете над сборником, можно иным путем собрать тысячи, собрать не постепенно, через час по столовой ложке, а именно теперь, в горячее время, пока не остыло еще желание жертвовать. Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25—30 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и пр.) насчет раненых, сострадания к ним, помощи и пр., что только найдется у этих авторов подходящего. Это и интересно, и через 2—3 месяца можно уже иметь книгу, и продается очень скоро. Простите за советы, не возмущайтесь. Кстати сказать, в настоящее время печатается не менее 15 сборников...»

Это он писал 7 февраля; а 14 февраля:

«Мн. Лидия Алексеевна. Завтра уезжаю я в Ялту. Если вздумаете написать мне, то я буду Вам очень благодарен.

Если Вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и править сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно невелики, часто убытки. По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ, а потом гонорар пожертвовать в пользу Красного Креста.

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике), рука плохо пишет, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, кото-

рой мы не знаем, всех мучительных размышлений, которыми изнашиваются наши российские умы, — это еще вопрос. Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо.

Будьте здоровы и благополучны.

Преданный *А. Чехов»*.

Сотни раз перечитывала я это письмо. Откуда это новое настроение Антона Павловича? «Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений...» И мне казалось, что он горько, презрительно улыбается, оглядываясь в прошлом на себя. Не так жил, не так думал и чувствовал. Пропала жизнь!

В. Н. ЛАДЫЖЕНСКИЙ

В СУМЕРКИ

Дорогой памяти А. П. Чехова

В свежий осенний день, усталый, я возвращался домой по степи. Поблекшая трава изредка дрожала от набегавшего ветерка, и казалось, что ей было холодно, страшно холодно. Впереди, в овраге, вилась безыменная речка и на изгибах блестела стальной, холодной чешуей, в которую некому уже было глядеться: сторожевые камыши умерли, далекая синева неба помутнела в наступавших сумерках, а одинокая речка шла вперед, как путник, перед которым нет никакой цели. И я шел вперед, замедляя от усталости шаг, и холодное одиночество вместе с надвигавшимися сумерками охватывало меня все больше и больше. Глазу не на чем было остановиться в пустой и неприютной степи с ее дрожавшей травою. Вдруг где-то далеко, далеко что-то застучало и смолкло, и я долго прислушивался к умиравшим в воздухе звукам. Потом опять застучало, и похоже было на то, что кто-то колотит по застывшей земле палкой. Я остановился и стал вглядываться. Что-то большое с неуловимыми очертаниями надвигалось на меня по дороге, а стук переходил в ровный и непрерывный грохот.

«Да это кто-то едет на т е л е г е», — сообразил я и посторонился.

Мужик в рваном полушубке ехал, стоя на телеге, и размахивал концами вожжей, которые тяжело шлепались по бокам его потной клячонки. Он гнал куда-то в степь, торопясь, и неизвестно зачем, поравнявшись со мной, крикнул:

— Держись, барин!

И опять я слушал, как умирал стук в пустой степи, и смотрел, как обрывки туч, все время заслонявшие уга-

савшее солнце, в недосягаемой вышине гнались за исчезнувшим в степи мужиком. Стук наконец замолк, и стало почему-то еще неприютнее... Я прибавил шагу. Слава богу, недалеко и дом. Вот и роща на краю оврага. Но какая она теперь угрюмая, суровая и строгая со своими полуобвалившимися листьями! Здесь, внизу, тихо, так тихо, как в покинутом храме, и только вверху идет сдержанный, точно негодующий ропот. Я присел на завалинке лесной избушки рядом со стариком караульщиком. Старик смотрел куда-то вдаль, в степь, и молча жевал сморщенным, беззубым ртом. Долго сидели мы молча, и каждый был занят своими, совсем чужими друг другу мыслями. Вдруг на самом краю горизонта, прорвав тучи, вспыхнуло солнце. Холодное, умиравшее, как все кругом, оно на несколько минут бросило яркие блики на степь, а в роще над нашими головами, как живое, зашевелилось червонное золото листьев. На противоположном берегу оврага осветилось село; стали видны и высокие журавли колодцев, и лохматые, почерневшие от дождя и времени крыши изб, и кучи свежей соломы на гумнах. Женский визгливый голос запел было песню, но скоро оборвался, точно конфузясь. И солнце погасло... О, какой холодный, жуткий мрак наступил сразу! Исчезли очертания села, оврага и рощи, и мрак торжествовал свою победу в пустой, холодной, неприютной степи.

— Скучно, дедушка! — проговорил наконец я.

— Что за скука. Кака така скука! — отвечал он, несколько помолчав. — Кончилось наше времечко, на полати пора на всю зиму — вот что. Только бедно больно везде, ах как бедно! Бедность, ну и, известно, грязь, вонь и все такое. Бедно, а ты говоришь — скука!

Мы еще посидели немного, и я побрел в свой пустой, одинокий дом, торопясь к уютному свету рабочей лампы. Но не спорилась у меня в этот вечер работа, и не мог я к ней приковать своих мыслей...

С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо, — милый, дорогой, ушедший навсегда друг. В моей памяти живы и всегда будут жить твои речи, твой короткий смешок и выражение твоих глаз — то грустных и тоскующих, то вспыхивающих искрами могучего, непобедимого юмора. Ты любил жизнь и ушел из нее, как яркий солнечный луч. Встретив сумерки жизни, ты осмыслил их и воплотил в неувядающих образах. Но как ты верил, как мы все верили в твой призыв к жизни, краси-

вой, изящной и умной! Ведь она придет же к нам, эта жизнь! И, угасая на далекой чужбине, недаром же ты сравнивал чужую жизнь с своей родной, недаром твоя умиравшая мысль билась такой горячей, страстной любовью к родной стороне. Только зачем, зачем так рано красивые цветы, лавровые венки и венки из вишневых листьев, сорванные и сплетенные для тебя твоей родиной, достались твоей могиле?.. С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо, милый, дорогой друг... Я по-прежнему, но теперь уже мысленно, беседую с тобой, и тихо теплится моя одинокая рабочая лампа. А за окном уже давно кончились сумерки и стоит молчаливая, холодная ночь. И мне кажется, что я разгадал ее думы: она ждет. Ей страстно хочется одного — рассвета и солнца, яркого, горячего солнца...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

О Чехове можно писать очень много. Следовало бы припоминать каждую его яркую мысль, останавливаться на каждом значительном выражении, чтобы облегчить этим работу его будущего биографа при восстановлении этой огромной фигуры в нашей жизни и литературе. Настоящие заметки не претендуют на это. В них мне хотелось отметить только некоторые и притом общие черты того целостного впечатления, которое всегда производил на меня почивший художник.

Познакомился я с А. П. Чеховым в Петербурге, сколько припоминаю, в самом конце восьмидесятых годов [1]. В ту пору собирался кружок молодых начинающих писателей у А. Н. Плещеева, в его небольшой квартирке на Спасской площади. А. Н. Плещеев, тогда уже старик, бившийся с материальной нуждой, — это было еще до получения им наследства, — оставался, тем не менее, идеалистом в самом хорошем значении этого слова. Работал он тогда в журнале «Северный вестник» вместе с покойным Н. К. Михайловским. По вечерам на его гостеприимный огонек собирались молодые писатели и особенно поэты, которым он покровительствовал и выводил их в литературный свет, и здесь до поздней ночи раздавались бесконечные споры и лились горячие речи. Чаще других, кажется, кроме меня, бывали в эту пору у Плещеева — Мережковский, Баранцевич, проф. Фаусек, тогда еще готовившийся к кафедре, и приятель маститого хозяина — тоже маститый поэт —

П. И. Вейнберг. Посещали Плещеева и артисты, и в юной компании начинающих поэтов часто можно было встретить Стрепетову, Пасхалову, Свободина и Давыдова. Хорошее это было время, время молодых, горячих споров и надежд, имеющих свойство окрылять только юность да хозяина, которому суждено было донести душевную молодость до гроба. Вот здесь-то в один из зимних вечеров привелось мне встретиться и познакомиться с А. П. Чеховым. Молодой и красивый, с прекрасными задумчивыми глазами, он на меня с первого же раза произвел неотразимое, чарующее впечатление. Он жил тогда в Москве и приезжал ненадолго в Петербург по зимам, где на сцене шли его водевили, а в «Новом времени» печатались его рассказы. Это был период его художественной деятельности, когда знакомое в литературной среде имя Антоши Чехонте уступало уже в широкой публике первым лучам славы имени Антона Чехова: помню, изданные Сувориным «Хмурые люди» и «Пестрые рассказы» как раз в это время производили сенсацию [2]. По обыкновению мы и в этот раз засиделись до поздней ночи и говорили о литературе и общественной жизни. Чехов показался мне малоразговорчивым, каким он и был на самом деле. Говорил он охотно, но больше отвечал, не произнося, так сказать, монологов. В его ответах проскальзывала иногда ирония, к которой я жадно прислушивался, и я подметил при этом одну особенность, так хорошо памятную знавшим А. П. Чехова: перед тем, как сказать что-нибудь значительно-остроумное, его глаза вспыхивали мгновенной веселостью, но только мгновенной. Эта веселость потухала так же внезапно, как и появлялась, и острое замечание произносилось серьезным тоном, тем сильнее действовавшим на слушателя. Вышли мы вместе на улицу уже после ужина. Над Петербургом стояла тихая и мягкая зимняя ночь. Нам было по дороге, и мы шли, продолжая разговор этого вечера на общественные и литературные темы. Чехов говорил о необходимости настроения в стихотворениях. Говорил он волнуясь и повторял, что желал бы быть понятен. Смысл его речи был тот, что вся жизнь целиком может давать содержание для художественной работы, которая характеризуется правдивостью настроения изображаемого.

— Я же ничего сегодня и не отрицал в нашем литературном с п о р е, — сказал он и, остановившись, прибавил: — Только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городового! Больше ничего.

Мы пошли дальше вдоль тихой и пустынной улицы...

Через несколько дней встретились мы на Николаевском вокзале как старые знакомые, совсем по-приятельски. С Чеховым легко было и знакомиться и дружиться: до такой степени влекла к нему его простота, искренность и впечатление (я не умею иначе выразиться) чего-то светлого, что охватывало его собеседника. Мы ехали вместе в Москву, весело разговаривая, выходили на станциях и, шутя, пытались по внешнему виду определять общественное положение и характер пассажиров. Дорогой Чехов уговаривал меня поехать с ним в далекое путешествие. Он собирался тогда на Сахалин, и с каким увлечением говорил он о возможности видеть чужие, малознакомые фантастические страны — Индию и Японию. Вернуться предполагал он через всю Сибирь, представлявшую, по тогдашнему времени, тоже неведомую землю. Особенно сильно интересовала его все-таки каторга.

— Ее надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде, — говорил он.

И уже потом, много лет спустя, в Мелихове, интересуясь громким и запутанным уголовным процессом Тальмы в Пензе [3] и расспрашивая меня о вероятности преступления обвиненного, Чехов говорил грустно:

— И вот сидит он теперь на Сахалине — скучный и унылый, и у него вечная изжога от сырого и дурно пропеченного хлеба, — кому это нужно!

Мне было жаль и досадно до боли, что я не мог согласиться на предложение Чехова. Обаятельная личность товарища по путешествию, возможность смены впечатлений и настроений, широкая задача путешествия, которую ставил себе Чехов, — все звало меня с ним... Но для меня начиналась в это время пора земской деятельности, и иные надежды и ожидания призывали меня...

Расстались мы в Москве, где я пробыл несколько дней и познакомился с милой и приветливой семьей Чехова. Мы вместе посещали редакции знакомых журналов; при посредстве Чехова я приобрел несколько новых и милых знакомств, чувствуя, как с каждым днем его обаяние как человека захватывает меня все больше и больше. Через несколько дней я уехал в глухую провинцию, унося в душе искреннюю, дружескую привязанность к одному из самых милых людей, которых я когда-либо встречал, и находясь под впечатлением его огромного таланта. И когда на другой день полупустой и холодный вагон громыхал по пустой

и холодной степи, я ни о чем другом не мог думать, как об этом человеке.

Прошло много времени. Мы встретились опять в Москве, уже после путешествия Чехова на Сахалин. Месяца два провели мы, постоянно встречаясь. Мы вместе бывали в театрах и у многочисленных знакомых, сошлись и подружились окончательно, с неизбежным и традиционным брудершафтом. По-прежнему Чехов был молчаливым и необыкновенно скромным человеком, несмотря на свою известность.

— Был со мной в Петербурге смешной случай, — рассказывал он мне. — Сказали мне, что Полонский очень хотел бы со мной познакомиться, и повезли меня (кажется, Лейкин или Голике) на один из его журфиксов. Ну, приехали мы, знакомимся. При знакомствах всегда называют фамилии так, что ничего не разберешь. Так и тут: послышалось не то Чижов, не то Чехов. Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем я понадобился Полонскому или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему интересен. Наконец стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное. «Вы, — говорит он мне, — все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?» — «Нет, Чехов», — сказал я. «Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали!» — закричал хозяин и даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло, — добродушно и конфузливо закончил свой рассказ Чехов.

И здесь, во время этой московской жизни, для меня особенно выяснилась основная черта чеховского характера — искренность буквально не выносившая лжи, заставлявшей страдать душу художника. Лжи мелочной, подчас комичной, разумеется, было немало в обществе, особенно в отношении Чехова, тогда уже на всю Россию славного писателя и модного человека в Москве. Как тонко он отмечал неискренние заискивания людей, сравнительно беззаботных по части литературы, и как грустно говорил: «Что ему Гекуба!»[4] Но еще больше раздражала его ложь, касавшаяся вопросов и убеждений общественной жизни.

— Они напились, — говорил он мне раз про одну компанию, — целовались и пили за конституцию! Ну, ты подумай, зачем ему (он назвал фамилию) конституция[5], когда

он может строить свое благополучие только в условиях политического рабства. Чего они лгут?

Кстати об общественных убеждениях. В журнальных статьях не раз упрекали Чехова в индифферентизме. После народнической, иногда будировавшей литературы появление Чехова производило впечатление жреца искусства для искусства. С самого начала в этом было уже крупное недоразумение: статьи проглядели в рассказах молодого писателя ту художественную правду всей русской действительности, а не отдельных образов, которая с такой силой появлялась в первый раз после Гоголя. А такая правда для имеющих очи, чтобы видеть, стоила, разумеется, больше поучающего тона либеральной беллетристики. «Не надо сочинять нарочно стихов о плохом городовом», — говорил мне когда-то Чехов, и теперь он повторял приблизительно то же самое о плохих беллетристических вещах. Но зато как высоко ставил он покойного Гл. Ив. Успенского, которого считал первоклассным художником, как часто цитировал его. Впрочем, недоразумение, о котором заговорил я, было временным и как-то само собой растаяло по отношению автора «Мужиков» и «В овраге»...

Писал и работал Чехов много. По этому поводу у него сложилось определенное убеждение, которое он мне не раз высказывал.

— Художник, — говорил он, — должен всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить. Куда же денешься от мысли, от самого себя. Посмотри хоть на Некрасова: он написал огромную массу, если сосчитать позабытые теперь романы и журнальную работу, а у нас еще упрекают в многописании.

Исходя из этого убеждения, Чехов несколько раз советовал мне, бросив общественную деятельность, отдаться исключительно литературной работе. Общественной деятельности в земстве он очень сочувствовал, но считал ее маловозможной по «независящим обстоятельствам» и полагал, что для нее должны найтись люди, не причастные литературе. Действительно, то было в этой области мрачное и тяжелое время, при одной мысли о котором я теперь содрогаюсь. И какой грустной, но прелестной и верной русской действительности шуткой кажется одно место из письма Чехова ко мне в эту пору: «Vive monsieur le membre d'hôtel de zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks! * Служи беспорочно, помни присягу, не распускай

* Да здравствует член земской управы! Да здравствует телесное наказание для мужиков! (*фр.*)

мужика и если нужно, то посеки, всякого нарушителя долга прощай как человек, но наказывай как дворянин» [6]. А при свидании Чехов говорил мне:

— Все это хорошо, и дай тебе бог всякого успеха, но, по-настоящему, нужны не школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты.

И когда я прочитал почти те же слова, сказанные от имени художника в прелестном рассказе «Дом с мезонином», я не удивился, а только обрадовался...[7]

В следующую зиму я опять часто виделся в Москве с Чеховым. Его успех как художника все возрастал. В провинции с нетерпением ждали каждой его новой повести, каждой строчки.

Интерес к его вещам был настолько велик, что разговоры о новой повести Чехова буквально занимали всю Россию. И действительно, нельзя было читать без огромного подъема духа что-либо написанное им. Гениальный художник завоевал свою родину. В эту зиму Чехов часто бывал в Москве, а жил в своем небольшом имении Мелихово, Серпуховского уезда. Не помню теперь, в эту ли именно зиму, или в другую Чехов в Москве приглашал меня ехать с собой в Петербург на первое представление «Чайки» в Александринском театре. Как сейчас помню, что это представление было назначено на 17 октября, и Чехов говорил мне:

— Поедем смотреть, как провалится моя пьеса, недаром ставится она в день крушения поезда [8].

Когда же я доказывал, что такая интересная и поэтическая вещь не должна провалиться, Чехов заметил:

— Напротив, должна, непременно должна! Дело в том, что большинство актеров играет по шаблону. Один будет стараться представлять писателя, значит, может быть, и загримируется кем-нибудь из известных литераторов и будет его передразнивать. У них если на сцене военный, то непременно поднимает плечи и хлопает каблуками, чего не делают в жизни военные. Большой, вдохновенный талант — редкость, а об передаче настроения моей пьесы не позаботятся.

Я не мог поехать с Чеховым. Пьеса провалилась на первом представлении, принеся огромное и незаслуженное огорчение автору. Мне передавала потом сестра Чехова, Мария Павловна, что автор сбежал на другой день из Петербурга в совершенном отчаянии и проехал прямо в Мелихово, не останавливаясь в Москве. Долгое время Чехов ничего не хотел слышать о постановке пьес на сцене, а

друзья и знакомые старались даже не заговаривать с ним о приключении с «Чайкой», щадя его нервы.

Все знакомые покойного Чехова навсегда, конечно, сохранят воспоминания о Мелихове. Это был уютный уголок в Серпуховском уезде с небольшим помещичьим домом и маленьким садом. Хозяйством в имении заведовала Мария Павловна. Там встречало посетителей радушие Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, родителей Чехова, предупредительная любезность Марии Павловны и задушевная беседа самого хозяина. Чехов любил этот уголок средней России, заботливо устраивал его обстановку, а это нелегко было для него в ту пору в материальном отношении, и часто необходимый ремонт производился по частям в ожидании гонорара за написанную повесть. А в денежных делах Чехов был деликатен до щепетильности. В эту пору передавал он мне, как один издатель, буквально выпросивший его рассказ и заранее его рекламировавший, вручил ему наконец за него какую-то до смешного ничтожную плату, если не ошибаюсь — 26 р.[9].

— Ведь не могу же я торговаться, — говорил Чехов. — С большой помпой, после всяких похвал, с некоторой даже таинственностью вручили мне грош. А мне надо лечиться, нужны деньги на Мелихово, а я и говорить об этом не могу.

Хорошо было в Мелихове, и у гостей делалось на душе весело уже с того момента, когда вас на пороге встречал лай двух такс, которых звали: одну — Бром Исаевич, а другую — Хина Марковна... Все было хорошо, умно и прекрасно в жизни Чехова, кроме одного: художник был болен, болен чахоткой, и это было известно и всем его знакомым и ему самому. Это заставляло его лечиться, заботиться о гигиеническом образе жизни, отлучаться за границу, на юг, а ему не хотелось думать о самом себе, возиться с самим собой, его интересовала окружавшая жизнь, а суть его собственной жизни составляло творчество, для которого нужно было беречь здоровье... Случалось мне посещать Мелихово и летом, когда оно было еще лучше и еще уютнее, чем зимой. Маленький, хорошо ухоженный сад с массой цветов, небольшой рабочий домик, построенный в саду, где подолгу разговаривал с своими гостями и работал Чехов, разговор о том деревенском хозяйстве, которым заведовала в бесконечных хлопотах Мария Павловна, — все это заставляло гостя засиживаться лишний день в Мелихове и уезжать неохотно. Приятно было бродить в окрестностях усадьбы, разговаривая с хозяином, или сидеть на берегу маленького пруда, про который Чехов говорил, что у него

там караси, но что он намерен дать им конституцию... Однажды, в августе или начале сентября, Чехов сказал мне, что я приехал как раз вовремя, чтобы присутствовать при освящении только что выстроенной школы, которой он был попечителем. Он познакомил меня с учительницей, молодой девушкой, если не ошибаюсь, кончившей курс в серпуховской гимназии, много шутил, называя меня чужим инспектором народных училищ и начальством, и был необыкновенно оживлен и весел [10]. Тут же обратил он мое внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в «Мужиках», и указывал на своеобразную колоритность его речи. После мы разговорились о тяжелом положении народных учителей и учительниц, и я увидел впоследствии некоторые черты этого положения в художественной правде небольшого рассказика «На подводе»... Чехов вообще необыкновенно хорошо и мягко относился к окружавшим его людям, а крестьянам Мелихова помогал чем мог и как мог.

Очень грустил Чехов, что приходится расставаться с Москвой и средней Россией, которую он так любил, и перебираться, по обыкновению, на зиму в Крым. «Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь», — грустно повторял он и звал меня навестить его этой зимой в Крыму. Мне, однако, не удалось его видеть этой зимой, а весной, когда он приехал в Москву, он попал в больницу [11] с обострившейся болезнью. Выписавшись оттуда, он известил меня в нескольких строках, что здоровье его совсем плохо и что он продает свои сочинения Марксу за 75 тысяч [12], что это дело решенное, и их уже окончательно устроил С[ергеенко]. Разумеется, эта продажа была не особенно выгодной для Чехова, но в ту пору, при необходимости устроить себе удобный приют в Крыму, может быть, неизбежной. Дача в Крыму, в Аутке, около Ялты, была действительно построена превосходная. И сам Чехов и Мария Павловна заботливо внесли в нее много изящества и уюта. По-прежнему там воцарилось радушие и ласка Чехова и его семейства. Только не было уже отца Антона Павловича: он скончался раньше и похоронен в Москве [13]. Но сам Чехов не мог помириться с насильственной необходимостью жить вдали от России. Привожу выдержку из письма Чехова в то время, когда он устраивал свою дачу:

«Большое тебе спасибо, что вспомнил и прислал письмо... Я в Ялте, по-видимому, поселюсь здесь, и уже строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе прия-

телей и друзей, и даю при этом клятву, что в своей крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить своих друзей красным мускатом... Зимою я буду жить в Ялте, летом же, начиная с апреля, в Серпуховском уезде, в Мелихове. Итак, приезжай в Мелихово, там, обедая, я приглашу тебя в Крым. Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать им конституцию. Здоровье мое довольно сносно, все еще не женат и все еще не богат, хотя Маркс и купил мои произведения за 75 тысяч. Возникает вопрос: где деньги? Их не шлют мне, и, по-видимому, мой поверенный С. пожертвовал их на какое-нибудь доброе дело или, по совету Л. Н. Толстого, бросил их в печь... Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном».

В другом письме, присланном мне уже тогда, когда Чехов окончательно устроился в Ялте, звучит такая же грусть по России:

«Я все в той же Ялте. Приятели сюда не ездят, снегу нет, саней нет, нет и жизни. Cogito, ergo sum *, и, кроме этого cogito, нет других признаков жизни... Вообще напиши подробнее, дабы я имел основание считать тебя добрым человеком» [15].

А когда я навестил Чехова в Крыму, он говорил мне:

— Тебе нравится моя дача и садик, ведь нравится? А между тем это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вроде Петропавловской крепости. Разница только в том, что Петропавловская крепость сырая, а эта сухая.

Чехов долго не мог примириться с жизнью «не по своей воле» на юге, но в конце концов полюбил свою дачу, о которой много заботился. Он ценил, очевидно, результаты своих трудов. И когда, незадолго перед его кончиной, Мария Павловна призналась ему, что и она долго не могла примириться с Ялтой и неизбежной потерей Мелихова, а теперь ей здесь все дорого, Чехов грустно заметил:

— Вот так не любя замуж выходят. Сначала не нравится, а потом привыкают!

И несмотря на болезнь, которая то усиливалась, то улучшалась настолько, что усыпляла опасения окружавших, — Чехов работал, работал, работал... Поистине это был

* Я мыслю, следовательно существую [14] (*лат.*).

огромный художник, смысл существования которого состоял в творчестве... В последний раз мы виделись в Москве, куда он всегда стремился при первой возможности, и здоровье его еще не говорило о такой близкой опасности...

Осенью прошлого, 1904 года я посетил Новодевичье кладбище. Был тихий и теплый солнечный день. У небольшого могильного холмика, под которым покоится прах Чехова, стояла толпа молодежи: студенты, курсистки. На холмике лежали увядшие цветы и венки из живых, тоже увядших цветов. Тут же лежал и совсем свежий, только что кем-то положенный букетик. Я знал, что не только этот могильный холмик, отныне дорогой для всей России, остался от Чехова.

Остались сочинения, которые бесконечно долго будут давать наслаждение людям; по этим сочинениям будут изучать современную Чехову жизнь. Осталась и та слава, которая по смерти писателя делается славой его родной страны.

Чехов умер рано, в самый разгар своего творчества, и мог бы написать еще много. Но и того, что он сделал, слишком достаточно, чтобы оправдать и исчерпать смысл жизни огромного художника. Все это я знал и в этих мыслях искал утешения. Верные сами по себе, они, однако, не могли принести утешения: передо мной вставал образ умного, доброго, бесконечно правдивого человека, осененный тем могучим и неведомым, что принято называть талантом. Было мучительно грустно и жаль, бесконечно жаль человека в лучшем смысле этого слова...

М. Е. ПЛОТОВ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Мое знакомство с Антоном Павловичем произошло в сентябре 1892 г. В то время я состоял в должности учителя школы села Щеглятьева, отстоящего от села Мелихова, где проживал тогда Чехов, на шесть километров.

Познакомиться с ним мне пришлось при следующих обстоятельствах. Летом 1892 г. в селе Щеглятьеве для борьбы с ожидавшейся холерой был создан временный медицинский пункт, заведывание которым, как врач по образованию, взял на себя Антон Павлович. В помощь ему был приглашен студент-медик 4-го курса медицинского факультета Московского университета — Николай Иванович, фамилию которого я, к сожалению, уже забыл [1].

Как-то, собираясь идти в амбулаторию, Николай Иванович, обратив внимание на мой плохой вид, предложил мне дойти с ним до амбулатории и посоветоваться с Антоном Павловичем. Я охотно согласился.

В амбулатории, в ожидании прихода больных, уже сидел Антон Павлович, только что приехавший из Мелихова. Это был молодой человек выше среднего роста, стройный, с продолговатым, правильным и чистым лицом, обрамленным темно-русой бородой. Его глаза светились умом и приветливостью. Общее впечатление от его наружности было в высшей степени приятное, располагающее к нему.

После рукопожатия Антон Павлович обратился ко мне со словами:

— Садитесь и давайте принимать больных.

После этого, приблизительно через одну-две минуты следом одна за другой, пришли три старушки в возрасте 65—70 лет, которых по очереди и принял Антон Павлович, сказав каждой из них несколько ласково-укоризненных и успокоительных фраз.

Теперь, думаю, Антон Павлович займется и мною.

Однако я ошибся: он встал и, прощаясь со мною, сказал:

— Приезжайте-ка завтра утром ко мне в Мелихово, мы с вами побеседуем на свободе.

На другой день, отправляясь в Мелихово, я не знал, как мне поступить: предложить Антону Павловичу гонорар за совет или нет, так как мне было известно, что он жил тогда исключительно литературным трудом.

Правда, к нему приходили за врачебным советом как крестьяне села Мелихова, его соседи, так и крестьяне других селений, но он не только безвозмездно оказывал им медицинскую помощь, но даже и лекарства для них приобретал на свои средства.

Приехав в Мелихово, я был уверен, что Антон Павлович предложит мне снять рубаху, постучит по грудной клетке молоточком, послушает и, определив болезнь, напишет рецепт. Я опять ошибся.

Узнав, сколько мне лет, он поинтересовался, как я провожу свое свободное время, на что трачу его. Расспросив меня подробно, он сказал, что ничего серьезного нет.

— Побольше гуляйте, больше кушайте малороссийского сала и кислого молока, рецепт на приготовление которого возьмите у моей мамаши. Жаль, что вы не работаете в земстве: <...> земство выдало бы вам необходимые средства на поездку в Крым для купания в Черном море.

На прощанье, предложив мне пользоваться своей библиотекой, Антон Павлович вручил мне несколько книг художественной литературы. От гонорара за совет он, само собою разумеется, отказался наотрез.

О моей поездке в Крым я и думать перестал: не было на это средств, но Антон Павлович, оказалось, не только не забыл о ней, но и старался сделать все от него зависящее, чтобы добыть необходимые для этого средства.

В один из моих последующих визитов в Мелихово Антон Павлович говорил мне:

— Я написал местному благочинному письмо. Просил его, как человека, знакомого с графиней Орловой-Давыдовой, обратиться к ней, как попечительнице Щеглятьевской школы, с просьбой оказать вам материальную помощь для поездки в Крым. Благочинный в своем ответном письме, между прочим, пишет мне: «Графиня сама знает нужды своих подчиненных» [2].

Надо было слышать, с каким негодованием и отвращением произнес Чехов последнюю фразу. Это возмущение было настолько велико, что он не мог усидеть на месте

и вынужден был несколько минут быстро ходить по кабинету, чтобы успокоиться.

Я уверен, что Антон Павлович никогда не волновался, не возмущался и не жалел о своих личных неудачах, как волновался и возмущался по поводу неудач маленьких людей, своих знакомых, особенно в тех случаях, когда к неудачам материального порядка присоединялись попытки умаления человеческого достоинства этих людей.

За время с 1892-го по 1898 гг., до отъезда Антона Павловича в Крым, где он построил для себя дачу, я бывал у него в Мелихове один-два раза в месяц, менял прочитанные книги на другие и временами слушал его в высшей степени интересные беседы на литературные и другие темы.

Нельзя было не удивляться необыкновенной силе и образности, с какими он выражал свои мысли. Слушатель всецело находился под впечатлением как его мысли, так и красоты формы, в которую данная мысль выливалась. Экспромтом он говорил так же легко, плавно, свободно и красиво, как и писал, в совершенстве владея искусством сказать многое в немногих словах.

Одной из благороднейших черт характера А. П. была его природная беспредельная доброта. В числе его знакомых, кроме литераторов, издателей, критиков, артистов, художников, были сельские учителя и учительницы, фельдшерицы-акушерки, учащаяся молодежь, соседи-крестьяне и др. К ним он относился особенно сердечно и отзывчиво и оказывал им всевозможные услуги и посильную помощь. Привожу некоторые из многих его услуг, оказанных мне лично.

В 1892 г. я был начинающим охотником, о чем Антон Павлович от кого-то узнал. Свидевшись со мною однажды, он спросил:

— Вы охотник?

— Пока еще только горе-охотник, — ответил я.

— А ружье имеете? — спрашивает А. П.

— Имею, — отвечал я, — но мое ружье, к сожалению, отличается досадной особенностью: при попытке спустить курок ружье упрямится, курок и не думает спускаться, дичь улетает без выстрела. Иногда ружье и не думает стрелять, а курок спускается как бы по собственному желанию, и заряд летит в белый свет. Правда, это ружье временное:

как только овладею искусством стрельбы, приобрету другое.

Не зная, с какою целью Антон Павлович задал мне этот вопрос, я дал на него чистосердечный и точный ответ. Выслушав мой ответ, он заявил:

— У меня есть знакомый охотник, очень богатый человек, у которого охотничьих ружей — целая оружейная палата. Я привезу вам от него бесплатно и в бессрочное подержание настоящее барское ружье, — предложил Антон Павлович.

Эта любезность была настолько неожиданной и настолько, на мой взгляд, чрезмерной, что я почувствовал большое смущение, но, стараясь не обнаруживать своего настроения, поблагодарил Антона Павловича, переменив прочитанные книги на другие, простился и ушел, питая надежду на то, что он забудет про свое обещание.

Однако Антон Павлович никогда не забывал своих обещаний. В следующее наше свидание, здороваясь со мною и указывая на угол своего кабинета, он произнес:

— Вот ваше ружье, берите и стреляйте на здоровье.

После этого случая прошло несколько месяцев. Я был уверен, что Антон Павлович больше не будет задавать мне вопросов относительно охоты. И снова я обманулся: быть чем-нибудь полезным для своих знакомых было его потребностью.

Примерно в марте месяце 1893 г., когда я, как всегда, приехал к нему за книгами, он обратился ко мне с вопросом:

— Скажите, есть у вас подружейная собака?

Упустив из вида случай с ружьем, я ответил:

— Пока не имею. Охочусь с моим ментором по охоте — И. Г. Волковым, прекрасным охотником и метким стрелком. У него имеется хорошая собака. О своей собственной собаке я уже думал и при первой возможности постараюсь приобрести щенка.

— А я уже позаботился о вас, — заметил Антон Павлович, — у меня в Серпухове есть знакомый врач. Этот врач — хороший охотник, у него прекрасная охотничья собака-сука, которая месяца через два должна ощениться. Я просил отобрать для вас лучшего щенка.

Что мне оставалось делать, как не благодарить Антона Павловича!

После разговора о щенке прошло месяца два или немногим более, теперь уже не помню. В один прекрасный весенний день я был дома и что-то читал. Подняв от книги

голову, вижу против окон моей квартиры всадника, который оказался дворником Чехова. Войдя в квартиру и поздоровавшись, он передал мне, что Антон Павлович просит меня пожаловать к нему, если можно, сегодня вечером или завтра утром. Вечером того же дня я был у Чехова. Посредине его кабинета, на ковре деревенской работы, лежал красавец-щенок, с длинными породистыми ушами, прямым хвостом и выразительными глазами. Антон Павлович, здороваясь со мною и указывая на щенка, произнес:

— Вот ваш клиент, берите...

Иногда случалось, что в обширной библиотеке Чехова не оказывалось той или иной книги, которую хотелось бы прочесть. В таких случаях он говорил неизменно одно и то же:

— В ближайшую поездку в Москву добуду просимую вами книгу и привезу.

И никогда, никогда не забывал он данного обещания!

Неволи, деспотизма и рабства, в каких бы формах они не проявлялись, Антон Павлович не выносил и всегда, когда мог, пресекал их в корне.

— Когда я уезжаю в Москву, — говорил он, — хозяином в усадьбе остается брат Иван. В доме сейчас же устанавливается другой режим: демократические свободы заменяются самовластием. Брат, вступив в свои права хозяина, старается нашу прислугу — горничную, кухарку, дворника — за малейшую оплошность подтянуть, нашуметь, накричать, а в результате — одно озлобление и неприязнь к нему. Стоит мне вернуться из Москвы, как самодержавие летит к черту и опять наступает полоса демократических свобод.

В середине апреля 1896 г. Антон Павлович просил меня письмом приехать к нему вечером, чтобы постоять на тяге и устроить шалаши для стрельбы из них тетеревов на току: из Москвы к нему в Мелихово обещались приехать на ток и тягу охотники, его хорошие знакомые, для которых и предназначались эти шалаши.

После тяги я остался у Чехова ночевать. На сон грядущий он дал мне прочесть запрещенное тогда цензурой знаменитое письмо Белинского к Гоголю [3], а утром на другой день, прощаясь со мною, он вручил мне книгу Лескова «Мелочи архиерейской жизни» (тоже в запрещенном издании) [4], предупредив, чтобы эта книга не попалась на глаза местному попу, так как если последний,

увидев ее, донесет кому следует, то типография, напечатавшая книгу, будет закрыта.

Отсталость тогдашней России от западноевропейских государств не давала ему покоя.

Открытие новой школы в тогдашнем Серпуховском уезде, в котором проживал Антон Павлович, являлось для него большим праздником. Нужно было слышать, с каким чувством радости сообщал он о таком факте, и видеть, как это чувство радости преображало его лицо. На открытии школ по соседству с Мелиховым он всегда присутствовал и, между прочим, по некоторым мелочам в квартире учителя выводил правильное заключение о степени его интеллигентности. Только на основании того, как, где и в чем хранились деловые бумаги и книги, как была расставлена мебель, чем были украшены стены, Чехов делал безошибочную характеристику ее обитателя.

Трудно сказать, кто в Чехове был выше: человек или художник. Его светлая личность представляла совершеннейшее гармоническое целое, в котором человека нельзя отделить от художника, а художника — от человека.

Т. Л. ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК

О ЧЕХОВЕ

Это всем известная истина, что в юные годы человек живет обыкновенно только настоящим. Прошлое его не интересует, о будущем он не думает — не представляя себе, что оно может что-либо изменить в его жизни; призрак потери, разлуки, смерти не смущает его, и он, не считая, расточает то богатство, о котором после пожалеет. В такой легкодумной юности я познакомилась с А. П. Чеховым. Источники этого знакомства легко проследить. Моя тетка, артистка Малого театра А. П. Щепкина, была дружна с художницей С. П. Кувшинниковой — известной как близкий человек И. И. Левитана. В числе ее знакомых была Лидия Стахиевна Мизинова («Лика» из писем Чехова). Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая «Царевна-Лебедь» из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под «соболиными» бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре. Лика была очень дружна с сестрой А. П. Марией Павловной и познакомила нас. М. П. занималась живописью и преподавала в гимназии Ржевской. Она была серьезна и сдержанна на вид, и я, привыкшая к экспансивности театрального мира, сперва несколько дичилась ее, но скоро поняла всю ее душевную прелесть, чеховский юмор, тихую веселость и очень полюбила ее. Мы подружились с легкостью молодости, и через нее я познакомилась и с ее братом. Познакомилась как с «братом Маши» и «другом Лики» — и подошла к нему просто и с доверием. Мы часто встреча-

лись в Москве, а вскоре М. П. зазвала меня к ним в Мелихово, и я стала ездить туда. И как ни интересно мне жилось в то время в Москве — эти поездки были для меня всегда праздником. А. П. — вероятно, зная, что я в сущности приезжаю не к нему, а к Маше — не тяготился моими приездами и всегда был мне рад.

В Москве мы с Чеховым встречались в редакциях тех журналов и газет, где писал он и где сотрудничала и я: «Русская мысль», «Артист», «Русские ведомости». Жаль, что я не вела дневников того периода: помимо того, что это были годы моей юности, это было еще интересное для Москвы время. Тогда жизнь литературы и искусства шла очень интенсивно. В театре, под иносказанием поэмы, на холсте картины подготовлялись и вызывались к жизни заглушенные силы протеста и борьбы. В Москве зарождался и расцвел Художественный театр, у Мамонтова пел вышедший из народа молодой Шаляпин, на выставках чаровал еврей Левитан: поклонение этим двум уже было своего рода протестом и лозунгом. Рефераты и лекции, разрешенные и запрещенные, сменялись концертами, выставками, бенефисами любимых артистов: все вертелось около искусства. Среди этого иногда собирались и веселились как дети — вдруг увлекаясь игрой в фанты, причем получалось, что почтенный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой, а толстый, как воздушный шар, писатель Михеев танцевал балетное па. В нашу компанию попадал и Чехов. Когда он наезжал в Москву, он останавливался всегда в «Большой Московской» гостинице, напротив Иверской, где у него был свой излюбленный номер. С быстротой беспроволочного телеграфа по Москве распространялась весть: «А. П. приехал!», и дорогого гостя начинали чествовать. Чествовали его так усиленно, что он сам себя прозвал «Авеланом», — это был морской министр, которого ввиду франко-русских симпатий беспрерывно чествовали то в России, то во Франции. И вот, когда приезжал «Авелан», начинались так называемые «общие плавания», как он прозвал наши встречи: он вообще был неистощим на шутливые прозвища и названия. Передо мной — голубая записочка, написанная его тонким, насмешливым почерком:

«...Наконец волны выбросили безумца на берег»... (несколько строк многоточия) «...И простирал руки к двум белым чайкам...» [1]

Это не отрывок из таинственного романа: это — просто записка, означавшая, что приехал А. П. и хочет видеть

нас — мою приятельницу молодую артистку Л. Б. Яворскую и меня. Следовали завтраки в редакции «Артиста» у Куманина, чаи в редакции «Русских ведомостей» у общего друга «дедушки-Саблина», съемки у Трунова... К этому периоду относится фотография, на которой мы сняты втроем: Яворская, Чехов и я. К Трунову повез нас Куманин, снимавший нас для «Артиста» [2]. Снимались мы все вместе и порознь, наконец решено было на память сняться втроем. Мы долго усаживались, хохотали, и когда фотограф сказал «смотрите в аппарат», — А. П. отвернулся и сделал каменное лицо, а мы все не могли успокоиться, смеясь, приставали к нему с чем-то — и в результате получилась такая карточка, что Чехов ее окрестил «Искушение св. Антония».

Его затаскивали по обедам, театрам, собраниям литераторов и пр. Как он писал об этом времени — он жил «в беспрерывном чаду» и в конце концов не без облегчения уезжал в свое Мелихово.

В Москве он разделял наши развлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы, просиживал ночи, слушая музыку, но я не могла отделаться от того впечатления, что «он не с нами» — что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший — хотя многие члены нашей компании, как тот же Саблин, проф. Гольцев, старик Тихомиров — редактор «Детского чтения» и др., были много старше его. И все же: он — старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно — а ему... не интересно. И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками — чувствовались грусть и отчужденность. Была ли тому причиной болезнь, которая уже давала ему себя знать и была ясна, как врачу, — неудовлетворенность ли в личной жизни, но радости у А. П. не было, и всегда на все «издали» смотрели его прекрасные умные глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил, с надписью: «Одинокому весь мир — пустыня» [3]. Но Мелихово явилось для него оазисом в этой пустыне, и там он был совершенно другим, чем в Москве.

Мелихово и для меня было такого рода оазисом.

Я была настоящее дитя города, притом без семьи, жившая в вечном калейдоскопе новых лиц и впечатлений, работы, дела, волнений, развлечений. И эта перегрузка иногда становилась невыносимой — тогда поездка в Мелихово была для меня своего рода успокоительной и очисти-

тельной. Уже одно ощущение, когда после душной Москвы, грохота ломовиков, теснящейся толпы выйдешь, бывало, из душного вагона на маленькой станции Лопасня, и вдруг глотнешь чистого воздуха, особенно чистого, ароматного, с запахом поля, травы, сосны — ароматного даже зимой, словно под снегом таится что-то душистое, потом сядешь в тарантас или в сани и едешь полями, полями, вдыхая ту благословенную тишину, тот простор, грустный, задумчивый и благостный, какой бывает только в русской природе, — уже одно это ощущение было радостно и успокоительно для утомленных московской суетой нервов. Словно вдруг приостановился во время быстрого бега — и делаешь передышку. И от серенького неба, от белых берез, краснеющей рябины веяло по дороге покоем и отрадой. (Чехов побранил бы эту фразу, как «рутинную», — но она вполне выражает охватывавшее тогда настроение.) И это ощущение продолжалось и усиливалось, когда я подъезжала к низенькому дому, когда попадала в уютные комнаты Мелихова, в атмосферу чеховской семьи.

В первый раз я попала в Мелихово приблизительно через год после того, как эта маленькая, заброшенная усадебка была куплена[4]. Чехов купил ее за глаза, даже не осматривая. В то время она состояла из запущенного сада, земли с множеством пустырей и неуютного дома. Через год после покупки усадьбы нельзя было узнать. Вся семья взялась дружно за работу: кто занялся садом, кто огородом, кто посевами, при помощи двух работников не покладая рук чистили, сажали, сеяли... У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы — «хоть палку воткни, вырастет», — говорил А. П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», — заниматься садом. Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня. Мелихово стало настоящей «чеховской усадьбой»: не романтический тургеневский уголок с беседкой «Миловидой» и «Эоловой арфой», не щедринская деревня с страшными воспоминаниями — но и не «дача», хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была А. П. под кабинет. Большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины заносило снегом. Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике,

что это они любуются на нее. А весной — в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам А. П. Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации — может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.

В доме было комнат девять-десять, и когда А. П. в первый раз показывал мне е г о , — то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, «проходная», то «пушкинская» — по большому портрету Пушкина, висевшему в н е й , — то «для гостей», или «угловая» — она же «диванная», она же — «кабинет». А. П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает «толпы» или «воинов», одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами... чтобы создать впечатление многочисленности. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в «Юлии Цезаре», и я вспомнила шутку Чехова.

Когда я попала туда, несмотря на то, что имение было в руках Чеховых только год, впечатление было такое, будто Чеховы там живут спокон веку, и что Павел Егорович, отец Чехова, так и состарился в своей «келейке», а дети родились в этом ставшем таким уютным доме. Обстановка была более чем скромная — без всякой мишуры: главное украшение была безукоризненная чистота, много воздуха и цветов. Комнаты как-то походили на своих владельцев: келейка Павла Егоровича, с киотами, лампадкой, запахом лекарственных трав и огромными книгами, в которых он записывал все события дня в одной строке [5], вроде:

— 14. Девчонки принесли ландышей из лесу.
— 15. Превосходно удались Марьюшке налистники.
— 16. Пастуха молнией убило.
— 17. Миша женился.
— 18. Приехали гости, не хватило тюфяков.
Антон сердит.
Пиона расцвелась.

и т. д.

Эпически спокойно — радости, горести, новости — все в одной строке. Из этой записи можно было понять, откуда У А. П. уменье так кратко и сжато дать в одной фразе всю картину — в одном «горлышке бутылки, блестящем на плотине» — всю картину лунной ночи... [6]

Комната Евгении Яковлевны, кротчайшей и добрейшей матери А. П., — с ослепительной чистоты занавесками, швейной машинкой, огромным шкафом и сундуком, где хранилось все, что только могло понадобиться в доме, и с удобным креслом, в котором, впрочем, она редко сидела — неутомимая хлопотунья.

Белая девическая комната Марии Павловны, с цветами и узкой белой кроватью, с огромным портретом брата, занимавшим самое главное место как в комнате, так и в ее сердце. Гостиная с пианино и террасой в сад...

Наконец — кабинет А. П. — с этими светлыми, как его взгляд на мир, окнами, с книгами, письменным столом, на котором, кроме исписанных его причудливым, но разборчивым почерком страниц последнего рассказа, лежали планы, чертежи и сметы больниц, школ, построек серпуховского земства, — с этюдами Левитана и покойного Н. П. Чехова — талантливого художника — на стенах.

У Чеховых поражало меня всегда: откуда у этой семьи, начавшей жизнь в провинции, в мещанской обстановке, в бедности, явился такой огромный вкус и такое благородство и изящество? Ни одной вещи не было, которая резала бы глаз, ничего показного: какое-то внутреннее достоинство чувствовалось в доме и обстановке Чеховых — как и в них самих. Я видела много «литераторских» квартир в Москве и в Петербурге. Обычно они были двух типов: или с поползновением на роскошь, с картинами, обитой шелком мебелью и купленными в антикварных магазинах «старинными» вещами — или же скудно убранные, с остатками селедки на столе и клеенчатой мебелью, из которой вылезала мочалка... Тут — везде чистота, порядок и ничего лишнего.

Я говорю о мелиховском доме — потому что его уже никто не увидит таким, каким он был. Дом в Ялте — чудом уцелевший — сохранился, и его можно видеть, но мелиховского дома уже нет, и нет уже почти никого из тех, кто бывал в нем [7].

Сам Чехов очень полюбил Мелихово. В мелиховской обстановке он совсем преображался, и там я никогда не видела у него того рассеянного, отсутствующего взгляда, как в Москве. И в Мелихове — он уже был не зрителем, а активно действующим лицом. Пожалуй, самые светлые его годы связаны с Мелиховым. После тяжелого детства, лишений и скудости, беготни за трехрублевыми гонорарами, скитаний по дешевым квартиренкам — он вдруг ощу-

тил, что у него есть свой дом, которого не надо менять, из которого не надо торопиться... Он писал о Мелихове:

«Тут все в миниатюре: маленькая липовая аллея, пруд величиной с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья — но пройдешь раз-другой, вглядишься и впечатление маленького исчезает: очень просторно...» [8]

Мне невольно приходит в голову аналогия с его маленькими рассказами: страница-две, а прочтешь раз-другой, вдумаешься — и впечатление маленького исчезает, и какой простор мыслям, настроению, какая широкая картина русской жизни!

Я попадала в Мелихово обычно тогда, когда «гостей» не было. Летом я почти всегда скиталась по Европе. А как раз летом к Чеховым наезжало столько гостей, и званых и незваных, что иногда укладывать было негде, мать Чехова и Марья Павловна с ног сбивались, а А. П. сбегал в свой крохотный флигелек, чтобы работать без помехи. В этом флигельке, где в одной комнате еле-еле помещался письменный стол, а в спаленке, которую А. П. называл своей «духовой печкой», — кровать, — он написал «Чайку».

Я не боялась распутицы и приезжала обыкновенно, когда в доме была только семья. Помню раз, когда я собралась туда в ноябре, Чехов предостерегал меня письмом:

«Я буду в восторге, если вы приедете к нам — но боюсь, как бы не вывихнулись Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце, и я теперь уже не способен любить» [9].

Но когда я не убоялась и приехала — он был очень рад, так как чувствовал, что я любила и его, и его семью, и весь их уклад.

Другой раз как-то мы ехали с Иваном Павловичем ранней весной на станцию из Мелихова десять верст около пяти часов. То сани провалятся и примерзнут, их надо вырубать, то лошади провалятся и примерзнут, их надо вытаскивать.

Мою «неустрашимость» ценили и принимали меня радостно и радушно. Когда в мои приезды А. П. не было дома, он писал сестре: «Таня обязана остаться и ждать меня. Иначе ей будет плохо» [10]. Обычно перед моими приездами он посылал мне реестры, чего надо привезти, вроде:

«Милая Таня, привезите две бутылки красного вина, Удельного, 1 ф. швейцарского сыру, одну вареную колбасу

и одну копченую, и 1 ф. прованского масла. Обязательно привезите, а то Вам же самим нечего будет трескать. Любящий Вас иеромонах Антоний. — Если довезете, то привезите 2 ф. сыру» [11].

Или:

«Дорогая кума, возьмите у Келера на Никольской и привезите 2 ф. крахмалу самого лучшего, для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам. Там же взять полфунта прованского масла, подешевле — для гостей. А также побывайте на Арбате у портного Собакина и спросите у него, хорошо ли он шьет. Остаюсь любящий Вас Кум-мирошник, или Сатана в бочке» [12].

Безвыездно жили в доме старики, большей частью Мария Павловна и постоянно наезжали братья А. П. — Иван П. и Мих. П.

Старики были чудесные. Отец, Павел Егорович, высокий, крупный, благообразный старик, в свое время был крутенек и воспитывал детей по старинке, почти по Домострою — строго и взыскательно. Но ведь в его время широко было распространено понятие «любя наказуй», и строг он был с сыновьями не из-за жестокости характера, а, как он глубоко верил, ради их же пользы. Но в дни, когда я узнала его, он вполне признал главенство А. П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что, вот, он вел свои дела неудачно, не сумел обеспечить благосостояние своей семьи, а «Антоша» взял все в свои руки, и вот теперь, на старости лет, поддерживает их и угол им доставил — и оба они, и старик и старушка, считали главой дома «Антошу». Павел Егорович всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, несмотря на трогательно почтительную и шутливую нежность, с которой молодые Чеховы с ним обращались: но в этой самой шутливости, конечно, уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, бывшей когда-то довольно суровой. Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось.

Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, днем много работал в саду, а потом читал свои любимые «божественные книги» — огромные фолианты жития святых, «Правила веры» и пр. Он был очень богомолен: любил ездить в церковь, курил в доме под праздник ладаном, соблюдал все обряды, а у себя в келье отправлял один вечерню и всенощную, вполголоса читая и напевая псалмы. Помню, часто — когда я проходила зимним вечером мимо его комнаты в отведенную мне, я слышала тихое пение

церковных напевов из-за дверей, и какой-то особенный покой это придавало наступлению ночи...

Ко мне он благоволил. Я всегда любила стариков и старушек, часто, в годы юности, именно их делала героями своих рассказов, чувствуя всю невысказанную патетику старости и близкого ухода... И мне никогда не было скучно слушать стариковские рассказы и поучения, поэтому П. Е. охотно принимал меня у себя в келейке, давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был — прямо ангельский... а вот теперь — отстал, не поет — что бы съездить в церковь да попеть?

Милый Павел Егорович! Когда он заболел и скончался [13] — в отсутствие сына, — я никогда не забуду, как убивалась и плакала кроткая Евг. Як. и все повторяла беспомощно, с характерным южным придыханием на букву г:

— Голубчик мой, а сливы-то я намариновала — так он их любил, и не попробует голубчик мой!

И было в этой бесхитростной «чеховской» фразе столько любви и жалости, и заботы прожитой вместе жизни, сколько не уместилось бы в длинной, пышной речи.

Я никогда не видела, чтобы Е. Я. сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла... Она была великая мастерица на всякие соленья и варенья, и угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как бы вознаграждала себя за скудость былой жизни; и прежде, когда у самих не было почти ничего — если случалось наварить довольно картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить. А теперь — когда появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска — она попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая старосветская помещица, с той разницей, что все делала своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше всех.

Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием:

— А вдруг детка проголодается?..

И у нее в ее комнатке я любила сидеть и слушать ее воспоминания. Большей частью они сводились к «Антоше».

С умилением она рассказывала мне о той, для нее незабвенной минуте, когда Антоша — тогда еще совсем молоденький студентик — пришел и сказал ей:

— Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу!

(До этого за нее платили какие-то благожелатели.)

— С этого времени у нас все и пошло... — говорила старушка. — А он — первым делом, — чтобы все самому платить и добывать на всех... А у самого глаза так и блестят — «сам, говорит, мамаша, буду платить».

И когда она рассказывала мне это — у нее самой блестели глаза, и от улыбки в уголках собирались лучи-морщинки, делавшие чеховскую улыбку такой обаятельной. Она передала эту улыбку и А. П. и М. П.

М. П. занималась всем по имению и особенно огородом. Хрупкая, нежная девушка с утра надевала толстые мужские сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо сияли ее лучистые глаза, и целые дни пропадала то в поле, то на гумне, стараясь, где возможно, уберечь Антошу от лишней работы.

Такой дружбы между братом и сестрой, как между А. П. и М. П., или Ма-Па, как он звал ее, мне видеть не приходилось. Маша не вышла замуж [14] и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушать течения жизни А. П. Она имела все права на личное счастье, но отказывала всем, уверенная, что А. П. никогда не женится. Он действительно не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится, и женился поздно — когда уже трудно было предположить, что он на это пойдет по состоянию его здоровья. М. П. так и осталась в девушках и всю жизнь свою посвятила после его смерти хранению музея его памяти в Ялте, устроенного в их бывшем доме.

Из братьев старший, Иван Павлович, был тихий, серьезный человек с головой Христа. Нас с ним связывали хорошие личные отношения, я у него работала в народной читальне в Москве, урывая для этого дни от московской перегрузки. А младший, Михаил, был веселый, остроумный человек, обладавший всевозможными дарованиями — мастер на все руки. Он и писал — рассказы, пьески, — но ни одной минуты не завидовал славе брата и спокойно нес свою литературную «неизвестность». С ним мы в Москве веселились, справляли «Татьяну» и т. п. Впоследствии он издавал журнал «Золотое детство», который целиком писал сам, причем дети его выдумывали ребусы и шарады, жена делала «приложения» в виде выкроек для кукол и т. п. Дружба наша не прекращалась до конца его жизни.

Жизнь в Мелихове шла мирно и тихо. Все свободное от работы и занятий время А. П. проводил в саду. Он сам

сажал, высеивал, обмазывал яблони чем-то белым, подрезал розы и гордился своим садом. Писал: «...Да, в деревне теперь хорошо. Не только хорошо, но даже изумительно. Весна настоящая, деревья распускаются, жарко. Поют соловьи, и кричат на разные голоса лягушки. У меня ни гроша, но я рассуждаю так: богат не тот, у кого много денег, а тот, кто имеет средства жить теперь в роскошной обстановке, которую дает ранняя весна» [15]. И каждый розовый куст, каждый цветок, который он сам сажал, — пробуждал в нем действенность, отмечался им и казался ему богатством. Каждую аллею, каждое дерево показывал он в особом освещении:

«Вот эти сосны особенно хороши на закате, когда стволы совсем красные... А Мамврийский дуб (так он прозвал дуб, старый и ветвистый, оставшийся от старого сада) надо смотреть в сумерки — он таинственный тогда такой...» С какой гордостью он показывал мне, бывало, каждый новый розовый куст, каждый тюльпан, расцветающий весной, и говорил, что для него нет больше удовольствия, чем следить, «как он лезет из земли, как старается» — и потом пышно расцветает. Я редко встречала мужчин, — кроме разве садоводов, которые так любили бы и знали цветы, как А. П. Ему даже не странно было дарить цветы, хотя это было не принято по отношению к мужчинам. Но я помню, как, когда он уезжал за границу, как-то мне захотелось ему привезти цветов на дорогу, и я подарила ему букет бледно-лиловых гиацинтов и лимонно-желтых тюльпанов, сочетание которых ему очень понравилось. На одной из книг, — томик пьес, который он подарил мне, — стоит шутливая надпись: «Тюльпану души моей и гиацинту моего сердца, милой Т. Л.» — и наверно, когда он делал эту надпись, перед его глазами встала Москва, первая капель, мартовский ветер, обещающий весну... и наша веселая компания, приехавшая на Курский вокзал проводить его и чокнуться стаканами вина, пожелав счастливого пути... Когда Чехов писал о цветах — он находил свои слова. Фраза, которую он вкладывает в уста Сарры в «Иванове», просится в стих:

Цветы повторяются каждую весну —
А радости — нет...

А слова Нины в «Чайке» — о «чувствах, похожих на нежные изящные цветы...».

Когда он уезжал от своих цветов — он заботился о них, как об оставленных детях. Он писал сестре уже в марте:

«Около лилий и тюльпанов поставь палочки, а то их растопчут. У нас две лилии: одна — против твоих окон, другая — около белой розы, по дороге к нарциссам» [16]. Какой очаровательный адрес! Или: «До моего приезда не обрезайте розы. Срежьте лишь те стебли, которые замерзли зимой или очень больны — но осторожно: имей в виду, что больные иногда выздоравливают» [17]. Такими и подобными указаниями и поручениями полны его письма.

В общем, близость природы была ему всего нужней. В природе он становился самим собой. Не могу сказать, чтобы места около Мелихова были особенно красивы: но большая, чисто русская прелесть была в просторе полей, в темно-синей полосе леса на горизонте, в алых закатах, ложившихся на полосы сжатого хлеба. И когда мы сидели на его любимой завалинке перед воротами, смотревшей прямо в поле, глаза А. П. утрачивали свойственную ему грусть и были ясны и спокойны.

«Глушь, тишина, лоси...» [18] — писал он об этих местах и ценил их. Соседство деревни не мешало ему. С крестьянами отношения сразу установились самые хорошие.

Чехов никогда не говорил громких фраз о «служении народу», о «любви к меньшому брату», на что так щедры были либеральные кружки того времени, толковавшие об этих вопросах за стаканом красного вина или за бокалом шампанского. Но — выражаясь тем высоким слогом, которого он не любил и от которого всегда п р е д о с т е р е г а л, — вся жизнь его была именно этим служением народу.

Безо всяких высоких слов Чехов так писал о патриотизме:

«Хорош белый свет — одно только не хорошо: *мы.* Как мало в нас справедливости! Как плохо мы понимаем патриотизм! Пьяный, истасканный, забулдыга-муж любит свою жену и детей — но что толку в этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу родину — но в чем выражается эта любовь! Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет...

...Работать надо — а все остальное к черту! Главное — быть справедливым, а все остальное приложится» [19].

И он работал — и был справедлив. Справедливость его не щадила и личных отношений. Он не разглагольствовал о своих политических убеждениях, но когда, например, всколыхнуло всю Европу дело Дрейфуса — он, стоявший, понятно, на его с т о р о н е, — порвал многолетние отношения

с стариком Сувориным, которому его и его газеты позиции в этом деле простить не мог [20].

А как он работал — об этом надо сказать отдельно.

Начать с медицины, о которой он шутя говорил, что это «его законная жена, тогда как литература — любовница».

Еще студентом-медиком он уже лечил и практиковал. Покойный В. Я. Зеленин, зять артистки Ермоловой — впоследствии сам видный доктор, — рассказывал мне, как его, тогда еще гимназиста последних классов, жившего с Чеховым в одних и тех же меблированных комнатах [21], А. П. лечил и вылечил от тяжелого тифа. Каждое лето, куда он ни попадал, он или лечил крестьян, или работал в местных больницах, безвозмездно, не упуская случая пополнить свое медицинское образование. Когда он попал в Мелихово, слава его, как врача, разнеслась на всю округу. Он никому не отказывал в совете. Любопытное совпадение: когда после окончания гимназии в Киеве я вернулась в родную Москву, приблизительно за год до того, как я познакомилась с семьей Чеховых, я отправилась навестить мою бывшую кормилицу, жившую в деревне близ станции Лопасня. Она оказалась больна, как тогда говорили, чахоткою. Я очень встревожилась и стала допрашивать, есть ли там доктор, есть ли у него лекарства, и она ответила мне:

— Не бойся, родимая, дохтур у нас тут такой, что и в Москве не сыщешь лучше. Верст за шесть живет. Антон Павлович. Уж такой желанный, такой желанный — он и лекарства мне все сам дает.

Только позже, познакомившись с Чеховыми и попав в Мелихово, я поняла, кто был этот «желанный» Антон Павлович... В Мелихове он отдавал очень много времени своим даровым пациентам. Нам казалось совершенно естественным, что иной раз, когда мы только что собирались в столовую к чаю, А. П. уже возвращался откуда-нибудь — иной раз от больного, к которому вызывали ночью, и, торопливо выпив чаю, уходил работать. Или в ужасную погоду одевался и уходил, несмотря на тревожные восклицания Евг. Як.: — Антоша, куда ты — подожди, пока утихнет! — и отвечал ей на ходу:

— Дизентерия не будет ждать, мамаша!

Он не только лечил, но и снабжал своих пациентов лекарствами, тратя на это значительные для него по тому времени деньги.

Известность его как врача быстро росла, скоро его выбрали в члены серпуховского санитарного совета. Тем временем на Россию надвинулась холера. Ему, как врачу

и члену совета, предложили взять на себя заведывание санитарным участком. Он тотчас же согласился и, конечно, безвозмездно. У земства было мало средств, и А. П. взялся собирать их. Он стал объезжать соседних фабрикантов и помещиков и убеждать их давать средства на борьбу с холерой. Не мало типов он перевидал тогда — от местных толстосумов до изящнейшей помещицы-графини, с тысячными бриллиантами в ушах, один вид которых в нем возбуждал желание «нагрубить ей по-семинарски», как он признавался. Многое отразилось потом в его рассказах. И добился он многого: на фабриках строили бараки, везде заготовляли инвентарь...

— Я, верно, был бы очень хорошим нищим, — говаривал он, — столько удалось выпросить!

Он гордился тем, что земству все приготовления не обошлись ни копейки — все было «выпрошено у обывателя».

В результате в его ведении был участок в двадцать пять деревень, четыре фабрики и один монастырь — и со всем этим он управлялся один, с помощью фельдшера, который, как он жаловался, без него не мог сделать ни шагу и «считал его начальством».

Он разъезжал по деревням, принимал больных, читал лекции, как бороться с холерой, сердился, убеждал, горел этим — и писал друзьям: «Пока я служу в земстве — не считайте меня литератором» [22]. Но, конечно, не писать он не мог. Он возвращался домой измученный, с головной болью, но держал себя так, будто делал пустяки, дома всех смешил — и ночью не мог спать или просыпался от кошмаров.

Когда приходилось — он и меня лечил. У меня хранится рецепт его... Все его врачебные советы были необычайно просты и разумны. Он следил за всеми новыми достижениями медицины, они увлекали его. Высоко ставил доктора Хавкина, боровшегося с чумой, возмущаясь тем, что у нас его никто не знает, тогда как вся Европа оценила его [23].

Не раз он говорил мне: «Изучайте медицину, дружок, — если хотите быть настоящей писательницей. Особенно психиатрию. Мне это много помогло и предохранило от ошибок».

Часто в Москве в то время мне приходилось слышать: «Чехов не общественный деятель». Но это было более чем близоруко. Его все возрастающая литературная слава както заслоняла от публики его общественную деятельность,

а кроме того, он сам никогда не распространялся о ней. Но это было глубоко неверно.

Я не могу в беглом очерке подробно останавливаться на всем, что делал А. П., но хочу все же вспомнить некоторые полосы его жизни.

В 1890-м году он по доброй воле и на свои более чем скромные средства отправился на Сахалин. Вопрос каторги мучил его. «Ее надо видеть, непременно видеть, изучать самому, — говорил он. — Сахалин не может быть не нужен для того общества, которое ссылает туда тысячи людей и тратит на него миллионы» [24].

Он пробыл на Сахалине два месяца и имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения — сам, единолично. Объездил все поселения, заходил во все избы, говорил с каждым. Употребляя карточную систему, записал больше десяти тысяч поселенцев. Мой почтенный друг А. Ф. Кони говорил мне, что книга эта произвела на него потрясающее впечатление как своим фактическим материалом, так и тем страстным, негодующим отношением к ужасам Сахалина, которое чувствуется в этой книге [25]. В результате на Сахалин было обращено внимание: там начали строить приюты, ясли, школы и т. д., а главное — была отменена система наказания плетьми, потрясшая Чехова до того, что он и после часто видел во сне эти ужасные сцены и просыпался в холодном поту.

Дальше: в 1892 году в России был голод. Многие губернии были объявлены «пострадавшими от неурожая» — официальное название голода. Особенно пострадали губернии Нижегородская и Воронежская. У Чехова был приятель в нижегородском земстве. А. П. организовал широкую подписку и в суровую зиму отправился туда [26]. Там он устраивал столовые, кормил крестьян, делал что только мог. Между прочим: голодавшее население или продавало за бесценок скот, который нечем было кормить, или убивало его, тем самым обрекая себя еще на голодный год. Чехов организовал скупку лошадей на местах и прокорм их на общественный счет с тем, чтобы весной раздать безлошадным крестьянам.

Живя в Мелихове, он все время выискивал, что бы сделать для крестьян. Его выбрали в земские гласные серпуховского земства, и он очень серьезно относился к своим обязанностям. Ушел с головой в вопросы народного образования и здравоохранения. Ему обязаны школами Талеж, Новоселки и Мелихово. Он сам наблюдал за стройкой, закупал материалы, делал сметы и чертежи. Принимал

деятельное участие в постройке земской больницы, добился проведения шоссе от Лопасни до Мелихова, строил в деревнях пожарные сараи и пр.

Но своим уездом он своей деятельности не ограничивал. Он, можно сказать, явился основоположником библиотеки в своем родном городе Таганроге. Начал с того, что всю свою большую прекрасную библиотеку, собранную за многие годы, пожертвовал городу, оставив себе только книги для личного пользования. Не удовольствовавшись этим, вошел в контакт с таганрогским городским головою Иордановым и взял на себя постоянное пополнение библиотеки. Скоро она стала одной из лучших в провинции; он отправлял туда целые транспорты книг, как купленных им на свои средства, так и «выпрошенных» у знакомых авторов, издателей и редакторов. По его мысли, стало формироваться при библиотеке нечто вроде справочного бюро, где каждый мог бы найти ответ на все вопросы — начиная от распоряжений правительства и кончая новостями искусства, — широко помогая читателю в любых отраслях знания, истории, медицины и пр. Но тут же он писал Иорданову: «Только никому не говорите о моем участии в делах библиотеки: не люблю, когда треплют мое имя» [27].

Интересовался он и таганрогским музеем, подавал советы относительно «его устройства и пополнения», а будучи в Париже, специально познакомился с знаменитым скульптором Антокольским, чтобы заказать ему статую Петра I для постановки памятника в Таганроге, и сам выбирал место для этого памятника.

Несмотря на эту кипучую деятельность, он в Мелихове написал многие из самых значительных своих произведений. Тут, например, он написал: «Соседи», «Палата № 6», «Мужики», «Рассказ неизвестного человека», «Бабье царство», «Черный монах», «Володя большой и Володя маленький», «Три года», «Ариадна», «Дом с мезонином», наконец, «Чайка» и пр. и пр.

Писал он, запершись у себя, а наработавшись, выходил в хорошем расположении духа, с обычной шуткой для каждого. О том, что пишет, говорил мало. Так разве скупо поделится названием того рассказа, который пишет в это время, и содержанием в двух словах: «Пишу о докторе, который галлюцинирует...» Или вынет свою записную книжку и прочтет какое-нибудь поразившее его название станции или имя вроде «Розалия Аромат». Какую-нибудь черточку (как у Тригорина: «Гелиотроп, приторный запах, вдовий цвет — упомянуть при описании летнего вечера»)

или услышанную на пароходе фразу (позже попавшую в «Ариадну»): «Жан, твою птичку укачало...» и прибавит серьезно:

— Вот, кума, когда я выдам вас замуж за Е[жо]ва, вам так надо будет с мужем разговаривать...

Кумой А. П. стал звать меня после того, как мы с ним крестили дочку у его соседа Шаховского. Он при этом уверял меня, что нарочно со мной крестил, а то я непременно заставила бы его жениться на мне. (В то время браки между кумовьями были запрещены.) И объяснял, что нам никак нельзя жениться — потому что он писатель, а я писательница, и мы «непременно стали бы грызться».

Он вообще очень дразнил меня, но поддразнивание его было так добродушно, что обижаться на него нельзя было, и я первая от души смеялась, особенно так как знала, что А. П. дразнит только тех, к кому он относится хорошо. Больше меня он дразнил, кажется, только Лику.

Он поставил у себя на камине мой портрет в бальном платье и с веером и на нем написал: «Lisez Schepkin-Coupernic!» («Читайте Щепкину-Куперник!») — в подражание А. И. Урусову, знаменитому адвокату и литературному критику, который так обожал Флобера, что, когда у него попросили для благотворительного сборника автограф — написал по-французски под своим портретом: «Lisez Flaubert!» («Читайте Флобера!»)

Звал меня «великая писательница земли русской», «маститый беллетрист» и т. п. Еще прозвал он меня «Татьяна Е-ва» — по фамилии одного из своих знакомых журналистов, кажется, очень невзрачного на вид (я так никогда его и не видала), и грозил выдать за него замуж.

Один из любимых его рассказов был такой: как он, А. П., будет «директором императорских театров» и будет сидеть, развалясь в креслах «не хуже вашего превосходительства». И вот курьер доложит ему: «Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли! (вот как у нас бабы с грибами к Маше ходят)».

— Ну, пусти! — И вдруг — входите вы, кума. И прямо мне в пояс. — Кто такая? — «Татьяна Е-ва-с!» — А! Татьяна Е-ва! Старая знакомая! Ну так уж и быть: по старому знакомству приму вашу пьесу.

Как-то раз А. П. затеял писать со мной вдвоем одноактную пьесу и написал мне для нее первый длинный монолог. Пьеса должна была называться «День писательницы». Монолог заключал множество шуток в мой огород и начинался так:

— Я — писательница! Не верите? Посмотрите на эти руки: это руки честной труженицы. Вот — даже чернильное пятно! (У меня всегда было чернильное пятно на третьем пальце — пишущей машинкой я еще не пользовалась...)

Почему-то я запомнила это начало, запомнила, как писательница, изнемогающая от суеты, поклонников и работы, мечтает уехать в деревню: «Чтобы был снег... тишина... вдали собаки лают — и кто-то на гармошке играет — а-ля какой-нибудь Чехов...»

Я не успела дописать свою часть, как эта тетрадка у меня куда-то пропала, а с ней и писанный чеховской рукой монолог. Тогда я даже не пожалела об этом — как-то не думалось, что придет время, когда каждую написанную им строку будут собирать и прятать бережно: а был он просто милый А. П., шутивший со мной так весело...

Помню — раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:

— Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва сердца!

— Бог с вами! — изумилась я. — Какой же это будет водевиль?

— А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся — и вдруг — хлоп! Конец!

Конечно, он этого «водевиля» не написал.

Самая его жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили «по наивному», как его называл Чехов, двору — голуби кофейного цвета с белым, так называемые египетские, и совершенно такой же расцветки кошка. А. П. уверил меня, что эти голуби произошли от скрещения этой кошки с обыкновенным серым голубем.

В то время в гимназии естественной истории не преподавали, и я в ней была совершенный профан. Хотя это и показалось мне странным, но не поверить такому авторитету, как А. П., я не решилась, и, возвратясь в Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских голубях. Легко себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах и как долго я стыдилась своего невежества.

Самыми веселыми часами в Мелихове были трапезы, к которым А. П. выходил всегда в хорошем расположении духа, приветливый и ласковый. Он не выносил на люди ни своих бессонных ночей, ни сосредоточенности творческих

часов. Шутил, смеялся и был радушным хозяином. Звал обедающих «к мутному источнику» — это выражение вошло в обиход и имеет свою историю. Как-то Павел Ег. ездил со мной в воскресенье в церковь; деревенский батюшка говорил крестьянам проповедь, которая очень понравилась ему; вернувшись, он сказал:

— Вот, Антон, ты никогда в церковь не ходишь, а какую батюшка хорошую проповедь сказал — приятно было слушать!

А. П. серьезно, но со смеющимися глазами попросил меня рассказать ему содержание проповеди — «что в ней так понравилось папаше?».

Проповедь гласила приблизительно следующее: «Что бы вы сказали, — обращался батюшка к прихожанам, — если бы вы увидели путника, томимого жаждой, и рядом с ним два источника — один прозрачно чистый, другой же мутный и загрязненный, и вдруг путник для утоления жажды пренебрегает чистым источником и утоляет свою жажду из мутного? Вы бы назвали его неразумным! Но не то же ли самое делаете и вы, когда в праздничный отдых свой, вместо того чтобы идти к чистому источнику церковной службы, душеспасительного чтения — отправляетесь в кабак и там напиваетесь?..» и т. д. (Это было еще до введения государственной монополии на водку — и такие проповеди поощрялись, тогда как впоследствии они были запрещены...)

А. П. выслушал и, почтительно похвалив проповедь, сказал:

— Ну, а теперь пойдемте к мутному источнику, ибо по берегам его растут великолепные соленые грузди!

С тех пор выражение это и получило право гражданства.

После обеда обыкновенно начиналась игра с собаками. В доме жили две таксы, любимицы А. П.: коричневая Хина Марковна, которую он звал страдалицей (так она разжирела) и уговаривал «лечь в больницу»: «Там-ба-б вам-ба-б полегчало-ба-б!» — и Бром Исаич, о котором А. П. говорил, что у него глаза Левитана: и действительно, у него были скорбные, темные-темные глаза.

Любимая игра была дразнить собак моим собольком, которого я носила на шее. Собаки сходили с ума и лаяли, прыгая кругом него. Мне надоел шум, да я и боялась за судьбу моего соболька, и я спрятала его. После этого стало меня удивлять, что собаки так же яростно лаяли, как только А. П. укажет им на сигарную коробку, стоявшую на камине. Так и заливаются, так и рвутся к коробке! Оказа-

лось, что А. П. потихоньку стащил моего соболька из комода и спрятал его в эту коробку.

Шутки иногда сменялись и серьезными разговорами. А. П. делал мне кое-какие указания — так деликатно; он умел к чужому, даже самому скромному творчеству подходить с интересом и глубоким внутренним сочувствием. Как-то, помню, по поводу одной моей повести он сказал мне:

— Все хорошо, художественно. Но вот, например, у вас сказано: «и она готова была благодарить судьбу, бедная девочка, за испытание, посланное ей». А надо, чтобы читатель, прочитав, что она за испытание благодарит судьбу, сам сказал бы: «бедная девочка»... или у вас: «трогательно было видеть эту картину» (как швея ухаживает за больной девушкой). А надо, чтобы читатель сам сказал бы: «какая трогательная картина...» Вообще: любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух!

Особенно советовал мне А. П. отделываться от «готовых слов» и штампов, вроде: «ночь тихо спускалась на землю», «причудливые очертания гор», «ледяные объятия тоски» и пр. И шутливо угрожал мне, что если в моих стихах встретятся «звездочки» или «цветочки», то он выдаст меня замуж за Е-ва.

Даже когда А. П. хвалил меня, то большей частью делал это под соусом шутки. Говорил, например, что какие-то мои стихи так хороши, что я несомненно списала их в старом журнале. Или писал: «Сегодня, в 9 часов утра, сидя в холодной классной комнате на Басманной, я прочел ваше «Одиночество» и простил вам все ваши прегрешения. Рассказ положительно хорош, и нет сомнения, вы умны и бесконечно хитры. Меня всего больше тронула художественность рассказа. Впрочем, вы ничего не понимаете» [28].

Правда, иногда и серьезно писал мне: «Говорят, что ваша повесть будет напечатана в «Неделе» (речь шла о моей повести «Счастье»). Радуюсь за вас и от души поздравляю: «Неделя» — солидный и симпатичный журнал. До свидания, милый дружок» [29].

Я очень ценила его добрые отзывы. Между прочим, мне не приходилось видеть писателя, который бы так тепло и с такой добротой относился к своим молодым собратьям, как Чехов. Он постоянно за кого-то хлопотал по редакциям, чьи-то вещи устраивал и искренно радовался, когда находил что-нибудь казавшееся ему талантливым. Достаточно вспомнить его отношение к молодому Горькому, вспомнить его письма к последнему, чтобы показать, как чуждо

было Чехову какое-либо чувство профессиональной зависти. Устами своего Тригорина («Чайка») он говорит: «К чему толкаться? Всем места хватит!» И он не только не толкался, но всегда с готовностью протягивал руку помощи младшему товарищу. Он где-то сказал: «Человек должен быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически» [30]. Это был его принцип, и ему он следовал неукоснительно, как и вся его семья.

В Мелихове Чехов написал свою «Чайку» и в том же году [31] читал ее у Л. Б. Яворской, в памятной синей гостиной. G Яворской у Чехова были двойственные отношения. Она ему то нравилась, то не нравилась, и безусловно интересовала его как женщина. Он первый ее рекомендовал Суворину, в театр которого она впоследствии перешла от Корша, — смотрел пьесы с ее участием. Той простоты в отношениях, как между нами с ним, — с ней у него не было. Шел в некотором роде флирт. Я помню, как она тогда играла индусскую драму «Васантасена», где героиня с голубыми цветами лотоса за ушами становится на колени перед своим избранником и говорит ему: «Единственный, непостижимый, дивный...» И когда А. П. приезжал и входил в синюю гостиную, Л. Б. принимала позу индусской героини, кидалась на ковре на колени и, протягивая к нему тонкие руки, восклицала: «Единственный, великий, дивный...» и т. п. Отголоски этого я нашла потом в «Чайке», где Аркадина становится на колени перед Тригориным и называет его единственным, великим и т. п. Отразились в «Чайке» и роли ее — «Дама с камелиями», «Чад жизни»... [32] Но дальше поверхностного сходства не пошло.

На чтение собралось много народу, обычная наша профессорско-литературная компания. Был и Корш, считавший Чехова «своим автором», так как у него была поставлена первая пьеса Чехова «Иванов». И он, и Яворская очень ждали новой пьесы Чехова и рассчитывали на «лакомый кусок». Я помню то впечатление, которое пьеса произвела. Его можно сравнить с реакцией Аркадиной на пьесу Треплева: «Декадентство»... «Новые формы?» Пьеса удивила своей новизной и тем, кто, как Корш и Яворская, признавали только эффектные драмы Сарду и Дюма и пр., — понравиться, конечно, не могла, как впоследствии не понравилась и толстосумной публике левкеевского бенефиса [33] в Петербурге... Помню спор, шум, неискреннее восхищение Лидии, удивление Корша: «Голуба, это же не сценично: вы заставляете человека застрелиться за сценой и даже не даете ему поговорить перед смертью!» и т. п. По-

мню я и какое-то не то смущенное, не то суровое лицо Чехова. Эту пьесу, конечно, понял и показал нам по-настоящему только Художественный театр несколько лет спустя [34].

Мое впечатление тоже было смутным. Уже первые фразы монолога Нины, помню, произвели сильное впечатление... «словом, все жизни, все жизни, все жизни — свершив печальный круг — угасли». У меня сжало горло, и мне на минуту показалось, что в синей гостиной повеял откуда-то издали ветер...

Монолог взволновал меня, а многие увидали в нем только «насмешку над новой литературой...». Мне казалось, что пьеса потому нравится мне, что я пристрастна к А. П. Кроме того, я не могла отнестись к этой пьесе объективно. Смущали рассыпанные в ней черточки, взятые им с натуры: фраза Яворской, привычка Маши нюхать табак и «пропускать рюмочку», списанная с нашей общей знакомой, молодой девушки, у которой была эта привычка [35]. А главное, мне все время казалось, что судьба Нины совпадает с судьбой одной близкой мне девушки, близкой и А. П., которая в то время переживала тяжелый и печальный роман с одним писателем, и меня больше всего смущала мысль: неужели судьба ее сложится так же печально, как у бедной Чайки?

К слову сказать: часто замечала я, что писатели — в том числе и Чехов — иногда, заинтересовавшись каким-нибудь «типажем», дают его портрет, но ставят его в абсолютно вымышленную обстановку и условия, заставляют переживать воображенные писателем события... И очень часто *бывает*, — сила интуиции так *велика*, — что эти типажи потом попадают в аналогичные с героями рассказа условия. Так было и с этой девушкой. Ее бросил писатель, ребенок ее умер... Но все это случилось года через три после написания «Чайки» [36].

На почве такой интуиции произошла неприятная и много крови испортившая Чехову история у него с Левитаном. Левитан был большим другом Чехова. И вдруг между ними вспыхнула ссора, настоящая, серьезная — вспыхнула она из-за С. П. Кувшинниковой. Дело было так: Чехов написал один из лучших своих рассказов «Попрыгунья», на который несомненно его натолкнуло что-то из жизни С. П. Только писатель может понять, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творчества.

С наивностью художника, берущего краски, какие ему

нужно и где только можно, Чехов взял только черточки из внешней обстановки С. П. — ее «русскую» столовую, отделанную серпами и полотенцами, ее молчаливого мужа, занимавшегося хозяйством и приглашавшего к ужину, ее дружбу с художниками. Он сделал свою героиню очаровательной блондинкой, а мужа ее талантливым молодым ученым. Но она узнала себя — и обиделась. А. П. писал по этому поводу одной из своих корреспонденток:

«Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле.

Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником...» [37]

Левитан, тоже «узнавший себя» в художнике, также обиделся, хотя в сущности уж для него-то ничего обидного не было и уж за одну несравненную талантливость рассказа надо было «простить автору все прегрешения». Но вступились друзья-приятели, пошли возмущения, негодования, разрасталась тяжелая история, и друзья больше года не виделись и не разговаривали, оба от этого в глубине души страдая.

А у С. П. несомненно Чехов наступил на какое-то больное место: никто не знал, что в их отношениях с Левитаном уже есть трещина, которая и привела к полному разрыву — опять-таки года через два-три после написания рассказа...

Как раз в это время, когда бедная С. П. уже дочитала последние страницы своего романа, как говорил ее оригинальный муж, я зимой собралась в Мелихово и по дороге заехала к Левитану, обещавшему показать мне этюды, написанные им летом на Удомле, где мы вместе жили. У Левитана была красивая в коричневых тонах мастерская, отделанная для него Морозовым в особняке на одном из бульваров. Левитан встретил меня, похожий на веласкесовский портрет в своей бархатной блузе; я была нагружена разными покупками, как всегда когда ехала в Мелихово. Когда Левитан узнал, куда я еду, он стал по своей привычке длительно вздыхать и говорить, как тяжел ему этот глупый разрыв и как бы ему хотелось туда по-прежнему поехать.

— За чем же дело стало? — говорю с энергией и стремительностью молодости. — Раз хочется — так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас!

— Как? Сейчас? Так вот и ехать?

— Так вот и ехать, только руки вымыть! (Он был весь в красках.)

— А вдруг это будет не кстати? Вдруг он не поймет?

— Беру на себя, что будет кстати! — безапелляционно решила я.

Левитан заволновался, зажегся — и вдруг решился. Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов мы уже подъезжали к мелиховскому дому.

Всю дорогу Левитан волновался, протяжно вздыхал и с волнением говорил:

— Танечка, а вдруг (он очень приятно грассировал) мы глупость делаем?

Я его успокаивала, но его волнение заражало и меня, и у меня невольно стало сердце екать: а вдруг я подведу его под неприятную минуту? Хотя, с другой стороны, зная А. П., уверена была, что этого не будет.

И вот мы подъехали к дому, залаяли собаки, выбежала на крыльцо Маша, вышел закутанный А. П., в сумерках вгляделся — кто со мной? Маленькая пауза — потом крепкое рукопожатие... и заговорили о самых обыкновенных вещах, о дороге, о погоде — точно ничего и не случалось.

Это было началом возобновления дружеских отношений, не прерывавшихся уже до смерти Левитана, которого А. П. и навещал и лечил.

Но историю с Кувшинниковой Чехов очень не любил. Постоянно поддразнивал ею Лику, сохранявшую с С. П. хорошие отношения, а мне как-то написал по поводу одного моего рассказа: «А все-таки вы не удержались и на стр. 180 описали-таки С. П.» [38] Он напрасно поддразнивал меня этим: в том рассказе я ее не описывала. Много лет спустя, когда ни ее, ни Левитана, ни д-ра Кувшинникова уже не было в живых, я действительно описала их историю в рассказе «Старшие», напечатанном в «Вестнике Европы».

Когда Чехов продал Мелихово [39] и окончательно переселился в Ялту, у меня точно оторвался кусочек сердца. В это же время умерла моя кормилица, так что мне стало больше незачем ездить в Лопасню...

Продал он свое любимое Мелихово в связи с болезнью, заставлявшей его искать более теплого климата, и смертью старика отца. Он умер в 1898 году, внезапно. И после его смерти А. П. писал сестре: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни» [40]. Так оно и было — и закрылись самые светлые страницы жизни А. П.

И так сложилось, что А. П. не был в Москве на первом представлении «Чайки». Может быть, даже сознательно не

был — слишком больно отозвалось в его душе крушение «Чайки» в Петербурге. Он был в Ялте, в то время когда и Художественный театр и все его близкие переживали волнения в ожидании премьеры... Очень волновалась и я. Но с первых минут, с первых слов несравненных Маши — Лилиной и Медведенки — Тихомирова я просто забыла, что я в театре, что это пьеса, и чувствовала небывалое в театре ощущение: будто это не сцена и не актеры, а живая жизнь — и мы все случайно подсматриваем ее... Это впечатление разделяли и все зрители. После того знаменитого «гробового молчания», которое — когда опустили в последний раз занавес — длилось несколько секунд (а кто не знает, как беспощадно растягиваются секунды на сцене) и которое довело участников спектакля чуть не до отчаяния, так как они это молчание потрясенной публики приняли за провал, вдруг разразился ураган восторга. Даже тишайший Эфрос — критик и журналист — человек, необычайно сдержанный и задумчивый, «вышел из берегов»: вскочил на стул, кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму. С этой минуты театр победил его, как и всю Москву, за исключением очень немногих.

Выйдя из театра, я сейчас же послала А. П. телеграмму [41]. Он откликнулся письмом:

«Милая кума, поздравляю вас с новым годом, желаю провести оный в добром здравии и благополучии, и дождаться многих предбудущих. Телеграмму вашу получил и был тронут до глубины души. И письмо ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были вы, милая, незабвенная кума. Как вы поживаете? Когда пришлете мне вашу книжку стихов? Кстати — ваше стихотворение «Монастырь» — просто прелесть, одно великолепие. Очень, очень хорошо. Здесь, в Ялте, продолжается теплая погода, хочется снегу. Жму руку, будьте здоровы. Не забывайте вашего кума кучера Антона» [42].

Кстати сказать — стихотворение, о котором вспоминает А. П., было навеяно похоронами его отца в Новодевичьем монастыре...

Всю зиму после премьеры «Чайки» я радовалась ее успеху. Она шла при переполненном театре, и часто я, возвращаясь домой поздним вечером мимо «Эрмитажа» в Каретном ряду, где тогда помещался Художественный театр, наблюдала картину, как вся площадь перед театром была запружена народом, конечно главным образом моло-

дежью, студентами, курсистками, которые устраивались там на всю ночь — кто с комфортом, захватив складной стульчик, кто с книжкой у фонаря, кто, собираясь группами и устраивая танцы, чтобы согреться — жизнь кипела на площади,— с тем, чтобы с раннего утра захватить билет и потом уже бежать на занятия, не смущаясь бессонной ночью. Грела и поддерживала молодость...

Художественный театр реабилитировал и заново создал «Чайку», но смело можно сказать, что и «Чайка» создала Художественный театр, во всяком случае все чеховские пьесы — это лучшее, что театр создал. Чехов даже преувеличивал роль Художественного театра в успехе своих пьес, и помню, когда я как-то сказала ему (речь шла о «Трех сестрах»), что в его пьесах поражает именно то, что, смотря их, как будто не в театре сидишь, а подсматриваешь чужую жизнь, он улыбнулся, прищурив глаза так, что кругом них собрались чеховские «лучики», и сказал:

— Это они так играют: они — хитрые...

Чехов звал меня в Ялту, но мои скитания уводили меня то за границу, то в Петербург, так в Ялту я и не попадала. Время от времени мы с А. П. обменивались письмами. Он писал в обычном шутливом тоне. То вдруг пришлет из-за границы счет из гостиницы с требованием от имени хозяина немедленно уплатить по нему во избежание судебного преследования. То из Ялты, например, просил меня прислать ему пьесу:

«Любезная кума, окажите услугу, пришлите мне вашу пьесу «Вечность в мгновении», и поскорее, пожалуйста: хотим поставить ее, уплатив вам авторского гонорара один рубль. Афишу пришлю своевременно, а также и рецензию. (Тут тоже водятся рецензенты. Хорошо пишут!) Если почему-либо не можете прислать пьесу, поскорее уведомьте. Мой адрес — Ялта, д. Бушева. Кстати напишите, как делишки? Мне здесь скучно, как белуге. Не забывайте и иногда пишите. Вообще же поменьше о себе понимайте и почитайте старших. Ваш благодетель и кум Повсекакий. Пишите! Пробуду тут весь месяц. Где можно купить «Романтики»? Видите, как я забочусь о вашей славе. Как только заговорили о любительском спектакле — я тотчас же вам эстафету» [43].

В следующем письме он отвечал мне на мою просьбу разрешить играть в Малом театре его пьесу «Медведь», которую хотела ставить А. П. Щепкина.

«Милая кума, спешу ответить вам насчет «Медведя». Повторяю, я очень рад. Пишу — повторяю, потому что года

два тому назад, по вашему произволению, я уже писал о своем согласии, и чуть ли кажется не подписал условия. Мой «Медведь» пойдет на Малом театре (или правильнее на сцене Малого театра) — для меня это только лестно.

Татьяна Е-ва-с, я на днях послал Вам открытое письмо, просил у Вас «Вечность в мгновении». Пришлите, пожалуйста. Я хочу прочесть лекцию «Об упадке драматического искусства в связи с вырождением» и мне придется прочесть отрывки из вашей пьесы и показать публике фотографии — вашу и артиста Г.». (Это был артист Горев, которого Чехов очень высоко ставил и справедливо считал его одним из лучших актеров Малого театра.)

«Да, вы правы: бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием — зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиза и магазин сжечь.

Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям — есть и бабы, с пьесами и без пьес: но все же скучно. Давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей. Приезжайте, мы поедем обозревать окрестности. Еда тут хорошая. Ваш кум А. Чехов»[44].

Во всех письмах его от того времени, несмотря на шутливый тон, сквозит та скука, даже тоска, которую он часто испытывал в Ялте. Он вообще не любил южной природы, находил ее бутафорской и скучал по московским сереньким дням, по левитановским пейзажам. Как-то после поездки в Аббацию [45] он сказал мне: «Зелень там глянцевитая — точно металлическая. То ли дело наши березы и липы!» Заграничные путешествия не отозвались ни на его творчестве, ни на нем самом. Я часто думала, отчего это? И мне кажется, объяснение нашла. Чехов был писатель, которого страстно интересовала жизнь, интересовал человек. Чтобы писать, он должен был наблюдать жизнь и человека. За границей же это не могло быть ему доступно — по той простой причине, что Чехов не владел ни одним европейским языком — и таким образом его жизнь за границей превращалась для него во что-то вроде кинофильма: он, так сказать, чувствовал себя глухонемым: один пейзаж, да и тот «бутафорский», казавшийся ему слишком нарочито красивым, не удовлетворял его. Нарочитой красоты, красивости он не терпел, не любил ничего пафосного — и свои переживания, и своих героев целомудренно оберегал от красивых выражений, пафоса и художественных поз.

В этом он, может быть, даже доходил до крайности, это заставляло его не воспринимать трагедии: между прочим, он никогда не чувствовал М. Н. Ермоловой, как и ей не был Чехов близок как писатель. Это были два полюса: реализм жизненный и реализм романтический. Те «высоты», на которых так вольно чувствовала себя великая артистка, отходя от жизни лишь затем, чтобы показать, какой жизнь *может быть,* были ему чужды, и он показывал жизнь такой, какой она *была,* предоставляя читателю или зрителю самому воскликнуть: «Так дальше жить нельзя!»

Я до сих пор не уверена, что А. П. отдавал себе отчет в том, какую роль он сыграет не только в русской, но и в зарубежной литературе,— как огромен его талант. Никакого самолюбования, никакого честолюбия — которых невозможно скрыть — я в нем никогда не чувствовала. И однако он был писателем совершенно своеобразным, стоявшим особняком среди корифеев литературы. По-моему, самое существенное в Чехове — это раскрепощение рассказа от власти сюжета, от традиционных «завязки и развязки». Чехову, для того чтобы перевернуть душу читателя, было достаточно взять кусок текущей жизни и своими словами описать его. Ему не нужны были ни драматические восклицания, ни убийства, ни восторги — но он как бы пояснял слова забытого старого поэта К. Случевского:

И капля вод полна трагедий,
И неизбежностей полна...

Щепкин сказал: «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры». Чехов с полным правом мог бы сказать: «Нет маленьких явлений — есть маленькие писатели». Для него ни одно явление жизни не было маленьким: все было достойно наблюдения. Как говорится в гетевском «Фаусте», он «выхватывал из самой гущи жизни — и где бы ни схватил — там было интересно». Сквозь это маленькое явление он видел очень далеко и очень глубоко. Как сквозь маленькое стекло можно увидеть огромную панораму, так сквозь каждое маленькое явление мы видим у Чехова целый огромный кусок жизни. Чехова смущали малые размеры его вещей, он все собирался писать «большой роман» и уверял, улыбаясь одними глазами, что «завидует Потапенке»... (Писателю средней руки, но необыкновенно плодовитому.) Однако его маленькие рассказы стоят других многотомных произведений. Взять хотя бы «Даму с собачкой» — Тургеневу, например, хватило бы этой темы на целый роман.

Чехов — уложил ее в несколько десятков страниц, но из этих страниц ясно видна и чувствуется не только личная драма двух или трех людей, но весь быт тогдашнего «интеллигентного» общества, задыхавшегося под толщей предрассудков, ложных понятий о приличии и т. д., которые часто губили жизни и души людей. А другие его рассказы — иногда на несколько страничек... Какая в них страстная жалость и любовь к своим героям — именно любовь, о которой он «не говорил вслух» и которую близорукие критики принимали за «объективность, доходящую до индифферентизма»... Стоит наудачу вспомнить: рассказ «В ссылке», рассказ «Хористка», рассказ «Ванька», рассказ «Архиерей»... Один татарин из рассказа «В ссылке» стоит целого романа. Трагедия «Хористки» — обвинение, брошенное обществу за отношение к «падшим женщинам», трагедия «Ваньки» — не меньше диккенсовского романа вопиющая о судьбе брошенных в мастеровщину ребятишек, трагедия «Архиерея» — беспощадное одиночество человека, имеющего дело с толпами... Я назвала несколько, можно привести еще много — все это рассказы, написанные кровью сердца.

При жизни Чехова мне приходилось слышать от «обывателей» упреки, зачем он пишет о «скучных людях», о «скуке жизни»...

Вспоминаю высказанную Гончаровым мысль, которую он вкладывает в уста Райскому в «Обрыве»: «писать скуку». «Ведь жизнь многостороння и многообразна, и если эта широкая и голая, как степь, скука лежит в самой жизни — как лежат в природе безбрежные поля, пески — то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, кисти...» Гончаров в «широкой и голой степи» видел воплощение скуки. А вот Чехов написал «Степь», рассказ почти без содержания, без завязки и развязки, но как много увидел он в этой степи, какое богатство красок, наблюдений, впечатлений! Читая его, вы словно дышите ароматами степных трав, видите «пепельно-седые облака», несущиеся по бескрайному небу, слышите трепет крыльев стрепета и простые речи простых людей — и не оторветесь от рассказа, пока не кончите его, а потом будете с новым наслаждением перечитывать его, как всегда с новым наслаждением смотришь на любимую картину природы. Вот так Чехов и в этой «людской скуке», о которой думал Гончаров, находил и умел оставить для нас такое же богатство мыслей, чувств, характеров, возможностей, как в своем рассказе о «широкой голой степи», красок и картин.

Есть одно свойство у Чехова, которое дает нам право считать его великим писателем. Мы читаем его всегда *по-новому,* и в его рассказах, перечитываемых из года в год, всегда находим для себя что-то новое, что-то, чего мы раньше не заметили и до чего мы «доросли». Мне недавно, например, пришлось пережить такую минуту с «Чайкой». В первую постановку «Чайки», да и в последующие ее постановки на русской сцене, установилась традиция играть Нину в последнем акте в состоянии такой истерики, такого почти безумия, что у зрителя не оставалось ни минуты сомнения в ее близкой и неизбежной гибели — в пруду, под поездом, но непременно гибели. И вот недавно я слышала монолог «Чайки» в исполнении А. Коонен в Камерном театре, «в сукнах» — и вдруг поняла, что Нина не погибнет, не может погибнуть [46]. Из самого текста чеховского поняла это. Она «верует в свое искусство, она научилась терпеть» — и крестный путь страдания, конечно, приведет ее к тому, что, как она и обещает, она будет артисткой. Мы как-то упускали из виду, что ведь с той минуты, как Нина ушла из отцовского дома, неопытной девочкой, прошло всего два года — и каких два года для нее: она была брошена любимым человеком, она потеряла ребенка — мудрено ли, что она не успела сделаться актрисой, но она «талантливо вскрикивала, талантливо умирала» и, конечно, она будет талантливо жить на сцене!

Пафос и романтизм Чехов признавал и отдавался их очарованию только в музыке. Тут границ и запретов не было. Он возил меня к соседям по имению, родственникам поэта Фета, только затем, чтобы послушать Бетховена: хозяйка дома превосходно играла [47]. И когда он слушал Лунную сонату, лицо его было серьезно и прекрасно. Он любил Чайковского, любил некоторые романсы Глинки, например, «Не искушай меня без н у ж д ы » , — и очень любил писать, когда за стеной играли или пели. «Серенада» Брага, которую пела Лика под аккомпанемент рояля и скрипки, нашла отражение в его «Черном монахе»...

За все последние годы жизни Чехова мы встречались уже редко — только когда он бывал в Москве, если случайно и я там находилась в это время, а я жила в Москве все меньше и меньше. Последняя наша встреча живо осталась в моей памяти.

А. П. приехал в Москву осенью, но медлил уезжать, несмотря на ужасную погоду. Он остановился в небольшой квартирке, которую его жена делила с Марией Павловной. Я изумилась происшедшей с ним перемене. Бледный,

землистый, с ввалившимися щеками — он совсем не похож был на прежнего А. П. Как-то стал точно ниже ростом и меньше.

Трудно было поверить, что он живет в Ялте: ведь это должно было поддержать его здоровье; все говорили, что в его возрасте болезнь эта уже не так опасна — «после сорока лет от чахотки не умирают», — утешали окружающие его близких. Но никакой поправки в нем не чувствовалось. Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты.

Его жена, прекрасная артистка О. Л. Книппер, не мыслила себя без Художественного театра, да и театр не мыслил себя без нее. Вместе с тем она очень тяготилась вынужденной разлукой, предлагала А. П., что она все бросит и будет жить в Ялте, но он этой жертвы принять не хотел...

Когда-то А. П. шутя писал одному своему приятелю:

«...Извольте, я женюсь — если вы хотите этого — но мои условия: все должно быть, как было до этого — то есть, она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день»[48].

То, что так весело звучало в шутливом письме, оказалось не совсем так на деле. А. П. ценил талант О. Л., не допускал и мысли, чтобы она отказалась ради него от сцены, высказывался по этому поводу категорически. Однако скучал без нее в Ялте, чувствовал себя одиноким — особенно в темные осенние вечера, когда на море бушевал шторм, ураган ломал в саду магнолии, и кипарисы гнулись и скрипели точно плача, когда кашель мешал ему выходить, да и никто не отваживался высовывать носа из дому в такую бурю, а он читал письма из Москвы, с описаниями веселой и полной жизни, которая шла там, описанием театра, дышавшего *его* духом, *его* пьесами, в то время когда он был отрезан и от жены, и от театра, и от друзей.

Понятно, что он все время рвался в Москву, ездил туда вопреки благоразумию, задерживался там — и эти перерывы фатально влияли на его здоровье.

В тот вечер, что я пришла к Чехову, О. Л. участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Немирович-Данченко во фраке с безупречным белым пластроном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами,

9 Заказ № 90

ласково и нежно простилась с А. П., сказав ему на прощанье какую-то шутливую фразу, чтобы он без нее не скучал и «был умником», — и исчезла.

А. П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. Поднес свою баночку к губам и, когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей:

— Да, кума... помирать пора.

После этого раза я больше не видела А. П.

О его кончине я узнала за границей... И приехала на его могилу в Новодевичьем монастыре только через несколько лет после его смерти — и моего долгого отсутствия из Москвы. Я застала там какую-то молодежь, пришедшую поклониться праху любимого писателя. С башенных часов, отбивавших каждую минуту, слетали как жемчужины и падали в вечность минуты. Я стояла и думала: «Нет — он не умер для нас. Он с нами — в каждом сером дне, в каждой девушке, задумавшейся над жизнью, в каждом облетевшем лепестке вишневого сада — и в светлой вере в то, что «жизнь еще будет прекрасной...»

Чехов иногда высказывал в разговоре такую мысль, что его скоро забудут.

— Меня будут читать лет семь, семь с половиной, — говорил он, — а потом забудут.

Но как-то он прибавил:

— Но потом пройдет еще некоторое время — и меня опять начнут читать, и тогда уже будут читать долго.

Он оказался прав. Он вообще часто в своих предчувствиях оказывался прав...

Когда я перечитываю Чехова, я часто встречаюсь с фразами и высказываниями, которые поражают меня. Так, например, в рассказе «Три года» его герой говорит: «Москва — город, которому еще много придется страдать...» Я вспоминала эти слова во время жестокой бомбежки Москвы осенью 41 года... Тут тоже можно проверить верность его взгляда в будущее.

Промчавшаяся буря первых годов революции на время заслонила от нас его задумчивый образ. Но прошли эти годы — Россия опять нашла Чехова, и наша смелая эпоха решилась откинуть от него кличку «нытика» и «пессимиста», шаблонные представления шаблонных критиков — и нашла в его грустных, как русская действительность его времени, рассказах те ростки живой веры в народ, в его будущее, те ноты уверенности в победе нового человека,

которые так ясно зазвучали теперь для его исследователей.

Я иногда задумывалась над тем, что делал бы Чехов, как он поступал бы, если бы ему суждено было дожить до великой революции. И у меня всегда готов ответ: Чехов был настоящий русский писатель, настоящий русский человек. Он ни в каком бы случае не покинул родины и с головой ушел бы в строительство той новой жизни, о которой мечтал и он и его герои.

В. А. ФАУСЕК

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. П. ЧЕХОВЫМ

I

Это было в Ялте в 1893 году, где я служил в то время. С А. П. Чеховым я познакомился совершенно неожиданно в доме моего сослуживца, помощника акцизного надзирателя З[вягина]. Как у З. завязалось знакомство с Чеховым, я точно не знаю [1]. Кажется, через сестру его, М. П. Чехову.

З. всегда имели большую квартиру в Ялте и часть ее отдавали по комнатам приезжим. Одно время у них жила М. П. Чехова, которую я также знал. З. очень гордился своим знакомством с Антоном Павловичем и часто о нем рассказывал.

Я пришел тогда к З. с деловыми бумагами, только что возвратившись из служебной поездки в горы, весь в пыли, как слез с коня. Вижу, в гостиной у З. сидит гость, какой-то, как мне показалось, молодой человек.

— Пожалуйте, пожалуйте! — закричал мне З. и, встав с кресла, пошел навстречу.

По улыбке и какому-то особенному выражению лица З. я понял, что делового разговора, из-за которого я пришел, сегодня быть не может.

З. познакомил нас.

— Антон Павлович Чехов! — значительно сказал он. — Вот какой у меня сюрприз для вас!

— Антон Павлович?! Так вот он какой, «Чехов»! — невольно вырвалось у меня.

На меня через pince-nez смотрели добрые, улыбающиеся глаза. Припухлость век у висков, знакомая еще по фотографическим снимкам, придавала всему лицу А. П. Чехова вид какого-то особенного, большого добродушия.

Разговор начался с обычных в таких случаях незначительных реплик: Чехов сказал, что знает моего брата, Виктора Андреевича. Я сказал, что знаю его сестру, Марию Павловну.

Потом Чехов спросил:

— Вы пишете?

В то время несколько моих беллетристических рассказов были напечатаны в «Детском чтении». Кроме того, я писал «Арабески» в «Крымском вестнике» и был постоянным корреспондентом «Русских ведомостей» с южного берега Крыма.

Кажется, именно это обстоятельство, т. е. мое маленькое писательство, помогло завязаться нашему знакомству. Что я прильнул к Чехову, как шлюпка пристает к большому судну, это, конечно, было естественно. Что Чехов гостеприимно встретил мое писательство, это тоже вышло у него как-то очень просто и сердечно. Впрочем, было и еще одно обстоятельство, способствовавшее нашему сближению: это наше территориальное и отчасти академическое землячество. Чехов окончил курс в таганрогской гимназии. Я из Таганрога ушел в ученическое плавание, а потом, разочаровавшись в море, тоже поступил в таганрогскую гимназию. Таганрог, общие знакомые, гимназия и учителя дали нам богатый материал для воспоминаний и смеха. Чехов рассказывал о своем прошлом с большим оживлением и юмором, при этом любил и умел посмеяться от души.

II

Ялтинская набережная в сезонное время — это выставка приезжих людей. Всех тут можно видеть. Постоянно можно было встретить тогда и Чехова. По большей части он гулял с М[иролюбовым], в то время певцом московской оперы, высланным врачами в Ялту по причине плохого состояния его легких. При первой же встрече Чехов познакомил нас, и потом мы часто гуляли все вместе. Иногда присоединялся к нам З.

А. П. Чехов был очень общителен и любил «компанию». В компании не отказывался и выпить, хотя пил очень умеренно. Уже тогда он жаловался на перебои в сердце. Пойти ли в невзрачный трактир Болотникова у Дерекойского моста есть шашлыки или куда-нибудь в погребок пить вино Чехов никогда не отказывался. Иногда к нашей компании примыкали новые и новые люди, чьи-нибудь

знакомые; составлялись столы, настроение подвинчивалось. Какие-нибудь «шашлыки» кончались поездкой за город и потом продолжительным присестом за «кофеем» в «Центральной» гостинице. Чехов никогда не отставал от «теплой» компании. Едва ли это могло доставлять ему большое удовольствие. Сидит, бывало, молча, улыбается, делает вид, что попивает вино. Не наблюдал ли он в это время, не приглядывался ли к распоясавшимся людям?

Чехов жил в гостинице «Россия».

Однажды он сказал мне:

— Отчего не заходите? Заходите, поболтаем!

— В какое время? Когда вы не заняты, Антон Павлович?

— Да когда хотите! Я всегда занят. И всегда могу бросить работу. Я люблю отдохнуть, поговорить!

Я стал заходить в гостиницу «Россия».

Как живо я помню это!

Тук-тук в двери номера.

— Можно?

— Войдите! — раздается голос Антона Павловича.

И слышен звук отодвигаемого стула.

Чехов стоит, опершись задом на стол, из-за которого, видимо, только что встал. На столе чернила, перо, исписанные листы бумаги. Очевидно, я застал его за работой.

— Ну, вот и помешал вам! Вы писали!

— Нисколько! Здравствуйте! Садитесь! Я же сказал вам, что всегда пишу! — говорит, улыбаясь, Антон Павлович.

— Даже после обеда?

— Да, и после обеда. Я не отдыхаю. Как только пройдет послеобеденная тяжесть в желудке, так и пишу.

И он говорил о своем писании.

— Иногда не пишется — я тогда бросаю и иду гулять, или в гости, или в кабачок. Потом, глядишь, и наладилось и пошло. А иногда, хоть убей, не удается работа. Пишу, мараю, переделываю, но, сколько ни тружусь, все выходит ерунда. Так и бросаю. То, что напечатано моего, это едва ли составит половину того, что я написал в жизни. У меня целый чемодан ненапечатанных рукописей — начатых, измаранных и неоконченных рассказов.

Я как-то спросил А. П., отчего он так пессимистически настроен последнее время и русская жизнь представлена так мрачно в его последних произведениях.

Чехов ответил:

— Боже мой! Довольно я написал в веселом роде, а много и просто шутовского. Пора мне серьезнее глядеть на жизнь.

III

В то время в Ялте была распространена моя книжечка «Ялта и ее окрестности». Однажды Чехов встретил меня словами: «Я прочитал вашу книжку», — и начал ее критиковать.

— Исторический очерк Ялты написан хорошо. Легенда о «золотой колыбели и наковальне» прелестна, — говорил Чехов. — А справочный отдел совершенно недостаточен. Он должен быть вдвое, втрое, во много раз полнее.

— Но ведь я писал книжку один и между делом! — оправдывался я. — А для справочного, календарного отдела нужен коллективный труд!

Чехов перебил меня.

— Вот уж не согласен с этим. Я страшно ревнив к своей литературной работе и никого к сотрудничеству с собою и близко не подпущу. Я дорожу каждым написанным мною словом и не намерен ни с кем делить ни труда, ни славы. Я люблю успех. Люблю видеть успех других. Люблю пользоваться им сам.

— Вы вообще мало пишете! — продолжал А. П. — Журналист должен писать решительно обо всем.

— Но что может дать журналисту Ялта, большой вокзал летом и глухой уездный городок зимою?

— Ну нет! — возразил мне Чехов. — Живя постоянно в Крыму, вы находитесь в счастливых условиях. Вокруг нас любопытный татарский быт, нравы; в каждом горном урочище прячется легенда!

— Надо знать язык! — заметил я.

— Положим! Но и без этого обойтись можно! — настаивал А. П. — Вот З. знает татарский язык. Он может быть вам полезен! И отчего бы вам не попробовать писать в беллетристическом духе?

— Пробую!

— Ну и что же?

Я рассказал Чехову, что недавно вышла из печати моя книжечка — очерки плавания по Средиземному морю[2] — из моей одиссеи, предпринятой из Таганрога. Чехов спросил, заметили ли мою книжку в большой печати? Я сказал, что о книжке были отзывы в некоторых толстых журналах.

— Обругали, конечно? — спросил Антон Павлович.

— Нет, похвалили!

— Ну, это вы счастливец! — сказал Чехов.

И продолжал:

— Наша критика — это что-то ужасное! Не ждите от нее поддержки, снисхождения к начинающему литературному работнику. Она беспощадна, она просто жестока. Так и ищет, что бы обругать. Если бы вы знали, как меня ругали, жестоко, несправедливо, беспощадно!

Чехов сказал это с горечью и видимым раздражением. Всегда бродящая на лице его добродушная улыбка исчезла в эту минуту.

Впрочем, это продолжалось недолго. Улыбка скоро опять появилась на его лице, и веки глаз добродушно прищурились.

— Вот что! — сказал А. П. — У вас есть ваша книжка?

— Есть!

— Один экземпляр дайте мне: я прочту. А другой, пожалуйста, пошлите на станцию Лопасня Московско-Курской дороги. Я сейчас вам дам адрес.

А. П. сел писать и, подавая мне адрес, объяснил:

— Там, видите ли, у нас больница земская. И библиотека маленькая при ней. Средства у нас маленькие. Библиотеку, собственно, я завел и поддерживаю ее. Так, пожалуйста, пошлите.

Прощаясь, Антон Павлович сказал:

— Вот еще что! Сегодня приехала сюда артистка Медведева. Очень добрая старушка. Она уже давно не играет, начинают ее забывать. Напишите в «Крымском вестнике» маленькую заметку, что «в Ялту приехала заслуженная артистка императорских театров Медведева». Пожалуйста, вам это ничего не стоит, а старушке это польстит. Ей будет приятно убедиться, что ее знают и не забывают.

Наверное, старушка Медведева не догадалась, кому она обязана за оказанное ей местной газетой внимание. Она ведь не знала, что А. П. Чехов любит не только свой успех, но и «успех других».

IV

В то время у А. П. Чехова было уже большое литературное имя. С ним искали знакомства, искали случая хотя бы увидеть его. Ялтинские дамы и молодежь специально

отправлялись гулять на набережную затем, чтобы видеть, как гуляет Чехов с певцом М., и еще издали, по огромному росту всегдашнего спутника Чехова, узнавали через толпу, в каком месте набережной Антон Павлович находится. Концерт М., устроенный им тогда в зале гостиницы «Россия», привлек такую массу публики, что она едва помещалась в зале. Конечно, такой успех концерта М., певца хотя и очень интересного, обладавшего огромной силы басом — «черноземная сила», как определял голос М. Антон Павлович, — но малоизвестного большой публике, в значительной мере был обязан имени Чехова. Публика знала, что Чехов будет на концерте М., и шла на концерт с уверенностью увидеть, между прочим, и знаменитого Чехова.

— Чехов! Чехов! Вон он стоит! Вон он пошел! Вон он остановился!

Такой полушепот то и дело слышался в густой толпе.

Искатели «Чехова» не давали покоя Антону Павловичу и на дому. Часто к нему как к доктору обращались за медицинским советом, или, правильнее, под предлогом получить медицинский совет.

Таким А. П. говорил, что не «практикует», и направлял к местным врачам.

Бывали у А. П. и курьезы с посетителями.

Он рассказывал мне, как к нему пришла молодая дама.

— Конфузится, не может говорить от волнения, смотрит исподлобья! — говорил А. П. — Я ее принимаю, прошу садиться, спрашиваю: «Чем могу служить?» Она села и, преодолев волнение, говорит: «Извините... простите меня! Я хотела... на вас посмотреть! Я никогда... не видала писателя!»

В другой раз А. П. встретил меня, видимо чем-то взволнованный.

— Послушайте! — говорит. — Что это у вас тут за барон В.?

И Чехов протянул мне визитную карточку барона, увенчанную короной.

Говорю, есть такой барон. Принадлежит к местному бомонду, очень богат, дачу роскошную имеет в Ялте. Личность, ровно ничем не замечательная.

— Можете себе представить?! Является ко мне, представляется и просит сегодня же у него обедать, что у него соберутся гости и тому подобное?! Какой-то наивный нахал?!

— Что же вы ему сказали?

— Спровадил его! Сказал ему, что не имею чести его знать и обедать к нему не пойду. Он только что ушел от меня!

На другой же день я мог сообщить Антону Павловичу, что барон В. имеет все основания быть на него в претензии. Он назвал гостей «на Чехова», и гости в назначенное время съехались к нему обедать. А обед оказался «без Чехова»...

Едва ли не Чехову обязана была своим успехом также лекция Радецкого «О физическом воспитании детей».

Вижу я как-то А. П. с незнакомым господином. Они сидели на скамеечке над морем. Чехов подозвал меня и познакомил со своим собеседником. Оказался г. Радецкий.

Разговор у них шел о том, как бы устроить в Ялте лекцию Радецкого. Но Радецкий был стеснен временем, а для того, чтобы прочесть лекцию, надо было хлопотать о разрешении, о помещении и т. д. Чехову пришло на мысль обойти эти затруднения таким образом: вместо лекции устроить «собеседование» на ту же тему у кого-нибудь в доме и пригласить избранный круг местных общественных деятелей. Чтобы посоветоваться об этом, и позвал меня Антон Павлович. Я предложил для замаскированной лекции свою квартиру.

Я жил на краю города, высоко на горе, около кладбища, и Чехов усомнился, чтобы «туда собрались». Но я поручился Радецкому за успех дела, и «лекция» была назначена у меня в доме в тот же вечер.

Оповестить нужных людей о предстоящей у меня лекции и обеспечить ей обещанный «успех» мне не стоило большого труда. Достаточно пройти по набережной взад и вперед один раз, чтобы распустить по Ялте какой угодно слух. Только кое-кому мне пришлось послать на дом записки. А чтобы приглашаемые наверно пришли и не устрашились крутого подъема «на дачу грека Солоникио», где я жил, мне стоило только упомянуть о том, что «будет Чехов». Я так и делал. Останавливал, приглашал вечером к себе «на Радецкого» и невинно, вскользь прибавлял магические слова.

— Приходите! — говорил я. — Будет интересно! Чехов будет!

Первыми пришли ко мне Чехов с Радецким. Увидев, что мы с женой превратили самую большую нашу комнату в аудиторию, для чего наставили рядами всю мягкую мебель и стулья, какие имели и смогли взять взаймы у сосе-

дей, а для лектора, как водится, приготовили стол с традиционным графином с водой и стаканом, А. П. поднял меня на смех.

— И никто не придет! — дразнил он меня.

— Придут! — утверждал я.

— Ну, кто полезет к вам на такую кручу? — спорил Чехов.

— Вот увидите! — храбро отвечал я.

Моя правда оказалась! К назначенному времени гости стали сходиться, и скоро собралось человек сорок, почти все, кого я звал. Аудитория была заполнена. Собрались врачи, учителя гимназии, учителя и учительницы школ, некоторые гласные Думы и проч. Радецкому пришлось пойти к «кафедре» и формально прочитать лекцию.

Когда поздно вечером стали расходиться, известный в Ялте доктор Штангеев, лукаво подмигнув, сказал мне, прощаясь:

— Сходочку устроили?

— Ну, ну! Зачем страшные слова! — защищался я.

Последними уходили Чехов с Радецким [4].

— Как это вам удалось залучить к себе столько народу? — спросил меня Антон Павлович.

— Ну, это уж мой секрет! — уклонился я от прямого ответа. — Слово такое знаю!

V

С балкона нашей дачи открывался великолепный вид на Ялту. Вся она лежала под нами, живописно сбегая амфитеатром по склону Дарсаны и Магаби к берегу моря. Ялтинский мол и пристань и далее широкий горизонт Черного моря довершали прелесть открывающейся панорамы. А. П. Чехову очень нравилось у нас на балконе.

— Это награда за трудность подъема на вашу дачу! — говорил он.

Я не помню, когда А. П. в первый раз пришел к нам. Оттого, вероятно, не помню, что А. П. бывал тогда у нас в доме очень часто, и память слила отдельные черты этих посещений в одно общее впечатление. Моя жена любила скульптуру и урывками занималась лепкой. Ей захотелось вылепить бюст Антона Павловича, и она просила разрешения снять с него для этой цели фотографию. Чехов охотно дал свое согласие, и в одно прекрасное утро операция эта была произведена над ним у нас на балконе. Снимал Анто-

на Павловича наш случайный квартирант, искусный фотограф-любитель, ветеринарный врач из Харькова г. Венедиктов. Чехов отдался во власть фотографа и безропотно слушался распоряжений жены и г. Бенедиктова. Последний снял Чехова несколько раз: для целей лепки нужен был «фас» и «профиль» лица. С этих негативов г. Венедиктов сделал жене два чудесных кабинетных портрета А. П. Он был снят «по-домашнему», в пиджаке, в мягкой летней рубашке со шнурком вместо галстука под отложным мягким воротником.

Жена приступила к работе. Антона Павловича заинтересовала техника лепки, и он стал заходить к нам смотреть, как работает жена и как подвигается вперед дело. Заметив, что жена пользуется его посещениями, чтобы исправлять сделанное за глаза по живой натуре, Антон Павлович сам предложил ей себя в натурщики и назначил время, когда будет приходить для сеансов. Вскоре Антон Павлович совсем освоился у нас, забавлялся с детьми, засиживался, иногда оставался обедать. Во время сеансов читал газеты или беседовал с нами. Тогда в «Русской мысли» печатались его очерки Сибири [5], откуда он недавно возвратился. А. П. много рассказывал о своем пребывании в Сибири и технических приемах исполненной им работы об этом путешествии. Как-то затеялся разговор о художественном творчестве, и я спросил Антона Павловича, какой психологии творчества подчиняется он сам? Пишет ли людей с натуры, или персонажи его рассказов являются результатом более сложных обобщений творческой мысли?

— Я никогда не пишу прямо с натуры! — ответил Антон Павлович.

— Впрочем, это не спасает меня как писателя от некоторых неожиданностей! — прибавил *он*. — Случается, что мои знакомые совершенно неосновательно узнают себя в героях моих рассказов и обижаются на меня!

И он рассказал, как однажды в Москве, в хорошо знакомом ему семейном доме, где он часто бывал, его приняли так дурно, так явно враждебно, что он, в недоумении, должен был уйти. Как потом ему сказали, причиною такой перемены к нему в этом доме была обида. Семейство это в одном из последних рассказов Антона Павловича «узнало себя» и стало смотреть на автора рассказа как на предателя.

— А я и в мыслях не имел писать портреты с этих моих знакомых! [6] — заключил Антон Павлович.

Как-то я сказал Антону Павловичу, что в Ялту приехал Оболенский и очень хочет с ним познакомиться.

— Какой Оболенский? Леонид? — спросил Чехов.

— Да, Леонид Егорович!

— Вот с ним мне до сих пор как-то не случалось встретиться. Познакомьте, я буду очень рад. Я этому человеку так много обязан.

И Чехов рассказал, что еще в начале его литературной карьеры, когда он писал еще под псевдонимом Чехонте и был полной неизвестностью, Л. Е. Оболенский напечатал фельетон, в котором очень лестно отозвался об его работах [7].

— Это был первый критик, который меня заметил и поощрил! — сказал Антон Павлович. — А мне в то время ободряющее слово литературной критики было очень нужно, очень дорого. Я тогда еще блуждал в поисках своего настоящего призвания, сомневался в достоинстве своих писаний, в своем литературном даровании. Оболенский первый своей похвалою окрылил меня и вдохновил на продолжение занятий художественной литературой. Я давно жду случая поблагодарить его за это!

Чехов с Оболенским познакомились.

Кажется, тогда именно мы целой компанией ездили в Массандру. З. отрекомендовал Антона Павловича виноделу С., и это тотчас возымело свое действие. С. расцвел от неожиданного удовольствия и сделал, с своей стороны, все, что мог, чтобы оказать знаменитому гостю радушное гостеприимство; отворил перед нашей компанией заповедные подвалы удельного ведомства и угостил замечательными старыми ликерными винами, хранившимися еще со времен графа Воронцова.

В конце лета Антон Павлович уехал из Ялты. Бюст был окончен уже в его отсутствие и испорчен мастером при отливке из гипса. Одним из дорогих памятников того времени осталась у нас одна из фотографий Чехова, снятого на балконе г. Бенедиктовым. Чехова с тех пор мы не встречали больше.

VI

Об А. П. Чехове написано много воспоминаний. Многие знали его ближе и лучше меня. Духовный образ этого замечательного, кроткого человека давно обрисован полно и верно, и мои беглые очерки встреч и общения с ним могут

пополнить литературу о Чехове только, может быть, мелкими штрихами. Мне же эти строки дороги как личное переживание, и писал я их для себя, как воспоминания о светлых днях моей жизни, озаренных и согретых Чеховым, его добрым, простым отношением ко мне и моей семье. Делюсь я этими воспоминаниями с читателями в день пятилетия со дня смерти писателя потому, что, как мне кажется, все, что касается А. П. Чехова, не может не быть интересным.

С. Юрки, Полтавск. губ.
27 июня 1909 г.

С. Т. СЕМЕНОВ

О ВСТРЕЧАХ С А. П. ЧЕХОВЫМ

В средине девяностых годов, в один из своих зимних наездов в Москву, я был в редакции «Посредника», помещавшейся тогда в Долгом переулке на Плющихе. Мы беседовали с Ив. Ив. Горбуновым, когда в передней раздался звонок. Прислуга куда-то отлучилась, Иван Иванович был не совсем здоров и боялся подходить к двери; идти отпирать дверь пришлось мне.

Вошел господин выше среднего роста, с обыкновенным русским лицом, в поношенной меховой шубе и меховой шапке, со свертком под мышкой. Он спросил, дома ли Ив. Ив. Я сказал, что дома. Господин разделся, повесил шубу на вешалку, обтер платком запотевшие усы и направился в редакционный кабинет. Я подумал, что это один из многочисленных посетителей редакции, и ушел в другую комнату.

Но не прошло и минуты, как ко мне вошел Ив. Ив. и, взявши меня за руку, со словами: «пойдемте, я вас познакомлю», повел в редакционную комнату. Отрекомендовав меня, он назвал мне гостя; гость был Антон Павлович Чехов.

Я настолько растерялся от неожиданности, что не нашелся, что бы заговорить с А. П., и сосредоточился весь на созерцании и тогда уже очень уважаемого писателя, недавно подарившего русское общество «Палатой № 6».

«Посредник», начинавший тогда серию интеллигентных изданий и изо всей новейшей литературы останавливавшийся на вещах, заключавших в себе наиболее гуманные идеи, больше всех нашел таких писаний у Антона Павловича. Им изданы были отдельно его рассказы: «Именины», «Жена», «Палата № 6» и включено несколько рассказов в сборники [1]. Несколько рассказов были взяты и для народной серии и перестали издаваться только потому, что этого не разрешает издательство Маркса [2]. На этот

раз А. П. привез рукопись сельскохозяйственного словаря «Закром», составленного его братом М. П. Чеховым, и оттиск только что появившегося рассказа «Черный монах». Об этом рассказе уже появились рецензии, не удовлетворявшие А. П—ча. Ив. Ив. по случаю своего недомогания прилег на диван, а А. П. медленно ходил по кабинету и рассказывал, в чем сущность его рассказа «Черный монах» и как его не поняли. Я не читал тогда рассказа и не мог понять, чем тогда огорчили А. П., но хорошо помню, что он был крайне недоволен таким поверхностным отношением критиков к художественным произведениям [3].

Иван Иванович оставил рукопись «Закрома» для передачи ее П. И. Бирюкову, который тогда редактировал интеллигентный отдел «Посредника», сказал несколько теплых слов об удовольствии встречи с ним, и, когда А. П. ушел, он стал рассказывать, как ценил А. П. Лев Ник. Толстой, как он следил за всем, что появлялось из-под пера Чехова, и очень скорбел, что у него еще не выработалось собственного миросозерцания [4]. «С его талантом это была бы огромная сила, которая могла бы оставить после себя огромный след», — говорил Лев Николаевич.

Другая моя встреча с А. П. была в Ясной Поляне года полтора после первой. В соседстве Ясной, в деревне Деминке, поселился В. Г. Чертков, и я поехал к нему погостить. Когда я приехал в Деминку, то застал там М. О. Меньшикова, бывшего тогда еще близким к Л. Н—чу и стоявшего на счету прогрессивных журналистов. Он перед этим гостил в Мелихове у А. П. и сообщил, что А. П. давно мечтал побывать в Ясной, но все не решался. Сейчас же у него явилась решимость, и он просит разрешения навестить Л. Н. Конечно, ему ответили, что видеть его будут очень рады, и со дня на день ждали его приезда.

Мне очень хотелось присутствовать при свидании Антона Павловича со Львом Николаевичем, но я должен был поехать на несколько дней в Курскую губернию, а приезд А. П. мог случиться как раз в это время. И я очень об этом сожалел.

Но я съездил и вернулся из своей поездки и узнал, что Ант. Павл. в Ясную еще не приезжал и дал знать, что приедет туда сегодня или завтра. Таким образом, мне представлялась возможность увидать встречу двух больших писателей, и я предвкушал это удовольствие.

В то время, когда в Ясную Поляну ожидался Чехов, Л. Н. работал над «Воскресением»; можно было ожидать, что он покажет свою работу А. П—чу. Вечером в Деминку

сообщили, что А. П. приехал в Ясную Поляну [5] и что завтра предполагается чтение первых глав «Воскресения».

На другой день мы с В. Г. Чертковым поехали в Ясную. Приехали во время обеда. А. П. Чехов сидел рядом со Львом Николаевичем и время от времени заводил с ним разговор. Хотя А. П. уже и был подвержен своему недугу, но выглядывал таким молодцом, что на него приятно было смотреть. Спокойный, красивый, он имел такой благородный вид, и столько в нем было достоинства.

После обеда предположено было идти читать «Воскресение». Л. Н. не совсем хорошо себя чувствовал и пошел отдохнуть, а мы, человек пять или шесть, отправились в укромный уголок и расположились читать. Сначала читал В. Г. Чертков, потом его сменил И. И. Горбунов. Между слушателями был один из сыновей Л. Н. [6], который слушал рассказ не совсем спокойно. Его возмущала офицерская среда, описываемая его отцом: он обращался к В. Г. Черткову, бывшему гвардейскому офицеру, с вопросом — неужели большинство офицеров такие? Но А. П. слушал чтение спокойно, внимательно, молча. Читали, кажется, часа два. По окончании чтения пошли в дом, вниз, в кабинет Толстого. Л. Н. встал после отдыха, но не выходил, по случаю недомогания, из кабинета. Он с любопытством ожидал, что ему скажут по поводу его новой работы.

Антон Павлович тихо и спокойно стал говорить, что все это очень хорошо. Особенно правдиво схвачена картина суда. Он только недавно сам отбывал обязанности присяжного заседателя [7] и видел своими глазами отношение судей к делу: все заняты были побочными интересами, а не тем, что им приходилось разрешать. В одном деле, которое шло в очередную сессию, адвокат или прокурор вместо разбирательства дела обратился с дифирамбами к сидевшему на скамье присяжных заседателей Антону Павловичу. Очень верно и то, что купца отравили, а не иным способом прикончили с ним. Антон Павлович был на Сахалине и утверждал, что большинство женщин-каторжанок сосланы именно за отравление. Неверным же ему показалось одно — что Маслову приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают. Лев Николаевич принял это и впоследствии исправил свою ошибку [8].

Когда мы вышли из кабинета Л. Н., была уже летняя ночь. Вечерний чай не был готов, и мы отправились на прогулку. Меня стали спрашивать о состоянии здоровья хорошо знакомой в Ясной г-жи А., к которой я ездил в Курскую губ. Здоровье ее было не совсем хорошо. Болезнь была

чисто женская, требовавшая операции, на которую больная не соглашается. А. П. расспросил о возрасте больной и сказал, что ее страхи напрасны, — в таких случаях операции проходят всегда благополучно и разве только один раз из сотни кончаются неудачей.

Ант. Павл. участвовал в общем разговоре, но, должно быть, его захватил образ Л. Н., и он не мог освободиться от впечатления от него. К концу прогулки он заявил, что его сильно угнетает поведение очень ценимого им А. С. Суворина. Его возмущает политиканство старика в его газете, действующее на многих развращающе, и ему захотелось попросить Л. Н—ча, чтобы он написал Суворину и постыдил его за его флюгерство, — Л. Н—ч — один человек, который мог бы воздействовать на Суворина... Но сказать это Толстому А. П—чу не удалось. Л. Н—ч к вечернему чаю не вышел, а Ант. Павл. завладели Софья Андреевна и Татьяна Львовна, и в беседе с ними он провел остаток вечера.

Не знаю, был ли А. П. после в Ясной Поляне [9]. Изредка, навещая Л. Н., я его по крайней мере там не встречал. Но воспоминания о нем в Ясной остались самые приятные. Его писания встречались там всегда с большим вниманием. За ним следили, читали, разбирали. Л. Н., разговаривая о Чехове, всегда восхищался его изобразительностью. Он называл его писательский инструмент музыкальным. Он говорил, что Чехов — чуть ли не единственный писатель, которого можно перечитывать, а это не всегда возможно, даже для Диккенса, например. Помню, как Л. Н. восхищался небольшим рассказом А. П. «Супруга», напечатанным в сборнике Общества любителей российской словесности «Почин». Хвалил рассказ «На подводе», напечатанный в «Русск. вед.» [10], «Душечку» же, появившуюся в «Семье», он перечитывал несколько раз [11] и говорил, что это такая прелесть, которой не скоро найдешь не только у других писателей, но и у Чехова. «Моя жизнь» понравилась Л. Н., но не в целом, а местами. Он считал, что прототипом героя А. П. послужил небезызвестный опрощенец князь В. В. Вяземский, вызвавший когда-то целый шум в печати. Одни считали его святым, другие — высокопробным грешником [12]. Не по сердцу пришлись Л. Н-чу и «Мужики» [13], хотя его более возмущал шум, поднятый по поводу их в печати, где большая часть русской интеллигенции с восторгом принимала мужиков такими, какие они есть у Чехова, и не могла понять, что эти мужики списаны с одной исключительной подмосковной местности и по ним

нельзя обобщать всех русских мужиков. Он говорил, что эти народолюбцы никогда не любили народа, не знали его и не желают знать; мужики нужны им как отвлеченная абстракция, для опоры в своей борьбе и полемике. Оттого весь восторг по поводу «Мужиков» [14]. Не удовлетворяли, как известно, Л. Н. и пьесы А. П. Он находил, что цель драматических произведений новых форм ошибочна. Для того чтобы вызвать настроение,—говорил он,—нужно лирическое стихотворение, драматическая же форма служит и должна служить другим целям. В драматическом произведении должно поставить какой-нибудь еще не разрешенный людьми вопрос и заставить его разрешить каждое действующее лицо сообразно его внутренним данным. Это — опыты лаборатории. У Чехова же этого нет. Он останавливает, например, внимание зрителя на судьбе несчастных дяди Вани и доктора Астрова, но жалеет их только потому, что они несчастны, не обосновавши вовсе, заслуживают ли они сострадания. «Он заставляет их говорить, что они были самыми лучшими людьми в уезде, но чем они были хороши — он не показывает. А мне кажется, —говорил Л. Н., —они всегда были дрянными и ничтожными, поэтому их страдания не могут быть достойны внимания» [15].

Когда вышел первый том рассказов Чехова в издании Маркса, Л. Н. с большим вниманием остановился на юморе Чехова. Он говорил, что в наше время он — первоклассный юморист. В прошлом с ним могли сравняться только Гоголь и Слепцов. Рассказ «Драма» до того восхищал Л. Н., что он его рассказывал бесчисленное количество раз и всегда смеялся от всей души. Восхищали его и детские фигуры Чехова, вроде «Ваньки», пишущего письмо к деду. И только некоторые из юмористических вещей ему казались непонятными, как, например: «Роман с контрабасом» и «Скорая помощь».

Последний раз я видел А. П. зимой, в год его смерти, в Москве, на литературной «среде» у Н. Д. Телешова [16]. «Среда» была блестящая: на ней присутствовали, кроме А. П. с своей женой и сестрой Марией Павловной, Андреев, Горький, Вересаев, Бунин, Тимковский, Серафимович, Голоушев, Разумовский. Покойный В. А. Гольцев делал доклад о философии Ницше, были легкие прения, но не было ничего острого. У Антона Павловича недуг был в полном развитии. Внешний вид его был вид страдальца. Глядя на него, как-то не верилось, что это тот прежний Чехов, которого я раньше встречал. Прежде всего поража-

ла его худоба. У него совсем не было груди. Костюм висел на нем, как на вешалке. Но несмотря на такое состояние, А. П. был очень мил, общителен, шутливо говорил с И. А. Белоусовым, рассказывал кое-что о себе, о своих первых неудачах на литературном поприще... Все внимательно его слушали, смеялись, но всем чувствовалось, что это — недолгий жилец на свете, и становилось невольно грустно.

Весной 1904 года вышла одна из моих книжек, и я послал ее А. П. [17], но вслед за этим узнал из газет о плохом состоянии его здоровья, и мне стало неловко, что я побеспокоил его своим письмом. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, получаю от него письмо. Оно было написано накануне его отъезда из Москвы за границу. Он благодарил меня за присланную ему книжку и выражал такую теплую сердечность и добродушие, которые меня даже удивили. Но мое желание — получить что-нибудь из его вещей в обмен — он обещал исполнить, как только вернется из-за границы [18], куда его посылают доктора.

Но из-за границы вернулся только его прах, который Москва торжественно и похоронила на кладбище Новодевичьего монастыря.

ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

ЧЕХОВ

Передо мной три портрета Чехова, каждый выхвачен из куска его жизни.

Первый: Чехов «многообещающий». Пишет бесконечное количество рассказов, маленьких, часто крошечных, преимущественно в юмористических журналах и в громадном большинстве за подписью «А. Чехонте». Сколько их он написал? Много лет спустя, когда Чехов продал все свои сочинения [1] и отбирал, что стоит издавать и что нет, я спросил его, — он сказал: «Около тысячи».

Все это были анекдоты с великолепной выдумкой, остроумной, меткой, характерной.

Но он уже переходит к рассказам крупным.

Любит компанию, любит больше слушать, чем говорить. Ни малейшего самомнения. Его считают «бесспорно талантливым», но кому тогда могло бы прийти в голову, что это имя попадет в число русских классиков!

Второй портрет: Чехов, уже признанный «одним из самых талантливых». Его книжка рассказов «Сумерки» получила полную академическую премию [2], пишет меньше, сдержаннее; о каждой его новой повести уже говорят; он желанный во всякой редакции. Но вождь тогдашней молодежи Михайловский не перестает подчеркивать, что Чехов — писатель безыдейный, и это влияет, как-то задерживает громкое и единодушное признание.

А между тем Лев Толстой говорит:

«Вот писатель, о котором и поговорить приятно».

А старик Григорович, один из так называемых «корифеев» русской литературы, идет еще дальше. Когда при нем начали сравнивать с Чеховым одного малодаровитого, но очень «идейного» писателя, Григорович сказал:

— Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова.

А о рассказе «Холодная кровь» он сказал, правда, почти шепотом, как что-то еще очень дерзкое:

— Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем, — и сам прибавил: — Вот как далеко я иду [3].

Другой такой же корифей русской литературы, Боборыкин, говорит, что доставляет себе такое удовольствие: каждый день непременно читать по одному рассказу Чехова [4].

В этот период Чехов в самой гуще столичного водоворота, в писательских, артистических и художественных кружках, то в Москве, то в Петербурге; любит сборища, остроумные беседы, театральные кулисы; ездит много по России и за границу; жизнелюбив, по-прежнему скромен и по-прежнему больше слушает и наблюдает, чем говорит сам. Слава его непрерывно растет.

Третий портрет: Чехов в Художественном театре.

Второй период в моих воспоминаниях как-то резко заканчивается неуспехом «Чайки» в Петербурге. Словно именно это надломило его жизнь, и отсюда крутой поворот. До сих пор о его болезни, кажется, никогда и не упоминалось, а вот как раз после этого Чехова иначе и не представляешь себе, как человека, которого заметно подтачивает скрытый недуг.

Пишет он все меньше, две-три вещи в год; к себе становится все строже. Самая заметная новая черта в его повестях — это то, что он, оставаясь объективным, изощряя свое огромное художественное мастерство, все больше и чаще позволяет своим персонажам рассуждать, преимущественно о жизни русской интеллигенции, заблудившейся в противоречиях, нежащейся в мечте и безволии. Среди этих рассуждений вы с необыкновенной отчетливостью различаете мысли самого автора, умные, меткие, благородные, выраженные изящно, с огромным вкусом.

Каждый его новый рассказ — уже некоторое литературное событие.

Но главное в этом периоде: Чехов-драматург, Чехов — создатель нового театра. Он почти заслоняет себя как беллетриста. Популярность его ширится, образ его приобретает через театр новое обаяние. Он становится самым любимым, песня об его безыдейности замирает. Его имя уступает только еще живущему среди нас и неустанно работающему великому Толстому.

Но вместе с тем как растет его слава, приближается и его жизненный конец. Каждую новую вещь его читатель встречает уже не с обычной читательской беспечностью, а с какой-то нежной благодарностью, с сознанием, что здесь отдаются догорающие силы.

Три портрета на протяжении восемнадцати лет. Чехов умер сорока четырех, в 1904-м.

В Москве часто организовывались кружки писателей, всегда не надолго, быстро рассыпались. Одним из таких кружков заведовал Николай Кичеев, редактор журнала «Будильник». Всегда очень приличный, корректный, приветливый, немножко холодноватый, болезненный, говорил всегда негромко и сам почти не смеялся, — даже странно было, что это редактор именно юмористического журнала. Но он любил смех больше всего на свете, чувствовал его силу и был из тех, которые считают остроумие величайшим даром человека. Я его знал уже давно; в годы моих литературных начинаний мы с ним вдвоем вели в «Будильнике» театральный отдел за общей подписью «Никс и Кикс».

Кружок был довольно пестрый. В политическом отношении направление было одно: либеральное, но с довольно резкими уклонами и влево и вправо. В то время как для одних главнейшей целью художественного произведения были «общественные задачи», другие выше всего ценили в нем форму, живой образ, слово. Первые примешивали политику решительно ко всякой теме; за ужином говорили такие речи, что надо было поглядывать на подававших лакеев, — нет ли среди них шпионов; другие же оставались холодными, — не возражали из чувства товарищества, зато по уголкам называли эти речи «кукишем в кармане».

Настоящие «либералы» с гордостью носили эту кличку. Я как сейчас вижу перед собой на каком-нибудь банкете Гольцева. Он до конца жизни остался честнейшим человеком и преданнейшим прогрессу журналистом. Но стоило ему начать застольный спич, как от него веяло холодом; и чем он серьезнее, тем скучнее. Все, что он скажет, все вперед знали наизусть. Но либерально настроенным барышням это нравилось, нравились красивые слова — барышням и, очевидно, большинству слушателей, которые с постно-серьезными лицами сочувственно кивали в такт каждой гольцевской запятой и горячо аплодировали, когда он ставил хорошую точку. Им особенно то и нравилось, что они тоже все это отлично знают, что он говорит.

Как-то я ехал с Чеховым в пролетке; извозчик не успел свернуть с рельсов, — пролетка столкнулась с трамваем, перевернулась; переполох, испуг, крики; поднялись мы невредимыми; я сказал:

— Вот так, в один миг, могли мы и умереть.

— Умереть — это бы ничего, — сказал Чехов, — а вот на могиле Гольцев говорил бы прощальную речь — это гораздо хуже.

Это не мешало нам относиться к Гольцеву с большим уважением.

Из писателей настоящим кумиром для них был Щедрин. Но и тут: не за громадный сатирический его талант, а за яркий либерализм. В ту пору выработался даже трафарет: с каждого сборища с речами и вином посылать Щедрину приветственную телеграмму (он жил в Петербурге).

Чисто художественные задачи ставились под подозрение:

«Ах, искусство для искусства? «Шепот, робкое дыханье, трели соловья?» [5] Поздравляем вас».

Но и противоположная группа писателей ширилась. Надоели общие места, избитые слова, надоели штампованные мысли, куцая идейность. И противно было, что часто за этими ярлыками «светлая личность», «борец за свободу» прятались бездарность, хитрец...

Владевший молодыми умами Михайловский своими критическими статьями держал на вожжах молодую художественную литературу. Не шутя говорили, что для успеха необходимо пострадать, быть сосланным хоть на несколько лет. Одно время имел огромный успех писатель, весь литературный талант которого заключался в его длинной, красивой бороде, но он написал небольшой рассказ и выступил с ним, вернувшись прямо из политической ссылки. Стихотворная форма презиралась. Остались только: «Сейте разумное, доброе» или «Вперед, без страха и сомненья» [6], что и цитировалось до приторности. Пушкин и Лермонтов покрылись на полках пылью.

На одном из сборищ, в отдельной комнате ресторана, появился Чехов. Кичеев, знакомя нас, шепнул мне:

— Вот кто далеко пойдет.

Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без излишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.

Через час можно было определить еще две отметных черты.

Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, — в помине не было этой улыбки, которая не сходит с лица двух собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую: «Ах, как мне приятно с вами беседовать» или «У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы».

Его же улыбка — это второе — была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует.

Это у Чехова было на всю жизнь. И было это фамильное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры и, в особенности, у брата Ивана.

Я, конечно, знал его рассказы. Под многими он уже подписывался полной фамилией, но под мелочами его еще держалась подпись «Чехонте».

Незадолго перед этим он поставил свою первую пьесу «Иванов» в частном театре Корша [7]. Написал он «Иванова» в восемь дней, залпом. Предлагать на императорскую сцену он и не пытался. Отдал в частный театр Корша. Там в это время служил чудесный актер Давыдов.

Играли «Иванова» актеры, кажется, очень хорошо. По крайней мере в семье Чехова часто и подолгу хвалили их. Но успех был неровный, а для частного театра это все равно что неуспех.

В московских театральных кругах тогда прислушивались к мнениям двух критиков — Флерова-Васильева и, отчасти, хлыщеватого Петра Кичеева — только однофамильца редактора «Будильника» Николая Кичеева. П. Кичеев грубо бранил пьесу и какими-то соображениями пытался доказать, что Чехов не может быть поэтом, потому что он врач. Флеров — критик, вообще заслуживающий благодарного воспоминания, тоже критиковал пьесу, но кончал приблизительно так: «И все-таки не могу отделаться от впечатления, что у молодого автора настоящий талант» [8].

Что этот талант требует и особого, нового сценического, театрального подхода к его пьесе, — такой мысли не было не только у критиков, но и у самого автора, вообще не существовало еще на свете, не родилось еще.

Я познакомился с «Ивановым», когда пьеса была уже напечатана [9]. Тогда она мне показалась только черновиком для превосходной пьесы.

На нас произвел большое впечатление первый акт, один

из лучших чеховских «ноктюрнов». Кроме того, захватила завидная смелость, легкость, с которой автор срывает маски, фарисейские ярлыки. Но смешные фигуры как будто были шаржированы, некоторые сцены слишком рискованны, архитектоника пьесы не стройная. Очевидно, я недооценивал тогда силы поэтического творчества Чехова. Сам занятый разработкой сценической формы, сам еще находившийся во власти «искусства Малого театра», я и к Чехову предъявлял такие же требования.

И эта забота о знакомой мне сценической форме заслонила от меня вдохновенное соединение простой, живой, будничной правды с глубоким лиризмом.

До «Иванова» он написал две одноактных шутки: «Медведь» и «Предложение» [10]. Они имели большой успех, игрались везде и часто. Чехов много раз говорил:

— Пишите водевили, они же вам будут давать большой доход.

Прелесть этих шуток была не только в смешных положениях, но и в том, что это были живые люди, а не сценические водевильные фигуры, и говорили они языком, полным юмора и характерных неожиданностей.

Но и эти шутки шли на частной сцене.

«Иванов» был напечатан в «толстом» журнале. Ежемесячные журналы, как правило, пьес не печатали, но для Чехова — вот видите — уже было сделано исключение. Правда, гонорар он получил очень маленький, настолько маленький, что, помню, Чехов с трудом поверил мне, когда я ему сказал, что за свою пьесу в еженедельном журнале получил больше чем втрое.

Первое время нашего знакомства мы встречались не часто, даже не могли бы назвать себя «приятелями». Впрочем, я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?

У него была большая семья: отец, мать, четыре брата и сестра. По моим впечатлениям, отношение к ним у него было разное, одних он любил больше, других меньше. На одной стороне была мать, два брата и сестра, на другой — отец и другие два брата. Брат Николай, молодой художник, умер от чахотки как раз в годы нашего первого знакомства. Его другого брата, Ивана, о котором я уже упоминал, я постоянно встречал у Антона Павловича и в деревне, и в Крыму. Он — это я почувствовал особенно ярко после смерти Антона Павловича — необыкновенно напоминал его голо-

сом, интонациями и одним жестом: как-то кулаком по воздуху делать акценты на словах.

Я не знаю точно, какое отношение было у А. П. к отцу, но вот что раз он сказал мне.

Это было гораздо позднее, когда мы уже были близки. Мы оба были зимой на Французской Ривьере и однажды шли вдвоем с интимного обеда от известного в то время профессора Максима Ковалевского — у него была своя вилла в Больё. Мы шли «зимней весной», в летних пальто, среди тропической зелени, и говорили о молодости, юности, детстве, и вот что я услыхал:

— Знаешь, я *никогда* не мог простить отцу, что он меня в детстве сек.

А к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросит:

— Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?

— Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. — Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.

И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.

Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д.

И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью. Впоследствии, судя по опубликованным письмам, это даже возбуждало временами ревность его жены, О. Л. Книппер.

Антон Павлович очень рано стал «кормильцем» всей семьи и, так сказать, главой ее. Я не помню, когда умер отец. Я встречал его редко. Осталась в памяти у меня невысокая суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами.

Первые годы А. П. постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма А. П—ча, опять-таки как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает,

как платят издатели, занимал много места в наших беседах.

Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к деньгам, как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так: богатство — это их личное дело, его нисколько не интересует и не может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним.

Когда бывал в Монте-Карло, играл, но очень мало и сдержанно, ни разу не зарывался; большею частью был в небольшом выигрыше. В московских клубах никогда не играл.

Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены.

Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с э т и м , — он сказал:

— Не надо же будет думать ни о квартирной плате, ни о дровах...

Исключительное счастье человека — быть при своем постоянном любимом деле. Московская жизнь — о провинции и говорить нечего — была наполнена людьми, которые своего дела не любили, смотрели на него только как на заработок. Врач лечил, принимал, делал визиты прежде всего из-за денег; член суда, адвокат по гражданским делам, чиновник любого казенного учреждения, банковский, железнодорожный, конторский, отслуживали свои часы без увлечения, без радости; учитель гимназии, преподавая из года в год одно и то же, остывал к своей науке, а работать для нее еще дома — не у многих хватало энергии и инициативы.

Исключение составляли университет с его профессорами и студентами, театр, музыкальные и художественные учреждения, редакции — очень тонкая наслойка на огромной инертной обывательщине.

В этом смысле актеры — самый счастливый народ: с делом, которому они отдают всю свою любовь, они связаны и всеми своими интересами. Дело заставляет их работать, компания подогревает их энергию, и актер волей-неволей творит как только может лучше.

Писатель, художник, композитор, наоборот, очень одинок; весь заряд энергии находится только в нем самом. И самая любовь его к своему делу подвергается испытанию.

Очень умно говорил Чехов о писателе нашей же генерации Гнедиче:

«Это же настоящий писатель. Он не может не писать. В какие условия его ни поставь, он будет писать — повесть, рассказ, комедию, собрание анекдотов. Он женился на богатой, у него нет нужды в заработке, а он пишет еще больше. Когда нет темы сочинять, он переводит».

У Антона Павловича не было постоянного писательского дела, он не принадлежал ни к одной редакции, ни к театру. Он был врач и дорожил этим. Решительно не могу вспомнить, сколько времени и внимания он отдавал своей врачебной профессии, пока жил в Москве, но помню, как это обстояло в имении Мелихово, куда он переехал со всей своей семьей: он очень охотно лечил там крестьян. По регистрации его приемов в виде отдельных листиков, накалываемых на гвоздь, я видел номер восемьсот с чем-то, это было за один год. По всякого рода болезням. Он говорил, что очень большой процент женских болезней.

Однако как ни дорожил он своим дипломом врача, его писательская работа решительно вытесняла лечебную. О последней никто даже не вспоминал. Иногда это его обижало.

— Позво-ольте, я же врач.

Но и писательской работе он не отдавал всего своего времени. Он не писал так много и упорно, как, например, Толстой или как, живя на Капри, Горький. Читал много, но не запойно, и почти только беллетристику.

Совсем между прочим. Как-то он сказал мне, что не читал «Преступление и наказание» Достоевского [11].

— Берегу это удовольствие к сорока годам.

Я спросил, когда ему уже было за сорок.

— Да, прочел, но большого впечатления не получил.

Очень высоко ценил Мопассана. Пожалуй, выше всех французов.

Во всяком случае, у него было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал [12].

Длинных объяснений, долгих споров не любил. Это была какая-то особенная черта. Слушал внимательно, часто из любезности, но часто и с интересом. Сам же молчал, молчал до тех пор, пока не находил определения своей мысли, короткого, меткого и исчерпывающего. Скажет, улыбнется своей широкой летучей улыбкой и опять замолчит.

В общении был любезен, без малейшей слащавости,

прост, я сказал бы: внутренне изящен. Но и с холодком. Например, встречаясь и пожимая вам руку, произносил «как поживаете» мимоходом, не дожидаясь ответа.

Выпить в молодости любил; чем становился старше, тем меньше. Говорил, что пить водку аккуратно за обедом, за ужином не следует, а изредка выпить, хотя бы и много, не плохо. Но я никогда, ни на одном банкете или товарищеском вечере не видел его «распоясавшимся». Просто не могу себе представить его напившимся.

Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю «кажется», потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетевшим слухам... <...>

Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом. Думаю, что он умел быть пленительным... <...>

После «Иванова» прошло два года. Чехов написал новую пьесу, «Леший». Отдал он ее уже не Коршу, а новой драматической труппе Абрамовой (намечался большой серьезный театр). Одним из главных актеров был там Соловцов, которому Чехов посвятил свою шутку «Медведь».

Я плохо помню прием у публики, но успех если и был, то очень сдержанный [13]. И в сценической форме у автора мне казалось что-то не все благополучно. Помню великолепное впечатление от большой сцены между двумя женщинами во втором действии, — эта сцена потом в значительной части вошла в «Дядю Ваню»; помню монолог самого лесничего (Лешего). Но больше всего помню мое собственное ощущение несоответствия между лирическим замыслом и сценической передачей. Играли очень хорошие актеры, но за их речью, приемами, темпераментами никак нельзя было разглядеть сколько-нибудь знакомые мне жизненные фигуры. Поставлена пьеса была старательно, но эти декорации, кулисы, холщовые стены, болтающиеся двери, закулисный гром ни на минуту не напоминали мне знакомую природу. Все было от *знакомой сцены,* а хотелось, чтобы было от *знакомой жизни.*

Я знавал очень многих людей, умных, любящих литературу и музыку, которые не любили ходить в театр, потому что все там находили фальшивым и часто посмеивались над самыми «священными» сценическими вещами. Мы с нашей интеллигентской точки зрения называли этих людей закоснелыми или житейски грубыми, но это было несправедливо: что же делать, если театральная иллюзия оставляла их *трезвыми.* Виноваты не они, а театр.

А можно ли добиться, чтобы художественное возбуждение шло не от знакомой сцены, а от знакомой жизни?

Что этому мешает или чего недостает? В обстановке сцены, в организации спектакля, в актерском искусстве.

Вопрос этот только-только нарождался...

От «Лешего» до «Чайки» шесть-семь лет. За это время появился «Дядя Ваня» [14]. Чехов не любил, чтобы говорили, что это переделка того же «Лешего». Где-то он категорически заявил, что «Дядя Ваня» — пьеса совершенно самостоятельная. Однако и основная линия, и несколько сцен почти целиком вошли в «Дядю Ваню» из «Лешего».

Никак не могу вспомнить, когда и как он изъял из обращения одну и когда и где напечатал другую пьесу. Помню «Дядю Ваню» уже в маленьком сборнике пьес. Может быть, это и было первое появление в свет. И сначала «Дядю Ваню» играли в провинции. Я увидел ее на сцене в Одессе, в труппе того же Соловцова, с которым Чехов поддерживал связь. Соловцов уже был сам антрепренером, его дело было самым лучшим в провинции; у него в труппе служила моя сестра, актриса Немирович, она же играла в «Дяде Ване» Елену.

Это был очередной, будний спектакль. Пьеса шла с успехом, но самый характер этого успеха был, так сказать, театрально-ординарный. Публика аплодировала, актеров вызывали, но вместе со спектаклем оканчивалась и жизнь пьесы, зрители не уносили с собой глубоких переживаний, пьеса не будоражила их новым пониманием вещей.

Повторюсь: не было того нового отражения жизни, какое нес с пьесой новый поэт.

Таким образом, Чехов перестал писать для театра. Тем не менее мы втягивали его в интересы театрального быта. Так, мы повели борьбу в Обществе драматических писателей и втянули в нее Чехова. Он поддался не сразу, был осторожен, но в конце концов заинтересовался.

Общество драматических писателей, учрежденное еще Островским, носило характер чиновничий. Все дело вел секретарь, занимавший видное место в канцелярии генерал-губернатора. Этот секретарь и казначей [15], тоже очень крупный чиновник, составляли всю головку общества. Надо было вырвать у них власть, ввести в управление писателей, разработать новый устав и т. д. Это было трудно

и сложно. Председатель общества, doyen d'âge * драматургов, Шпажинский, заменивший Островского, был простой фикцией, находился под влиянием секретаря, боялся, что тот будет мстить, пользуясь генерал-губернаторским аппаратом.

«Заговорщики» собирались большею частью у меня. В новое правление проводились я, Сумбатов-Южин, еще один драматург-адвокат и Чехов [16]. Боевое общее собрание было очень горячей схваткой. Мы победили. Но мы вовсе не собирались захватывать доходные места секретаря и казначея. Наша задача была только выработать и провести новый устав, чем мы целый год и занимались, продолжая воевать. В конце концов, однако, мы понесли поражение, нас сумели вытеснить. Обычная история при борьбе партий: мы либеральничали, а надо было с корнем вырвать самую головку, рискуя даже разрывом с канцелярией генерал-губернатора.

Все это время часто встречались с Чеховым. Организаторских дарований он не проявлял, да и не претендовал на это. Он был внимателен, говорил очень мало и, кажется, больше всего наблюдал и мысленно записывал смешные черточки.

Он не писал новых пьес и не стремился на императорскую сцену, но имел там несколько друзей. Чаще других он встречался с Южиным и Ленским. Это были премьеры Малого театра. С Южиным он был на «ты».

Южин был один из крупнейших людей русского театрального мира. После Октябрьской революции стало ходячей поговоркой, что театральный мир держится на трех китах: Южине, Станиславском и Немировиче-Данченко.

Это был тот, кто называется человеком широкой общественности. Как премьер лучшей в мире труппы, он нес сильный, большой репертуар. Он пошел на сцену наперекор желанию отца. Его настоящая фамилия была князь Сумбатов. Он оставил ее для своих драматических сочинений, а для сцены взял псевдоним Южин. Он был драматург со студенческих лет, его пьесы считались очень сценичными, игрались везде, много и всегда с успехом. Он участвовал во всевозможных театральных, литературных и общественных собраниях, обществах, комитетах. Был широко

---

* старший (*фр.*).

образован, начитан и с огромным интересом следил за новой литературой. Поддерживал обширные знакомства со «всей Москвой» ; был членом всех больших клубов, создателем и пожизненным председателем любимого Москвой Литературно-художественного кружка. При всем этом был игрок, то есть вел постоянную крупную игру. Не было в Москве ни одного общественного сборища, в котором не было бы на одном из первых мест Сумбатова-Южина. Это был настоящий любимец Москвы. А летом, вместо отдыха, он ездил в провинцию на гастроли, потом в Монте-Карло проверять выработанную за зиму новую «систему», а оттуда в деревню, в усадьбу к жене, писать пьесу.

Этот человек не знал, что такое лень, и мог бы считаться образцом «кузнеца своего счастья». Он ковал свое положение, не доверяясь легким средствам, а вкладывая в каждый свой шаг энергию, упорство и настойчивость.

В обществе он был неиссякаемо остроумен и умел монополизировать разговор. Успех у женщин имел огромный.

Он был барственно гостеприимен и во всяком умел найти хорошие качества. Это подкупало. В его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов.

Про меня и Сумбатова смолоду говорили: «Их черт веревочкой связал». Наша дружба началась со второго класса гимназии. Но даже в гимназии мы шли не вместе, а параллельно: гимназия в городе была единственная, народу много, так что в каждом классе было по два отделения; я был в одном, Сумбатов в другом. В шестом классе, оставаясь друзьями, мы вступили в принципиальную борьбу. Каждое отделение издавало свой литературный журнал. На какие темы шел спор, не помню, помню только, что мой журнал — я был редактором — назывался «Товарищ» и что мы перестреливались «критиками», «антикритиками» и т. д.

Мы вместе начали играть на сцене в качестве любителей в нашем родном городе Тифлисе.

Мы вместе написали одну пьесу [17], имевшую большой внешний успех.

Встретились в Малом театре как драматурги.

Женились на двоюродных сестрах, он был женат тоже на урожденной баронессе Корф.

У меня он был единственный настоящий друг на всю жизнь. Наша дружба никогда не прекращалась, но мы сильно расходились в наших художественных вкусах. Это было что-то органическое, потому что наше художествен-

ное расхождение началось с самой юности. С возникновением же Художественного театра это расхождение стало резким, и мы много раз становились во враждебные положения. Наше главное дело — театр — шло, как в гимназии, по параллелям.

Он был романтик. Чуть не больше всех поэтов любил Гюго. Он даже имел орден Французской академии за исполнение Карла в «Эрнани» и Рюи-Блаза [18]. И его художественный вкус всегда и во всем клонился в сторону романтической приподнятости.

На этой почве однажды долго и горячо спорили я и Чехов, с одной стороны, и Южин — с другой. Это было у него, в его большом светлом кабинете, на улице, которая после его смерти названа Южинская.

Спорили больше они двое, потому что речь шла обо мне. Незадолго перед этим вышла моя повесть «Губернаторская ревизия», и Чехов из своего имения прислал мне следующее письмо:

«Я, не отрываясь, прочел Вашу «Губернаторскую ревизию». По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех Ваших вещей, какие я знаю. Впечатление сильное, только конец, начиная с разговора с писарем, ведется слегка в пьяном виде, а хочется piano *, потому что очень грустно. Знание жизни у Вас громадное, и, повторяю (я это говорил как-то раньше), Вы становитесь все лучше и лучше, и точно каждый год к Вашему таланту прибавляется по новому этажу» [19].

А перед «Губернаторской ревизией» была у меня другая повесть, «Мертвая ткань», которая нравилась Сумбатову. Вот они и заспорили, которая лучше. Спор перешел на общую почву и ярко вскрывал два художественных направления. Южин любил в романе образы яркие и сценичные, Чехов любил даже в пьесе образы простые и жизненные. Южин любил исключительное, Чехов — обыкновенное. Южин, грузин, прекрасный сын своей нации, темперамента пылкого, родственного испанскому, любил эффекты открытые, сверкающие; Чехов, чистейший великоросс, — глубокую зарытость страстей, сдержанность.

А самое важное в этом споре: искусство Южина звенит и сверкает так, что вы за ним не видите жизни, а у Чехова за жизнью, как он ее рисует, вы не видите искусства.

* Здесь — сдержанно (*ит.*).

Чехов спорил на этот раз на редкость долго. Обыкновенно он выскажет свое мнение, а потом, если его продолжают убеждать, он только молча кивнет головой: нет, мол, остаюсь при своем. А тут не переставал искать новые и новые аргументы.

Право, это спорили Малый театр с каким-то новым, будущим, еще даже не зародившимся. С тою разницей, что Художественный сразу возьмет боевой тон, а Чехов спорил мягко, со своей вспыхивающей улыбкой; расхаживал по кабинету крупными шагами, заложив руки в карманы; не как «боец», без азарта.

Скоро писатель Тригорин в «Чайке» скажет:

— Зачем толкаться? Всем места хватит.

И я, и Сумбатов постоянно уговаривали Чехова не бросать писать для театра. Он нас послушался и написал «Чайку».

Писал Чехов «Чайку» в Мелихове. Оно находилось в двух-трех часах от Москвы по железной дороге, и потом одиннадцать верст по проселочной дороге леском. В имении был довольно большой одноэтажный дом. Туда часто наезжали гости. Чехов положительно любил, чтобы около него всегда было разговорно и весело. Но все-таки чтобы он мог бросить всех и уйти к себе в кабинет записать новую мысль, новый образ.

Был хороший сад с прямой красивой аллеей, как в «Чайке», где Треплев устроил свой театр.

По вечерам все играли в лото. Тоже как в «Чайке».

В эти годы близким человеком у Чехова был новый писатель Потапенко. Он выступил с двумя повестями: «Секретарь его превосходительства» и «На действительной службе» — и сразу завоевал имя. Он приехал из провинции. Был очень общителен, обладал на редкость приятным, метким, трезвым умом, заражал и радовал постоянным оптимизмом. Очень недурно пел. Писал много, быстро; оценивал то, что писал, невысоко, сам острил над своими произведениями. Жил расточительно, был искренен, прост, слабоволен; к Чехову относился любовно и с полным признанием его преимущества. Женщины его очень любили. Больше всего потому, что он сам любил их и — главное — умел любить.

Многие думали, что Тригорин в «Чайке» автобиографичен. И Толстой где-то сказал так [20]. Я же никогда не мог отделаться от мысли, что моделью для Тригорина скорее всех был именно Потапенко.

Нина Заречная дарит Тригорину медальон, в котором вырезана фраза из какой-то повести Тригорина:

«Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее».

Эта фраза из повести самого же Чехова [21], и дышит она самоотверженностью и простотой, свойственной чеховским девушкам. Это давало повод ассимилировать Тригорина с самим автором. Но это случайность. Может быть, Чехов полюбил это сильное и нежное выражение женской преданности и хотел повторить его.

Для характеристики Тригорина ценнее его отношение к женщинам, а оно не похоже на Антона Павловича и ближе к образу Потапенко.

Вообще же это, конечно, ни тот, ни другой, а и тот, и другой, и третий, и десятый.

«Чайка» — произведение необычайно искреннее, много частностей могло быть взято прямо из жизни в Мелихове. Называли даже девушку, якобы послужившую моделью для Нины Заречной, приятельницу сестры Антона Павловича. Но и здесь черты сходства случайные. Таких девушек в то время было так много. Вырваться из глуши, из тусклых будней; найти дело, которому можно было бы «отдать себя» целиком; пламенно и нежно пожертвовать собой «ему» — таланту, взволновавшему ее мечты. Пока женские права были у нас грубо ограничены, театральные школы были полны таких девушек из провинции.

Антон Павлович прислал мне рукопись [22], потом приехал выслушать мое мнение.

Не могу объяснить, почему так врезалась мне в память его фигура, когда я подробно и долго разбирал пьесу. Я сидел за письменным столом перед рукописью, а он стоял у окна, спиной ко мне, как всегда заложив руки в карманы, не обернувшись ни разу по крайней мере в течение получаса и не проронив ни одного слова. Не было ни малейшего сомнения, что он слушал меня с чрезвычайным вниманием, а в то же время как будто так же внимательно следил за чем-то, происходившим в садике перед окнами моей квартиры; иногда даже всматривался ближе к стеклу и чуть поворачивал голову. Было ли это от желания облегчить мне высказываться свободно, не стеснять меня встречными взглядами, или, наоборот, это было сохранение собственного самолюбия?

В доме Чехова вообще не очень любили раскрывать свои души, и все хорошие персонажи у него деликатны, молчаливы и сдержанны.

Что я говорил Чехову о своих первых впечатлениях, сказать сейчас трудно, да и боюсь я начать «сочинять». Один из самых больших грехов «воспоминаний», если рассказывающий смешивает, *когда* что происходило, и ему кажется, что все-то он великолепно предвидел.

Мое дальнейшее поведение с «Чайкой» достаточно известно, и к творчеству Чехова я в эту пору относился действительно с чувством влюбленности. Но очень вероятно, что я давал ему много советов по части архитектоники пьесы, сценической формы. Я считался знатоком сцены и, вероятно, искренне делился с ним испробованными мною сценическими приемами. Вряд ли они были нужны ему.

Однако одну частность я очень хорошо запомнил.

В той редакции первое действие кончалось большой неожиданностью: в сцене Маши и доктора Дорна вдруг оказывалось, что она его дочь. Потом об этом обстоятельстве в пьесе уже не говорилось ни слова. Я сказал, что одно из двух: или этот мотив должен быть развит, или от него надо отказаться совсем. Тем более, если этим заканчивается первый акт. Конец первого акта по самой природе театра должен круто сворачивать положение, которое в дальнейшем будет развиваться.

Чехов сказал:

— Публика же любит, чтобы в конце акта перед нею поставили заряженное ружье.

— Совершенно верно, — ответил я, — но надо, чтоб потом оно выстрелило, а не было просто убрано в антракте.

Кажется, впоследствии Чехов не раз повторял это выражение [23].

Он со мной согласился. Конец был переделан.

Когда зашла речь о постановке, я сказал, что пора ему наконец дать пьесу в Малый театр. И уже начал говорить о возможности распределения ролей, как вдруг Чехов протянул мне письмо.

От Ленского к Чехову.

Ленский был первый актер Малого театра. Южин только недавно занял такое же приблизительно положение. Один из самых обаятельных русских актеров. По богатству обаяния с ним будут сравнивать со временем только Качалова.

Изумительный мастер нового грима, интересного образа; увлекался живописью, сам был немного художник. К этому времени он уже остыл к актерскому делу, любил приготовить роль и сыграть ее два-три раза, а потом играл

скучая. Зато весь отдался школе, режиссуре школьных спектаклей и приготовлению новых кадров.

Ненавидел администрацию своего театра и не скрывал этого. Мечтал о создании новых условий сценической работы; готовил из своих учеников целую новую труппу.

В моих воспоминаниях я не раз возвращаюсь к Ленскому. Он играл почти во всех моих пьесах, мы с ним были близки и домами; в последнее время нас особенно сближало школьное дело и недовольство управлением Малого театра.

Он был старше нас на восемь — десять лет. Чехов дорожил знакомством с ним.

Письмо было по поводу «Чайки» [24]. Оказалось, Ленский уже прочитал ее, и вот что он писал:

«Вы знаете, как высоко я ценю Ваш талант, и знаете, как вообще люблю Вас. И именно поэтому я обязан быть с Вами совершенно откровенен. Вот Вам мой самый дружеский совет: бросьте писать для театра. Это совсем не Ваше дело».

Таков был смысл письма, тон его был самый категорический. Кажется, он даже отказывался критиковать пьесу, до такой степени находил ее не для сцены.

Давал ли Чехов читать «Чайку» кому-нибудь еще в Малом театре, не помню, судьба ее сразу переносится в Петербург...

И. Н. ПОТАПЕНКО

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С А. П. ЧЕХОВЫМ

(К 10-летию со дня его кончины)

Десять лет прошло, а я до сих пор не мог написать о нем ни строчки. В то время как другие уже написали о нем так много...

Меня часто спрашивали: почему? — и я сам спрашиваю себя об этом и вижу только одно: потому, что это тяжело.

Легко писать об умершем, глядя со стороны; легко было писать о нем как о художнике, рассказчике, драматурге. Но всем этим он для меня был не больше, чем для других: предметом восхищения. Главное же, чем он был для меня: человеком, которого я нежно любил.

Не *другом*, — это я считаю нужным сказать в самом начале и думаю, что у него не было ни одного *друга*, — но товарищем в самом прекрасном значении этого слова. Было у нас много общей жизни, и, должно быть, в этом и ответ.

Как писать об умершем, которого любил живым? При всяком воспоминании плакать хочется. Еще недавно пошел смотреть его «Вишневый сад», и хотелось *плакать*, — не от пьесы, не над судьбой героев, а о нем.

Его судьба так похожа на судьбу вишневого сада: и его также срубил беспощадный топор в самом роскошном цвету.

До сих пор не могу примириться с тем, что его нет. И даже не с фактом, который нелеп, не логичен и груб, как все в жизни, а с ужасной несправедливостью...

А впрочем — бесполезный разговор.

Юности я его не знаю. Моя первая встреча с ним произошла, когда у него было уже хорошее литературное имя [1]. Он выпустил несколько книг, был написан и поставлен на сцене «Иванов». Зародилась мысль о поездке на Сахалин [2].

Я говорю только о встрече. Как это ни странно, но знакомство наше началось не с первой, а со второй встречи.

Первая же была что-то смутное. Я жил тогда в Одессе, писал в местных газетах, служил в городской управе. Моя прикосновенность к литературе была самая скромная: несколько повестушек, не остановивших на себе ничьего внимания.

Гостила в городе труппа московского Малого театра, и приехал он. Обо мне он не имел ни малейшего понятия, но ему напел про меня живший тогда в Одессе его товарищ по таганрогской гимназии — писатель, впоследствии известный толстовец, П. А. Сергеенко, и привез его ко мне на дачу.

По всей вероятности, он и сам был удивлен незначительностью и ненужностью этой встречи. Я смотрел на него снизу вверх и ждал от него чего-то особенного.

Но он был не из тех, что любят производить впечатление. Напротив (это уж я потом, гораздо позже, разглядел), когда он замечал, что от него ждут и, что называется, смотрят ему в рот, он как будто старался как можно меньше отличаться от всех. Он тогда прятал себя.

Поговорили о чем-то местном и случайном, и он уехал, должно быть пожалев о потраченном времени.

Когда потом, года через четыре, мы встретились в Москве, мы точно в первый раз увидели друг друга. Одесская встреча не оставила никаких следов[3].

Сближение наше шло очень медленно, — в этом отношении мы оба были люди трудные. У меня это происходило скорее от неуверенности в себе, у него же, как я думаю, от осторожности.

Его всегдашнее спокойствие, ровность, внешний холод какой-то, казавшейся непроницаемой, броней окружали его личность. Казалось, что этот человек тщательно бережет свою душу от постороннего глаза.

Но это не та скрытность, когда человек сознательно прячет что-то такое, что ему неудобно показать и выгоднее держать под прикрытием. Нет, это было нечто совсем другое, чего я долго не мог понять в нем, а потом — не знаю, понял ли или только придумал для себя правдоподобное объяснение.

Мне кажется, что он весь был — творчество. Каждое мгновение, с той минуты, как он, проснувшись утром, открывал глаза, и до того момента, как ночью смыкались его веки, он творил непрестанно. Может быть, это была

подсознательная творческая работа, но она была, и он это чувствовал.

Творчество стыдливо, и у него это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было.

Каждому художнику слова ведомо это ощущение: работая в присутствии другого, он чувствует, как будто тот слышит его мысли, видит образы, возникающие в его голове, следит глазами за их чеканкой, отделкой, за всем интимным процессом творчества. Это — мучительное чувство, которого обыкновенно не понимают и не признают домашние, близкие.

«Я тебе не помешаю?..» — говорит жена или сестра, садится рядом и читает книгу и... мешает, потому что мысли и образы стыдятся, бледнеют, прячутся.

Но я знал писателей, которые свыкались с этим, конечно по необходимости, за отсутствием места, и работа их теряла в качестве. Я знал одного, который должен был писать, держа на коленях ребенка, потому что иначе было нельзя. И это была трагедия, которую он покорно переносил с улыбкой.

Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила, и так как он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески, то ему нужно было прятать эту работу, и вот почему самые близкие люди всегда чувствовали между ним и собою некоторое расстояние.

И потому я утверждаю, что у Чехова не было друзей. То обстоятельство, что после его смерти объявилось великое множество его друзей, я не склонен объяснять ни тщеславием, ни самозванством. Я уверен, что эти люди вполне искренне считали себя его друзьями и по своему настроению таковыми и были, то есть они любили его настоящей дружеской любовью и готовы были открыть перед ним всю душу. Может быть, и открывали, и наверно т а к , — у него было то неотразимое обаяние, которое каждую душу заставляло отдаваться е м у , — потому-то он и знал так хорошо тончайшие извилины человеческой души. Но он-то свою не раскрывал ни перед кем.

Может быть, это-то знание, эта изумительная способность видеть человека насквозь и была причиной того, что он не мог никого близко подпустить к своей душе. Душа эта была какая-то необыкновенно правильная. Бывают счастливцы с изумительно симметрическим сложением

тела. Все у них в идеальной пропорции. Такое тело производит впечатление чарующей красоты.

У Чехова же была такая душа. Все было в ней — и достоинства, и слабости. Если бы ей были свойственны только одни положительные качества, она была бы так же одностороння, как душа, состоящая из одних только пороков.

В действительности же в ней наряду с великодушием и скромностью жили и гордость, и тщеславие, рядом с справедливостью — пристрастие. Но он умел, как истинный мудрец, управлять своими слабостями, и оттого они у него приобретали характер достоинств.

Удивительная сдержанность, строгое отношение к высказываемым им мнениям, взвешивание каждого слова придавали какой-то особенный вес его словам, благодаря чему они приобретали характер приговора.

Читая многочисленные воспоминания о Чехове, я получаю странное впечатление: все как будто боятся, чтобы он хоть на минуту не показался человеком с горячей кровью, с живыми человеческими страстями и человеческими слабостями.

Может быть, это оттого, что наиболее искренние воспоминания относятся к последнему периоду его жизни, к тому времени, когда полную власть над его организмом взяла болезнь и он, сознательно или нет, тщательно берег свои силы. Обстоятельства так сложились, что в эти годы, прожитые им в Крыму, я его не видел.

В тот же период, когда мы с ним встречались в Москве и Мелихове, отчасти в Петербурге, он не был так бережлив. Можно пожалеть об этом с точки зрения нашей художественной жадности. Если б он и тогда берег свои силы, может быть, организм его смог бы дальше бороться с недугом и мы владели бы еще несколькими художественными созданиями.

Может быть. Но жизнь предъявляет свои права, и художника, носителя божественного огня, так же неотразимо влечет к ней, как и простого «поденщика ненужного».

Может быть, я не знаю Москвы или пребывание мое в ней в течение двух-трех зим как-нибудь особенно сложилось, но у меня осталось такое впечатление: там люди дома работают в одиночку, посещают друг друга по делам и в семейные праздники. Когда же хотят собраться тесным кружком, для дружеской беседы, то идут в ресторан, обык-

новенно по окончании всех дел, после театра, поздно за полночь и сидят долго, до утра.

А в ресторане — вино, и с каждым получасом беседа становится живей и горячей. Под утро едут за город слушать цыган, а возвращаются домой под звон колоколов, призывающих к заутрене.

А днем каким-то чудом встают вовремя, откуда-то набираются бодрости и сил и занимаются делами.

Чехов жил тогда в Мелихове, своем именьице, которое купил несколько лет раньше, и довольно часто приезжал в Москву. Останавливался он обыкновенно в «Большой Московской» гостинице, но мне, после долгих хлопот, удалось наконец уговорить его останавливаться у меня.

А жил я на Большой Никитской, занимая две скромные меблированные комнаты в нижнем этаже.

Признаюсь, всякий его приезд был для меня праздником, да и не для меня только, а и для всех членов небольшого кружка.

Сейчас же об этом посылались известия в «Русские ведомости» Михаилу Алексеевичу Саблину, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый. Соиздатель «Русских ведомостей», почтенного возраста человек, лет на двадцать старше каждого из нас, он питал трогательную нежность к Антону Павловичу. Всегда занятый по газете (он заведовал хозяйственной частью), с виду суровый и благодаря своей комплекции несколько тяжеловесный на подъем, он оживлялся и обращался в юношу, когда приезжал Чехов, и уж тут дни и вечера, сколько бы их ни было, превращались в праздники.

Нам и без того приходилось завтракать и обедать в трактирах. Но это делалось как нечто неизбежное, а тут все это приобретало своего рода торжественность.

Москвич и знаток Москвы, М. А. Саблин знал, где что нужно есть и пить. Завтракать, например, было необходимо у Тестова, и притом в виде закуски есть не иначе как грудинку, вынутую из щей.

Другой великий знаток этого дела, Вукол Михайлович Лавров, знал потаенные уголки, где можно было получить какую-то необыкновенную ветчину и изумительную белорыбицу, которая таяла во рту, как масло. С этой целью ездили куда-то далеко, на неведомый мне край Москвы, в места, куда я без посторонней помощи ни за что не попал бы.

В дальнейший репертуар входили «Большой Москов-

ский», «Эрмитаж», а иногда и путешествие за город на тройке.

Любил отдыхать с нами В. А. Гольцев. Попивая красное вино, которое было вредно для его сердца, он держал остроумные, подчас едкие речи и поддерживал дружески высокий тон.

После спектакля иногда урывал час-другой и приезжал А. И. Южин, вместе с ним выступали на очередь театральные темы, а красное вино заменялось шипучим.

Антон Павлович иногда ворчал и слегка упирался, но его легко было уговорить. Не мог же он не принимать в расчет, что все это — по случаю его приезда, и не решился бы нанести кровную обиду М. А. Саблину, который в его обществе молодел на двадцать лет.

И он, легонько покашливая, с чуть-чуть сердитым лицом, покорно ехал, а потом оживлялся, вступал в дружеский спор с Гольцевым и был неистощим по части очаровательных, до упаду смешных глупостей и милых неожиданностей, в которых он был неподражаемый мастер.

В. М. Лавров, наш общий приятель, бывал с нами редко, и то это уж означало какой-нибудь тяжеловесный обед с сложной программой и «посторонними» участниками, то есть людьми хорошо знакомыми, но не близкими.

И уж тут была обязательна его речь — своеобразная, почти от начала до конца казавшаяся безнадежно запутанной, с отступлениями, с попутными анекдотами, с невероятными, но необыкновенно характерными словечками, но всегда кончавшаяся какой-нибудь яркой и уморительной неожиданностью.

Раньше, когда я мало знал его, я всегда при начале его речи испытывал опасение, что вот человек зайдет в такие дебри, откуда ему никогда не выпутаться. Но потом я бывал спокоен за конец и всегда находил в его речах своеобразную прелесть.

Не мог обойтись без речи, конечно, и В. А. Гольцев, великий мастер дружеских речей, щедро расточавший красноречие, ум, а также и яд, которым, впрочем, он никого не отравлял.

Зато домосед В. М. Лавров иногда ознаменовывал приезд Чехова из деревни чем-то вроде раута у себя дома. Это были бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь и носившие на себе отпечаток самобытности хозяина. Чехова они утом-

ляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно, но личность В. М. Лаврова его сильно интересовала.

Это был самородок «своей собственной складки». Человек, образовавший себя исключительно своими личными усилиями, отдавший состояние на литературу и затем весь ушедший в свой журнал — «Русская мысль».

К изумлению, я узнал однажды, что он также и самоучка-математик и, в качестве такового, в молодости получил даже какую-то почетную премию в Англии за решение объявленной математической задачи.

Страстный любитель литературы, он читал все выходящее в свет. Писатели были его первые гости: подаренный ему экземпляр с автографом он принимал трепетными руками и нес в свой шкап бережно, как святыню.

Но это, разумеется, не мешало ему в издательском деле быть купцом, а где надо — слегка и поприжать того же самого писателя.

Он прекрасно знал польский язык (кстати, никогда не хотел объяснить, где он ему научился) и был не только почитателем, но и, несомненно, лучшим переводчиком польских авторов.

Помню, как однажды, благодаря этому своему пристрастию, он поставил в довольно странное положение целое общество препочтенных писателей, в том числе, если память мне не изменяет, и Чехова.

В Польше праздновали юбилей (кажется, 25-летний литературной деятельности) Генриха Сенкевича [4]. Лавров, который перевел и поместил в «Русской мысли» почти все произведения этого автора и находился с ним в переписке, разумеется, не преминул и в Москве устроить юбилейный обед. В «Эрмитаже» собралось человек двадцать пять литераторов, говорились речи и пили за единение народностей, за польскую литературу и за талантливого ее представителя, польского юбиляра. Все было искренне, трогательно и хорошо.

В заключение послали юбиляру в Варшаву сердечное поздравление, под которым все подписались поименно.

На следующий день на имя Лаврова была получена ответная телеграмма от юбиляра:

«Благодарю, если это искренно».

Бедный Лавров долго после этого ни с кем не заговаривал о польской литературе.

В Москве Чехов оставался по нескольку дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских

глаз — здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима.

А главное — здесь не было его уютного кабинета, с которым у него было связано уже столько творческих воспоминаний.

Зато и уезжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой, стремился или кто-нибудь позвал его вечером, и он обещал. Все равно — неотразимое побуждение было сильнее всего.

Просто ему надоедало довольно-таки бессмысленное шумное времяпровождение московское, и потянуло в тихое Мелихово, в его кабинет, или, может быть, в душе созрело что-нибудь, требовавшее немедленного занесения на бумагу. И он уезжал, несмотря ни на что.

А случалось и так, что внезапно уезжал он, чтобы избежать чего-нибудь предстоящего, что было ему неприятно.

Надо сказать правду, надоедали ему очень, особенно когда он останавливался в «Большой Московской» гостинице. Стучались в дверь люди, которых он не знал, и которые, в сущности, не имели никакого права отнимать у него время и покой.

У многих есть такой взгляд на писателя, что не только произведения его, но и он сам есть общественное достояние. И приходят и сидят по русскому безобразному обычаю часы, целый вечер говорят о себе, задают умные вопросы или молчат, заставляя так или иначе занимать их.

Конечно, можно не принять или, приняв и убедившись, что по-пустому, отвадить, и есть такие решительные писатели, что даже на дверях делают устрашающие надписи.

Но Чехов этого не умел и не считал себя вправе. Он страдал неизлечимой болезнью, как бы не обидеть человека.

А в гостинице у него был «свой» номер (кажется, пятый), который и потом долго еще назывался «чеховским номером», и это знали, и туда стучались.

Но с незнакомым человеком еще как-нибудь можно разделаться, если з а н я т , — ну, сослаться на эту занятость. Но бывало хуже: друзья, вот именно из тех, что впоследствии, после его смерти, почувствовали себя его друзьями и поведали об этом миру.

Иной «друг» приехал по своим делам из Петербурга и, благополучно окончив свои дела, решил провести вечерок

с Чеховым. Тут уж, при его исключительной боязни обидеть, — для него была настоящая беда.

Я знал, например, одного писателя [5] (ныне умершего), который считал себя закадычным другом Чехова, и Антон Павлович относился к нему искренне и сердечно, но совершенно не мог выносить его, как он говорил, «трагического смеха».

И помню, что однажды, пробыв в Москве только один день, А. П. пришел домой и объявил, что сейчас же уезжает в Мелихово.

— Почему?

— Встретил N. Вчера приехал. Остановил извозчика, заключил меня в объятия, узнал, что я живу здесь, и объявил, что сегодня придет к нам на весь вечер. Вот и тебе велел кланяться. Ну, так ты уж его прими, а обо мне скажи... ну, скажи что хочешь.

И сколько я ни доказывал ему, что это можно устроить как-нибудь проще — уйти куда-нибудь, послать N записку, — он оставался непоколебим:

— Все равно он найдет меня и будет смеяться. Ведь он юморист и ужасно любит смеяться, — а это трагедия.

И он в тот же день уехал в деревню, несмотря на то, что у него в «Русской мысли» было дело, для которого он вновь приехал в Москву дней через пять.

Но к чему он чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям, в особенности если подозревал, что от него потребуется активное участие.

Мне памятен один приезд в Москву покойного Д. В. Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей. Было что-то необыкновенно торжественное, кажется, единственное и небывалое в летописях литературы.

Так как писатель иногда помещал свои вещи в «Русской мысли», то В. М. Лавров захотел устроить ему в Москве «филиальное чествование» [6].

Конечно, это не могло быть даже и тенью петербургского юбилея, но все же — «Эрмитаж», несколько десятков приглашенных, заранее предусмотренные речи.

Само собою разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича. С одной стороны, хотелось показать петербургскому литератору лучшее, что есть в литературной Москве и чем она гордится, а с другой — имелись в виду особые отношения между Чеховым и Григоровичем.

Ведь старый писатель первый заметил талант Чехонте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо [7].

Антону Павловичу все это было поставлено на вид — и уж само собою разумелось, что он будет украшением «филиального чествования».

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. Он, обыкновенно ко всему и ко всем относившийся с добродушной терпимостью, для всех находивший извиняющие объяснения, вдруг сделался строг ко всему и ко всем, просто огрызался, так что лучше было к нему не приставать.

К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой, по-видимому, речи:

— Глубокоуважаемый и досточтимый писатель... Мы собрались здесь тесной семьей... — Потом, после молчания, опять: — Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый...

— Что это ты? — спросил я.

— А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича.

— Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что-нибудь.

— Так я же завтра уезжаю.

— Куда?

— В Мелихово.

Я возмутился:

— Как же так? Григорович, его письмо... Такие отношения... Наконец, разочарование Лаврова и всех прочих...

И тут он начал приводить свои доводы:

— Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь. И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров — и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что и я должен буду плакать, а я это-

го не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд. Ведь ты же на себе испытал, что значит не плакать от умиления.

Тут А. П. имел в виду маленькую историю, которая произошла со мной года три раньше, когда Академия поощрила меня половинной Пушкинской премией. Д. В. Григорович, участвовавший в заседании, оказал мне совершенно исключительную и ужасно трогательную любезность: прямо из Академии приехал ко мне, которого к тому же не знал и никогда не видал, — чтобы сообщить о лестном для меня событии.

И что же? Я огорчил его. Смущенный, растерявшийся, я только и мог пожать его руку и простыми словами, как умел, высказать ему благодарность. И старик потом кому-то жаловался, вспоминая, как в прежние времена писатели были отзывчивы; приводил известный рассказ о встрече Белинского с Достоевским...[8]

А все то, что говорил Чехов, совсем не казалось ему шуткой. Он действительно испытывал страдание, представляя себя героем нарисованной им сцены. И, в сущности, сцена была изображена вполне правдиво. Так именно и должно было произойти.

И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню, давши мне на прощанье такого рода ответственное поручение:

— А ты там как-нибудь уж... уладь. Главное, успокой Лаврова.

Но уладить было трудно. В. М. Лавров чуть не заболел, когда узнал о бегстве А. П. Самый главный кирпич из его великолепной постройки выпал, и самая постройка грозила развалиться.

Но, разумеется, все обошлось. Григорович приехал, обед состоялся.

Я на нем оскандалился на всю жизнь: вняв увещаниям В. А. Гольцева, покусился на речь о Чехове, то есть о том, как он страстно желал быть на обеде, чтобы самому лично и т. д., но болезнь заставила его уехать в деревню. И господь наказал меня за ложь.

С первых же слов я, никогда еще в жизни не выступавший с публичными речами, сбился. Я только и успел упомянуть об Антоне Павловиче Чехове, который...

А милый старик, видя, должно быть, мое затруднение, сейчас же и выручил меня и сам заговорил о Чехове, о том,

как он открыл его талант, о его письмах, словом — все то, что мы теперь так хорошо знаем.

В Мелихове А. П., окруженный родными, вел тихую жизнь, наполненную чтением книг, которых выписывал множество, и неторопливой работой. Жили тут отец его, Павел Егорыч, мать, Евгения Яковлевна, сестра, Марья Павловна, и младший брат, Михаил Павлович.

Но, несмотря на присутствие в доме старших родных, главой его был А. П. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось.

К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, — так по крайней мере мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кормильцем был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как, бывало, тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам.

Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе. И он говорил, что отец тогда был жестоким человеком.

И не только того не мог простить А. П. отцу, что он сек его — его, душе которого было невыносимо всякое насилие, — но и того, что своим односторонне-религиозным воспитанием он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры.

«Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, — говорит он в одном письме к И. Л. Щеглову, — то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

И далее, говоря о школьниках известного в то время педагога Рачинского: «Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием» [9].

И хотя в то время все это уже давно кончилось и старик уже совершенно перестал быть действующим лицом в его жизни, а только сидел и, постоянно молясь и читая ду-

шеспасительные книги, беззаботно доживал свой век, радуясь знаменитости своего сына, и хотя А. П. относился к нему дружески и почтительно и ни единым намеком не напоминал о прошлом, но прошлое оставило слишком глубокий след в чуткой душе и не было забыто.

И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношения к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А. П., она получила этот голос.

И уж платила она ему какой-то благоговейной нежностью. Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А. П. было тотчас же, как по щучьему веленью, исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она била тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех.

Братья его в то время были уже взрослые люди, и каждый занимал определенное положение. Старший, Александр Павлович, жил в Петербурге, и я не имел возможности близко наблюдать его отношения к А. П. Другие же, Иван и Михаил, к которым он относился по-товарищески, помимо чисто братской привязанности, выделяли его как главу семьи, благодаря таланту которого скромное и дотоле неведомое имя — Чехов — было окружено почетным ореолом.

Когда в Мелихово приезжали гости, которые были Антону Павловичу приятны, он превращался в заботливого хозяина и проявлял самое радушное гостеприимство и, главное, — заботу о том, чтобы все были сыты и хорошо спали.

В изданных письмах А. П. он часто упоминает о том, что я пел в Мелихове. Это правда. Музыкой и пением в Мелихове были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша Л. С. Мизинова, большая приятельница А. П. и всей его семьи, садилась за рояль, я пел. А Антон Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно нравились. Большим расположением его пользовался Чайковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара.

Но в письмах А. П. стыдливо умолчал о том, что и он сам пел, — правда, не романсы, а церковные песнопения. Им

научился он в детстве, когда под руководством отца пел в церкви.

У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихири, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и подпевала и Марья Павловна, сочувственно гудел Павел Егорыч, а Антон Павлович основательно держал басовую партию.

И это, видимо, доставляло ему искреннее удовольствие. Глядя на его лицо, казалось, что в такие часы он чувствовал себя ребенком.

Я не знаю, как он работал, когда был один. Этого, кажется, никто не знал. Может быть, тогда он сидел за столом не отрываясь. Но в те дни, когда в Мелихове бывали гости, он почти все время был с ними.

Но, несомненно, он и тогда работал. Творческая деятельность не покидала его ни на минуту. И случалось, что во время шумного разговора или музыки он вдруг исчезал, но не надолго: через несколько минут он появлялся, и оказывалось, что в это время он был у себя в кабинете, где написал две-три строчки, которые сложились в его голове. Так делал он довольно часто в течение дня.

Но вечером, когда, около полуночи, все расходились по своим комнатам, ложились в постели и в доме потухали огни, в его кабинете долго еще горела лампа. Тогда он работал, как хотел, иногда засиживаясь долго, а на другой день вставал позже других...

Как относился Чехов к своему врачебному званию? Должен сказать, что я почти никогда не вспоминал о том, что он врач; ничем он не давал повода вспомнить об этом, никогда не вел он разговора о медицине и медицинском.

Конечно, особенно распространяться об этом перед неспециалистом и невеждой не было и смысла, но ведь это прорывается. Когда у человека есть влечение и любовь к какому-нибудь делу, то они будут сквозить во всем. У него же этого не было заметно...

У кого-то я прочитал, будто Антон Павлович страстно любил лечить. Вот чего я никогда не находил в нем. Когда к нему обращались за врачебным советом, он отделывался самыми общими местами, и видно было, что он хотел поскорее кончить этот разговор.

Может быть, это объяснялось скрытой досадой, что он так отошел от медицины, на которую потратил столько лет и энергии, или просто это было сознание, что он в этом деле сильно отстал и не может стоять на надлежащей высоте.

Ведь тут, за что бы он ни взялся, он непременно сделает хуже, чем другие врачи, которые практикуются и следят за наукой. А ему была свойственна какая-то особенная гордость совести: все делать как следует. И он никогда не брался за то, чего не мог сделать наилучшим образом. Ведь вот, например, он всегда мечтал о том, чтобы иметь публицистические статьи. Об этом он упоминает и в своих письмах. Но он не писал их, потому что они ему не удавались. То есть они были бы не хуже всего того, что пишется, но это его не удовлетворяло.

Поэтому он, не отказывая в советах, когда к нему приставали, не углублялся и ограничивался средствами, которые если и не помогут, то во всяком случае не могут повредить: сода, касторка, компрессы, припарки...

Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился — должно быть, опять-таки от сознания, что может сделать не так, как следует, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, вычищал и перевязывал [10].

Я думаю, что, если б за операцией пришел к нему помещик, он послал бы его к специалистам. Но для мужика специалист недостижим, и все равно лучше ему никто не сделает.

Однако ж меня, например, он вылечил от экземы, которой наградили меня в одной из лучших московских парикмахерских на Кузнецком мосту. Специалисты прижигали и вырывали волосы и вообще истязали меня самыми последними средствами, а он взглянул и сказал:

— Пустое. Вот я тебе выпишу салициловую мазь.

И выписал. И от этой мази экзема моя прошла бесследно.

И все-таки утверждение, будто он любил лечить, остается произвольным. Иногда он будто и сам себя хотел уверить в этом и, например, своему товарищу по гимназии писал: «Медицина — моя законная жена, литература — незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга» [11].

Но на это нельзя смотреть иначе, как на шутку. Пусть за год перед этим он даже исполнял обязанности участкового врача (по случаю холеры) в своем уезде и своею деятельностью заслужил даже особую благодарность земцев.

Но это вытекало скорее из сознания долга, чем из любви к делу. И даже в период этой работы, которая с виду увлекала его и ради которой он на время почти совсем отказался

от писания, он в одном из своих писем Суворину так характеризовал это занятие:

«Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым *служишь*, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится»[12].

Но думая так, он носился по своему участку, входил в сношения с местными помещиками, уговаривал их жертвовать деньги. И, получив от земства на это какую-то сотню рублей, устроил свой участок образцово.

И окружавшие его люди в самом деле должны были думать, что он любит лечить и обожает свое лечебное призвание, а на литературу смотрит как на нечто второстепенное. А он в это время писал:

«Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня: «Непременно сию минуту, пожалуйста»... Все это противно, должен я это сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвота, сифилис — тьфу! Сладкие звуки и поэзия, где вы?»[13]

Кажется, ясно и не может быть подвергнуто сомнению, что искреннего влечения к врачебной деятельности А. П. не питал. Заблуждение же наблюдателей объясняется тем, что за влечение они принимали исключительно развитое в нем чувство долга, которое заставляло его с улыбкой на губах делать то, что было ему неприятно и даже противно...

Такова была его деятельность по холере. Он держался мнения, что, получив медицинское образование и живя в местности, которой угрожает эпидемия, он не имеет права отказаться от применения своих познаний. Он, который считался равнодушным к общественным вопросам, как раз равнодушия-то и не признавал и относился к нему с строгим осуждением.

Между прочим, для доказательства его любви к лечению приводят примеры: как он не отходил от постели своей опасно заболевшей жены и сам ставил термометр, компрессы и т. п., с каким вниманием он осматривал и выслушивал больного тогда артиста Московского Художественного театра Артема. Но это говорит только о том, что он любил жену и дружески относился к Артему.

Наверно, можно было бы привести и другие подобные

случаи. Но для того чтобы ухаживать за страдающими близкими людьми не надо даже быть врачом и любить медицину. Достаточно только их любить и обладать хорошим сердцем. То же самое по отношению к заболевшим близким людям делают и не врачи, с той лишь разницей, что они в этих случаях могут быть менее полезны.

А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своем почти не заботился.

Знал ли он о своем недуге? Может быть, сомневался, может быть, у него была надежда, что его нет, но мысль о нем допускал и иногда, кашляя и считая причиной бронхит, как бы полушутя произносил это слово: «чахотка»...

Да, слово это всегда было у него на уме, как будто он считал себя присужденным рано или поздно сделаться жертвой этой болезни, но находил, что время для этого еще не наступило.

Брату своему он пишет из Москвы в октябре 1893 года: «Маленько покашливаю, но до чахотки еще далеко. Геморрой. Катар кишек. Бывает мигрень, иногда дня по два. Замирания сердца. Леность и нерадение» [14].

Он видит и перечисляет все ее признаки, но как бы нарочно отводит от нее глаза. «Я жив и здоров, — пишет он через несколько дней Суворину, — кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко». А еще позже, когда кто-то в Петербурге сообщил, будто у А. П. чахотка: «Для чего распускать все эти странные, ненужные слухи, ведомо только богу, создавшему для чего-то сплетников и глупцов. Чахотки у меня нет, и кровь горлом не шла уже давно» [15].

Но одно уже то, что он постоянно возвращается к этому и опровергает, показывает, что мысль о чахотке неотступно преследовала его и не давала ему покою. И в то же время он, как будто желая убедить себя в том, что этого действительно нет, ничего не предпринимал против надвигающегося недуга [16].

Да и что он мог предпринять? Как врач он очень хорошо знал, что действительными средствами против чахотки медицина не располагает.

Всякий другой на его месте мог бы заблуждаться на этот счет, но не он. Всякий другой мог бы хвататься за все, что в изобилии предлагалось шарлатанами, но он всему этому знал цену.

Единственным средством, какое могло бы быть действи-

тельным, была радикальная перемена климата, и его он признавал и постоянно мечтал о нем, но оно было недостижимо. Жизнь приковала его к северу, а север незаметно, исподволь подтачивал его силы.

Не могу забыть, как однажды, в вагоне, во время нашего переезда из Москвы в Мелихово, соседом нашим оказался какой-то кашлявший субъект. Он сейчас же познакомился с ним. Сосед назвался помещиком Вологодской губернии.

Антон Павлович с каким-то особенным интересом начал расспрашивать его о болезни, а когда тот с недоумением и недоверием посмотрел на него, он твердо сказал:

— Я — врач.

И после этого сосед выложил перед ним всю подноготную его болезни. Тут были и головокружения, и перебои сердца, и даже, странным образом, геморрой, несколько неглубоких кровохарканий, словом — все то, что бывало и у него самого.

Потом сосед рассказал о двух десятках врачей, у которых он перебывал, и о сотне лекарств, которые он перепробовал. И на это все Антон Павлович сказал ему:

— Все это пустое. Нужно бросить Вологодскую губернию, закатиться куда-нибудь под тропики и пожить там года два-три.

Это было как раз то, о чем он сам мечтал и что было для него недостижимо.

И потом всю дорогу он чрезвычайно внимательно обращался с вологодским помещиком, расспрашивал его, какая у него земля, что он сеет и какие плуги употребляет. А когда нам нужно было на станции Лопасня покинуть поезд, он, почти дружески простившись с ним, сказал:

— А все-таки вам следует пожить под тропиками.

— Ну, где же там, — возразил вологодский помещик, — у меня на плечах имение и большая семья.

— Семью прогоните, а имение продайте и поезжайте! Иначе ничего хорошего не выйдет.

И так как он твердо знал, что «ничего хорошего не выйдет», то ничего и не предпринимал.

Когда при нем говорили о новых средствах, о разных блестящих опытах, он скептически усмехался. Судя по оказавшимся потом результатам — он был прав. Блестящие опыты в этой области и до сих пор не привели ни к чему; но разве он мог это знать? Больные обыкновенно хватаются за всякую возможность спастись.

И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и бронхита своего почти не лечил и не остерегался.

Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием.

Бывают люди мнительные, которые малейшую перемену в состоянии здоровья, даже в настроении, принимают за болезнь, а всякий прыщик — за сибирскую язву или рак, и всегда они в страхе за свою жизнь и всегда от всего лечатся.

Он был противоположностью. Он не хотел признавать даже совершенно явных врагов, и они, в виде туберкулеза, геморроя и еще других, сосали его кровь и незаметно подтачивали его организм. Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье.

Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты — талантом, равный которому с тех пор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро, должно быть, *появится*, — он не мог и мечтать о таких колоссальных заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей.

Пожить бы ему в Каире зиму-другую, не думая о заработке, *о семье*, — может быть, мы и теперь еще видели бы его среди *нас*, — разумеется, если бы это было сделано вовремя.

Среди людей, искренне к нему расположенных, были очень богатые, которым ничего не стоило бы устроить ему такой отдых. Но мы ничего не слышали о том, чтобы у когонибудь из них явилась подобная мысль.

Скажут, что Чехов был до болезненности щепетилен в денежных вопросах и не согласился бы ни на какие денежные одолжения.

Совершенно верно, но и не нужны были одолжения, достаточно было не формально, а справедливо оценить его труд. И на этой почве мало ли какие можно устроить чисто деловые комбинации.

Подумать только, что Чехов в большой богатой газете, которая справедливо гордилась его сотрудничеством, получал 12 коп. за строчку, то есть 120 руб. за печатный лист!..

Тут мне припоминается эпизод с одним московским миллионером, страстным почитателем чеховского таланта. Но об этом будет удобнее рассказать несколько позже.

Ницца. Яркий солнечный апрель, а может быть, март. Не могу вспомнить. Знаю только, что в Петербурге был еще основательный холод.

Чехов жил в русском пансионе, который теперь уже, кажется, не существует. Приехав, я застал его там. Пансион был наполнен, так что мне едва удалось добыть комнату где-то во флигеле. У Чехова же была хорошая просторная комната в главном здании.

Публика в пансионе была русская, но крайне серая и неинтересная. Какой-то провинциальный прокурор, учитель, баронесса с дочерью, которой дома, в России, почему-то не удавалось выйти замуж, и т. п.

Но утешением служило близкое соседство М. М. Ковалевского, который жил в своей вилле в Болье, в двадцати минутах езды от Ниццы, и часто посещал А. П., к которому относился с какой-то трогательной заботливостью.

Антон Павлович чувствовал себя здесь в высшей степени бодро. Я редко видел его таким оживленным и жизнерадостным. Самое место, где помещался наш пансион, не отличалось ни бойкостью, ни красотой. Моря отсюда не было видно, да и горы заслонялись высокими домами.

Но недалеко была главная улица — Avenue de la Gare, по которой мы почти каждый день путешествовали к морю и там проводили часы.

Тогда же завязалась у А. П. трогательная дружба с Юрасовым, местным вице-консулом и консулом в Ментоне, белым старичком, который с обожанием смотрел на него и возился с ним, как с ребенком.

Раз в неделю у него бывали пироги, настоящие русские пироги, и он зазывал Антона Павловича к себе. Иногда удовольствие есть эти вице-консульские пироги выпадало и на мою долю.

Да и самый пансион не без основания назывался «русским» (хотя в то время официальное название у него было какое-то другое). Там была русская кухарка, история которой интересовала все население пансиона, а А. П. не менее, чем других. Благодаря ей на нашем столе иногда появлялись тоже пироги, по-русски приготовленная селедка и даже борщ.

Сама же она, хотя и не забыла родного языка, но давным-давно совершенно офранцузилась и не выражала ни малейшего желания вернуться в Россию.

— Зачем? — говорила она. — Там я была рабой, а здесь — свободная гражданка, такая, как все.

В Ниццу она попала лет двадцать тому назад, случайно,

в качестве горничной при купеческой семье, но семья уехала, а она осталась. Вышла замуж за негра, плававшего на каком-то пароходе, и у нее была дочь-мулатка, таинственное существо, жившее тут же, в здании пансиона, но отдельно от матери.

Дело в том, что негр, однажды вернувшись из плавания, нашел у своей жены белого ребенка и, сделав из этого правильный вывод, отверг жену, не захотел иметь с нею больше никакого дела. В то время, о котором идет речь, его уже не существовало, он умер. Да и то белое существо, которое послужило причиной разрыва, тоже умерло.

А смуглолицая Соня (так, кажется, ее звали), уже совсем взрослая девушка, избегала показываться на глаза своей матери, которая встречала ее суровым укором. Она и вообще почти не показывалась, и если уж ей необходимо было выйти со двора, она делала это торопливо, чтобы как можно меньше глаз видели ее.

Выходила же она по вечерам и возвращалась домой не всегда одна...

Это странное сплетение обстоятельств почему-то сильно овладело вниманием А. П. Впрочем, это было понятно.

«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпонованное, эффектное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. А тут вдруг перед ним жизнь, дающая готовый сюжет для забористого бульварного романа.

Простая русская девушка, негр, белый ребенок, таинственная мулатка, выходящая на ночной промысел...

Иногда за обедом, когда подавали русское блюдо, он сопоставлял, по обыкновению отрывисто и без всяких объяснений: «Русский борщ и мулатка...»

И всегда, когда по двору проходила смуглолицая Соня, он всматривался в нее и следил за нею глазами.

Монте-Карло производило на него удручающее впечатление, но было бы неправдой сказать, что он остался недоступен его отраве.

Может быть, отчасти я заразил его своей уверенностью (тогда была у меня такая), что есть в игре этой какой-то простой секрет, который надо только разгадать — и тогда... Ну, тогда, конечно, выступала главная мечта писателя: работать свободно и никогда не думать о гонораре, о заработке, не связывать литературную работу с вопросом о средствах к жизни. Чехов мечтал об этом не меньше, чем я и всякий другой.

И вот он — трезвый, рассудительный, осторожный —

поддался искушению. Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет.

Однажды мы его нашли и поехали в Монте-Карло с точно определенным планом. Игра была маленькая, осторожная, и тем не менее, окончив ее, мы недосчитались пары сотен франков.

Опять бюллетени, снова карандаши и цифры. Подходили к делу с другой стороны, вновь ехали в Монте-Карло и пробовали. Одно время казалось, что мы нащупали верный путь. Выиграли раз, другой. Но на третий — неблагоприятное стечение обстоятельств, — и все полетело вверх дном.

В то время я, конечно, не занимался наблюдениями над ним. Я сам гораздо больше, чем он, мог бы быть объектом наблюдения; но когда припоминал все это, то как будто не узнавал обычно спокойного, сдержанного, рассудительного, уравновешенного Антона Павловича.

Кто из знавших его поверит, что в нем жил азарт? А между тем он углублялся в цифры, старался проникнуть в сущность этих странных комбинаций, разгадать их тайну. Мы спорили, каждый предлагал свою систему и защищал ее. У него являлись остроумные мысли в этой области, и главное — что волнение его было чисто спортивное, так как он проигрывал, в сущности, пустяки.

Но, однако же, в этом не было ничего трезвого. Поверить даже на минуту, что в случайных комбинациях номеров, цветов и всяких других шансов могут быть отысканы какие-то законы, — для этого, конечно, нужна была известная доля безумия, которое владеет игроками, делает их слепыми и приводит к гибели.

И вот он, как казалось, поставивший своей задачей трезвость, разумное отношение к жизни, человек несомненно сильной воли, в течение десяти дней верил в это, то есть допускал для себя капельку безумия.

Я пишу эти строки, и вот уже у меня является страх, что на некоторых почитателей личности А. П. они произведут неблагоприятное впечатление. В моей памяти встают некоторые, прочитанные мною раньше, воспоминания о Чехове, продиктованные, несомненно, самыми лучшими намерениями и прекрасными чувствами. И тем, кто смотрит сквозь призму этих воспоминаний, А. П. должен рисоваться существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни, — праведником, отрешившимся от всех слабостей

человеческих, без страстей, без заблуждений, без ошибок.

Но если бы это было так, он не мог бы быть художником, да еще таким проникновенным, каким был.

Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и удары на самом себе. Разве Гете и Пушкин были праведники, разве они не были «в забавах суетного света малодушно погружены»? [17]

И в жизни Чехова было все, все было пережито им — и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни.

Но Чехов-человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него как у художника слишком много внимания и сил. И когда наконец он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние:

«Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился? Это правда, но в наши годы это уже ничего не меняет» [18].

Это, конечно, было преувеличено. Мы знаем, что женитьба не была для него таким безразличным фактом. Но, может быть, в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно.

Я возвращаюсь к Ницце. Дней десять длилось его увлечение рулеткой. Он перестал принимать во внимание мои мнения и сам разрабатывал какие-то способы. Иногда он на мой зов поехать в Монте-Карло отвечал отказом. Я ехал один, но, смотришь, через час он появлялся, несколько как будто сконфуженный, становился у одного из столов и долго присматривался, наблюдал, видимо проверяя свою мысль, а потом садился и, осторожно вынимая из кармана золотые, ставил их как-то по-новому.

Кажется, что в результате всех этих попыток был у него небольшой выигрыш. Это и есть тот опасный момент, когда

игрок слепнет и с головой зарывается в игру. А у него вышло иначе. Однажды он определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда. Взяли силу его обычные качества — благоразумие, осторожность, уравновешенность, а главное — ему стало стыдно увлекаться и отдавать силы таким пустякам.

Воля чеховская была большая сила, он берег ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие обходиться без нее, переживать колебания, быть даже слабым. У слабости есть своего рода прелесть, это хорошо знают женщины.

Но когда он находил, что необходимо призвать в о л ю , — она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него значило — сделать.

Я, например, нисколько не меньше, чем он, сознавал всю тщету этих систем, всяких ухищрений и выдумок, однако же не мог отстать и продолжал ездить в Монте-Карло, все с б*о*льшим и б*о*льшим усердием, и играл, и... проигрался. Встретил одного солидного петербургского издателя, взял у него аванс и тоже проиграл его, и в конце концов не без затруднений, и то лишь при помощи Антона Павловича, выбрался из Ниццы и доставился в Петербург.

Его я оставил в «Русском пансионе», но скоро получил от него письмо из Парижа, откуда он поехал в Москву.

В Ницце же завершился и эпизод с миллионером, рассказ о котором я отложил на после. Я не знаю, при каких условиях произошло и чем было вызвано, что Антон Павлович после долгих настойчивых предложений со стороны миллионера, страстного поклонника его таланта, решился взять у него взаймы какую-то сумму (несколько сотен). Может быть, это было перед отъездом за границу [19].

У него ведь всегда бывали недоразумения с конторой по издательству его книг. Там очень медленно производили расчет и нередко предъявляли ему ошибочные счета, для выяснения которых ему самому приходилось приезжать в Петербург. Об одной чудовищной ошибке, когда по предъявленному счету он оказался должен конторе семь тысяч рублей, а по проверке вышло, что контора должна ему что-то, он рассказывает в одном из своих писем [20]. Но это — крупное недоразумение, и потому он его отмечает. А более мелкие случались постоянно, и он часто жаловался на них.

Очень может быть, что и в этом случае контора опоздала с правильным счетом, а он не хотел терять лучшее время,

чтобы поехать в Ниццу, и решился воспользоваться предложением миллионера.

И вот однажды в Ницце он получил письмо, в котором миллионер извещал его о предстоящем своем приезде. Я в это время был у него в комнате. Он прочитал письмо, положил его на стол и чуть-чуть усмехнулся.

— Никогда не бери взаймы у миллионеров, — сказал он.

— А что? — спросил я.

— Да вот — неосторожность: я взял у этого. За неделю до отъезда из Москвы. В течение недели мы встретились два раза: в первый раз он заехал ко мне в номер на другой день после займа, сидел час и все время говорил о том, какое это большое удовольствие выручить и поддержать талантливого человека. Мне было стыдно, и я хотел тут же вернуть ему взятые вчера деньги, но побоялся обидеть. Второй раз у Мюра и Мерилиза. Я пошутил: «Вот разменял вашу сторублевку». Он взял меня под руку и отвел в сторону: «Дорогой мой, я так рад... И вы, пожалуйста, не беспокойтесь об отдаче. Когда-нибудь, когда сами будете миллионером...» — и рассмеялся. Тут уж я непременно вернул бы ему деньги, но их не было со мной, да и начаты они были. А вот от него извещение о предстоящем прибытии в Ниццу, адрес гостиницы, где остановится, и приписка о том, что он намерен дружески провести со мною денька два, и если я наслаждаюсь солнцем и чувствую себя хорошо, то он счастлив от сознания, что и он своим скромным участием капельку содействовал этому... Понимаешь? Так это же хуже всяких процентов. И, кроме того, он убежден, что я непременно побегу в гостиницу приветствовать его с благополучным прибытием. Для того и адрес указывает. А я не пойду.

Он замолчал и ходил по комнате, очевидно раздосадованный. Потом сел к столу, взял бумагу и аккуратно оторвал треть полулиста.

— Вот, помогай-ка...

И я помогал, сколько мог. В французском языке мы были оба порядочно слабы. Но кой-как составили телеграмму в контору издательства, где ему были должны или он мог взять авансом, — этого не помню. Чехов просил немедленно перевести ему деньги телеграфом, и как раз ту сумму, которую он был должен миллионеру.

Я знал, что у него было рассчитано до самой Москвы и человек он был аккуратный, и спросил:

— Зачем?

— Да вот как приедет и попросит меня об отдаче не беспокоиться, так я и отдам. Готов держать пари, что так и будет.

Деньги он получил через два дня. Скоро приехал миллионер, но явился к нему только через несколько дней после своего приезда. Может быть, и в самом деле ждал, что Антон Павлович поспешит «приветствовать его с благополучным прибытием».

Я при этом свидании не присутствовал, а пришел вскоре после его ухода. Чехов встретил меня веселым смехом:

— Напрасно ты не держал пари, я выиграл бы. Он таки сказал это: «Вы, пожалуйста, говорит, дорогой мой Антон Павлович, не подумайте, что я своим приходом хочу напомнить вам», — и прочее. Но как это хорошо, что мне прислали. Вот сейчас мы это и устроим.

Он написал письмо, в котором в самых корректных выражениях благодарил своего заимодавца за оказанную услугу и просил принять уплату долга. А чтобы не обидеть его, он прибавлял, что торопится быть аккуратным плательщиком единственно для того, чтобы иметь право в будущем, в случае надобности, снова воспользоваться его любезностью.

Письмо и деньги были положены в конверт, надписан адрес, приглашен комиссионер, которому и было поручено все это отнести по адресу.

— Он ведь в экипаже, значит — уже дома, так это не будет слишком скоро.

Так кончилась эта история. А миллионер, должно быть, понял, потому что больше не заглянул к нему.

И вот теперь, когда я вспоминаю об этом, в сущности забавном, эпизоде, мне начинает казаться, что, может быть, я был и не совсем прав несколько страниц назад, когда упрекнул богатых поклонников Антона Павловича в недостаточном радении о его здоровье.

Я должен допустить, что могли быть сделаны попытки устроить для него такое положение, при котором он не должен был бы постоянно думать о заработке, мог свободно ехать, куда ему угодно, и жить, где нравится и полезно.

Но он, вообще державшийся взгляда, что надо рассчитывать только на свои собственные силы, имел возможность в эпизоде с миллионером найти только подкрепление этого взгляда.

Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь

могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.

Но в отношении к издателям он всегда старался не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, и то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы «Осколков», «Будильника» и других аналогичных изданий.

Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом пятьдесят рублей для переезда на дачу, со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок и такими-то очерками.

Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их.

На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности.

Чехов нуждался... Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

Ведь незадолго перед тем нуждался и умер в нужде Достоевский. А после него нуждались Гаршин и Надсон. У всех это вызывало сочувствие, но никто не удивлялся. Так полагалось. Книга, как бы ни была она талантлива, была тогда достоянием немногих.

Чехов умер накануне радикальной перемены в судьбе книги. Через год после его смерти начался небывалый в России праздник книги: [21] вдруг бог знает откуда пришли тысячи новых покупщиков, и — это странно даже звучит — у писателей, хоть и немногих, явились если не состояния, то возможность обеспеченной жизни и свободы располагать своим временем.

А Чехов до этого праздника не дожил. Литературное право находило еще некоторый сбыт в розницу, можно было продать издание той или другой книги, тысячу-дру-

гую экземпляров, но чтобы оно представляло определенную и постоянную ценность, это едва ли кому-нибудь приходило в голову.

Поэтому, когда узнали, что нашелся издатель [22], оценивший сочинения Чехова в определенную солидную сумму и предложивший ему эту сумму, стон удивления пронесся по всему литературному стану.

Чехова ценили высоко. Но не в оценке было дело, а в том, что на литературу явился деловой спрос. Как ни велики были обороты некоторых издателей с книгами, но для писателя заработок от издания его книги являлся только небольшим подспорьем, основным же заработком было то, что ему платили в журналах и газетах.

Что платили и как обращались с приобретенным правом на издание рыночные издатели, об этом лучше уж и не вспоминать. Заплатив писателю какие-нибудь две-три сотни за двадцать печатных листов, они печатали сколько хотели экземпляров, потому что писатель проконтролировать их не мог, или не умел, или, наконец, просто не был способен возиться с этим.

Издатели детских журналов, а в то же время и книг платили автору от 50 до 75 рублей за право не только печатания в журнале, но и отдельного издания, причем единственным объяснением такой малой платы был, кажется, малый возраст читателей. Другого объяснения не было, так как детские книги шли лучше всяких других, а издатели переводили свои конторы и редакции в собственные дома.

Между прочим, в Москве ходил рассказ, похожий на анекдот (но он не был анекдотом), о том, как один очень популярный и весьма передовой издатель детского журнала [23] и книг расплатился с А. П. Чеховым.

Он долго обхаживал писателя, упрашивая его дать что-нибудь в журнал. Отношения были приятельские, встречались у знакомых, на литературных обедах, собирались и у него. Между прочим, расположение издателя к Чехову выразилось в том, что он как-то послал ему в презент несколько бутылок вина из собственных виноградников, которые у него были где-то на юге. Вино было прескверное, но А. П., конечно, похваливал его.

И вот наконец Чехов, теснимый любезностью издателя, дал ему какую-то вещь для журнала. И после этого они встретились у кого-то из знакомых, где было много народу, а может быть — и у самого издателя.

Когда А. П. ночью собрался уходить и надел пальто, издатель подошел к нему и со смущенным видом весьма

поспешно ткнул в карман его пальто какой-то сверток и пробормотал что-то насчет своего долга. Чехов, внимание которого в этот момент было занято разговором с кем-то другим, почти не заметил этого движения, простился и вышел на улицу.

Тут он зачем-то полез в карман и нащупал сверток. Вынул — пакетец. Развернул несколько кредиток, что-то рублей 12, и счет: следует за рассказ столько-то. Послано вина такое-то количество бутылок, на такую-то сумму. Остальные 12 рублей при сем прилагаются.

Это было с Чеховым в ту пору, когда имя его гремело на всю Россию. А вот издатель совсем иного типа: идейный, положивший всю свою жизнь на хорошую книгу, отдавший ей все свои силы и действительно далекий от преследования целей наживы. Да она и не была нужна ему, так как он из-за книги совсем не пользовался жизнью.

И вот этот издатель платил авторам, имена которых в то время были популярны, за книгу в 15 печатных листов в 5000 экземпляров — 500 рублей. И это считалось наилучшими условиями, на какие может рассчитывать писатель.

Не нужно быть знатоком, чтобы расчесть, какая незначительная доля выпадала писателю и какой процент на затраченный капитал получал несомненно идейный и благорасположенный к литературе издатель.

После его смерти остались солидные средства, заботливо распределенные им на просветительные цели. Слава богу, конечно, и потомство будет ему благодарно, но справедливость требует признать, что в составлении этого капитала в значительной мере участвовали изданные им писатели, работа которых была им оплачена по произвольной оценке.

Как оценивалась работа Чехова при издании его книг и на каких условиях они выпускались до перехода прав на издание их к купившей их фирме, я не знаю. Но несомненно, что до этого времени он всегда нуждался в заработке, который доставался ему нелегко. В письме к А. С. Суворину от 1895 года он пишет:

«Не работать мне нельзя. Денег у меня так мало, я работаю так медленно, что, прогуляй я две-три недели, мое финансовое равновесие пойдет к черту и я залезу в долги. Я зарабатываю черт знает как мало» [24].

Это было в 1895 году, то есть когда имя Чехова уже сияло. И тот же крик повторяется у него из года в год. «Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об обя-

зательной, неизбежной *работе*, — пишет он другому *корреспонденту*, — что вот уже неделя, как меня безостановочно мучат перебои сердца. Отвратительное ощущение»[25].

И это не выдумка и не преувеличение. Душе его тесно было в пределах Москвы, Петербурга и Мелихова, ему хотелось видеть как можно больше, весь свет. Он постоянно мечтал о поездке в какую-нибудь дальнюю страну, и единственная, какая ему удалась, это была поездка на Сахалин — самая ненужная из всех, какие можно было выдумать, и к тому же вредно отразившаяся на его хрупком здоровье.

Результатом этого удивительного путешествия была книга, которая, несомненно, стояла ниже всего остального, написанного им, и едва ли вплела лавры в его венок, в материальном же отношении тоже едва ли прибавила что-нибудь к его благополучию.

А впечатления? Где в произведениях его, написанных после поездки на Сахалин, встречаются отголоски тех впечатлений? Кой-где намеки, не имеющие существенного значения. И не видно было, чтобы он любил вспоминать об этом путешествии. По крайней мере, я, проведший с ним немало дней, ни разу не слышал от него ни единого рассказа из того мира. Все, что он получил там, он как будто сдал в свою книгу и забыл[26].

Так чиновник, вернувшись из неприятной подневольной командировки, доставившей ему много хлопот и лишений, дает о ней отчет начальству и торопится поскорее забыть о ней.

Мечтал же он совсем о другом — о теплых краях, о жизни пестрой, оригинальной, не похожей на нашу.

«Денег, *денег*, — пишет он своей приятельнице в 1893 году. — Будь деньги, я уехал бы в Южную Африку, о которой читаю теперь очень интересные статьи! Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель»[27].

А позже ему хочется «из Москвы уехать на Мадейру. Это от грудей (то есть от грудной болезни) хорошо», и даже попутчик у него есть.

И так всю жизнь — то на Мадейру, то в Африку, то в Австралию, то в Америку, то шутя, то очень серьезно но «денег, денег» — их-то всегда у него не хватало, и приходилось довольствоваться домашними — поездками в Таганрог, в Ялту, в Нижний и т. п.

Одну из таких мы совершили с ним вместе, и на пути случился эпизод, пустячный и комичный, но показавший

[redacted] ~~Н.~~ Дуэ

Дворъ № Хоз.

Званіе поселенецъ

Имя, отчество, фамилія, отношенія къ хозяину:

Миронъ Пантелеевъ Солдатовъ — хозяинъ

Лѣта 35

Вѣроисповѣданіе правосл.

Гдѣ родился Воронежск.

Съ какого года на Сахалинѣ 1882

Главное занятіе хлеб. хоз.

Грамотенъ, <u>неграмотенъ</u>, образованъ

Женатъ на родинѣ, на Сахалинѣ, вдовъ, <u>холостъ</u>.

Получаетъ ли пособіе отъ казны? Да, <u>нѣтъ</u>.

Чѣмъ боленъ.

Карточка ссыльнопоселенца на о. Сахалин, составленная и заполненная А. П. Чеховым

мне, до какой степени решителен и непреклонен становился Чехов, когда его что-нибудь коробило.

Эпизод этот им рассказан Суворину в письме от 15 августа 1894 года.

Захотел А. П. показать свою родину, вернее — его самого потянуло туда. Мы и решили проехать по Волге, начав с Ярославля, спустившись до Царицына, а оттуда в Калач и по железной дороге в Таганрог. До Нижнего мы доехали благополучно. Нам оставалось только пересесть на другой пароход, чтобы плыть дальше.

Бывшая в это время в разгаре ярмарка нас почему-то не заинтересовала. Мы даже как-то и не подумали о ней.

И вдруг встреча. Этот N [28], «друг Льва Толстого», как его именует Чехов, был ему очень хорошо известен, больше даже, чем мне. И вот черта. А. П. не выносил его за хвастовство, ломанье, болтовню, за отсутствие у него собственного духовного нутра и вследствие этого вечное пристегивание себя к кому-нибудь более сильному, чем *он*, — на таком определенном счету он у него был всегда, но никогда при встрече А. П. не показал ему и тени своего настоящего мнения о нем. Нет, он был любезен, шутлив, радушен, проявлял по отношению к нему лучшее, что можно проявить к человеку. И таков А. П. был во всех подобных случаях.

Если ему невмоготу, он уйдет, спрячется или даже, как было в настоящем случае, «позорно бежит», но, пока он стоял лицом к лицу с человеком, каков бы ни был тот человек, он как бы считал долгом в лице его уважать человеческое достоинство.

Оттого из его отношений к людям, деловых и интимных, была исключена всякая вздорность. Ее не было вовсе. В среде писателей и художников так развита болезненная впечатлительность, соединенная с самолюбием, очень часто самомнением, всякий в глубине души считает себя великим, и так легко возникают недоразумения и столкновения. Большею частью это происходит именно от вздорности: неосновательных претензий, нежелания и неуменья спокойно выслушать, непонимания друг друга, предубеждения, подозрительности, а иногда от нравственной невоспитанности.

Чехов, слава богу, был избавлен от этих качеств, и я, право, не знаю, были ли у него с кем-нибудь недоразумения, которые длились бы больше получаса, когда они спокойно и разумно объяснялись.

Я, конечно, не помню, чт*о* именно говорил N такого, от чего А. П. «стало душно, нудно и тошно», думаю даже, что

ничего особенного и не было, но Чехов на эту встречу не рассчитывал и представил себе, как его общество и та необыкновенно серьезная околесина, какую он обыкновенно нес, отравят несколько часов, а может быть — и дней. И это заставило его мгновенно изменить весь план.

Он выразительно взглянул на меня, бросил что-то первое попавшееся, а мне шепнул: «на в о к з а л», — и совершилось бегство.

Конечно, N тоже прикатил на вокзал и принимал все меры, чтобы доконать его. Но ему надо было оставаться в Нижнем, и это нас спасло. Мы уехали в Москву.

Тут досада перешла в дурачливое настроение. Пришла фантазия ни с кем не видаться, не заезжать даже в Мелихово, хотя это было по дороге, и сейчас же двигаться на юг, к хорошим знакомым его, Линтваревым, усадьба которых находилась на реке Псел.

В тот же день и поехали, успев в Москве только пообедать.

На Пселе оказались радушные хозяева, мы провели там очаровательную неделю, и я был благодарен N за то, что он помешал нам осуществить первоначальный план. Бог знает, что еще ожидало нас в Таганроге, а о неделе, проведенной с Чеховым у Линтваревых, я и теперь вспоминаю с благодарностью...

Петербург был для Антона Павловича чем-то желанным и в то же время запретным.

Коренное различие двух столиц Российской империи во всем чуть ли не вошло в поговорку. Несходство действительно бросается в глаза как при въезде в Москву, когда вы окидываете ее улицы и площади беглым взглядом, так и при углублении в ее нравы и обычаи. Для петербуржца все здесь иное, как будто он попадает в иной мир.

Антон Павлович, не будучи москвичом по рождению и проведя детство и гимназические годы в Таганроге, среди смешанного населения огорожаненных хохлов, и обруселых греков, и других южных национальностей, в Москве за время студенчества и нескольких лет самостоятельной жизни, конечно, не мог сделаться москвичом и никогда не был им по существу.

Душа его была соткана из какого-то отборного материала, стойкого и не поддающегося разложению от влияния среды. Она умела вбирать в себя все, что было в ней характерного, и из этого создавать свой мир — чеховский.

И никогда не был он ни таганрогцем, ни москвичом, ни петербуржцем, ни ялтинцем, а был Чеховым — той удивительно своеобразной личностью, которая так красочно рисуется в его замечательных письмах.

Но все же и на нем лежал «московский отпечаток»; по необходимости он свой внешний обиход жизни должен был приспособить к Москве, вести знакомства и дела с московскими людьми и, живя с московскими, «по-московски выть».

Москва была для него буднями. Здесь он должен был сидеть за работой, вечно думать о заработке и сведении концов с концами.

Но если Москва так отличалась от Петербурга в смысле внешнего вида и нравов, то для писателя, особенно для беллетриста, было еще другое, более глубокое различие. Литература тогда была почти вся сосредоточена в Петербурге.

Из приемлемых для Чехова журналов в Москве была только одна «Русская мысль». Из стоявшего во главе ее триумвирата — Гольцев, Лавров и Ремезов — литератором в полном смысле этого слова был только один В. А. Гольцев.

Был еще журнал Куманина «Артист», к которому Антон Павлович относился сочувственно, — красивое издание с широким размахом. Но это был журнал, почти исключительно посвященный интересам театра.

Из газет Чехов мог тогда принимать в расчет только «Русские ведомости», в которых работали главным образом московские профессорские круги, собственно же литераторы, статьи которых от времени до времени там появлялись, были петербуржцы. Беллетристика же как в «Русской мысли», так и в «Русских ведомостях» принадлежала почти вся сплошь петербургским литераторам. Постоянно живущих в Москве беллетристов почти не было.

Что же касается мелкой прессы и разных юмористических еженедельников, то это был тот мир, в котором А. П. невольно вращался в самом начале своей литературной деятельности, — мир, не оставивший в нем приятных воспоминаний, и там ему теперь, конечно, нечего было делать.

Знакомства в Москве у него были обширные, но в огромном большинстве обывательские. Мне сейчас даже трудно вспомнить, кто жил тогда в Москве из заправских литерато-

ров: кроме Вл. И. Немировича-Данченко и князя А. И. Сумбатова, которые оба больше клонились к театру, и тех, кого я уже упомянул, а также журналистов, работавших в «Русских ведомостях», я никого не припоминаю. П. Д. Боборыкин проживал по нескольку месяцев в Москве, одно время жил Г. А. Мачтет.

Все ежемесячники, за исключением «Русской мысли» и «Русского вестника», к которому А. П. не имел никакого отношения, издавались в Петербурге, и там были сосредоточены все главные литературные силы.

Понятно, что и литературные связи А. П., которые с каждым годом расширялись, были главным образом в Петербурге. Там, а не в Москве был впервые замечен и признан его талант. Там издавались его книги, а журналы наперебой звали его к себе сотрудничать. Да даже и раньше того момента, когда был замечен его талант, в Петербурге, в лейкинских «Осколках» и в «Петербургской газете» главным образом помещались его рассказы, и оттуда шли первые скромные заработки.

Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург.

И, сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой свитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли.

Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством А. С. Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов «и стол и дом».

Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом.

В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина.

А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.

И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный. Петербуржцы — домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.

Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова както яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? — в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в «Эрмитаже», в «Метрополе», в «Праге» или у «Яра»?

И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.

И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.

Среди петербургских литераторов особенно близких приятелей у А. П. не было, но добрые, товарищеские отношения были со многими.

С большим вниманием и, я даже скажу, с товарищеским состраданием относился он к странной литературной судьбе недавно умершего И. Л. Щеглова. Их отношения были давние, завязавшиеся еще в те времена, когда у А. П. не было известности.

Чехов искренне жалел Щеглова и говорил, что его здоровый некогда талант «заболел неизлечимой болезнью».

В самом деле, странна была судьба этого писателя, который начал такими свежими, здоровыми очерками военной жизни, помещавшимися в «Деле», а затем точно вдруг попал в какой-то тупик, из которого никак не мог выбраться.

Соблазнил его театр, и написал он для театра что-то имевшее успех. И этот успех как будто отравил его. В дальнейшем на всей его работе лежал налет театра и кулис. И при этом странно то, что сам он не был театральным

человеком. Никто не вспомнит, чтобы часто его видели в театре, а тем больше — встречали за кулисами. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем, составил книгу, которая, впрочем, никакого движения в деле народного театра не произвела [29].

И вот когда о нем заходила речь, лицо Чехова всегда становилось печальным. Он часто говорил об особом авторском психозе, которым заболевает человек, ставящий пьесу.

— Я сам испытал это, когда ставил «Иванова», — говорил он и описывал болезнь: «Человек теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера...

Актер, исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук, и что это ужасно, и что галстук этот погубит пьесу.

Бывает и хуже: актриса — ломака, вульгарнейшая из женщин, раньше он не мог выносить ее голоса, у него делались спазмы в горле, когда она с ним кокетничала. Но вот ей аплодируют, она тянет пьесу к успеху, и он, автор, начинает чувствовать к ней нежность, а в антракте подбегает к ней и целует ей ручки...

А вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка... Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощупывает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится.

И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы «утешать» автора, и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их.

Человек с более или менее здоровой нервной организацией выдерживает это потрясение, понемногу отходит, и дня через три его можно перевести в разряд «выздоравливающих», но иных это потрясает на всю жизнь. Вот это и случилось с Иваном Леонтьевичем.

Нет, вы посмотрите, чт*о* ему театр? Да он его даже, в сущности, не любит, почти не бывает в нем и не знает ни актеров, ни актрис, а пишет об актерах и актрисах».

И он постоянно убеждал Щеглова: «Бросьте вы театр и кулисы. Ведь это же, в сущности, лазарет самолюбий. За исключением, может быть, дюжины настоящих талантов, все — страдающие mania grandiosa *. А вы обратили бы ваше благосклонное око на простую, здоровую жизнь, которой вокруг вас хоть отбавляй. Вот отворите окно — и она на вас так и пахнёт».

Но это не помогло. Щеглов пережил Чехова, но от театральной отравы не вылечился. Кажется, он даже сомневался в полной искренности чеховских советов; ведь сам-то Антон Павлович театром занимается, для театра пишет, и театр в последние годы завершил его славу.

Но тут уже было роковое непонимание, с которым ничего нельзя было поделать.

В Петербурге у А. П. было много литературных приятелей, и каждый хотел повидаться с ним. Он был для петербуржцев человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в одних и тех же комбинациях, изрядно надоели друг другу, и появление его — такого своеобразного и так не похожего на всех — как бы озонировало атмосферу...

В воспоминаниях одного писателя [30], достоверность которых выше всяких сомнений, я нашел описание странной сцены: как в квартире одного известнейшего писателя почтенная дама, впоследствии занимавшая видное положение в журнально-издательском деле, задела Чехова резким замечанием относительно одного из его литературных друзей. И это была его первая встреча и с писателем и с дамой.

В воспоминаниях об этом говорится вскользь, но я знаю, что эпизод этот в действительности не скользнул по душе Антона Павловича. Он не задел и не оскорбил его лично, хотя не было ничего удивительного, если б так случилось.

Каждый имеет право считать своими друзьями тех, кто ему нравится. Определяя направление писателя, казалось бы, достаточно иметь в виду его произведения и оставить в стороне его друзей.

Но упрек этот подействовал на него в другом направлении. Он всю жизнь потом страшился тех исключительности и нетерпимости, какими повеяло на него в том эпизоде.

Я встретился с ним гораздо позже, и все же об эпизоде этом он мне рассказал и не раз возвращался к нему. И потом, сколько мне известно, он, по своим общественно-

---

* манией величия (*лат.*).

политическим симпатиям близкий к взглядам того кружка, до конца жизни никогда с ним не сблизился.

— Хорошие люди, — говорил он, — все превосходные люди, но требуют, чтобы и ты был таким же превосходным, как они.

Но это было, может быть, единственное огорчение, доставленное ему петербургскими литературными кругами. Сколько я помню, всегда все были ему рады и его появление всюду приветствовалось. И не подлежит никакому сомнению, что он не только производил освежающее впечатление, но как-то без всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и разрозненные элементы.

Он, например, в один из своих приездов в Петербург подвигнул здешних беллетристов хоть раз в месяц собираться на общие обеды. Приезд его совпал с Татьяниным днем [31]. В Москве он привык этот день проводить в шумном обществе товарищей по Московскому университету, и привычка эта была так сильна в нем, что он, несмотря на то, что дела этого не позволяли, чуть было не укатил на один вечер в Москву.

Он отказался от этой мысли только тогда, когда ему удалось уговорить группу петербургских беллетристов собраться в этот день где-нибудь в ресторане для общего обеда, что и было исполнено.

И этому обеду суждено было сделаться «учредительным», так как от него пошел целый ряд регулярно повторявшихся обедов. Они назывались «беллетристическими» [32]. Но потом почему-то пришпилили к ним ничем не оправдываемое название «Арзамас». Кличка, как нимало не подходящая и взятая напрокат, скоро сама собою отклеилась, да и обеды погибли от взаимного равнодушия участников и — как это ни странно — отсутствия общих интересов.

Из сверстников-беллетристов большими симпатиями его пользовались К. С. Баранцевич, М. Н. Альбов, В. А. Тихонов. Но совершенно особое место он отводил ныне уже покойному Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку.

Он вызвал в Чехове особый интерес и как человек, и как писатель, и А. П. при встречах видимо присматривался к нему и наблюдал его. Он как бы любовался его самобытностью и часто говорил о том, что вот этого человека жизнь трепала, как, может быть, ни одного из нас, а он между тем не уступил ей ни капли из своего уральского колорита.

Как-то у него все выходило по-своему. Его грубоватая

и зачастую неприемлемая в взыскательном обществе речь, изумительные по своей меткости шутки, лишенные всякой дипломатичности эпитеты, которые он с лицом невинного младенца преподносил приятелям, его полная беззаботность относительно внешности, небрежно торчащие в разные стороны волосы, кой-какая одежда — все это выделяло его из ряда других.

И невозможно было представить такой обстановки, где Мамин заставил бы себя быть иным. Всегда и во всем он был самим собою и таким остался до конца дней своих.

Чехов сравнивал его с черноземом где-нибудь в Тамбовской или Херсонской губернии: копай хоть три дня в глубину — все будет чернозем, никогда до песку или глины не докопаешься.

В один из своих приездов в Петербург А. П., встретившись где-то с Маминым, так сильно заинтересовался им, что потом все время в разговоре возвращался к нему, а затем вдруг однажды покаялся, что ни одной его вещи не прочитал как следует.

Помню, что мы вместе зашли в книжный магазин Суворина и он велел прислать ему все, что было издано отдельно, Мамина-Сибиряка.

И он принялся поправлять свою оплошность, каждый день в свободные часы читая Мамина, но, когда при встрече я его спрашивал о впечатлении, он, видимо, избегал определенно высказываться.

И только когда прошло несколько дней, он однажды сам заговорил об этом:

— А знаешь... я про Мамина... Он в книгах такой же точно, как и в жизни... Тот же чернозем — жирный, плотный, сочный, который тысячу лет может родить без удобрения. Растут на нем дикие травы и злаки, им же несть числа, а в гущине их живут на воле зайцы, стрепеты, куропатки и перепела... Это — та степь, которая воспета Гоголем.

— Ты хочешь сказать, что он некультурен?

— Да, вот, слава богу, за культурностью он не гоняется. Но зато в каждом его рассказе какой-нибудь Поль Бурже извлек бы материала на пять толстых романов. Знаешь, когда я читал маминские писания, то чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок ночей постился...

— Я теперь понял, почему он сам *такой*, — снова потом вернулся А. П. к той же *теме*. — Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они всё — зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь

в общество этих крепышей — сильных, цепких, устойчивых черноземных людей, — то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них. Тоже и язык... У нас народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника — так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих «народных» слов... А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает.

В другой раз, снова вернувшись к этой теме, Чехов сказал:

— Мамин принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают читать и ценить после их смерти. И знаешь, почему? Потому что они свое творчество не приурочивали к преобладающему направлению...

Это уж было отчасти и про себя. Его ведь тоже упрекали в равнодушии к направлению. Одно время это было даже ходячей фразой, которую повторяли люди, привыкшие высказывать готовые суждения с чужого голоса: «Чехов — талант, но без всякого направления».

Известный в то время критик Скабичевский, который весь состоял из направления, немало способствовал распространению этого взгляда.

Симпатии Чехова к Дмитрию Наркисовичу завершились торжественным совместным снятием в фотографии. В качестве общего их приятеля на этой карточке очутился и я (см. № 26, стр. 512) [33].

Начало зимы 1896 года ознаменовалось одним из самых нелепых событий, какие только бывали в истории петербургских казенных театров. Я говорю об известном провале в Александринском театре чеховской «Чайки»...

Я знаю людей, которые и теперь еще, по прошествии восемнадцати лет, когда вспоминают об этом, начинают беспокоиться так, как будто это было вчера:

— Нет, но «Чайка»... Вы помните? С Комиссаржевской... Ведь это было что-то беспримерное...

«Чайка», которая потом сделалась символическим знаком Московского Художественного театра и до сих пор еще, кажется, красуется на его занавеси, бланках и т. п.

Мне привелось близко стоять ко всей истории этой постановки, заботиться о переписке экземпляров для цензуры, вести переговоры с самой цензурой и т. п.

Современный читатель, вероятно, удивится упоминанию о переговорах с цензурой. Он знает «Чайку», и ему

известно, что там нет ничего, что могло бы дать повод для работы красных чернил Театральной улицы [34].

Но в те времена, отделенные от нас только восемнадцатью годами, ни один автор не мог поручиться за цензурность своей пьесы. Требования были не то что очень большие или суровые, а просто произвольные. Была не цензура, действующая на основании точных правил, которые мог бы иметь в виду и автор, а цензора, каждый с своими особыми взглядами и требованиями и даже капризами.

В одном из писем, где речь идет именно о «Чайке», Антон Павлович беспокоится о судьбе пьесы и называет цензора Литвинова. Это был цензор, с которым драматурги предпочитали иметь дело. Человек культурный, с ним можно было говорить, спорить, убеждать. К пьесам он предъявлял минимум требований, делал уступки до самого того рубежа, где начинался уже его личный риск ответственностью.

Но были цензора и другого рода, и их весьма тщательно избегали авторы. Кажется, в то время был еще жив цензор Донауров, не пропускавший в пьесе никакого упоминания о боге, и если, например, у действующего лица была привычка божиться, повторять — «ей-богу», то цензор преспокойно лишал его этой привычки, считая, что на сцене это представляет кощунство.

При таких обстоятельствах Чехов имел право бояться за «Чайку». Но, по счастью, она попала к «доброму цензору» и существенной аварии не потерпела.

Самая пьеса, когда Чехов прислал ее в Петербург еще в рукописи и даже не в оконченном виде, так как она отсылалась ему в деревню, изменялась им и отделывалась, вызвала к себе очень осторожное отношение.

Талантливость ее как литературного произведения била в глаза. Но для сцены, как казалось с точки зрения установившегося вкуса, в ней чего-то важного недоставало. Не было условного развития драматического сюжета с постепенным нарастанием и разрешением в конце, перед падением последнего занавеса. Иными словами — не было того, что составляет сущность театрального представления, что захватывает всего зрителя и держит его пленником до конца.

Это порождало сомнение в возможности удачной постановки ее на сцене. Мысль сама собою переносилась к нашим актерам, которые привыкли к известным формам, и было мало надежды на то, что им удастся схватить, усво-

ить и выявить то совершенно новое, что предлагал им Чехов. Еще меньше было надежды на то, что пьесу поймет и примет наша театральная публика.

Но художественные достоинства этого произведения были так блестящи, краски так свежи и оригинальны, манера рисовать жизнь так проста и полна какого-то внутреннего изящества, особого, чеховского, секрет которого он никому не завещал и унес с собой, как сказочный волшебник уносит с собой в могилу вещее слово, заклятие, которое только он один знал, — что думалось: почем знать, может, свершится чудо, и эти достоинства так завладеют актерами и публикой, что они не заметят того, чего недостает.

Я лично был в восторге от «Чайки», но с Чеховым спорил. Я говорил, что сцена предъявляет вполне законные требования условности, и если писатель не хочет подчиняться им, то он не должен пользоваться сценой, а избрать для своих образов другой род литературы.

Но он этого не признавал и, возражая, впадал в преувеличение, как это с ним всегда бывало: «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое с смешным. Вы, господа, просто загипнотизированы и порабощены рутиной и никак не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые формы...»

Эту последнюю фразу он повторял часто, а в «Чайке» вложил ее в уста Треплеву и заставил тоже повторять.

В конце концов он на меня подействовал своей убежденностью. Я начал думать, что художественные достоинства «Чайки» покорят жестоковыйную публику Александринского театра.

Но в судьбе этой пьесы сыграли роль такие случайности и посторонние делу обстоятельства, какие, кажется, немыслимы ни в одном театре, кроме русского.

В то время в Александринском театре в полном ходу была система бенефисов. У главных актеров бенефисы были ежегодные, вторые же — получали их от времени до времени, за особые заслуги или просто когда кому-нибудь удавалось выхлопотать. Основной репертуар сезона составлялся заранее, и если автор приходил с своей пьесой во время сезона, то какими бы достоинствами она ни обладала, для нее уже не было места.

Конечно, бывали исключения. Связи и хлопоты, слово, замолвленное влиятельным лицом, легко открывали дверь храма во всякое время. Но у Чехова не было связей, хлопотать же он не умел, да и не хотел.

Но зато благодаря бенефисам на сцену иногда попадали пьесы, лишенные всяких художественных достоинств, но заключавшие в себе эффектную роль для бенефицианта. Бенефициант сам выбирал для себя пьесу, требовалось только формальное утверждение дирекции. Так же формально к таким пьесам относился и Театрально-литературный комитет. Что же было делать, если актер или, еще хуже, актриса настаивали?

Если бенефис получал актер второстепенный, то он иногда, ради хорошего сбора, жертвовал своим актерским самолюбием и выбирал пьесу с козырной ролью не для себя, а для первой актрисы, имя которой делало сбор, или старался выехать на имени автора.

К несчастью, тут случилось именно это последнее. Пьеса досталась для бенефиса Левкеевой. В ней для бенефициантки совсем не было роли.

В одном из писем своих, не помню — кому [35], А. П., говоря о распределении ролей в «Чайке», сообщает, что Чайку, то есть Нину Заречную, будет играть толстая комическая актриса Левкеева. Конечно, это была заведомая шутка.

Но в дальнейшем, когда начали искать роль для бенефициантки, стали в тупик. Бенефициантке в пьесе нечего было делать. Упоминаемая в одном из писем Суворину моя мысль — отдать ей роль жены управляющего, конечно, не принадлежала к удачным, но это была единственная возможность так или иначе ввести ее в пьесу и, как это водилось, дать публике возможность встретить ее аплодисментами.

Цель — прямо-таки святотатственная, когда речь идет о таком произведении, как «Чайка», но это все-таки было гораздо меньшее зло, чем ставить пьесу в бенефис Левкеевой.

Это была актриса своеобразная. Есть такие люди, которые, не делая никаких усилий, одним своим появлением в обществе вызывают веселое настроение. Что-то в них есть смешное — в манерах, в движениях, в голосе. Общество умирает от скуки, но появляется такой человек — и всем вдруг становится весело.

Левкеева, на мой взгляд, была такая актриса. При исполнении роли едва ли она задавалась целью дать какой-нибудь характер или тип. Это всегда была Левкеева. Сама она по своему складу очень подходила для некоторых персонажей Островского, но это было просто счастливое

совпадение. В остальном же, в чем она появлялась, она смешила своими манерами, походкой, голосом.

Появление такой актрисы в пьесе Чехова, конечно, было бы неуместно. «Публика станет ждать от этой роли чего-нибудь смешного и *разочаруется*», — совершенно справедливо заметил Чехов. Было ясно, что бенефициантку придется совсем устранить из пьесы, что и было потом сделано.

Дальше начали мудрить с другими женскими ролями. Мужские разошлись более или менее правильно, но женские — это всегда трудней.

Правильная мысль роль актрисы поручить М. Г. Савиной, у которой эта роль вышла бы блестяще, по каким-то дипломатическим причинам, кажется, даже и не высказывалась. Для этой роли была выдвинута Дюжикова, хорошая актриса для драмы, но лишенная юмора и скучная в характерных ролях. Савиной же, по мысли А. С. Суворина, предполагалось предложить роль Заречной, из чего, несмотря на огромный талант М. Г., едва ли вышло бы благо.

Почему-то о Комиссаржевской тогда никто и не подумал. Сам же Чехов ни в чем ее не видал и не был знаком с ее дарованием. И только в последнюю минуту вспомнили об этой актрисе.

Невозможно описать, как волновалась Вера Федоровна, приступая к созданию этой роли. Самая пьеса очаровала ее, но она боялась и за себя, и особенно за прием пьесы публикой.

Антона Павловича еще не было в Петербурге, когда приступили к репетициям. Они шли слабо. Артисты отнеслись к пьесе совершенно так же, как ко всякой другой.

Сегодня не пришел один, завтра двое, и в то время, как явившиеся играют свою роль уже под суфлера, за неявившегося читает по рукописи помощник режиссера. Что из этого получалось — легко себе представить.

Артист, исправно посещающий репетиции и искренне желающий добросовестно работать и создать из роли, что в силах, теряется, напрасно ищет тона, сбивается, а в конце концов приходит в отчаяние и на все машет рукой: что будет, то будет.

Такое отношение к делу некоторых актеров — настоящая беда театра.

Есть большие актеры с признанным талантом, благодаря чему они занимают в труппе твердое положение. Опираясь на свой авторитет и считая для своего большого дарования и опытности достаточным две-три репетиции, они обыкновенно на целый ряд репетиций не приходят, и то,

что они сделают из своих ролей, для остальных участвующих чуть не до последнего момента является тайной. При таких условиях никакой архитектурный план выполнен быть не может, каждый играет за себя, чувствует себя ответственным, насколько это возможно, только за свою роль. Ни общей, единой для всех, задачи, ни тона, ни настроения тут быть не может.

Если от этого страдает всякая пьеса, то «Чайка», написанная тонкими штрихами, где лица нарисованы нежнейшими красками, должна была завянуть, как нежное молодое растение от повеявшего на него холода. Так это и было.

И когда Чехов, никем из актеров не замеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и просидел часа полтора, — то, что происходило на сцене, произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал, в виде реплик, последние слова из их роли...

Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!» — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль...»

Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит — и публику они не заинтересуют».

У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.

Когда обо всем этом узнала Комиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла вполголоса, — о ней судить Антон Павлович не мог. Но она больше чем кто другой чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной.

На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу; без предварительного уговора — общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.

Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение.

Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра.

В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала.

В зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александринские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема.

И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций! Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, и если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного.

Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царила какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба.

Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александринских. Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занесло снегом, и пришлось идти ощупью, как попало.

Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал.

К спектаклю приехали из Москвы Марья Павловна и еще кой-кто из близких [36], и он выражал недовольство. Зачем было приезжать? Это как будто увеличивало его ответственность.

И вот — спектакль, кажется, действительно, беспримерный в истории театра, по крайней мере на моей памяти.

Все же я должен сказать, что суждения о каком-то исключительном, точно по особому заказу плохом исполнении «Чайки» в ту постановку ее на александринской сцене были преувеличены. Я сужу по генеральной репетиции и по дальнейшим спектаклям, кроме первого представле-

ния, на котором я, по особым личным обстоятельствам, не был [37].

И тот провал, о котором так много говорили и писали и который произвел такое глубокое впечатление на Чехова, был вызван взаимодействием исключительных причин.

На сцене были Комиссаржевская, Абаринова, Дюжикова, Читау, Давыдов, Варламов, Аполлонский, Сазонов, Писарев, Панчин. Этим актерам, даже и не в столь густой концентрации, приходилось выступать в пьесах безжизненных и бездарных, и они умудрялись делать им успех. О небрежности же с их стороны, о невнимании не могло быть и речи.

Можно сказать с уверенностью, что они напрягали все силы своих дарований, чтобы дать наибольшее и наилучшее. То, чего недоставало, — общий тон, единство настроения, — был недостаток коренной и проявлялся не здесь только, а и в других постановках.

Может быть, здесь оно проявилось несколько резче, потому что среди участников представления были люди, отрицательно относившиеся к самой пьесе и авторской манере изображения. Они, таким образом, играли без убежденности.

Но зато их согревала симпатия к автору, которого все любили и желали сделать для него как можно лучше.

И все-таки был даже не неуспех, а провал, притом выразившийся в совершенно нетерпимых, некультурных, диких формах.

И, конечно, дело было не в актерах и не в их игре, а в публике. Публика первых представлений Александринского театра — довольно приятная публика. Хорошее она принимает с восторгом, к посредственному снисходительна. В массе она интеллигентна и равнодушна.

В театр эта публика приходит отдыхать и с некоторой пользой для ума и сердца развлечься. Половина театра — по записям автора, режиссеров, актеров, дирекции: они чувствуют себя чуточку привилегированными, и это делает их снисходительными союзниками.

И потому первые представления в этом театре почти сплошь проходят гладко. Актерам аплодируют, потому что любят их, автора вызывают — ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какой он из себя и какое у него будет глупое лицо, когда он начнет раскланиваться.

Но бенефисная публика — это нечто другое. Преобладающий состав ее не поддается общему определению. Это зависит от того, чей бенефис.

У каждой актрисы и у каждого актера — свои особые поклонники, и уж они, конечно, первые заполняют запись на места. И самая запись производилась (не знаю, как теперь) не в кассе и не в конторе театра, а у бенефицианта на дому.

Это тоже ведь представляет особого рода прелесть: прийти к артистке и засвидетельствовать свое поклонение или выразить его в письменной форме. Таким образом, успех пьесы ставится в прямую зависимость от того, чей бенефис и каков контингент поклонников.

Без сомнения, актер знал своих почитателей и пьесу для своего бенефиса выбирал применительно к их вкусам, но в данном случае, очевидно, Левкееву посетило какое-то затмение. Решительно необъяснимо, почему именно она выбрала «Чайку» и этим ввела неповинного автора в крайне невыгодную сделку.

Левкеева — веселая, смешная актриса, обыкновенно появлявшаяся в ролях бытовых, а то игравшая приживалок, старых дев, которые обыкновенно трактуются в комическом виде и говорят смешные слова, с смешными ужимками.

При появлении Левкеевой на сцене всем было смешно, и вызванный ею смех был добродушного, но невысокого, общедоступного качества. Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры.

Очевидное дело, что, когда был объявлен ее бенефис, они подумали: «Левкеева! Вот уж насмеемся, потешим душу. То-то, должно быть, угостит она пьесочкой... Бока надорвем смеючись».

И ринулись записываться на места, невзирая на возвышенные цены. Сама Левкеева в этом случае перескромничала, слишком мало понадеялась на свое собственное имя и усилила его еще именем автора.

Но в том кругу, который она привлекла на свой бенефис, едва ли было даже известно имя Чехова.

Были, конечно, зрители, которых привлекло в театр имя не Левкеевой, а Чехова, но их было ничтожное число. Широкую интеллигентную аудиторию, которая тогда уже была у Чехова, бенефисные цены заставили отложить наслаждение до следующих спектаклей.

И вот эта-то публика и явилась ценительницей чеховских «новых форм», которые ей показали со сцены. Ничего другого и не могло произойти, кроме того, что произошло.

С первых же сцен началось недоумение. Актеры говорили на непонятном языке недоступные пониманию публики вещи. Никто не смешил, никто не раздирал душу.

Герой — какой-то неизвестный молодой человек, вздыхающий по «новым формам» и страдающий оттого, что у него из литературы ничего не выходит.

Наивная провинциальная девушка... Известный писатель, пожилая актриса... Скучный доктор, скучный сельский учитель, жена его, пьющая водку...

Требовать от этой публики, чтобы она разглядела ту тихую, незримую трагедию, которая витает над жизнью этих людей, было бы даже несправедливо.

И, выслушав акт и часть второго, левкеевская публика почувствовала себя оскорбленной. Кроме того, эта публика была невоспитанная. Другая публика, если б даже нашла пьесу неудачной, плохой, из уважения к автору — проводила бы ее молчанием. Это был бы неуспех, но в этом не было бы ничего обидного. Не нравится. Что с этим поделаешь? Дело вкуса.

Но тут было иначе. Невоспитанная публика захотела показать и даже подчеркнуть свою невоспитанность.

К моему большому счастью, я этого своими глазами не видел. Но люди, которые пришли после спектакля, рассказали мне вещи, которым я не хотел верить.

Во время представления зрители первых рядов демонстративно поворачивались спиной к сцене, громко разговаривали с знакомыми, смеялись, шипели, свистали.

Как должны были реагировать на это актеры? Нужно знать, что такое актер на сцене. Это барометр, чутко воспринимающий все происходящее в зрительной зале.

И, уж конечно, всякое настроение и всякая игра должны были пойти к черту. Сначала недоумение, потом обида, досада, отчаяние, растерянность и «всеобщая паника», как определил сам Чехов.

Потом он кому-то писал, что актеры играли ужасно, ролей не знали и проч. и что будто бы игра была так плоха, что через нее нельзя было разглядеть самой пьесы.

Но тут он был несправедлив. Актеры просто растерялись. Они никогда ничего подобного не испытали. В зале сидела чужая публика, которая и вела себя по-чужому.

«Всеобщая паника» — какой же хорошей игры можно было требовать от актеров, какого знания ролей? Да они в это время, наверно, забыли таблицу умножения и свои

собственные имена. И чем горячее они относились к пьесе, тем сильнее это должно было в них проявиться.

Чехов несправедливо взвалил всю ответственность на актеров, тогда как вся причина была в публике, а виноват был он сам, неосмотрительно отдавший пьесу в бенефис Левкеевой.

Впечатление, произведенное на него этим невероятным событием, было огромное. И нужно было обладать чеховской выдержкой, чтобы иметь равнодушное лицо и почти равнодушно шутить над всем происшедшим.

В тот вечер я его не видел и не знаю, с каким лицом он «ужинал у Романова, честь честью» [38].

Я пришел к нему на другой день часов в десять утра. Он занимал маленькую квартирку в доме Суворина, где-то очень высоко, и жил один.

Я застал его за писанием писем. Чемодан, с плотно уложенными в нем вещами, среди которых было много книг, лежал раскрытый.

— Вот отлично, что пришел. По крайней мере проводишь. Тебе я могу доставить это удовольствие, так как ты не принадлежишь к очевидцам моего вчерашнего триумфа... Очевидцев я сегодня не желаю видеть.

— Как? Даже Марью Павловну?

— С нею увидимся в Мелихове. Пусть погуляет. Вот письма. Мы их разошлем. Я уже уложился.

— Почтовым?

— Нет, это долго ждать. Есть поезд в двенадцать.

— Отвратительный. Идет, кажется, двадцать два часа.

— Тем лучше. Буду спать и мечтать о славе... Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх.

— А что?

— Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если б ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем...

Захватив чемоданы и письма, вышли и спустились по лестнице. Тут письма были отданы швейцару, с поручениями. В одном он извещал о своем отъезде Марью Павловну, в другом — Суворина, в третьем, кажется, брата [39].

Взяли извозчика и поехали на Николаевский вокзал. Тут Антон Павлович уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и меня.

На дебаркадере ходил газетчик, подошел к нам, предложил газет. Антон Павлович отверг:

— Не читаю! — Потом обратился ко мне:

— Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии...

Поезд был пустой, и у Антона Павловича оказалось в распоряжении целое купе второго класса.

— Ну, и сладко же буду спать, — говорил он.

Но в глазах его было огорчение. Все эти остроты, шутки, смех ему кой-чего стоили.

— Кончено, — говорил он перед самым отъездом, уже стоя на площадке вагона. — Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело. Вчера, когда шел из театра, высоко подняв воротник, яко тать в нощи, — кто-то из публики сказал: «Это беллетристика», а другой прибавил: «И преплохая...» А третий спросил: «Кто такой этот Чехов? Откуда он взялся?» А в другом месте какой-то коротенький господин возмущался: «Не понимаю, чего это дирекция смотрит. Это оскорбительно — допускать такие пьесы на сцену». А я прохожу мимо и, держа руку в кармане, складываю фигу: на, мол, скушай; вот ты и не знаешь, что это сделал я.

— А то, может, раздумаешь, Антон Павлович, да останешься? — предложил я, когда раздался второй звонок.

— Ну, нет, благодарю. Сейчас все придут и утешать будут — с такими лицами, с какими провожают дорогих родственников на каторгу.

Третий звонок. Простились.

— Приезжай в Мелихово. Попьем и попоем.

И поезд отошел. Антон Павлович уехал, глубоко оскорбленный Петербургом.

Но как скоро душа его осилила это проклятое наваждение! На другой день, приехав в Мелихово, он уже пишет деловые письма, хлопочет о книгах для таганрогской библиотеки, которой он помогал организоваться. Заботится о больных мужиках, с которыми он, несмотря ни на что, возится, а о своем душевном состоянии пишет шутливо: «Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши...» [40]

И опять явилась прежняя уравновешенность. Своей «Чайке» он сперва велел не показываться на глаза. На просьбу поместить ее в «Русской мысли» послал отказ, а потом согласился, разрешил любителям играть ее и вообще примирился с нею.

Я был на втором и на третьем представлениях «Чайки». В зрительной зале сидела обычная публика Александринского театра, и я мог наблюдать, с каким вниманием она вслушивалась в то новое, что происходило на сцене.

Там не было обычных — драматической актрисы, первого любовника, простака-мужа, великосветского хлыща и пр. и пр., что полагалось и к чему привыкли глаз и ухо, но это не мешало с любопытством слушать и смотреть.

Я решительно утверждаю, что пьеса на этих представлениях нравилась большой публике. Актеры начали сыгрываться, и можно было думать, что мало-помалу у них получится нечто цельное, чего нельзя было и требовать раньше за почти полным отсутствием настоящих репетиций, и «Чайка» войдет в репертуар.

В этом смысле я и другие телеграфировали и писали Антону Павловичу, но он принял это за желание утешить и вообще отнесся скептически.

Он был прав только в одном отношении: что если даже все это и так, то пьесе не дадут выиграться и занять надлежащее место. Так это и случилось.

Тогдашняя дирекция оказалась по своим художественным вкусам мало чем выше той публики, какая наполняла залу на первом представлении «Чайки». Бенефисная дирекция... В оценке пьесы она, очевидно, руководствовалась такими внешними признаками, как вызовы актеров, аплодисменты и цифра сбора.

Аплодисментов действительно было немного, и вызовы были скромные. Но это понятно. «Гром аплодисментов» обыкновенно вызывается чем-нибудь эффектным, совершающимся на сцене, а в «Чайке», как и вообще у Чехова, за исключением первых его пьес, написанных еще в старой манере, то есть именно до «Чайки», — таких нарочито эффектных мест не было.

Что же касается цифры сборов, то «новые формы», казалось бы, заслуживали того, чтобы подождать и дать публике возможность ознакомиться с ними, разглядеть их и оценить.

Но цифра 800 рублей на четвертом представлении так

испугала дирекцию, что она, чуть ли не после этого спектакля, решила снять пьесу с репертуара.

А несколько лет спустя «Чайка» была вторично поставлена в том же театре. Тогда уже появились новые веяния и была новая дирекция. Роли были распределены несколько иначе. В Александринском театре уже не было Комиссаржевской, умер Сазонов, из пьесы выступил Варламов.

И что же? Несмотря на все это, «Чайка» имела успех. Она была дана заурядным спектаклем, бенефисной публике не было предоставлено решать ее судьбу. Комиссаржевскую заменила Селиванова, хорошая актриса, но не претендовавшая даже на сравнение с Комиссаржевской. Роль Сазонова исполнял Шувалов, опять-таки с большим ущербом для роли.

И, несмотря на все это, пьеса имела успех, делала сборы и держалась на афише.

Я уже не говорю о Художественном театре, для которого «Чайка» была своего рода исходным пунктом, где она имела шумный, демонстративный успех.

И я совершенно уверен, что если б и в первый раз в Александринском театре «Чайка» была дана обыкновенным спектаклем, то публика приняла бы ее хотя, может быть, и с некоторым удивлением, но благосклонно и почтительно. Как театральная пьеса «Чайка» не удовлетворила бы ее, но пленили бы ее исключительные художественные достоинства.

Все то, что я рассказал здесь, я взял из своей памяти. Я не веду дневников и не имею привычки заносить свои мысли и наблюдения в записные книжки.

Но если бы даже такая привычка у меня была, я ничего не записал бы о Чехове, так как никогда не смотрел на него как на объект для наблюдения.

Менее всего я претендую на характеристику личности А. П. Чехова. Я хотел только отметить некоторые моменты его жизни, когда я стоял к нему близко. Пусть все это будет даже незначительно, но ничто, касающееся его, не должно быть потеряно.

Десять лет тому назад умер Антон Павлович Чехов. Но несколько лет спустя он воскрес перед нами в своих письмах, которые были собраны и изданы в четырех книгах [41].

Сборники эти не полны. Я, например, знаю, что после постановки «Чайки» у А. П. была переписка с В. Ф. Комиссаржевской, писал он и Д. Н. Мамину и другим. Этих писем, вероятно, нельзя было получить, и их нет в изданных сборниках.

Но, несмотря на неизбежные пробелы, эти четыре книги воскрешают перед нами его образ с изумительной ясностью и красочностью.

Читая эти письма, я вижу перед собою живого Антона Павловича и любуюсь его изящной, очаровательной душой.

М. М. ЧИТАУ

ПРЕМЬЕРА «ЧАЙКИ»

(Из воспоминаний актрисы)

Ко времени постановки чеховской «Чайки» на сцене Александринского театра необходимость искания «новых тонов» окончательно созрела в сознании молодых драматургов, но еще совсем не проникла в сознание большой публики. И театральные заправилы, впрочем всегда довольно равнодушно относившиеся к русскому драматическому театру, не думали о новшествах.

Помню, что написанная П. П. Гнедичем в виде пробы пера в «новых тонах» пьеса «Мгла» (еще в 80 или 81 г.), так и не увидела света рампы: ее находили не сценичной.

Первой большой пьесой А. П. Чехова, поставленной в Александринском театре, как известно, был «Иванов». Пьеса шла в бенефис Давыдова [1], исполнялась прекрасно и имела блестящий успех. Видимо, переходные «тона» ее были верно схвачены артистами и пришлись по вкусу публики. Но второму произведению Чехова, «Чайке», жестоко не повезло в том же театре, чему способствовали прямые и косвенные причины.

«Чайку» выбрала для своего бенефиса Е. И. Левкеева [2]. Публика, неизменно видевшая ее в комических ролях, шла на этот спектакль в надежде весело провести время. В данном случае имя Чехова, как остроумного «Чехонте», могло тоже обосновать такие надежды.

Однако за кулисами заранее уже говорили, что «Чайка» написана «совсем, совсем в новых тонах», это интересовало будущих исполнителей и пугало, но не очень, так как было уже установлено, что пьесу прочитает им сам автор, от

которого и ожидалась помощь для восприятия новых откровений.

Роли в «Чайке» распределял сам А. С. Суворин. М. Г. Савина должна была играть Нину Заречную, Дюжикова 1-я — Аркадину. Абаринова — Полину Андреевну, Машу — я. В главных ролях из мужского персонала участвовали: Давыдов, Варламов, Аполлонский, Сазонов [3].

На считку «Чайки» мы собрались в фойе артистов. Не было только Савиной и автора. Савина прислала сказать, что больна. Но, конечно, не ее присутствие интересовало собравшихся, а присутствие и чтение самого автора.

Ждали его очень долго, сначала довольно молчаливо, потом началось ежеминутное поглядывание на часы, томление и актерская болтовня. Наконец вошел главный режиссер Е. П. Карпов и возвестил, что Антон Павлович прислал из Москвы телеграмму, что на считке не будет. Все были разочарованы этим известием. Карпов же распорядился, чтобы суфлер Корнев прочитал нам пьесу.

Неунывающая никогда бенефициантка не участвовала в «Чайке» и выбрала для себя более подходящую веселую комедию для конца спектакля [4], но на считку приехала и теперь утешалась тем, что Чехов сам поведет репетиции и послужит нам камертоном, так как такового среди режиссуры не имелось.

Без всякой пользы для уразумения «новых тонов» и даже без простого смысла доложил нам пьесу Корнев, а затем мы стали брать ее на дом для чтения.

Когда впоследствии я любовалась исполнением «Чайки» в Московском Художественном театре, мне казалось, что сравнительно с первой ее редакцией многое было изменено и более удачно применено к сцене [5]. Может быть, я ошибаюсь, и дело не в тексте и не в режиссерах, а в нашем плохом исполнении этой пьесы.

Начались репетиции. Автор еще не приехал из Москвы [6]. Савина продолжала хворать, и реплики Заречной читал нам помощник режиссера Поляков.

На второй репетиции автора все еще не было, и стало известно, что Савина, тоже не приехавшая в театр, отказалась от роли Нины, но изъявила готовность играть Аркадину вместо Дюжиковой 1-й [7]. Роль Заречной была передана Комиссаржевской. Конечно, всякие перетасовки являлись досадной помехой делу, когда для подготовки новой пьесы

давалось всего 7 репетиций, хотя в данном случае перемены были и к лучшему. Комиссаржевская приехала на репетицию, приехала и Дюжикова репетировать за Савину. Эта добросовестная, честная и прекрасная артистка для пользы дела шла на то, чтобы изображать какой-то манекен, который вынесут на чердак, как только явится настоящая фигура. Но и пользы-то, собственно, оказать она не могла, ибо ни угадать, ни передать соисполнителям пьесы, как поведет роль Савина, было, конечно, невозможно. Давыдов давал кое-какие указания некоторым из нас, помимо режиссеров, которые все ссылались на будущие указания автора. Но и сам Давыдов при всем своем огромном таланте не улавливал «новых тонов».

Одна Комиссаржевская уже настолько художественно набрасывала эскиз образа Нины Заречной, что жизнерадостная бенефициантка, блестя выпуклыми глазами и, по привычке, вертя кистями рук с растопыренными пальцами, помню, делилась со мною надеждами на то, что «Вера Федоровна щеп и лучины нащепает из Нины, Савушка будет великолепна в роли провинциальной примадонны — что, может, пьеса обставлена ахово, а сам Антон Павлович окончательно наведет лак».

Интересовало и пугало многих, как примет публика Александринского театра монолог Нины Заречной на импровизированной «сцене на сцене», который написан не только в новых тонах, но казался даже нащупыванием каких-то ультрановейших лучей в драматургии.

Наши закулисные юмористы уже дополняли его в своем стиле и духе.

Но из этого испытания Комиссаржевская вышла победительницей. Она начинала монолог с низкой ноты своего чудесного голоса и, постепенно повышая его и приковывая слух к его чарующим переливам, затем постепенно понижала и как бы гасила звук и завершала последнее слово периода «...все жизни, свершив печальный круг, угасли» — окончательным замиранием голоса. Все зиждилось на оттенках, на модуляциях ее прекрасного органа. Многие знают подобные старые приемы декламации, многих им учили, но мало кто мог бы так виртуозно применять их.

Только с закутыванием в простыню Комиссаржевская не могла справиться «с убеждением», что и сказалось на спектакле: публика отозвалась на этот жест взрывом хохота.

Приехав на третью репетицию, я нашла в своей уборной

нашу гардеробмейстершу, с которой я давно выбрала себе в театральной гардеробной платье для роли Маши и просила ее кое-что переделать в нем. Она казалась смущенной, и когда я начала торопить ее мерить платье, к большому удивлению моему заявила, что «Мария Гавриловна (Савина) нашла это платье вполне подходящим и будет играть в нем, а потом уже можно будет перешить его, тогда мы его и померим».

Недоумение мое разрешила появившаяся при этом бенефициантка, как-то несвойственно ей сконфуженная, и объяснила, что Савина, хотя вообще не понимает «Чайки» и от роли Аркадиной, как и от роли Нины Заречной, тоже отказалась, но в память прежней дружбы с ней, Левкеевой, предложила сыграть для ее бенефиса... Машу, потом повторить и затем передать роль мне — Читау. Сегодня я буду репетировать, а остальные репетиции предоставлены Марии Гавриловне.

— Да какие же это вообще репетиции?! — вскипела я. — И у меня отняты еще четыре. Ведь бенефиса не отложат из-за того, что, по чистой совести, пьеса не только не будет готова, но мы даже не знаем, как к ней и приступить-то!

Но это бесполезно высказанное мнение так огорчило Левкееву, что я поспешила загладить свою ошибку и пошла проделывать свою последнюю репетицию.

Автора все еще не было. Иные из исполнителей были раздражены или обескуражены всей этой неурядицей, другие, махнув рукой, принялись дурачиться. Конечно, не только «новые тона» не вырабатывались, но невозможно даже было при таком положении дела вообще как-нибудь спеться, и все шли вразброд. Только Комиссаржевская, уже продумавшая, усвоившая и, главное, почувствовавшая свою роль, шла особняком и репетировала еще лучше.

На другой день я не должна была быть на репетиции и не была. Однако в тот же вечер приехал ко мне Карпов и объявил, что Савина и от роли Маши отказалась [8], на репетиции читал за меня Поляков, роль возвращается мне.

Никогда еще не было такого ералаша в нашем муравейнике!

А. П. Чехов приехал наконец и посещал наши репетиции до конца [9]. Однако оттого ли, что он нашел, что поздно или невозможно что-либо поправить или по другим причинам, но только никаких указаний он не делал, репетиции оставались каким-то никчемным делом, настроение все падало, и только Комиссаржевская все более и более стано-

вилась совершенной в роли Нины да Абаринова не потеряла куража и, думая, что нашла ключ к «новым тонам», убежденно советовала многим:

— Главное — надо говорить уныло!

И, репетируя вовсю, со слезой в голосе говорила Треплеву:

— Ну, вот, теперь вы стали известным писателем...

А воспитанная на «старых тонах» бенефициантка недоумевала:

— Ведь это хорошо, что он стал известным писателем, — шептала она мне, — так почему же Тоша (Абаринова) говорит это, точно сообщает ему о болезни любимой тетеньки?!

Остается еще сказать несколько слов о самом бенефисе.

Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что «молодежь» ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель?

Под такими впечатлениями началась «Чайка».

Как была воспринята пьеса по ту сторону рампы, писалось уже много раз очевидцами этого зрелища. Добавляю от себя, что ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александринского театра и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков «всех» или «автора» [10]. Исполнители погрузились во тьму провала. Но всеми было признано, что над ним ярким светом осталась сиять Комиссаржевская, а когда она выходила раскланиваться перед публикой одна, ее принимали восторженно. И если зрители, пришедшие на бенефис комической артистки вдоволь посмеяться, заодно хохотали над жестом Комиссаржевской с «коленкоровой простыней» (как выразился по этому поводу один из мемуаристов), то в этом артистка неповинна, общее же исполнение «Чайки» не могло способствовать тому, чтобы заставить эту праздную публику радикально изменить настроение.

Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки, и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновато, не то с состраданием смотрела на него своими выпуклыми глазами и даже ручками не вертела. Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье... Они

молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел.

Он уехал не только из театра, но и из Петербурга [11].

На втором спектакле произошла волшебная перемена: пьесу прекрасно принимали, раздавались многочисленные крики — «автора», вызывали «всех». О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего [12]. Но в общем играли мы «Чайку», конечно, не лучше и во второй раз.

Париж
1926

А. И. ЯКОВЛЕВ

У ЧЕХОВА В МЕЛИХОВЕ

Во вторник на Святой 1897 года, ясным апрельским утром, мы собрались в гости к А. П. Чехову и взяли на Курском вокзале билеты до Лопасни [1].

Прошел слух, что Чехов болен и лежит в клинике. Я пошел на Девичье поле справиться в клиниках и узнал, что к Пасхе он выписался и уехал к себе в Лопасню.

Чехова как человека тогда знали мало, и мы, студенты первого курса, его горячие поклонники, воображали себе его одиноким доктором земской больницы, пишущим свои рассказы в свободные от службы часы.

Далеко за полдень поезд наш остановился у Лопасни. Напрасно спрашивали мы мужиков-извозчиков, толпившихся около заднего крыльца станции, где здесь больница и где живет доктор Чехов. Никакой больницы близко не было. Где же Чехов?

На помощь нам явился вышедший с вокзала с сумкой через плечо кучер:

— Вы к Антону Павловичу? Пожалуйте, я вас довезу.

— А где же живет Антон Павлович?

— Недалече, верст двенадцать, больше не будет.

— Двенадцать?! Как быть? Ехать — значит попасть к Антону Павловичу под вечер. Поедем! К ночи вернемся в Лопасню.

Мы наняли тарантас и вслед за чеховским почтальоном потянулись рысью чрез желтые глинистые бугры и овражки, поросшие березняком и осиной.

Ехали долго. Когда в сумерках показались деревья усадьбы и ворота длинной изгороди из жердей, на небе успел уже прорезаться молодой месяц. Дул сильный ветер, закат густо покраснел, и стало холодно.

Подъехав к усадьбе, мы поняли, что Антон Павлович живет не в больнице, а в усадьбе, и не один, как нам показалось.

Как вторгнуться в это время в чужую семью? Почтальон исчез в глубине сеней с разноцветными стеклами в боковых окнах. На крыльце показалась темная фигура:

— Милости просим!

Мы вошли. Нас ввели в столовую. В комнате находилось много народа. Там были отец Антона Павловича, его мать, сестра, братья, гости. Кто-то только что перед нами приехал со станции;[2] шел оживленный разговор. Нас сейчас же усадили за стол, заставили пробовать пасху, куличи, домашнюю наливку.

Около нас села девушка с ласковыми глазами, похожими на глаза Антона Павловича, — Мария Павловна.

Она объяснила нам, что Антоша после заката уходит к себе, — она показала закрытую дверь. Сидеть долго ему вредно.

— Для вас Антоша, может быть, сделает исключение. Вы — приезжие.

Мария Павловна исчезла в кабинете Антона Павловича.

— Антоша просит вас остаться до завтра, а сегодняшний вечер проведете с нами.

Из столовой перешли на балкон. Ветер продолжал дуть, на небе проступили яркие звезды. Лиц в темноте не было видно. Говорили о многом, больше всего с волнением и нежностью об Антоне Павловиче.

— А ведь как бы не было дождя. Давеча мальчишки убили ужа, и Антоша предсказывал.

— Антон Павлович? — изумился мой спутник.

— А вы думаете, Антоша не говорит глупостей? Еще какие! — любовно сказала Мария Павловна.

Спать нас повели в садовый павильон.

Проснувшись часов в шесть, я не понял сразу, где я. Когда я вспомнил, как мы вчера, незваные и непрошеные, нечаянно забрались в дом к Чехову, меня охватило чувство стыда. Я оделся и сел на постели в самом мрачном раздумье.

Дверь в переднюю павильона открылась, послышались шаги. В комнату вошел высокий человек в ватном пальто и мягкой шляпе. Увидев меня уже одетым, он подошел ко мне, подал широкую руку и заговорил со мной так, точно мы виделись только вчера и были давно знакомы.

Я ожидал увидеть Антона Павловича слабым, медлительным, скучающим, а увидал его бодрым, энергичным, с твердой и быстрой походкой, спокойным, уверенным голосом и улыбкой на губах.

— Если вы ничего против не имеете, пойдемте, господа, в сад.

Мы вышли на правильные аллеи молодого яблоневого сада. За деревьями, вправо от дома, курился маленький прудок, за прудком была деревня. Кругом — все тот же суглинок, овражки, перелески, луговины — пейзаж Левитана.

Кто-то из нас заметил это.

— Да, да, — сказал Антон Павлович, — а вы знаете его? Какой это сильный, могучий талант.

— Читали вы, Антон Павлович, недавнее письмо Л. Н. Толстого к либералам [3] и какого вы мнения о наших студенческих волнениях?

— Университетские движения, по-моему, — сказал Антон Павлович, — вредны, вредны тем, что оттягивают и губят много сил понапрасну. Каждое такое волнение сокращает силы интеллигенции. Этих сил так мало, обходятся они так дорого, столько их пропадает и без всяких университетских волнений, что незачем заботиться об увеличении числа жертв, уносимых жизнью. Надо работать и работать, — с оттенком горечи заговорил А. П. — Дела много, бесконечно много. Надо бороться с темными силами здесь, на месте, бороться с нуждой, невежеством и теми, для кого невежество выгодно... [4]

Разговор перешел на литературную работу. Мой спутник [5] был немного причастен к ней и стал жаловаться на те трудности, с которыми приходится встречаться в поисках труда.

Чехов улыбнулся улыбкой спокойной и ласковой, улыбкой старшего брата на детскую жалобу.

— А вы пробуйте, — сказал он, — носите в разные редакции, посещайте ученые общества, составляйте отчеты о заседаниях. Я начинал так. Важна привычка к работе, знакомство с техникой дела. Постепенно войдете в круг этой профессии, перезнакомитесь с людьми, завяжете отношения. Хорошо было бы основать студенческую газету, в которой участвовало бы побольше молодежи. Пусть получают по две копейки со строчки — что за беда! Зато скольких может увлечь этот труд.

— Антон Павлович, можно вам задать один вопрос... Есть что-нибудь реальное в фабуле «Рассказа неизвестного человека»?

Антон Павлович засмеялся.

— Да, кое-что, кажется, есть. Только я не совсем твердо помню содержание этого давнишнего рассказа.

— А профессор в «Скучной истории» — это Бабухин?

— Нет, это лицо собирательное, хотя много взято с Бабухина.

Чехов засмеялся своим милым смехом и спросил, знаем ли мы А., издателя или редактора одного теперь прекратившегося толстого журнала.

— Как его провели! — смеялся он недавней истории с посмертным стихотворением Кольцова, присланным в этот журнал и помещенным в нем в качестве любопытной находки. Стихотворение было поддельное, и акростих первых букв каждой строки составлял фамилию издателя и не особенно лестный эпитет к ней [6].

— Антон Павлович, вы встречались с Л. Н. Толстым?

— Как же, встречался, когда я лежал в клиниках, он был у меня. А раньше я был у него в Ясной Поляне [7].

Антон Павлович рассказал нам свое посещение Толстого и вспомнил, как Л. Н. тотчас же по их приезде (Чехов был не один, дело было ранним утром) повел их купаться, и первый разговор у них происходил по горло в воде.

Мы сидели на лавочке в конце аллеи. Солнце поднялось и стало греть. Около нас на песке с сосредоточенным видом вертелись две маленькие таксы Антона Павловича — Бром и Хина. Позвали в столовую к чаю. На этот раз в столовой были мы втроем да только что вставшая Мария Павловна. Антон Павлович продолжал разговор о студенческой газете.

— А. П., как вы пишете? Так же по многу раз переписываете, как Толстой, или нет?

А. П. улыбнулся.

— Обыкновенно пишу начерно и переписываю набело один раз. Но я подолгу готовлю и обдумываю каждый рассказ, стараюсь представить себе все подробности заранее. Прямо, с действительности, кажется, не списываю, но иногда невольно выходит так, что можно угадать пейзаж или местность, нечаянно описанные...

Чтобы поспеть на утренний поезд, надо было ехать. Мы стали собираться и хотели пойти искать лошадей на деревне, но А. П. настоял, чтобы ехали мы на его лошади.

— Кучер вас довезет до усадьбы нашего «свирепого» соседа С. Я вам дам записку, и С. даст вам лошадь. На ней вы доедете до Лопасни [8].

Пока запрягали, А. П. позвал нас к себе в кабинет. Это была узкая продолговатая комната с низкими окнами, очень просто обставленная и аккуратно прибранная. На письменном столе, поставленном поодаль от стен, лежал

французский медицинский журнал. Из окна позади стола виднелся за деревьями прудок. На стене висел странный рисунок «Волшебный театр», похожий на иллюстрацию к Эдгару По. Одинокие руины и кругом лес, тускло освещаемый сквозь тучи луной.

А. П. подвел нас к низенькому шкафу, достал с полки кучку лежавших на ней томиков своих сочинений суворинского издания и предложил нам выбрать, кому что понравится. Мой спутник потянулся к «Хмурым людям», а я — к «Палате № 6» [9].

А. П. надел пенсне и сел к столу. Лицо его сделалось внимательным, таким, каким он снят на портретах последнего времени. Он спросил наши имена и своим мелким, кругловатым почерком надписал обе книжки, пометил время и место: 97, 16/IV, Мелихово.

Подали лошадь, надо было ехать. А. П. вышел с нами на крыльцо.

— А. П., может быть, в Москве, по пути, завернете и к нам?

— А где вы живете?

А. П. записал наши адреса в книжечку.

— Спасибо. Непременно.

В соседней усадьбе нас приняли очень ласково, и «свирепый» сосед дал нам лошадь, запряженную в беговые дрожки.

Антона Павловича я больше не встречал.

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

Меня познакомил с А. П. Чеховым старый приятель, редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский. Я жил в это время в окрестностях Ниццы, в деревне Больe. Чехову порекомендовали южный климат. Пробыв некоторое время в Биаррице [1], он вместе с Соболевским переехал в более теплую Ниццу и устроился здесь на зиму в русском пансионе, в котором ранее его живал Салтыков-Щедрин. Чехов показался мне малоразговорчивым и мрачным. Лед между нами не сразу растаял. Но на расстоянии нескольких недель мы сделались уже приятелями [2]. Я не раз приезжал пообедать с ним в пансионе в обществе жившего там же известного зоолога Коротнева, устроителя биологической станции в Вилла-Франке и профессора Киевского университета. Оба они также нередко приезжали ко мне или вместе со мною предпринимали поездки по окрестностям. Чехов посетил Ниццу несколько зим подряд [3]. Когда здоровье его поправлялось, он не прочь был съездить и в Монте-Карло, и в Марсель, и на Итальянскую Ривьеру. В этих поездках его неоднократно сопровождал как Коротнев, так и я. Коротнев, прежде чем стать зоологом, окончил курс на медицинском факультете в Москве. Чехов также получил медицинское образование и, живя в подмосковной деревне, не отказывал крестьянам, разумеется даром, в врачебной помощи.

Любовь к медицине и естествознанию невольно сблизила киевского профессора с русским писателем. Но была и другая черта соприкосновения у обоих. Любовь к живописи, к русскому ландшафту, в частности к пейзажам Левитана. Коротнев в течение ряда лет составлял себе маленькую коллекцию картин, преимущественно русских и некоторых заграничных художников.

В нашем обществе обыкновенно бывали и приезжавшие

из России литераторы и живописцы: князь Сумбатов, Потапенко, Якоби и Юрасов, исполнявший в Ментоне обязанности вице-консула, но избравший своим местожительством Ниццу.

Чехов не любил выходить из этого круга. Его мудрено было зазвать в великосветский салон. Да и с приятелями он не всегда был разговорчив. Особенно, когда у него показывалась кровь из горла. Но такие припадки были не часты. Среди зимы он обыкновенно чувствовал себя лучше после двух-трех месяцев пребывания на Ривьере. Тогда его тянуло из Ниццы, и мы предпринимали с ним наши странствования, редко когда длившиеся более недели. Когда он принимался за литературную работу, он исчезал на ряд дней из нашего кругозора. Писал он далеко не ежедневно, как это вошло в привычку некоторых известных мне беллетристов [4]. Рассказ и повесть требовали от него усидчивой работы нередко в продолжение недели. Тогда он не спускался даже к табльдоту. И когда показывался снова в нашем обществе, мы не без грусти отмечали перемену в его лице. Он бледнел и казался худее прежнего. И во время совместных прогулок он часто смолкал, как бы озабоченный какими-то мыслями. В это время он, по всей вероятности, обдумывал затеваемый им рассказ.

К литературной работе Чехов относился с большой серьезностью. Он как-то стал жаловаться мне, что приятели-врачи убедили его расстаться с московским хутором и переехать в Крым. «На что мне эти татары? — говорил он полушутя, полусерьезно. — Прежде я окружен был людьми, вся жизнь которых протекала на моих глазах; я знал крестьян, знал школьных учителей и земских медиков. Если я когда-нибудь напишу рассказ про сельского учителя [5], самого несчастного человека во всей империи, то на основании знакомства с жизнью многих десятков их».

Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор, который позволил бы составить себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным и желательным исчезновение из деревни как дворянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. Предстоящая рубка «вишневого сада» его не беспокоила. Колупаевы и Разуваевы [6], изводившие бывшие помещичьи леса и усадьбы, также не вызывали его симпа-

тии. Он желал одного: чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь.

Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства и парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды, а крестьянство — уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходок, ассоциаций, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом — таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого наступления которого он ждал.

Как горячо относился Чехов ко всякой несправедливости, вызываемой национальными или религиозными счетами, об этом можно судить по его отношению к делу Дрейфуса [7]. Оно как раз разыгралось в бытность его в Ницце.

Серьезно познакомившись с ним, Чехов написал длинное письмо А. С. Суворину, жившему в это время в Париже. Письмо это, как можно судить из ответа, им полученного, произвело ожидаемое действие: уверенность Суворина в виновности Дрейфуса была поколеблена; но это обстоятельство нимало не отразилось на отношении «Нового времени» к знаменитому процессу [8].

Приезжая из России, Чехов нередко дарил мне отдельные томики своих рассказов [9]. Меня всегда поражало его умение сказать так много на немногих страницах. Он отличался в этом отношении теми же качествами, что и Гюи де Мопассан. Говоря однажды со мною об авторе «Одной жизни» и стольких неподражаемых повестей и повестушек, Тургенев сказал мне: «Вот человек, который обладает тем качеством, которое Гомер передал бы словами: взять быка за рога». Тою же чертою отличался и Чехов. Французы вообще любили проводить параллель между ними. Я лично знал некоторых переводчиков Чехова, в числе их одного парижского медика. Он говорил мне, что сходство нашего писателя с автором «Одной жизни» до некоторой степени даже мешает успеху его в среде французских читателей,

которые предпочитают ему яркого изобразителя жизни «На дне» — Максима Горького.

У Чехова вы не найдете прерывающих нить рассказа отступлений, красивого описания картин природы, подобных — скажу для примера — «Украинской ночи» Гоголя или всем известному началу «Бежиного луга» Тургенева.

Однажды я имел возможность убедиться в том, как Чехов избегает всяких ненужных подробностей. Было это в Риме, в первый день великого поста. Мы вышли вместе из собора св. Петра, где при нас происходила довольно пестрая процессия «выкуривания следов карнавала». «Для беллетриста, — заметил я ему, — виденное не лишено некоторой прелести; хорошая тема для описания». — «Нимало, — ответил он мне. — Современный рассказчик принужден был бы удовольствоваться одной фразой: «Тянулась глупая процессия».

Когда я вспоминаю о Чехове, мне живо приходит на ум ночь, проведенная с ним в одном поезде [10] по дороге в Рим. Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. «Мне трудно, — сказал он, — задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка». Чехов, в молодости столь жизнерадостный, заражавший своим смехом читателей «Русского курьера», в котором печатались его мелкие рассказы [11], под влиянием болезни становился все более и более сосредоточенным, но не мрачным. Он без страха смотрел в будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой. Проводя, по необходимости, зимы вдали от родины, он жил, однако, всецело только ее интересами. Мне не пришлось встречать человека, который в меньшей степени был бы туристом. Его привлекала природа, не столько грандиозные ее картины, сколько скромный сельский пейзаж. Осмотр музеев, картинных галерей, развалин более утомлял, чем пленял его. В Риме мне пришлось взять на себя роль проводника, показывать ему форум, развалины дворца Цезарей, Капитолий.

Ко всему этому он оставался более или менее равнодушен, но не прочь был съездить в Тиволи, Фраскати, Альбано [12]. Мы должны были продолжить нашу поездку до Неаполя, но полученные им письма, известие о скорой постановке его новой пьесы [13], желание повидаться с родными и близкими потянули его неудержимо в Россию. Я убедил его одеться в мою енотовую шубу и проводил его на станцию. Здесь мы расстались, чтобы больше не встре-

титься. По временам доходили до меня вести об его браке, об успехе «Дяди Вани» в Художественном театре и о том, как все более и более обострялась его болезнь, а затем горестно отозвалась во мне весть о его одинокой кончине в Баденвейлере, куда он уехал лечиться.

Из моего многолетнего знакомства с Чеховым я вынес то впечатление, что, если бы судьба не наделила его художественным талантом, Чехов приобрел бы известность как ученый и врач. Это был ум необыкновенно положительный, чуждый не только мистицизма, но и всякой склонности к метафизике. Его пристрастия были на стороне точных наук, и в самом литературном творчестве в нем выступала, как редко у кого, способность точного анализа, не примиримого ни с какой сентиментальностью и ни с какими преувеличениями. Он любил работу писателя и относился к ней с величайшей серьезностью, изучая разносторонне подымаемые им темы, знакомясь с жизнью не из книг, а из непосредственного сношения с людьми. Как человек, он пленял простотою отношений, даже преувеличенным страхом попасть на подмостки.

Внешняя холодность соединялась в нем с теплым участием к чужим невзгодам, с желанием оказать услугу товарищам по ремеслу и даже людям, совершенно ему посторонним. Так, в течение ряда лет он лечил даром и с большой охотой крестьян своего уезда, приходя на помощь местному лекарю [14].

К самому себе Чехов умел относиться с строгой критикой. Я видел его после ряда часов, проведенных за корректурой «Трех сестер» [15]. Он был не в духе, находил пропасть недостатков в своей пьесе и клялся, что больше для театра писать не будет. К счастью, такое настроение скоро проходило у него, и когда кто-нибудь из приятелей позволял себе критическое отношение к тем или другим сторонам его комедии, он искусно и победоносно отстаивал написанное, прибавляя: «Нельзя судить о пьесе, не видев ее на сцене».

Для меня Чехов все же остается не столько драматическим писателем, сколько бесподобным рассказчиком, превосходно знавшим русскую жизнь, внимательно следившим за изменением общественных настроений, предвидевшим наступившие перемены, пророчествовавшим безошибочно близкое будущее нашей родины. Превосходный стилист, тщательно отделывавший свой слог, избегавший длинных фраз, всего ненужного и второстепенного, он умел сразу вводить читателя в круг затронутых им интересов.

Немногими штрихами обрисовывал он тип и русского мужика, которого из города снова потянуло в деревню и который не нашел возможности найти в ней заработок, и молодого интеллигента, мечтающего о всеобщем счастье и не умеющего устроить собственной жизни, и той многочисленной категории людей, для которых Чехов придумал оставшийся в нашем обиходе термин «человека в футляре». А. И. Куприн в своем недавнем сообщении назвал Чехова родоначальником современного русского рассказа; я полагаю, что эта оценка будет дана ему со временем и историками русской литературы.

А. А. ХОТЯИНЦЕВА

ВСТРЕЧИ С ЧЕХОВЫМ

Конец декабря 1897 года.

Моросит теплый дождь. Море, пальмы, запах желтофиолей...

— Ницца!

Rue Gounod, Pension russe, — веселый голос Антона Павловича:

— Здравствуйте! Хорошо, что вы приехали, за обедом здесь pintade * подают! Завтра в Монте-Карло поедем, на рулетку! (Я приехала из Парижа, в письме Антон Павлович обещал приготовить мне комнату.) [1]

— Комнаты в большом доме все заняты, вам дают в dépendance — маленьком флигеле, во дворе. Здесь живет человек сорок русских, никто из них никогда не слыхал обо мне, никто не знает, кто я! Впрочем, одна дама смутно подозревает, что я пишу в газетах.

Через несколько дней, однако, появились какие-то молодые супруги из Киева, очевидно знавшие, кто такой Чехов.

Комната их была рядом с комнатой Антона Павловича, и через тонкую стенку было слышно довольно ясно, как они по очереди читали друг другу рассказы Чехова. Это забавляло Антона Павловича. Иногда сразу нельзя было догадаться, какой именно рассказ читается, тогда автор прикладывал ухо к стене и слушал.

— А... «Свадьба»... нет, нет... Да, «Свадьба»!

Я нарисовала на это карикатуру и пугала, что он простудит ухо.

Публика в пансионе была в общем малоинтересная. За табльдотом рядом с Чеховым сидела пожилая сердитая дама, вдова известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Про нее Антон Павлович говорил:

* цесарку (*фр.*).

— Заметили вы, как она особенно сердится, когда мне подают блюдо и я накладываю себе на тарелку? Ей всегда кажется, что я беру именно ее кусок.

Напротив сидела старая толстая купчиха из Москвы, прозванная Антоном Павловичем «Трущобой» [2]. Она была постоянно недовольна всем и всеми, никуда не ходила, только сидела в саду, на солнышке. Ее привезли в Ниццу знакомые и здесь оставили. Ни на одном языке, кроме русского, она не говорила, очень скучала, мечтала о возвращении домой, но одна ехать не решалась.

Чехов пожалел ее и вскоре — надо было видеть ее радость — объявил ей:

— Собирайтесь, едут мои знакомые, они доставят вас до самой Москвы!

В виде благодарности «Трущоба» должна была отвезти кому-то в подарок от Антона Павловича две палки. Вообще всем, возвращавшимся в Россию, давались поручения. Антон Павлович очень любил делать подарки, предметы посылались иногда самые неожиданные, например — штопор...

Рядом с «Трущобой» сидели и, не умолкая, болтали две «баронессы» [3], мать и дочь, худые, высокие, с длинными носами, модно, но безвкусно одетые. Клички давать не пришлось, ярлычок был уже приклеен! Но как-то раз дочка явилась с большим черепаховым гребнем, воткнутым в высокую прическу; гребень был похож на рыбий хвост. С тех пор молодая баронесса стала называться «рыба хвостом кверху». В моих карикатурах начался «роман» — Чехов ухаживает за «рыбой». Старая баронесса препятствует — он беден; она заметила, что в рулетку он всегда проигрывает. Чехов в вагоне, возвращается из Монте-Карло с большим мешком золота, с оружием — штопором — в руке, охраняет свое сокровище, а баронессы сидят напротив и умильно на него смотрят. Чехов в красном галстуке — у него было пристрастие к этому цвету — делает предложение. Встреча в Мелихове: родители, сестра, домочадцы и собаки... Чехов тащит на плече пальму.

— Хорошо бы такую в Мелихове посадить! — говорил он, Любуясь какой-нибудь особенно высокой <пальмой>.

Свадьба, кортеж знакомых... молодые уезжают на собственной яхте.

Антону Павловичу нравились мои рисунки, он шутил:

— Вы скоро будете большие деньги загребать, как мой брат Николай! Всегда будете на извозчиках ездить!

От других лиц остались в памяти только прозвища:

«дама, которая думает, что она еще может нравиться», «дорогая кукла». Прозвища устанавливались твердо. Если я спрашивала: пойдем сегодня к «Кукле»? Антон Павлович непременно поправлял: к «Дорогой кукле». Эта дама была женой какого-то губернатора. Она была больна, лежала в постели всегда в очень нарядных белых кофточках, отделанных кружевами и яркими бантиками, каждый раз другого цвета. Она скучала и очень просила приходить к ней по вечерам. Чехова *читала* [4].

По утрам Антон Павлович гулял на Promenade des Anglais и, греясь на солнце, читал французские газеты. В то время они были очень интересны — шло дело Дрейфуса, о котором Чехов не мог говорить без волнения.

Из России получалось «Новое время». Прочитав номер газеты, Антон Павлович никогда не забывал заклеить его новой бандеролью с адресом Menton. Maison Russe [5] и опустить в почтовый ящик. По утру же неизменно перед домом появлялись, по выражению Антона Павловича, «сборщики податей» — певцы, музыканты со скрипкой, мандолиной, гитарой. Антон Павлович любил их слушать, и «подать» всегда была приготовлена.

Однажды пришла совсем незнакомая девочка-подросток и так серьезно и энергично потребовала, чтобы Чехов позировал ей для фотографии, что ему пришлось согласиться и быть «жертвой славы»! На другой день был прислан большой букет цветов, вероятно от нее, но фотографии не было.

Писем Антон Павлович получал много, и сам писал их много, но уверял, что не любит писать писем.

— Некогда, видите, какой большой писательский бугор у меня на пальце? Кончаю один рассказ, сейчас же надо писать следующий... Трудно только заглавие придумать, и первые строки тоже трудно, а потом все само пишется... и зачем заглавия? Просто бы № 1, 2 и т. д.

Однажды, взглянув на адрес, написанный мной на конверте, он накинулся на меня:

— Вам не стыдно так неразборчиво писать адрес? Ведь вы затрудняете работу почтальона!

Я устыдилась и запомнила.

Даже в таких мелочах проявлялась та действенная и неустанная любовь к людям, которая так поражает и трогает в Чехове. И как его возмущали обывательская некультурность и отсутствие любознательности!

Рассказывал... Люди обеспеченные, могут жить хорошо. В парадных комнатах все отлично, в детской — грязновато,

в кухне — тараканы! А спросите их, есть ли у них в доме Пушкин? Конечно, не окажется.

Между завтраком и обедом публика пансиона ездила в Монте-Карло, разговоры за столом обыкновенно касались этого развлечения. Ездил и Чехов и находил, что там очень много интересного. Один раз он видел, как проигравшийся англичанин, сидя за игорным столом с очень равнодушным лицом, изорвал в клочки свое портмоне, смял и скрутил металлический ободок, и потом только, очень спокойно, пошел.

По вечерам очень часто приходил приятель Антона Павловича, доктор Вальтер [6], и мы втроем пили чай в комнате Чехова; в пансионе чай вечером не полагался, но мы, по русской привычке, не обходились без него. Вспоминали и говорили о России. Антон Павлович очень любил зиму, снег и скучал о них, «как сибирская лайка».

Впоследствии, когда ему пришлось устраивать свой сад в Ялте, где в садах много вечнозеленых растений, он насадил деревья с опадающей листвой, чтобы «чувствовать весну». Он очень любил цветы. В Мелихове он разводил розы, гордился ими. Гостьям-дачницам из соседнего имения (Васькина) он сам нарезал букеты. Но срезал «спелые» цветы, те, которые нужно было срезать по правилам садоводства, и «чеховские» розы иногда начинали осыпаться дорогой, к большому огорчению дачниц, особенно одной, поклонницы Чехова, которую Антон Павлович прозвал «Аделаидой». Звали ее совсем иначе.

— Она похожа на Аделаиду [7], — говорил он.

Тут же около роз находился огород с любимыми «красненькими» (помидоры) и «синенькими» (баклажаны) и другими овощами.

Раз я рисовала флигелек Антона Павловича с красным флажком на крыше, означавшим, что хозяин — дома и соседи-крестьяне могут приходить за советом. Хозяин, разговаривая со мной, прохаживался по дорожке за моей спиной, и неизменные его спутники таксы: «царский вагон», или Бром, и «рыжая корова», или Хина, сопровождали его. Кончаю рисовать, поднимаюсь, стоять не могу! Моя туфля-лодочка держалась только на носке, а в пятку Антон Павлович успел всунуть луковицу! Трудно было даже предположить, что Чехов тяжело болен, так он был весел и жизнерадостен.

— И я и Левитан не ценили жизни, пока были совершенно здоровы, теперь только, когда мы оба серьезно заболели, мы поняли ее прелесть!

В то время, когда я была в Мелихове, Антон Павлович собирал для издания все свои рассказы, напечатанные в юмористических журналах [8]. Его брат разбирал эти старые журналы и вслух читал рассказы. Чехов заливался смехом:

— Это мой рассказ? Совсем не помню! А смешно...

В ходу были всякие домашние словечки, забавные прибаутки. Антон Павлович поддразнивал меня и, если я попадалась, — утешал:

— Говорить глупости — привилегия умных людей!

Себя называл Потемкиным:

— Когда я еду мимо церкви, всегда звонят, так было с Потемкиным.

Я усомнилась. Дня через два, рано утром, мы поехали на станцию. Проезжаем через село, равняемся с церковью — зазвонили колокола.

— Слышите?! Что я вам говорил? — И тут же спросил, неожиданные вопросы были ему свойственны: — А вы играли в моем «Медведе»? Нет? Очень приятно, а то каждая почти барышня начинает свое знакомство со мной: «А я играла вашего «Медведя»!»

Кроме Мелихова, общие воспоминания у нас были и о Богимове, где Чеховы провели лето и куда я попала через несколько лет после них. В гостиной с колоннами все так же еще стоял большой старинный диван карельской березы; на спинке его было написано братом Антона Павловича такое стихотворение:

На этом просторном диване,
От тяжких трудов опочив,
Валялся здесь Чехов в нирване,
Десяток листов исстрочив.
Здесь сил набирался писатель,
Мотивы и темы искал.
О, как же ты счастлив, читатель,
Что этот диван увидал!

В соседнем имении вокруг сада шла, совсем необычно, аллея из елок. Отсюда она попала в «Дом с мезонином».

Так в воспоминаниях о России проходило вечернее чаепитие у Антона Павловича в Ницце. Он норовил его затянуть, но д-р Вальтер не позволял ему поздно ложиться спать.

Приблизительно около десяти часов где-то по соседству кричал осел, и каждый раз, несмотря на то, что мы знали об этом, так громко и неожиданно, что Антон Павлович начинал смеяться. Ослиный крик стал считаться сигналом

к окончанию нашей вечерней беседы. Д-р Вальтер и я желали Антону Павловичу покойной ночи и уходили. Помню одно исключение — встречу Нового 98 года — ровно в полночь.

Весной 98 года Антон Павлович приехал в Париж. Максим Максимович Ковалевский и я встретили его на вокзале. Приехал бодрый и веселый. Нашу небольшую компанию русских художниц раскритиковал:

— Живете как на Ваганькове! Скучно, нельзя же все только работать, надо развлекаться, ходить по театрам. Непременно посмотрите в Folies bergères новую пьесу, очень смешная: «Nouveau jeu», — и несколько позже спросил: — Послушались, посмотрели смешную пьесу?

Чехов говорил, что «Кармен» самая любимая его опера. Цирк он тоже очень любил. Осенью 98 г. перед отъездом из Москвы он пригласил меня пойти в цирк с ним и Алексеем Сергеевичем Сувориным.

В цирке я скоро устала и захотела уйти одна, но мои спутники решили тоже уйти. Была чудесная звездная ночь, после жары и духоты в цирке дышалось легко. Я выразила свое удовольствие по этому поводу, и Антон Павлович сказал:

— Так легко, наверно, дышится человеку, который выходит из консистории, где он только что развелся!

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

(Воспоминания)

Где и когда я познакомился с Ант. Павл. Чеховым — не помню. Вероятно, это случилось в 18.. [1].

В первый период нашего знакомства, то есть до возникновения Художественного театра, мы изредка встречались с ним на официальных обедах, юбилеях, в театрах.

Эти встречи не оставили в моей памяти никакого следа, за исключением трех моментов.

Помню встречу в книжном магазине А. С. Суворина в Москве.

Сам хозяин, в то время издатель Чехова, стоял среди комнаты и с жаром порицал кого-то. Незнакомый господин, в черном цилиндре и сером макинтоше, в очень почтительной позе стоял рядом, держа только что купленную пачку книг, а А. П., опершись о прилавок, просматривал переплеты лежащих подле него книг и изредка прерывал речь А. С. Суворина короткими фразами, которые принимались взрывом хохота.

Очень смешон был господин в макинтоше. От прилива смеха и восторга он бросал пачку книг на прилавок и спокойно брал ее опять, когда становился серьезным.

Антон Павлович обратился и ко мне с какой-то приветливой шуткой, но я не ценил тогда его юмора.

Мне трудно покаяться в том, что Антон Павлович был мне в то время мало симпатичен.

Он мне казался гордым, надменным и не без хитрости. Потому ли, что его манера запрокидывать назад голову придавала ему такой вид, — но она происходила от его близорукости: так ему было удобнее смотреть через пенсне. Привычка ли глядеть поверх говорящего с ним или суетли-

вая манера ежеминутно поправлять пенсне делали его в моих глазах надменным и неискренним, но на самом деле все это происходило от милой застенчивости, которой я в то время уловить не мог.

Другая малозначащая встреча, уцелевшая у меня в памяти, произошла в Москве, в театре Корша, на музыкально-литературном вечере в пользу фонда литераторов [2].

Я в первый раз выступал в настоящем театре, перед настоящей публикой и был очень занят собой.

Не без умысла оставил я верхнее платье не за кулисами, как полагается актерам, а в коридоре партера. Я рассчитывал надеть его здесь, среди любопытных взоров той публики, которую я собирался поразить.

В действительности случилось иначе. Мне пришлось торопиться, чтобы уйти незамеченным.

В эту-то критическую минуту и произошла встреча с Антоном Павловичем. Он прямо подошел ко мне и приветливо обратился со следующими словами:

— Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу «Медведь» [3]. Послушайте, сыграйте же. Я приду смотреть, а потом напишу рецензию.

Помолчав, он добавил:

— И авторские получу.

Помолчав еще, он заключил:

— 1 р. 25 к.

Признаться, я обиделся тогда, зачем он не похвалил меня за только что исполненную роль.

Теперь я вспоминаю эти слова с умилением.

Вероятно, А. П. хотел ободрить меня своей шуткой после только что испытанной мною неудачи.

Обстановка третьей и последней уцелевшей в моей памяти встречи первого периода знакомства с А. П. такова: маленький, тесный кабинет редактора известного журнала.

Много незнакомых людей.

Накурено.

Известный в то время архитектор и друг А. П. Чехова демонстрировал план здания для народного дома, чайной и театра [4]. Я робко возражал ему по своей специальности.

Все глубокомысленно слушали, а А. П. ходил по комнате, всех смешил и, откровенно говоря, всем мешал. В тот вечер он казался особенно жизнерадостным: большой, полный, румяный и улыбающийся.

Тогда я не понимал, что его так радовало.

Теперь я знаю.

Он радовался новому и хорошему делу в Москве. Он был

счастлив тем, что к темным людям проникнет маленький луч света. И после всю жизнь его радовало все, что красит человеческую жизнь.

— Послушайте! это же чудесно, — говорил он в таких случаях, и детски чистая улыбка молодила его.

Второй период нашего знакомства с Антоном Павловичем богат дорогими для меня воспоминаниями.

Весной 189[7] года зародился Московский Художественно-общедоступный театр.

Пайщики набирались с большим трудом, так как новому делу не пророчили успеха.

Антон Павлович откликнулся по первому призыву и вступил в число пайщиков. Он интересовался всеми мелочами нашей подготовительной работы и просил писать ему почаще и побольше.

Он рвался в Москву, но болезнь приковывала его безвыездно к Ялте, которую он называл Чертовым островом, а себя сравнивал с Дрейфусом [5].

Больше всего он, конечно, интересовался репертуаром будущего театра.

На постановку его «Чайки» он ни за что не соглашался. После неуспеха ее в С.-Петербурге [6] это было его больное, а следовательно, и любимое детище.

Тем не менее в августе 1898 года «Чайка» была включена в репертуар. Не знаю, каким образом Вл. И. Немирович-Данченко уладил это дело [7].

Я уехал в Харьковскую губернию писать mise en scène [8].

Это была трудная задача, так как, к стыду своему, я не понимал пьесы. И только во время работы, незаметно для себя, я вжился и бессознательно полюбил ее. Таково свойство чеховских пьес. Поддавшись обаянию, хочется вдыхать их аромат.

Скоро из писем я узнал, что А. П. не выдержал и приехал в Москву. Приехал он, вероятно, для того, чтобы следить за репетициями «Чайки», которые уже начались тогда [9]. Он очень волновался. К моему возвращению его уже не было в Москве. Дурная погода угнала его назад в Ялту. Репетиции «Чайки» временно прекратились [10].

Настали тревожные дни открытия Художественного театра и первых месяцев его существования.

Дела театра шли плохо. За исключением «Федора Иоанновича», делавшего большие сборы, ничто не привлекало публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана «Ганнеле», но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра.

Наше положение стало критическим, тем более что на «Чайку» мы не возлагали материальных надежд.

Однако пришлось ставить ее. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра.

Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции в театр явилась сестра Антона Павловича — Мария Павловна Чехова [11].

Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты.

Мысль о вторичном неуспехе «Чайки» при тогдашнем положении больного приводила ее в ужас, и она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя.

Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра.

Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку.

А пайщики? что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны.

На следующий день, в 8 часов, занавес раздвинулся. Публики было мало. Как шел первый акт — не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валериановыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога Заречной и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась.

Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике.

Гробовая тишина.

Из кулис тянулись головы мастеров и тоже прислушивались.

Молчание.

Кто-то заплакал. Книппер подавляла истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы.

В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес.

Говорят, что мы стояли на сцене вполоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону залы и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчета в происходившем.

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец.

В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору [12].

С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем установились почти родственные отношения.

Первый сезон окончился, и наступила весна, зазеленели деревья.

Вслед за ласточками перебрался на север и Антон Павлович.

Он поместился в маленькой квартире своей сестры, на Малой Дмитровке, Дегтярный переулок, дом Шешкова.

Самый простой стол посреди комнаты, такая же чернильница, перо, карандаш, мягкий диван, несколько стульев, чемодан с книгами и записками — словом, только необходимое и ничего лишнего. Это была обычная обстановка его импровизированного кабинета во время путешествия.

Со временем комната пополнилась несколькими эскизами молодых художников, всегда талантливыми, новыми по направлению и простыми. Тема этих картин в большинстве случаев тоже самая простая — русский пейзаж в духе Левитана: березки, речка, поле, помещичий дом и проч.

А. П. не любил рамок, и потому обыкновенно этюды прикреплялись к стене кнопками.

Скоро на письменном столе появились тоненькие тетрадочки. Их было очень много. Антон Павлович был занят в то время корректурой своих мелких, забытых им рассказов самой ранней эпохи. Он готовил своему издателю Марксу новый выпуск мелких рассказов. Знакомясь с ними вновь, он добродушно хохотал, и тогда его густой баритон переливался по всей маленькой квартире.

Рядом с его комнатой часто шумел самовар, а вокруг чайного стола, точно калейдоскоп, сменялись посетители. Одни приходили, другие уходили.

Здесь часто и долго сиживали покойный художник Левитан, поэт Бунин, Вл. И. Немирович-Данченко, артист нашего театра Вишневский, Сулержицкий и многие другие.

Среди этой компании обыкновенно молчаливо сидела какая-нибудь мужская или женская фигура, почти никому не известная. Это была или поклонница, или литератор из Сибири, или сосед по имению, товарищ по гимназии, или друг детства, которого не помнил сам хозяин.

Эти господа стесняли всех и особенно самого А. П. Но он

широко пользовался завоеванным себе правом: исчезать от гостей. Тогда из-за закрытой двери слышалось его покашливание и мерные шаги по комнате. Все привыкли к этим исчезновениям и знали, что, если соберется общество во вкусе А. П., он чаще появляется и даже сидит с ним, поглядывая через pince-nez на молчаливую фигуру непрошеного гостя.

Сам он не мог не принять посетителя или тем более намекнуть на то, что он засиживался. Мало того, А. П. сердился, когда это делали за него, хотя и улыбался от удовольствия, когда кто-нибудь удачно справлялся с таким посетителем. Если незнакомец слишком засиживался, А. П., бывало, приотворит дверь кабинета и вызовет к себе кого-нибудь из близких.

— Послушайте же, — шептал он ему убедительно, плотно притворяя дверь, — скажите же ему, что я не знаю его, что я же никогда не учился в гимназии, У него же повесть в кармане, я же знаю. Он останется обедать, а потом будет читать... Нельзя же так. Послушайте...

Когда раздавался звонок, которого не любил А. П., он быстро садился на диван и сидел смирно, стараясь не кашлять. Все в квартире затихало, и гости замолкали или прятались по углам, чтобы при отворении двери вновь пришедший не догадался о присутствии живых лиц в квартире.

Слышалось шуршание юбок Марии Павловны, потом шум дверной цепи и разговор двух голосов.

— Занят? — восклицал незнакомый голос.

Длинная пауза.

— А-ха! — соображал он что-то.

Опять молчание. Потом долетали только отдельные слова.

— ...Приезжий — только две минутки.

— Хорошо — передам, — отвечала Мария Павловна.

— Небольшой рассказ... пьеса... — убеждал незнакомец.

— До свидания, — прощалась Мария Павловна.

— Низкий, низкий поклон... компетентное мнение такого человека...

— Хорошо, передам, — твердила Мария Павловна.

— Поддержка молодых талантов... обязательно просвещенное покровительство...

— Непременно. До свидания, — еще любезнее прощалась Мария Павловна.

— Ох, виноват! — тут слышались: падение свертка,

шорох бумаги, потом надевания калош, опять: — До свидания! Низкое глубокое, преисполнен... минуты эстетического... глубокого... преисполнен до глубины...

Наконец дверь захлопывалась, и Мария Павловна клала на письменный стол несколько растрепанных рукописей с оборванной веревкой.

— Скажите же им, что я не пишу больше... Не нужно же писать... — говорил А. П., глядя на рукопись.

Тем не менее А. П. не только читал все эти рукописи, но и отвечал присылавшим их.

Не думайте, чтоб после успеха «Чайки» и нескольких лет [13] его отсутствия наша встреча была трогательна. А. П. сильнее обыкновенного пожал мне руку, мило улыбнулся — и только. Он не любил экспансивности. Я же чувствовал в ней потребность, так как сделался восторженным поклонником его таланта. Мне было уже трудно относиться к нему просто, как раньше, и я чувствовал себя маленьким в присутствии знаменитости. Мне хотелось быть больше и умнее, чем меня создал бог, и потому я выбирал слова, старался говорить о важном и очень напоминал психопатку в присутствии кумира. Антон Павлович заметил это и конфузился. И много лет после я не мог установить простых отношений, а ведь только их А. П. и искал со всеми людьми.

Кроме того, при этом свидании я не сумел скрыть впечатления фатальной перемены, происшедшей в нем. Болезнь сделала свое жестокое дело. Быть может, мое лицо испугало А. П., но нам было тяжело оставаться вдвоем.

К счастью, скоро пришел Немирович-Данченко, и мы заговорили о деле. Оно состояло в том, что мы хотели получить право на постановку его пьесы «Дядя Ваня» [14].

— Зачем же, послушайте, не нужно... я же не драматург, — отнекивался А. П.

Хуже всего было то, что императорский Малый театр хлопотал о том же. А. И. Южин, так энергично отстаивавший интересы своего театра, не дремал.

Чтобы избавиться от мучительной необходимости обидеть отказом кого-нибудь из нас, А. П. придумывал всевозможные причины, чтоб не дать пьесы ни тому, ни другому театру.

— Мне же необходимо переделать пьесу, — говорил он Южину, а нас он уверял:

— Я же не знаю вашего театра. Мне же необходимо видеть, как вы играете.

Случай помог нам. Кто-то из чиновников императорского театра пригласил А. П. для переговоров [15]. Конечно, было бы правильнее, если б чиновник сам потрудился приехать к А. П.

Разговор начался весьма странно. Прежде всего чиновник спросил знаменитого писателя:

— Чем вы занимаетесь?

— Пишу, — ответил изумленный Антон Павлович.

— То есть, разумеется, я знаю... но... что вы пишете? — запутывался чиновник.

А. П. потянулся за шляпой, чтобы уходить.

Тогда его превосходительство еще неудачнее поспешил перейти прямо к делу. Оно состояло в том, что репертуарная комиссия, просмотревшая «Дядю Ваню», не согласилась с выстрелом в 3-м акте. Необходимо было переделать финал. В протоколе были изложены приблизительно следующие необъяснимые мотивы: нельзя допускать, чтобы в профессора университета, дипломированное лицо, — стреляли из пистолета.

После этого А. П. раскланялся и ушел, попросив прислать ему копию этого замечательного протокола [16]. Он показывал нам его с нескрываемым возмущением.

После этого комико-драматического происшествия вопрос решился сам собой. Тем не менее А. П. продолжал настойчиво твердить:

— Я же не знаю вашего театра.

Это была хитрость. Ему просто хотелось посмотреть «Чайку» в нашем исполнении. И мы дали ему эту возможность.

За неимением постоянного помещения наш театр временно обосновался в Никитском театре. Там и был объявлен спектакль без публики. Туда были перевезены все декорации.

Обстановка грязного, пустого, неосвещенного и сырого театра, с вывезенной мебелью, казалось бы, не могла настроить актеров и их единственного зрителя. Тем не менее спектакль доставил удовольствие Антону Павловичу. Вероятно, он очень соскучился о театре за время «ссылки» в Ялте.

С каким почти детским удовольствием он ходил по сцене и обходил грязные уборные артистов. Он любил театр не только с показной его стороны, но и с изнанки. Спектакль ему понравился, но некоторых исполнителей он осуждал [17]. В том числе и меня за Тригорина.

— Вы же прекрасно и г р а е т е, — сказал о н, — но только не мое лицо. Я же этого не писал.

— В чем же дело? — спрашивал я.

— У него же клетчатые панталоны и дырявые башмаки.

Вот все, что пояснил мне А. П. на мои настойчивые приставания.

— Клетчатые же панталоны, и сигару курит вот т а к... — Он неискусно пояснил слова действием.

Больше я от него ничего не добился.

И он всегда так высказывал свои замечания: образно и кратко.

Они удивляли и врезались в память. А. П. точно задавал шарады, от которых не отделаешься до тех пор, пока их не разгадаешь.

Эту шараду я разгадал только через шесть лет, при вторичном возобновлении «Чайки».

В самом деле, почему я играл Тригорина хорошеньким франтом в белых панталонах и таких же туфлях «bain de mer»? * Неужели потому, что в него влюбляются? Разве этот костюм типичен для русского литератора? Дело, конечно, не в клетчатых брюках, драных башмаках и сигаре. Нина Заречная, начитавшаяся милых, но пустеньких небольших рассказов Тригорина, влюбляется не в него, а в свою девическую грезу. В этом и трагедия подстреленной чайки. В этом насмешка и грубость жизни. Первая любовь провинциальной девочки не замечает ни клетчатых панталон, ни драной обуви, ни вонючей сигары. Это уродство жизни узнается слишком поздно, когда жизнь изломана, все жертвы принесены, а любовь обратилась в привычку. Нужны новые иллюзии, так как надо ж и т ь, — и Нина ищет их в вере.

Однако я отвлекся.

Исполнение одной из ролей он осудил строго до жестокости. Трудно было предположить ее в человеке такой исключительной мягкости. А. П. требовал, чтоб роль была отобрана немедленно. Не принимал никаких извинений и грозил запретить дальнейшую постановку пьесы.

Пока речь шла о других ролях, он допускал милую шутку над недостатками исполнения, но стоило заговорить о неудавшейся роли, как А. П. сразу менял тон и тяжелыми ударами бил беспощадно:

---

* для морского купания (*фр.*).

— Нельзя же, послушайте. У вас же серьезное *дело*, — говорил он.

Вот мотив его беспощадности.

Этими же словами выяснилось и его отношение к нашему театру. Ни комплиментов, ни подробной критики, ни поощрений он не высказывал.

Всю эту весну благодаря теплой погоде А. П. провел в Москве и каждый день бывал на наших репетициях.

Он не вникал в нашу работу. Он просто хотел находиться в атмосфере искусства и болтать с веселыми актерами. Он любил театр, но пошлости в нем он не выносил. Она заставляла его или болезненно съеживаться, или бежать оттуда, где она появлялась.

— Мне же нужно, позвольте, меня *ждут*. — И он уходил домой, усаживался на диван и думал.

Через несколько дней, точно рефлексом, А. П. произносил для всех неожиданно какую-то фразу, и она метко характеризовала оскорбившую его пошлость.

— Прррынципуально *протестую*, — неожиданно промолвил он однажды и закатился продолжительным хохотом. Он вспомнил невообразимо длинную речь одного не совсем русского человека, говорившего о поэзии русской деревни и употребившего это слово в своей речи.

Мы, конечно, пользовались каждым случаем, чтобы говорить о «Дяде Ване», но на наши вопросы А. П. отвечал коротко:

— Там же все написано.

Однако один раз он высказался определенно. Кто-то говорил о виденном в провинции спектакле «Дяди Вани». Там исполнитель заглавной роли играл его опустившимся помещиком, в смазных сапогах и в мужицкой рубахе. Так всегда изображают русских помещиков на сцене.

Боже, что сделалось с А. П. от этой пошлости!

— Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются.

И тут дело было не в галстуке, а в главной идее пьесы. Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глохнут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными правит Россией. Вот затаенный смысл ремарки о галстуке.

«Дядя Ваня» имел у нас большой успех. По окончании спектакля публика требовала: «Телеграмму Чехову!» [18]

Судя по письмам, А. П. жил всю зиму мечтой о поездке в Москву. Теперь он душевно привязался к нашему театру, которого ни разу не видел, если не считать импровизированного спектакля «Чайки».

Он задумал писать пьесу для нас.

«Но для этого необходимо видеть ваш театр», — твердил он в своих письмах.

Когда стало известно, что доктора запретили ему весеннюю поездку в Москву, мы поняли его намеки и решили ехать в Ялту со всей труппой и обстановкой.

...-го апреля 1900 года вся труппа с семьями, декорациями и обстановкой для четырех пьес выехала из Москвы в Севастополь [19]. За нами потянулись кое-кто из публики, фанатики Чехова и нашего театра, и даже один известный критик С. В. Васильев (Флеров). Он ехал со специальной целью давать подробные отчеты о наших спектаклях.

Это было великое переселение народов. Особенно запомнился мне в этом путешествии А. Р. Артем, который в первый раз в жизни расставался со своей женой. В дороге он выбрал себе «женой» А. Л. Вишневского, который стал за это время его энергией, его волей. Подъезжая к Севастополю, А. Р. Артем спрашивал всех, есть ли там извозчики, не пришлось бы идти пешком в горы и т. д.

Очень часто, когда долго не было А. Л. Вишневского, А. Р. Артем посылал за ним. Всю дорогу старик говорил о смерти и был очень мрачен.

Под Севастополем, когда начались тоннели, скалы, красивые места, вся труппа высыпала на площадку. Вышел в первый раз за всю дорогу и мрачный Артем под конвоем А. Л. Вишневского. А. Л. Вишневский со свойственным ему темпераментом стал утешать Артема: «Нет, не умрешь ты, Саша! Зачем тебе умирать! Смотри: чайки, море, скалы, — нет, не умрешь ты, Саша!»

А Артем, в котором под влиянием этих скал, моря, красивых поворотов, по которым мчался поезд, проснулся художник, смотрел уже горящими глазами на окружающие его картины, вдруг тряхнул головой и, зло повернувшись к А. Л. Вишневскому, коварно проговорил:

— Еще бы я умер! Чего захотел!

И, досадливо отвернувшись, добавил:

— Ишь, что выдумал!

Крым встретил нас неприветливо. Ледяной ветер дул с моря, небо было обложено тучами, в гостиницах топили печи, а мы все-таки мерзли.

Театр стоял еще заколоченным с зимы, и буря срывала наши афиши, которых никто не читал.

Мы приуныли.

Но вот взошло солнце, море улыбнулось, и нам стало весело.

Пришли какие-то люди, отодрали щиты от театра и распахнули двери. Мы вошли туда. Там было холодно, как в погребе. Это был настоящий подвал, который не выветришь и в неделю, а через два-три дня надо было уже играть. Больше всего мы беспокоились об Антоне Павловиче, как он будет тут сидеть в этом затхлом воздухе. Целый день наши дамы выбирали места, где ему лучше было бы сидеть, где меньше дует. Наша компания все чаще стала собираться около театра, вокруг которого закипела жизнь.

У нас праздничное настроение — второй сезон, все разоделись в новые пиджаки, шляпы, все это молодо, и ужасно всем нам нравилось, что мы актеры. В то же время все старались быть чрезмерно корректными — это, мол, не захудалый какой-нибудь театр, а столичная труппа.

Наконец явилась какая-то расфранченная дама. Она объявила себя местной аристократкой, другом Чехова и потребовала литерную ложу на все спектакли. За ней потянулась к кассе публика и очень скоро разобрала все билеты на четыре объявленных спектакля.

Ждали приезда Чехова. Пока О. Л. Книппер, отпросившаяся в Ялту, ничего не писала нам оттуда, и это беспокоило нас. В вербную субботу она вернулась с печальным известием о том, что А. П. захворал и едва ли сможет приехать в Севастополь.

Это всех опечалило. От нее мы узнали также, что в Ялте гораздо теплее (всегдашнее известие оттуда), что А. П. удивительный человек и что там собрались чуть не все представители русской литературы: Горький, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Бунин, Елпатьевский, Найденов, Скиталец.

Это еще больше взволновало нас. В этот день все пошли покупать пасхи и куличи к предстоящему разговению на чужой стороне.

В полночь колокола звонили не так, как в Москве, пели тоже не так, а пасхи и куличи отзывались рахат-лукумом.

А. Р. Артем совершенно раскритиковал Севастополь, решив, что пасху можно встречать только на родине. Зато прогулка около моря после разговения и утренний весенний воздух заставили нас забыть о севере. На рассвете было

так хорошо, что мы пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря.

На следующий день мы с нетерпением ожидали парохода, с которым должен был приехать А. П. Наконец мы его увидели. Он вышел последним из кают-компании, бледный и похудевший. А. П. сильно кашлял. У него были грустные, больные глаза, но он старался делать приветливую улыбку.

Мне захотелось плакать.

Наши фотографы-любители сняли его на сходне парохода, и эта сценка фотографирования попала в пьесу, которую он тогда вынашивал в голове («Три сестры»)

По общей бестактности, посыпались вопросы о его здоровье.

— Прекрасно. Я же совсем здоров, — отвечал А. П.

Он не любил забот о его здоровье, и не только посторонних, но и близких. Сам он никогда не жаловался, как бы плохо себя ни чувствовал.

Скоро он ушел в гостиницу, и мы не беспокоили его до следующего дня. Остановился он у Ветцеля, не там, где мы все остановились (мы жили у Киста). Вероятно, он боялся близости моря.

На следующий день, то есть в пасхальный понедельник, начинались наши гастроли. Нам предстояло двойное испытание — перед А. П. и перед новой публикой.

Весь день прошел в волнении и хлопотах.

Я только мельком видел А. П. в театре. Он приходил осматривать свою ложу и беспокоился по двум вопросам: закроют ли его от публики и где будет сидеть «аристократка».

Несмотря на резкий холод, он был в легоньком пальто. Об этом много говорили, но он опять отвечал коротко:

— Послушайте! Я же здоров!

В театре была стужа, так как он был весь в щелях и без отопления. Уборные согревали керосиновыми лампами, но ветер выдувал тепло.

Вечером мы гримировались все в одной маленькой уборной и нагревали ее теплотой своих тел, а дамы, которым приходилось щеголять в кисейных платьицах, перебегали в соседнюю гостиницу. Там они согревались и меняли платья.

В восемь часов пронзительный ручной колокольчик сзывал публику на первый спектакль «Дяди Вани».

Темная фигура автора, скрывшегося в директорской

13 Заказ № 90

ложе за спинами Вл. И. Немировича-Данченко и его супруги, волновала нас.

Первый акт был принят холодно. К концу успех вырос в большую овацию. Требовали автора. Он был в отчаянии, но все-таки вышел.

На следующий день переволновавшийся А. Р. Артем слег и на репетицию не пришел. Антон Павлович, страшно любивший лечить, как только узнал об этом, обрадовался пациенту. Да еще пациент этот был А. Р. Артем, которого он очень любил. Сейчас же с Тихомировым он отправился к больному. А мы все выслеживали и выспрашивали, как Антон Павлович будет лечить А. Р. Артема. Любопытно, что, идя к больному, Антон Павлович зашел домой и взял с собой молоток и трубочку.

— Послушайте, я же не могу так, без инструментов, — сказал он озабоченно.

И долго он его там выслушивал, выстукивал, а потом стал убеждать, что вообще лечиться не нужно. Дал какую-то мятную конфетку:

— Вот, послушайте же, скушайте это!

На том лечение и окончилось, так как Артем на другой день выздоровел.

Антон Павлович любил приходить во время репетиций, но так как в театре было очень холодно, то он только по временам заглядывал туда, а большую часть времени сидел перед театром, на солнечной площадке, где обыкновенно грелись на солнышке актеры. Он весело болтал с ними, каждую минуту приговаривая:

— Послушайте, это же чудесное дело, это же замечательное дело — ваш театр.

Это была, так сказать, ходовая фраза у Антона Павловича в то время.

Обыкновенно бывало так: сидит он на площадке, оживленный, веселый, болтает с актерами или с актрисами — особенно с Книппер и Андреевой, за которыми он тогда ухаживал, — и при каждой возможности ругает Ялту. Тут уже звучали трагические нотки.

— Это же море зимой черное, как чернила...

Изредка вспыхивали фразы большого томления и грусти.

Тут же он, помню, по нескольку часов возился с театральным плотником и учил его «давать» сверчка.

— Он же так кричит, — говорил он, показывая, — потом столько-то секунд помолчит и опять: «тик-тик».

В определенный час на площадку приходил господин NN и начинал говорить о литературе, совсем не то, что нужно. И Антон Павлович сейчас же куда-то незаметно стушевывался.

На следующий день после «Одиноких», которые произвели на него сильнейшее впечатление, он говорил:

— Какая это чудесная пьеса!

Говорил, что театр вообще очень важная вещь в жизни и что непременно надо писать для театра.

Насколько помню, первый раз он сказал это после «Одиноких».

Среди этих разговоров на площадке говорил о «Дяде Ване» — очень хвалил всех участвующих в этой пьесе и мне сказал только одно замечание про Астрова в последнем действии:

— Послушайте же, он же свистит. Это дядя Ваня хнычет, а он же свистит.

Я при своем тогдашнем прямолинейном мировоззрении никак не мог с этим примириться — как это человек в таком драматическом месте может свистеть[21].

На спектакль он приходил всегда задолго до начала. Он любил прийти на сцену смотреть, как ставят декорации. В антрактах ходил по уборным и говорил с актерами о пустяках. У него всегда была огромная любовь к театральным мелочам — как спускают декорации, как освещают, и когда при нем об этих вещах говорили, он стоит, бывало, и улыбается.

Когда шла «Эдда Габлер», он часто, зайдя во время антракта в уборные, засиживался там, когда уже шел акт. Это нас смущало — значит, не нравится, думали мы, если он не торопится в зрительный зал. И когда мы спросили у него об этом, он совершенно неожиданно для нас сказал:

— Послушайте же, Ибсен же не драматург!

«Чайки» Антон Павлович в Севастополе не смотрел — он видел ее раньше, а тут погода изменилась, пошли ветры, бури, ему стало хуже, и он принужден был уехать.

Спектакль «Чайки» шел при ужасных условиях. Ветер выл так, что у каждой кулисы стояло по мастеру, которые придерживали их, чтобы они не упали в публику от порывов ветра. Все время слышались с моря тревожные свистки пароходов и крики сирены. Платье на нас шевелилось от ветра, который гулял по сцене. Шел дождь.

Тут еще был такой случай. Нужно было во что бы то ни стало дать свет на сцене такой, который можно было получить, только оставив половину городского сада без освещения. Расстаться нам с этим эффектом, казалось, не было никакой возможности. У Владимира Ивановича Немировича-Данченко есть такие решительные минуты: он распорядился просто-напросто потушить половину городского сада.

Спектакль «Чайки» имел громадный успех. После спектакля собралась публика. И только что я вышел на какую-то лесенку с зонтиком в руках, — кто-то подхватил меня, кажется, это были гимназисты. Однако осилить меня не могли. Положение мое было действительно плачевное: гимназисты кричат, подняли одну мою ногу, а на другой я прыгал, так как меня тащили вперед, зонтик куда-то улетел, дождь лил, но объясниться не было возможности, так как все кричали «ура». А сзади бежала жена и беспокоилась, что меня искалечат. К счастью, они скоро обессилели и выпустили меня, так что до подъезда гостиницы я дошел уже на обеих ногах. Но у самого подъезда они захотели еще что-то сделать и уложили меня на грязные ступеньки.

Вышел швейцар, стал меня обтирать, а запыхавшиеся гимназисты долго еще горячились и обсуждали, почему так случилось.

Все севастопольское начальство было уже нам знакомо, и перед отъездом в Ялту нам с разных сторон по телефону докладывали: «Норд-вест, норд-ост, будет качка, не будет», все моряки говорили, что все будет хорошо, качка будет где-то у Ай-Тодора, а тут загиб, и мы поедем по спокойному морю.

А вышло так, что никакого загиба не было, а тряхнуло нас так, что мы и до сих пор не забудем.

Потрепало нас в пути основательно. Многие из нас ехали с женами, с детьми. Некоторые севастопольцы приехали вместе с нами в Ялту. Няньки, горничные, дети, декорации, бутафория — все это перемешалось на палубе корабля. В Ялте толпа публики на пристани, цветы, парадные платья, на море вьюга, ветер — одним словом, полный хаос.

Тут какое-то новое чувство — чувство того, что толпа нас признает. Тут и радость и неловкость этого нового положения, первый конфуз популярности.

Не успели мы приехать в Ялту, разместиться по номерам, умыться, осмотреться, как я уже встречаю Виш-

невского, бегущего со всех ног, в полном экстазе, он орет, кричит вне себя:

— Сейчас познакомился с Горьким — такое очарование! Он уже решил написать нам пьесу! Еще не видавши нас...

На следующее утро первым долгом пошли в театр. Там ломали стену, чистили, мыли — одним словом, работа шла вовсю. Среди стружек и пыли по сцене разгуливали: А. М. Горький с палкой в руках, Бунин, Миролюбов, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский, Владимир Иванович Немирович-Данченко...

Осмотрев сцену, вся эта компания отправилась в городской сад завтракать. Сразу вся терраса наполнилась нашими актерами, и мы завладели всем садом. За отдельным столиком сидел Станюкович, — он как-то не связывался со всей компанией.

Оттуда всем обществом, кто пешком, кто человек по шести в экипаже, отправились к Антону Павловичу.

У Антона Павловича был вечно накрытый стол, либо для завтрака, либо для чая. Дом был еще не совсем достроен, а вокруг дома был жиденький садик, который он еще только что рассаживал.

Вид у Антона Павловича был страшно оживленный, преображенный, точно он воскрес из мертвых. Он напоминал, — отлично помню это впечатление, — точно дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями, закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли, и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назади, поправляя ежеминутно пенсне. То он на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с не сползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал.

Приезжали, уезжали. Кончался один завтрак, подавали другой; Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

Для меня центром явился Горький, который сразу захватил меня своим обаянием. В его необыкновенной фигуре, лице, выговоре на о, необыкновенной жестикуляции, показывании кулака в минуты экстаза, в светлой, детской улыбке, в каком-то временами трагически проникновенном лице, в смешной или сильной, красочной, образной речи сквозила какая-то душевная мягкость и грация, и, несмотря на его сутуловатую фигуру, в ней была своеобразная пластика и внешняя красота. Я часто ловил себя на том, что любуюсь его позой или жестом.

А влюбленный взгляд, который он часто останавливал на Антоне Павловиче, какое-то расплывающееся в улыбке лицо при малейшем звуке голоса Антона Павловича, добродушный смех при малейшей его остроте как-то сближали нас в общей симпатии к хозяину дома.

Антон Павлович, всегда любивший говорить о том, что его увлекало в данную минуту, с наивностью ребенка подходил от одного к другому, повторяя все одну и ту же фразу: видел ли тот или другой из его гостей наш театр.

— Это же чудесное же дело! Вы непременно должны написать пьесу для этого театра.

И без устали говорил о том, какая прекрасная пьеса «Одинокие».

Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились.

Такие дни и вечера повторялись чуть не ежедневно в доме Антона Павловича.

У кассы театра толпилась разношерстная публика из расфранченных дам и кавалеров обеих столиц, учителей и служащих из разных провинциальных городов России, местных жителей и больных чахоткою, во время своей тоскливой зимы не забывших еще о существовании искусства.

Прошло первое представление с подношениями, подарками и т. д. Несмотря на то что в трагических местах

садовый оркестр городского сада громко аккомпанировал нам полькой или маршем, успех был большой.

В городском саду, около террасы, шли горячие споры о новом направлении в искусстве, о новой литературе. Одни, даже из выдающихся писателей, не понимали самых элементарных вещей реального искусства, другие уходили в совершенно обратную сторону и мечтали увидеть на сцене то, что недостойно подмостков ее. Во всяком случае, спектакли вызывали споры чуть не до драки, — следовательно, достигали своей цели. Все здесь присутствовавшие литераторы словно вдруг вспомнили о существовании театра, и кто тайно, кто явно мечтали о пьесе.

То, что отравляло Антону Павловичу спектакли, — это необходимость выходить на вызовы публики и принимать чуть ли не ежедневно овации. Нередко поэтому он вдруг неожиданно исчезал из театра, и тогда приходилось выходить и заявлять, что автора в театре нет. В большинстве случаев он приходил просто за кулисы и, переходя из уборной в уборную, жуировал закулисной жизнью, ее волнениями и возбуждениями, удачами и неудачами и нервностью, которая заставляла острее ощущать жизнь.

По утрам все собирались на набережную, я прилипал к А. М. Горькому, и во время прогулки он фантазировал о разных сюжетах для будущей пьесы. Эти разговоры поминутно прерывались выходками его необыкновенно темпераментного мальчика Максимки, который проделывал невероятные штуки.

Из нашего пребывания в Ялте у меня остался в памяти еще один эпизод. Как-то днем прихожу к Антону Павловичу — вижу, он свиреп, лют и мохнат; одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее. Его мамаша, которую он обожал, собралась наконец в театр смотреть «Дядю Ваню». Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого раннего утра. Старушка перерыла все сундуки и на дне их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собралась надеть для торжественного вечера Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался. Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней.

По вечерам собирались иногда в отдельном кабинете гостиницы «Россия», — кто-то что-то играл на рояли, все

это было по-дилетантски наивно, но, несмотря на это, звуки музыки моментально вызывали у Горького потоки слез.

Однажды как-то Горький увлекся и рассказал сюжет своей предполагаемой пьесы. Ночлежный дом, духота, нары, длинная скучная зима. Люди от ужаса озверели, потеряли терпение и надежду и, истощив терпение, изводят друг друга и философствуют. Каждый старается перед другими показать, что он еще человек. Какой-то бывший официант особенно кичится своей грошовой бумажной манишкой — это единственный остаток от его прежней фрачной жизни. Кто-то из обитателей дома, чтобы насолить официанту, стащил эту бумажную грудь и разорвал ее пополам. Бывший официант находит эту разорванную манишку, и из-за этого поднимается целый ужас, свалка. Он в полном отчаянии, так как вместе с манишкой порваны всякие узы с прежней жизнью. Ругательства и споры затянулись до глубокой ночи, но были остановлены неожиданным известием о приближении обхода — полиции. Торопливые приготовления к встрече полиции, каждый мечется и прячет то, что ему дорого или компрометирует его. Все разлеглись по нарам и притворились спящими. Пришла полиция. Кое-кого без звания увели в участок, и нары засыпают; и только один богомолец-старик сползает в тишине с печи, вынимает из своей сумки восковой огарок, зажигает его и начинает усердно молиться. Откуда-то с нар просовывается голова татарина и говорит:

— Помолись за меня!

На этом первый акт оканчивался.

Следующие акты были едва намечены, так что разобраться в них было трудно. В последнем акте: весна, солнце, обитатели ночлежного дома роют землю. Истомленные люди вышли на праздник природы и точно ожили. Даже как будто под влиянием природы полюбили друг друга. Так у меня осталось в памяти все, что говорил мне о своей пьесе А. М. Горький.

Театр кончил всю серию своих постановок и закончил свое пребывание чудесным завтраком на громадной плоской крыше у Фанни Карловны Татариновой. Помню жаркий день, какой-то праздничный навес, сверкающее вдали море. Здесь была вся труппа, вся съехавшаяся, так сказать, литература с Чеховым и Горьким во главе, с женами и детьми.

Помню восторженные, разгоряченные южным солнцем речи, полные надежд и надежд без конца.

Этим чудесным праздником под открытым небом закончилось наше пребывание в Ялте.

В следующем году у нас шли: «Снегурочка», «Доктор Штокман», «Три сестры», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» [22].

С самого начала сезона Антон Павлович часто присылал письма то тому, то другому. У всех он просил сведений о жизни театра. Эти несколько строчек Антона Павловича, это его постоянное внимание незаметно для нас оказывали на театр большое влияние, которое мы можем оценить только теперь, после его смерти.

Он интересовался всеми деталями и особенно, конечно, репертуаром театра. А мы все время подзуживали его на то, чтобы он писал пьесу. Из его писем мы знали, что он пишет из военного быта, знали, что какой-то полк откуда-то куда-то уходит. Но догадаться по коротким, отрывочным фразам, в чем заключается сюжет пьесы, мы не могли. В письмах, как и в своих писаниях, он был скуп на слова. Эти отрывочные фразы, эти клочки его творческих мыслей мы оценили только впоследствии, когда уже узнали самую пьесу.

Ему или не писалось, или, напротив, пьеса была давно уже написана и он не решался расстаться с ней и заставлял ее вылеживаться в своем столе, но он всячески оттягивал присылку этой пьесы. В виде отговорки он уверял нас, что на свете столько прекрасных пьес, что, — надо же ставить Гауптмана, надо, чтобы Гауптман написал еще, а что он же не драматург, и т. д.

Все эти отговорки приводили нас в отчаяние, и мы писали умоляющие письма, чтобы он поскорее прислал пьесу, спасал театр и т. п. Мы сами не понимали тогда, что мы насилуем творчество большого художника.

Наконец пришли один или два акта пьесы, написанных знакомым мелким почерком. Мы их с жадностью прочли, но, как всегда бывает со всяким настоящим сценическим произведением, главные его красоты были скрыты при чтении. С двумя актами в руках невозможно было приступить ни к выработке макетов, ни к распределению ролей, ни к какой бы то ни было сценической подготовительной работе. И с тем большей энергией мы стали добиваться остальных двух актов пьесы. Получили мы их не без борьбы.

Наконец Антон Павлович не только согласился прислать пьесу, но привез ее сам [23].

Сам он своих пьес никогда не читал. И не без конфуза

и волнения он присутствовал при чтении пьесы труппе. Когда стали читать пьесу и за разъяснениями обращаться к Антону Павловичу, он, страшно сконфуженный, отнекивался, говоря:

— Послушайте же, я же там написал все, что знал.

И действительно, он никогда не умел критиковать своих пьес и с большим интересом и даже удивлением слушал мнения других. Что его больше всего поражало и с чем он до самой смерти примириться не мог, это с тем, что его «Три сестры», а впоследствии «Вишневый сад» — тяжелая драма русской жизни. Он был искренне убежден, что это была веселая комедия, почти водевиль *. Я не помню, чтобы он с таким жаром отстаивал какое-нибудь другое свое мнение, как это, в том заседании, где он впервые услыхал такой отзыв о своей пьесе.

Конечно, мы воспользовались присутствием автора, чтобы извлечь все необходимые нам подробности. Но и тут он отвечал нам односложно. Нам в то время его ответы казались неясными и непонятными, и только потом мы оценили всю их необыкновенную образность и почувствовали, как они типичны для него и для его произведений.

Когда начались подготовительные работы, Антон Павлович стал настаивать, чтобы мы непременно пригласили одного его знакомого генерала [25]. Ему хотелось, чтобы военно-бытовая сторона была до мельчайших подробностей правдива. Сам же Антон Павлович, точно посторонний человек, совершенно якобы не причастный к делу, со стороны наблюдал за нашей работой.

Он не мог нам помочь в нашей работе, в наших поисках внутренности Прозоровского дома. Чувствовалось, что он этот дом знает подробно, видел его, но совершенно не заметил, какие там комнаты, мебель, предметы, его наполняющие, словом, он чувствовал только атмосферу каждой комнаты в отдельности, но не ее стены.

Так воспринимает литератор окружающую жизнь. Но этого слишком мало для режиссера, который должен определенно вычертить и заказать все эти подробности.

Теперь понятно, почему Антон Павлович так добродушно смеялся и улыбался от радости, когда задачи декоратора и режиссера совпадали с его замыслом. Он долго рассматривал макет декорации и, вглядываясь во все подробности, добродушно хохотал.

---

* См. письмо А. П. Чехова к М. П. Лилиной (Алексеевой) от 15 сентября 1903 г. [24] *(Примеч. К. С. Станиславского.)*

Нужна привычка для того, чтобы по макету судить о том, что будет, чтобы по макету понять сцену. Эта чисто театральная, сценическая чуткость была ему свойственна, так как Антон Павлович по природе своей был театральный человек. Он любил, понимал и чувствовал театр — конечно, с лучшей его стороны. Он очень любил повторять все те же рассказы о том, как он в молодости играл в разных пьесах, разные курьезы из этих любительских проб. Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра, но особенное пристрастие он питал к правдивому звуку на сцене.

Среди всех его волнений об участи пьесы он немало беспокоился о том, как будет передан набат в третьем акте во время пожара за сценой. Ему хотелось образно представить нам звук дребезжащего провинциального колокола. При каждом удобном случае он подходил к кому-нибудь из нас и руками, ритмом, жестами старался внушить настроение этого надрывающего душу провинциального набата.

Он бывал почти на всех репетициях своей пьесы, но очень редко, осторожно и почти трусливо выражал свои мнения. Лишь одно он отстаивал особенно энергично: как и в «Дяде Ване», так и здесь он боялся, чтобы не утрировали и не карикатурили провинциальной жизни, чтобы из военных не делали обычных театральных шаркунов с дребезжащими шпорами, а играли бы простых, милых и хороших людей, одетых в поношенные, а не театральные мундиры, без всяких театрально-военных выправок, поднятий плеч, грубостей и т. д.

— Этого же нет, — убеждал он особенно горячо, — военные же изменились, они же стали культурнее, многие же из них уже даже начинают понимать, что в мирное время они должны приносить с собой культуру в отдаленные медвежьи углы.

На этом он настаивал тем более, что тогдашнее военное общество, узнав, что пьеса написана из их быта, не без волнения ожидало ее появления на сцене.

Репетиции шли при участии рекомендованного Антоном Павловичем генерала, который так сжился с театром и судьбой репетируемой пьесы, что часто забывал о своей прямой миссии и гораздо больше волновался о том, что у того или иного актера не выходит роль или какое-нибудь отдельное место.

Антон Павлович просмотрел весь репертуар театра, делал свои односложные замечания, которые всегда за-

ставляли задумываться над их неожиданностью и никогда не понимались сразу. И лишь по прошествии известного времени удавалось сжиться с этими замечаниями. Как на пример такого рода замечаний могу указать на упомянутое мною выше замечание о том, что в последнем акте «Дяди Вани» Астров в трагическую минуту свистит.

Антону Павловичу не удалось дождаться даже генеральной репетиции «Трех сестер», так как ухудшившееся здоровье погнало его на юг, и он уехал в Ниццу[26].

Оттуда мы получали записочки — в сцене такой-то, после слов таких-то, добавить такую-то фразу. Например:

«Бальзак венчался в Бердичеве» — было прислано оттуда.

Другой раз вдруг пришлет маленькую сценку. И эти бриллиантики, которые он присылал, просмотренные на репетициях, необыкновенно оживляли действие и подталкивали актеров к искренности переживания.

Было и такое его распоряжение из-за границы. В четвертом акте «Трех сестер» опустившийся Андрей, разговаривая с Ферапонтом, так как никто с ним больше не желал разговаривать, описывает ему, что такое жена с точки зрения провинциального, опустившегося человека. Это был великолепный монолог страницы в две. Вдруг мы получаем записочку, в которой говорится, что весь этот монолог надо вычеркнуть и заменить его всего лишь тремя словами:

— Жена есть жена!

В этой короткой фразе, если вдуматься в нее глубже, заключается все, что было сказано в длинном, в две страницы, монологе. Это очень характерно для Антона Павловича, творчество которого всегда было кратко и содержательно. За каждым его словом тянулась целая гамма разносторонних настроений и мыслей, о которых он умалчивал, но которые сами собой рождались в голове.

Вот почему у меня не было ни одного спектакля, несмотря на то, что пьеса игралась сотни раз, чтобы я не делал новых открытий в давно знакомом тексте и в не раз пережитых чувствах роли. Глубина чеховских произведений для вдумчивого и чуткого актера неисчерпаема.

Как волновал Антона Павловича первый спектакль «Трех сестер», можно судить по тому хотя бы, что за день до спектакля он уехал из того города, где нам был известен его адрес, неизвестно куда, чтобы, таким образом, не получать никаких известий о том, как прошел спектакль.

Успех пьесы был довольно неопределенный.

После первого акта были трескучие вызовы, актеры

выходили к публике что-то около двенадцати раз. После второго акта вышли один раз. После третьего трусливо аплодировало несколько человек, и актеры выйти не могли, а после четвертого жидко вызвали один раз.

Пришлось допустить большую натяжку, чтобы телеграфировать Антону Павловичу, что пьеса имела «большой успех» [27].

И только через три года после первой постановки публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом.

Пресса также долго не понимала этой пьесы. И как это ни странно, но первые достойные этой пьесы рецензии мы прочли в Берлине, когда ездили туда давать там свои спектакли [28].

В Москве, в год ее постановки, пьеса прошла всего несколько раз и затем была перевезена в Петербург [29]. Туда же ожидали и Антона Павловича, но плохая погода и его здоровье помешали этому.

Вернувшись в Москву, театр возобновил подготовительные для будущего сезона работы. Приехал Антон Павлович. В труппе в это время стали поговаривать о возможной свадьбе Чехова и Книппер. Правда, их часто встречали вместе.

Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс.

А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А. Л. Вишневскому была прислана телеграмма [30].

На следующий год Антон Павлович располагал прожить осень в Москве и лишь на самые холодные месяцы уехать в Ялту. Осенью он действительно приехал и жил здесь. Этот период как-то плохо сохранился у меня в памяти. Буду вспоминать обрывками.

Помню, например, что Антон Павлович смотрел репети-

ции «Дикой утки» [31] и, видно было,— скучал. Он не любил Ибсена. Иногда он говорил:

— Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает.

В этой пьесе Антон Павлович не мог смотреть без улыбки на А. Р. Артема и все говорил:

— Я же напишу для него пьесу. Он же непременно должен сидеть на берегу реки и удить рыбу...

И тут же выдумал и добавил:

— ...А Вишневский будет в купальне рядом мыться, плескаться и громко разговаривать... *

И сам покатывался от такого сочетания.

Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.

Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влезающих из сада в комнату. Артем уже сделался лакеем, а потом, ни с того ни с сего, управляющим. Его хозяин, а иногда ему казалось, что это будет хозяйка, всегда без денег, и в критические минуты она обращается за помощью к своему лакею или управляющему, у которого имеются скопленные откуда-то довольно большие деньги.

Потом появилась компания игроков на бильярде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А. Л. Вишневский. Потом появилась боскетная комната, потом она опять заменилась бильярдной.

Но все эти щелки, через которые он открывал нам будущую пьесу, все же не давали нам решительно никакого представления о ней. И мы с тем большей энергией торопили его писать пьесу.

Насколько ему не нравился Ибсен, настолько он любил Гауптмана. В то время шли репетиции «Микаэля Крамера», и Антон Павлович усиленно следил за ними.

У меня осталась в памяти очень характерная черта его непосредственного и наивного восприятия впечатлений.

На генеральной репетиции второго акта «Микаэля Крамера» я, стоя на сцене, слышал иногда его смешок. Но так как действие, происходившее на сцене, не подходило к такому настроению зрителя, а мнением Антона Павловича я, конечно, очень дорожил, то этот смешок несказанно

---

* А. Л. Вишневский жил в то время в доме Сандуновских бань и каждый день ходил купаться. Это-то и натолкнуло А. П. на такую шутку. *(Примеч. К. С. Станиславского.)*

меня смущал. Кроме того, среди действия Антон Павлович несколько раз вставал и быстро ходил по среднему проходу, все продолжая посмеиваться. Это еще больше смущало играющих.

По окончании акта я пошел в публику, чтобы узнать причину такого отношения Антона Павловича, и увидел его сияющего, так же возбужденно бегавшего по среднему проходу.

Я спросил о впечатлении. Ему очень понравилось [32].

— Как это хорошо! — сказал он. — Чудесно же, знаете, чудесно!

Оказалось, что смеялся он от удовольствия. Так смеяться умеют только самые непосредственные зрители.

Я вспомнил крестьян, которые могут засмеяться в самом неподходящем месте пьесы от ощущения художественной правды.

— Как это похоже! — говорят они в таких случаях.

В этом же сезоне он смотрел «Три сестры» и остался очень доволен спектаклем [33]. Но, по его мнению, звон набата в третьем акте нам не удался. Он решил сам наладить этот звук. Очевидно, ему захотелось самому повозиться с рабочими, порежиссировать, поработать за кулисами. Ему, конечно, дали рабочих.

В день репетиции он подъехал к театру с извозчиком, нагруженным разными кастрюлями, тазами и жестянками. Сам расставил рабочих с этими инструментами, волновался, рассказывал, как кому бить, и, объясняя, конфузился. Бегал несколько раз из зала на сцену и обратно, но что-то ничего не выходило.

Наступил спектакль, и Чехов с волнением стал ждать своего звона. Звон получился невероятный. Это была какая-то какофония, — колотили кто по чем попало, и невозможно было слушать пьесу.

Рядом с директорской ложей, где сидел Антон Павлович, стали бранить сначала звон, а потом и пьесу и автора. Антон Павлович, слушая эти разговоры, пересаживался все глубже и глубже и наконец совсем ушел из ложи и скромно сел у меня в уборной.

— Что же это вы, Антон Павлович, не смотрите пьесу? — спросил я.

— Да послушайте же, там же ругаются... Неприятно же...

И так весь вечер и просидел у меня в уборной.

Антон Павлович любил прийти до начала спектакля, сесть против гримирующегося и наблюдать, как меняется лицо от грима. Смотрел он молча, очень сосредоточенно. А когда какая-нибудь проведенная на лице черта изменит лицо в том направлении, которое нужно для данной роли, он вдруг обрадуется и захохочет своим густым баритоном. И потом опять замолчит и внимательно смотрит. Антон Павлович, по моему мнению, был великолепный физиономист. Однажды ко мне в уборную зашел один близкий мне человек, очень жизнерадостный, веселый, считавшийся в обществе немножко беспутным.

Антон Павлович все время очень пристально смотрел на него и сидел с серьезным лицом молча, не вмешиваясь в нашу беседу.

Когда господин ушел, Антон Павлович в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал:

— Послушайте, он же самоубийца.

Такое соединение мне показалось очень смешным. Я с изумлением вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот действительно отравился.

Бывало и так: придешь к Антону Павловичу, сидишь, разговариваешь. Он на своем мягком диване сидит, покашливает и изредка вскидывает голову, чтобы через пенсне посмотреть на мое лицо.

Сам себе кажешься очень веселым. Придя к Антону Павловичу, забываешь все неприятности, какие бывали у меня до прихода к нему. Но вдруг он, воспользовавшись минутой, когда оставались одни, спросит:

— Послушайте! У вас же сегодня странное лицо. Что-нибудь случилось с вами?

Антон Павлович очень обижался, когда его называли пессимистом, а его героев неврастениками. Когда ему попадались на глаза статьи критиков, которые тогда с такой желчью придирались к нему, то он, тыкая пальцем в газету, говорил:

— Скажите же ему, что ему (критику) нужно водолечение... Он же тоже неврастеник, мы же все неврастеники.

Потом, бывало, заходит по комнате и, покашливая, с улыбкой, но со следами горького чувства, повторит несколько раз, выделяя букву «и»:

— Пессимист!

Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни. А к настоящему относился только без лжи и не боялся правды. И те самые люди, которые называли его пессимистом, сами первые или раскисали, или громили настоящее, особенно восьмидесятые и девяностые годы, в которые пришлось жить Антону Павловичу. Если прибавить при этом его тяжелый недуг, который причинял ему столько страданий, его одиночество в Ялте и, несмотря на это, его всегда жизнерадостное лицо, всегда полное интереса ко всему, что его окружало, то вряд ли в этих данных можно найти черты для портрета пессимиста.

Весною этого же года театр поехал в Петербург на гастроли. Антон Павлович, бывший к тому времени уже в Ялте, очень хотел поехать вместе с нами, но доктора не выпустили его из Ялты. Мы играли тогда в Панаевском театре и, помню, очень боялись, что нам не разрешат сыграть «Мещан» Горького.

Для цензуры был назначен до открытия сезона особенный спектакль «Мещан». На этом спектакле присутствовали великие князья, министры, разные чиновники из цензуры и т. д. Они должны были решить, можно играть эту пьесу или нельзя. Сыграли мы как можно деликатнее, с вырезками, которые мы же сами сделали.

Пьесу в конце концов разрешили. Цензурный комитет велел вымарать только одну фразу:

«...в доме купца Романова...»

По окончании репетиции все заинтересовались артистом Б[арановым], игравшим роль Тетерева. Б. поступил к нам из певчих что-то на очень маленькое жалованье, чтобы только не служить в хоре. Он обладал колоссальной фигурой и архиерейским басом. Несколько лет он пробыл незамеченным и, получив роль Тетерева, которая очень подошла к его данным, сразу прославился.

Помню, А. М. Горький очень носился в то время с Б., а Антон Павлович все твердил:

— Послушайте же, он же не для вашего театра.

И вот Б. после репетиции привели в зрительный зал. Светские дамы восторгались самородком, находили его и красивым, и умным, и обаятельным. А самородок сразу почувствовал себя как рыба в воде, стал страшно важен

и для большего шика заявлял кому-нибудь из высшего света своим трескучим басом:

— Ах, извините, я вас не узнал.

Состоялся первый спектакль [34]. Под сценой была спрятана дюжина вооруженных городовых. Масса мест в зале было занято тайной полицией — словом, театр был на военном положении.

К счастью, ничего особенного не произошло. Спектакль прошел с большим успехом.

На следующий день, когда вышли хвалебные рецензии, Б. явился в театр в цилиндре. Бывший в это время в конторе цензор просит познакомить его с Б.

После обычных при знакомстве приветствий легкая пауза, и затем Б. вдруг начинает сетовать, что в Петербурге так мало газет.

— Как хорошо жить в Париже или Лондоне, — там, говорят, выходит до шестидесяти газет в день...

И, таким образом, наивно проговорился о том, как ему приятно было читать хвалебные рецензии.

На втором спектакле захворала О. Л. Книппер. Болезнь оказалась очень опасной, потребовалась серьезная операция, и больную на носилках в карете скорой медицинской помощи отправили в больницу.

Посыпались телеграммы из Ялты в Петербург и обратно. Приходилось наполовину обманывать больного Антона Павловича. Видно было, что он очень тревожился, и в этих его беспокойных, заботливых телеграммах ясно сказывалась его необыкновенно мягкая, нежная душа. И все же, несмотря на все его стремление в Петербург, из Ялты его не выпустили.

Гастроли кончились, а Книппер уехать было нельзя. Труппа разъехалась. Через неделю или две и Книппер повезли в Ялту. Операция не удалась, и там она захворала и слегла. Столовая в доме Антона Павловича была превращена в спальню для больной, и А. П., как самая нежная сиделка, ухаживал за ней.

По вечерам он сидел в соседней комнате и перечитывал свои мелкие рассказы, которые он собирал в сборники [35]. Некоторые из рассказов он совсем забыл и, перечитывая, сам хохотал во все горло, находя их остроумными и смешными.

Когда я приставал к нему с напоминаниями о новой пьесе, он говорил:

— А вот же, в о т... — И при этом вынимал маленький клочок бумаги, исписанный мелким, мелким почерком.

Большим утешением в это печальное время был Иван Алексеевич Бунин.

Среди всех этих тревог и волнений Антона Павловича все-таки не покидала мысль оставить Ялту и переехать в Москву. Длинные вечера проходили в том, что нужно было подробно, в лицах, рассказывать всю жизнь театра. Он так интересовался жизнью в Москве, что спрашивал даже о том, что где строится в Москве. И надо было рассказывать ему, где, на каком углу, строится дом, в каком стиле, кто его строит, сколько этажей и т. д. При этом он улыбался и иногда заключал:

— Послушайте, это же прекрасно!

Так его радовала всякая культура и благоустроенность. Но как врач Антон Павлович был, вероятно, не очень дальновиден, так как решился перевезти жену в Москву в то время, когда она еще, очевидно, далеко не была готова к этому.

Они приехали как раз в то время, когда у нас производились весенние школьные экзамены. Экзамены эти производились в отдельном здании, выстроенном С. Т. Морозовым специально для наших репетиций на Божедомке. Там была сцена величиною почти с нашу и маленькая комнатка для смотрящих.

Сюда в день приезда и поспешили прийти Антон Павлович с женой [36]. А на следующий день Ольга Леонардовна захворала опять, и очень серьезно. Она была при смерти и думали даже — безнадежна. Антон Павлович не отходил от больной ни днем, ни ночью, сам делал ей припарки и т. д. А мы, поочередно, дежурили у него, не ради больной, которая и без того была хорошо обставлена и куда нас не пускали доктора, а больше ради самого Антона Павловича, чтобы поддержать в нем бодрость.

В один из таких трудных дней, когда положение больной было особенно опасно, собрались все близкие и обсуждали, кого из знаменитых врачей пригласить. Каждый, как это всегда бывает в таких случаях, стоял за своего. В числе рекомендуемых упоминали одного из врачей, запятнавшего свое имя каким-то нехорошим поступком в смысле профессиональной этики.

Услыхав его имя, Антон Павлович необыкновенно решительно заявил, что если пригласят этого врача, то он должен будет навсегда уехать в Америку.

— Послушайте же, я же врач, — говорил он, — за это же меня выгонят из врачей...

Пока в доме происходил этот разговор, известный деятель театра Г[иляров]ский, я и один из наших актеров стояли на улице и курили, так как этого мы никогда не позволяли себе делать в квартире Антона Павловича. У дома напротив, возле пивной, стояла карета от Иверской [37]. Шел разговор о том, что молодая жизнь может кончиться. Этот разговор так взволновал Г—ского, что он заплакал. Чтобы успокоиться, он стал, видимо, придумывать, что бы ему такое выкинуть. И вдруг без шляпы он перебегает улицу, входит в пивную, садится в карету из-под Иверской и пьет из бутылки пиво, дает кучеру Иверской три рубля и просит провезти себя в карете по бульвару. Опешивший кучер тронул лошадей. Колымага, тяжело подрагивая на ходу, покатила по бульвару, а оттуда нам приветливо помахивал ручкой Г—ский. Это был тот самый Г—ский, о котором так любил рассказывать Антон Павлович.

Антон Павлович страшно хохотал, когда ему рассказали об этом.

Одну из шуток Г—ского Антон Павлович очень любил рассказывать.

Однажды, в смутное время, когда часто бросали бомбы и вся полиция была настороже, по Тверской ехали Антон Павлович и Г—ский. Г—ский держал в руках завернутую в бумагу тыкву с огурцами. Проезжая мимо городового, Г—ский останавливает извозчика, подзывает городового и с серьезным, деловым лицом передает ему в руки завернутую тыкву. Городовой принял в руки тыкву. Когда извозчик тронул дальше, Г—ский как бы в виде предупреждения крикнул городовому:

— Бомба!

И шутники унеслись на лихаче дальше по Тверской. А опешивший городовой, боясь двинуться с места, стоял посередине улицы, бережно держа в руках завернутую тыкву.

— Я же все оглядывался, — говорил Антон Павлович, — мне хотелось увидеть, что он будет делать дальше, да так и не увидел.

Наступили летние каникулы, все разъехались, а больной все еще не было лучше, — она все еще была в опасном положении.

До сих пор, несмотря на долгое знакомство с Антоном Павловичем, я не чувствовал себя с ним просто, не мог просто относиться к нему, я всегда помнил, что передо мной знаменитость, и старался казаться умнее, чем я есть. Эта

неестественность, вероятно, стесняла Антона Павловича. Он любил только простые отношения. Моя жена, которой сразу удалось установить с ним эти простые отношения, всегда чувствовала себя с ним свободнее меня. Нет возможности описать, о чем они вдвоем разговаривали и как эта легкая, непринужденная болтовня веселила и забавляла по природе естественного и простого Антона Павловича.

И только в эти долгие дни, которые я просиживал вместе с Антоном Павловичем в комнате рядом с больной, мне впервые удалось найти эту простоту в наших отношениях. Это время сблизило нас настолько, что Антон Павлович стал иногда обращаться ко мне с просьбами интимного характера, на которые он был так щепетилен. Так, например, узнавши, что я умею впрыскивать мышьяк, — а я както похвастался при нем своей ловкостью в этой операции, — он попросил меня сделать ему впрыскивание.

Наблюдая за моими приготовлениями, он одобрительно улыбался и готов был уже поверить в мою ловкость и опытность. Но дело в том, что я привык это делать только с новыми, острыми иглами, а тут мне попалась игла, уже довольно много поработавшая.

Он повернулся ко мне спиной, и я стал делать ему прокол. Тупая игла никак не могла проколоть кожу. Я сразу струсил, но никак не мог покаяться в своей неловкости, стал колоть еще усиленнее и, очевидно, причинил ему значительную боль. Антон Павлович даже не вздрогнул, но только один раз коротко кашлянул, и, я помню, этот кашель убил меня. После этого кашля я совершенно растерялся и придумывал, как мне выйти из этого тягостного положения. Но ничего подходящего не приходило в голову.

Надавив на тело концом и повернув шприц несколько вбок, чтобы дать впечатление воткнутой иголки, я простонапросто выпустил наружу всю жидкость, которая и вылилась на белье.

Когда операция кончилась и я сконфуженно клал шприц на место, Антон Павлович с приветливым лицом повернулся ко мне и сказал:

— Чудесно-с!

Больше, однако, он ко мне с этой просьбой не обращался, хотя мы и условились, что я всегда буду делать ему впрыскивания.

Большое место в тогдашних наших разговорах занимал наш новый театр, строившийся в Камергерском переулке [38]. Так как Антону Павловичу нельзя было покидать больную, то ему приносили на дом планы, чертежи и т. д.

Антон Павлович за время болезни жены сам очень истощился и ослаб. Жили они в доме Сандуновских бань, окна выходили в переулок, в июне воздух был ужасный, пыльно, душно, а двинуться нельзя было никуда. Все разъехались, и при нем остались только я, жена и А. Л. Вишневский. Но и у меня уже все сроки прошли, надо было ехать на воды, чтобы успеть до начала сезона довести курс лечения до конца. Таким образом, бедный Антон Павлович осужден был остаться один, и А. Л. Вишневский, который был искренне к нему привязан, решил остаться при нем. А я с семьей уехал за границу.

Единственной отрадой Антона Павловича за это время был один очень ловкий жонглер в «Аквариуме», которого он изредка ходил смотреть, когда больная настолько поправилась, что ее можно было уже изредка оставлять. Наконец чуть ли не в конце июня мы получили известие, что хотя Ольга Леонардовна уже и выходит, но о переезде ее в Ялту не может быть и речи. А между тем Антон Павлович изнемогал в Москве.

Мы предложили ему вместе с больной и А. Л. Вишневским воспользоваться нашим флигелем в имении моей матери, где мы обыкновенно проводили лето. Это было близко от Москвы, по Ярославской железной дороге, станция Тарасовка, имение Алексеева Любимовка.

Туда вскоре и переехали Антон Павлович с больной женой, сестра милосердия и А. Л. Вишневский [39].

О том, как они жили там, я уже знаю только по рассказам.

«ВИШНЕВЫЙ САД»

Мне посчастливилось наблюдать со стороны за процессом создания Чеховым его пьесы «Вишневый сад». Как-то при разговоре с Антоном Павловичем о рыбной ловле наш артист А. Р. Артем изображал, как насаживают червя на крючок, как закидывают удочку донную или с поплавком. Эти и им подобные сцены передавались неподражаемым артистом с большим талантом, и Чехов искренне, жалел о том, что их не увидит большая публика в театре. Вскоре после этого Чехов присутствовал при купании в реке другого нашего артиста и тут же решил:

— Послушайте, надо же, чтобы Артем удил рыбу в моей пьесе, а N [40] купался рядом в купальне, барахтался бы там и кричал, а Артем злился бы на него за то, что он ему пугает рыбу.

Антон Павлович мысленно видел их на сцене — одного удящим около купальни, другого — купающимся в ней, то есть за сценой. Через несколько дней Антон Павлович объявил нам торжественно, что купающемуся ампутировали руку, но, несмотря на это, он страстно любит играть на бильярде своей единственной рукой. Рыболов же оказался стариком лакеем, скопившим деньжонки.

Через некоторое время в воображении Чехова стало рисоваться окно старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели снежно-белым цветом. Затем в воображаемом Чеховым доме поселилась какая-то барыня.

— Но только у вас нет такой актрисы. Послушайте! Надо же особую старуху, — соображал Чехов. — Она же все бегает к старому лакею и занимает у него деньги...

Около старухи очутился не то ее брат, не то дядя — безрукий барин, страстный любитель игры на бильярде. Это большое дитя, которое не может жить без лакея. Как-то раз последний уехал, не приготовив барину брюк, и потому он пролежал весь день в постели...

Мы знаем теперь, что уцелело в пьесе и что отпало без всякого следа или оставило незначительный след.

Летом 1902 года, когда Антон Павлович готовился писать пьесу «Вишневый сад», он жил вместе со своей женой, О. Л. Чеховой-Книппер, артисткой театра, в нашем домике, в имении моей матери Любимовке. Рядом, в семье наших соседей, жила англичанка, гувернантка, маленькое худенькое существо с двумя длинными девичьими косами, в мужском костюме. Благодаря такому соединению не сразу разберешь ее пол, происхождение и возраст. Она обращалась с Антоном Павловичем запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху. Так, например, Чехов уверял англичанку, что он в молодости был турком, что у него был гарем, что он скоро вернется к себе на родину и станет пашой, и тогда выпишет ее к себе. Якобы в благодарность, ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо них, то есть снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по-клоунски комичном:

— Здласьте! здласьте! здласьте!

При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия.

Те, кто видел «Вишневый сад», узнают в этом оригинальном существе прототип Шарлотты.

Прочтя пьесу, я сразу все понял и написал свои восторги Чехову. Как он заволновался! Как он усиленно уверял меня, что Шарлотта непременно должна быть немкой, и непременно худой и большой — такой, как артистка Муратова, совершенно непохожая на англичанку, с которой была списана Шарлотта.

Роль Епиходова создалась из многих образов. Основные черты взяты со служащего, который жил на даче и ходил за Антоном Павловичем. Чехов часто беседовал с ним, убеждал его, что надо учиться, надо быть грамотным и образованным человеком. Чтобы стать таковым, прототип Епиходова прежде всего купил себе красный галстук и захотел учиться по-французски. Не знаю, какими путями, идя от служащего, Антон Павлович пришел к образу довольно полного, уже немолодого Епиходова, которого он дал в первой редакции пьесы [41].

Но у нас не было подходящего по фигуре актера, и в то же время нельзя было не занять в пьесе талантливого и любимого Антоном Павловичем актера И. М. Москвина, который в то время был юный и худой. Роль передали ему, и молодой артист применил ее к своим данным, причем воспользовался экспромтом своим на первом капустнике, о котором речь впереди. Мы думали, что Антон Павлович рассердится за эту вольность, но он очень хохотал, а по окончании репетиции сказал Москвину:

— Я же именно такого и хотел написать. Это чудесно, послушайте!

Помнится, что Чехов дописал роль в тех контурах, которые создались у Москвина.

Роль студента Трофимова была также списана с одного из тогдашних обитателей Любимовки [42].

Осенью 1903 года Антон Павлович Чехов приехал в Москву [43] совершенно больным. Это, однако, не мешало ему присутствовать почти на всех репетициях его новой пьесы, окончательное название которой он никак не мог еще тогда установить.

Однажды вечером мне передали по телефону просьбу Чехова заехать к нему по делу. Я бросил работу, помчался и застал его оживленным, несмотря на болезнь. По-видимому, он приберегал разговор о деле к концу, как дети вкусное пирожное. Пока же, по обыкновению, все сидели за чайным столом и смеялись, так как там, где Чехов, нельзя было оставаться скучным. Чай кончился, и Антон Павло-

вич повел меня в свой кабинет, затворил дверь, уселся в свой традиционный угол дивана, посадил меня напротив себя и стал, в сотый раз, убеждать меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не подходили. «Они же чудесные артисты», — спешил он смягчить свой приговор.

Я знал, что эти разговоры были лишь прелюдией к главному делу, и потому не спорил. Наконец мы дошли и до дела. Чехов выдержал паузу, стараясь быть серьезным. Но это ему не удавалось — торжественная улыбка изнутри пробивалась наружу.

— Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное! — объявил он, смотря на меня в упор.

— Какое? — заволновался я.

— Вишневый сад, — и он закатился радостным смехом.

Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии. Однако чтоб не огорчить Антона Павловича, пришлось сделать вид, что его открытие произвело на меня впечатление. Что же волнует его в новом заглавии пьесы? Я начал осторожно выспрашивать его, но опять натолкнулся на эту странную особенность Чехова: он не умел говорить о своих созданиях. Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской:

— Вишневый сад. Послушайте, это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый!

Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича. Я осторожно намекнул ему на это; мое замечание опечалило его, торжественная улыбка исчезла с его лица, наш разговор перестал клеиться, и наступила неловкая пауза.

После этого свидания прошло несколько дней или неделя... Как-то во время спектакля он зашел ко мне в уборную и с торжественной улыбкой присел к моему столу. Чехов любил смотреть, как мы готовимся к спектаклю. Он так внимательно следил за нашим гримом, что по его лицу можно было угадывать, удачно или неудачно кладешь на лицо краску.

— Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад, — объявил он и закатился смехом.

В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «Вишнёвый», точно

стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого.

Как раньше, так и на этот раз, во время репетиций «Вишневого сада», приходилось точно клещами вытягивать из Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы. Его ответы походили на ребусы, и надо было их разгадывать, так как Чехов убегал, чтобы спастись от приставания режиссеров. Если бы кто-нибудь увидел на репетиции Антона Павловича, скромно сидевшего где-то в задних рядах, он бы не поверил, что это был автор пьесы. Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило. А если и усадишь, то он начинал смеяться. Не поймешь, что его смешило: то ли, что он стал режиссером и сидел за важным столом; то ли, что он находил лишним самый режиссерский стол; то ли, что он соображал, как нас обмануть и спрятаться в своей засаде.

— Я же все написал, — говорил он тогда, — я же не режиссер, я — доктор.

Сравнивая, как держал себя на репетициях Чехов, с тем, как вели себя другие авторы, удивляешься необыкновенной скромности большого человека и безграничному самомнению других, гораздо менее значительных писателей. Один из них, например, на мое предложение сократить многоречивый, фальшивый, витиеватый монолог в его пьесе сказал мне с горечью обиды в голосе:

— Сокращайте, но не забывайте, что вы ответите перед историей.

Напротив, когда мы дерзнули предложить Антону Павловичу выкинуть целую сцену — в конце второго акта «Вишневого сада»[44], — он сделался очень грустным, побледнел от боли, которую мы ему причинили тогда, но, подумав и оправившись, ответил:

— Сократите!

И никогда больше не высказал нам по этому поводу ни одного упрека.

Я не буду описывать постановки «Вишневого сада», которую мы так много играли в Москве, Европе и Америке.

Припомню лишь факты и условия, при которых ставилась пьеса.

Спектакль налаживался трудно; и неудивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет.

В описываемое время наша внутренняя техника и умение воздействовать на творческую душу артистов попрежнему были примитивны. Таинственные ходы к глубинам произведений не были еще точно установлены нами. Чтобы помочь актерам, расшевелить их аффективную память, вызвать в их душе творческие провидения, мы пытались создать для них иллюзию декорациями, игрою света и звуков. Иногда это помогало, и я привык злоупотреблять световыми и слуховыми сценическими средствами.

— Послушайте! — рассказывал кому-то Чехов, но так, чтобы я слышал. — Я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: «Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка».

Конечно, камень бросался в мой огород.

В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль устроить чествование любимого поэта. Чехов очень упирался, угрожал, что останется дома, не приедет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик, и мы настояли [45]. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).

Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании, и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набрести на что-нибудь, но кроме великолепной шитой музейной материи мне ничего не попалось. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде.

«По крайней мере, — думал я, — будет поднесена художественная вещь».

Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.

— Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее, — попрекал он меня после юбилея.

— Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести? — оправдывался я.

— Мышеловку, — серьезно ответил он, подумав. — Послушайте, мышей же надо истреблять. — Тут он сам расхохотался. — Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!

— Какой? — интересовался я.

— Удочки.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.

— Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.

— А что же нужно подносить?

— Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит. Я же не могу так! — шутил Антон Павлович и снова закатывался веселым смехом.

Но на самом юбилее он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно-бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

— Дорогой и многоуважаемый... (вместо слова «шкаф» литератор вставил имя Антона Павловича) — приветствуя вас... — и т. д.

Антон Павлович покосился на меня — исполнителя Гаева, — и коварная улыбка пробежала по его губам.

Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя за то, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе.

Антон Павлович умер, так и не дождавшись настоящего успеха своего последнего, благоуханного произведения.

Со временем, когда спектакль дозрел, в нем еще раз обнаружили свои большие дарования многие из артистов нашей труппы, в первую очередь О. Л. Книппер, исполнявшая главную роль — Раневской, Москвин — Епиходов, Качалов — Трофимов, Леонидов — Лопахин, Грибунин — Пищик, Артем — Фирс, Муратова — Шарлотта. Я также имел успех в роли Гаева и получил на репетиции похвалу от самого Антона Павловича Чехова — за последний, финальный уход в четвертом акте.

Подходила весна 1904 года. Здоровье Антона Павловича все ухудшалось. Появились тревожные симптомы в области желудка, и это намекало на туберкулез кишок. Консилиум постановил увезти Чехова в Баденвейлер. Начались сборы за границу. Нас всех, и меня в том числе, тянуло напоследок почаще видеться с Антоном Павловичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать нас. Однако несмотря на болезнь, жизнерадостность не покидала его. Он очень интересовался спектаклем Метерлинка [46], который в то время усердно репетировался. Надо было держать его в курсе работ, показывать ему макеты декораций, объяснять мизансцены.

Сам он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления. Действительно, сюжет задуманной им пьесы был как будто бы не чеховский. Судите сами: два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, затертый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины [47].

Вот все, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе.

Во время заграничной поездки, по рассказам О. Л. Книппер-Чеховой, Антон Павлович наслаждался культурной жизнью Европы. Сидя на своем балкончике в Баденвейлере, он следил за работой, происходившей в почтовом отделении, которое было напротив его комнаты. Люди шли туда со всех сторон, сносили свои мысли, выраженные в письме, отсюда эти мысли разносились по всему свету.

— Это чудесно! — восклицал он...

Летом 1904 года пришла печальная весть из Баденвейлера о смерти Антона Павловича.

«Ich sterbe» * — были последние слова умирающего. Смерть его была красива, спокойна и торжественна.

Чехов умер — и после своей смерти стал еще более любим на родине, в Европе и Америке. Однако несмотря на свой успех и популярность, он остался многими непонятым и недооцененным. Вместо некролога — выскажу несколько своих мыслей о нем.

До сих пор еще существует мнение, что Чехов — поэт будней, серых людей, что пьесы его — печальная страница русской жизни, свидетельство духовного прозябания страны. Неудовлетворенность, парализующая все начинания, безнадежность, убивающая энергию, полный простор для развития родовой славянской тоски. Вот мотивы его сценических произведений.

Но почему эта характеристика Чехова так резко противоречит моим представлениям и воспоминаниям о покойном? Я вижу его гораздо чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, несмотря на то, что я знавал его в плохие периоды болезни. Там, где находился больной Чехов, чаще всего царила шутка, острота, смех и даже шалость. Кто лучше его умел смешить или говорить глупости с серьезным лицом? Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая? Кто больше его жаждал жизни, культуры, в чем бы и как бы они ни проявлялись? Всякое новое полезное начинание — зарождающееся ученое общество или проект нового театра, библиотеки, музея — являлось для него подлинным событием. Даже простое очередное благоустройство жизни необычайно оживляло, волновало его. Например, помню его детскую радость, когда я рассказал ему однажды о большом строящемся доме у Красных ворот в Москве взамен плохенького одноэтажного особняка, который был снесен. Об этом событии Антон Павлович долго после рассказывал с восторгом всем, кто приходил его навещать: так сильно он искал во всем предвестников будущей русской и всечеловеческой культуры не только духовной, но даже и внешней.

То же и в его пьесах: среди полной безнадежности восьмидесятых и девяностых годов то и дело загораются в них светлые мечты, бодрящие предсказания о жизни через двести, триста или тысячу лет, ради которой мы все должны теперь страдать; о новых изобретениях, благодаря которым будут летать по воздуху, об открытии шестого чувства.

---

* Я умираю (*нем.*).

А заметили ли вы, как часто при исполнении пьес Чехова в зрительном зале раздается смех, да такой звонкий, веселый, какого мы не слышим на других спектаклях? Когда же Чехов берется за водевиль, то доводит шутку до размеров уморительного буффа.

А его письма? Когда я их читаю, от меня, конечно, не ускользает общее настроение грусти. Но на ее фоне блестят, точно весело мигающие звезды на ночном горизонте, остроумные словечки, смешные сравнения, уморительные характеристики. Нередко дело доходит до дурачества, до анекдота и шуток прирожденного, неунывающего весельчака и юмориста, который жил в душе Антоши Чехонте, а впоследствии — и в душе больного, истомленного Чехова.

Когда здоровый человек чувствует себя бодро и весело, это — естественно, нормально. Но когда больной, приговоренный самим собою к смерти (ведь Чехов — доктор), прикованный, как узник, к ненавистному ему месту, вдали от близких и друзей, не видя для себя просвета впереди, тем не менее умеет и смеяться, и жить светлыми мечтами, верой в будущее, заботливо накапливая культурные богатства для грядущих поколений, — то такую жизнерадостность и жизнеспособность следует признать чрезвычайной, исключительной, гораздо выше нормы.

Еще менее мне понятно, почему Чехов считается устаревшим для нашего времени и почему существует мнение, что он не мог бы понять революции и новой жизни, ею создаваемой?

Было бы, конечно, смешно отрицать, что эпоха Чехова чрезвычайно далека по своим настроениям от нынешнего времени и новых, воспитанных революцией, поколений. Во многом они даже прямо противоположны друг другу. Понятно и то, что современная, революционная Россия, с ее активностью и энергией в разрушении старых устоев жизни и создании новых, не принимает и даже не понимает инертности восьмидесятых годов, с их пассивным, выжидательным томлением.

Тогда среди удушливого застоя в воздухе не было почвы для революционного подъема. Лишь где-то под землей, в подпольях, готовили и накапливали силы для грозных ударов. Работа передовых людей заключалась только в том, чтобы подготавливать общественное настроение, внушать новые идеи, разъясняя несостоятельность старой жизни. И Чехов был заодно с теми, кто совершал эту подготовительную работу. Он, как немногие, умел изобразить не-

стерпимую атмосферу застоя, осмеять пошлость порождаемой им жизни.

Время шло. Вечно стремящийся вперед, Чехов не мог стоять на месте. Напротив, он эволюционировал с жизнью и веком.

По мере того как сгущалась атмосфера и дело приближалось к революции, он становился все более решительным. Ошибаются те, кто считают его безвольным и нерешительным, как многие из тех людей, которых он описывал. Я уже говорил, что он не раз удивлял нас своей твердостью, определенностью и решительностью.

— Ужасно! Но без этого нельзя. Пусть японцы сдвинут нас с места, — сказал мне Чехов взволнованно, но твердо и уверенно, когда в России запахло порохом.

В художественной литературе конца прошлого и начала нынешнего века он один из первых почувствовал неизбежность революции, когда она была лишь в зародыше и общество продолжало купаться в излишествах. Он один из первых дал тревожный звонок. Кто, как не он, стал рубить прекрасный, цветущий вишневый сад, сознав, что время его миновало, что старая жизнь бесповоротно осуждена на слом.

Человек, который задолго предчувствовал многое из того, что теперь совершилось, сумел бы принять все предсказанное им...

В. В. ЛУЖСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

При жизни Ант. Павл. Чехова мне пришлось участвовать в его пьесах: «Чайка» (Сорин), «Дядя Ваня» (Серебряков) и «Три сестры» (Андрей). Назначил он мне в одном из писем к В. И. Немировичу-Данченко [1] роль Епиходова в «Вишневом саду», но роль эту играть мне не пришлось.

Познакомили Ант. Павл. с нами — артистами Художественного театра — в год открытия его, осенью, в Охотничьем клубе на Воздвиженке, на репетиции «Чайки» [2]. Знакомил Вл. Ив. Немирович-Данченко, ставивший пьесу и, значит, в этот вечер ведший репетицию. Апт. Павл. и я съехались на извозчиках у подъезда клуба; я, никогда его раньше не видевший, догадался, что это он, припомнил один из его портретов, которые, впрочем, в то время далеко не были так популярны, как теперь. Помнится мне, что уже во второй комнате клуба к Ант. Павл. подошел мой товарищ Ал. Леон. Вишневский и, представившись ему, стал напоминать ему, что они вместе учились в таганрогской гимназии. Чехов, кажется, очень этим заинтересовался, по крайней мере лицо его заискрилось лучезарной улыбкой, и они с Вишневским, очень оживленно разговаривая, вошли в залу, где собрались участвующие в репетиции. Тут, помнится, были Роксанова (Нина), Книппер (Аркадина), Раевская (Шамраева), Лилина (Маша), Мейерхольд (Константин), Тихомиров (учитель), Станиславский (Тригорин) и, кажется, Судьбинин, который должен был репетировать Шамраева, хотя я, может быть, уже что-нибудь путаю, но распределение ролей было сначала не то, в котором шел первый спектакль [3]. Кроме названных лиц, на репетиции были А. С. Суворин и артистка театра Литера-

турно-художественного общества г-жа Дестомб, которая в ту же репетицию помогала за кулисами лепить амфоры для «Антигоны» [4], супруга заведующего бутафорией театра Ив. Ив. Геннерта. Сколько мне помнится, мы проиграли на репетиции весь первый акт и часть второго, планировка уже была прислана К. С. Станиславским. После этого были еще — там же в клубе — две репетиции в присутствии автора [5]. Антон Павлович о первоначальной моей работе над ролью Сорина, о которой я предварительно говорил и советовался с Вл. Ив. Немировичем-Данченко, отзывался одобрительно, сказав: «Это у вас чудесно выйдет»; а когда я заговорил с ним о гриме Сорина, то Ант. Павлович припомнил лицо из судебного мира, сказав, что «вот лицо, вроде лица Кони, Завадского... Завадского, — это очень хорошо!».

«Дядю Ваню» Ант. Павл. смотрел в исполнении Художественного театра в первый раз в Крыму, в севастопольском театре.

А. Р. Артему всегда очень трудно было говорить фразу в III акте: «Брата моего Григория Ильича, жены брат, Константин Трофимович Лакедемонов» [6], а в «Чайке» фраза Константина: «Семен Семенович уверяет, будто видел Нину в поле» — почему-то смешила Вишневского и меня.

И об Артеме, и о фразе в «Чайке» было нами рассказано Ант. Павл., и вот когда после этого он бывал на спектакле, то в этом месте всегда покашливал и подхихикивал. Исполнением А. Р. Артема он всегда оставался больше чем доволен и относился к нему с трогательной нежностью, но, мне кажется, не без умысла писал ему в «Трех сестрах» фразы: «Это Скворцов кричит, секундант. В лодке сидит». Слова «кричит» и «сидит» нередко путали чудеснейшего исполнителя Чебутыкина, и, если это случалось на спектакле в присутствии Ант. Павл., то после, при упоминании о перестановках Артема, Ант. Павл. необыкновенно добродушно и вместе с тем лукаво хохотал.

Первые представления «Трех сестер» прошли тоже без Ант. Павл. Он стал смотреть пьесу осенью следующего сезона на репетициях, делал замечания настолько подробные, что даже лично ставил сцену пожара в III акте. Мной на репетициях остался недоволен, позвал меня к себе и очень подробно, с остановками и разъяснениями, прошел роль Андрея. Таких занятий с Ант. Павл. у меня было не менее трех, каждый раз он занимался со мной не менее

часа. Он требовал, чтобы в последнем монологе Андрей был очень возбужден. «Он же чуть не с кулаками должен грозить публике!» Жил тогда Чехов на Спиридоновке, во дворе, в одноэтажном флигеле.

В «Трех сестрах» при поднятии занавеса, по замыслу К. С. Станиславского, поют птицы. На звуках этих обыкновенно стоял сам К. С. Станиславский, А. Л. Вишневский, И. М. Москвин, В. Ф. Грибунин, Н. Г. Александров и я, воркующий голубем. Ант. Павл. прослушал все это обезьянство и, подойдя ко мне, сказал: «Послушайте, чудесно воркуете, только же это египетский голубь!» А на портрет отца сестер — генерала Прозорова (я в гриме старика генерала) заметил: «Послушайте, это же японский генерал, таких же в России не бывает!»

Как-то на вечере, в квартире Ант. Павл. в д. Коровина на Петровке [7], вскоре после первого спектакля «Вишневого сада», один из гостей — поэт Б. — стал декламировать свои стихотворения. Ант. Павл. то появлялся в комнате, где декламировал поэт, то переходил к нам, сидевшим рядом в комнате и оттуда слушавшим поэта. Когда Б. дошел до стихотворения, где упоминается об озере и лебедях [8], он наклонился к нам, сидящим на диване, и сказал вполголоса: «Если бы сейчас кто-нибудь продекламировал из Лермонтова, то от него бы (он указал глазами на соседнюю комнату) ничего не осталось».

Между прочим, в ту самую весну, когда в театре «Парадиз» Антон Павлович смотрел «Чайку», мой знакомый, московский литератор А. С. Грузинский-Лазарев, который жил со мной на одном дворе, на даче, в Петровско-Разумовском, получил записку от Ант. Павловича, в которой тот просил его прийти в сад Лентовского, теперь «Аквариум», на Садовой, и захватить и меня с собою. Антон Павлович был в тот вечер малоразговорчив, все время возвращался к исполнению одной из главных ролей в «Чайке», которым был мало доволен [9]. А дорогой домой разговорился и все время просил меня повлиять на А. С. Грузинского, чтобы

тот написал водевиль: «Скажите же ему, чтобы он бросил «Будильник» (А. С. был секретарем редакции журнала), и потом, когда я виделся с Антоном Павловичем в Крыму, в гостинице Ветцель, эта мысль, чтобы А. С. Грузинский написал водевиль, не покидала его, он все говорил: «Увидите Лазарева, уговорите же его писать водевиль, он же чудесно напишет, он же порядочный человек и литератор настоящий!»

Последний раз я встретил Антона Павловича числа 29 или 30 мая 1904 года на Тверском бульваре. Антон Павлович катался по Москве с женой, Ольгой Леонардовной, на извозчике. В то же лето, 2 июля, Антона Павловича не стало.

В. И. КАЧАЛОВ

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ>

Когда Антон Павлович хвалил актера, то иногда делал это так, что оставалось одно недоумение.

Так он похвалил меня за «Три сестры».

— Чудесно, чудесно играете Тузенбаха... чудесно... — повторил он убежденно это слово. И я было уже обрадовался. А помолчав несколько минут, добавил так же убежденно:

— Вот еще N [1] тоже очень хорошо играет в «Мещанах».

Но как раз эту роль N играл из рук вон плохо. Он был слишком стар для такой молодой, бодрой роли, и она ему совершенно не удалась.

Так и до сих пор не знаю, понравился я ему в Тузенбахе или нет [2].

А когда я играл Вершинина [3], он сказал:

— Хорошо, очень хорошо. Только козыряете не так, не как полковник. Вы козыряете, как поручик. Надо солиднее это делать, поувереннее...

И, кажется, больше ничего не сказал.

Я репетировал Тригорина в «Чайке» [4]. И вот Антон Павлович сам приглашает меня поговорить о роли. Я с трепетом иду.

— Знаете, — начал Антон Павлович, — удочки должны быть, знаете, такие самодельные, искривленные. Он же сам их перочинным ножиком делает... Сигара хорошая... Может быть, она даже и не очень хорошая, но непременно в серебряной бумажке...

Потом помолчал, подумал и сказал:

— А главное, удочки...

И замолчал. Я начал приставать к нему, как вести то или иное место в пьесе. Он похмыкал и сказал:

— Хм... да не знаю же, ну как — как следует.

Я не отставал с расспросами.

— Вот, знаете, — начал он, видя мою настойчивость, — вот когда он, Тригорин, пьет водку с Машей, я бы непременно так сделал, непременно. — И при этом он встал, поправил жилет и неуклюже раза два покряхтел. — Вот так, знаете, я бы непременно так сделал. Когда долго сидишь, всегда хочется так сделать...

— Ну, как же все-таки играть такую трудную роль, — не унимался я.

Тут он даже как будто немножко разозлился.

— Больше же ничего, там же все написано, — сказал он.

И больше мы о роли в этот вечер не говорили.

Антон Павлович часто говорил о моем здоровье и советовал мне пить рыбий жир и бросить курение. Говорил он об этом довольно часто и ужасно настойчиво, особенно о том, чтобы я бросил курить.

Я попробовал пить рыбий жир, но запах был так отвратителен, что я ему сказал, что рыбьего жира я пить не могу, а вот курить очень постараюсь бросить и брошу непременно.

— Вот-вот, — оживился он, — и прекрасно, вот и прекрасно...

И он собрался уходить из уборной, но сейчас же вернулся назад в раздумье:

— А жаль, что вы бросите курить, я как раз собирался вам хороший мундштук подарить...

Один только раз я видел, как он рассердился, покраснел даже. Это было, когда мы играли в «Эрмитаже». По окончании спектакля у выхода стояла толпа студентов и хотела устроить ему овацию. Это привело его в страшный гнев.

...Помню, как чествовали Антона Павловича после третьего действия в антракте. Очень скучные были речи, которые почти все начинались: «Дорогой, многоуважаемый...» или «Дорогой и глубокоуважаемый...» И когда первый оратор начал, обращаясь к Чехову: «Дорогой, многоуважаемый...», то Антон Павлович тихонько нам, стоящим поблизости, шепнул: «Шкаф». Мы еле удержались, чтобы не фыркнуть. Ведь мы только что в первом акте слышали на сцене обращение Гаева — Станиславского к шкафу, начинавшееся словами: «Дорогой, многоуважаемый шкаф».

Помню, как страшно был утомлен А. П. этим чествованием. Мертвенно-бледный, изредка покашливая в платок, он простоял на ногах, терпеливо и даже с улыбкой выслушивая приветственные речи. Когда публика начинала кричать: «Просим Антона Павловича сесть... Сядьте, Антон Павлович!..» — он делал публике успокаивающие жесты рукой и продолжал стоять. Когда опустился наконец занавес и я ушел в свою уборную, то сейчас же услышал в коридоре шаги нескольких человек и громкий голос А. Л. Вишневского, кричавшего: «Ведите сюда Антона Павловича, в качаловскую уборную! Пусть полежит у него на диване». И в уборную вошел Чехов, поддерживаемый с обеих сторон Горьким и Миролюбовым. Сзади шел Леонид Андреев и, помнится, Бунин.

— Черт бы драл эту публику, этих чествователей! Чуть не на смерть зачествовали человека! Возмутительно! Надо же меру знать! Таким вниманием можно совсем убить человека, — волновался и возмущался Алексей Максимович. — Ложитесь скорей, протяните ноги.

— Ложиться мне незачем и ноги протягивать еще не собираюсь, — отшучивался Антон Павлович. — А вот посижу с удовольствием.

— Нет, именно ложитесь и ноги как-нибудь повыше поднимите, — приказывал и командовал Алексей Максимович. — Полежите тут в тишине, помолчите с Качаловым. Он курить не будет. А вы, курильщик, — он обратился к Леониду Андрееву, — марш отсюда! И вы тоже, — обращаясь к Вишневскому, — уходите! От вас всегда много шума. Вы тишине мало способствуете. И вы, сударь, — обращаясь к Миролюбову, — тоже уходите, вы тоже голосистый и басистый. И, кстати, я должен с вами объясниться принципиально.

Мы остались вдвоем с Антоном Павловичем.

— А я и в самом деле прилягу с вашего разрешения, — сказал Антон Павлович.

Через минуту мы услышали в коридоре громкий голос Алексея Максимовича. Он кричал и отчитывал редактора «Журнала для всех» Миролюбова за то, что тот пропустил какую-то «богоискательскую» статью [6].

— Вам в попы надо, в иеромонахи надо идти, а не в редакторы марксистского журнала.

И помню, как Антон Павлович, улыбаясь, говорил:

— Уж очень все близко к сердцу принимает Горький. Напрасно он так волнуется и по поводу моего здоровья, и по поводу богоискательства в журнале. Миролюбов же хоро-

ший человек. Как попович, любит церковное пение, колокола...

И потом, покашлявши, прибавил:

— Ну, конечно, у него еще слабости есть... Любит на кондукторов кричать, на официантов, на городовых иногда... Так ведь у каждого свои слабости. Во всяком случае, за это на него кричать не стоит. А впрочем, — еще, помолчавши, прибавил Антон Павлович, — пожалуй, следует покричать на Миролюбова. Не за его богоискательство, конечно, а вот за то, что сам кричит на людей.

Послышались торопливые шаги Горького. Он остановился в дверях с папиросой, несколько раз затянулся, бросил папиросу, помахал рукой, чтобы разогнать дым, и быстро вошел в уборную.

— Ну что, отошли? — обратился он к Чехову.

— Беспокойный, неугомонный вы человек, — улыбаясь, говорил Чехов, поднимаясь с дивана. — Я в полном владении собой. Пойдем посмотрим, как «мои» будут расставаться с вишневым садом, послушаем, как начнут рубить деревья.

И они отправились смотреть последний акт «Вишневого сада».

И. А. НОВИКОВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Встречался я с Антоном Павловичем Чеховым всего два раза, но обе встречи дали ощущение живого Чехова и, более того, помогли понять его как писателя, хотя беседа велась совсем не о литературе. Я тогда лишь немного начинал печататься, но в этом ему не признался, а сам Чехов, как большинство настоящих писателей, думается, рад был вести разговор не «писательский», а простой — житейский. Я никак не затрагивал вопроса и о его произведениях. Я ехал тогда на голод в Бессарабию и по этому именно делу к нему и зашел.

Заговорили, конечно, и о любимой Чеховым Москве. Несмотря на январь, в Ялте было тепло, все ходили по-летнему, по каменным стенам вились маленькие пушистые розы, цвели и какие-то еще розовые цветы с плотными блестящими лепестками; все это было зимою несколько призрачно. И грусть по морозной Москве — запрещенной — была как нельзя более понятна. В кабинете, совсем небольшом, очень простом, постепенно сгущались синие сумерки; огни не зажигали. Антон Павлович говорил не спеша, раздумчиво, больше расспрашивал — о Москве, о студенческих наших делах, немного всегда беспокойных. Кстати, когда передают речь Чехова, всегда пестрит частица «же», которую он будто бы прибавлял чуть не к каждому слову; получается впечатление сугубо провинциального местного говора, почти комического. Правда, пишут это люди, знавшие Чехова долго и хорошо, но если и была в его речи такая особенность (я ее вовсе не ощутил), то, во всяком случае, передающие слова А. П. ею злоупотребляют. Он говорил, как писал, короткими фразами, подумав, несколько скупо и очень определенно; так же скупы и выразительны были и его жесты, едва намеченные и, одновременно, вполне законченные.

Я не помню подробностей этого первого разговора, да

и не в них дело, но тогда же я отчетливо почувствовал, как Чехов был пристально внимателен к другому человеку — совсем для него случайному. И это не был интерес специфически писательский, а именно человеческий. Пожалуй, в этом была и доброта, но не такая теплая и конкретная, какая присуща была Владимиру Галактионовичу Короленко, которого увидел я много позже. У Чехова любовь эта была как бы несколько далекою: не данный сидящий перед ним человек сам по себе, а он же, но лишь как один из тех живых существ, что именуются человеком. У Чехова, несомненно, присутствовала всегда свойственная ему органически дума о людях, о человеке, о жизни. И вот он сидел в сумерках и говорил, с паузами, покашливая, спрашивал что-нибудь, и так это воспринималось: точно хочет проверить себя, прикинуть свое «издали» на этом вблизи сидящем, приехавшем оттуда — из всегда молодой Москвы.

Чехов был человеком конкретностей и писал живых людей, может быть, как никто, но эти конкретности он давал по-особому, на широком и спокойном горизонте своего раздумья. Так иногда, на фоне заката, увидишь стебли полыни или дикой рябинки, они такие же, как и те, что у тебя под ногами, но и не те, ибо конкретность их дана с гравюрною четкостью, и даны расстояние, простор и грань горизонта, и теплая желтизна уходящего неба. Это сочетание конкретности и дали, живого быта и длительного раздумья, оно и является основным в творческой манере Чехова.

Какого же рода было это раздумье? Несомненно, оно было очень разнообразного свойства: и философского, и социального — тому имеется много свидетельств. Во вторую свою встречу с Чеховым я очень остро почувствовал именно этот социальный интерес писателя, и притом не отвлеченный, головной, а напротив — живой, исполненный настоящего человеческого тепла.

Я увидел Чехова на одной из выставок картин в Москве. Он был один, но я не подходил к нему, стесняясь напомнить о нашем случайном знакомстве, однако он сам, взглянув и помедлив секунду, узнал меня.

— Да, хорошо н а п и с а н о , — сказал он о портрете какого-то генерала [1], перед которым как раз я с т о я л , — но кому это нужно, зачем?

Портрет привлекал общее внимание, и мастерство художника было налицо. Но Чехов не захотел углубить свою мысль, и она приобрела всю свою значительность лишь в порядке противопоставления.

— Вы это еще не видали?

Не рассеянно, но очень быстро прошел он ряд других полотен и надолго остановился затем перед одной небольшою картиной.

— Вот, — сказал он, — вот что я вам хотел показать. Это хорошо.

Я не помню, чья это была картина [2], но передо мной встают и теперь — фабричные задворки, вечер, лиловатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатою, может быть, чуть-чуть стыдливою, нежностью, которую не хотел бы показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова, и молчание его было для меня выразительно полно: сам он писал не потому лишь, что умел отлично писать и хорошо знал человека, но и потому, что он человека любил и жалел, и думал, по-своему, об устроении его неустроенной жизни.

Г. И. РОССОЛИМО

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов, и трое из таганрогской гимназии [1], среди последних был и А. П. Чехов. Не помню, встречался ли я с ним в первое время, но позднее, благодаря знакомству моему через студента-юриста X. М. Кладас с другом и товарищем А. П., тоже медиком, Василием Ивановичем Зембулатовым, я обратил внимание на будущего писателя. Особенных поводов к сближению с ним у меня вначале не было, вероятно, потому, что, попав на крайне многолюдный курс, мы все, юнцы, держались больше общества своих земляков; так было со мной, так же было и с А. П., который, однако, как мне стало известно от Зембулатова, вскоре примкнул к группе художников и литераторов.

Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, и на втором курсе, в 1880/81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), он оставался в рядах большинства студентов курса, не индифферентных, хотя и не активных революционеров. В прорывавшемся иногда вихре, выдвинувшем на вершину волны Омарева, Стыранкевича, П. П. Кащенко и других, остальные тысячи студентов нашего университета слились в бушевавшую массу, и потому, вероятно, менее активные студенты не оставили следов своего личного отношения к историческим

событиям той знаменательной эпохи. Этим я и объясняю то, что у меня выпал из памяти образ А. П. за этот период времени. Позднее, когда студенческая жизнь вошла более или менее в свою колею, его было видно и в аудиториях и лабораториях; и экзамены он сдавал добросовестно, переходя аккуратно с курса на курс. О его отношениях к занятиям и студенческим обязанностям свидетельствует образцово составленная на V курсе кураторская (обязательная зачетная) история болезни пациента нервной клиники, оригинал которой находился до настоящего времени в архиве заведуемой мною клиники нервных болезней 1-го Московского университета и передан мной, согласно ходатайству Музея им. Чехова и с разрешения правления университета, этому музею. Как сказано выше, представление о Чехове-студенте у меня составилось частью из данных наблюдений со стороны и личных встреч — особенно во время занятий с товарищами в порученной мне, как старосте V курса, студенческой лаборатории, — частью же из того, что о нем сообщал словоохотливый и прямодушный, наш милый товарищ Вася Зембулатов, которого Чехов часто звал по гимназическому обычаю «Макаром» [2], и другой товарищ по Таганрогу Савельев. Оба товарища А. П. относились к нему, как к самому лучшему другу детства; их соединяли не только узы гимназической скамьи, но и донское происхождение, и весь, хотя и неглубокий, но обычно интимный круг интересов гимназических одноклассников. Но в то же время было ясно, что спайка трех товарищей произошла и благодаря, с одной стороны, чуткости, чуткости будущего крупного сердцеведа, с другой — художественной спаянности взаимно друг друга дополнявших индивидуальностей — толстенького маленького, с ротиком сердечком, маленькими усиками и жидкой эспаньолкой, с подпрыгивающим животиком во время добродушного смеха, степняка-хуторянина Васи Зембулатова и поджарого, высокого, доброго, благородного, по-детски мечтательно-удивленного, молчаливого казака Савельева. У Чехова, уже студентом ушедшего в круг широких литературных интересов и уже вырисовывавшегося как яркая творческая индивидуальность, казалось, ничего не должно было оставаться общего с этими милыми детьми южных степей. А между тем тесная дружба с гимназическими товарищами оставалась неизменно прочной до последних дней каждого, уходившего по очереди с этого света; и это можно было понять, так как А. П., хотя и отдалившись в силу своего исключительного творческого та-

ланта от будничного, земного, тем не менее оставался до конца своей жизни сыном родившей и вскормившей окружавшей его природы и среды.

Пришел конец курсу медицинских наук, и из окончивших 340 студентов осталось нас в Москве человек 25—30, остальные же разбрелись по широкому простору Европейской и Азиатской России. Связи курса разорвались, разбились и прочные землические гнезда, в том числе и таганрогское; встречи с однокурсниками, за немногими исключениями, стали случайными. А. П. Чехова я потерял из виду и с 1884 по 1893 год имел о нем сведения лишь по его произведениям. Через девять лет по окончании курса я впервые встретился с ним случайно однажды днем, когда я шел из университета домой. На Никитской улице, не доходя до Никитских ворот, я услышал голос окликнувшего меня в тот момент, когда ко мне подъехал в извозчичьей пролетке Антон Павлович; насколько я помню, он был в драповом расстегнутом пальто, в широкополой шляпе и галстуке, завязанном бантом. Лицо его было озарено радостной улыбкой. Он закидал меня вопросами, рассказал в кратких словах о своей поездке на Сахалин и, для продолжения беседы, предложил зайти в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся в соседнем Леонтьевском переулке. Нас здесь встретил покойный редактор В. А. Гольцев, с которым, за стаканчиком легкого вина, мы побеседовали на темы дня. Неожиданная встреча с А. П., как яркая искра, осветила наше прошлое, выдвинула из мрака почти десятилетней разлуки все то общее, что между нами зарождалось в студенческие годы и вынашивалось в тяжелые годы реакции. Эта встреча сблизила и наши эстетические вкусы, положила основу чувству дружбы, доверия и симпатии, которые нас не покидали до рокового 1904 года — конца жизни А. П—ча. С этой поры не было, кажется, ни одного приезда А. П. в Москву, когда он ко мне не заходил бы или я его не навещал.

О некоторых наших встречах расскажу вкратце то, что у меня сохранилось в памяти. Однажды, вскоре после описанной встречи, А. П—ч пригласил меня к себе на Неглинный в дом Ганецкой для встречи с М. Горьким, с которым мой друг хотел меня познакомить как с человеком высокого художественного дарования. К моему огорчению, свидание не состоялось, Горькому было некогда, но мы провели время в долгой беседе на темы, которые сами собой обычно всплывали при наших встречах, — о товарищах по курсу, о научных новостях в медицине, о совре-

менной литературе и особенно часто о литературном творчестве. Как бы продолжением этой беседы через некоторое время явилась другая, при посещении мной его на Спиридоновке (во флигеле, во дворе [3]).

Это было в зимнее время, перед вечером. Эта встреча осталась у меня в памяти главным образом благодаря тому, что А. П. делился со мной наблюдениями над своим творческим процессом. Меня особенно поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или главу, особенно старательно подбирал последние слова по их звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения. Особенно интересны были его рассуждения на тему о влиянии медицины и естественных наук на него как на беллетриста; эти мысли он включил в присланную мне вскоре затем свою автобиографию для помещения в юбилейный сборник нашего университетского выпуска [4]. Вот что писал он в этой автобиографии.

«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе.

Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, то есть нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем. К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу, и к тем, которые до всего доходят своим умом, — не хотел бы принадлежать...» (См. «Письма А. П. Чехова» под редакцией М. П. Чеховой, т. V, с. 439.)

В этот же вечер мы обсуждали проект упомянутого выше празднования в июне того года (1899) нашим выпуском пятнадцатилетия окончания курса. А. П. хотел принять участие, прислал фотографическую карточку и автобиографию, обещал явиться и на вечеринку, если ока-

жется к тому времени в Москве. Сделать этого ему, однако, не удалось...

2 мая 1900 года вечером ко мне зашел А. П. Чехов. У меня он застал нашего общего учителя, Александра Богдановича Фохта. Благодаря последнему вечер прошел с большим оживлением. А. Б., талантливый чтец, художественно цитировал и беллетристов и поэтов, делился своими воспоминаниями о знаменитых драматических артистах. Уступая нашим настойчивым просьбам, он прочел несколько рассказов Слепцова («Спевка», «В вагоне 3-го класса» и др.). Чтение было настолько живо и замечательно по художественной передаче, что А. П. Чехов хохотал до колик в животе. Продолжая хохотать, со слезами на глазах, он говорил, что в жизни ему не приходилось переживать подобного наслаждения, как в этот вечер. Позднее он не раз, при наших встречах, вспоминал об этом вечере и просил снова пригласить его, когда у меня будет А. Б. Фохт. Этого, однако, повторить не пришлось; и не раз теперь, встречая своего учителя и слушая его чтение и декламации, вспоминаю покинувшего нас друга, его детски восторженное и радостное лицо в тот вечер [5].

Еще одна встреча с А. П., оставившая в моей памяти глубокий след, относится к 16 декабря 1903 года. Сообщаю о ней выпиской из моего дневника: «Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть Чехов. Я не знал, что он здесь, но очень ему обрадовался. Он очень изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору.

До окончания службы, уставши, он предложил ехать ко мне отдохнуть и подкрепиться, чтобы затем ехать на кладбище; я, конечно, согласился и повез его к себе... М[ария] С[ергеевна] захотела снять нас вдвоем; Чехов сказал, что он с радостью будет позировать — он к этому привык, — при этом шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше последует за Алтуховым... Мы долго ждали у входа на кладбище, так как гроб несли на руках. Сильна, однако, меланхолическая нотка у Чехова. Он любит, как говорит, кладбище, особенно зимой, как сегодня, когда могил почти не видно из-под глубокого пушистого снега.

Погребальное шествие подходило к воротам кладбища, а его конец терялся во мглистой дали зимних сумерек; над

головами толпы молодежи качался гроб; впереди несли венки, и первым — венок из свежих цветов «от учеников»; его высоко держали студент и курсистка с гордо поднятыми головами, с решительным, хотя и грустным взором. Невольно вырвалось: «Какой простор!»[6] — «Вот они, т е , — сказал Ч е х о в , — которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды...» Чуть ли не накануне своего рокового отъезда в Баденвейлер, что-то в самом конце мая или 1, 2 июня 1904 года, А. П. спешно вызвал меня к себе несколькими словами на клочке бумаги; видно, писать ему было трудно, хотя почерк был еще его обычный, твердый, мелкий и единообразный.

Собрался я к нему в сумерки жаркого безоблачного дня; было душно; на небе и на земле лежал пыльно-бледный тон; город казался вымершим, и редкие люди, одиноко бродившие по пустынным улицам мимо зеркальных окон запертых магазинов, напоминали мух. С грустным чувством подходил я к жилищу Антона Павловича. Он жил тогда в Леонтьевском переулке, в верхнем этаже большого дома № 26, третьего или четвертого от Тверской. Войдя к нему в кабинет, я застал его в постели у стены, изголовьем к окну, у которого за письменным столом, при лампе под зеленым абажуром, сидела, облокотившись, Ольга Леонардовна и, сколько мне помнится, перелистывала «Русскую мысль». В комнате царил полумрак; бледный свет умиравшего дня боролся с зеленым тоном искусственного освещения. Рука Чехова была суха и горяча, щеки горели; в прерывавшемся одышкой голосе звучали радостные и бодрые нотки. На вопрос о здоровье он пожаловался на мучительные кишечные расстройства, но высказал при этом большое удовольствие по поводу замечательного врачебного опыта лечившего его терапевта, доктора Ю. Р. Таубе, удивительно изобретательного по части разных легких блюд и вкусных пищевых сочетаний. К своей основной, легочной болезни он относился с обычным для таких больных оптимизмом. Вспоминали мы с Чеховым наши университетские годы и товарищей, живших и покойников; прошло уже двадцать лет со дня окончания нами курса. Он, как всегда, подробно расспрашивал о тех однокурсниках, с которыми мне чаще приходилось встречаться; не обошли мы, конечно, и в этот раз молчанием нашего общего товарища и друга, а его товарища по таганрогской гимназии, уже умершего Василия Ивановича Зембулатова. Антону Павловичу было трудно говорить; ему было тяжко, и в комнате

все еще стояла духота. Воспользовавшись вопросом о том, что поделывал я в последнее время, я подробно рассказал ему о своей недавней поездке на о. Корфу, о прелестях тамошней природы и климата, о дивных экскурсиях в Грецию — на Марафон, к развалинам храма Диониса и подножию Пентеликона, о волшебных панорамах во время проезда по Архипелагу, о розовой утренней заре, освещавшей покрытую в то время снегом и точно висевшую в безбрежности глубокого южного неба вершину старого Афона, о том душевном покое, который испытываешь среди морской прохлады во время морских путешествий. Не помню еще, о чем в этом роде старался я рассказывать метавшемуся в жару А. П—чу, хотя и слушавшему меня с напряженным вниманием. Мне казалось, что, унеся его мысленно в волшебные края, подальше от окружавшей его обстановки, я облегчал его томление и отгонял призрак «Черного монаха».

Были у меня с А. П. и еще встречи, правда мимолетные, случайные. Помню одну в вестибюле Художественного театра на премьере одной из его пьес; другую — в его квартире на Малой Дмитровке, в Дегтярном переулке, в доме Шешкова, в присутствии молодой интересной дамы, сидевшей на диване, в то время как Чехов ходил по комнате, веселый, изящно одетый, и что-то ей объяснял в полушутливом тоне; бывали и другие встречи — заключаю это на основании писем.

Фактический материал, который у меня накопился благодаря встречам, наблюдениям, беседам и письмам, позволяет составить характеристику личности А. П. На основании этих данных у меня вырисовывалось отношение его к товарищам, к практическому врачебному делу, к медицинской науке, к его болезни, к артистам — исполнителям его произведений, наконец к политике. В кратких чертах постараюсь зафиксировать относящиеся сюда воспоминания.

К товарищам у него наблюдалось отношение в высокой степени симпатичное, крайняя благожелательность к курсовым товарищам: раз сойдясь и подружившись, он сближался все более и более и был в чувствах своих неизменно прочен, поэтому и отвечали ему друзья тем же. К числу близко сошедшихся с ним в студенческие годы товарищей относится и умерший сравнительно недавно Николай Иванович Коробов, сохранивший к А. П. до конца своей жизни чувства искренней дружбы и симпатии. Хотя Чехов и сошелся на курсе с немногими, но товарищеское чувство

у него распространялось далеко за пределы кружка земляков и друзей. Примером может служить случай, лет через шестнадцать после окончания курса, с душевным заболеванием одного из наших однокурсников — Д[анилова], с которым А. П. даже не был знаком; узнав, однако, стороной, что семья заболевшего осталась без всяких средств к жизни, он принял энергичное, живое участие в организованной мной денежной помощи[7]. Еще пример. Я был вызван в г. Серпухов к захворавшему параличом д-ру В[итте]; по возвращении в Москву вскоре получил от А. П. запрос о состоянии знакомого ему больного товарища. Стоит ли говорить, что я в течение многих лет при всех встречах его с гимназическими товарищами только и видел с их стороны самое трогательное к нему внимание и любовь.

Как было сказано выше, Чехов был примерным студентом и, несмотря на отвлекавшие его с первых же курсов писательские дела, с полным успехом изучил медицинские науки: лекции он посещал, посещал аккуратно и клиники и лаборатории. По окончании медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии и через семь-восемь лет после окончания курса заведовал во время холерной эпидемии мелиховским участком тоже Московской губернии. Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания.

Кстати будет здесь заметить, что в Воскресенске он нашел в лице теперь уже покойного фельдшера земской больницы оригинал для героя своей «Хирургии». В Звенигороде он насадил на земле больницы аллею лиственниц, которые еще и теперь стройными красавицами тянутся от служебного корпуса вплоть до больничного. И помимо больничной работы, доктор Чехов не избегал, поскольку ему позволяли время и обстоятельства, практической врачебной деятельности: у меня бывали с ним общие пациенты, которых он иной раз направлял ко мне из Мелихова и из Крыма для выяснения характера нервного заболевания. Он любил давать врачебные советы и следил за научной и практической медициной по периодической литературе. Отношение его к больному отличалось трогательной заботливостью и мягкостью: видно было, что в нем, враче, человечное достигало высокой степени, что способность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща не только ему как человеку, но еще более как врачу-человеку. Меня, между прочим, однажды поразила глубокая сердечность, с которой он хлопо-

тал о приискании средств для помещения через меня в лечебницу писательницы Ж. [8]

Следить за *большой* медицинской наукой А. П., конечно, было некогда, хотя он старался черпать сведения о движении науки из общемедицинских периодических журналов. Тем не менее ученая степень, поскольку она была нужна для преподавания в университете — он любил помечтать, — казалась ему желательной. Характерный эпизод произошел в связи с этим после одного нашего с ним разговора о необходимости профессору при описании болезней подходить и со стороны переживаний самого больного. Он выразился так: «Вот я страдаю, например, катаром кишок и прекрасно понимаю, что испытывает такой больной, какие душевные муки переживает он, а это редко врачу бывает понятно. Если бы я был преподавателем, то я бы старался возможно глубже вовлекать свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента, и думаю, что это студентам могло бы действительно пойти на пользу» [9]. Мне идея очень понравилась, и я предложил ему предпринять шаги для получения звания приват-доцента, для чего требовалось, между прочим, запастись ученой степенью доктора медицины. «Но у меня нет диссертационной работы?! Разве только предложить для этой цели «Сахалин»?» — «Ну что же, — сказал я, — и очень просто». Он дал мне согласие снестись по этому вопросу с тогдашним деканом, проф. И. Ф. Клейном, что я и сделал. Однако я потерпел полнейшее фиаско, так как декан на мое предложение сделал большие глаза, взглянул на меня поверх очков, отвернулся и молча отошел. Я сообщил о своих неудачах Чехову, который в ответ расхохотался. С тех пор он окончательно оставил мысль об академической карьере.

Несколько слов и об отношении А. П. к своей болезни, которое было удивительно характерным. Как известно, он более десяти лет страдал туберкулезом легких [10], позднее поразившим и его кишечник; известно также, что туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему. Так, например, в письме от 30/IX 1900 года, когда речь

шла, по-видимому, об обострении легочного процесса, он мне пишет: «Здоровье мое сносно, было что-то вроде инфлуэнцы, а теперь ничего, остался только кашель, небольшой».

Или еще 17/VI 1904 года, то есть за две недели до смерти, по приезде в Баденвейлер, он прислал мне открытку, в которой писал: «Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильная, вероятно неизлечимая, лень. Очень похудел и отощал. Боли в руках и ногах прошли еще до Варшавы».

Еще более разительно то место его письма, — написанного мне за три дня до смерти (28/VI 1904), — где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем... «У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т. е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а летнего платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко, по крайней мере на юге...»

Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость (почерк, стиль и пр.), а между тем оценка состояния неверная, раз он, расстававшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту.

Отношения его к исполнителям его пьес? Упоминаю я здесь об этом лишь для того, чтобы передать слышанное мной однажды от него, когда речь шла о психологии драматического артиста и о его подготовке к сцене; между прочим, он привел для примера то, что находил в артистах Художественного театра (давших, как известно, воплощение драм Чехова, граничащее с гениальностью); по его словам, они, несмотря на все, мало его удовлетворяли, и для лучших достижений они нуждаются в более широком художественном и психологическом образовании. Позволяю себе думать, что сказанное Чеховым в этой беседе не является полным отражением его мнения о достижениях Художественного театра; я оговариваюсь для того, чтобы не оставить у читателя впечатления поверхностного вывода, сделанного на основании случайного замечания.

Также должен сказать и об отношении А. П. к политике, я его с этой стороны не изучал; однако из всей совокупности следов наших разговоров и наблюдений он был, правда, не активным политическим деятелем, но все же был человеком с тонким гражданским чутьем благодаря своему психологическому и моральному складу и в студенческие времена, также и позднее представлял собой тип тонко разбирающегося в вопросах общественности и политики интеллигента. Повторяю — таково только произведенное на меня впечатление.

Два слова в заключение: много известно примеров того, как из среды врачей, то есть лиц с медицинским образованием, выделяются прекрасные писатели (В. Вересаев, С. Я. Елпатьевский и другие) или люди со всякого рода стремлениями то к другим наукам, то к различным видам искусства. Должно полагать, что выбор медицинского факультета вытекает нередко у чуткого юноши из стремления разобраться в человеческих страданиях и что, подойдя раз к медицине, уже он естественно углубляется в изучение человека и жизни, потребность расширить и углубить область познаний выводит из круга узкой специальности. Бывают случаи, когда медики уходят в поиски других путей из дебрей медицины, в которой успели разочароваться. Бывает и так, что истинное призвание к чему-либо обнаруживается лишь только после вступления на путь медицинской специальности. Антон Чехов принадлежал, по-видимому, к последней категории. Но, надо думать, ни он, ни кто другой не пожалел о его измене медицинской специальности: литература в нем заслонила медицину, хотя изучение последней, как он сам об этом заявлял, и не прошло для него бесследно. Медицинский факультет Московского университета все же будет гордиться если не ученым, то писателем.

М. ГОРЬКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик [1]. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп,

становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать *народ*, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в *неблагонадежности*, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. *Знаете*, — когда я вижу *учителя*, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, от чего сразу становился и умнее, и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович,

успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — двадцать рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще, и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди

сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, — требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно — миром...

— Ну, да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...[2]

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...[3]

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно...

лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis *.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется — мол, тоже на земле живу! Вот видите — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором... [4]

---

* притворная болезнь.

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам [5]. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил *так*, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней,

ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц» [6].

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка» — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не п о н и м а я, — паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красн*о* говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через

триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что́ им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более;[7] очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков,

говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию» [8].

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение [9]. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных мелких забот о куске хлеба не только для с е б я, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разво-

дить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев» [10], я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова,
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог; взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей» [11]. Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для *себя*. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете — напишу об учительнице, она атеистка —

обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку» — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренне уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает

кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он *смеялся*, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал

острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца [13].

— Вот бы вы занялись э т и м , — убеждал он Сулержиц- к о г о , — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в к р у ж е в о . — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел,

что неудача раздражает ловца солнечных лучей, лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногой собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидев меня на крыльце, сказал, ухмыляясь:

— Здравствуйте. Вы читали у Бальмонта «Солнце пахнет травами»? [14] Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом...

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.

В. А. ПОССЕ

<ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ>

В Ялте я пробыл дней десять[1]. Каждый день виделся с Чеховым. Днем встречались на набережной и гуляли вместе. Вечером мы с Горьким приходили к нему на его виллу. Обыкновенно приходил и Миролюбов. С Чеховым я чувствовал себя легко и просто. Был он тихий и ласковый. Ни капли рисовки. Умные глаза смотрели внимательно, но не назойливо. Грусть сменялась усмешкой. Сам больной хлопотал о неимущих больных. Помню, особенно озабочен был судьбой какого-то чахоточного студента, приехавшего без всяких средств лечиться в Крым. С Чеховым жила его мать, маленькая, худенькая старушка, такая же тихая и ласковая, как сын. Видно было, что он любит и ценит ее.

Раза два мне пришлось побеседовать с Антоном Павловичем наедине. Не было ни Горького, ни Миролюбова и никого посторонних. Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о «Жизни». Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил:

— Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, но и любил «горестно и трудно»[2].

Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви», где огнем сердца выжжены слова:

«Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.

Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно сравнение женщины с вином. Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову. Да и кому она чужда?! Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он этого бы смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо. <...>

Расспрашивал меня Чехов о Московском Художественном театре и о постановке «Дяди Вани», которую он тогда еще не видел[3].

— Как вам мой «Дядя Ваня» понравился? — спросил он между прочим.

Я сказал, что «Дядя Ваня» в постановке Художественного театра оставляет сильное впечатление.

— Не понимаю только, зачем вы заставляете дядю Ваню два раза стрелять в спину профессора Серебрякова? И неестественно выходит. Два раза Вишневский целится, стреляет почти в упор в широченную спину Лужского и хотя бы оцарапал!

— Стрелять дядю Ваню я заставил, чтобы пробудить внимание публики. Мне казалось, что к моменту объяснений между дядей Ваней и профессором публика должна быть утомлена и может даже заснуть. Необходимо потревожить ее выстрелом. Но целиться в спину Лужского я Вишневского не уполномачивал.

В политических разногласиях Чехов не разбирался, вернее, не хотел разбираться. Улучшения жизни он ожидал от того, что лежит глубже этих разногласий.

Когда мы с Горьким стали нападать на «Новое время», специально на Суворина и Меньшикова, косвенно упрекая Чехова, что он с ними не порывает связи, Чехов заметил,

что не видит особенной разницы между направлением «Нового времени» и так называемых либеральных газет.

— Ну, а антисемитизм? А позиция «Нового времени» в «деле Дрейфуса»?

Чехов согласился, что Суворин по отношению к делу Дрейфуса держал себя подло.

— Помню, — рассказывал при этом Чехов, — мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент «Нового времени» Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг «дела Дрейфуса». Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает «Новое время», по меньшей степени, непристойно. Суворин защищался слабо, и, наконец, не выдержав наших нападок, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал:

«Какая у него виноватая спина!»

Вероятно, в тот момент у Чехова тотчас сложился рассказ «Виноватая спина».

Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.

Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.

— Вот, — сказал Горький, — придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».

И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ:

В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатушке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.

А рядом в кухне старуха прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.

— Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку да ею потихоньку и ткни того,

кого хочешь, чтобы не отстал. И не отстанет, моя милая. Так и прилипнет — не отдерешь. Ты уже мне поверь. Я зря говорить не буду. Женщина я старая, бывалая.

И вот курсисточка закрывает «Эмансипацию женщин» Милля и идет ловить черного кота[4].

К Горькому и его творчеству Чехов относился с большой симпатией. Появление каждого нового таланта его радовало. Он старался поддерживать начинающих писателей. Многих направлял ко мне, почему-то доверяя моему чутью.

Его собственные критические замечания бывали всегда своеобразны и порой очень метки. <...>

Во время моего пребывания в Ялте Чехов редактировал собрание своих сочинений, которые он, как известно, сравнительно дешево продал издателю «Нивы» Марксу.

Когда я уезжал, он попросил меня свезти корректуру в Петербург и передать ее лично Марксу.

— Боюсь, — сказал он при этом, — что я недостаточно строг к своим рассказам и пускаю в собрание сочинений вещи, этого не заслуживающие. Во всяком случае, все то, что не попало в собрание сочинений, никуда не годится, и я надеюсь, что оно никогда не появится на свет божий[5]. <...>

Осенью того же года я встретился с Чеховым в Москве. Был вместе с ним и Горьким в Художественном театре на представлении «Чайки»[6].

Я до этого вечера не видел и даже не читал «Чайки». В одном из антрактов я подошел к Чехову, который стоял в вестибюле, прислонившись спиной к колонне, несколько закинув назад голову. Вид у него был унылый. Я подошел к нему и сказал:

— Антон Павлович, хочется вас поблагодарить за ту смелость, с какой вы решились крупного писателя, почти равного Тургеневу, вывести таким пошляком, как Тригорин.

Я тотчас почувствовал, что сказал что-то неладное. Чехов слегка вздрогнул, побледнел и резко сказал:

— Благодарите за это не меня, а Станиславского, который действительно сделал из Тригорина пошляка. Я его пошляком не создавал.

Когда я впоследствии прочитал «Чайку» и вдумался в Тригорина, то понял, что Тригорина Чехов создавал в известной степени по образу и подобию своему.

Во время следующего антракта мы сидели с Чеховым за кулисами. Когда после второго звонка мы шли к себе в ло-

жу через фойе, то увидели Горького, окруженного толпою, преимущественно молодежи.

Горький что-то говорил своим глухим басом, затем раздался смех и аплодисменты. Оказывается, что Горького, проходившего по фойе, узнали, окружили и стали приветствовать аплодисментами. Горький вместо того, чтобы раскланяться и поблагодарить, сказал приблизительно следующее:

— Чего вы, господа почтенные, на меня уставились? Что я, утопленник или балерина? Подумали бы лучше о той замечательной пьесе, которую вы пришли смотреть [7]. <...>

После осени 1900 года я с Чеховым больше не виделся. Несколько раз он собирался приехать в Петербург, но здоровье не позволяло.

«Кашель у меня свирепый, уже пять-шесть дней, но в общем здравие мое хорошее, грех пожаловаться», — писал он мне с горькой иронией 3 марта 1901 года.

Настроение у него в это время было довольно унылое.

«Будьте добры, — писал он, — вспомните, что я одинок, что я в пустыне, сжальтесь и напишите, во-первых, что нового в цивилизованном мире, во-вторых, где теперь Горький, куда ему писать, и, в-третьих, не думаете ли Вы приехать в Ялту отдохнуть».

К «Жизни», к Горькому и ко мне лично отношение его было неизменно дружеским.

21 мая 1901 года Чехов, которому я писал, если я не ошибаюсь, из «предварилки» [8], ответил мне так:

«Дорогой Владимир Александрович, Ваше письмо пошло в Ялту, оттуда в Москву, где я нахожусь ныне, оттого я получил его только вчера; не сердитесь же, что так запаздываю ответом. Вас выпустили? Горький уже выпущен дня четыре назад; он весел и здоров, под домашним арестом будет не больше десяти дней. Я видел доктора, который его освидетельствовал, и Миролюбова, который ездил в Нижний хлопотать у Святополка-Мирского; и сведения от обоих получил весьма успокоительные.

Я чувствую себя недурно, но все же, как оказывается, здоровье мое сильно подгуляло, и я должен ехать на кумыс. Это все равно что ехать в ссылку. Пробуду я на кумысе месяца два, и если бы Вы выслали мне туда майскую и июньскую книжки «Жизни», то я был бы благодарен Вам — не знаю как! Свой кумысский адрес вышлю вам в пятницу, в день отъезда.

Рассказ непременно пришлю. Непременно! Зарежьте меня, если не пришлю.

Ваша статья про Московский Художественный театр мне очень понравилась[9]. Но почему в Питере «Одинокие» Гауптмана пришлись так не по вкусу? Почему они нравились в Москве?

В будущем сезоне пойдет моя «Чайка».

Надо бы с Вами повидаться этим летом — как Вы думаете? В июле я буду ехать обратно из Уфимской губ., буду тогда в Москве. И не заехать ли в Петербург? Я давно уже не был в Петербурге, кстати сказать. Напишите, где Вы будете летом, что и как, авось и повидаемся.

Будьте здоровы и благополучны, отдыхайте после предварилки и набирайтесь здоровья. Крепко жму Вашу руку. Ваш А. Чехов»[10].

Когда после закрытия «Жизни» правительством я решил продолжать ее издание за границей на вольном станке[11] и обратился к старым сотрудникам с просьбой поддержать мое начинание, одним из первых откликнулся Чехов, откликнулся совершенно просто, без малейшей боязни скомпрометировать себя в глазах русского правительства.

«Дорогой Владимир Александрович, — писал он мне 22 декабря 1901 года, — я был нездоров почти весь месяц, теперь поправляюсь и скоро засяду за работу. Я пришлю Вам повесть листа в два или полтора, только не к февральской книжке, а, вероятно, к апрельской или даже майской.

Это Вы хорошо задумали — и дай Вам бог полного успеха.

Живу я в Ялте, вдали от мира, от цивилизации, как монах, скучаю; жена моя в Москве, играет в Художественном театре. Летом я и она думаем поехать за границу.

Крепко жму Вам руку и шлю тысячи хороших пожеланий. И с новым годом поздравляю кстати.

Душевно Ваш А. Чехов.

Л. Толстой живет в Гаспре (почт. адрес: Кореиз, дача Паниной), верстах в десяти от Ялты. Крым ему очень нравится, он в восторге. Здоровье его недурно, но старчески недурно. Горький в Олеизе; тоже пока незаметно, чтобы он скучал. Его адрес почтовый тоже Кореиз».

Быстро развивавшийся туберкулезный процесс не позволил Чехову выполнить свое обещание написать рассказ для свободной «Жизни». Последние полтора года своей жизни он вообще, кажется, ничего не писал[12].

При жизни Чехова я его очень любил и как человека, и как писателя, но все же настоящим образом творчество его я оценил спустя пять-шесть лет после его смерти.

В 1909 году я читал публичные лекции в Грозном. Читал о Толстом и Достоевском. Ко мне явились гимназистки старшего класса местной гимназии и просили прочитать лекцию о Чехове. Но я отказался, откровенно заявив, что Чехова я читал, но не изучал. Они очень огорчились и, уходя, добродушно сказали:

— Вы уж, пожалуйста, Чехова хорошенько изучите: он нам гораздо ближе Достоевского и Толстого.

Я послушался гимназисток и, вернувшись в Петербург, стал серьезно изучать Чехова. Я понял тогда, что он не комик, а трагик обыденной жизни.

Трагедия Мисаила в «Моей жизни», художника в «Доме с мезонином», доктора в «Палате № 6», Кати и профессора в «Скучной истории», Липы в «Овраге», Якова в «Скрипке Ротшильда» и многих других не менее значительны и гораздо понятнее и ближе нам, чем трагедии героев Шекспира.

Я увидел у Чехова не придуманную и не прикрашенную, а настоящую мужицкую правду, я понял, почему Чехов мог предвидеть революционную бурю, которой суждено было стряхнуть с нас лень и поднять в нас уважение к творческому труду.

Когда я прочел лекцию о Чехове, как трагике обыденной жизни, в Томске, то ко мне подошел профессор Боголепов и, пожав руку, поблагодарил за то, что я открыл ему Чехова, которого раньше он не знал.

Когда ту же лекцию я прочел в Грозном, то генерал, сидевший в первом ряду, вскочил и, потрясая в мою сторону кулаком, вскричал:

— Это не революционер, это хуже — это бунтовщик!

Генерал, в сущности, грозил не мне, он грозил понятому мною Чехову.

Н. Д. ТЕЛЕШОВ

А. П. ЧЕХОВ

Немало было встреч у меня с Чеховым, немало бесед и разговоров, но при имени Антона Павловича всегда с особенной ясностью вспоминаются мне две наши встречи: самая первая и самая последняя, и два его образа: молодого, цветущего, полного жизни — и затем безнадежно больного, умирающего, накануне отъезда его за границу, откуда он уже не вернулся живым.

Я был еще юношей, лет двадцати, когда впервые встретился с ним, в то время тоже еще молодым человеком и писателем, только что замеченным. В ту осень 1887 года вышла его книга рассказов «В сумерках» — первая за подписью «Антон Чехов», а не «Чехонте», как раньше. Он только что вступил на настоящую литературную дорогу. Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже «нововременский» зубоскал Буренин, сотрудник того же издательства, которое выпустило эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:

Беллетристику-то — эх, увы!
Пишут Минские да Чеховы,
Баранцевичи да Альбовы;
Почитаешь — станет жаль Бовы!

Несмотря на молчание критики [1], читатели живо интересовались молодым писателем и сумели верно понять Чехова и оценить сами, без посторонней помощи.

С рассказами Чехова, так называемыми «Пестрыми рассказами», мне пришлось познакомиться довольно рано, почти в самом начале литературных выступлений Антона Павловича [2], когда он писал под разными веселыми псевдонимами в «Стрекозе», в «Осколках», в «Будильнике». Потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить от юмористических мелочей к серьезным художественным произведениям. В то время он был изве-

стен все еще по-прежнему — как Чехонте, автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по двадцать копеек, или по двугривенному, как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко в квартиру нижнего этажа сквозь потолок доносились звуки вальса, кадрили с галопом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцевать под чужую музыку, на чужом пиру. Не отсюда ли вышел впоследствии известный рассказ «Свадьба» и затем водевиль на ту же тему?.. [3]

Далеко не сразу был он признан влиятельной критикой. Михайловский отозвался о нем холодно и небрежно, а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непременно сопьется и умрет под забором [4].

Впоследствии, уже в девятисотых годах, в своих воспоминаниях о Чехове писатель А. И. Куприн, между прочим, приводит такие слова самого Антона Павловича обо мне: «Вы спросите Телешова сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова» [5].

И действительно, мы именно гуляли. Свадьба была веселая, шумная, в просторном наемном доме, где-то на набережной Канавы, много было молодежи; веселились и танцевали почти без отдыха всю ночь. А потом ужинали — чуть не до утра.

В то время я был совершенно чужой в литературном мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним настоящим писателем даже не встречался. Знавал их только по книгам.

И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глазами, будто улыбающимися:

— Чехов.

Я уже знал, читал и любил его рассказы, только что собранные в первую книжку [6]. Слышал также, что Григоро-

вич, маститый старец и крупный писатель того времени, однажды сам пришел к Чехову — познакомиться с ним, как с молодым собратом, которому пророчил большое и славное будущее, приветствуя в нем новый литературный талант, настоящий талант, выдвигающий его далеко из круга литераторов нового поколения [7].

И это внимание Григоровича, и личное впечатление от прочитанных рассказов, и первая в жизни встреча с настоящим писателем настроили меня восторженно. Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том новом в литературе, что он дает, но Чехов предупредил меня иным, совершенно неожиданным вопросом:

— Вы в карты не играете? В стуколку?

— Нет.

— А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиграть в стуколку, да не знает — с кем. Вы знаете Гиляровского? Дядю Гиляя?.. Да вот и он! — как говорят актеры в самых бездарных водевилях.

Подошел Гиляровский — познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать.

— Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за вас обижаться, — сказал мне вслед Антон Павлович.

На этом, может быть, и кончилось бы наше знакомство, если б Антон Павлович в конце ночи, после торжественного свадебного ужина с мороженым и шампанским, не подошел ко мне сам и не позвал бы с собою.

— Скоро уж утро, — сказал он. — Гости разъезжаются. Пора и нам уходить. Мы вот с Гиляем надумали пойти чай пить... в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь трактиры откроются — для извозчиков.

И мы пошли.

Нас было четверо: присоединился к нам еще младший брат Чехова, Михаил Павлович, в то время студент. Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать ближайший трактир. Где-то неподалеку, в одном из переулков близ Чугунного моста, засветились окна маленького трактира. Зимнее морозное утро только что начиналось. Было еще темно.

Трактир оказался грязный, дешевый, открывавшийся спозаранку, действительно для ночных извозчиков.

— Это и хорошо, — говорил Антон Павлович. — Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся. А пока по нашим заслугам и здесь очень великолепно.

Про внешность Чехова в ту пору правильно было сказано: «при несомненной интеллигентности лица, с чертами, напоминавшими простодушного деревенского парня» [8], с чудесными улыбающимися глазами. Может быть, такое выражение, как «улыбающиеся глаза», покажется слишком фигуральным, но, кроме Чехова, я ни у кого не встречал таких глаз, которые производили бы впечатление именно улыбающихся.

Благодаря тому, что все мы были одеты во фраки, нас принимали здесь за свадебных официантов, закончивших ночную работу, — и это очень веселило Чехова.

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона сильно припахивало луком.

— Превосходно! — ликовал Антон Павлович. — А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала.

Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то мясляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне — широких, темных и сальных пятен: это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так сюжетов нет? — настаивал на своем Антон Павлович. — Да все — сюжет, везде сюжет. Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы вглядитесь в нее, найдите в ней что-нибудь *свое,* чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать и в луне что-нибудь *свое,* а не чужое и не избитое.

— А вот это разве не сюжет? — указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. — Вон смотрите: идет монах с кружкой собирать на колокол... Разве не чувствуете, как

сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое — в черном монахе на бледном рассвете...

За чаем, который благодаря лимону тоже отдавал немножко луком, разговор перекидывался с литературы на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим, Чехов уверял нас, что никакой «детской» литературы не существует.

— Везде только про Шариков да про Барбосов пишут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья» литература! — шутил Антон Павлович, стараясь говорить как можно серьезнее.

И сам же вскоре написал «Каштанку» и «Белолобого» [9] — про собак.

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими экспромтами, и время летело незаметно.

Стало уже совсем светло. Улица оживилась. Мне было хорошо и радостно. Как сейчас вижу молодое, милое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизнерадостным, как в эту первую встречу, я никогда уже, во всю жизнь, Антона Павловича не видал.

К молодым писателям Чехов относился всегда благожелательно и ко многим очень сердечно. Всегда говорил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произведения, что необходимо видеть жизнь и людей, слышать подлинные человеческие слова и мысли и обрабатывать, а не выдумывать их.

— Поезжайте в Японию, — говорил он одному. — Поезжайте в Австралию, — советовал другому.

Вспоминается, как встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в Лопасню, где жил на хуторе, а я — в подмосковную дачную местность Царицыно, снимать дачу на лето.

— Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете, — сказал Чехов, когда узнал мою цель. — Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три. Ну, хоть в Азию, что ли, на Байкал. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачная: красота! Если времени мало, поезжайте на Урал: природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право сказать самому себе: «Ну, вот я и в Азии!» А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную

жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена; и клопы вас будут заедать. Но это хорошо. После скажете мне спасибо. Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда — по Волге, по Каме...

Он начал давать практические советы, как будто вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Царицыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович на прощанье опять сказал:

— Послушайтесь доброго совета, купите завтра билет до Нижнего.

Я послушался и через несколько дней уже плыл по реке Каме, без цели и назначения, направляясь пока в Пермь. Дело было в 1894 году. За Уралом я увидел страшную жизнь наших переселенцев, невероятные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы наших лучших журналов.

Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России. Но до 1905 года он не дожил.

— Поверьте, через несколько лет, и скоро, у нас не будет самодержавия, вот увидите.

Недаром же в пьесе его «Три сестры» говорится: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет народной жизни и счастливое, радостное будущее человечества. И во все это верил он крепко.

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы видались в Москве — то у издателя И. Д. Сытина, то в Докторском клубе, то у него в доме, где он любил угощать горячей картошкой, печенной на углях, и старым крымским «губонинским» кляретом. Бывал Антон Павлович и у меня, на нашей литературной «Среде», которой всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. Видались мы и в Крыму, у него на даче в Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди

вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку. Пытался он в своем крымском саду, в память о Москве, насаждать молодые березки и другие северные деревца, но я не знаю, принялись ли они и целы ли теперь... Помню, как в этом ялтинском кабинете мне был вручен рецепт в ялтинскую аптеку на порошки от кашля, за подписью «доктора А. Чехова». Аптечная сигнатурка у меня сохраняется.

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища и вообще охотник был посмеяться [10].

Помню, как хохотал он у себя в ялтинском кабинете над одним из своих же давнишних рассказов.

Однажды весенним вечером, года за два до смерти, Антон Павлович созвал нас к себе. Тут были Горький, Бунин, Елпатьевский... После ужина, в кабинете, Бунин, или «Букишон», как ласково называл его Чехов, предложил прочитать вслух один из давных рассказов Чехонте, который А. П. давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился — неловко ему казалось слушать свое же сочинение, — потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться.

— Вам хорошо, теперешним писателям, — нередко говорил он полушутя, полусерьезно. — Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

Его ласковое отношение к писателям более молодым, чем он сам, сказывалось во всем. Вот для примера письмо его ко мне от февраля 1903 года из Ялты: «В «Словаре русского языка», изд. Академии наук, в шестом выпуске второго тома, мною сегодня полученном, показались и Вы. Так, на странице 1626, после слова «западать»: «Из глаз полились холодные слезы и крупными каплями западали на усталую грудь». Телешов. «Фантастические наброски». Вот еще, на стр. 1814, после слова «запушить»: «Повозки снова тронулись в путь по запушенной свежим

снегом дороге». Телешов. «На тройках». И еще на стр. 1849, после слова «зарево»: «Множество свечек горит перед образом, отливаясь мягким заревом на облачении попа». Телешов. «Именины». Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь теперь на веки вечные... Крепко жму Вашу руку и желаю всего хорошего»...[11]

«Это был обаятельный человек: скромный, милый». Так отзывался о Чехове Л. Н. Толстой[12]. И действительно, это был человек безусловно милый, очень скромный и сдержанный, даже строгий к самому себе. Так, например, когда он был очень болен и табачный дым в его комнате был для него ядом, он не мог и не решался сказать никому, кто дымил у него папиросой: «Бросьте. Не отравляйте меня. Не заставляйте меня мучиться». Он ограничился только тем, что повесил на стене, на видном месте, записку: «Просят не курить». И терпеливо молчал, когда некоторые посетители все-таки курили.

В свою очередь, к Толстому Антон Павлович относился всегда особенно уважительно и с любовью.

«Я боюсь смерти Толстого, — признавался он в 1900 году, когда Лев Николаевич опасно заболел. — Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не сделаешь — не так страшно, так как Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения...»[13]

Избранный в почетные академики, Чехов написал, как известно, резкий отказ от этого почетного звания[14], когда узнал, что Горький, также избранный в почетные академики, в этом звании не утвержден царским правительством по приказу самого царя Николая. Только Чехов и Короленко имели мужество поступить так и сложить с себя почетное звание в виде протеста.

Вспоминается случайный разговор с одним стариком, крестьянином из Лопасни, где Антон Павлович никому не отказывал в медицинской помощи. Старик был кустарь, шелкомотальщик, человек, видимо, зажиточный. Сидели мы рядом в вагоне Курской дороги, в третьем классе, на

жесткой скамейке, и по-соседски разговорились от нечего делать. Узнав, что он из Лопасни, я сказал, что у меня есть там знакомый.

— Кто такой?

— Доктор Чехов.

— А... Антон Павлыч! — весело улыбнулся старик, точно обрадовался чему-то. Но сейчас же нахмурился и сказал: — Чудак-человек! — И добавил уже вовсе строго и неодобрительно: — Бестолковый!

— Кто бестолковый?

— Да Антон Павлыч! Ну, скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил-ездил лечить — вылечил. Потом я захворал — и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. Говорю: «Антон Павлыч, милый, что ж ты это делаешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь — чем тебе жить-то?..» Говорю: «Подумай о себе, куда ты пойдешь, если, не ровен час, от службы тебе откажут? Со всяким это может случиться. Торговать ты не можешь; ну, скажи, куда денешься, с пустыми-то руками?..» Смеется — и больше ничего. «Если, говорит, меня с места прогонят, я тогда возьму и женюсь на купчихе». — «Да кто, говорю, кто за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?» Опять смеется, точно не про него и разговор.

Старик рассказывал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искренне уважает своего «бестолкового» доктора, только не одобряет его поведения.

— Да. Хороший он человек, Антон Павлыч. Только трудно ему будет под старость. Не понимает он, что значит жить без расчета.

Эту жизнь «без расчета» показал, между прочим, один существенный случай из жизни.

А. П. Чехов заключил с издателем «Нивы», Марксом, договор, по которому за 75 тысяч рублей все сочинения Чехова поступали в вечное владение издателя — не только прежние, но и все будущие, сейчас же после их напечатания в журнале, и Чехов не имел права передавать никому и никогда перепечатку своих произведений даже для благотворительных изданий. Когда стало известно, что Маркс в первый же год от приложений к «Ниве» и от выпущенного отдельно собрания сочинений в 12 томах не только покрыл всю выданную им Чехову сумму, но и нажил сотни тысяч рублей, Горький написал Антону Павловичу письмо с предложением нарушить договор с Марксом:

«Пошлите-ка Вы этого жулика Маркса ко всем чертям... Я от лица «Знания» и от себя предлагаю Вам вот что: контракт с Марксом нарушьте, деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы Вам достанем сколько хотите. Затем отдайте Ваши книги печатать нам, то есть входите в «Знание» товарищем и издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином Ваших книг... Вы могли бы удешевить книги, издавая их в большем против Маркса количестве; Вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота, и 1 р. 75 к. за книгу для этого читателя дорого. Голубчик! бросьте к черту немца! Ей-богу, он Вас грабит! Бесстыдно обворовывает!.. «Знание» может прямо гарантировать Вам известный, определенный Вами годовой доход, хоть в 25 000. Подумайте над этим, дорогой Антон Павлович...» [15]

Говорят, что неотправленные письма нередко бывают интереснее и значительнее отправленных. Если это и не совсем так или не всегда так, то, во всяком случае, письмо, подписанное группой известных писателей, хотя бы и не отправленное по адресу вследствие особых причин, может представлять собой документ, не лишенный интереса. Одно из таких неотправленных писем, содержание которого связано с памятью Чехова, находилось у меня несколько лет, и о нем знали лишь весьма немногие. Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его двадцатипятилетнему юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там дальнейшие подписи. Бумагу, подписанную крупными представителями науки, литературы, художеств, музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены были подать издателю «Нивы», А. Ф. Марксу, писатели Гарин-Михайловский и Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

«В настоящий момент, когда вся Россия приготовляется праздновать четвертьвековой юбилей А. П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее

время болезненно интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения — с другой.

Двадцать пять лет работает А. П. Чехов, двадцать пять лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам, — должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат — об этом не смеет думать русский писатель, — он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас, — печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоят двадцать пять лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его юбилейный год; [16] неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?..

Нам известен Ваш договор с А. П. Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную Вашу собственность за 75 000 рублей, причем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего они поступают в Вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах, — с тою только огромной разницей, что в журналах они печатаются раз, а к Вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, Вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную Вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова как приложение к журналу «Нива» должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить Вас за все понесенные Вами издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет Вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что

А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права Вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону — не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи Вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством зависимости ложиться на А. П. Чехова и, несомненно, отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5000 рублей за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только — дорогим именем А. П. Чехова.

И мы просим Вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготевшую над А. П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора Вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к Вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали — достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.

Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н. Г. Гарина-Михайловского и Н. П. Ашешова.

Подписали бумагу: Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глаголь, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Ив. Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чириков, [М. Горький]».

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже почти фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только вскоре выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда приблизительно о таких словах самого Антона Павловича при отказе:

— Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее.

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня вместе со списком, к кому идти за дальнейшими подписями. Среди этих намеченных лиц значились: В. О. Ключевский, С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, В. И. Сафонов, А. П. Ленский и многие из тех популярных в то время людей искусства и науки, кого теперь давно уже нет на свете. Да и из числа подписавших бумагу осталось в живых не более двух-трех человек.

Подлинник этого письма со всеми автографами я передал в свое время в Чеховскую комнату при Публичной библиотеке — ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина, — где он теперь и находится[17].

В Московском Художественном театре пьеса Чехова «Дядя Ваня» имела колоссальный успех. Никто, однако, не мог воссоздать рассказами ни сценических образов, ни передать автору действительное впечатление от исполнения и постановки пьесы. Надо было показать этот спектакль ему самому, чтобы он мог оценить и почувствовать его. И Художественный театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать «Дядю Ваню» своему любимому писателю.

Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, так как жил в то время в Ялте, но вскоре слышал от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, где съехалось и жило в то время немало писателей[18]. Пом-

ню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец.

На другой же день по приезде труппы в городском саду был устроен товарищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом крепкого сближения театра с Горьким, у которого созревал тогда план пьесы «На дне». Осенью пьеса была закончена и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Художественном театре [19]. Сначала она называлась «На дне жизни» и под этим заглавием была напечатана за границей.

Чехов и Художественный театр всегда были близки друг другу. С самого возникновения театра и до смерти писателя эти близость и дружба росли, а взаимное понимание и уважение крепли. Как драматург Чехов был угадан, понят и разъяснен только одним Художественным театром. Его пьесы «Иванов» и прообраз «Дяди Вани» — «Леший» ставились в свое время на сценах Москвы: у Корша, у Абрамовой, но холодок среди зрителей и недоумение сопровождали эти постановки, а после знаменитого петербургского провала «Чайки» участь Чехова-драматурга, казалось, была решена бесповоротно.

Но Художественный театр в 1898 году, в первый же год своей жизни, решил показать — по-своему — «Чайку». Он твердо верил в то новое, что давала никем не понятая чеховская пьеса, верил и в то, что хотел сказать этой пьесой сам автор. Победа была полная, потрясающая, восторженная.

Весь Чехов как драматург был показан и раскрыт Художественным театром: «Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад» и даже инсценировки некоторых рассказов, в виде миниатюр, ставились на сцене МХТ [20].

Известно, что Л. Н. Толстой, любя и уважая А. П. Чехова как писателя и как человека, к пьесам его относился отрицательно, хотя и приходил их смотреть.

В 1900 году, 24 января, Лев Николаевич видел в Художественном театре пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня». По окончании спектакля он был за кулисами, где расписался в книге почетных посетителей, и, между прочим, обратясь к артисту Вишневскому, сказал ему шутя:

— Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем пристаете к чужой ж е н е , — завели бы себе свою скотницу.

Случай этот не выдуман, а удостоверен театром. Очень характерно здесь то, что Л. Н. даже в шутке остался верен

своим тогдашним взглядам и не зря употребил слово «скотница».

Как относился Художественный театр к творчеству Чехова, ясно видно из речи Станиславского на десятилетнем юбилее театра. Он говорил: «От Чехова из Ялты прилетела к нам Чайка; она принесла нам счастье и указала новые пути в нашем искусстве». А в речи Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премьере «Вишневого сада» в 1904 году, это отношение высказано еще более определенно.

Как сейчас вижу Антона Павловича, смущенно стоящего на сцене МХТ при открытом занавесе под гром и бурю аплодисментов на премьере его последней пьесы. Ему подносят цветы, венки, адреса, говорят речи, а он смущенно молчит и не знает, куда глядеть. А Немирович-Данченко говорит ему от лица всего МХТ:

— Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: «Это — мой театр».

Никаких сомнений нет и в том, как относился сам Чехов к Художественному театру. В одном из его писем значится: «Художественный театр — это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре» [21].

Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире никого не было, кроме прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали без устали.

Я уже знал, что Чехов очень б о л е н, — вернее, очень п л о х, — и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать е д у , — настоятельно говорил о н . — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного — чеховского сердца.

На другой день он уехал.

А через месяц, в Баденвейлере, в ночь на 2 июля, когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор велел дать больному шампанского. Но ведь больной был сам доктор и понимал значение этой меры. Он сел и как-то значительно и громко сказал доктору по-немецки: «Ich sterbe» *. Потом взял бокал, повернулся лицом к жене и с улыбкой проговорил последние слова в жизни:

— Давно я не пил шампанского...

По словам жены, он покойно выпил глотками все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навеки. Наступившую жуткую тишину ночи нарушала только ворвавшаяся в окно большая черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Когда ушел доктор, среди полной тишины и духоты летней ночи вдруг со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского...

Начинало светать. Вскоре запели утренние птицы...

А затем — торжественные проводы иностранцев и казенное принятие на границе гроба русскими властями, незнакомыми даже с именем Чехова... Непростительное, грубое и дикое назначение «вагона для устриц» [22], в кото-

---

* Я умираю (*нем.*).

ром с этой самой надписью, варварской для настоящего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, почти без всякой встречи благодаря перепутанным телеграммам. И только на другой день, уже в Москве, огромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную площадь, переполненные депутациями с венками и цветами станционные платформы внушительно подчеркнули значительность потери.

Как близкого, как любимого и родного, всей Москвой встретили мы и проводили Чехова до его могилы в Новодевичьем монастыре.

И вот начинается уже шестой десяток лет со дня его смерти, а имя Чехова становится все более и более славным, и не только на родине, среди нас, но и во всем культурном мире. Наша советская молодежь любит, уважает и много читает Чехова.

Творчество его многогранно, лирика поэтична, юмор его неисчерпаем, а вера в лучшее будущее человечества непоколебима.

«Глава о Чехове еще не кончена, — писал в свое время Станиславский. — Ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть же ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца».

И пора такая настала. Вся страна чтит память своего великого писателя, а любимая им Москва готовит ему достойный памятник на одной из лучших своих площадей.

Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, поставили памятник [23].

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты Художественного театра — Книппер-Чехова, Москвин, Вишневский, были члены президиума Чеховского общества, фотограф, несколько родственников и знакомых. День выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим снегом и ледяным ветром.

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. Уже зимние

ранние сумерки начали нависать, когда наконец дорылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:

— Нет, товарищи! Давайте понесем на руках.

И первый взялся за металлическую скобку гроба.

Так со старого, упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, туда, где Художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими весною.

В этом «вишневом саду» была уже приготовлена новая могила, вблизи аллей с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы; сюда же перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя.

Молча подошли мы к новой — второй — чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серою дымкой.

Возвращаясь с кладбища, я вышел из трамвая у памятника Пушкину. Я остановился перед ним и невольно снял с головы на минуту шапку. Мне подумалось: «От одного великого писателя — к другому великому писателю...»

И вспомнились мне тогда слова третьего великого писателя, Льва Николаевича Толстого, который со свойственной ему серьезностью и определенностью говорил:

— Чехов — это Пушкин в прозе! [24]

17 Заказ №. 90

И. А. БУНИН

ЧЕХОВ

I

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня как-то.

Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким, грудным голосом. — Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

— Почему вы не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другое утро после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, проще...

Белая каменная дача в Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана [1] да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синий треугольник моря, — те часы, дни, иногда даже недели, которые проводил я на этой даче, навсегда останутся памятны мне...

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном,

Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу п о н я т ь , — говорил о н , — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенсне:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «А вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист»...

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство [2].

— Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как л е д , — сказал он однажды.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги «Северных цветов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах «Скорпиона» один из своих юношеских рассказов («В море») [3]. Впоследствии в этом раскаивался.

— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение *искустевных* минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час. И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человек, не рассуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

— Чудесная ночь! — сказал он с необычной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Ореанду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце:

«Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю» [4].

1904

II

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

— Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да

пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» — И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти? [5]

— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр...

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души) :

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Не раз говорил:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, и вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

— Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдо-

вой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и не спеша, без интонаций сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...

Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

«Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один».

В ту же записную книжку он занес такие мысли:

«Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!»

«На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает».

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги». Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человека забыли»...[6] Он часто сам говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, и на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку...» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут

неверный тон. Например, Елпатьевский: «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность» [7], приписывает ему «печаль о призраках» [8]. Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом [9].

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте» [10].

Верно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами.

— Это стоит всего Урениуса, — сказал он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса [11], — сказал он серьезно.

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! — говорил он не раз.

— Литература?

— И литература.

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

Про Андреева тоже не лестно:

— Прочитаю страницу Андреева — надо после того два часа гулять на свежем воздухе.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна [12] сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Серьезно, я его б о ю с ь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной с Черное море! подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел.

Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

— Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книшпиц... Будем говорить о литературе...

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

— Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Б а б к и н , — хохоча, отвечал он тонким г о л о с о м, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей-богу, нет, Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы

очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Постойте, а как это про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! — Только вот вам мой совет, — вдруг прибавлял он, — перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья.

Потом, помолчав:

— А Короленке надо жене изменить, обязательно, — чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати: вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры божьей нет» [14].

— Вы знаете, — говорил я, — мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная — помните у меня рассказ «Холодная кровь»? — и изображать-то мне решительно все равно, что именно — собаку или утопленника, поезд или первую любовь... [15] Меня еще спасали «Хмурые люди», — находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ «Припадок» — там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу — они же лодыри...

Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил:

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот сидим мы однажды с одним поэтом в «Большом Московском», пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду...» Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» — «Но позвольте, господин, это не ваше пальто...» — «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сию же минуту, чье!» — «Антона Павловича Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются...» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться, в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная,

и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства»[16].

Он помирал со смеху и говорил:

— Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинаю-

щего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется уменью приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

«Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественного театра!

«Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили...»[17]

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия [18]. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») [19] и которого Чехов за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы называл так:

— Погребальные дроги стоймя.

1914

<ДОПОЛНЕНИЯ>

Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:

— Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое звание?

— Нет.

И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:

— Можно переписать его?

— Пожалуйста.

Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:

«1860 года месяца Генваря 17-го дня рождения, а 27-го крещен Антоний, родители его: таганрогский купец третьей гильдии Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, восприемники: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафьянопуло жена».

— Купеческий брат! удивительное звание! — никогда не слыхал!

В метрическом свидетельстве указано, что Чехов родился 17 генваря.

Между тем Антон Павлович в письме к сестре пишет (16 января 1899 г.):

«Сегодня день моего рождения, 39 лет. Завтра именины, здешние барышни и барыни (которых зовут антоновками) пришлют и принесут подарки».

Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон [20].

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну:

— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.

Замечательно [21].

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

— Я не грешен против четвертой заповеди... [22]

Весною 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным. Привезены были четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Спектакли шли сначала в Севастополе, затем в Ялте [23].

Все были оживлены, возбуждены, Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время.

Чехов в те дни увлекался «Одинокими», много об этом говорил, считал, что Художественный театр должен держаться подобных пьес.

Да, в январе 1901 года я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:

Крым, зима 1901 года, на даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакла-

ны. Суук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).

31 января было первое представление «Трех сестер» [24], конечно, Марья Павловна и «мамаша», как мы все звали Евгению Яковлевну, очень волнуются. К Синани должна была прийти телеграмма из театра. Их слуга Арсений посылается к Синани. Марья Павловна просит из города позвонить по телефону.

Минут через двадцать Арсений взволнованным голосом сообщает:

— Успех аграмадный...

Собрались гости: местная начальница гимназии В. К. Харкеевич, С. П. Бонье, Средины; конечно, выпили по этому случаю.

В начале февраля Марья Павловна уехала в Москву, а я остался до приезда Антона Павловича с мамашей, с которой у меня была большая дружба и которая мне много рассказывала об Антоше.

В каждом ее слове чувствовалось обожание.

В середине февраля — как я теперь вижу по письмам — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала покойница... Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал...

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я один...»

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах

мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луке в имении Линтваревых, оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах[25].

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, — не помню кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое — я изображаю пьяного.

Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он перемарывал рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, «Ворона».

Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:

— «А наверху в это время, где заходит солнце, скучиваются облака, одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»... — как он любит облака сравнивать с предметами, — мелькнуло у меня в уме. — «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба, немного погодя рядом и этим ложится золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно».

«Увижу ли я когда-нибудь его?» — подумал я. — Индийский океан привлекал меня с детства... — И неожиданно глухой, тихий голос:

— Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: «Да это самоубийство! хуже Сахалина», — но промолчал, конечно.

За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал изза стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.

Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок... Ведь до тридцати лет написаны «Скучная история», «Тиф» [26] и другие, поражающие опытом его произведения.

Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.

Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность.

9 сентября Антон Павлович пишет жене: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин» [27].

И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма нехорошо.

Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он

поправился [28], а вернувшись в Ялту, «опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью», восторгался степью, лошадьми, туземцами, только уж очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на квас и непротивный, но, конечно, надоедает.

Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно, уже скучал без жены.

Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы [29].

До моего приезда в Ялте жил и Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.

Жаловался на газету «Курьер»: «Чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости...» [30]

Ему хотелось поехать в Москву до репетиций «Трех сестер», чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения [31].

...Мне все кажется, что несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.

По вечерам иногда собирались к ужину гости: Телешов, Горький, Нилус, после ужина заходил Елпатьевский, и меня упрашивали иногда прочесть тот или другой рассказ Чехова. Об этом вспоминает Телешов: «Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем кресле, но молча, стараясь сдерживаться».

Прослушав как-то свой «осколочный» рассказ, Антон Павлович сказал:

— Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали...

— Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...

Всех нас радовало, что Толстой выздоравливал. Словом, настроение было самое хорошее. И вдруг пришла телеграмма, что в Петербурге заболела Ольга Леонардовна.

Ежедневные телеграммы. Пять дней ожидания ее прибытия, и наконец в первый день пасхи, 10 апреля, ее на руках перенесли с парохода на дачу [32] с температурой 39 градусов под мышкой.

Конечно, Нилусу пришлось бросить портрет [33], и скоро мы все разъехались.

В начале декабря Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, — мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.

Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих братьях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, — этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.

Александр был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и математический [34], много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел.

Я спросил Антона Павловича:

— А не мучается ли он, что вы заслонили его как писателя?

Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:

— Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному... Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних. У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся.

Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького «На дне»[35], и об ужине, который стоит 800 рублей, и что за такую цену подавали?

Я, изображая Горького, говорил:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, черт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.

Чехов очень смеялся, а особенно замечанию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову набок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым *оком*, — мы стояли рядом, и он тихо сказал:

— Лошадь! — Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М. М. Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я «здоровенный мужчина», и опять в который раз уговаривал писать ежедневно, бросить «дилетантство», а нужно относиться к писанию «профессионально»...

И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.

Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами...

— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался.

У Чехова каждый год менялось лицо.

Благородство Чехова — цветы, животные, благородство людских поступков.

Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.

А. И. КУПРИН

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Он между нами жил... [1]

Бывало, в раннем детстве вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день — еще крепишься кое-как, хотя сердце — нет-нет, и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, — о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, — ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на

кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

— Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил[2], но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здание в стиле moderne, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало, отделенное низкой стенкой, старое заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону

Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастии человечества, когда, по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытимого человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было — ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дико-

сти — от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава, и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, — он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастии.

— Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то, и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П—чу постановку его пьесы [3]. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал

непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ — собаки!» — говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую — Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

— Уйди же, уйди, дурак... Не приставай.

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

— Ах ты, глупый, глупый... Ну, как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову.

Иногда приходила к А. П. одна больная барышня [4], приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны — и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда подымаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П—чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«— И вот тогда произошла сверхъестественная с ц е н а , — рассказывал мой з н а к о м ы й . — Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты — вот кого ударил!

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, раздельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого м о р е п л а в а т е л я , — лучше бы мне двадцать

раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери — большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему — письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине стены — коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами — это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, — светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета — в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо — шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шхуны. Много хорошеньких вещиц из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь

их друг от д р у г а, — тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общем зале «Лондонской» гостиницы в Одессе [5]. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки — слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова — именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раёк правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный порт-

рет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно, — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы; лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастию, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, — пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда — небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис.

Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, актеры — и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись разные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота — и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, — надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, помоему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в Академию по этому поводу — прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души:

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов» [6].

Странно — до чего не понимали Чехова! Он — этот «неисправимый пессимист», — как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

— Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отозвался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П—ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, нежаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитекто-

ром), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П., — заключил свой рассказ архитектор, — я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это — случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию — и что бы тогда вышло?» — «Да, все это очень прискорбно, — ответил Чехов, — но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденций. Я пишу только рассказы». — «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, — обрадовался архитектор. — Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя — вы и господин П.» (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика).

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор[7], потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он наконец удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также — и это, каюсь, отчасти моя вина, — как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероят-

но желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти [8]. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо сделается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

— Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

— Почему так?

— Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумаете. Мне все равно». Ну, уж он и написал! Меня даже в жар бросило.

А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, — удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась

истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

— А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу, и поглядывал из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П—ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору — «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник

и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам — полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотою от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

— Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, — признавался Чехов. — А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

— А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, — жаловался он в одном письме, — что голова ходит кругом. Трудно писать» [9]. Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

— У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда — но год от году все реже и реже — воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый,

остроумный, с кипучим, прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные — чеховские — фамилии, из которых я теперь — увы! — помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова [10]. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатления дня, — это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

— Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро, быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, — говорил он как-то, — то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где он находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вто-

рично предлагал вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которой так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качества и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом [11], который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П—ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

— А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем — это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

— Знаете, Москва — самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то утром с публицистом С[абли]ным из «Большого Московского». Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С—н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих — их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба божия Михаила, раба божия Михаила...» А сам в бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с

разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга — как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога) [12], но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно умершем московском поэте [13], и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, — говорил А. П., весело улыбаясь, — в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6»?» — «Ну да, оттуда», — ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеял» и «принциапально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенные тонкие «нервенные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, — только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он *искал,* подобно другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле,

может быть, часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ним несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выспренними словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от негр не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Де-

лайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», — он отвечал спокойно и серьезно:

— Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, — и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой [14]. «Вы будете писать внизу, а я вверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», — говорил он в таких случаях грубоватым и задушевным голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого.

«Дорогой N, повесть получил и прочел, большое Вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, Вы трактуете по старинке, как трактова-

лись они уже лет сто всеми писавшими о них — ничего нового. Во-вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу Вам сказать в ответ на Ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу»[15].

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой N, — писал он одному знакомому, — сим извещаю Вас, что Вашу повесть читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему»[16].

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что «в Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались наконец и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.»[17].

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите как можно больше, — говорил он начинающим беллетристам. — Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное — не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

— Слушайте, ездите почаще в третьем классе, — советовал он. — Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

— Не понимаю, отчего вы — молодой, здоровый и свободный — не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин [18]. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

— Отчего вы не напишете пьесу? — спрашивал он иногда. — Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, — говорил он. — Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, — доказывал он, — а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка.

Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм!»

После этого рассказа А. П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм?..» И записал весь анекдот [19].

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы — это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку — иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов, до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, — говорил он молодым писателям. — Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? *Это* называется — произведением? Да ведь *это* короче воробьиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх вы, Че-ховы!» Должно быть, это было смешно.

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, — говорил он решительным тоном. — И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И, знаете, кто сделал такой

переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, — они все здоровые мужики. Но писать — мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. «Зачем это писать, — недоумевал он, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, — все равно, какое придет в голову, — и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире — это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, — рассказывал он, — я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любуется на них. Так — нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Доде в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым не любя, ласковым и участливым — без привязанности, благодетелем — не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите Вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а Вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов — это обыкновенный maximum для первых родов» [20].

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже равнодушно:

— Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно — и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе, походке —

то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

— Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, — сказал он, волнуясь и покашливая. — Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...» [21]

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было — кровь шла», — скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

— Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!» * И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народу на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз. Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

---

* Я умираю! (*нем.*).

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе — и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле, пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастии которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

И. Н. АЛЬТШУЛЛЕР

О ЧЕХОВЕ

(Из воспоминаний)

Как-то я застал Чехова за чтением критической о нем статьи [1], и он встретил меня словами:

— Вот, батенька, мы с вами и не знали, а я, оказывается, уже в третьем периоде.

И затем, сбросив привычным жестом пенсне и лукаво блеснув глазами, он комически развел руками и прибавил:

— Да, то совсем не было периодов, а теперь вот три.

Не знаю, на сколько периодов можно делить литературное творчество Чехова, но мое знакомство с ним совпадает, несомненно, с началом нового в его личной жизни ялтинского периода, которому суждено было оказаться последним.

В конце сентября 1898 года я, спасаясь от гнилой северной осени, приехал в Ялту, которой раньше не знал. У меня было письмо к местному санитарному врачу д-ру П. П. Розанову, а у него я познакомился с его двоюродным братом С. Я. Елпатьевским. Последний тоже незадолго перед этим переселился окончательно в Ялту, строил себе, как говорил Чехов, «с аппетитом» дачу, был влюблен в южный берег Крыма, очень красноречиво доказывал необходимость и мне покинуть север и сообщил, что вот и Чехов приехал и тоже решил перекочевать сюда. Как-то, проходя со мною через городской сад, он заметил на одной из скамеек Чехова, подошел к нему и познакомил нас. На следующий день подъехал наш общий приятель, известный московский земский врач И. И. Орлов, и как-то так вышло, что мы втроем стали проводить значительную часть дня вместе. Чехов занимал две небольшие комнатки на даче Бушева по Николаевской улице. Осень в тот год выдалась

исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроении. Он тогда еще имел довольно бодрый вид и выглядел, пожалуй, не старше своих тридцати восьми лет, был худ и, несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленные глаза, а главное, на наш врачебный глаз, заметная одышка, особенно при подъемах, обусловленная этой одышкой степенная, медленная походка и предательский кашель говорили о наличности недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Было два верных способа сделать неприятность Чехову и заставить его съежиться: это — коснуться поподробнее его здоровья или его текущих литературных работ.

Доктор Орлов, очень любивший Антона Павловича и очень беспокоившийся за него, как-то, когда мы сидели втроем и весело болтали, шутливо предложил: давайте-ка все друг друга послушаем «для проверки». Чехов мягко отвел его предложение, сказав: «Лучше пройдемся».

Приехал он в Ялту как будто без определенных планов, но здесь скоро принял решение перебраться на юг окончательно и так как «по гостиницам жить надоело», то стал подыскивать участок. По этому поводу у него происходили постоянные совещания с И. А. Синани, владельцем книжного магазина на набережной, хорошо знакомым всякому бывавшему в Ялте, так как его магазин с лавочкой у входа служил излюбленным местом свиданий и встреч друзей и знакомых, особенно писателей. К Чехову Синани, вообще человек очень доброжелательный, питал необыкновенно нежные чувства и любовно заботился о всех его интересах, а так как Ялту, южный берег, ялтинцев и все про ялтинцев и все текущие местные новости и события он знал, как никто, то лучшего советчика по отысканию участка или дачи трудно было найти. Однажды А. П. таинственно повез нас с доктором Орловым в Верхнюю Аутку, которая тогда еще не была присоединена к городу Ялте, а считалась деревней, остановился в конце ее, загадочно предложил нам перелезть через низкий забор, и когда мы очутились на довольно неприглядном участке, под самым пыльным шоссе, с запущенным виноградником, с двумя-тремя тощими деревьями и старым татарским кладбищем с многочисленными характерными надгробными мусульманскими памятниками по передней его границе, он торжественно заявил, что этот самый участок он собирается купить, причем при оценке его рекомендовал обратить особенное

внимание на два его достоинства: во-первых, на имеющийся «библейский» колодец и, во-вторых, на чудесный далекий вид на долину речки Учан-Су и кусочек моря. Так как владелец продавал участок из уважения к Чехову необыкновенно дешево, за четыре тысячи, да еще так, что три тысячи можно было платить когда угодно и без процентов, то тут же на общем совещании решено было, что покупать стоит. Впрочем, шоссе впоследствии при ремонте было значительно поднято и несколько отведено в сторону, а к дому Чехова устроен небольшой, в виде переулка, спуск. Денег свободных у него в это время еще не было, и он комбинировал всякие кредитные операции.

В середине октября умер отец Антона Павловича, и известие об этом еще более укрепило его в решении поскорее построиться и перевезти мать, которой, как он полагал, будет теперь очень тоскливо оставаться в Мелихове. Последнее предполагалось продать. В значительной мере под влиянием Чехова придя также в конце концов к заключению о необходимости покинуть окончательно север, я снял в Ялте квартиру, пустую, только с несколькими самыми необходимыми предметами обстановки, и так как раньше года семья моя не могла переехать, то Чехов перебрался ко мне. Он в это время очень много работал, преимущественно по утрам. Мы много гуляли, тщательно избегая набережной, где его одолевали курортные дамы, «антоновки», преследуя его по пятам; стоило ему зайти к Синани, как немедленно лавка заполнялась покупательницами, которым неотложно требовались газеты, книги, папиросы и т. п. Чехов с мрачным видом круто поворачивался и устремлялся через ближайшие улицы или городской сад подальше от набережной.

Бывали и экстраординарные развлечения. Местный караим-купец, приятель Синани, пригласил Чехова на обед с шашлыками и с классическими, как он говорил, чебуреками. Было душно, жарко, масса приглашенных «на Чехова» родственников и приятелей радушного хозяина. Чебуреки на бараньем жиру, с бараньей начинкой с непривычки показались ужасными, разговор вертелся все время около строительных вопросов и подрядчиков. Чехов серьезно слушал, почти ничего не ел и вставлял деловые замечания. Как только мы вышли, Чехов завернул в аптеку и купил свою любимую касторку: «Надо будет сейчас же п р и н я т ь». — «Да вы ж ничего не е л и». — «А запах, а разговоры?»

Несмотря на длинные разговоры, совместную жизнь,

темы о болезни мы все еще не касались или, вернее, касались, но односторонне: он не одобрял моего кашля, советовал серьезно полечиться и т. д.

Когда я после кратковременной отлучки для ликвидации своей службы в Новоторжском земстве вернулся в Ялту, то не застал его уже на моей пустой квартире, он переехал на дачу Иловайской, где и проживал до переезда к себе в Аутку. Но очень часто, спасаясь от посетителей, мешавших работать, он приходил ко мне рано утром и оставался до обеда.

Генеральша Иловайская, у которой он в это время жил, хорошо к нему относилась, хотя искренне скорбела о том, что он не признает гомеопатии и губит свое здоровье, не соглашаясь принимать ее целительных пилюль. Она даже очень серьезно принялась за устройство его судьбы, подыскав для него очень подходящую пару в лице молоденькой дочери местного протоиерея, часто ее навещавшей. Таинственно обращала мое внимание на некоторые как будто благоприятные в этом смысле признаки и особенно радовалась, когда Чехов с поповной поехал раз прокатиться в Ореанду. И всерьез была огорчена, когда все ее тонкие планы кончились ничем [2].

Чехов считал себя очень практическим человеком (и в известной степени, может быть, это и было верно), и так как я в это время устраивал квартиру, то он принимал в этом живейшее участие. Пришел в ужас, увидев на дверях мою визитную карточку.

— Это же невозможно, серьезные доктора должны иметь серьезную дощечку; и нельзя медную. Нужно в Москве заказать черную чугунную с литыми буквами.

И действительно, через брата, кажется, выписал такую для меня из Москвы. Уверял меня, что без него я и занавесок настоящих никак не смогу купить. Настаивал, что надо мне непременно записаться в члены Общества взаимного кредита и расплачиваться чеками, и когда я, смеясь, говорил ему, что запишусь, когда разбогатею, а пока нечего туда вносить, то он серьезно ответил, что это наша русская некультурность, что на Западе никто денег при себе не держит.

В начале 1899 года он вел переговоры с Марксом, очень волновался, когда они затягивались, в то время был искренне убежден, что совершает очень выгодную для себя сделку. Так как по договору Маркс обязывался через каждые 5 лет повышать на 200 руб. плату за печатный лист, то Чехов все высчитывал и жалел бедного Маркса: «Что же

с ним будет, если вдруг до восьмидесяти пяти лет проживу?»

Для Чехова составляло величайшее удовольствие помогать другим, и он постоянно для кого-нибудь что-нибудь устраивал. Он рекомендовал учителей в гимназии, хлопотал перед архиереем о месте для священника и, уже тяжко больной, искал через друзей протекции для московского дьякона, которому нужно было сына-студента перевести из Юрьева в Москву [4]. Подыскивал для знакомых и приятелей-москвичей комнаты и квартиры, выписывал для них каталоги растений, помогал начинающим писателям завязать отношения с редакциями, хлопотал о постановке чужих пьес, вечно устраивал каких-нибудь больных учительниц или земских служащих. И уезжая в Москву, он каждый раз спрашивал, не надо ли чего привезти, прислать, особенно из Москвы, где, по его мнению, только и можно было достать все настоящее и хорошее и откуда он сам выписывал для себя и писчую бумагу, и конверты, и колбасу, и резиновые калоши, и многое другое, что можно было получить в любом магазине на набережной и получения чего из Москвы он иногда дожидался неделями. Но переубедить его в этом было невозможно. Когда нас несколько человек задумало создать санаторию для нуждающихся, то Чехов, к которому мы обратились за содействием, очень горячо отозвался, объявил у себя прием пожертвований и много времени терял на жертвователей, в большом числе пользовавшихся случаем за небольшой взнос получить чеховский автограф в виде квитанции. Расчетливо тративший на себя, он много раздавал, тайно помогал отдельным учащимся.

Когда Чехов приступил к постройке дачи, он очень подробно и внимательно разрабатывал с архитектором и приехавшей сестрой, Марией Павловной, план дома. Предполагалось три жильца — он сам, мать и в летнее время сестра, служившая тогда преподавательницей в одной из московских женских гимназий. Требовалось, чтобы комнаты были по возможности изолированы. Оттого дом и имел несколько странное расположение: прямо от входа кабинет Антона Павловича, столько раз описанный, и отделенная от него незастекленной с резьбой дверью небольшая, очень светлая спальня. В другом конце коридора дверь в комнату матери, и в башенке наверху — комната Марии Павловны. Внизу столовая и комната для гостей. Чехов перебрался на свой участок задолго до того, как был готов дом, и жил в комнате при будущей кухне, помещав-

шейся в отдельном небольшом флигеле. Он очень много занимался будущим садом. У него было большое стремление к своему углу, к покупке всяких участков, дач и т. д. Вскоре после ауткинской дачи он приобрел участок в Кучук-Кое, около Кикинеиза, верстах в 25 от Ялты, совершенно ему не нужный и никчемный, к которому вел очень крутой спуск от шоссе с еще более крутым спуском от него к морскому берегу.

Купил потому, что «там чудный вид, и все есть: и маленький домик, и табачный сарай, и дроги, и нужно только будет из Москвы выписать ложки, вилки, самовар. Почта рядом, я уверен, что и матери понравится». — «Но ведь туда добраться нельзя». — «Это ничего, можно будет купить ослика, чудесно будет, или еще и лошадь». А через год он еще купил участок в Гурзуфе, потому что на самом берегу, «свой кусочек берега, и можно будет рыбу ловить, чудесно!». И на обоих участках, я думаю, он был счетом не более двух-трех раз. Когда после продажи сочинений Марксу получались свободные деньги, он собирался и в Москве домик купить, «где-нибудь на окраине, но непременно с садом», и где-нибудь дачу под Москвой, непременно около речки. И когда я ему говорил, что он тоже свой крыжовник любит [5], то он смеялся и говорил: «Здесь же крыжовника нет, а миндаль, грецкий орех». Но его привлекал, конечно, не крыжовник, а именно свой угол, сад. Он очень любил растения и цветы и понимал толк в них и в уходе за ними. И чудный сад, вполне разросшийся уже только после его смерти, целиком дело его рук. Я думаю, что лучшими часами в его жизни были те, когда он в хорошие дни возился в саду, окруженный не отступавшими от него собачками, преемниками славных мелиховских такс Брома Исаевича и Хины Марковны, и танцующим прирученным журавлем. Занимался любимым делом, и никто не мешал думать, как на севере помогала думать удочка. Чехов любил животных. Когда я увидел, с какой заботливостью он ухаживал за раненым Каштаном, как внимательно, по всем правилам хирургического искусства, перевязывал его разодранную лапу и с какими при этом ласковыми словами к нему обращался, я понял, почему такой удивительной вышла у него «Каштанка». И когда он, поведя серьезную войну против мышей, брал из мышеловки осторожно за хвост попавшуюся мышь и спускал ее через низкий забор на кладбищенский участок, то я уверен, что мышь только посмеивалась и, наверное, в ближайшую же ночь перебиралась обратно на дачу к своему врагу.

Осенью 1899 года дача была совсем готова, и Чехов перебрался в дом с его уютно устроенным кабинетом. Чехов был необыкновенно аккуратен, и у него всегда царил образцовый порядок. Все раз навсегда на определенном месте, все годы и в том же порядке на письменном столе стояли и оригинальные подсвечники, и чернильницы, и слоны, и «Вся Москва» Суворина, и коробочка с мятными лепешками, и всякие другие мелочи. Этот застывший порядок в очень приятной и уютной комнате с специально написанным для камина этюдом Левитана и с другой картиной этого художника [6] в глубокой нише за письменным столом шел даже в ущерб уюту, внося некоторый холодок.

Я никогда не видел у него кабинет неубранным или разбросанные части туалета в спальне, и сам он был всегда просто, но аккуратно одет, ни утром, ни поздно вечером я никогда не заставал его по-домашнему, без воротничка, галстука. Кто читал его письма к жене, в которых так много пишется про мытье головы, перемену белья, чистку платья, обуви и т. д., тот может получить совершенно ложное представление о Чехове как о каком-то замухрышке, приводимом в благопристойный вид. Но это было бы совершенно неверным представлением. В этом сыне мелкого торговца, выросшем в нужде, было много природного аристократизма не только душевного, но и внешнего, и от всей его фигуры веяло благородством и изяществом.

Время с весны 1899 года до начала 1901 года было, пожалуй, самым приятным и радостным за весь ялтинский период его жизни. Переезд и устройство в новой, по собственному вкусу выстроенной даче, плодотворная творческая работа, постановка «Чайки» и «Дяди Вани» в Художественном театре, приезд этого театра с двумя его пьесами в Ялту специально для него, избрание его в академики, которое он принял с нескрываемой радостью, между прочим, и потому, что им официально как бы признавалось значение русского писателя, наконец личные радостные переживания — все это заметно поднимало его настроение и мирило с «теплой Сибирью».

Но ни тогда, ни после этот мнивший себя очень практичным человек все-таки так, как ему хотелось, устроиться не мог. Помимо здоровья и всяких личных причин, мешали и некоторые особенности ялтинской жизни и исключительная деликатность.

Конец 90-х и начало 900-х годов были как раз началом расцвета и быстрого роста южного берега как всероссийского курорта. Ялта становилась местом, куда съезжались не

только для лечения, но и для отдыха весной, летом и осенью не только богатая буржуазия, но и представители русской интеллигенции. От этого много выигрывали Крым и крымчаки, но от этого очень терпел Чехов. Само собою разумеется, что Чехова считали долгом посетить съезжавшиеся писатели и вообще люди, имевшие отношение к литературе и журналистике. И так как они отдыхали и делать им было нечего, то приходили часто и сидели подолгу. Среди них были люди, Чехову приятные и близкие, с которыми ему было хорошо и которых он сам звал, а были и чуждые и несимпатичные, от которых отделаться он все-таки не мог.

Раз поздно ночью раздается телефонный звонок. Голос Чехова. Я встревожился.

— Что случилось?

— Плохо, батенька, опять касторку только что пришлось принять.

— А что?

— Да ведь NN же опять весь день просидел.

Дело касалось молодого писателя, жившего вне Ялты, но часто навещавшего Антона Павловича [7]. Этого же писателя я застал, заехав как-то случайно днем. Он оживленно что-то рассказывал, а Чехов сидел за письменным столом мрачнее тучи, с закрытыми глазами, без пенсне.

— Антон Павлович, а можно спросить, длинную вы теперь вещь пишете?

— Листа два.

— Вот и мой рассказ тоже, должно быть, листа в два с половиной будет.

Одев пенсне, Чехов вдруг обращается ко мне:

— А знаете, доктор, здешняя касторка куда хуже келлеровской, сравнить нельзя.

Когда через несколько минут позвали к обеду, он любезно предложил посетителю спуститься вниз, пообедать с матерью и передать, что он сейчас есть не хочет, а, может быть, будет позже. Когда гость ушел, он забегал но кабинету и полушутя, полусерьезно сказал:

— Вот вам и усиленное питание... И пообедать не имею возможности.

Кто к нему только не ходил, и по каким только делам! Фельдшер, долгое время присылавший ему для прочтения плоды своей безграмотной музы [8], приезжает специально в Ялту, чтобы посоветоваться, так как Чехов «тоже нашего медицинского персонала». Знакомая владелица вновь открывающегося курорта [9] является с просьбой написать для газет объявление такое, «чтобы действительно было заме-

чательно». И когда смущенный Антон Павлович клянется, что он никогда этим не занимался, она смеется и говорит: «Тоже, ей-богу, вы скажете, самый замечательный писатель и вдруг не можете! Кто же этому поверит?» Приходил учитель гурзуфской школы, молчаливый человек, просиживавший часами, покусывая свою бородку. Приходили посоветоваться, как устроиться получше, как устроить своих больных, приходили по выдуманным предлогам, так как в программу пребывания на южном берегу, кроме посещений Учан-Су, Ай-Петри, массандровских подвалов и прочих достопримечательностей, входил и визит к популярному писателю. И мешали ему работать, мешали думать, мешали быть одному. А отказать, защитить себя он не был в состоянии, не умел, и если не всегда был с такими посетителями слишком приветлив, то всегда внешне любезен и корректен.

В первое время меня иногда неприятно поражало, когда я слышал, как он в разговорах, особенно с писателями, высказывал об их произведениях суждения или проявлял к ним отношение, не соответствовавшее тем мнениям, которые приходилось от него слышать в их отсутствие. Это же можно сказать и про многие места в его письмах. Но, присмотревшись внимательнее, я понял, что это не фальшь, а результат опять-таки его необычайной деликатности и боязни кого-нибудь задеть, обидеть. И в конце концов и в разговорах и в письмах он в мягкой, крайне осторожной форме высказывал все-таки свое настоящее мнение. Может быть, только не всегда все до конца.

Очень много писалось о равнодушии Чехова к общественным вопросам, о его «холодной крови» [10]. По натуре своей он не был борцом и сам это неоднократно повторял. Судя по его рассказам, когда он вступал в жизнь, он мало интересовался общественными вопросами, но уже на старших курсах его симпатии и общественные интересы, под влиянием в значительной степени, я думаю, земско-медицинской среды, получают совершенно определенный уклон. Его часто упрекали за дружбу с Сувориным. Но Чехов всю жизнь помнил, что Суворин, Григорович, Плещеев и Полонский первые обратили на него внимание, когда он еще был Антошей Чехонте, и первые помогли ему выбраться из «Осколков» и «Будильника», и он сохранил к Суворину благодарность навсегда [11]. Он не раз, и всегда с большим волнением, рассказывал, как в начале его писательской карьеры встретила его серьезная критика, как Скабичевский писал, что ему «суждено умереть пьяным

под забором» [12]. И, однако, при всем этом он, который когда-то утверждал, что будет печататься там, «куда занесут ветер и его свобода» [13], уже с начала 90-х годов перестал печататься в «Новом времени», а после процессов Золя и Дрейфуса он, возмущенный отвратительным поведением «Нового времени», навсегда и резко порвал с редакцией и не мог хладнокровно говорить о ней. Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие, отношения до конца. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал очень часто не Сувориным «Нового времени». И о студенческих беспорядках, и даже о процессе Дрейфуса, и о многом другом он в своих письмах писал так, что, когда Чехов передавал их содержание или изредка читал отрывки из его писем, не верилось, что автором их был Суворин. Вообще обнародование писем Суворина к Чехову представило бы громадный общественный интерес; к сожалению, этого никогда не случится, потому что Суворин очень ловко сумел получить их обратно вскоре после смерти Антона Павловича и, конечно, уничтожил [14].

Когда в 1902 году были отменены выборы Горького в Академию, Чехов по собственной инициативе послал отказ от этого почетного звания [15]. А чтобы оценить этот поступок по-настоящему, нужно вспомнить, как Чехов дорожил званием академика и с каким отвращением он относился ко всякого рода публичным выступлениям. Во всей биографии Чехова, во всей его переписке нельзя найти и намека на какой-нибудь антиобщественный или лично некорректный поступок.

Известно, с какой особенной любовью относился Чехов к Толстому. Во время серьезной болезни последнего зимой 1901—[190]2 годов он страшно волновался и требовал, чтобы, возвращаясь из Гаспры, я хоть на минутку заезжал к нему, а если заехать нельзя, то хоть по телефону рассказал о состоянии больного. И Толстой платил ему таким же отношением и говорил о нем с необыкновенно теплым участием. А когда раза два Чехов приезжал со мною в Гаспру, Толстой все время оживленно с ним беседовал и не отпускал. Как-то на мой вопрос, что за книжка у него в руках, он ответил: «Я живу и наслаждаюсь Чеховым; как он умеет все заметить и запомнить, удивительно; а некоторые вещи глубоки и содержательны; замечательно, что он никому не подражает и идет своей дорогой; а какой лаконический язык». Но и тут не забыл прибавить: «А пьесы его

никуда не годятся, и «Трех сестер» я не мог дочитать до конца».

Этот исключительно простой и скромный человек, никогда и никому не старавшийся импонировать, застенчиво избегавший всякого представительства и всякого чествования и вообще всяких людских сборищ, внушал всем какое-то невольное почтительное и бережное отношение к себе. Его как-то стеснялись, и это проявлялось иногда в мелочах. Д. Н. Мамин-Сибиряк праздновал именины своей дочери Аленушки и, между прочим, устроил у себя винт. Когда я приехал, то застал самого хозяина и партнеров, К. М. Станюковича и С. Я. Елпатьевского, в самом лучшем настроении. Сели играть, и за картами Мамин стал рассказывать уральские анекдоты и «случаи из жизни». Рассказчик он был красочный, а анекдоты были крепкие, сибирские. Его рассказы покрывались общим хохотом, и даже страстный винтер Станюкович отложил карты в сторону. В это время открылись двери и вошел Чехов. Несмотря на его усиленные просьбы продолжать, рассказы прекратились, стало очень степенно. Он вскоре ушел, и когда я потом в бледной передаче рассказал ему некоторые из маминских «случаев», то он долго смеялся своим особым, заразительным смехом и все приговаривал: «Послушайте, как же вы его не заставили продолжать, надо будет попросить».

Когда Чехов был не в саду, когда не было посетителей, его всегда можно было застать в кабинете, и если не за письменным столом, то в глубоком кресле, сбоку от него. Он много времени проводил за чтением. Он получал и просматривал громадные количества газет, столичных и провинциальных. По прочтении часть газет он рассылал разным лицам, строго индивидуализируя. Ярославскую газету — очень им уважаемому священнику, северному уроженцу [16], а «Гражданин» отправлялся нераскрытым будущей ялтинской знаменитости, частному приставу Гвоздевичу. Ему приходилось много времени тратить на прочтение присылаемых ему рукописей. Кроме других толстых журналов, читал и «Исторический вестник», и «Вестник иностранной литературы», и орган религиозно-философского общества «Новый путь». Часто читал и классиков, следил внимательно за вновь появляющейся беллетристикой.

Но он мог часами просиживать в кресле, без газет и без книг, заложив нога на ногу, закинув назад голову, часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он преда-

вался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый. Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском.

Был ли Чехов верующим?

Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший [17], рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: «Вот любовь к этому звону — все, что осталось еще у меня от моей веры».

Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном мною в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: «А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь...» Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: «Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало». Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.

Антон Павлович был, как известно, врачом; он очень любил медицину, студентом и первое время по окончании добросовестно ее изучал и не собирался ее бросить. Еще в середине 80-х годов он писал, что «медицина — моя законная жена, а литература — любовница» [18]. Студентом он занимался на каникулах в Чикинской земской больнице Звенигородского уезда, потом короткое время заменял земского врача и в Москве принимал больных. По-видимому, собирался писать и работу специальную. По крайней мере, после его смерти среди бумаг оказалось несколько исписанных листов с заметками по истории медицины в России [19]. Я, к сожалению, не догадался тогда снять копию. Эти заметки до сих пор нигде не напечатаны. По

наведенным мною справкам, рукопись находится теперь в Центроархиве. Чехов, впрочем, и на свой «Сахалин» смотрел как на некоторого рода медицинскую диссертацию [20]. И в Мелихове он еще принимал у себя обращавшихся к нему крестьян и снабжал их лекарствами, конечно, бесплатно. Но этим тогда уже исчерпывалось его отношение к медицине. За последние 10—15 лет он научной медициной не занимался. Правда, в Ялту из редакции «Русской мысли» ему аккуратно пересылался медицинский еженедельник «Русский врач», но он в нем прочитывал только хронику и иногда мелкие так называемые «заметки из практики». И, случалось, любил поразить: «Вы читали в последнем номере о новом средстве от геморроя?» — «Нет, не читал». — «Вот, сударь, и растеряете практику. А я вот прочитал и уж Кондакова вылечил. Прекрасное средство». И на письменном столе слева всегда лежал молоточек и трубочка для выслушивания и медицинский календарь Риккера за текущий год. Но он принимал всегда деятельное участие в лечении своих домашних или заболевшей прислуги. Любил давать советы своим приятелям и расспрашивать про их болезни. Но обычно это оканчивалось указанием, что надо серьезно лечиться и обратиться к врачу. Была у него слабость — он любил писать рецепты. И, зная это, я старался не прописывать ему лекарств, а обыкновенно он стоит, бывало, у телефона и под мою диктовку передает заказ в аптеку, особенно при этом как-то отчеканивая латинские названия. Заставлял провизора повторить и прибавлял в конце: (для автора) д-р Чехов.

Тем обстоятельством, что Чехов был врач, можно в известной степени объяснить и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все самое неблагоприятное, что знают про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, опять-таки стараясь обосновать свое отношение медицинскими соображениями.

Я уже упоминал о том, что в самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой «стетоскопчик и ларингоскопчик», так как у него кровохарканье, — и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем, потому что не могло быть

никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот первый наш медицинский разговор Чехов начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. И с студенческих лет он много кашлял, весною и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлуэнцой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Объяснял кровохарканье горлом, а кашель — простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в стрекозиные мощи. И еще в 1888 году он наставительно, как врач, пишет Суворину, что «чахотка, или иное серьезное легочное страдание, узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно этой совокупности-то и нет» [21]. И даже, несмотря на кровохаркания, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве» [22], и даже после смерти брата Николая от скоротечной чахотки в 1889 году он еще заявляет, что «ни за что выслушивать себя не позволит», и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал. И я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье — внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и отправляемый потом в камин. Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заста-

вить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал: «Давайте послушаемтесь». Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением, главным образом и прежде всего, было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался; на вопрос: «как себя чувствуешь?» — отвечал: «сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель», — или «голова болит», или что-нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. Увы, и для этого у Чехова обстоятельства сложились крайне неблагоприятно прежде всего в силу окружавшей его обстановки; и как это ни странно, но он был лишен ухода и некоторых необходимых для лечения условий. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружал ее трогательной заботливостью, и последние слова в его завещании сестре[23] были: «Береги маму». И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же нежностью. Но что могла сделать эта милая, всеми любимая старушка? Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять? И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему совершенно неподходящую, и компресс ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его, Мария Павловна, когда выяснилось положение, была готова бросить службу и Москву и совсем переехать в Ялту, но после его женитьбы по психологически понятным причинам это отпало. Антон Павлович повенчался с Ольгой Леонардовной Книппер в мае 1901 года, как известно, никого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко изменились.

Как врач, лечивший Чехова, и исключительно с врачебной точки зрения, я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья. Одному известному французскому специалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: «Чахоточные должны забыть о лаврах», и судьба Чехова как будто этот афоризм подтверждает. Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: Художественный театр и женитьба. Я помню, как волновался Чехов перед поста-

новкой его «Чайки» в Художественном театре, как этого волнения он не мог скрыть и как оно выражалось в подробных рассказах о провале этой пьесы в Александринском театре, и помню, в каком длительном радостном возбуждении он находился после торжества и одержанной в Москве победы. И он, давший себе раньше слово порвать с театром и не писать больше пьес, пишет пьесы специально для этого театра, и Художественный театр делается театром Чехова и очень сильно содействует увеличению популярности Чехова в последние годы его жизни. И затем женитьба. От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроении, приходилось иногда слышать, как, случалось, он с приятелями в молодости веселился. Но я никогда не слышал ни от него самого, ни от других ни про одно его серьезное увлечение. Ольгой Леонардовной он увлекся еще до постановки его пьес, увидев ее в первый раз на репетиции «Царя Федора» [24]. Когда я за границей из «Русских ведомостей» узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу: она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной Москвы, с громадными возможностями и надеждами в будущем, он — осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной. И когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве, — он без риска и вредных последствий для здоровья не мог покидать своей «теплой Сибири». И зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится. Начинаются постоянные переезды из Ялты в Москву и обратно. Возвращаясь почти после каждой поездки в Москву, он расплачивается за нее либо плевритом, либо кровохарканьем, либо длительной лихорадкой. И сознательно обманывает себя, принимая следствие за причину, указывает, что вот в Москве было недурно, а как в Ялту вернулся, так опять расхворался. Зимы 1901—[190]2, 1902—1903 годов он проводит в Ялте и почти все время очень плохо себя чувствует, преодолевая те или другие обострения.

К концу этого периода он очень изменился и внешне. Цвет лица приобрел сероватый оттенок, губы стали бескровны, он еще больше похудел и заметно поседел. Деятельность сердца все ухудшалась, процесс в легких все

расползался. В соответствии с этим стала все резче проявляться одышка, появились симптомы и туберкулезного поражения кишок.

У меня сохранилось письмо Ольги Леонардовны от 9 января 1902 года, то есть через полгода после свадьбы. Она просит написать подробнее о здоровье Антона Павловича и, между прочим, пишет: «Мне очень тяжела эта зима. Только, что занята сильно, это помогает. Такая разлука немыслима. Я все-таки думала, что здоровье Антона Павловича в лучшем состоянии, чем оно есть, и думала, что ему возможно будет провести хотя бы три зимние месяца в Москве. Но теперь я об этом, конечно, не заикаюсь... Уж очень грустно и тяжко».

Выхода не было, и когда Ольга Леонардовна говорила о том, что бросит сцену и переедет в Ялту, то Антон Павлович, конечно, протестовал и не допускал и речи об этом [25]. И был при данных условиях прав. Весною 1903 года, с благословения известного московского клинициста проф. Остроумова, принимается решение зиму проводить в Москве. Но осенью 1903 года он не перестает лихорадить, один плеврит следует за другим, трудно поддающиеся лечению расстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствия. А Художественный театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, торопит скорейшей присылкой «Вишневого сада». Все чаще я заставал Чехова в кресле или на диване, уже без книжек и газет в руках, и он впервые не избегал говорить о своей работе, а жаловался, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу, — он мог делать это только урывками.

В октябре я в последний раз попытался задержать его, сказал ему почти всю правду, умолял не губить себя, не ездить в Москву, что это безумие. Он об этом написал в Москву, но к декабрю все-таки уехал [26]. Дальнейшее известно. Повторяю — то, что случилось при сложившихся обстоятельствах, было неизбежно. Но когда мы в одном из его писем к жене читаем: «Решай ты, ибо ты человек занятой, рабочий, а я болтаюсь на этом свете как фитюлька» [27], — то мы, читатели Чехова, с этим согласиться не можем, и когда он в другом письме, указывая на то, что во вновь снятой в Москве квартире на третьем этаже лестница высокая и лифта нету и что ему трудно будет с его одышкой подниматься, кончает словами: «ну да ничего, как-нибудь взберусь» [28], — то я, врач, не могу не думать о том, какое роковое влияние эта лестница должна была оказать на его и так уже крайне ослабевшее сердце.

В Москве он принимает горячее участие в репетициях «Вишневого сада», очень волнуется; при этом разгар сезона, по обыкновению масса гостей.

Сознавал ли сам Антон Павлович в глубине души свое положение? Ольга Леонардовна в предисловии к изданным его письмам пишет: «Точно судьба решила его побаловать и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку «Вишневого сада», и людей, которых он любил» [29]. Все это и сам Чехов неоднократно говорил: как он любит Москву и все московское, как скучает по северной зиме, как близок стал ему Художественный театр и как тянет его к московским людям и обстановке.

И однако, по-видимому, и в Москве бывали у него знакомые мне по Ялте настроения. Так, старый друг чеховской семьи, прекрасно всех их знавшая Т. Л. Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях описывает свое посещение, относящееся к осени 1902 года: «Я изумилась происшедшей в нем переменой... Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для оплевывания мокроты... В этот вечер Ольга Леонардовна участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Вл. Ив. Немирович, во фраке с безупречным пластроном. Ольга Леонардовна вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами. Ласково и нежно простилась с Антоном Павловичем, сказала ему какую-то шутливую фразу, чтобы он «не скучал и был умником», и исчезла. Антон Павлович поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял, и когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний прошлого, общих знакомых и проч.

— Да, кума, помирать пора...»

17 января премьера «Вишневого сада» и чествование Чехова Москвой, а он с трудом стоит на сцене, мертвенно-бледный и кашляет. В середине февраля он вернулся в Ялту в значительно худшем состоянии, но полный еще московских впечатлений. Оживленно рассказывал про чествование, показывал поднесенные ему подарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть, нарочно, чтобы ему досадить, распустил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпеть не может. Среди подношений действительно были модель древнего русского городка, старинный ларчик и, между прочим, чернильница XVIII века. На мое замечание, что все это очень красиво и что мне особенно нравится чернильница, он ответил: «Да что вы,

ведь теперь песочком не посыпают, есть пропускная бумага, и гусиных перьев же нет». Потом со своей милой улыбкой прибавил: «Ну вот, если вам очень нравится, я распоряжусь, чтобы в наказание вам эту чернильницу после моей смерти и вручили». Как он ни был плох, я тогда все-таки не мог думать, что чернильница уже меньше чем через полгода действительно перейдет ко мне. Он пробыл в Ялте до конца апреля, временами оживлялся, строил планы на будущее, мечтал засесть за работу, говоря, что в голове много уже созрело. Собирался, если поправится, с наступлением тепла поехать на войну, из-за которой очень волновался, врачом, так как врач может больше видеть [30]. Но чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочется по-настоящему отдохнуть, набраться сил. Он чувствовал необходимость в покое, но в самом конце апреля он уехал в Москву. В дороге простудился, получил резкое обострение, плеврит с необыкновенно для него высокой температурой и немедленно по приезде слег, и встал только, чтобы поехать в Баденвейлер.

Последнее письмо я получил от него 26 мая следующего содержания: «Дорогой Исаак Наумович! Я как приехал в Москву, так с той поры все лежу в постели, и днем, и ночью, ни разу еще не одевался. Поручение, которое Вы дали мне насчет Хмелева *, я, конечно, не исполнил.

Да и если бы я был здоров, то и тогда едва ли сделал бы что-нибудь. Хмелев теперь очень занят, видеть его трудно. Поносов у меня уже нет, теперь стражду запорами. Третьего дня я заболел какой-то инфекцией. После обеда поднимается температура, и потом не сплю всю ночь. Кашель слабее. 3-го июня уезжаем за границу, в Шварцвальд, в августе буду в Ялте. Ах, как одолели меня клизмы… Кофе уже дают, и я пью его с удовольствием, а яйца и мягкий хлеб воспрещены. Крепко жму руку. А теперь я лежу на диване и по целым дням от нечего делать все браню Остроумова и N [31]. Большое удовольствие. Ваш А. Чехов».

А потом приписка:

«Сегодня первая ночь, которую я проспал хорошо».

Ольга Леонардовна мне потом с возмущением рассказы-

---

* Н. Н. Хмелев исполнял тогда обязанности председателя Московской губернской управы. Дело касалось участия Московского земства в устройстве санатория для больных из действующей армии. (*Примеч. И. Н. Альтшуллера.*)

вала, как в Берлине в «Савой-отель» к нему приехал приглашенный известный клиницист проф. Эвальд. Внимательно осмотрев больного, он развел руками и, ничего не сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками, наверное, от недоумения, зачем и куда такого больного везут.

И все-таки, как ни был я уверен в близости роковой развязки, меня как молния поразила полученная мною рано утром 3 июля на Рижском взморье телеграмма о его смерти.

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

I

Кому повем печаль мою? [1]

Антон Павлович Чехов приехал в Москву — совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать: вернулся в Москву — в ту Москву, из которой уехал помимо воли, из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованною землей, в которой сосредоточивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова. Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, — более трогательно, чем смешно.

Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву; я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы.

— Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, — самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты.

Я напоминаю ему, что такое московские хляби, и убеждаю, что и самое слово «хляби» выдумано в Москве и специально для Москвы.

Он сердится и начинает ругать Ялту и говорит, что ялтинские хляби хуже московских. И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву.

Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые,

кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные Бабьи Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки, — и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и Самотека, и Плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые дни — что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями.

Запас сведений о Москве у нас обоих обширен, — мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит:

— А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки «с лучком, перцем, с собачьим сердцем», которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется, специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и миловидные Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительно несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку в доказательство, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская московская непогодь может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы, — нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там пескарей и окуней, как великолепно отхаркивал мокроту, какой развился у него аппетит и как прибыл он там в весе что-то около восьми фунтов за лето.

И все было мило для него в Москве — и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепах, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца — и снова разговоры всё

о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: «В Москву, в Москву», — это все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

II

Случалось, мы сговаривались по телефону, и я приезжал к нему по делу — поговорить об «Яузляре», санатории ялтинского благотворительного общества, которым он очень интересовался, об устройстве какого-нибудь народного учителя или земской фельдшерицы, которые приехали лечиться в Ялту без денег; [2] но деловыми вопросами разговор никогда не кончался. Он ждал меня в своем кабинете с рассыпанными по полу газетами, — перечитывал он их великое множество, — с камином, набитым конвертами и письмами, которых он получал тоже великое множество, и тотчас после деловых разговоров начинал сообщать мне литературные новости, и говорили мы о новых талантливых писателях, появление которых он встречал с таким радостным чувством, о литературных веяниях, о всем том новом, хорошем и дурном, что входило в литературу и искусство. И лицо его оживлялось, и искорки юмора вспыхивали в глазах. Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и больных вопросах, которые давно стоят перед русскою жизнью в их строгой повелительности, но разговор о них недолго продолжался. Лицо его делалось усталым и скучным, говорил он слова скучные и утомительные, приводил какой-нибудь случай из деревенской или обывательской жизни, характеризующий жестокость и некультурность этой жизни, иногда приводил свои заграничные впечатления и охотно переходил на другие темы, и было видно, что ему скучно говорить и хочется уйти от надоедливой темы и что он не любит острого, требовательного, повелительного. И когда у меня вырывалось резкое, жесткое замечание о каком-нибудь его знакомом литераторе, ему было неприятно, и он начинал оправдывать его и приводить смягчающие вину обстоятельства.

Он стоит предо мною в темном костюме, чуточку сгорбившись, с тихою речью и мягкими манерами, немножко застенчивый. И в небольшом кабинете его есть маленький фонарик, совсем маленький, где может поместиться

только коротенький диванчик, и когда Чехов говорит, он любит уходить в фонарик и сидеть на маленьком диванчике. А в большом окне кабинета — разноцветные стекла, чтобы мягче был свет, и против фонарика, над камином, Левитан нарисовал маленькую картину — русская смутная, тихая даль со смутно освещенными стогами сена...[3] И встречал я у него людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и не влекло его к людям строгим, которые остро ставят вопросы жизни и без колебаний отвечают на них...[4]

Я вспоминаю полученное письмо и передаю ему «поклоны» — настоящие московские поклоны — от знакомых писателей, которые любили его, и Антон Павлович улыбается ласковою улыбкой, от которой молодело и светлело хмурое лицо. И снова говорим мы о литературе и об искусстве, снова оживлялся он и смеялся своим коротким смешком, и румянец выступал на бледных щеках. И забывал он тогда Москву, и свою повышенную температуру, и свое унылое ялтинское одиночество.

Одиночество. Он был окружен нежной заботливостью родных и близких, широким и почтительным вниманием ялтинских людей, и тем не менее он был одинок — ему недоставало привычной, желанной литературной обстановки, широкой и желанной московской жизни.

В личных отношениях Чехов был мягкий, добрый, терпимый, быть может, слишком терпимый человек, но в литературных суждениях был строг, и его отзывы о художественной стороне произведений не знали терпимости. Он ненавидел все сытое, самодовольное, не знающее сомнений, не выносил ничего напыщенного, риторического, претенциозного и фокусного и был поразительно чуток ко всякой фальши, ко всему лживому, выдуманному, изломанному. Здесь у него были определенные симпатии и антипатии, и были пункты, в которых он был удивительно упорен. Я помню, как несколько раз он старался убедить меня, что Гончаров — устарелый и скучный писатель[5], и никак не мог понять, почему я, перечитавши Гончарова незадолго до нашего разговора, продолжаю находить его интересным и талантливым. И в этих разговорах чувствовалось, как он любил литературу и что он был воистину писатель в лучшем, высоком русском смысле — в смысле правды, простоты и искренности, которые всегда составляли главную особенность русской литературы.

В доме тихо, и чувствуется одиночество в кабинете с газетами и письмами, и, должно быть, становится совсем тихо и пусто, когда уходит из кабинета гость и остается там одинокий человек с думами о литературе, с мечтами о Москве. И когда я уходил от него, у меня всегда была одна и та же мысль: почему этот, так ищущий людей, человек одинок и почему он, жадный к жизни, с тонким проникновением красоты, — хмурый человек?

III

...Чехова много раз сравнивали с Мопассаном, и я помню, как проницательные люди, всегда исследующие, кто кому подражает, обвиняли Чехова в подражании Мопассану. С тех пор прошло много времени, и Мопассан остался Мопассаном, а Чехов сделался Чеховым. В них, несомненно, есть общее, и не только в манере и красках, но и в темах, которые они выбирали; но вот какая существенная разница между русским и французским Мопассаном.

Мой хороший знакомый, знаменитый русский ученый, рассказывал мне про свою встречу с Мопассаном у Тургенева. Это было вскоре после смерти дяди Мопассана, Флобера; Мопассан пришел к Тургеневу, которого он, после смерти дяди, называл своим cher maî tre'ом *, посоветоваться о газете, которую он вместе с компанией литературной молодежи, — кажется, туда входил и Бурже, — хотел основать в Париже. Тургенев спросил его, какими же принципами будет руководиться газета, и Мопассан ответил: «Pas de principes!» ** И ответил спокойно и решительно, как программу, как знамя своей газеты.

Чехов редко и неохотно говорил о своих литературных неудачах, но я не слыхал большей горечи в его голосе и не чувствовалось большей обиды, как в тот раз, когда он рассказывал мне, как в одном толстом журнале о нем было напечатано: «В русской литературе одним беспринципным писателем стало больше...» ***

И не предлагали Мопассану вопросов: кто ты? И не ломали копий по поводу мопассановских «мужиков» литературные и политические партии, и французские люди

---

* дорогим учителем (*фр.*).
** Никаких принципов! (*фр.*).
*** Я не читал этой статьи[6] и цитирую со слов Чехова. (*Примеч. С. Я. Елпатьевского.*)

сравнительно редко ищут решения вопросов жизни на страницах произведений французских беллетристов.

— Напишите рассказ в «Журнал для всех»... Непременно напишите... Ведь там какая публика! — не знаю уж в который раз убеждал меня Антон Павлович...

IV

Мне хочется сказать несколько слов не о Чехове-писателе, а о человеке — Антоне Павловиче. Публика знает веселого рассказчика, каким был Чехов в молодости, и хмурого человека, бытописателя русской скуки, пошлости — позднейших лет. Мне хотелось бы осветить уголок души его, самый теплый и трогательный.

Как-то раз, давно, у нас зашел разговор о прекрасных и удивительных русских словах — народных словах. Что значит «тоска», как звучит у бабы, только что всунувшей себе нож в грудь, слово «скушно было», какое многосмысленное и полноценное слово «хорошо», и проч. и проч.

Я говорил, что для меня самое удивительное русское слово «жалеть», приводил в пример, что баба никогда не скажет, что муж любит ее, а ответит: «жалеет...» и иногда прибавит: «больно» жалеет...

И это «больно» вместо «очень» и «жалеть» вместо «любить» не только характерно для понимания своеобразного содержания русской любви, но даже до известной степени определяет русскую литературу. Помню, Антон Павлович необыкновенно воодушевился и рассказал мне случай из деревни, где он жил в Московской губернии, — кажется, в той самой, где жили описанные им «мужики». Назначен был в приход новый дьякон, которого никто не знал. А от старого дьякона осталась сука, которая ощенилась многочисленными щенятами. И то обстоятельство, что новый дьякон не утопил, по деревенскому обычаю, лишних щенят, а стал кормить, сразу определило положение его в селе. «Пожалел щенят-то!..» — улыбаясь, говорили мужики и решили, что дьякон — человек хороший. И было так много ласки в его обычной насмешливой улыбке, когда Чехов рассказывал историю про дьякона.

Все близко соприкасавшиеся с Чеховым знают, как много доброты и жалости лежало в нем и сколько добра — стыдливого, хоронящегося добра делал он в жизни. Я помню, какое горячее участие принял он в беде, приключившейся с сыном моего знакомого, и как упрашивал он

моего знакомого воспользоваться теми обширными связями, которые имел в разнообразных петербургских кругах Антон Павлович. И, кажется, не было для него большего удовольствия, как устроить кого-нибудь, поддержать молодого писателя, дать возможность прожить в Ялте бедному учителю, найти место, занятия...

Хочется мне вспомнить здесь кое-что из рассказов Чехова, — не те веселые и хмурые, которые всем известны, а те, в которые вложены его любовь и жалость к людям и о которых почему-то меньше говорят. Вспоминается Ванька, заброшенный в Москву девятилетний Ванька, голодный, иззябший, вечно избитый, опускающий в почтовый ящик письмо с адресом: «На деревню, дедушке Константину Макарычу»: «Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...» И как бесконечный плач, льются горькие, жалобные детские мольбы (рассказ «Ванька»).

Вспоминается «цоцкай», который всю жизнь ходил с бумагами по мужикам и господам, в грязь и метель, тоже голодный и иззябший, от лица которого Чехов говорит: «Мы идем, мы идем, мы идем... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей. Мы идем, мы идем...» («По делам службы».)

Вспоминается «Тоска» — старик извозчик, который ищет человека, которому бы рассказать про смерть сына, про свое горе неизбывное; все хочет рассказать своим случайным седокам, своему товарищу, парню-извозчику, и никто не хочет выслушать его, и идет он в конюшню к своей лошади и ей говорит: «Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча. Приказал долго жить... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку — родная мать... И вдруг, скажем, этот жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?»

Я несколько раз прочитывал рассказ «Тоска», и теперь, когда Чехов совсем ушел из жизни, я вспоминаю судьбу его, вспоминаю всего Чехова и не могу без волнения читать взятый им к этому рассказу эпиграф: «Кому повем печаль мою?..»

И — так случилось! — именно в последнее, предсмертное время настроение Чехова резко изменилось, — шире, светлее, выше тоном стало на душе его. Жизнь приласкала его, поманила к себе, — и не только славой и дарами ее, не

только личным счастьем, но и широкими далями, новыми для Чехова светлыми перспективами. Изменилось его отношение к людям и фактам, иначе, в других красках встал пред ним мир...

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти одновременно. Он дразнил меня, называл мой дом, высоко на горе, над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы — «Вологодской губернией», а я называл его место — «дыра». Мне не нравилось выбранное место в дальней части неопрятно содержавшейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик и пустынное место стало обжитым, забегали по садику две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать — немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике.

Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной публики, собирал пожертвования *, часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными — мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносимы для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная

---

* Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелал непременно получить от него совет и заплатил 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивал меня: «Ну, вы, ялтинские врачи, получаете пятьдесят рублей за визит?» (*Примеч. С. Я. Елпатьевского.*)

отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз, по поводу беспорядков в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты, несомненно, будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист, ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения не бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительное, непреклонно требовательное — ему не сроден был бунт.

И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и, во всяком случае, скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный,

другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 года, он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно скорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлагательное дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении... [7] И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!..

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

— Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял:

— Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о «Новом времени», с которым был связан и о котором раньше нередко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил и, когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в «Новом времени» по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования «злодеев» [8], была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловайским, но относительно «Нового времени» он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время дрейфусовского дела переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись «не» в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились вопросительные и восклицательные знаки — появлялась в газете совсем другая телеграмма, с противоположным смыслом [9].

Здоровье Чехова становилось — в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву — все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту просыпающуюся в Чехове веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то стыдливо. Только раз — помню, шли мы куда-то, — глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

— Прочитал ваш рассказ («О, мама!»). У вас там как на виолончели играют.

Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста» [10], где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

В. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

<...> С пятнадцати лет я мечтал познакомиться с А. П., но увидеть его и говорить с ним мне пришлось только в сентябре 1899 года.

Чехов уже переехал в Ялту и жил на своей еще недостроенной даче. Я только что поступил на службу в один из крымских городов и бывал в Ялте довольно часто.

Все слышанное от Чехова я записывал в тот же день в дневник и так делал после каждой встречи.

В 1899 году вышла первая книжка моих рассказов. Местная газета их беспощадно высмеяла. Я решил спросить мнения Чехова, написал ему письмо и послал мою книжку, а через несколько дней отправился к нему сам.

Я ждал сухого приема и наставительного тона большого писателя и поэтому волновался. Но услышал я от человека, который видел меня в первый раз, совсем другое [1].

— Послушайте, ну как же можно было так убиваться из-за того, что в газете кто-то там написал эту статейку? Мало ли какой чепухи о нас не пишут...

Слова «о нас» прозвучали в моих ушах особенно сладко, и я понял, что со стороны Чехова они прежде всего акт его доброты.

— Нет, это пустяки, — продолжал А. П., — и обращать на них внимания не стоит. Худо, если о книге совсем не пишут. А вы разве не на железной дороге служите? — вдруг спросил он.

Вопрос этот был задан потому, что большинство моих рассказов касалось жизни железнодорожных машинистов.

— Теперь нет, — ответил я и объяснил, где служу.

— Гм... Ваши рассказы, как рассказы... Послушайте, вы сделали громадную ошибку, что издались в провинции. Этак нельзя. Останетесь незамеченным. Издавать нужно непременно в столице. И для рецензий нельзя посылать так, зря. Ведь вы знаете, как в редакциях? Придет какая-

нибудь барышня, заведующая объявлениями, увидит, что получена новая книжка, и возьмет ее почитать... Вот вам и рецензия! Вы пошлите в «Жизнь», к Поссе. А зимой обождите посылать до тех пор, пока я не буду в Москве... Вы уроженец какой губернии?

— Я родился в Полтаве.

— Это слышно. Я тоже южанин. Только я вырос возле моря, хоть и возле паршивенького, но моря...

Боясь помешать Чехову, я спросил:

— Может быть, вы, Антон Павлович, собираетесь в город?

— Да, да. Сейчас пойду. У нас сегодня обед, на котором будет Максимов. Выйдем вместе...

Чехов стал собираться, а я ходил по комнате и глядел на него. Уже и тогда приходилось читать в газетах, что он болен, но заметно этого не было. Его слегка загорелое лицо не казалось изможденным, а движения были сильны и уверенны. Внимательные глаза не смотрели грустно. Слушая его голос, можно было заключить, что он обладает великолепным певучим басом. За все это время Чехов кашлянул всего один раз, — как будто у него запершило в горле. Сравнительно со всей его стройной фигурой, только ноги были несколько худы в коленях.

Антон Павлович надел летнее пальто, мягкую шляпу, взял в руки зонтик, и показался мне таким изящным. Мы вышли и стали спускаться вдоль грязных татарских домиков. По небу ходили тучи, а далекое море казалось серым. Темными пятнами выступили на нем броненосцы пришедшей в этот день в Ялту эскадры. Хорошо дышалось влажным, чуть пропитанным хвоей кипарисов, воздухом. Внизу раскинулся город.

Я сказал, что вся Ялта мне представляется великолепным, но сильно подгнившим цветком магнолии и что, вероятно, люди здесь живут только богатые и счастливые, но бессердечные и развратные. Чехов поднял голову и, посмотрев на меня, вдруг быстро и отрывисто заговорил:

— Что вы, что вы?.. Как можно... Здесь очень много несчастных, много больных... Большинству здесь живется очень тяжело.

— Но вы все-таки один из счастливейших.

— Почему вы так думаете?

— У вас есть средства, есть имя...

— Какие же у меня средства? Кроме бездоходной дачи, — ничего. И где же мое счастье? Я не могу даже жить

там, где хочу, и только благодаря своему здоровью должен сидеть в Ялте. Вы Ялты не знаете...

— Да, не знаю, — согласился я.

— Вот то-то же и есть.

Я замолчал и подумал, что Чехов все понимает, а я от радости, что вижу его, говорю, не взвесив предварительно своих слов.

Во второй раз я был у Чехова в ноябре. А. П. был очень озабочен устройством в Ялте санатории для легочных больных и готовил целый ряд писем к разным людям по этому поводу [2].

Запечатав один из конвертов, Чехов спросил о том, что я теперь пишу, и, внимательно выслушав, заговорил.

— Так. Только вот что... Избегайте вы всяких терминов, особенно скоропроходящих. Некоторые слова через пять-шесть лет совсем уничтожаются и потом звучат в рассказе или в пьесе ужасно дико. Вы знаете, не так давно, в Воронеже, я смотрел свой водевиль «Медведь» и от слова «турнюр» пришел в ужас. Теперь это слово уже не существует, и в новом издании я его вычеркнул [3].

Мы помолчали. Затем я рассказал Антону Павловичу о сильном впечатлении, которое произвела на меня только что вышедшая тогда книга Мельшина «В мире отверженных» [4]. Мне казалось, что все произведение выиграло бы от большего беспристрастия автора в изображении всякого рода тюремщиков, потому что поступки говорят сами за себя сильнее, чем комментарии к ним.

— Что же делать? Ведь нельзя, в самом деле, требовать от человека, который пробыл столько лет в каторге, хладнокровной оценки своих мучителей...

— Да, это трудно...

В тот же день вечером я зашел к Чехову попрощаться. Антон Павлович ходил по кабинету взад и вперед и, увидев меня, сказал взволнованным голосом:

— Знаете, скверная новость...

— А что такое?

— Последние известия, что Толстому хуже. Умрет, должно быть. Ведь этакий он колосс в искусстве! Знаете, есть люди, которые боятся делать гадости только потому, что жив еще Толстой. Да, да, да... [5]

Потом Чехов снова стал жаловаться на гнетущую тоску, которую на него нагоняет Ялта. Помолчав, он спросил:

— Вам нравятся рассказы Горького?

— Да. Особенно «Старуха Изергиль».

— Он не только писатель, а еще и поэт. Большой поэт...

и какой хороший человек, а между тем многие этого не понимают... — добавил Антон Павлович и прошелся взад и вперед.

Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая-то рукопись.

— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть? — спросил я.

— Можно.

Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза: «Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке...» [6]

Чехов сказал, что готовит этот рассказ для журнала «Жизнь», а потом улыбнулся и добавил:

— А рассказ-то совсем не в духе марксистов. Пожалуй, и не напечатают.

— Ну, ваше-то все напечатают...

Не помню по какому поводу, мы заговорили о процессе Дрейфуса. Чехов надолго задумался и наконец проговорил глухим баском:

— Знаете, вот у Гоголя кто-то выражается: «Это все француз гадит». Так вот и евреи гадят в деле Дрейфуса. Евреи здесь ни при чем. Если бы дело это было не правое, то такой человек, как Зола, не вступился бы. Я как раз в это время был во Франции, — там вся интеллигенция была на его стороне [7].

Мне хотелось бы еще и еще сидеть у Чехова и слушать его полные беспристрастия и правды слова. Но я знал, что ему вредно много говорить и что он ложится рано спать, а потому пожелал всего хорошего.

Чехов всегда настаивал на необходимости для молодого писателя работать как можно больше и однажды сказал мне:

— Печатать можно и немного, но писать следует как можно больше. К тридцати годам обязательно нужно определиться: все определялись к этому времени. Исключение составляет Сервантес... Да и невозможно было ему раньше писать, а потом тоже очень трудно, — в тюрьме бумаги не давали [8]. Знаете, как нужно писать, чтобы вышла хорошая повесть? В ней не должно быть ничего лишнего. Вот как на военном корабле на палубе: там нет ничего лишнего, — так следует делать и в рассказе...

В апреле 1900 года в наш город приехал Московский Художественный театр. Для глубокой провинции это было огромным событием. Я отправился к зданию театра с целью во что бы то ни стало достать для себя и для жены билеты хоть на «Чайку», которая была анонсирована на 13-е число. С трудом, но места были куплены, и я довольный вышел из кассы. Смотрю, на лавочке, у самого входа в театр, сидит Антон Павлович. Мы поздоровались. Чехов спросил, отчего я так плохо выгляжу. Я ответил, что устал и что у меня было сильное разлитие желчи.

— Вы на «Дяде Ване» были? — спросил он.

— Нет. Нельзя было достать билета, но на «Чайку» идем.

— Что «Чайка»! Нужно непременно, чтобы вы пошли на «Одиноких» Гауптмана, — вот это пьеса! Как бы это сделать?.. Вы Немировича не видали?

— Нет.

— Ну, пойдем, поищем его.

— Вон, в цилиндре ходит. Это он? — спросил я.

— Он самый.

Чехов нас познакомил и сейчас же обратился к Немировичу:

— Вот что: есть у тебя два билета на «Одиноких»?

— Для тебя лично? — недоверчиво спросил Немирович.

— Для меня лично.

— Посмотрю.

Немирович ушел и скоро вернулся с билетами.

— Ну, вот вам — непременно пойдите! — сказал Антон Павлович, передавая мне билеты.

Я не знал, как и благодарить его. Денег у меня уже не было, и купить их сам я не мог бы. Мы прошлись по аллее, возле гостиницы Киста. Я спросил Чехова, что он думает об одном из моих рассказов. Он похвалил.

— Чудесный рассказ, отличный рассказ...

Каждый пишущий знает, как болезненно относится автор к мнению дорогих людей. В голосе Антона Павловича мне послышалось желание не по заслугам приласкать меня своим отзывом. Я помолчал и сказал:

— Знаете, в вашем «Острове Сахалине» описан один ссыльнокаторжный, бывший персидский принц, который клеит «неуклюжие» конверты. Дальше вы пишете, что поглядели на его работу и сказали: «Очень хорошо», чем доставили ему большое удовольствие. Вот так и со мной...[9]

Чехов нахмурился.

— Видите ли, то был ссыльнокаторжный и нуждался в ласковом слове, а вы ведь свободный человек...

Антон Павлович сейчас же улыбнулся. Улыбнулся и я от сознания, сколько чуткости и доброты живет в этом человеке.

Вечером мы с женой были на «Одиноких». Впечатление получилось огромное, потрясающее. В антрактах я был или возле Чехова за кулисами, или прислушивался в вестибюле к тому, что говорила публика. Два господина хвалили постановку и негодовали по поводу репертуара: «Дядя Ваня», «Одинокие», «Эдда Габлер» и «Чайка»...

Один из них, с красной, самодовольной физиономией, размахивал руками и вопил:

— Помилуйте, помилуйте, что это я вас спрашиваю? Чем это они нас угощают? Черта ли мне в этой самой декадентщине?

— Я тоже ничего не понимаю. Какая-то чепуха, — ленивым, низким тенором ответил другой.

Я не выдержал и вступил с ними в легкий спор, говоря, что во всех этих пьесах отразились более тонкие чувства новых людей. Увидев потом Чехова, я попросил его объяснить, почему сравнительно образованные господа не реагируют на содержание таких действительно художественных произведений.

— Потому что они еще живут в сороковых годах прошлого столетия... — ответил Антон Павлович и потом с укором добавил: — А вы зачем с ними об этих вещах разговариваете?..

«Чайка» прошла с ошеломляющим успехом. Чехов сидел в последнем ряду партера, ноздри его чуть расширялись, и видно было, что он сильно волнуется.

Автора вызывали бесконечное число раз. Наконец он появился на сцене, беспомощный, удивительно скромный, и кланялся немножко боком.

И публика, умевшая до сих пор волноваться лишь за картами, застонала от восторга. Это был необыкновенный день для умственной жизни тогдашнего Севастополя.

В июне я провел в Ялте несколько чудных дней. Трудно их забыть. Как-то вечером я сидел в столовой Чеховых. Чувствовалось искренно, просто и хорошо. Заговорили об «Эдде Габлер». Я сказал, что понимаю всякую месть со стороны женщины, оскорбленной в своих чувствах, — можно убить, можно облить серной кислотой, но сжечь неизданную рукопись, над которой столько работал любимый

человек, — как сделала героиня пьесы, — это уж не совсем естественная подлость.

— А иметь рукопись большого, серьезного сочинения только в одном экземпляре разве естественно? — спросил Антон Павлович.

— Да, конечно. Очевидно, Ибсен не принял во внимание, что такие рукописи редко бывают в одном экземпляре...

Затем разговор стал общим. Говорили об отдельных актерах Художественного театра и об их талантах. После чая Чехов ушел вместе со мною в кабинет. В этот день он много говорил и казался бодрым. Я ловил, а потом, вечером, записал каждое его слово.

— Теперь к писателю предъявляются огромные требования, и выбраться из рядовых очень трудно. Мопассан взял мировую славу и известность в области короткого рассказа. Публике все остальное кажется уже повторением и слабым повторением...

Вспомнили о Гаршине.

— Гаршин... Что же Гаршин? — сказал Антон Павлович. — Большим талантом его назвать нельзя. «Четыре дня» и «Записки рядового Иванова» — это вещи хорошие, а все остальное наивно.

— А «Художники»? — спросил я.

— По-моему, очень наивная вещь... Гаршин был чудесный человек и писал в очень выгодное для беллетриста время, — после войны. Книги всегда имеют огромный сбыт и читаются особенно охотно после окончания больших народных бедствий.

Не помню, по какому поводу, разговор перешел на тему о браке.

— Счастливы или несчастливы данные муж и жена — этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают трое: бог, он и она... — произнес, прищурившись, Чехов.

Позднее мы вдвоем отправились в город. По дороге я сознался, как гнетет меня невозможность издаться так и там, где хотелось бы.

— Обождите, обождите! Нужно прежде всего, чтобы вас узнали все свои, — пишущие. Года три обождите...

В следующий раз я совершенно случайно встретился с Чеховым на пароходе, шедшем в Ялту. <...>

После обеда мы подошли к борту. Чехов стал расспрашивать меня, как я распределяю свой день и пью ли водку.

— Берегите, берегите здоровье и не пейте каждый день водки. Ничто не тормозит так работы писателя, как водка, а вы только начинаете...

— Да я и не пью водки. Меня заедает другое — это вечный самоанализ. Благодаря ему бывали отравлены лучшие моменты...

— Отучайтесь от этого, отучайтесь. Это ужасная вещь.

На берегу мы простились.

Дня через два я поехал к Чехову. Он сидел в нише, на своем любимом диване, и показался мне совсем другим человеком, чем на пароходе: желтый, серьезный, как будто сильно тоскующий. Он рассказал мне подробности о смерти скончавшегося 14 августа 1901 года в Ялте писателя Г. А. Мачтета, а потом стал меня расспрашивать о дуэли между лейтенантом Р. и мичманом И., которого знал еще мальчиком. Эта тяжелая драма не только интересовала его, но и мучила [10].

Видя, что Антон Павлович нервничает, и боясь утомить его, я посидел у него всего минут двадцать.

3-го сентября, по просьбе Чехова, я был у него очень *рано*, — в 7 часов утра. Я прошел прямо в столовую и увидел здесь Антона Павловича и Евгению Яковлевну, его мать. И по тону голоса и по движениям Чехова было видно, что он чувствует себя лучше. Он много шутил и рассказывал о ялтинских нравах. Перешли к литературным темам. Чехов заговорил о Тургеневе и Достоевском. Было слышно, что сочинения Достоевского производят на него тяжелое впечатление. Имя же Тургенева и заглавия его произведений он произносил другим голосом и с задумчивым выражением на лице.

— Однажды Достоевский сделал гадость, почти преступление, и сейчас же пошел к Тургеневу и подробно рассказал ему об этой гадости, с единственной целью причинить боль [11]. Ну зачем такие выходки? — с грустью проговорил Антон Павлович.

— Мне кажется, Достоевский был нервнобольной человек, а иногда просто психически ненормальный. Ведь сколько он *пережил*... — сказал я.

— Да, его жизнь была ужасна... Талант он несомненно очень большой, но иногда у него недоставало чутья. Ах, как он испортил «Карамазовых» этими речами прокурора и *защитника*, — это совсем, совсем лишнее. <...>

Насколько я успел заметить, у Чехова не было «богов» в литературном мире. Анализируя всякую человеческую личность, он всегда делал спокойный, замечательно прав-

дивый вывод. Вот это, дескать, его хорошие черты, а вот это — дурные. <...>

Я уверен, что если бы, например, и Л. Н. Толстой сделал худой поступок, то Чехов бы сказал: «Да, это дурно». И если бы последний негодяй сделал хорошее, то Чехов сказал бы: «Да, он поступил хорошо». <...>

15-го сентября 1901 года я снова видел Чехова в Севастополе. Он ехал в Москву и остановился у своего знакомого, г. Ш[апошникова]. Как и всегда, перед поездкой в Москву он был очень весел. Говорили о новой газете. Антон Павлович, между прочим, сказал:

— Издавать хорошую газету в провинции может только тот, у кого есть столько денег, сколько требуется, чтобы поставить перед своим домом электрический дуговой фонарь... Иначе говоря, есть деньги, можно издавать газету, а нет — и говорить не *о чем*, — это будет уже не газета, а вырезки...

Когда заговорили о таланте Мопассана, Чехов сказал:

— Таланту подражать нельзя, потому что каждый настоящий талант есть нечто совершенно своеобразное. Золота искусственным путем не сделаешь. Поэтому никто и никогда не мог подражать Мопассану. Как бы об этом ни говорили, будет то, да не то...

— Как же все-таки формулировать талант? — спросил я.

— А никак. Талант есть талант и больше ничего. <...>

Мы снова вышли на платформу.

— Как я завидую тому, что вы едете в Москву! — вырвалось у меня.

— Да, вам непременно нужно побывать в Москве, и не только побывать, а *пожить*, — сказал Чехов.

— Мария Павловна когда уезжала, то шутила, что Москва, вероятно, представляется мне так же, как и Ферапонту в «Трех сестрах». Помните: «Подрядчик сказывал, будто поперек всей Москвы канат протянут...»

Чехов засмеялся.

— Да, да. Вам непременно нужно пожить там. <...>

Как-то в ноябре 1901 года Чехов был в отличном расположении духа. Говорилось хорошо, мешал только постоянно звонивший телефон. Я вспоминал темы его прошлых рассказов, иногда цитируя их, и между прочим спросил:

— Скажите, пожалуйста, когда вам приходится описывать чьи-либо сновидения, чем вы руководствуетесь, своими ли собственными снами или вероятностью того, что

такому-то субъекту может присниться такой именно сон.

— Никогда и ни в одном рассказе я не описывал снов...

— Позвольте. А в «Учителе словесности», а в «Попрыгунье», а в «Гусеве»?..

— Да, да, да. Я уж и забыл. Вы знаете, что я, например, не помню содержания своего рассказа «Огни» [12].

— Как вы думаете, любой автор-беллетрист в своих суждениях о беллетристике же — публика или компетентное лицо?

— Когда он говорит о своих вещах, то не публика, а когда о чужих, то публика... <...>

На следующий день, не помню по какому поводу, мы заговорили о современных женщинах-писательницах.

— Нет уж, — сказал Чехов, — лучше я прочту что-нибудь из физики или по электротехнике, чем женское писание. Вот госпожи такая-то и такая-то пишут, пишут, а когда умрут, ничего от них не останется.

За все мое знакомство я только раз слышал, как он хорошо отозвался о рассказе «Сережка», напечатанном в декабрьской книжке «Журнала для всех» за 1901 год, хотя автором его была женщина [13].

— Вы знаете, — сказал потом Антон Павлович, — как женщины относились к Лермонтову, пока он был жив? Считали его шелопаем и хлыщом... <...>

Мы помолчали. Потом у меня вырвался вопрос:

— Скажите, отчего вас считают олимпийцем или нелюдимом, между тем как с вами так легко и так просто говорится?

— Олимпийцем я никогда не был. А нелюдимом меня считают потому, что я никуда не показываюсь. Показываться же мне мешает болезнь...

Прошел почти год. Я опять сидел в знакомом кабинете. За это время Антон Павлович очень похудел, но дух писателя был бодр. Он только что получил известие о том, что завтра приезжает В. Г. Короленко [14]. Предстоящая встреча его радовала и волновала. Сам он через два дня должен был ехать в любимую Москву. В этот день Чехов был вообще оживленнее обыкновенного. Его лицо приняло мрачный оттенок только, когда он заговорил о приезде одного одесского фельетониста [15], с напоминанием относительно сотрудничества в газете.

— Я чувствовал себя ужасно плохо в этот день... — рассказывал А. П. — У меня сил мало, и желудок совсем не варит. Настойчивость этого господина меня измучила и рассердила. Я принял его чрезвычайно сухо...

В последней фразе прозвучало как будто сожаление. Чехов органически не любил доставлять кому бы то ни было неприятные минуты.

— Но ваше сотрудничество было бы для газеты просто кладом. Кроме того, нельзя сердиться на человека за то, что он плохой психолог...

— Дело не в психологии. Там ведь не мальчики сидят и знают, что по заказу я писать не могу. Ну, да теперь уже с ними кончено...

В нем был оскорблен прежде всего художник, от которого требовали произведения не с целями прочесть и подумать над ним, а с единственной целью увеличить тираж газеты. В этот тяжкий месяц нервы Чехова и без того были окончательно издерганы. Быстро делала свое дело и чахотка.

В январе 1903 года Чехов сидел на диване, перебирая и сортируя письма за минувший год.

— Идет дождь? — спросил он, здороваясь со мною.

— Нет, теперь перестал.

Антон Павлович подошел к окну, постоял и, оглянувшись, произнес:

— Вот в такую бы погоду застрелиться...

Я постарался перевести разговор на другое и рассказал ему новый малороссийский анекдот, после которого он долго хохотал. Мне было приятно, что я развеселил Антона Павловича, и в то же время страшно тех хрипов, которые слышались иногда в его смехе.

Он снова сел на диван и, все еще улыбаясь, продолжал перекладывать письма. Я заметил на столе небольшую брошюрку со стихами.

— Разве вы любите стихи? — спросил я.

— Не часто и некоторые — да, вот, например. Он перевернул несколько страниц в этой книжке и указал рукою на следующие строки:

Шарманка за окном на улице поет...
Мое окно открыто. Вечереет.
Туман с полей мне в комнату плывет,
Весны дыханье ласковое веет.

Не знаю почему, дрожит моя рука,
Не знаю почему, в слезах моя щека.
Вот голову склонил я на руки. Глубоко
Взгрустнулось о тебе. А ты... ты так далеко *.

---

* А. М. Федорова [16]. (*Примеч. Б. А. Лазаревского.*)

— Часто к вам авторы присылают свои книги?

— Часто. Почти каждый день что-нибудь получаешь. Я не люблю лишних книг и сейчас же отправляю их в Таганрог [17].

Я заговорил о том, как нравится мне его литературная техника.

— Вы поняли, что простота и объективизм усиливают впечатление гораздо больше, чем восторги и проклятия. В этом ваша сила. Особенно хороши сравнения, по Тригоринской системе, только иногда они повторяются и еще некоторые ваши любимые слова.

— Например? — спросил Антон Павлович.

— Да, например, силуэт дерева или камня вы часто сравниваете с темной фигурой монаха.

— Где?

— Да вот в «Степи» и в «Черном монахе», в «Красавицах»...

— А из московских гостиниц вы очень любите «Славянский Базар».

— Как так? где?

— В «Чайке», в «Даме с собачкой», в повести «Три года»...

— Это оттого, что я москвич. В «Славянском Базаре» можно было когда-то вкусно позавтракать...

Я спросил Чехова, из действительной ли жизни его рассказ «Перекати-поле». Начинается он так: «Я возвращался со всенощной...»

— Да, из действительной... — ответил Антон Павлович и добавил: — Вот этот мой сожитель по монастырской гостинице оказался потом сыщиком... [18]

— Как это неприятно было, вероятно, вам узнать, — ведь вы так его обласкали...

— Да, но что же делать...

Был уже девятый час, и я стал прощаться.

— Если не уедете, то приходите завтра в три часа.

— Хорошо.

Надев в передней пальто, я все еще не мог отделаться от мысли о сыщике и спросил:

— Зачем же этот сыщик был приставлен к вам? Чтобы выведать ваш образ мыслей?

— А бог их знает... Это что!.. Вот в Ницце возле меня все ходил господин и потом познакомился, элегантный такой, и тоже оказалось... [19]

Антон Павлович горько усмехнулся.

В сентябре 1903 года, на возвратном пути из Москвы, я заехал в Ясную Поляну. Меня очень интересовало, как относится Л. Н. Толстой к творчеству Чехова. Л. Н. с тревогой в голосе расспрашивал о его здоровье, а потом сказал:

— Чехов... Чехов — это Пушкин в прозе [20]. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти и в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны... Вы знаете, я выбрал все его наиболее понравившиеся мне рассказы и переплел их в одну книгу, которую читаю всегда с огромным удовольствием... [21] <...>

Из душевных качеств Чехова самым выдающимся было терпение. Пребывание в Ялте часто становилось для него равносильным одиночному заключению. К мукам одиночества присоединились еще боязнь причинить беспокойство своей болезнью нежно любившим его сестре и матери.

Любопытные незнакомцы и незнакомки, не имеющие ничего общего с литературой, наезжали к нему довольно часто. Но и с ними Антон Павлович бывал всегда вежлив. С хмурым лицом подпишет автограф, поклонится как-то немного боком и молчит. И только после ухода гостя вздохнет о том, что к нему пристают с пустяками.

За пять лет знакомства с Чеховым я лично только знаю два случая, когда его терпение, по-видимому, лопнуло: один раз, когда приезжал одесский фельетонист, и другой — когда группа захудалых актеров решила поставить «Три сестры» [22]. В первом случае его волнение выразилось в том, что начались перебои сердца, а во втором — усилилось кровохарканье. Приезду же Горького, Короленко, Бунина, Куприна Антон Павлович всегда был рад. Любил он Гарина-Михайловского и часто вспоминал И. Н. Потапенко.

Как-то я сказал об одном уже немолодом беллетристе:

— Так он давно пишет и дальше одного тома и двух рассказов не пошел, хотя имеет полную возможность работать и издаваться когда ему хочется.

Мне досталось.

— Неправда, он много написал. Отличный писатель, чудесный писатель, и работает он хорошо! — ответил Чехов.

Вторым основным качеством Антона Павловича была жалость ко всему страдающему. Процессы, в которых возможны были судебные ошибки или неправомерное наказание, его мучили и волновали. Как идеальный юрист, Чехов не мог назвать преступлением какой бы то ни было поступок, если он был сделан без умысла принести зло, и мысль, что в жизни это не всегда так бывает, давила его.

Такие вещи, как «Беда», «Злоумышленник» и особенно «Рассказ старшего садовника», мог написать только человек, много, упорно и совершенно самостоятельно думавший над этими вопросами.

Страдания детей нагоняли на Чехова ужас. «Гриша» и «Ванька» — это целые драмы. Перечитывая «Остров Сахалин», я часто думал, что должен был переживать Антон Павлович, когда присутствовал при сцене, описанной им так: «Мальчик Алешка 3—4 лет, которого баба привела за руку, стоит и глядит вниз, в могилу. Он в кофте не по росту, с длинными рукавами и в полинявших синих штанах, на коленях ярко-синие заплаты.

— Алешка, где мать? — спросил мой спутник.

— За-а-копали! — сказал Алешка, засмеялся и махнул рукою на могилу...» [23]

Чехов относился к детям не как к «маленьким дурачкам» и говорил с ними не как с существами, созданными для забавы взрослых, а как с людьми, у которых на все своя оригинальная точка зрения.

Антон Павлович с любовью рассказывал мне об одном мальчике:

— Сидит он за столом, выводит букву за буквой и сопит...

Чехов прошелся взад и вперед по кабинету, посмотрел в окно и добавил:

— И уши у него торчат, — вот так...

Чуждый всякой полемики, он спорил очень мягко. Бывало, только и слышишь его ровный, чуть надтреснутый басок:

— Что вы, что вы, как можно! Полноте...

К сознательному злу Чехов относился с брезгливостью.

Чистый душою, он не понимал психологии развратников, и нет в его произведениях ни одного такого типа. Но всякое искреннее, пылкое чувство он оправдывал. Власич в его рассказе «Соседи» — симпатичен. «Дама с собачкой» внушает к себе глубокое сочувствие.

На умственное убожество Антон Павлович никогда не сердился, а скорее был склонен над ним подтрунить. Однажды я принес Чехову номер «Московских ведомостей» с фельетоном по поводу новой тогда повести Горького «Трое». Статья была озаглавлена «Циничная проповедь бесстыдства». В ней слышалось, что автор больше сердит на личность Горького, чем разбирает психологию его героев [24].

Антон Павлович внимательно прочел фельетон, улыбнулся и покачал головою: дескать, тоже критики... Потом этот фельетон был прочитан еще в обществе нескольких человек, и Чехов говорил, что он и все присутствовавшие искренно хохотали.

Противны Чехову были только люди, будто размеренные циркулем, живущие по расписанию, без всяких вспышек своего личного чувства. Ни в одном из его рассказов нет столько яду, как в знаменитом «Человеке в футляре».

Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что Чехов ценил людей по силе их любви к ближнему.

Однажды, при мне, он спросил, как поживает один господин, тогда власть имущий.

Последовал ответ, что этот господин сильно пьет, плохо отдает долги и вообще симпатий заслуживает мало.

Чехов поднял голову, остановился (он ходил) и сказал:

— Это не все... Это не так. Вот, вы знаете, в восьмидесятых годах был процесс, и если бы не этот господин, то несколько хороших и ни в чем не повинных людей, может быть, пошли бы на каторгу... Он добрый, а это много, очень много! [25]

Антон Павлович обладал исключительной наблюдательностью, — если так можно выразиться, — непроизвольною. Он запоминал характерные черты каждого, кого видел хоть раз. Однажды при мне он изобразил походку и гнусавый голос какого-то субъекта. Присутствовавший здесь гость, знавший этого господина, пришел в восторг от безусловной верности изображения. Чехов высоко ценил способность талантливых актеров проникать не только в душу изобра-

жаемого лица, но и передавать и его голос и манеру одеваться так, а не иначе.

Сам необыкновенно одаренный, Антон Павлович чутко реагировал не только на настоящее, но и на будущее русского общества. Он понимал, что подходит время, когда у людей не хватит больше сил жить так, как они жили до сих пор... <...>

А. СЕРЕБРОВ-ТИХОНОВ

О ЧЕХОВЕ

I

В уральских владениях Саввы Морозова готовились к приезду хозяина.

Управляющий именьем — «дядя Костя», расторопный толстяк, похожий на мистера Пикквика, хотя он был всего-навсего морозовский приказчиком, вторую неделю метался из одного края обширного именья в другой, не разбирая ни дня, ни ночи.

Хлопот было по горло.

В одном углу именья охотники стреляли дичь, в другом — рыбаки ловили в горной речке нежных харьюзов, чтобы было чем кормить Морозова.

Домой, во Всеволодо-Вильвенский завод, дядя Костя приезжал только отсыпаться — усталый, опухший от комаров, весь зашлепанный таежной грязью, не исключая даже круглых очков в серебряной оправе, которые еле держались на кончике его крохотного, кнопочкой, носа.

Но и дома было не легче. Дом красили снаружи, скребли и мыли внутри, чистили парк, вывозили навоз из конюшен и спешно вешали собак, в непотребном количестве расплодившихся около кухни. На это дело был поставлен кучер Харитон, рыжебородый тяжелый мужик, и впрямь похожий на палача. При всей его лютости ему, однако, удалось «казнить» только трех, остальные собаки, почуяв беду, благоразумно куда-то скрылись.

Новая школа, числившаяся по отчетам готовой, стояла еще без окон и дверей. Выписанный из Перми жирный повар, похожий на скопца, оказался запойным. Пьяный, он бил на кухне посуду и требовал от Анфисы Николаевны

каких-то не существующих в природе «бунчаусов», без которых нельзя было, по его словам, изготовить ни одного благородного, «губернаторского» кушанья.

С утра непричесанная, в розовом фланелевом халате, Анфиса Николаевна — супруга дяди Кости — в куриной истерике бегала по комнатам и поминутно затевала ссоры с прислугой, малярами, с поломойками, которые успели уже выдавить два стекла и сломали ее любимый многолетний фикус.

Четверо мальчуганов, потомство дяди Кости, оставшись без надзора, объявили себя шайкой разбойников и неистовой ватагой носились по дому, с удовольствием приклеиваясь босыми пятками к еще не просохшему от краски полу. В парке они рубили деревянными саблями высаженные на клумбы цветы.

Дядя Костя махнул на них рукой. Все личное перестало для него существовать. Его единственной отрадой был теперь только что поставленный впервые в доме, опять-таки ради Морозова, теплый ватерклозет с фарфоровой чашей и громыхающим, как Ниагара, водосливом.

Выходя из уборной, дядя Костя ощупывал свои необъятные парусиновые брюки, всегда с незастегнутой от торопливости прорешкой, и каждый раз радостно изумлялся:

— Вот это — Европа!

Волновались не только в господском доме. Волнение захватило и заводской поселок, находившийся неподалеку от усадьбы. В волостном правлении по вечерам густо гудели мужики, составлявшие прошение Морозову насчет каких-то спорных лугов.

Из церкви неслось хоровое пение — это о. Геннадий, по прозванию «Иисусик», разучивал со школьниками приветственную к приезду Морозова кантату. Даже начальник станции — усатый истукан из бывших жандармов, — казалось бы, ему-то какое дело до приезда Морозова, — и тот, единственно раболепства ради, приказал начистить толченым кирпичом станционный колокол и саморучно увешал платформу приветственными гирляндами.

Наконец торжественный день настал.

Это было 23 июня 1902 года, за два года до смерти Чехова.

В десять утра дядя Костя в заново отлакированной коляске, с Харитоном на козлах, разодетым в плисовую с позументами безрукавку, покатил на вокзал встречать хозяина. Я остался ждать около дома на скамейке, пади-

мый снаружи солнцем, а внутри — нетерпением поскорее увидеть Савву, — так за глаза называли Морозова, — которого я уже знал по Москве.

Через полчаса из-за угла дома вихрем вырвалась возвращавшаяся тройка и разом замерла у парадного крыльца, окутанная догнавшим ее наконец-то облаком пыли.

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо — монгольского бородатого божка — хитро щурилось.

— А я вам гостя привез! — шепнул он мне, здороваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий, сутулый человек, в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в седеющей, клином, бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки вязкую мокроту... Молча подал мне влажную руку... Поправил пенсне... Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хриповатым от кашля голосом:

— А, должно быть, здесь щуки водятся?!

Это был Чехов.

II

День прошел в праздничной сутолоке. После легкого завтрака ходили осматривать ближайшие достопримечательности: спиртовый завод, новую школу, березовый парк.

Чехов шел медленно, глядя под ноги и отставая от других. Тонкой гнувшейся тросточкой он пробовал растрескавшуюся от жары землю, как бы не доверяя ее обманчивой внешности. Горький однажды написал мне: «Чехов ходит по земле, как врач по больнице: больных в ней много, а лекарств нет. Да и врач-то не совсем уверен, что лечить надо» [1].

Темный, низкий, закопченный завод, где в огромных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы

и жидкости, где не было живого огня и шума машин, Чехову явно не понравился [2]. Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутыли денатурата и, не дождавшись Морозова, вышел на воздух.

В новую школу, куда за отсутствием крыльца надо было подыматься по узкой стремянке, Чехов даже не заглянул, и, пока Савва мерил рулеткой будущие классы и вычислял их кубатуру, Чехов сидел около школы на бревнах и, побрякивая жестяной коробочкой, которую он всегда носил в жилетном кармане, приманивал мятными лепешками деревенских ребят, собиравших около постройки сосновые щепы — матерям на растопку.

Ребята шмыгали носами, подталкивали друг друга локтями, но ни один из них так и не решился подойти за конфетками к этому чужому «дяде», в очках со шнурочком.

Под зелеными сводами парка Чехов ожил, снял кепку, как в церкви, и, вытирая пот платком, сказал со вздохом и нараспев:

— Хорошо у вас тут... Бе-ре-зы... Не то, что у нас в Ялте. — И, как бы слегка капризничая, добавил: — Не понимаю: зачем это здоровые люди в Ялту ездят? Что там хорошего? Берез — нету, черемухи — нету, скворцов — и то нет!

— Здоровые люди — они глупые, им везде нравится! — ответил Савва с таким ехидным простодушием, что нельзя было понять, над кем он подсмеивается — над здоровыми людьми или над больным Чеховым.

Обед состоял из семи блюд, и каждое из них почему-то запаздывало. Дядя Костя сидел красный от стыда и чуть не плакал.

За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, инженер и техники с заводов — нескладные, бородатые обломы, «рабочая скотинка» Морозова. Они нарядились, как на свадьбу: суконные сюртуки пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой Чехов, и, прослышав, что он писатель, принимали его за помощника Морозова «по письменной части».

Между рыбой и жарким школьники в соседней комнате — обед совершался на террасе — спели кантату, очень

похожую на «Херувимскую», после чего сияющий о. Геннадий в новой шелковой рясе, подобной колоколу, присоединился к обедающим.

Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.

Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду «аполлинарис» и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.

Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись и видимо чем-то обиженный.

Мы с Саввой отправились во флигель, где я жил, чтобы там на свободе поговорить о делах. Я был в ту пору студентом Горного института и производил в имении Морозова разведки на каменный уголь.

Оказалось, что составленные мною чертежи были так велики, что не умещались ни на одном из столов. Чтобы вывести меня из затруднения, Савва раскинул кальку от одного угла комнаты в другой, поставил на концах горящую лампу и несколько подсвечников и, растянувшись на полу, пригласил меня последовать его примеру. Так, ползая по занозистым половицам, мы приступили к осмотру чертежей и деловой беседе.

В середине моего доклада Савва привстал на колени и сказал, как всегда, с хитрецой:

— Знаете что? Я завтра утром уеду осматривать именье, а Чехова подброшу вам... Вы его тут займите... Вам будет интересно!..

Помолчал и, почесывая острием карандаша коротко остриженный седеющий затылок, уныло прибавил:

— Скучно ему со мной! И зачем я его сюда затащил?!

III

Неожиданно для себя я оказался глаз на глаз с Чеховым, вдвоем в огромном пустом доме. Дядя Костя уехал с Морозовым, а домашних своих он еще загодя отправил к родственникам, чтобы они, как он выразился, «не портили здесь пейзажа».

Чехову было со мной еще скучнее, чем с Морозовым.

Стояла африканская жара, без ветерка, без прохлады даже ночью. Чехов, изнывая от зноя, бесцельно слонялся по парку, черный среди его белых колонн, давил тростью червяков, читал в садовой беседке приложения к «Ниве» и каждый час справлялся у горничной, нет ли телеграммы из Москвы, где он оставил больную жену. Его томило безлюдье, безделье и кашель.

Вероятно, в этот именно день он написал Вл. И. Немировичу-Данченко:

«Пишу тебе сие черт знает откуда, из северной части Пермской губернии. Если проведешь пальцем по Каме, вверх от Перми, то уткнешься в Усолье, так вот я именно возле этого Усолья... Жизнь здесь серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая» [3].

Хорошо, что Чехов не написал такой пьесы, иначе мне пришлось бы играть в ней незавидную роль!

В самом деле, положение мое было в высокой степени нелепым. Навязанный насильно совершенно незнакомому человеку в качестве гостеприимного хозяина и единственного собеседника, я ни в какой мере не годился ни для того, ни для другого. К тому же этим незнакомым человеком, был не кто иной, как Чехов.

Недолго думая, я попросту сбежал от него и, сославшись на спешную работу, просидел весь день у себя во флигеле, исподтишка наблюдая в окошко за своим страшным гостем.

Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу. Отказаться было невозможно. После первых неуверенных, нащупывающих собеседника фраз о том, какой налить чай — крепкий или слабый, с сахаром или с вареньем, речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалы автору «Буревестника». Вскоре я просто задыхался от междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не *понимаю*... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на *ногу*. — Вот вам всем нравятся его «Буревестник» и «Песнь о Соколе»... Я знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья!» — это еще не политика. А куда вперед — неизвестно... Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике никогда и ничего еще не делалось. Это не только легкомысленно, это — вредно. Особенно вот для таких петухов, как вы...

От изумления я обжегся глотком чая.

— «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали — «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота...

Длинными пальцами он трогал близлежащие предметы: пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен... И все персонажи говорят одинаково, на «о»... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под силу. Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек и резное крылечко, а над крылечком надпись: трах! тир!.. Парфенон, а не скворешник!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает... Гордый он — а не Горький!..

— ...Да не-ет! — отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов. — Вы совсем не то цените в Горьком, что надо. А у него действительно есть прекрасные вещи. «На плотах», например. Помните? Плывут в тумане... ночью... по Волге... Чудесный рассказ! Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой, это «Тамань» Лермонтова...

Наступившее молчание свидетельствовало о моем полном ничтожестве. Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал «новым течением в литературе».

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли?.. Во Франции — Мопассан, а у нас — я стали писать маленькие

рассказы, вот и все новое направление в литературе. А насчет декадентов — так это их «Зритель»[4] в «Новом времени» так выругал, они и обрадовались. Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют... Религия, мистика и всякая чертовщина! Русский мужик никогда не был религиозным, а черта он давным-давно в баню под полок упрятал. Это все они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные»[5], а такие же, как у всех, — волосатые.

Разговор снова оборвался. Чехов невкусно, как лекарство, глотал остывший чай.

Все, что он говорил, было для меня новым и подавляюще неожиданным. Но в самой парадоксальности его суждений чувствовалась какая-то нарочитость. Казалось, он говорил не совсем то, что думал: может быть, из чувства противоречия к тем банальностям, какими я его засыпал, а может быть, просто потому, что был нездоров и не в духе. Во всяком случае, то, что он говорил, никак не вязалось с моим представлением о «великом писателе», которого я мыслил себе в ту пору обязательно либо в образе величавого апостола, как Л. Толстой, либо в ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский. Чехов же был слишком прост и обыденен.

Я попробовал спорить, но неожиданные реплики Чехова сейчас же сбили меня с толку, я запутался и в отчаянии понес такую ерунду, что самому слушать было стыдно... Но остановиться я уже не мог.

Чехов искоса, с недоброй, застрявшей в усах улыбкой поглядывал на меня и, точно поддразнивая, — так дразнят щенка, чтобы он громче лаял, — поколачивал меня время от времени все новыми и новыми парадоксами:

— Ну, какой же Леонид Андреев писатель?.. Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить...

Или:

— Почему вы против Суворина? Он умный старик и любит молодежь... У него все берут в долг, и никто не отдает.

Или:

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями...

Я обиделся за студентов и свирепо замолчал.

Чехов это заметил и переменил разговор. Ласково поглядывая в мою сторону и посмеиваясь на этот раз только одними глазами, он стал рассказывать о том, как хорошо на

Каме, по которой он только что проехал, и какие там вкусные стерляди. Рассказал несколько смешных анекдотов о рассеянности Морозова и о том, как надо подманивать карасей, чтобы они лучше клевали.

Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечо и спросил шепотом, как поп на исповеди:

— А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются... А впрочем, — возразил он сам себе, — может быть, это и лучше. Мы, студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли такими... недотёпами...

Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым.

Когда через несколько месяцев в Москве Чехова спросили обо мне, он сказал с улыбкой:

— Как же, помню!.. Такой горячий, белокурый студент. — И после паузы прибавил: — Студенты часто бывают белокурыми...

IV

Вскоре, однако, и у нас с Чеховым нашлись общие интересы... С утра до вечера мы сидели теперь под глинистым откосом, у темного омута, и с увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. Чехов был прав: щук в реке было много.

— Чудесное занятие! — говорил Чехов, поплевывая на червяка. — Вроде тихого помешательства... И самому приятно, и для других не опасно... А главное — думать не надо... Хорошо!

Он с удовольствием грелся на солнце, снимал пиджак и галстук и почти не кашлял. Рыбак он был превосходный; его улов всегда был больше, чем у меня, хотя мы сидели рядом.

Солнце размаривало, и клонило в дремоту. Тишина была такая мягкая и добротная, что никакой пушкой ее не прошибешь. Вода тепло блестела, от этого блеска приятно кружилась голова, и в глазах двоились поплавки.

Чехов сладко дремал. В этих случаях его удочки сторожила рыжая, похожая на таксу сучка, бог весть откуда взявшаяся — вероятно, одна из тех, что не успел пове-

сить кучер Харитон. Подобострастно облизываясь, она внимательно следила за поплавками, а когда начинало клевать, — вскакивала, махала хвостом и визгливо лаяла... За это Чехов кормил ее пойманной рыбой, которую она, к нашему удивлению, пожирала живьем.

Однажды, глядя, как она, давясь и жадничая, заглатывала окуня, который бил ее хвостом по морде, Чехов сказал с брезгливостью:

— Совсем как наша критика!

V

Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться друзьями, были, в сущности, людьми друг другу чужими. Интеллигент, писатель — Чехов плохо сочетался с капиталистом Саввой Морозовым. Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так, что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва... Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова.

Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, это его смущало, и, чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место.

Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал. Но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу.

Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намекая на Морозова:

— Богатый купец... театры строит... с революцией заигрывает... а в аптеке нет йоду и фельдшер — пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой... Все они на одну стать, эти наши российские Рокфеллеры.

VI

По предложению Морозова было решено окрестить именем Чехова вновь отстроенную школу. Чехову это не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить

соответствующий адрес, а дяде Косте — его прочитать. Тот долго отнекивался, но наконец сказал, что «ради памяти потомства» он согласен.

Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебен, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому.

Я сидел у Чехова в комнате и читал ему вслух Апухтина. Чехов лежал на кушетке — ему сильно нездоровилось.

— Хорошие стихи, — сказал он позевывая, — даром что автор не признает женщин, а какая нежная любовная лирика! Вот и поди разгадай поэтов!

В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. Дядя Костя выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес... Настало торжественное молчание... Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.

Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук дяди Кости и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:

— Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!

Дядя Костя закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм.

Когда я вечером рассказал об этом Савве, тот долго трясся от заливистого, с бубенчиком, смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал:

— Чему же вы удивляетесь? Вы еще его не знаете — он не только дядю Костю, он кого угодно может стащить с колокольни... Не любит он пышности и вообще колокольного звона. Вы читали его «Степь»? Помните там: «по небу чиркнули серной спичкой». Это он так про грозу, чтоб не очень гремела... Вот подождите, Илья-пророк припомнит еще ему эти спички! Отомстит ему старик... Он ведь, как все мужики, — злопамятный.

VII

Как это ни странно, но предсказание Морозова оправдалось, и очень скоро.

Вечером мы опять вдвоем с Чеховым сидели за чаем на террасе.

Ночь шла зловещая, душная... Темнота так плотно

напирала с трех сторон на террасу, точно хотела выдавить стекла и захлестнуть испуганно гудевшую десятилинейную лампу. Под ее зеленым абажуром метались бабочки и, обжегшись, умирали в судорогах на клеенке стола, уставленного чайной посудой, которая уродливо отражалась в новеньком серебряном самоваре.

Березы в саду были полны беспокойства; они то стояли совсем тихо, то вдруг без причины начинали дрожать всей листвой сверху и до самого низу.

Над горизонтом, подминая под себя тусклые звезды, медленно подымалась огромная туча, черная даже в темноте.

Чехов был в этот вечер как-то особенно грустен и доверчив. От прежней его раздражительности — при нашей первой встрече — не осталось и следа. Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел, согнувшись, на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил:

— Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господа бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя...

Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дождавшись, продолжал:

— Вот меня часто упрекают — даже Толстой упрекал, — что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников...[6] А где их взять? Я бы и рад! — Он грустно усмехнулся. — Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный... Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам — уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!

Он посмотрел на меня через плечо, опять согнулся и уставился немигающими глазами в темноту.

— Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел только честно сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..» Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это

поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь... Я ее не увижу, но я з н а ю , — она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: «Поймите же, как вы плохо и скучно живете!» Над чем же тут плакать?

— «А те, которые уже это поняли?» — повторил он мой вопрос и, вставая со стула, докончил: — Ну, эти и без меня дорогу найдут... Пойдемте спать... Гроза будет...

Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пищали комары. Окна нельзя было открыть — боялись воров.

Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял.

Несколько раз он вставал с к р о в а т и , — мне было слышно, как гудели пружины м а т р а ц а , — ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал...

Под конец я все-таки уснул.

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза.

Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие серые огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я услышал протяжный, мычащий стон...

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку... Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем.

Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно... И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.

Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова:

— Антон Павлович!

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля... И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь...

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь, на подушки и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом.

И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез...

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы...

На следующий день Савва, бросив ревизовать именье, увез больного Чехова в Пермь [7].

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Антон Павлович Чехов не отвечал на вопрос: каким должен быть человек? Но отвечал: каков при данных обстоятельствах человек.

Он — гениальный автор хмурых, безыдейных, беспринципных людей, таковых, какими они существуют, без малейшей фальши его резца.

Тонкого, исключительного в мире резца.

Антон Павлович — творец маленького рассказа, самого трудного из всех.

И пока такие рассказы получили права гражданства, он долго носил их в своем портфеле.

В прошлом году я производил изыскания в Крыму; [1] со мной вместе работал брат жены Антона Павловича — К. Л. Книппер, и я ближе познакомился с А. П. и его семьей.

Удивительный это был человек по отзывчивости и жизнерадостности. Он давно недомогал, скрипел. Но всего этого он как-то не замечал. Все его интересовало, кроме болезни.

Пытливость, масса юмора и веры в жизнь.

Смотришь на него, слушаешь, и сердце тоскливо сжимается, зачем такое ценное содержание заключено в такой хрупкий сосуд.

А он, спокойный, ясный, расспрашивает, говорит — странное сочетание мудреца и юноши.

В прошлом году шел его «Вишневый сад», и мы праздновали 25-летний юбилей А. П. [2]

Праздновали, не произнося слова «юбилей».

Двадцать пять лет назад впервые выступил А. П. в 78 году в «Стрекозе» под псевдонимом «Человек без селезенки» [3].

И вот через двадцать пять лет он стоял на сцене Художественного театра — любимейший писатель русского общества. Только его мы и видели, хотя и театр и сцена были переполнены.

Такой же, как и всегда, в пиджаке, худой, немного сгорбленный, умными, ясными глазами он смотрел, наклоняя голову, как бы говоря:

«Да, да, я вас знаю».

Заманивали мы его и в Петербург, он обещал, но не приехал.

Вскоре после этого текущие события [4] ураганом охватили русское общество, и даже смерть Н. К. Михайловского [5] прошла, сравнительно для времени, бесследно.

В последний раз я виделся с А. П. в апреле этого года в Крыму, на его даче в Ялте.

Он выглядел очень хорошо, и меньше всего можно было думать, что опасность так близка.

— Вы знаете, что я делаю? — весело встретил он меня. — В эту записную книжку я больше десяти лет заношу все свои заметки, впечатления. Карандаш стал стираться, и вот я решил навести чернилом: [6] как видите, уже кончаю.

Он добродушно похлопал по книжке и сказал:

— Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной.

Все его сочинения купил, как известно, Маркс, за 75 тысяч рублей.

А. П. выстроил на эти деньги дачу, на которую надо было еще каждый год тратить.

Жить приходилось, считая каждую копейку.

В Москве квартира на третьем этаже, без подъемной машины.

Полчаса надо было ему, чтобы взобраться к себе. Он снимал шубу, делал два шага, останавливался и дышал, дышал.

Если бы у него были средства, он жил бы долго и успел бы передать людям те сокровища, которые унес теперь с собой в могилу.

Сенкевичу его общество поднесло имение, обставило его старость.

Нашему гению мы ничего не дали.

А. П., провожая меня [7], очень серьезно уверял, что непременно приедет в Маньчжурию.

— Поеду за границу, а потом к вам. Непременно

приеду. Горький, Елпатьевский, Чириков, Скиталец только говорят, что приедут, а я приеду[8].

И он с задорным упрямством детей, которым старшие не позволяют, твердил:

— Непременно приеду, приеду.

Нет, не было тогда у меня предчувствия, что я смотрел на него в последний раз.

Ляоян, 16 июля

В. В. ВЕРЕСАЕВ

А. П. ЧЕХОВ

Я познакомился с Чеховым в Ялте весною 1903 года. Повез меня к нему Горький [1], который был с ним знаком уже раньше.

Неуютная дача на пыльной Аутской улице. Очень покатый двор. По двору расхаживает ручной журавль. У ограды чахлые деревца.

Кабинет Антона Павловича. Большой письменный стол, широкий диван за ним. На отдельном столике, на красивом картонном щите, веером расположены фотографические карточки писателей и артистов с собственноручными надписями. На стене печатное предупреждение: «Просят не курить».

Чехов держался очень просто, даже как будто немножко застенчиво. Часто покашливал коротким кашлем и плевал в бумажку. На меня он произвел впечатление удивительно деликатного и мягкого человека. Объявление «Просят не курить» как будто повешено не просто с целью избавить себя от необходимости говорить об этом каждому посетителю, мне показалось, это было для Чехова единственным способом попросить посетителей не отравлять табачным дымом его больных легких. Если бы не было этой надписи и посетитель бы закурил, я не представляю себе, чтобы Чехов мог сказать: «Пожалуйста, не курите, — мне это вредно».

Горький в своих воспоминаниях о Чехове приводит несколько очень резких его ответов навязчивым посетителям. Рассказывает он, например, как к Чехову пришла полная, здоровая, красивая дама и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море... И нет желаний... душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

И Чехов ей ответил:

— Да, это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis *.

Совершенно не могу себе представить Чехова, так говорящего со своей гостьей. После ухода ее он мог так сказать, — это другое дело. Но в лицо...

Для меня очень был неожидан острый интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам. Говорили, да это чувствовалось и по его произведениям, что он человек глубоко аполитический, общественными вопросами совершенно не интересуется, при разговоре на общественные темы начинает зевать. Чего стоила одна его дружба с таким человеком, как А. С. Суворин [2], издатель газеты «Новое время». Теперь это был совсем другой человек: видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова [3]. Глаза его загорались суровым негодованием, когда он говорил о неистовствах Плеве, о жестокости и глупости Николая II.

За чаем Антон Павлович рассказал, что недавно получил письмо из Одессы от одного почтенного отца семейства. Тот писал, что девушка, дочь его, недавно ехала на пароходе из Севастополя в Одессу, на пароходе познакомилась с Чеховым. И как не стыдно! Пишете, господин Чехов, такие симпатичные рассказы, а позволяете себе приставать к девушке с гнусными предложениями.

— А я никогда из Севастополя не ездил в Одессу.

Когда Чехов рассказывал, глаза искрились смехом, улыбка была на губах, но в глубине его души, внутри, чувствовалась большая, сосредоточенная грусть.

И еще сильнее я почувствовал эту его грусть, когда через несколько дней по телефонному вызову Антона Павловича пришел к нему проститься [4]. Он уезжал в Москву, радостно укладывался, говорил о предстоящей встрече с женой, Ольгой Леонардовной Книппер, о милой Москве. О Москве он говорил, как школьник о родном городе, куда едет на каникулы; а на лбу лежала темная тень обреченности. Как врач, он понимал, что дела его очень плохи.

Узнал, что я в прошлом году был в Италии.

— Во Флоренции были?

— Был.

— Кианти пили?

— Еще бы!

---

* притворная болезнь.

— Эх, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти... Никогда уже этого больше не будет.

Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова «Невеста» (он шел в миролюбовском «Журнале для всех») [5].

Антон Павлович спросил:

— Ну, что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровою настороженностью.

— Туда разные бывают пути.

Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно. Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типическая безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учится вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе «Дядя Ваня». В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа «Невеста» с окончательной его редакцией. Я слышал, что корректурный оттиск этот с чеховскою правкою хранится в одном из музеев.

Через месяц я получил от Чехова письмо, и там, между прочим, он сообщает: «Кое-что поделываю. *Рассказ «Невесту» искромсал и переделал в корректуре»* [6]. Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.

Все это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал п о п ы т к у, — пускай неудачную, от которой сам потом о т к а з а л с я, — но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу.

В. П. ТРОЙНОВ

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

(Из воспоминаний)

Литературная слава росла. Долгие годы материальных лишений и хлопотливого сотрудничества в мелких журналах сменились сравнительной обеспеченностью и независимым положением широко признанного писателя. Но одно осталось непреодоленным — затяжная болезнь, из года в год подтачивавшая силы и здоровье.

Врач по образованию, изредка и сам лечивший больных, Антон Павлович сознавал свое тяжелое состояние. Еще более неопровержимым он считал, что медицина, несмотря на большие достижения в области научной мысли, на практике не обладает радикальными средствами, которые могли бы избавить его от изнурительного недуга. Когда один из писателей спросил, какое лекарство прописал ему профессор, Чехов с добродушной улыбкой ответил:

— По-латыни это называется «Уталиквид фиат», то есть чтобы больной видел, что для него что-то делается. Чего же вы хотите: профессора же не боги.

Зиму 1903—1904 годов Чехов провел в Москве. Он неохотно и как бы мимоходом говорил о своей болезни. Но то, что он скрывал в разговоре, предательски выдавал его внешний вид. Лицо осунулось, поблекло, на лбу залегли резкие морщинки. Заметно тронула и седина. Всего же более выдавал тревожное предчувствие частый, хриплый кашель — признак углубленного процесса в легких.

Приезд Чехова в Москву совпал с первыми всплесками революционного движения. Смелей заговорила печать, все чаще и настойчивее раздавались призывы к свержению самодержавия, подкрепленные забастовками рабочих, студенческими сходками и выступлениями прогрессивных

общественных деятелей. Не оставались в стороне и театры. Художественный театр ставил пьесы, направленные против косности, бездушия буржуазного общества и мещанской сытости, — «Доктор Штокман» [1], «Мещане». Шли с неослабевающим успехом чеховские «Три сестры», «Дядя Ваня», вызывавшие порывы уйти от серых, безрадостных будней к настоящей жизни — деятельной и правдивой.

Одновременно готовилась постановка новой пьесы Чехова «Вишневый сад». Все это вместе взятое, после однообразной и одинокой жизни в Крыму, оживляло Чехова, и были дни, когда он поражал своей прежней беззаботной веселостью, неистощимым остроумием и юношеской непоседливостью.

Однажды Чехов отправился с поэтом Белоусовым и пишущим эти строки в ресторан, наиболее посещавшийся литераторами.

— Я почти всю молодость подражал своему духовному патрону, находясь на пище святого Антония, — шутливо сказал Чехов. — Теперь я больше не желаю противодействовать дьявольскому искушению.

За обедом речь зашла о литературе.

— Я плохо разбираюсь в современных направлениях в поэзии, — сказал Чехов. — Дело, видите ли, не в символизме и декадентстве и не в реализме, а в живом ощущении действительности и в том, что, когда вы пишете, нужно, чтобы слова лились из души. Никакая форма и вычурные выражения не спасут, если автор не прочувствует задуманного произведения. Тем сколько угодно. Могу продать вам по пятачку за пару.

Легким движением он приложил тонкие пальцы к высокому, умному лбу, чуть склонил над столом красивую голову, как бы отдаваясь охватившей его творческой мысли, и затем сосредоточенно поглядел в глубь зала, где играл струнный оркестр.

— Вот обратите внимание, — с оживлением сказал Чехов. — Слева сидит пожилой, облезлый скрипач. Он рассеянно перевернул ноты и, видимо, сфальшивил. Я ничего не смыслю в бемолях, терциях и прочих крючкообразных существах, населяющих музыкальный мир. В данном случае я сужу по злому взгляду режиссера и по резким движениям палочки, направленной в сторону скрипача. Вот опять! С скрипачом что-то случилось. Вы, как поэт, предполагаете, что он страдает за униженное искусство: божественного Моцарта преподносят, как приправу к ку-

шаньям. Я думаю проще: у него зубная боль или сбежала жена. В довершение всяких бед, возможно, его сегодня же выгонят из оркестра. Дома — нужда, клопы, и когда он разучивает мелодии, под окном воет дворовая собака. Подставьте под свои наблюдения определенные величины, и вот вам готов рассказ или поэма, — это уж как вам бог на душу положит.

Чуткий и внимательный к товарищам по перу, Чехов с похвалой отозвался о переводах Белоусова из Бернса [2].

— А вот мне трудно было бы переводить. Я так привязан к нашей, русской, жизни, что, если бы речь зашла о лондонском полисмене, я непременно думал бы о московском городовом. Знаете, как один немец перевел эпиграф к роману «Анна Каренина». Вместо «Мне отмщение и аз воздам» у него получилось: «Меня подсиживают, и я иду с туза». По-немецки: «Ас» — туз.

В Москве Чехов встречался с Горьким. Дружеские отношения между обоими писателями отличались в эту пору особой теплотой и заботливостью. Мне посчастливилось быть свидетелем этих встреч. Горький с нетерпением ждал первого представления «Вишневого сада» и часто спрашивал Чехова, когда же наконец состоится спектакль.

— Не знаю, — ответил Чехов. — Пока все время спорим с Станиславским. Он уверяет, что моя пьеса — лирическая драма. Это же неверно. Я написал фарс, самый веселый фарс! [3] — Помолчав немного, он продолжал: — А, пожалуй, Станиславский прав. Когда я бываю на репетициях, я испытываю одно страдание: Станиславский на моих же глазах безжалостно сокращает сцены.

Пьеса Чехова должна была выйти в сборнике «Знание». Горький предложил Чехову выпустить ее без сокращения.

— Нет, нет, — замахал руками Чехов. — Печатайте с режиссерской правкой. Иначе это внесет путаницу при постановке другими театрами. Что ни говорите, Станиславский знает театр лучше нас с вами.

И сейчас же с обычным переходом к милой шутке добавил деланным трагическим голосом:

— А вот «Мнимого больного» Мольера я не позволю ему ставить. Это будет моя режиссура. Я же доктор.

После первого представления Горький сказал Чехову:

— Озорную штуку вы выкинули, Антон Павлович. Дали красивую лирику, а потом вдруг звякнули со всего размаха топором по корневищам: к черту старую жизнь! Теперь, я уверен, ваша следующая пьеса будет революционная.

— Я буду писать водевили, — шутливо сказал Чехов. — Может быть, даже оперетты. В первую очередь на горьковский сюжет «На дне». Сатин у меня будет петь:

Эка, эка,
Жалко человека!

Дайте мне только дожить до будущей зимы.

С обычным юмором Чехов рассказал о том, как он с трудом получал с одной редакции по три рубля гонорара в неделю.

— Знаете, Горький, — сказал Чехов тоном глубокой убежденности, и все лицо его осветилось восторженной улыбкой, — в сущности, все это не важно. Наша бедность и недоделанность жизни — явление преходящее. Культура у нас еще очень молода. Триста лет назад Англия имела уже Шекспира, Испания — Сервантеса, а немного позже Мольер смешил Францию своими комедиями. Наши же классики начинаются только с Пушкина, всего каких-нибудь сто лет. И смотрите, мы начинаем обгонять: Тургеневым, Достоевским и Толстым зачитывается весь мир. Правда, кругом еще много темноты, скуки и всякой пошлости. Но люди уже не те. Своими страданиями и трудом они открывают дорогу чему-то новому, какой-то другой зарождающейся в муках, но радостной жизни. И в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник: по земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью воздух. — Чехов сделал небольшую паузу и с тихой грустью добавил: — Хотелось бы прожить еще десять лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета...

Н. З. ПАНОВ

СЕАНС

(К портрету А. П. Чехова)

— Приходите завтра!.. Я буду думать, а вы порисуйте!.. — сказал мне Антон Павлович.

Жарко. Душно. Открытое окно не приносит свежего дыхания моря, сверкающего в отдалении ярко-фиолетовой полосой.

Он сидит у своего рабочего стола задумчивый и видимо спокойный.

Я смотрю в эти грустные, усталые глаза и тороплюсь набросить на холст первые очертания немного склоненной набок головы.

Мы замолчали. «Я буду думать», — вспомнил я его вчерашние слова.

Строгое осунувшееся лицо тает в воздухе.

Немного сгорбленная, недавно еще красивая, стройная фигура согнулась и высохла; складки платья дерзко выдают ее худобу.

Вся поза, наклон головы, осторожные движения исхудалых рук — все говорит о том, что человек прислушивается к себе, к своим мыслям и к тому... к чему здоровый не прислушивается, — к какой-то новой работе внутри, новой, подозрительной жизни, отвлекающей внимание от привычной мысли.

Резко обозначились на лице складки, появились новые тени, придающие лицу сухой и озабоченный характер. Нависшая на лоб редкая прядь волос едва заметно трепещет от легкого прерывистого дыхания.

Как тяжело, как больно глядеть в эти серьезные,

печальные глаза, уходящие дальше человеческих наблюдений.

Совестно быть здоровым и ненужным в присутствии больного и дорогого для всей России человека.

А может быть, болезнь не опасна?.. Это только так кажется... Ведь он сам врач, он знает! Он так спокойно работает...

— Вам удобно? или я дам вот это кресло? — говорит он голосом, ушедшим вглубь, без звука.

— Нет, благодарю вас... Мне очень хорошо. Мне всегда удобно. (Зачем я сказал: всегда? — негодую я про себя. — Как будто нарочно напоминаю, что ему уже не всегда удобно.)

Опять тишина. Только издалека доносится вечно неумолкающий говор моря, говор тысячи голосов, слившихся в одной мятежной речи.

Мне хочется нарушить молчание, и я не знаю, что сказать. Все кажется мне неуместным, напоминающим о чем-то нелепом и страшном.

И не я один, случайный и чужой, но все близкие и родные... У всех одна мысль, и все прячут ее в его присутствии, гонят как можно дальше.

Все знают, и все молчат об этом важном, и говорят обо всем другом — случайном и неважном. Говорят громко и весело, а на лицах страх и беспокойство. Оставаясь одни, говорят шепотом и взаимно верят и надеются, утешая друг друга.

— Вы что-то нашли? — спрашивает он, ласково улыбаясь, заметив мое нервное движение.

Я смотрю на него, на просветленное от улыбки лицо и с тревогой говорю:

— Теперь не то! Вы у меня какой-то усталый и грустный вышли.

— Ну, что ж, — какой есть. Не надо менять... Первое впечатление всегда вернее.

Заговорили о живописи, о Левитане — этом истинном художнике, талантливом и прекрасном, в каждом произведении которого было столько поэзии и глубокой артистической души.

— Вот это его картина!.. и этот этюд на камине — тоже. Правда, это чудесно?.. Рано умер!.. Сколько бы еще сделал с его любовью к труду... Да, да, надо много работать, постоянно работать, не покладая рук... Мы в большинстве недеятельны, ленивы, довольствуемся зачатками и скоро успокоиваемся на полдороге. Теоретически — всё знаем,

понимаем и всему доброму сочувствуем, свободно решаем вопросы высшего порядка, а в нашей каждодневной будничной жизни теряемся в мелочах, и обновить ее нет ни энергии, ни умения. А как много нужно сделать!

И долго еще лилась мягкая, убежденная речь; глаза потеплели, весь оживился...

Случайно заговорили о новых открытиях в науке.

— Вот Мечников, — говорю я (конечно, невпопад, касаясь больного места), — изыскивает способы продления человеческой жизни...

— Не нужно! Нужен другой Мечников, который помог бы сделать обыкновенную жизнь здоровой и красивой. И, я думаю, такой придет...

Он закашлялся и с горькой усмешкой, поднеся к губам неразлучный платок, сел на прежнее место.

Опять забегал карандаш, опять глаза ушли вдаль и по лицу заходили тени.

Да, нет сомненья.

Она показалась... эта черная, неумолимая, нежеланная гостья. Каждый видит ее повсюду витающей около дорогого существа, и каждый не смеет верить своим глазам и мыслям.

Она ревниво бережет избранника и час за часом медленно отрывает его от своей соперницы — жизни.

Приближается страшная драма без слов.

Она придет, и все скажут: мы знали!

Все мы знаем — она придет. Часто знаем, она — близка, но наш рассудок никогда не уяснит тайны — великой страшной тайны, под покровом которой живет и трепещет человечество.

Наука, познавшая ее причины, — бессильно отошла перед загадкой цели...

Светоч погасает!..

Но от него зажгутся новые и новые, и, пока живет человечество, на его пути к светлому и прекрасному горизонту пойдут впереди лучшие его избранники и осветят долгий и тяжелый путь жизни.

Ялта, 10 августа 1903 года

Н. П. УЛЬЯНОВ

К ПОРТРЕТУ А. П. ЧЕХОВА

С А. П. Чеховым я познакомился в 1904 году, в год его смерти.

Я зашел к нему на московскую квартиру, чтобы поговорить о сеансах. Мы сидели в полутемной комнате, и тогда мне пришла мысль изобразить его в сумеречном тоне. Мне казалось, что для выражения духовной личности А. П. многоцветность и внешние живописные задачи едва ли будут нужны.

А. П. согласился позировать, но просил отложить сеансы до осени, обещая к тому времени быть более бодрой и терпеливой моделью.

Летом того же года он умер. Сеансы наши не состоялись. Но отказаться от мысли написать его портрет я уже не мог и потому решил изобразить хотя бы некоторые черты, хотя бы намек на тот ускользающий его духовный облик, который волновал меня все время.

«Чехов неуловим. В нем было что-то необъяснимо нежное», — сказал, осматривая мою работу, В. А. Серов, который так же обожал Антона Павловича и когда-то сделал с него набросок. Этот набросок служил мне некоторое время подспорьем, хотя сам В. А. находил его не совсем удачным.

Было еще несколько фотографий, но они мало подходили к моей задаче. Почти все в портрете было сделано мною по памяти: отсюда те недочеты, которые я сам всегда ясно сознавал и исправить которые я был не в силах.

Надо пожалеть, что судьба не позволила всем, изобразившим А. П., довести его портрет до необходимой высоты. Образ «необъяснимо-нежного» великого человека остался в нашей живописи навсегда неразрешенной задачей.

В. Л. КНИППЕР-НАРДОВ

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ С ЧЕХОВЫМ

С А. П. Чеховым я виделся в последний раз весной 1904 года в Берлине [1], где он с сестрой остановился на несколько дней проездом в Баденвейлер. Я только что обосновался в Дрездене, чтобы готовиться там к сцене у профессора Рихарда Мюллера. Этот перелом в моей жизни, тревога за будущее и намечавшееся расхождение с первой моей женой Э. И. Книппер (рожденной Бартельс) сильно повлияло тогда на меня. От чуткого Антона Павловича мое душевное состояние не укрылось. Он спросил о причине моей подавленности, но я отделался какой-то шуткой. Я никогда не переписывался с Антоном Павловичем и вдруг 29 июня н/с получаю от него открытку [2]. Почему он написал мне? Все, кто знал его чуткость и внимание к людям, сразу скажут: из-за двух последних слов — «Будьте веселее»...

Это последнее свидание с Антоном Павловичем мне особенно памятно еще по одной детали. Увлекаясь игрой на скрипке и пением, я совершенно не задумывался над политическими событиями, войной с японцами и близостью революции. И когда я выразил надежду на победу русских войск, то отлично помню, как сидевший на диване Антон Павлович, волнуясь, снял пенсне и своим низким голосом веско мне ответил: «Володя, никогда не говорите так, вы, очевидно, не подумали. Ведь наша победа означала бы укрепление самодержавия, укрепление того гнета, в котором мы задыхаемся. Эта победа остановила бы надвигающуюся революцию. Неужели вы *этого* хотите?» [3]

Я был сражен и уехал пристыженный, глубоко задумавшись над этими словами и тем волнением и силой, с которыми они были сказаны Антоном Павловичем.

О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА

О А. П. ЧЕХОВЕ

Бывают в жизни большие, светлые праздники. Таким светлым праздником был в моей жизни 1898 год — год моего окончания драматической школы Филармонического училища в Москве, год открытия Московского Художественного театра, год моей встречи с А. П. Чеховым. И ряд последующих лет был продолжением этого праздника. То были годы радостного созидания, работы, полной любви и самоотвержения, годы больших волнений и крепкой веры.

Мой путь к сцене был не без препятствий. Я росла в семье, не терпевшей нужды. Отец мой, инженер-технолог, был некоторое время управляющим завода в бывшей Вятской губернии, где я и родилась. Родители переехали в Москву, когда мне было два года, и здесь провела я всю свою жизнь. Моя мать была в высшей степени одаренной музыкальной натурой, она обладала прекрасным голосом и была хорошей пианисткой, но, по настоянию отца, ради семьи, не пошла ни на сцену, ни даже в консерваторию. После смерти отца и потери сравнительно обеспеченного существования она стала педагогом и профессором пения при школе Филармонического училища, иногда выступала в концертах и трудно мирилась со своей неудачно сложившейся артистической карьерой.

Я после окончания частной женской гимназии жила, по тогдашним понятиям, «барышней»: занималась языками, музыкой, рисованием. Отец мечтал, чтобы я стала художницей, — он даже показывал мои рисунки Вл. Маковскому, с семьей которого мы были знакомы, — или переводчицей; я в ранней юности переводила сказки, повести и увлекалась переводами. В семье меня, единственную дочь, баловали, но держали далеко от жизни... Товарищ старшего брата, студент-медик, говорил мне о высших женских курсах, о свободной жизни (видя иногда мое подавленное состояние),

и когда заметили, как я жадно слушала эти рассказы, как горели у меня глаза, милого студента тихо удалили на время из нашего дома. А я осталась со своей мечтой о свободной жизни.

Детьми и в ранней юности мы ежегодно устраивали спектакли; смастерили сцену у нас в зале, играли и у нас, и у знакомых, участвовали и в благотворительных вечерах. Но когда мне было уже за двадцать лет и когда мы стали серьезно поговаривать о создании драматического кружка, отец, видя мое увлечение, мягко, но внушительно и категорически прекратил эти мечтания, и я продолжала жить как в тумане, занимаясь то тем, то другим, но не видя цели. Сцена меня манила, но по тогдашним понятиям казалось какой-то дикостью сломать семью, которая окружала меня заботами и любовью, уйти, и куда уйти? Очевидно, и своей решимости и веры в себя было мало.

Резко изменившиеся после внезапной смерти отца материальные условия поставили все на свое место. Надо было думать о куске хлеба, надо было зарабатывать его, так как у нас ничего не осталось, кроме нанятой в большом особняке квартиры, пяти человек прислуги и долгов. Переменили квартиру, отпустили прислугу и начали работать с невероятной энергией, как окрыленные. Мы поселились «коммуной» с братьями матери (один был врач, другой — военный) и работали дружно и энергично. Мать давала уроки пения, я — уроки музыки, младший брат, студент, был репетитором, старший уже служил инженером на Кавказе.

Это было время большой внутренней переработки, из «барышни» я превращалась в свободного, зарабатывающего на свою жизнь человека, впервые увидавшего эту жизнь во всей ее пестроте.

Но во мне вырастала и крепла прежняя, давнишняя мечта — о сцене. Ее поддержало пребывание в течение двух летних сезонов после смерти отца в «Полотняном заводе», майоратном имении Гончаровых, с которыми дружили и родители, и мы, молодежь. Разыскав по архивным документам, что небольшой дом, в котором тогда помещался трактир, имел в прошлом отношение, хотя и весьма смутное, к Пушкину (его жена происходила из того же рода), мы упросили отдать этот дом в наше распоряжение, и вся наша жизнь сосредоточилась в этом доме. Мы устроили сцену и начали дружно составлять программу народного театра. Мы играли Островского, водевили с пением, пели, читали в концертах. Наша маленькая труппа пополнялась

рабочими и служащими писчебумажной фабрики Гончаровых. Когда в 1898 году мы открывали Художественный театр «Царем Федором», я получила трогательный адрес с массой подписей от рабочих Полотняного завода, — это была большая радость, так как Полотняный завод оставил в моей памяти незабываемое впечатление на всю мою жизнь.

Мало-помалу сцена делалась для меня осознанной и желанной целью. Никакой другой жизни, кроме артистической, я уже себе не представляла. Потихоньку от матери подготовила я с трудом свое поступление в драматическую школу при Малом театре, была принята очень милостиво, прозанималась там месяц, как вдруг неожиданно был назначен «проверочный» экзамен, после которого мне было предложено оставить школу, но сказано, что я не лишена права поступления на следующий год. Это было похоже на издевательство. Как впоследствии выяснилось, я из числа четырех учениц была единственной, принятой без протекции, а теперь нужно было устроить еще одну, поступавшую с сильной протекцией, отказать нельзя было. И вот я была устранена.

Это был для меня страшный удар, так как вопрос о театре стоял для меня тогда уже очень остро — быть или не быть, вот — солнце, вот — тьма. Мать, видя мое подавленное состояние и несмотря на то, что до этого времени была очень против моего решения идти на сцену, устроила через своих знакомых директоров Филармонии мое поступление в драматическую школу, хотя прием туда уже целый месяц как был прекращен.

Три года я пробыла в школе по классу Вл. И. Немировича-Данченко и А. А. Федотова, одновременно бегая по урокам, чтоб иметь возможность платить за учение и зарабатывать на жизнь.

Зимой 1897/98 года я кончала курс драматической школы. Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве какого-то нового, «особенного» театра; уже появлялась в стенах школы живописная фигура Станиславского с седыми волосами и черными бровями, и рядом с ним характерный силуэт Санина; уже смотрели они репетицию «Трактирщицы» [1], во время которой сладко замирало сердце от волнения; уже среди зимы учитель наш, Вл. И. Немирович-Данченко, говорил М. Г. Савицкой, мне и некоторым другим моим товарищам, что мы будем оставлены в этом театре, и мы бережно хранили эту тайну... И вот тянулась зима, надежда то крепла, то, казалось,

совсем пропадала, пока шли переговоры... И уже наш третий курс волновался пьесой Чехова «Чайка», уже заразил нас Владимир Иванович своей трепетной любовью к ней, и мы ходили неразлучно с желтым томиком Чехова [2], и читали, и перечитывали, и не понимали, как можно играть эту пьесу, но все сильнее и глубже охватывала она наши души тонкой влюбленностью, словно это было предчувствие того, что в скором времени должно было так слиться с нашей жизнью и стать чем-то неотъемлемым, своим, родным.

Все мы любили Чехова-писателя, он нас волновал, но, читая «Чайку», мы, повторяю, недоумевали: возможно ли ее играть? Так она была непохожа на пьесы, шедшие в других театрах.

Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил о «Чайке» с взволнованной влюбленностью и хотел ее ставить на выпускном спектакле. И когда обсуждали репертуар нашего начинающегося молодого дела, он опять убежденно и проникновенно говорил, что непременно пойдет «Чайка». И «Чайкой» все мы волновались, и все, увлекаемые Владимиром Ивановичем, были тревожно влюблены в «Чайку». Но, казалось, пьеса была так хрупка, нежна и благоуханна, что страшно было подойти к ней и воплотить все эти образы на сцене...

Прошли наши выпускные экзамены, происходившие на сцене Малого театра. И вот наконец я у цели, я достигла того, о чем мечтала, я актриса, да еще в каком-то новом, необычном театре.

14/26 июня 1898 года в Пушкине произошло слияние труппы нового театра: члены Общества искусства и литературы, возглавляемого К. С. Станиславским, и мы, кончившие школу Филармонии, с Вл. И. Немировичем-Данченко, нашим руководителем, во главе. Началось незабываемое лето в Пушкине [3], где мы готовили пьесы к открытию. Для репетиций нам было предоставлено выстроенное в парке знакомых К. С. летнее здание со сценой и одним рядом стульев. Началась работа над «Царем Федором Иоанновичем», «Шейлоком», «Ганнеле» [4], а затем принялись за «Чайку», уже к осени.

Приступали мы к работе с благоговением, с трепетом и с большой любовью, но было страшно! Так недавно бедная «Чайка» обломала крылья в Петербурге в первоклассном театре, и вот мы, никакие актеры, в театре, никому не известном, смело и с верой беремся за пьесу любимого писателя. Приходит сестра Антона Павловича Мария Пав-

ловна и тревожно спрашивает, что это за отважные люди, решающиеся играть «Чайку» после того, как она доставила столько страданий Чехову, — спрашивает, тревожась за брата.

А мы работаем, мучаемся, падаем духом, опять уповаем. Трудно было работать еще потому, что все мало знали друг друга, только приглядывались. Константин Сергеевич как-то не сразу почувствовал пьесу, и вот Владимир Иванович со свойственным ему одному умением «заражать» заражает Станиславского любовью к Чехову, к «Чайке».

Я вступала на сцену с твердой убежденностью, что ничто и никогда меня не оторвет от нее, тем более что в личной жизни моей прошла трагедия разочарования первого юного чувства. Театр, казалось мне, должен был заполнить один все стороны моей жизни.

Но на самом пороге этой жизни, как только я приступила к давно грезившейся мне деятельности, как только началась моя артистическая жизнь, органически слитая с жизнью нарождавшегося нашего театра, этот самый театр и эта самая жизнь столкнули меня с тем, что я восприняла как «явление» на своем горизонте, что заставило меня глубоко задуматься и сильно пережить, — я встретилась с Антоном Павловичем Чеховым [5].

А. П. Чехов последних шести лет — таким я знала его: Чехов, слабеющий физически и крепнущий духовно...

Впечатление этих шести лет — какого-то беспокойства, метания, — точно чайка над океаном, не знающая, куда присесть: смерть его отца, продажа Мелихова, продажа своих произведений А. Ф. Марксу, покупка земли под Ялтой, устройство дома и сада и в то же время сильное тяготение к Москве, к новому своему, театральному делу; метание между Москвой и Ялтой, которая казалась уже тюрьмой; женитьба [6], поиски клочка земли недалеко от трогательно любимой Москвы и уже почти осуществление мечты — ему разрешено было врачами провести зиму в Средней России; мечты о поездке по северным рекам, в Соловки, в Швецию, в Норвегию, в Швейцарию, и мечта последняя и самая сильная, уже в Шварцвальде, в Баденвейлере, перед смертью, — ехать в Россию через Италию, манившую его своими красками, соком жизни, главное — музыкой и цветами, — все эти метания, все мечты были кончены 2/15 июля 1904 года его собственными словами: «Ich sterbe» (Я умираю).

Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что

внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту, но все же, когда оглядываешься назад, то кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий [8].

«Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству» [9], — писал как-то Антон Павлович.

Казалось бы, очень просто разрешить эту задачу — бросить театр и быть при Антоне Павловиче. Я жила этой мыслью и боролась с ней, потому что знала и чувствовала, как ломка моей жизни отразилась бы на нем и тяготила бы его. Он никогда бы не согласился на мой добровольный уход из театра, который и его живо интересовал и как бы связывал его с жизнью, которую он так любил. Человек с такой тонкой духовной организацией, он отлично понимал, что значил бы для него и для меня мой уход со сцены, он ведь знал, как нелегко досталось мне это жизненное самоопределение [10].

Мы встретились впервые 9/21 сентября 1898 года — знаменательный и на всю жизнь не забытый день.

До сих пор помню все до мелочей, и трудно говорить словами о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас, актеров нового театра, при первой встрече с любимым писателем, имя которого мы, воспитанные Вл. И. Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением.

Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича о том, что завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на репетиции «Чайки», ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А. П. Чеховым.

Все мы были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумения «учить», «показывать». Не знали, как и о чем говорить... И он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая «античные» урны, которые изготовлялись для спектакля «Антигоны» [11].

Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и общо,

и не знали мы, как принять его замечания — серьезно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу и от едва уловимой характерной черточки начинает проясняться вся суть человека.

Один из актеров [12], например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Мы не скоро привыкли к этой манере общения с нами автора, и много было впоследствии невыясненного, непонятого, в особенности когда мы начинали горячиться; но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания.

И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни.

Второй раз Чехов появился на репетиции «Царя Федора» уже в «Эрмитаже», в нашем новом театре, где мы предполагали играть сезон. Репетировали мы вечером в сыром, холодном, далеко еще не готовом помещении, без пола, с огарками в бутылках вместо освещения, сами закутанные в пальто. Репетировали сцену примирения Шуйского с Годуновым, и такими необычными казались звуки наших собственных голосов в этом темном, сыром, холодном пространстве, где не видно было ни потолка, ни стен, с какими-то грустными громадными, ползающими тенями... и радостно было чувствовать, что там, в пустом темном партере, сидит любимая нами всеми «душа» и слушает нас.

На другой день, в дождливую, сырую погоду, Чехов уезжал на юг, в тепло, в нелюбимую им тогда Ялту.

17 декабря 1898 года мы играли «Чайку» в первый раз. Наш маленький театр был не совсем полон. Мы уже сыграли и «Федора» и «Шейлока»; хоть и хвалили нас, однако составилось мнение, что обстановка, костюмы необыкновенно жизненны, толпа играет исключительно, но... «актеров пока не видно», хотя Москвин прекрасно и с большим успехом сыграл Федора. И вот идет «Чайка», в которой нет ни обстановки, ни костюмов — один актер. Мы все точно готовились к атаке. Настроение было серьезное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали, все насыщенные любовью к Чехову и к новому нашему молодому театру, точно боялись расплескать эти две любви, и несли мы их с каким-то счастьем, и страхом, и упованием. Владимир Иванович от волнения не входил даже в ложу весь первый акт, а бродил по коридору.

Первые два акта прошли... Мы ничего не понимали... Во

время первого акта чувствовалось недоумение в зале, беспокойство, даже слышались протесты — все казалось новым, неприемлемым: и темнота на сцене, и то, что актеры сидели спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта... И вот по окончании его — тишина какие-то несколько секунд, и затем что-то случилось, точно плотину прорвало, мы сразу не поняли даже, что это было; и тут-то началось какое-то безумие, когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя ноги, голова, тело... Все слилось в одно сумасшедшее ликование, зрительный зал и сцена были как бы одно, занавес не опускался, мы все стояли, как пьяные, слезы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели взволнованные голоса, говорившие что-то, требовавшие послать телеграмму в Ялту...[13] И «Чайка» и Чехов-драматург были реабилитированы.

Чем же мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные и не так уж прекрасно играли «Чайку», но, думается, что вот эти две любви — к Чехову и к нашему театру, которыми мы были полны до краев и которые мы несли с таким счастьем и страхом на сцену, — не могли не перелиться в души зрителей. Они-то и дали нам эту радость победы...

Следующие спектакли «Чайки» пришлось отменить из-за моей болезни — я первое представление играла с температурой 39° и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем. И нервы не выдержали; первые дни болезни никого не пускали ко мне; я лежала в слезах, негодуя на свою болезнь. Первый большой успех — и нельзя играть!

А бедный Чехов в Ялте, получив поздравительные телеграммы и затем известие об отмене «Чайки», решил, что опять полный неуспех, что болезнь Книппер — только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке «Чайки».

К Новому году я поправилась, и мы с непрерывающимся успехом играли весь сезон нашу «Чайку».

Весной приезжает Чехов в Москву[14]. Конечно, мы хотели непременно показать «Чайку» автору, но... у нас не было своего театра. Сезон кончался, с началом великого поста кончалась и аренда нашего театра. Мы репетировали где попало, снимая на Бронной какой-то частный театр. Решили на один вечер снять театр «Парадиз» на Большой Никитской, где всегда играли в Москве приезжие иностранные гастролеры. Театр нетопленый, декорации не наши, обстановка угнетающая после всего «нашего», нового, связанного с нами.

По окончании четвертого акта, ожидая, после зимнего успеха, похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть...». Он был со многим не согласен, главное с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что-то не ладилось в этот раз. Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его, доказывая, что причина неудачной нашей игры в том, что мы давно не играли (весь пост), а все актеры настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неуютной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно и необычно для него протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе.

Была радостная, чудесная весна, полная волнующих переживаний: создание нового нашего театра, итоги первого сезона, успех и неуспех некоторых постановок, необычайная наша сплоченность и общее волнение и трепет за каждый спектакль; большой, исключительный успех «Чайки», знакомство с Чеховым, радостное сознание, что у нас есть «свой», близкий нам автор, которого мы нежно любили, — все это радостно волновало и наполняло наши души. Снимались с автором — группа участвующих в «Чайке», и в середине Чехов, якобы читающий пьесу. Уже говорили о постановке «Дяди Вани» в будущем сезоне.

Этой весной я ближе познакомилась с Чеховым и со всей его милой семьей. С сестрой его Марией Павловной мы познакомились еще зимой и как-то сразу улыбнулись друг другу. Помню, А. Л. Вишневский привел Марию Павловну ко мне в уборную в один из спектаклей «Чайки».

Помню солнечные весенние дни, первый день пасхи, веселое смятение колоколов, наполнявших весенний воздух чем-то таким радостным, полным ожидания... И в первый день пасхи пришел вдруг Чехов с визитом, он, никуда и никогда не ходивший в гости...

В такой же солнечный весенний день мы пошли с ним на выставку картин, смотреть Левитана, его друга, и были свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной «Стога сена при лунном свете», — так это казалось ново и непонятно.

Чехов, Левитан и Чайковский — эти три имени связаны одной нитью, и, правда, они были певцами прекрасной

русской лирики, они были выразителями целой полосы русской жизни.

Именно Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, «невообразимо прекрасной» жизни.

И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать; а он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос: как надо жить? Учить он не умел и не любил... Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет, а они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком...

Помню, когда я везла тело Антона Павловича из Баденвейлера в Москву, на одной глухой, заброшенной, никому не известной станции, стоявшей одиноко среди необозримого пространства, подошли две робкие фигуры с полными слез глазами и робко и бережно прикрепили какие-то простые полевые цветы к грубым железным засовам запечатанного товарного вагона, в котором стоял гроб с телом Чехова. Это, конечно, были люди — не герои, из тех, которые приходили к нему «посидеть», чтобы после молчаливого визита уйти с новой верой в жизнь.

Не могу не пережить в памяти первого и последнего посещения студии Левитана (он вскоре скончался), не могу не вспомнить тишины и прелести тех нескольких часов, когда он показывал свои картины и этюды Марии Павловне и мне. Сильно волнуясь (у него была болезнь сердца), бледный, с горячими красивыми глазами, Левитан говорил о мучениях, которые он испытывал в продолжение шести лет, пока он не сумел передать на холсте лунную ночь средней полосы России, ее тишину, ее прозрачность, легкость, даль, пригорок, две-три нежные березки... И действительно, это была одна из замечательнейших его картин [15].

Три чудесных весенних солнечных дня провела я в Мелихове, небольшом имении Чеховых под Серпуховом. Все там дышало уютом, простой здоровой жизнью, чувствовалась хорошая, любовная атмосфера семейной жизни. Очаровательная матушка Антона Павловича, тихая, русская женщина, с юмором, которую я нежно любила, Антон

Павлович, такой радостный, веселый... Он показывал свои «владения»: пруд с карасями, которыми гордился, — он был страстный рыболов, — огород, цветник. Он очень любил садоводство, любил все, что дает земля. Вид срезанных или сорванных цветов наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату. Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где написана была «Чайка», и сад, и пруд, и цветущие фруктовые деревья, и телята, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке, — казалось, что шла Маша с Медведенко, — пленяли радушие, ласковость, уют, беседы, полные шуток, остроумия...

Это были три дня, полные чудесного предчувствия, полные радости, солнца... «Какие чувства — чувства, похожие на нежные, изящные цветы...» [16]

Кончился сезон, и я уехала отдыхать на Кавказ, где жил мой брат с семьей на даче около Мцхета. К этому периоду относится начало нашей переписки [17]. Еще в Москве я обещала приехать с Кавказа в Крым, где Антон Павлович купил участок земли и строил дом. Письмами мы сговорились встретиться на пароходе в Новороссийске около 20 июля и вместе приехали в Ялту, где я остановилась в семье доктора Л. В. Средина, с которой была дружна вся наша семья. А Антон Павлович жил на набережной в гостинице «Марино», откуда он ходил ежедневно на постройку своего дома в Аутку. Он плохо питался, так как никогда не думал о еде, уставал, и как мы с Срединым ни старались зазывать его под разными предлогами, чтобы устроить ему нормальное питание, это удавалось очень редко: Антон Павлович не любил ходить «в гости» и избегал обедов не у себя дома, хотя к Срединым он относился с симпатией. У них было всегда так просто и радушно, и все, что бывало в Ялте из мира артистического, литературного и музыкального, все это посещало всегда Срединых (Горький, Аренский, Васнецов, Ермолова).

Место, которое Антон Павлович приобрел для постройки дома, было далеко от моря, от набережной, от города и представляло собой в полном смысле слова пустырь с несколькими грушевыми деревьями.

Но вот стараниями Антона Павловича, его большой любовью ко всему, что родит земля, этот пустырь понемногу превращается в чудесный, пышный, разнообразный сад.

За постройкой дома Антон Павлович следил сам, ездил на работы и наблюдал. В городе его часто можно было

видеть на набережной, в книжном магазине И. А. Синани, к которому Антон Павлович относился с большой симпатией, к нему и его семье. Исаак Абрамович был очень предан Антону Павловичу, с каким-то благоговением помогал ему хлопотать о приобретении Кучук-Коя и участка под Ялтой, наблюдал, помогал советами, исполнял трогательно все поручения.

Около магазина была скамейка, знаменитая скамейка, где сходились, встречались, сидели и болтали все приезжавшие в Ялту «знаменитости»: и литераторы, и певцы, и художники, и музыканты... У Исаака Абрамовича была в магазине книга, в которой расписывались все эти «знаменитости» (и он гордился тем, что все это общество сходилось у него); у него же в магазине и на скамейке узнавались все новости, все, что случалось и в небольшой Ялте и в большом мире. И всегда тянуло пойти на ослепительно белую, залитую солнцем набережную, вдыхать там теплый, волнующий аромат моря, щуриться и улыбаться, глядя на лазурный огонь морской поверхности, тянуло поздороваться и перекинуться несколькими фразами с ласковым хозяином, посмотреть полки с книгами, нет ли чего новенького, узнать, нет ли новых приехавших, послушать невинные сплетни...

В августе мы с Антоном Павловичем вместе уехали в Москву, ехали на лошадях до Бахчисарая, через Ай-Петри... Хорошо было покачиваться на мягких рессорах, дышать напоенным запахом сосны воздухом и болтать в милом, шутливом, чеховском тоне и подремывать, когда сильно припекало южное солнце и морило душу зноем. Хорошо было ехать через живописную долину Коккоза, полную какого-то особенного очарования и прелести...

Дорога шла мимо земской больницы, расположенной в некотором отдалении от шоссе. На террасе стояла группа людей, отчаянно махавших руками в нашем направлении и как будто что-то кричавших... Мы ехали, углубившись в какой-то разговор, и хотя видели суетившихся людей, но все же не подумали, что это могло относиться к нам, и решили, что это сумасшедшие... Впоследствии оказалось, что это были не сумасшедшие, а группа ялтинских знакомых нам докторов, бывших в больнице на какой-то консультации и усиленно старавшихся остановить нас... Этот эпизод потом был источником смеха и всевозможных анекдотов.

В Москве Антон Павлович пробыл недолго и в конце августа уехал обратно в Ялту, а уже с 3 сентября возобновилась наша переписка.

В сезон 1899/900 года мы играли «Дядю Ваню».

С «Дядей Ваней» не так было благополучно. Первое представление похоже было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно: мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова, надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни, а главное — надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, — сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата, всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.

В «Дяде Ване» не все мы сразу овладели образами, но чем дальше, тем сильнее и глубже вживались в суть пьесы, и «Дядя Ваня» на многие-многие годы сделался любимой пьесой нашего репертуара. Вообще пьесы Чехова не вызывали сразу шумного восторга, но медленно, шаг за шагом, внедрялись глубоко и прочно в души актеров и зрителей и обволакивали сердца своим обаянием. Случалось не играть некоторые пьесы несколько лет, но при возобновлении никогда у нас, артистов и режиссеров, не было такого отношения: ах, опять старое возобновлять! К каждому возобновлению приступали мы с радостью, репетировали пьесу, как новую, и находили в ней все новое и новое...

В конце марта труппа Художественного театра решила приехать в Крым с пьесами «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» и «Гедда Габлер».

Я приехала еще на страстной с Марией Павловной, и как казалось уютно и тепло в этом новом доме, который летом только еще строился и был нежилым... Все интересовало, каждый пустяк; Антон Павлович любил ходить и показывать и рассказывать, чего еще нет и что должно быть со временем; и, главное, занимал его сад, фруктовые посадки...

С помощью сестры, Марии Павловны, Антон Павлович сам рисует план сада, намечает, где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами, и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же как березка: налетела буря, ветер сломал хрупкое белое

деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея акаций выросла невероятно быстро, длинные и гибкие, они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое... На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета... Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь — все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда — был вечный недостаток в воде, пока наконец Аутку не присоединили к Ялте и не явилась возможность устроить водопровод.

По утрам Антон Павлович обыкновенно сиживал в саду, и при нем всегдашние адъютанты — две собаки-дворняжки, которые откуда-то появились и прижились очень быстро благодаря симпатии, с которой Антон Павлович относился к ним, и два журавля с подрезанными крыльями, которые всегда были около людей, но в руки не давались. Журавли эти были очень привязаны к Арсению (дворнику и садовнику вместе), очень тосковали, когда он отлучался. О возвращении Арсения из города весь дом знал по крику этих серых птиц и странным движениям, которыми они выражали свою радость, — что-то вроде вальса.

В это же время был в Ялте и А. М. Горький [19], входивший в славу тогда быстро и сильно, как ракета. Он бывал у Антона Павловича и как чудесно, увлекательно, красочно рассказывал о своих скитаниях. И он сам и то, что он рассказывал, — все казалось таким новым, свежим, и долго молча сидели мы в кабинете Антона Павловича и слушали...

Тихо, уютно и быстро прошла страстная неделя, неделя отдыха, и надо было ехать в Севастополь, куда прибыла труппа Художественного театра. Помню, какое чувство одиночества охватило меня, когда я в первый раз в жизни осталась в номере гостиницы, да еще в пасхальную ночь, да еще после ласковости и уюта чеховской семьи... Но уже начались приготовления к спектаклям, приехал Антон Павлович, и жизнь завертелась... Начался какой-то весенний праздник... Переехали в Ялту — и праздник стал еще ярче, нас буквально засыпали цветами... Закончился этот праздник феерией на крыше дачи гостеприимной Ф. К. Татариновой, которая с такой любовью относилась

к нашему молодому театру и не знала, как и чем выразить свое поклонение Станиславскому и Немировичу-Данченко, создавшим этот театр. Артисты приезжали часто к Антону Павловичу, обедали, бродили по саду, сидели в уютном кабинете, и как нравилось все это Антону Павловичу, — он так любил жизнь подвижную, кипучую, а тогда у нас все надеялось, кипело, радовалось...

Жаль было расставаться и с югом, и с солнцем, и с Чеховым, и с атмосферой праздника... но надо было ехать в Москву репетировать. Вскоре приехал в Москву и Антон Павлович, ему казалось пусто в Ялте после жизни и смятения, которые внес приезд нашего театра, но в Москве он почувствовал себя нездоровым и быстро вернулся на юг [20].

Я в конце мая уехала с матерью на Кавказ, и каково было мое удивление и радость, когда в поезде Тифлис — Батум я встретила Антона Павловича, Горького, Васнецова, доктора Алексина, ехавших в Батум [21]. Ехали мы вместе часов шесть, до станции Михайлове, где мы с матерью пересели на Боржомскую ветку.

В июле я снова гостила у Чеховых в Ялте.

Переписка возобновилась с моего отъезда в Москву в начале августа и прервалась приездом Антона Павловича в Москву с пьесой «Три сестры».

Когда Антон Павлович прочел нам, артистам и режиссерам, долго ждавшим новой пьесы от любимого автора, свою пьесу «Три сестры», воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось: «Это же не пьеса, это только схема...», «Этого нельзя играть, нет ролей, какие-то намеки только...» Работа была трудная, много надо было распахивать в душах...

Но вот прошло несколько лет, и мы уже с удивлением думали: неужели эта наша любимая пьеса, такая насыщенная переживаниями, такая глубокая, такая значительная, способная затрагивать самые скрытые прекрасные уголки души человеческой, неужели эта пьеса могла казаться не пьесой, а схемой и мы могли говорить, что нет ролей?

В 1917 году, после Октябрьской революции, одной из первых пьес, которые мы играли, была пьеса «Три сестры», и у всех было такое чувство, что мы раньше играли ее бессознательно, не придавая значения вложенным в нее мыслям и переживаниям, а главное — мечтам. И впрямь

иначе зазвучала вся пьеса, почувствовалось, что это были не просто мечты, а какие-то предчувствия и что действительно «надвинулась на нас всех громада», сильная буря сдула «с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку...» [22].

В середине декабря Антон Павлович отправился на юг Франции, в Ниццу, где он прожил около трех месяцев, сильно волнуясь ходом работ в театре над постановкой пьесы «Три сестры».

В Москве он смотрел «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». К Ибсену Антон Павлович относился как-то недоверчиво и с улыбкой, он казался ему сложным, непростым и умствующим. Постановке «Снегурочки» [23] Антон Павлович тоже не очень сочувствовал; он говорил, что пока мы не должны ставить таких пьес, а придерживаться пьес типа «Одиноких».

Наша возобновившаяся переписка тянулась с 11 декабря по 18 марта 1901 года. В начале апреля я ненадолго приезжала в Ялту, а с половины апреля (до половины мая) шла опять переписка.

Таковы были внешние факты. А внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

В половине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву. 25 мая мы повенчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть по железной дороге — в Андреевский санаторий около станции Аксеново. По дороге навестили в Нижнем Новгороде А. М. Горького, отбывавшего домашний арест [24].

У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то

покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен Пьяный Бор [25].

В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в Уфу. Кумыс сначала пришелся по вкусу Антону Павловичу, но вскоре надоел, и, не выдержав шести недель, мы отправились в Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращаться в Москву: возобновлялась театральная работа.

И опять начинаются разлуки и встречи, только расставания становятся еще чувствительнее и мучительнее, и уже через несколько месяцев я стала сильно подумывать, не бросить ли сцену. Но рядом вставал вопрос: нужна ли Антону Павловичу просто жена, оторванная от живого дела? Я чуяла в нем человека-одиночку, который, может быть, тяготился бы ломкой жизни своей и чужой. И он так дорожил связью через меня с театром, возбудившим его живейший интерес.

Я невольно с необычайной остротой вспомнила все эти переживания, когда много лет спустя, при издании писем Антона Павловича, я прочла его слова, обращенные к А. С. Суворину еще в 1895 году: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне (он жил тогда в Мелихове), и я буду к ней ездить. Счастья же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день» [26].

Я не знала тогда этих слов, но чувствовала, что я нужна ему такая, какая я есть, и все-таки после моей тяжелой болезни в 1902 году я опять серьезно говорила с нашими директорами о своем уходе из театра, но встретила сильный отпор. Антон Павлович тоже восставал, хотя и воздерживался от окончательного решения. Я понимала причину его сдержанности, но никогда мы не трогали ее словами и не говорили о том, что мешало нам до конца соединить жизнь,

и только в письмах у меня появлялись недоговоренности, и подозрительность, и иногда раздражение.

Так и потекла жизнь — урывками, с учащенной перепиской в периоды разлуки.

С этой поры жизнь Антона Павловича больше, чем прежде, делится между Москвой и Ялтой. Начались частые встречи и проводы на Курском вокзале и на вокзале в Севастополе. В Ялте ему «надо» было жить, в Москву «тянуло» все время. Хотелось быть ближе к жизни, наблюдать ее, чувствовать, участвовать в ней, хотелось видеть людей, которые хотя иногда и утомляли его своими разговорами, но без которых он жить не мог: не в его силах было отказывать человеку, который пришел с тем, чтобы повидать его и побеседовать с ним.

В Ялте привлекали сначала только постройка дома, разбивка сада, устройство жизни, а впоследствии он свыкся с ней, хотя и называл ее своей «теплой Сибирью». В Москву все время стремился, стремился быть ближе к театру, быть среди актеров, ходить на репетиции, болтать, шутить, смотреть спектакли, любил пройтись по Петровке, по Кузнецкому, посмотреть на магазины, на толпу. Но в самый живой период московской жизни ему приходилось быть вдали от нее. Только зиму 1903—1904 года доктора разрешили ему провести в столице, и как он радовался и умилялся на настоящую московскую снежную зиму, радовался, что можно ходить на репетиции, радовался, как ребенок, своей новой шубе и бобровой шапке.

Мы эту зиму приискивали клочок земли с домом под Москвой, чтобы Антон Павлович мог и в дальнейшем зимовать близко от нежно любимой Москвы (никто не думал, что развязка так недалека). И вот мы поехали в один солнечный февральский день в Царицыно, чтобы осмотреть маленькую усадьбу, которую нам предлагали купить [27]. Обратно (не то мы опоздали на поезд, не то его не было) пришлось ехать на лошадях верст около тридцати. Несмотря на довольно сильный мороз, как наслаждался Антон Павлович видом белой, горевшей на солнце равнины и скрипом полозьев по крепкому, укатанному снегу! Точно судьба решила побаловать его и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку «Вишневого сада», и людей, которых он так любил...

Работа над «Вишневым садом» была трудная, мучительная, я бы сказала. Никак не могли понять друг друга, сговориться режиссеры с автором.

Но все хорошо, что хорошо кончается, и после всех препятствий, трудностей и страданий, среди которых рождался «Вишневый сад», мы играли его с 1904 года до наших дней и ни разу не снимали его с репертуара, между тем как другие пьесы отдыхали по одному, по два, три года.

«Вишневый сад» мы впервые играли 17/30 января 1904 года, в день именин Антона Павловича.

Первое представление «Вишневого сада» было днем чествования Чехова литераторами и друзьями. Его это утомляло, он не любил показных торжеств и даже отказался приехать в театр. Он очень волновался постановкой «Вишневого сада» и приехал только тогда, когда за ним послали.

Первое представление «Чайки» было торжеством в театре, и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством. Но как непохожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не знаю, может быть, теперь эти события окрасились так благодаря всем последующим, но что не было ноты чистой радости в этот вечер 17 января — это верно. Антон Павлович очень внимательно, очень серьезно слушал все приветствия, но временами он вскидывал голову своим характерным движением, и казалось, что на все происходящее он смотрит с высоты птичьего полета, что он здесь ни при чем, и лицо освещалось его мягкой, лучистой улыбкой, и появлялись характерные морщины около рта, — это он, вероятно, услышал что-нибудь смешное, что он потом будет вспоминать и над чем неизменно будет смеяться своим детским смехом.

Вообще Антон Павлович необычайно любил все смешное, все, в чем чувствовался юмор, любил слушать рассказы смешные и, сидя в уголке, подперев рукой голову, пощипывая бородку, заливался таким заразительным смехом, что я часто, бывало, переставала слушать рассказчика, воспринимая рассказ через Антона Павловича. Он очень любил фокусников, клоунов. Помню, мы с ним как-то в Ялте долго стояли и не могли оторваться от всевозможных фокусов, которые проделывали дрессированные блохи. Любил Антон Павлович выдумывать — легко, изящно и очень смешно, это вообще характерная черта чеховской семьи. Так, в начале нашего знакомства большую роль у нас играла «Наденька», якобы жена или невеста Антона Павловича, и эта «Наденька» фигурировала везде и всюду, ничто в наших отношениях не обходилось без «Наденьки», — она нашла себе место и в письмах[28].

Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. Это было в Баденвейлере. После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки — одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого н е т , — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!

В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы — ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины[29].

Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку...

Пришел доктор[30], велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору

по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe...»

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского...», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского... Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти...

И у меня сознание горя, потери такого человека, как Антон Павлович, пришло только с первыми звуками пробуждающейся жизни, с приходом людей, а то, что я испытывала и переживала, стоя одна на балконе и глядя то на восходящее солнце и на звенящее пробуждение природы, то на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего что-то, — это для меня, повторяю, пока остается тайной неразгаданности... Таких минут у меня в жизни не было и не будет...

1921—1933

КОММЕНТАРИИ

Мемуарная литература об А. П. Чехове весьма обширна и очень популярна. Сборники воспоминаний о писателе в советские годы выходили в четырех изданиях (в 1947, 1952, 1954 и в 1960 годах), но давно уже стали библиографической редкостью. За прошедшие, после последнего издания, четверть века чеховедение шагнуло далеко вперед. Написано много книг, монографий, диссертаций, исследований о Чехове, вышло несколько сборников научных статей о жизни и творчестве писателя, наконец, издательством АН СССР выпущено Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова в тридцати томах, а также два сборника «Литературного наследства» (тт. 68 и 87). В печати появилось много воспоминаний о Чехове, как впервые опубликованных, так и затерянных ранее в разных изданиях — малодоступных, а иногда и совсем недоступных, для широкого читателя. Выявлению новых воспоминаний содействовала опубликованная в «Литературном наследстве» (т. 68) большая работа Э. А. Полоцкой: «Библиография воспоминаний о Чехове». Конечно, включить в один сборник все богатство чеховской мемуаристики просто невозможно, и всегда остаются за бортом какие-то ценные, достойные читательского внимания воспоминания.

Для настоящего издания было тщательно пересмотрено содержание сборника 1960 года, от некоторых мемуаров пришлось отказаться. Так, совсем сняты широко известные воспоминания братьев Чехова, тем более что недавно издательство «Художественная литература» выпустило обширные мемуары М. П. Чехова «Вокруг Чехова» (1981), посвященные преимущественно детским и юношеским годам писателя. Это изъятие дало возможность восстановить в сборнике воспоминания И. Л. Леонтьева-Щеглова и Т. Л. Щепкиной-Куперник, впервые включить мемуары К. А. Коровина, А. А. Хотяинцевой, М. Е. Плотова, М. М. Читау, В. А. Лазаревского, В. А. Поссе, Н. П. Ульянова, В. П. Тройнова, В. Л. Книппер-Нардова.

Специфика мемуаров не дает возможности расположить их в строгом соответствии с биографией писателя, но, насколько это допустимо, хронологический принцип в сборнике выдержан. В отличие от прежних, этот сборник открывается мемуарами не о детских, а о юношеских, студенче-

ских годах жизни писателя. Тексты включенных в сборник мемуаров по возможности сверены с первоисточниками.

Авторы воспоминаний приводят иногда цитаты из писем Чехова с небольшими неточностями. В этих случаях письма оставлены так, как они приведены мемуаристами.

Все письма А. П. Чехова в комментариях цитируются по Полному собранию сочинений и писем в тридцати томах (М., Наука, 1974—1983) без отсылок.

В воспоминаниях, связанных с жизнью Чехова за границей, иногда мемуаристами дается двойная датировка.

Сделанные в некоторых случаях сокращения в текстах и в цитатах комментария помечены знаком <...>. Имена, раскрытые в текстах мемуаров, даны в квадратных скобках.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (Москва).

Горький — Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1949—1956.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы Академии Наук СССР (Ленинград).

Летопись — Гитович Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.

ЛН — Литературное наследство. М., Наука.

Переписка — Переписка А. П. Чехова в двух томах. М., Художественная литература, 1984.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

Чехов в восп. — А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960.

К. А. КОРОВИН

ИЗ МОИХ ВСТРЕЧ С ЧЕХОВЫМ

(Стр. 26)

Впервые — Россия и славянство. Париж, 1929, № 33, 13 июля. Печатается по тексту: *ЛН,* т. 68, с. 550.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), художник. Чехов познакомился с ним через брата Николая в самом начале 80-х годов, когда

был студентом медицинского факультета Московского университета, а Коровин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества вместе с И. И. Левитаном и братом Чехова.

[1] В меблированных комнатах «Восточные номера» жил брат Чехова, художник Николай Павлович. Антон Павлович часто приходил в его номер заниматься, так как дома обстановка для занятий была неподходящей.

[2] Левитан только представил в Совет преподавателей свою картину на соискание большой серебряной медали, но награжден не был. В 1877 и 1882 гг. Левитан получал в Училище малые серебряные медали.

[3] Выпускные экзамены в университете у А. П. Чехова были в 1884 г.

[4] В другом варианте воспоминаний К. А. Коровина, озаглавленном «Случай с Аполлоном», художник так рассказал о встрече с Чеховым после получения медали: «Мы <...> поехали к Антону Павловичу Чехову звать его в Сокольники. А. П. Чехов посмотрел на наши медали и сказал:

— Ерунда! Ненастоящие.

— Как ненастоящие? — удивился Левитан.

— Конечно. Ушков-то нет. Носить нельзя. Вас обманули — ясно.

— Да их и не носят, — уверяли мы.

— Не носят... ну вот. Я и говорю, что ерунда. Посмотрите у городовых, вот это медали. А это что? — Обман» (Возрождение. Париж, 1931, № 2252, 2 августа).

[5] О встречах с Коровиным весной 1904 г. Чехов писал О. Л. Книппер-Чеховой 7 апреля: «Два дня подряд приходили и сидели подолгу художники Коровин и бар. Клодт; первый говорлив и интересен, второй молчалив, но и в нем чувствуется интересный человек».

[6] Перефразировано стихотворение А. С. Пушкина «Талисман» (1827): «Там, где море вечно плещет».

[7] Коровин еще при жизни Чехова написал несколько этюдов, на которых был виден чеховский домик в Гурзуфе. М. П. Чехова писала Антону Павловичу 13 апреля 1904 г.: «Есть два очень интересных этюда гурзуфских около нашей дачи».

В. Г. КОРОЛЕНКО

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

(Стр. 34)

Впервые — Русское богатство, 1904, № 7. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 135.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель.

4 июля 1904 года Короленко, живший летом в деревне Джанхот возле

Новороссийска, получил телеграмму о смерти Чехова, и 6 июля в его записной книжке-дневнике появилась запись, озаглавленная «Смерть Чехова»: «Вчера из Новороссийска мне прислали телеграмму: в Баденвейлере (Шварцвальд) умер от чахотки А. П. Чехов. Я знал Чехова с 80-х годов и чувствовал к нему искреннее расположение. Думаю, что и он тоже. Он был человек прямой и искренний, а иные его обращения ко мне дышали именно личным расположением. <...> ...чувство, которое я к нему испытывал, без преувеличения можно назвать любовью» (*ЛН,* т. 68, с. 523). После этой записи Короленко приступил к подготовке воспоминаний о Чехове и уже 12 июля отослал их в редакцию журнала. Короленко, однако, не был удовлетворен своими воспоминаниями, надеялся позднее их дополнить, но и в последнем прижизненном издании собрания его сочинений (изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1914) они остались без изменений, сняты только два вводных абзаца, а также окончание, содержавшее следующие строки: «Читатель простит мне эти, может быть, бессвязные и беспорядочные строки, лишенные претензии разобраться до конца в характере и размерах понесенной русскою литературою утраты. Разбираться придется еще много, и процесс этот большой и сложный. Эти строки продиктованы лишь непосредственным ощущением тяжелой потери...» (*ЛН,* т. 68, с. 526). В дневнике Короленко от декабря 1916 года есть такая запись о Чехове: «У него <...> выходило хорошо все, — даже сношения с Сувориным, с которым он дружил сначала и разошелся потом. И все ясно до прозрачности: почему дружил и почему разошелся» (*ЛН,* т. 68, с. 524).

Об отношении Чехова к Короленко свидетельствуют его письма. Так, 9 марта 1899 года он писал Л. А. Авиловой: «Короленко чудесный писатель. Его любят — и недаром. Кроме всего прочего в нем есть трезвость и чистота». В день пятидесятилетия Короленко 15 июля 1903 года Чехов послал ему телеграмму: «Дорогой, любимый товарищ, превосходный человек, сегодня с особенным чувством вспоминаю Вас. Я обязан Вам многим. Большое спасибо. Чехов». Об отношении Чехова к Короленко как к писателю вспоминает Ф. Д. Батюшков: «Помню один разговор с А. П. Чеховым, который очень любил Короленко <...>. Это было за год до кончины Чехова. Мы шли, беседуя, ночью по Невскому, взад и вперед, между Литейным и Надеждинской, и как будто Чехов все хотел что-то досказать. Наконец он высказал — это было по поводу сдержанного и недоверчивого отношения Л. Н. Толстого к Короленко, как к писателю. «Но я нашел, чем победить его предубеждение, — поспешил заявить Антон Павлович, — вы помните, конечно, очерки «У казаков»... Там есть одна сцена у трактира... превосходная... Я дал ее прочесть Льву Николаевичу... никакой выдумки, все верно, правдиво, ярко...» (Современная иллюстрация, 1913, № 7).

Между Чеховым и Короленко была переписка, полностью опубликованная в книге: «А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка». М., 1923.

[1] Первая встреча с Чеховым состоялась, вероятно, в феврале 1887 г., когда Короленко был в Москве проездом из Нижнего Новгорода в Петербург. Письмо же Чехова к Короленко от 17 октября 1887 г. («...я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами») надо отнести, по-видимому, ко второй встрече, когда они ближе познакомились.

[2] Первый сборник рассказов Чехова «Сказки Мельпомены», содержавший только шесть рассказов, вышел в Москве в 1884 г., под псевдонимом — А. Чехонте, но без виньетки. Короленко, очевидно, увидел книгу Чехова «Пестрые рассказы», изданную журналом «Осколки» в 1886 г. Часть тиража этой книги была издана под псевдонимом А. Чехонте, с виньеткой, которую нарисовал не Н. П. Чехов, а Ф. О. Шехтель. В остальной части тиража, выпущенной без виньетки, вслед за псевдонимом А. Чехонте указана в скобках фамилия автора (Ан. П. Чехов).

[3] В течение июля — декабря 1886 г. в печати появилось множество рецензий на «Пестрые рассказы». 18 января 1887 г. Чехов писал дяде М. Е. Чехову, что в конце 1886 г. газеты и журналы «трепали на все лады» его имя и «превозносили... паче заслуг».

[4] Еще 6 марта 1886 г. Чехову писал Н. А. Лейкин: «Говорил о Вас с Сувориным и Григоровичем. Старик Григорович просто влюблен в Ваши рассказы. Суворин пророчит книге большой успех» (*ГБЛ*). А 25 марта 1886 г. Григорович писал в своем известном письме Чехову: «Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас *настоящий* талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья» (*Переписка,* т. 1, с. 276). Привлечь Чехова к сотрудничеству в «Новом времени» рекомендовал Суворину (через писателя А. Н. Маслова) еще Сергей Атава (Терпигорев), которому очень нравились рассказы А. Чехонте, появлявшиеся в «Петербургской газете» (Ясинский Иер. Роман моей жизни. М.—Л., 1926, с. 264).

[5] Письмо Григоровича из Ниццы от 30 декабря 1887 г. (11 января 1888 г.). Копию этого письма Чехов отправил Короленко в Нижний Новгород. «Из него Вы увидите, — писал Чехов 9 января, — что литературная известность и хороший гонорар нисколько не спасают от такой мещанской прозы, как болезни, холод и одиночество: старик кончает жизнь».

[6] Рассказ «На пути».

[7] Имеются в виду рассказы «Умный дворник» (1883) и «В цирюльне» (1883).

[8] Рассказ «Святою ночью» напечатан в «Новом времени» 13 апреля 1886 г.

[9] Возможно, это состояние матери нашло отражение в рассказе Чехова «Архиерей», который был напечатан в 1902 г., но задуман на много лет раньше. В письме к О. Л. Книппер от 16 марта 1901 г. Чехов сообщал: «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей» — на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать».

[10] Встреча состоялась, вероятно, в первых числах декабря 1887 г.

[11] Повесть «Степь» напечатана в «Северном вестнике», 1888, № 3.

[12] Чехов писал А. Н. Плещееву 3 февраля 1888 г.: «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью».

[13] Точных сведений о посещении Чеховым Короленко в Нижнем Новгороде нет. Эта встреча могла состояться 20 или 21 января 1892 г. Чехов был в эти дни в Нижнем Новгороде, возвращаясь со станции Богоявленье, куда ездил по делам организации помощи голодающим. Возможно также, что он заходил к Короленко 23 апреля 1890 г., когда был в Нижнем проездом из Москвы на Сахалин. До отъезда он успел получить одно из двух посланных ему писем от Г. И. Чагина, жившего в одной квартире с Короленко. Чагин сообщал, что у него имеются интересные для Чехова сведения, в частности, о начальнике острова Сахалина генерале Кононовиче. У Чехова оставалось время между пароходами, чтобы зайти к Короленко. Но самого Короленко в этот день в городе не было, и Чехов мог встретиться только, вероятно, с членами его семьи и Чагиным. Фразу Короленко, что Чехов «очаровал всех, кто его в это время видел», можно понять и так, что в этот день его видели другие, а не он сам.

[14] В начале октября 1887 г., когда приезжал Короленко, Чехов начал писать пьесу «Иванов».

[15] Чехов внес некоторые изменения в пьесу «Иванов» после первой ее постановки в театре Ф. А. Корша (ноябрь 1887 г.) и значительные изменения в январе 1889 г. перед постановкой ее в Александринском театре. 15 января 1889 г. он писал Плещееву: «Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил IV акт до неузнаваемого, отшлифовал самого Иванова...»

[16] Рассказ «Именины» был напечатан в «Северном вестнике» в ноябре 1888 г., после рассказа «Огни», появившегося в этом журнале в июне 1888 г.

[17] Чехов выразил свое недовольство рассказом «Огни» в письме к Щеглову от 18 апреля 1888 г.: «Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно!», «Повестушка скучная как зыбь морская...» — писал Чехов о рассказе «Огни» Плещееву 9 апреля 1888 г. Этот рассказ Чехов не включил в собрание сочинений, возможно, даже не перечитав его. Б. А. Лазаревский записал в своем дневнике 22 ноября 1901 г.: «А. П. говорит... что уже не помнит содержания своих «Огней» (*ЛН,* т. 87, с. 337).

[18] Сборник «В сумерках» вышел в 1887 г., сборник «Хмурые люди» — в 1890 г.

[19] Русская мысль, 1892, № 11.

[20] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864).

[21] Встреча у Н. К. Михайловского состоялась 2 декабря 1887 г.

[22] В. М. Гаршин в состоянии психического расстройства бросился в пролет лестницы. Умер 24 марта 1888 г.

[23] Короленко вернулся из сибирской ссылки в декабре 1884 г.

[24] У Некрасова в стихотворении «Тишина» (1857) есть строка: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

[25] Встречи Чехова с Короленко состоялись в феврале 1896 г. в Петербурге и в апреле 1897 г. в Москве, в редакции «Русской мысли».

[26] Короленко приехал в Ялту в мае 1902 г., чтобы совместно с Чеховым обсудить вопрос об «академическом инциденте» — аннулировании выборов Горького в почетные академики. Аннулировал результаты выборов Николай II, но извещение в газетах исходило от Академии наук («От Императорской Академии наук»). Писатели пришли к выводу о необходимости, в виде протеста, выйти из состава почетных академиков. В. Г. Короленко подал заявление о сложении с себя звания почетного академика 25 июля 1902 г., Чехов такое же заявление отправил 25 августа 1902 г.

[27] Роман немецкого писателя В. Поленца. В 1902 г. вышел в издании «Посредника» с предисловием Л. Н. Толстого.

И. Л. ЛЕОНТЬЕВ-ЩЕГЛОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АНТОНЕ ЧЕХОВЕ

(Стр. 47)

Впервые — Литературные приложения к журналу «Нива», 1905, № 6 и 7. Печатается по тексту: Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947, Гослитиздат, с. 396.

Щеглов (наст. фамилия — Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911) — писатель. Близкий приятель А. П. Чехова.

[1] Щеглов познакомился с Чеховым 9 декабря 1887 г. в Петербурге. В дневнике Щеглова есть запись, датированная 8—15 декабря 1887 г.: «Путаюсь с Антоном Чеховым. В среду 9 декабря познакомился с ним в гостинице «Москва» и проговорили до 1 часу ночи — и с тех пор пошло» (*ЛН,* т. 68, с. 480).

[2] Это был уже третий приезд Чехова в Петербург.

[3] Первые рассказы Чехова, появившиеся в «Новом времени» в 1886 г.: «Панихида» (15 февраля), «Ведьма» (8 марта), «Агафья» (15 марта) и «Кошмар» (29 марта).

[4] Чехов находился в Петербурге с 30 ноября до 14 декабря 1887 г.

[5] Строки из второй сцены «Моцарта и Сальери» (1830) Пушкина.

[6] Письмо от 2 ноября 1888 г.

[7] Позднее Щеглов использовал чеховский сюжет, напечатав водевиль «Сила гипнотизма», с указанием: «Шутка в одном действии Ан. Чехова

и Ив. Щеглова». В предисловии Щеглов написал: «Если текст в реставрированной «Силе гипнотизма» принадлежит всецело мне, то весь сценарий и контуры действующих лиц слишком рельефно были намечены Чеховым, чтобы являлась необходимость от них отступать». Водевиль включен в книгу Ив. Щеглова «Жизнь вверх ногами. Юмористические очерки и пародии» (СПб., 1911).

[8] В воспоминаниях о Чехове П. А. Сергеенко писал: «Отличаясь, подобно Гете, изумительной поэтической организацией, Чехов в то же самое время, подобно Гете, отличался и редким среди художников практическим, хозяйским, организаторским умом. Не будь Чехов писателем, из него вышел бы выдающийся агроном, отличный архитектор, превосходный инженер» (Литературные приложения к «Ниве», 1904, № 10).

[9] Секретарь Гете Иоганн Петер Эккерман при жизни Гете подготавливал собрание его сочинений и вел дневник, в который записывал разговоры с Гете, мысли Гете и пр. Дневник был издан в Германии в трех томах. На русском языке впервые появился, в переводе Аверкиева, под названием «Разговоры с Гете», в 1891 г.

[10] Имеется в виду совместное литературное творчество французских писателей, братьев Эдмона и Жюля Гонкур.

[11] О провале первого представления «Чайки» в петербургском Александринском театре 17 октября 1896 г. см. восп. Авиловой, Потапенко, Читау.

[12] Половина пушкинской премии была присуждена Чехову Академией наук 7 октября 1888 г. за сборник рассказов «В сумерках» (1887).

[13] Большой успех пьесы «Иванов», поставленной в Александринском театре 31 января 1889 г.

[14] См. вступит. статью, с. 11.

[15] 2 мая 1887 г. застрелился сын А. С. Суворина — студент, Владимир Алексеевич, а летом 1888 г. умер другой его сын, Валериан.

[16] Подобный отзыв о А. С. Суворине дает в своих воспоминаниях и А. В. Амфитеатров: «...я живо помню, как иной р а з , — и далеко не р е д к о , — в старике среди разговора, вспыхивал вдруг ярким светом радикал-шестидесятник и летели с его уст словечки и фразы не то что «либеральные», а, пожалуй, и анархические» (Русское слово, 1914, № 151, 2 июля). А. С. Суворин, издатель реакционной газеты «Новое время», в молодости был демократически настроенным писателем. В 60-е гг. он сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках»; под псевдонимом «Незнакомец» печатал фельетоны, пользовавшиеся большой популярностью у демократической интеллигенции; подвергался цензурным преследованиям; в 1866 г. за сборник «Всякие» был привлечен к суду. Став издателем «Нового времени» в 1876 г., вначале пытался придать газете умеренно-либеральное направление, но уже к концу 70-х гг. «Новое время» стало реакционным органом. Однако сам Суворин в личных беседах и в своем дневнике часто высказывался так, будто продолжал оставаться на позициях своей молодости.

22 Заказ № 90

[17] Из писем Щеглову от 18 февраля 1889 г., от 20 декабря 1888 г. и от 11 ноября 1888 г.

[18] Частые отрицательные отзывы о театре в письмах к Щеглову, возможно, диктовались тем, что Чехов считал его хорошим писателем и слабым драматургом и постоянно призывал вернуться к беллетристике, тем более что Щеглов очень переживал свои драматургические неудачи (см. восп. Потапенко, с. 330—332).

[19] Водевиль Чехова «Медведь» был написан в феврале 1888 г. Впервые поставлен в театре Ф. А. Корша 28 октября 1888 г. Письмо Чехова к Щеглову о спектакле и игре актеров — от 2 ноября 1888 г.

[20] Отрицательный отзыв о спектакле напечатал Флеров (Васильев) в «Московских ведомостях», 1888, № 302, 31 октября.

[21] В письме А. Н. Плещееву от 15 сентября 1888 г.

[22] Слова Репетилова из «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова.

[23] Письмо А. Н. Плещееву от 15 января 1889 г. *Кин* — герой пьесы А. Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство» (1836).

[24] Первая постановка «Иванова» на александринской сцене состоялась 31 января 1889 г.

[25] Из письма Щеглову от 18 февраля 1889 г.

[26] В письме от 23 сентября 1896 г. Чехов, конечно, шутил. Комическая актриса Левкеева участвовала во втором спектакле («Счастливый день» Н. Я. Соловьева, 1877), поставленном в тот же вечер после «Чайки».

[27] Персонаж из пьесы А. Н. Островского «Женитьба Белугина» (1877).

[28] В изданном в 1901 и 1902 гг. томе пьес (изд. А. Ф. Маркса) Чехов заменил белую повязку у Треплева, похожую на чалму и вызывавшую смешки в зале, на темную.

[29] Первый спектакль «Ревизора» в Александринском театре состоялся 19 апреля 1836 г.

[30] Лично Чехов с Гаршиным знаком не был. Он писал Плещееву 31 марта 1888 г.: «Два раза был я у Гаршина и в оба раза не застал. Видел только одну лестницу», а 15 сентября 1888 г. на просьбу Плещеева дать рассказ в сборник «Памяти В. М. Гаршина» ответил: «...таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним...»

[31] Из письма Щеглову от 24 октября 1892 г.

[32] Доктор А. Т. Тарасенков наблюдал Гоголя в последние дни его жизни, автор книги «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1857).

[33] Известно, что Л. Н. Толстой посетил Чехова в клинике 28 марта 1897 г., но очень вероятно, что 5 апреля он был у Чехова вторично. Это подтверждает и сообщение, опубликованное Д. И. Азбукиным («К биографическим материалам об А. П. Чехове». — Русские ведомости, 1910, № 13, 17 января). Сведения о пребывании Чехова в клинике Азбукин получил от лечащего врача Чехова, ассистента Остроумовской клиники

М. Н. Маслова, который рассказал Азбукину: «На седьмой день кровохарканье прекратилось совершенно. Теперь доктора получили возможность выслушать и выстукать больного, а он — ходить и разговаривать», и прибавил: «Был у него граф Толстой, и Лев Николаевич и Антон Павлович, гуляя по коридору, громко разговаривали». Это не могло быть 28 марта, когда Чехов не мог еще ни вставать, ни громко разговаривать. Другое подтверждение мы находим в воспоминаниях профессора А. Г. Русанова, который приводит выдержки из своего дневника, в частности, воспроизводит беседу Л. Н. Толстого с его другом, Г. А. Русановым, — отцом А. Г. Русанова, состоявшуюся в апреле 1897 г.: «Мне рассказывал Андрюша, — заговорил мой отец, — что у Остроумова все это время лежал Чехов, вы были у него?

— Я был у него два раза в клинике, — ответил Лев Николаевич» («Воспоминание о Льве Николаевиче Толстом». Воронеж, 1937).

[34] В письме М. О. Меньшикову от 16 апреля 1897 г. Чехов писал: «В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю».

[35] Из письма Щеглову от 5 октября 1895 г.

[36] Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. С. Смирновой» (1840).

[37] Это был не третий, а уже восьмой приезд Чехова в Петербург.

[38] Имеются в виду строки из III главы «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) Н. В. Гоголя, названной «Значение болезней»: «О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне, каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде...»

[39] Это место в «Степи» осталось без переделки (см. вступ. статью, с. 22).

[40] Это не совсем так. В споре с А. Д. Курепиным 2 января 1887 г. о толстовской теории непротивления злу Чехов «доказывал, что нужно хорошенько разобраться» в ней, «а пока нельзя честно говорить ни за, ни против...» (*Летопись,* с. 148). В письме А. С. Суворину от 27 марта 1894 г. Чехов признавался, что толстовская философия «сильно трогала» его и «владела» им «лет 6—7», но позднее он стал относиться к ней недружелюбно: «...расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса».

[41] Речь идет о предполагавшемся издании: «Мужики. Моя жизнь»

(СПб., 1897). В повести «Мужики» с незначительной правкой повторяется журнальный текст.

[42] Строки из письма Пушкина к жене от 8 мая 1836 г.

[43] Чехов в 1896 г. доработал и завершил свою старую пьесу, написанную на основе пьесы «Леший», еще в 1890 г. (см. письмо Чехова С. П. Дягилеву от 20 декабря 1901 г. и статью Н. И. Гитович — «Когда же был написан «Дядя Ваня» — в журнале «Вопросы литературы», 1965, № 7). Под заглавием «Дядя Ваня» включена в сборник Чехова «Пьесы», изд. А. С. Суворина (СПб., 1897).

[44] Вероятно, ошибка памяти. Кроме «толстого немца», в Мелихове в эти дни жил окулист П. И. Радзвицкий и подбирал Чехову очки. Именно Радзвицкий, а не «толстый немец», забыл в Мелихове свое пальто, что видно из писем Радзвицкого Чехову (*ГБЛ*).

И. Е. РЕПИН

О ВСТРЕЧАХ С А. П. ЧЕХОВЫМ

(Стр. 84)

Печатается по тексту первой публикации: Одесские новости, 1910, № 8017, 16 января.

Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник. С Чеховым встречался мало и изредка переписывался. В своих письмах Репин восторженно отзывался о Чехове и его произведениях, выделяя особенно «Палату № 6» и «Мою жизнь».

Чехов высоко ценил Репина. Ставил его на третье место в русском искусстве (после Толстого и Чайковского).

[1] Известна иллюстрация Репина к французскому изданию рассказа «Мужики», сделанная по просьбе переводчика Роша.

[2] Об одном из подобных вскрытий Чехов писал Н. А. Лейкину 27 июня 1884 г.

[3] Набросок сделан Репиным в Петербурге на заседании Русского Литературного общества 30 января 1889 г. Хранится в *ИРЛИ*.

А. С. ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 86)

Впервые — Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1947. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 151.

Лазарев (псевд. — А. Грузинский) Александр Семенович (1861—1927), писатель. Окончил Московское Строгановское училище и в течение нескольких лет был учителем рисования и черчения в г. Киржач Покровского уезда Владимирской губернии. Литературную деятельность начал в середине 80-х годов в юмористических журналах, главным образом в «Будильнике». Затем, при содействии Чехова — в «Осколках», «Петербургской газете», «Новом времени» и др.

После смерти Чехова Лазарев много раз писал о нем. В настоящем издании печатается глава из неизданной книги Лазарева-Грузинского «Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов», написанной в последние годы жизни. Черновой вариант рукописи хранится в *ЦГАЛИ*.

[1] Первая встреча с Чеховым в доме Корнеева на Садовой-Кудринской улице состоялась 1 января 1887 г.

[2] Речь идет о картине Н. П. Чехова «Бедность». Находится в Ялтинском Доме-музее А. П. Чехова.

[3] Издательница «Будильника» Л. Н. Уткина частично расплачивалась с Н. П. Чеховым, за его иллюстрации к журналу, этой мебелью.

[4] Книга Д. Д. Минаева — «В сумерках. Сатиры и песни». СПб., 1868. Чеховский сборник рассказов «В сумерках» вышел в 1887 г.

[5] Слова из второй главы «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 г.» (1835) Пушкина.

[6] Второе издание сборника Чехова «В сумерках» и новая книга «Рассказы» вышли в издании А. С. Суворина в 1888 г. Рассказ «В ученом обществе», под названием «Каштанка», вышел отдельным изданием в 1892 г.

[7] Сцена-монолог «О вреде табака» напечатана в «Петербургской газете», 1886, № 47, 17 февраля и в сборнике рассказов Чехова «Пестрые рассказы» (1886). Во второе издание сборника монолог не был включен, но Чехов продолжал над ним работать. На сохранившемся экземпляре литографированного издания «Театральной библиотеки» Рассохиной (1890) много исправлений, внесенных Чеховым в 1898 г. В 1902 г. водевиль был еще раз переделан и в таком виде включен в собрание сочинений в издании А. Ф. Маркса.

[8] В письме к Е. М. Шавровой от 20 июня 1891 г.

[9] С октября 1903 г. Чехов считался редактором беллетристического отдела «Русской мысли». Редактировал рассказы малоизвестных авторов.

[10] Письмо, на которое ссылается Лазарев, не обнаружено.

[11] Измайлов А. Чехов. Биографический набросок. М., 1916.

[12] Письмо от 13 марта 1890 г.

[13] В письме И. Л. Щеглову от 22 марта 1890 г.

[14] Письмо от первой половины сентября 1892 г.

[15] Н. М. Ежов.

[16] Письмо от 15 октября 1892 г.

[17] В настоящее время все эти письма опубликованы в полных собраниях сочинений и писем Чехова.

[18] В. Г. Короленко. См. его восп., с. 36.

[19] «Медведь» написан в феврале 1888 г.

[20] Под псевдонимом Ал. Молотов в журнале «Наблюдатель» печатался А. К. Детенгоф.

[21] Чехов предлагал Суворину писать вместе пьесу «Леший» (см. письмо Чехова Суворину от 18 октября 1888 г., в котором он напоминал «афишу» пьесы).

[22] Чехов и Лазарев дали согласие А. Д. Курепину писать вместе с ним роман. Об этом сообщал Лазарев Н. М. Ежову в апреле 1887 г. «...Курепин хочет летом писать роман с оригинальной идеей. Писать так, чтобы каждая глава представляла некоторый интерес в отдельности, и писать этот роман в содружестве нескольких лиц» *(ЦГАЛИ)*.

[23] См. статью А. С. Лазарева «Пропавшие романы и пьесы Чехова» в сборнике «Энергия», кн. 3 (СПб., 1914).

[24] См. восп. Потапенко, с. 297.

[25] К. С. Баранцевич гостил у Чехова летом 1888 г. в имении Линтваревых на Луке возле г. Сумы. Лазарев имеет в виду его воспоминания «На лоне природы с А. П. Чеховым», напечатанные в газете «Биржевые ведомости», 1905, № 8904, 2 июля.

[26] Рассказ «Сирена» был написан 20 или 21 августа 1887 г., когда Лазарев гостил у Чехова в Бабкине.

[27] Рассказ под названием «Сказка»; в собрании сочинений получил название «Без заглавия».

[28] Эта записная книжка Чехова не сохранилась. Известны его записные книжки с записями, начатыми в 1891 г.

[29] Упоминаемая книга А. А. Измайлова: «Чехов. Биографический набросок». М., 1916, с. 384—386. Ниже Лазарев полемизирует с автором этой книги.

[30] Слова Чацкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действие II, явление 5).

[31] Опера (1835) Д. Мейербера.

[32] О реакции Кувшинниковых на рассказ см. восп. Фаусека, с. 268.

[33] Имеется в виду клеветническая статья Н. М. Ежова «Антон Павлович Чехов (Опыт характеристики)», напечатанная в «Историческом вестнике», 1909, № 8. Статья вызвала возражения со стороны многих литераторов. Лазарев упоминает статьи П. Н. Сакулина (Русские ведомости, 1909, № 190, 20 августа), Г. С. Петрова (Русское слово, 1909, № 194, 25 августа), А. А. Измайлова (Русское слово, 1909, № 187, 15 августа).

[34] Вторая статья Ежова о Чехове напечатана в «Историческом вестнике», 1909, № 11.

[35] Воспоминания А. В. Круглова «О Чехове» напечатаны в газете «Голос Москвы», 1912, № 156, 7 июля.

Л. А. АВИЛОВА

А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

(Стр. 121)

Впервые — Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1947. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 200, с добавлением эпиграфов, впервые приведенных в издании: Авилова Л. А. Рассказы, воспоминания. М., Советская Россия, 1984, с. 116, где тексты даны по рукописи.

Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1864—1943), писательница. Ее рассказы печатались в «Русском богатстве», «Новом слове», «Вестнике Европы», «Русских ведомостях» и др., Авилова — автор нескольких сборников рассказов, один из которых «Счастливец» и другие рассказы» вышел при жизни Чехова (СПб., 1896).

Краткие воспоминания Авиловой о ее знакомстве с Чеховым напечатаны в 1910 году в сборниках «О Чехове» и «Чеховском юбилейном сборнике». Публикуемый вариант воспоминаний написан в последние годы жизни Авиловой.

Известно 31 письмо Чехова к Авиловой. Письма Авиловой к Чехову были, по ее просьбе, возвращены ей сестрой писателя. Эти письма Авилова уничтожила. В Архиве А. П. Чехова (*ГБЛ*) находятся три случайно сохранившихся письма Авиловой 1904 года, которые опубликованы в *Переписке,* т. 2, с. 110—115.

Существуют различные мнения о степени достоверности воспоминаний Авиловой: И. А. Бунина, хорошо знавшего Авилову, и М. П. Чеховой, которая, при жизни Чехова, совсем ее не знала и судила о ее взаимоотношениях с А. П. Чеховым только по их переписке. Она находила в мемуарах Авиловой «элементы творчества, художественного — вольного или невольного — домысла писательницы» (Чехова М. П. Из далекого прошлого. М., Гослитиздат, 1960, с. 167). В этих воспоминаниях М. П. Чехова привела письмо к ней Авиловой от 20 июля 1904 года, в котором Авилова писала: «Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз...» (там же, с. 168).

Иначе к этим мемуарам отнесся Бунин. Его характеристику Авиловой записал в 1917 году с. его слов Н. А. Пушешников, племянник писателя: «Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, — конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой

необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с литературным искусством, но в ней есть та сложная таинственная жизнь. Она как переполненная чаша». В другой записи, сделанной в том же году, есть следующие строки об Авиловой: «Она обладает таким тактом, таким неуловимым чутьем, каким не обладает ни один из моих товарищей по перу» (*ЛН,* т. 68, с. 402). В подготавливавшейся в конце жизни Бунина книге о Чехове он писал: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой. Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними» (Бунин И. А. О Чехове. Нью-Йорк, 1955, с. 134). «Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться», — пишет далее Бунин (там же, с. 147).

К публикуемым воспоминаниям Авилова написала предисловие, в котором содержатся такие строки: «Ни одного слова выдумки в моем романе нет. (...) Все время, пока я писала, я чувствовала себя связанной страхом увлечься своей фантазией, мечтой, предположением, догадкой и этим исказить правду. Слишком священна для меня память Антона Павловича, чтобы я могла допустить в воспоминаниях о нем хотя какую-нибудь неточность». Но в 1940 году Авилова передала свои воспоминания для печати без этого предисловия. Оно сохранилось в рукописи в семье Авиловой (полный текст предисловия в т. 68 *ЛН,* с. 260—261).

[1] В эпиграфе цитируются стихотворение А. А. Блока «Осенняя любовь» (1907) и стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Старик» (1878).

[2] Сестра Л. А. Авиловой — Надежда Алексеевна — была женой редактора-издателя «Петербургской газеты» С. Н. Худекова. В этой газете в 80-х гг. сотрудничал А. П. Чехов.

[3] Из стихотворения К. Н. Батюшкова «Разлука» (1812—1813).

[4] Имеется в виду рассказ Чехова «Тоска».

[5] В архиве Л. А. Авиловой сохранились страницы, которые не были включены ею в воспоминания. Есть запись и о спектакле «Иванов» в Александринском театре 31 января 1889 г.: «Антон Павлович сдержал свое слово и прислал мне билет на «Иванова». Авилова писала о своем впечатлении от пьесы, имевшей большой успех, и о выходе Чехова на вызовы публики. Закончила она свою запись такими словами: «Какой он стоял вытянутый, неловкий, точно связанный. А в этой промелькнувшей улыбке мне почудилось такое болезненное напряжение, такая усталость и тоска, что у меня опустились руки. Я не сомневалась: несмотря на шумный успех, Антон Павлович был недоволен и несчастлив». Эта запись опубликована в книге: Авилова Л. А. Рассказы, воспоминания. М., Советская Россия, 1984, с. 258—259.

[6] Празднование 25-летия «Петербургской газеты» состоялось 1 января 1892 г. в квартире С. Н. Худекова.

[7] И. И. Ясинский.

[8] Письмо от 19 марта 1892 г.

[9] Эта встреча Чехова с Авиловой в Петербурге могла произойти в конце декабря 1892 г. или начале января 1893 г.

[10] Позднее, 23 марта 1895 г., Чехов высказал эти мысли в письме А. С. Суворину: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. <...> Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день».

[11] Вечер у Лейкина состоялся 9 февраля 1895 г.

[12] П. Н. Лейкина имела в виду один из эпизодов в рассказе М. Н. Альбова «Рыбьи стоны» (Осколки, 1885, №№ 27—31).

[13] В Эртелевом переулке жил А. С. Суворин, у которого часто останавливался Чехов во время своих приездов в Петербург.

[14] Как договорились накануне, Чехов был у Авиловой 10 февраля 1895 г. Пришел поздно, так как был с компанией писателей в ресторане Палкина.

[15] Из письма от 21 февраля 1892 г.

[16] Буренин все же видел два рассказа Авиловой. Из письма Чехова к ней от 15 февраля 1895 г. можно заключить, что Чехов взял у Буренина два рассказа Авиловой («Власть» и «Ко дню ангела»). В архиве Чехова сохранилась записка к нему Буренина: «Я отвечу ей (Авиловой. — *Н. Г.*), что передал Вам рассказы. «Власть» я сейчас прочитал: напечатать, конечно, можно, но еще лучше не печатать. Другого рассказа не помню» (*ГВЛ*).

[17] В этот день Авилова получила чеховское письмо от 12 февраля, а не от 15 февраля 1895 г., которое она приводит ниже. 12 февраля Чехов писал ей:

«Многоуважаемая Лидия Алексеевна!

Вы не правы, говоря, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения, и я вывел заключение опять-таки, что Вам надоели гости. Буренина я не видел сегодня и, вероятно, не увижусь с ним, так как постараюсь завтра уехать к себе в деревню. Посылаю Вам книжку и тысячу душевных пожеланий и благословений. Пишите роман.

Искренно преданный А. Чехов».

Вместе с письмом была послана книга «Повести и рассказы», М., 1894, с надписью: «Лидии Алексеевне Авиловой от автора. Антон Чехов. 10.II.95». Судя по датировке надписи, можно предположить, что Чехов хотел передать ее Авиловой накануне, при встрече.

[18] Строки из рассказа Чехова «Соседи» в книге «Повести и рассказы», подаренной им Авиловой.

[19] В своих воспоминаниях Авилова не написала, что вскоре (в конце февраля) она уехала в Москву, откуда послала Чехову письмо в Мелихово, на которое не получила ответа. В дневнике Н. А. Лейкина имеются записи, сделанные 7 и 9 марта 1895 г.: «7 марта. Сегодня утром прибыл в Москву <...>. В Москве писательница-дилетантка Лидия Алексеевна Авилова. Она уехала из Петербурга на прошлой неделе... Также заезжал в редакцию «Русская мысль» и узнал, что Антон Чехов у себя в имении, в Серпуховском уезде. В пятницу поеду на денек к нему». <...> «9 марта <...> поехал в библиотеку Страхова на Плющиху, где остановилась Л. А. Авилова, и пил у ней чай. Она в горе, она десять дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение и звала его в Москву, а он ни сам не приехал и не ответил, она справилась в «Русской мысли», в имении ли он теперь, а ей ответили, что уехал в Таганрог, а я сообщил ей, что мне в «Русской мысли» сказали, что он в имении, ждет меня и я завтра еду к нему. Вот ее и горе» (*ЛН,* т. 68, с. 502).

[20] Встреча на маскараде была, очевидно, 27 января 1896 г.

[21] Билет на первое представление «Чайки» в Александринском театре, 17 октября 1896 г.

[22] После злобных рецензий, появившихся в петербургских газетах в первые дни после спектакля, критик С. И. Танеев в очередной книжке «Театрала» (ноябрь 1896 г.) писал: «...Я был свидетелем множества «провалов», но ничего не запомню подобного тому, что происходило в зрительном зале на 25-летнем юбилее г-жи Левкеевой. Это было какое-то издевательство над автором и артистами, какое-то неистовое злорадство некоторой части публики, словно зрительный зал переполнен был на добрую половину злейшими врагами г. Чехова. <...> Неистовство публики росло с каждым актом: она, очевидно, вошла во вкус. Особенно злорадствовали строгие ценители и судьи из «пишущей» братии. Тут сводились личные счеты».

[23] Судя по письму В. Ф. Комиссаржевской Чехову от середины мая 1897 г. и ответному письму Чехова от 20 мая 1897 г. (*Переписка,* т. 2, с. 119—120), брелок, подаренный ему Авиловой, Чехов дал Комиссаржевской для спектаклей «Чайки».

[24] Окончание корректуры повести «Мужики», печатавшейся в журнале.

[25] Об этой печати вспоминает М. О. Меньшиков, видевший ее у Чехова. На вопрос — откуда эта печать, Чехов ответил: «Это печать моего отца. Когда дед увидел ее у отца, он сказал: «Надо женить Павла», и его женили» (Новое время, 1904, № 10186, 11 июля).

[26] Это могла быть одна из вышедших в 1896 г. в Женеве брошюр: «Письмо Л. Н. Толстого к американцу о непротивлении» или статья «Патриотизм или мир? Письмо к англичанину Л. Н. Толстого» (Гусев

Н. Н. «Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891—1910». М., 1960, с. 224—225).

[27] Л. Н. Толстой навестил Чехова в клинике первый раз 28 марта 1897 г.

[28] Имеется в виду рассказ «Шуточка».

[29] Из письма от 6 октября 1897 г.

[30] Окончание письма к Авиловой, приведенного ниже, от 3 ноября 1897 г.

[31] Письмо Чехова от 24—26 июля 1898 г.

[32] В этой книге «Русской мысли» напечатаны рассказы Чехова «Крыжовник» и «О любви».

[33] Из письма от 10 июля 1898 г.

[34] Перефразировка стихотворения Пушкина «Воспоминание» (1828).

[35] Письмо Чехова от 18 февраля 1899 г.

[36] Из письма Чехова от 23 марта 1899 г.

[37] Из письма Чехова от 6 апреля 1899 г.

[38] Из письма от 27 апреля 1899 г.

[39] Приведен, видимо, по памяти, текст двух писем: от 16 апреля и 27 апреля 1899 г.

[40] Специально для Чехова закрытый спектакль «Чайки» был показан 1 мая 1899 г.

[41] «Странное стечение обстоятельств» — комедия в двух действиях, перевод М. В. Кириллова-Карнеева.

[42] Текст этого письма Авилова привела по памяти. Два письма (от 12 февраля 1895 г. и от 21 октября 1898 г.) также не попали в изданный М. П. Чеховой шеститомник писем. Очевидно, Л. А. Авилова не хотела их печатать при жизни М. Ф. Авилова. Они сохранялись в копиях у М. П. Чеховой и впервые включены в Полное собрание сочинений и писем Чехова в 20 томах. М., Гослитиздат, 1944—1951.

В. Н. ЛАДЫЖЕНСКИЙ

В СУМЕРКИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

(Стр. 209)

Впервые — Мир божий, 1905, № 4. Печатается по тексту. *Чехов в восп.,* с. 294.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932) — поэт, беллетрист и журналист. Сотрудничал в «Русской мысли», «Вестнике Европы»

и др. Земский деятель. Жил возле Пензы, где работал в области народного просвещения.

[1] В. Н. Ладыженский познакомился с Чеховым в Петербурге у А. Н. Плещеева в январе 1890 г.

[2] К этому времени были изданы сборники рассказов Чехова: «Пестрые рассказы» (1886), «Невинные речи» (1887), в издании А. С. Суворина вышли «В сумерках» (1887), «Рассказы» (1888) и в марте 1890 г. «Хмурые люди».

[3] В сентябре 1897 г. в Пензенском окружном суде слушалось дело об убийстве вдовы генерала П. Г. Болдыревой и ее горничной А. Савиновой. Дело это оказалось запутанным вследствие противоречивости улик в отношении обвиняемого Тальмы, которого несправедливо осудили и сослали на Сахалин. В 1900 г. открылись новые обстоятельства дела, на основании которых Тальма был оправдан.

[4] Выражение из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (1601). Применяется по отношению к тому, кто вмешивается в дело, его не касающееся.

[5] Имеется дневниковая запись Чехова, сделанная 19 февраля 1897 г.: «...Обед в «Континентале» в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе, ждут кучера,— это значит лгать святому духу».

[6] Из писем Ладыженскому от 17 февраля 1900 г. и от 4 февраля 1899 г.

[7] В другом варианте своих воспоминаний Ладыженский сообщал, что рассказ «Дом с мезонином» написан Чеховым «почти на его глазах» — «после долгих споров и разговоров на тему о народном образовании» (Современный мир, 1914, № 6).

[8] Имеется в виду крушение царского поезда, происшедшее 17 октября 1887 г.

[9] Это был Д. И. Тихомиров (см. восп. Потапенко, с. 322—323).

[10] Ладыженский был в Мелихове с 27 по 31 августа 1898 г. 29 августа вместе с Чеховым присутствовал на молебне в Мелиховской школе. В этот день Чехов подарил Ладыженскому свою книгу с шутливой надписью: «Господину инспектору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, присутствовавшему на молебне и всех очаровавшему своим обращением, от скромного автора. 1898, 29 авг.». Имеется запись в дневнике П. Е. Чехова: «Молебен в Мелиховской школе... Был литературный вечер: Ладыженский читал свои стихи в присутствии дачниц».

[11] Здесь допущена неточность: Чехов находился в клинике Остроумова до своего переезда в Крым, с 25 марта до 10 апреля 1897 г.

[12] Продал свои сочинения издателю А. Ф. Марксу Чехов позднее (см. восп. Телешова, с. 472—476).

[13] П. Е. Чехов умер 12 октября 1898 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

[14] Слова французского философа Рене Декарта (1596—1650).

[15] Из писем В. Н. Ладыженскому от 4 февраля 1899 г. и от 17 февраля 1900 г.

М. Е. ПЛОТОВ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

(Стр. 221)

Печатается по тексту первой публикации: Комсомольская правда, 1944, № 164, 12 июля.

Плотов Михаил Егорович, учитель в селе Щеглятьеве, близ Мелихова.

[1] Н. И. Степанов. Сохранилась фотография Чехова, подаренная Н. И. Степанову, с надписью: «Николаю Ивановичу Степанову на память о щеглятьевских субботах от благодарного А. Чехова. 92, 14/IX» (находится в Доме-музее А. П. Чехова в Москве).

[2] Чехов долго не получал ответа на письмо благочинному и просил священника Некрасова напомнить ему об этом. 9 июня 1897 г. Некрасов получил следующий ответ Серповского: «Графиня Мария Владимировна знает нужды своих служащих. А посему, для нас нет основания просить за тех, кого она знает лучше нас». На письме Серповского помета священника Некрасова: «На вторичную просьбу ответ благочинного» (*ГБЛ*).

[3] Письмо Белинского Гоголю от 15 июля 1847 г. по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847) после смерти Белинского распространялось в рукописных списках. Впервые было опубликовано А. И. Герценом в Лондоне в 1855 г. в «Полярной звезде», кн. 1.

[4] «Мелочи архиерейской жизни» входили в том VI собрания сочинений Н. С. Лескова, которое печаталось в типографии А. С. Суворина в 1889 г. Том был запрещен цензурой, опечатан и находился в типографии Суворина на ее ответственности. В 1893 г. тираж был сожжен. Случайно сохранилось 8 экземпляров, из которых один, вероятно, и был дан Сувориным Чехову. 24 ноября 1896 г. Чехов писал П. Ф. Иорданову, которому послал для таганрогской библиотеки собрание сочинений Лескова без VI тома: «Этот том запрещен. Я положил его в пакет и написал, что он принадлежит Таганрогской городской библиотеке; это редкость, которая со временем будет стоить очень дорого. Я готов прислать Вам пакет и пришлю с удовольствием, если Вы поручитесь, что до поры, до времени пребывание VI тома в библиотеке будет для всех секретом — для всех, кроме меня и Вас».

Т. Л. ЩЕПКИНА КУПЕРНИК

О ЧЕХОВЕ

(Стр. 227)

Впервые — Щепкина-Куперник Т. Л. В юные годы (Мои встречи с Чеховым и его современниками). А. П. Чехов. Л., 1925, с. 217—251. Для сборника «Чехов в воспоминаниях современников» (М., 1947) автор значительно переработала воспоминания, затем просмотрела их для переиздания сборника в 1952 году. Печатается по тексту 1952 года.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1953) — писательница и переводчица. Правнучка знаменитого актера М. С. Щепкина. Начало знакомства и переписки с Чеховым относятся к 1893 году.

[1] Записка к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 15 октября 1894 г.

[2] Ф. А. Куманин издавал книжечки маленького формата (изд. журнала «Артист») с портретами авторов. В 1894 г. он издал книжку под названием «Между прочим», в которую вошли рассказы: «Красавицы» Чехова и «Sapho» Щепкиной-Куперник. Для этого издания они и снимались в фотографии Трунова.

[3] См. коммент. 25 к восп. Авиловой, с. 650.

[4] Чехов приобрел усадьбу Мелихово у художника Сорохтина и переехал туда 5 марта 1892 г.

[5] П. Е. Чехов по приезде в Мелихово (март 1892 г.) начал вести дневник и вел его до конца жизни. Последняя запись — 10 октября 1898 г. (хранится в *ЦГАЛИ*).

[6] Эту художественную деталь — горлышко от бутылки, отражающее свет луны, — Чехов использовал дважды: в рассказе «Волк» (1886) и в пьесе «Чайка» (1896).

[7] В 1960 г. мелиховский дом восстановлен, по возможности восстановлена и его обстановка. Флигель, в котором написана «Чайка», сохранился.

[8] Из письма А. С. Суворину от 6 апреля 1892 г.

[9] Из письма от 28 ноября 1894 г.

[10] Из письма к М. П. Чеховой от 28 июля 1895 г.

[11] Из письма от 11 августа 1895 г.

[12] Из письма от 22 июля 1898 г.

[13] П. Е. Чехов умер в московской клинике, после операции, 12 октября 1898 г. А. П. Чехов в это время был в Ялте.

[14] М. П. Чехова одно время думала выйти замуж за родственника Линтваревых, в имении которых семья Чехова жила летом в 1888—1890 гг., А. И. Смагина, неоднократно приезжавшего к Чеховым из своего имения Бакумовка Полтавской губ.

В письме А. С. Суворину от 18 октября 1892 г. Чехов писал: «Сестра замуж не вышла, но роман, кажется, продолжается в письмах. Ничего не понимаю. Существуют догадки, что она отказала и на сей раз. Это единственная девица, которой искренно не хочется замуж».

[15] Из письма к Л. А. Авиловой от 29 апреля 1892 г.

[16] Из письма от 28 марта 1898 г.

[17] Из письма к М. П. Чеховой от 1 апреля 1898 г.

[18] Из письма Суворину от 15 мая 1892 г.

[19] Из письма Суворину от 9 декабря 1890 г.

[20] «Дело Дрейфуса» — провокационный процесс, организованный в 1894 г. во Франции реакционными и антисемитскими военными кругами против офицера генерального штаба, еврея Альфреда Дрейфуса. На основании подложных документов Дрейфус был обвинен в шпионаже и приговорен к пожизненной ссылке на Чертов остров. Позиция «Нового времени» в деле Дрейфуса и по отношению к Золя, выступившему в защиту Дрейфуса, послужила толчком к изменению отношений Чехова с Сувориным. Чехов писал 23 февраля 1898 г. Ал. П. Чехову: «В деле Зола «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами <...> — и замолкли оба» и 5 февраля 1899 г. ему же: «...«Новое время» производит отвратительное впечатление. Телеграмм из Парижа нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество».

[21] В. Я. Зеленин жил в тех же меблированных комнатах «Восточные номера», в которых жил и художник Н. П. Чехов (см. коммент. 1 к восп. Коровина, с. 636).

[22] Щепкина-Куперник пересказывает и цитирует письмо Чехова Суворину от 16 августа 1892 г.

[23] В письме Суворину от 19 августа 1899 г. Чехов подробно пишет о Хавкине.

[24] Из письма Суворину от 9 марта 1890 г.

[25] Книга Чехова «Остров Сахалин» была издана «Русской мыслью» в 1895 г.

[26] Чехов уехал 14 января 1892 г. в Нижегородскую губернию, на станцию Богоявленье, к своему знакомому, земскому начальнику Е. П. Егорову, для организации помощи голодающим.

[27] Из письма от 24 ноября 1896 г.

[28] Из письма к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 24 декабря 1894 г.

[29] Из письма от 28 ноября 1894 г.

[30] Из первой записной книжки Чехова, с. 71.

[31] «Чайка» в первоначальном варианте была закончена Чеховым в ноябре 1895 г.

[32] «Дама с камелиями» (1848) — пьеса А. Дюма-сына, «Чад жизни» (1884) — пьеса Б. Маркевича.

[33] Первый спектакль «Чайки» был поставлен в Александринском

театре 17 октября 1896 г. в юбилейный бенефис артистки Левкеевой (подробно см. восп. Потапенко, с. 335—345).

[34] Премьера «Чайки» в Художественном театре состоялась 17 декабря 1898 г.

[35] В. А. Эберле.

[36] Имеется в виду разрыв отношений между Л. С. Мизиуовой и И. Н. Потапенко. Ребенок их умер в ноябре 1896 г.

[37] Из письма к Авиловой от 29 апреля 1892 г.

[38] Из письма от 24 декабря 1894 г.

[39] Мелихово было продано в августе 1899 г.

[40] Из письма к М. П. Чеховой от 14 октября 1898 г.

[41] После премьеры «Чайки» Щепкина-Куперник послала Чехову телеграмму: «Горячо поздравляю колоссальным успехом «Чайки», счастлива за Вас» *(Переписка,* т. 2, с. 88) и вслед за телеграммой письмо: «...на сцене было что-то поразительное: шла не пьеса — творилась сама жизнь. Детали постановки — шедевры режиссерского искусства; да знаете? Говоря о «Чайке», как она была сегодня поставлена, нельзя говорить ни о режиссерах, ни об актерах; казалось, что режиссер — сама жизнь... <...> Здесь все было ново, неожиданно, занимательно. Словом — жизнь, как она есть, потрясающая драма, в то время как в соседней комнате стучат ножами и вилками...» (*Переписка,* т. 2, с. 87).

[42] Письмо от 26 декабря 1898 г.

[43] Письмо к Т. Л. Щепкиной-Куперник от 28 сентября 1898 г. Вероятно, предполагалась постановка спектакля в ялтинской женской гимназии.

[44] Письмо от 1 октября 1898 г.

[45] В Аббации Чехов был в сентябре 1894 г.

[46] Режиссер Камерного театра А. Я. Таиров, в 1944 г. поставивший «Чайку», говорил: «Мне хочется в этом спектакле поставить Чехова лицом к лицу с публикой. Автор ведет в пьесе серьезный, очень искренний, во многом противоречивый разговор с самим собой. Поэтому не хочется видеть здесь людей в париках, с наклеенными усами; хочется воздержаться и от всяческих «волшебных средств театра» (Коонен А. Страницы жизни. М., 1975, с. 412). Спектакль был поставлен в сукнах, по сути дела без декораций. А. Г. Коонен, игравшая Нину Заречную, сумела выразить в этой роли огромную нравственную силу русской женщины.

[47] Чехов ездил в имение племянника А. А. Фета, В. Н. Семенковича, Васькино, близ Мелихова. Жена Семенковича была талантливой пианисткой.

[48] Из письма к А. С. Суворину от 23 марта 1895 г.

В. А. ФАУСЕК

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. П. ЧЕХОВЫМ

(Стр. 260)

Впервые — Утро. Харьков, 1909, № 781, 2 июля. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 189.

Фаусек Вячеслав Андреевич (1862—?), ялтинский служащий и журналист. Печатался в «Русских ведомостях», «Современном мире», «Журнале для всех». Постоянно жил в Ялте.

[1] С А. И. Звягиным Чехов познакомился в Ялте в июле 1889 г., с В. А. Фаусеком — в марте 1894 г.

[2] Это была книга В. А. Фаусека «За морским горизонтом. Очерки плавания по Средиземному морю. (Из юношеских воспоминаний) ». СПб., 1894.

[3] Чехов заботился о пополнении библиотеки при Серпуховской земской больнице. Старший врач больницы И. Г. Витте писал Чехову в ноябре 1894 г.: «Благодаря Вашему содействию у меня образовалась прекрасная библиотечка для больных» (*ГБЛ*).

[4] Об этом вечере вспоминает И. М. Радецкий в письме к М. П. Чеховой от 24 августа 1913 г.: « Я часто вспоминаю наш разговор с Антоном Павловичем на набережной после моего доклада в доме одного учителя на тему «Мученики темного царства» и «О физическом воспитании детей». <...> Он также печально смотрел на вещи, ибо сердцем чувствовал все зло проклятой русской действительности» (*ГБЛ*).

[5] Главы книги Чехова «Остров Сахалин» печатались в журнале «Русская мысль» — в 1893 г., № 10-12, и в 1894 г., № 2, 3, 5—7.

[6] В рассказе Чехова «Попрыгунья» (Север, 1892, № 1 и 2) было некоторое внешнее сходство с жизнью знакомых Чехова — Кувшинниковых. 29 апреля 1892 г. Чехов писал Л. А. Авиловой: «Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи» <...>, и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». М. П. Чехова рассказала, что артист А. П. Ленский также узнал себя в одном из персонажей «Попрыгуньи» — «толстом актере». Из-за этого прервалась и дружба Чехова с семьею Ленских. Подробнее об этом инциденте см. в восп. Щепкиной-Куперник, с. 248—250.

[7] В журнале «Русское богатство» (1886, № 12) была напечатана статья. Л. Е. Оболенского, под названием «Обо всем. Критическое обозрение (Молодые таланты: г. Чехов и г. Короленко. Сравнение между ними)».

С. Т. СЕМЕНОВ

О ВСТРЕЧАХ С А. П. ЧЕХОВЫМ

(Стр. 271)

Впервые — Путь, 1913, № 2. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 364.

Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922), писатель. Литературную деятельность начал в 1887 году, но до конца жизни оставался крестьянином, сочетая писательство с сельским трудом. Произведения Семенова высоко ценил Л. Н. Толстой, многие из них выходили в издании «Посредника». Толстой написал предисловие к книге С. Т. Семенова «Крестьянские рассказы». М., 1894.

В 1904 году за выступления, выражавшие сочувствие «Крестьянскому союзу», Семенов был арестован и приговорен к двухлетней ссылке, которую по ходатайству Л. Н. Толстого заменили разрешением выехать за границу. В 1922 году был убит кулаками.

[1] Перечисленные рассказы Чехова были изданы «Посредником» в 1893 г. В вышедший в 1895 г. сборник «Проблески» включены рассказы Чехова: «Припадок», «В суде», «Володя», «Тоска» и «Устрицы».

[2] См. восп. Телешова, с. 472—476.

[3] Куманину, который просил Чехова дать рассказ для своего журнала, «Черный монах» не понравился. Он говорил И. Л. Щеглову, что это вещь «водянистая» и «неестественная». Щеглов вспоминает: «Когда вышел журнал «Артист» с упомянутым рассказом Чехова, я прямо ахнул: это была квинтэссенция тончайшей поэзии и творческой проникновенности! Ф. А. Куманину нельзя было отказать ни в известной чуткости, ни в здравом смысле, но он был слишком «толстокож» и не его носу было почувствовать такую тонкосложную вещь, как «Черный монах» (Щеглов И. Обида непонимания. — Биржевые ведомости, 1910, № 11517, 16 января). Первые критические отзывы также не удовлетворили Чехова: рассказ был понят очень поверхностно.

[4] См. вступит, статью, с. 12—13.

[5] Чехов приехал в Ясную Поляну 8 августа 1895 г.

[6] Старший сын Л. Н. Толстого — Сергей Львович.

[7] Чехов присутствовал в качестве присяжного заседателя в серпуховском суде с 22 по 25 ноября 1894 г.

[8] В опубликованной редакции «Воскресения» Маслова приговорена к четырем годам каторги.

[9] Последующие встречи Чехова с Л. Н. Толстым состоялись в Москве и в Крыму.

[10] Рассказ «На подводе» напечатан 21 декабря 1897 г., и в тот же день

Л. Н. Толстой, прочитав его, записал в своем дневнике: «Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 53. М., 1953, с. 173).

[11] Мнение Л. Н. Толстого о «Душечке» сообщил Чехову И. И. Горбунов-Посадов 24 января 1899 г.: «Лев Николаевиче восторге от него. Он все говорит, что это перл, что Чехов — это большой, большой писатель. Он читал ее чуть ли не четыре раза вслух и каждый раз с новым увлечением» (*ГБЛ*). О том же 30 марта 1899 г. писала Чехову дочь Толстого — Татьяна Львовна: «Ваша «Душечка» — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи» (*ГБЛ*). В дневнике П. А. Сергеенко имеется запись от 27 января 1899 г.: «Москва. У Льва Николаевича... Восторг Л. Н. от «Душечки» Чехова. Это перл. Подобно бумаге лакмусу, она производит различные эффекты. Он цитирует на память целые фразы. Как хорош в нем язык телеграфиста, «хохороны» и проч. В «Душечке» выведена истинно женская любовь» (Государственный Музей Л. Н. Толстого в Москве). Однако Толстой расходился с Чеховым в восприятии образа «Душечки» и ценил в нем не то, что хотел выразить автор. Помещая рассказ в составленный им в 1906 г. сборник «Круг чтения», он сопроводил его послесловием, в котором дает свое объяснение рассказа. По его мнению, Чехов хотел посмеяться над «жалкой» «Душечкой», хотел «проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину... но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется образцом того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем ее сводит судьба». В соответствии с этими взглядами Толстой выбросил в тексте рассказа некоторые снижающие образ «Душечки» штрихи в ее характеристике.

[12] Князь В. В. Вяземский, помещик, живший в Серпуховском уезде Московской губернии. Он отдал свою землю крестьянам, а сам поселился в избушке, в дремучем лесу. После его смерти в нескольких некрологах о нем писали как о праведнике и идейном предшественнике Л. Н. Толстого. М. О. Меньшиков, имевший поручение «Посредника» написать о Вяземском для «народной серии», выяснил из бесед с крестьянами, что Вяземский был не столько опростившимся, сколько опустившимся помещиком, отличавшимся к тому же жестокостью и развратным поведением. По этому поводу Меньшиков написал статью «Дознание», которая была напечатана в «Книжках Недели», 1895, № 8.

[13] Мнение Толстого о «Мужиках» известно из письма А. С. Бутурлина П. А. Строеву от 15 сентября 1902 г.: «Из ста двадцати миллионов русских мужиков Чехов взял только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно бы перестали существовать» (*ЛН,* т. 22—24, с. 779). В записной книжке В. С. Миролюбова в марте 1900 г. есть запись отзыва Л. Н. Толстого: «Рассказ «Мужики» — это грех перед народом. Он не знает народа...» (*ЛН,* т. 68, с. 519). Д. П. Ма-

ковицкий записал в дневнике 26 мая 1905 г. слова Л. Н. Толстого: «Мужики» Чехова — плохое произведение. Чехов колеблется» (*ЛН,* т. 90, кн. I, с, 297).

[1] В печати появилось много отзывов о «Мужиках». Анонимный критик писал в «Северном вестнике» (1897, № 6), что «давно уже новое беллетристическое произведение не пользовалось в нашей журналистике таким громадным и притом таким искренним успехом, как «Мужики». Успех этот напоминает нам времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского».

По поводу «Мужиков» возникла полемика между легальными марксистами и народниками. П. Б. Струве в своей статье (Новое слово, 1897, № 8) писал об огромном общественном значении повести, заключавшемся, главным образом, в художественном обличении «жалкого морализирования народников». Струве возразил Н. К. Михайловский (Русское богатство, 1897, № 6), который нашел, по своему обыкновению, что у Чехова и в «Мужиках» отсутствует «общая идея» и что «никаких общих выводов» из рассказа, основанного только на «поверхностных наблюдениях», делать нельзя.

[15] Л. Н. Толстой смотрел в Художественном театре «Дядю Ваню» 24 января 1900 г. 27 января он записал в дневнике: «Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 54. М., 1935, с. 10). Об отношении к этой пьесе Толстого писал Чехову Вл. И. Немирович-Данченко в феврале 1900 г.: «Он очень горячий твой поклонник — это ты знаешь. Очень метко рисует качества твоего таланта. Но пьес не понимает. Впрочем, может быть, не понимал, потому что я старался уяснить ему тот центр, которого он ищет и не видит. Говорит, что в «Дяде Ване» есть блестящие места, но нет трагизма положения. А на мои замечания ответил: «Да помилуйте, гитара, сверчок — все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. М., 1954). А 12 марта 1900 г. Чехову написал А. А. Санин: «Толстому не понравился мой любимый «Дядя Ваня», хотя он очень чтит и ценит Вас как писателя. «Где драма?! — вопил гениальный писатель, — в чем она, пьеса топчется на одном месте... <...> Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня — дрянь люди, бездельники, бегущие от дела и деревни как места спасения... На эту тему он говорил много...» (*ЛН,* т. 68, с. 873).

[16] Чехов был на «среде» у Н. Д. Телешова в январе или в феврале 1904 г.

[17] С. Т. Семенов послал Чехову свою книгу, в которую вошли: очерк «В родной деревне» и повесть «Гаврила Скворцов» (Посредник. М., 1904), с надписью: «Дорогому Антону Павловичу Чехову с чувством безграничного уважения. Автор. 27 мая 1904 г.».

[18] Чехов ответил Семенову 31 мая 1904 г.

ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

ЧЕХОВ

(Стр. 277)

Впервые — Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. М., Academia, 1936. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 419.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), писатель, режиссер, театральный деятель, один из создателей и руководителей Московского Художественного театра. Большой заслугой Немировича-Данченко является постановка в Художественном театре чеховской «Чайки». На жетоне, подаренном Чеховым Немировичу-Данченко, было выгравировано: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!»

[1] См. восп. Телешова, с. 472—476.

[2] В октябре 1888 г. Чехову была присуждена Академией наук половина Пушкинской премии за сборник рассказов «В сумерках» (1887).

[3] Д. В. Григорович был первый из крупных писателей, кто заметил талант молодого Чехова. Он уговорил Суворина поместить рассказы Чехова в «Новом времени», а сам вскоре отправил ему письмо (25 марта 1886 г.), в котором приветствовал большой, самобытный *«настоящий* талант» и потребовал от молодого автора уважения к собственному дарованию и серьезной работы. В творчестве Чехова письмо Григоровича имело решающее значение в определении жизненного пути, он «вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...» (Д. В. Григоровичу, 28 марта 1886 г.). Об отношении Григоровича к Чехову свидетельствует и письмо Ал. П. Чехова сестре от 8 июля 1888 г.: «Вчера из Ниццы приехал Д. В. Григорович, расцеловался ео мной и заявил о том, что у нас в России нет критики и что такого гейнима как Антон недостаточно оценили <...>. Я <...> выслушал приблизительно такую речь... скажите брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями (рассказ «Агафья». — *Н. Г.*) был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У — талант, у силища!» (*ГВЛ*).

[4] П. Д. Боборыкин писал в своих неопубликованных воспоминаниях о Чехове: «Мне было рекомендовано врачами читать как можно меньше. По утрам, за кофе, в столовой, где я всегда был один за ранним временем, я положил себе прочитывать по одному рассказу <Чехова. — *Н. Г.*>, никак не больше. Но меня они стали так «забирать», что я охотно преступал эту порцию и читал по два и больше рассказов» (*ЦГАЛИ*). 5 июля 1889 г. он писал Чехову: «...рискуя утомить единственный зоркий для работы глаз, с трудом отрывался от них. Это заменит Вам жалкие излишние любезно-

сти». Он благодарил Чехова за «правдивые и яркие рассказы, полные оригинальной новизны» (*ГБЛ*).

[5] Две первые строки из стихотворения А. А. Фета, без названия (1850), которые часто цитировались как образец «чистой поэзии», чуждой гражданских мотивов.

[6] Строки из стихотворений Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876 — 1877) и А. Н. Плещеева «Вперед, без страха и сомненья...» (1846).

[7] Первый спектакль «Иванова» состоялся в театре Ф. А. Корша 19 ноября 1887 г.

[8] В отзыве о спектакле «Иванов» П. И. Кичеев писал: «...никогда не подозревал, чтобы человек молодой, человек с высшим университетским образованием рискнул преподнести публике такую глубоко безнравственную, такую нагло-циническую путаницу понятий, какую преподнес Чехов в своем «Иванове» (Московский листок, 1887, № 325, 22 ноября); Флеров (Васильев) находил, что финал пьесы «несколько ходулен, характер Иванова обрисован не совсем ясно, трудно понять, зачем автор заставляет первую жену Иванова быть еврейкой; это мотив, остающийся неразъясненным. И тем не менее пьеса смотрится с интересом и удовольствием, ибо при всей неопытности автора в ней сказывается талант и выведены живые лица» (Московские ведомости, 1887, № 323, 23 ноября). Сам Чехов писал о первом спектакле «Иванова» брату Ал. П. Чехову 20 ноября 1887 г.: «Театралы говорят, что никогда они не видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодисменто-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось слышать стольких споров, какие видели и слышали они на моей пьесе. А у Корша не было случая, чтобы автора вызывали после 2-го действия».

[9] В декабре 1887 г. пьеса вышла в малотиражном литографированном издании московской «Театральной библиотеки» Е. Н. Рассохиной. Позднее была напечатана уже в новой редакции в «Северном вестнике», 1889, № 3.

[10] Водевили Чехова «Медведь» и «Предложение» написаны были после «Иванова», в 1888 г.

[11] О чтении Достоевского Чехов впервые упоминает в письме к Суворину 5 марта 1889 г.

[12] См. вступит. статью, с. 12.

[13] Спектакль успеха не имел. Бывший на премьере «Лешего» писатель А. С. Лазарев-Грузинский в одном из вариантов своих воспоминаний пытался объяснить причину неуспеха спектакля: театр Корша просил у Чехова «Лешего» для постановки, но Чехов, друживший с Соловцовым, режиссером только открытого тогда театра Абрамовой, отдал «Лешего» этому театру. Между театром Корша и театром Абрамовой «горела вражда, и борьба шла не на жизнь, а на смерть», что и отразилось на премьере. «Первый спектакль «Лешего» шел на праздниках <...>; с левой стороны две или три ложи бельэтажа были заняты артистами театра Корша, и их зловещие физиономии не предвещали решительно ничего хорошего. Игра-

ли «Лешего» очень недурно. <...> Первые акты понравились, автора, кажется, даже вызывали, не без легких протестов со стороны артистов театра Корша, но в антрактах они ходили в буфет, в фойе, среди публики и не уставали повторять:

— Ну, Чехов! Написал пьесу! Черт знает, что за пьеса!

Последний акт испортил Чехову дело. Последний акт был очень длинен, показался скучным и утомил праздничную публику <...>. В конце концов публика разошлась бы совершенно спокойно, как она расходится после десятка не произведших на нее впечатлений пьес, но это было невыгодно артистам враждебного театра. На вызовы артистов они отвечали отчаянным шиканьем, когда же несколько голосов попробовало вызвать автора, раздался неистовый рев: из артистических лож шипели, свистали в ключи (я могу сослаться на многих свидетелей этого), чуть не мяукали. Получился грандиозный скандал, к которому приложили руку все недоброжелатели Чехова, все завистники» (Южный край, 1904, № 8148, 18 июля).

[14] См. примеч. 43 к восп. Щеглова, с. 644.

[15] Секретарем Общества драматических писателей в это время был И. М. Кондратьев, казначеем — А. А. Майков.

[16] Выборы в Комитет Общества драматических писателей состоялись 10 апреля 1889 г. *Драматург-адвокат* — В. А. Александров.

[17] Немирович-Данченко и Сумбатов-Южин написали в 1885 г. вместе пьесу «Соколы и вороны».

[18] «Эрнани» (1829) и «Рюи«Блаз» (1838) — пьесы Виктора Гюго.

[19] Письмо от 6 октября 1895 г.

[20] В дневнике А. С. Суворина имеется запись, сделанная 11 февраля 1897 г.: «О «Чайке» еще говорил Толстой: «Литераторов не следует выставлять: нас очень мало и нами не интересуются. Лучшее в пьесе — монолог писателя, — это автобиографические черты, но их можно было написать отдельно или в письме; в драме они ни к селу, ни к городу» (Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923, с. 147).

[21] Фраза в рассказе Чехова «Соседи». См. восп. Авиловой, с. 153.

[22] Чехов давал Немировичу-Данченко «Чайку» в ее первом варианте.

[23] Литератор И. Я. Гурлянд записал некоторые мысли Чехова о технике драматургии, высказанные еще летом 1889 г. в Ялте. Среди них было замечание: «Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Иначе не вешайте» (Театр и искусство, 1904, № 28).

[24] Немирович-Данченко, очевидно, ошибся. Известно письмо А. П. Ленского Чехову 1889 г. по поводу прочитанной им пьесы «Леший»: «Одно скажу: пишите повесть. Вы слишком презрительно относитесь к пьесе и драматической форме». Возможность существования другого письма, относительно «Чайки», исключается уже потому, что в начале 1892 г. отношения между Чеховым и Ленским были прерваны (см. коммент. 6 к восп. Фаусека, с. 657).

И. Н. ПОТАПЕНКО

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С А. П. ЧЕХОВЫМ

(К 10-летию со дня его кончины)

(Стр. 295)

Впервые — Нива, 1914, № 26—28. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 307.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), писатель. Близкий товарищ Чехова.

[1] Первая встреча с Потапенко состоялась в июле 1889 г. в Одессе.

[2] О том, что замысел поездки на Сахалин возник у Чехова в 1889 г., свидетельствует также письмо К. А. Каратыгиной к Чехову (*ГБЛ*), полученное им в конце июля или в августе 1889 г.

[3] Вторая встреча с Потапенко произошла в июле 1893 г. в Москве. С 31 июля по 2 августа 1893 г. Потапенко гостил у Чехова в Мелихове. Чехов писал Суворину о Потапенко 7 августа 1893 г.: «Выражение «бог скуки» беру назад. Одесское впечатление обмануло меня. Не говоря уж об остальном прочем, Потапенко очень мило поет и играет на скрипке. Мне с ним было очень нескучно, независимо от скрипки и романсов».

[4] В мае 1896 г. праздновалось 50-летие рождения Г. Сенкевича.

[5] Вероятно, И. Л. Щеглов.

[6] 50-летие литературной деятельности Д. В. Григоровича отмечалось в Москве в 1894 г.

[7] От 25 марта 1886 г.

[8] В своем «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский вспоминал, как в 1845 г. его первую повесть «Бедные люди» Григорович отнес Некрасову. Начав читать ее вместе, они уже не могли оторваться и читали всю ночь. Тут же они пошли к Достоевскому и бросились обнимать его, в совершенном восторге. Некрасов передал рукопись Белинскому. И Белинский также, под впечатлением повести, «не спал всю ночь» и выразил желание немедленно познакомиться с молодым автором. Достоевский рассказал об этой незабываемой им встрече: «Да вы понимаете ли сами-то — что вы это такое написали! <...> Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали <...>. Цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем»,— говорил Белинский. «Я вышел от него в упоении <...>, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки <...>. Это была самая восхитительная минута всей моей жизни» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, том I. М., 1964, с. 148—151).

[9] Из письма И. Л. Щеглову от 9 марта 1892 г. Подробнее о детских годах А. П. Чехова см. воспоминания его братьев — Ал. П. и М. П. Чеховых в предыдущих изданиях сборника «Чехов в воспоминаниях современников» (1952, 1954, 1960) и книгу М. П. Чехова «Вокруг Чехова».

[10] См. вступит. статью, с. 8—9, и восп. Россолимо, с. 434—436.

[11] Из письма И. И. Островскому от 11 февраля 1893 г. Эту шутливую фразу Чехов повторял неоднократно.

[12] Из письма А. С. Суворину от 16 августа 1892 г.

[13] Из письма А. С. Суворину от 2 августа 1893 г.

[14] Из письма Ал. П. Чехову от 29 октября 1893 г.

[15] Из писем А. С. Суворину от 11 и 25 ноября 1893 г.

[16] А. С. Суворин писал С. И. Смирновой-Сазоновой в июле 1894 г.: «Чехов философствует по обыкновению, по обыкновению очень мил, но едва ли здоров. Я говорил ему: «Отчего не покажетесь доктору?» — «Все равно мне осталось жить пять — десять лет, стану ли я советоваться или нет» (*ИРЛИ*).

[17] Перефразировка стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

[18] Неточная цитата из письма к И. Н. Потапенко от 26 февраля 1903 г.

[19] О том, что Чехову нужны были деньги, узнал И. И. Левитан и обратился к С. Т. Морозову, который и выразил желание дать Чехову в долг 2000 руб. Об этом 21 сентября 1897 г. Левитан написал Чехову. Деньги были высланы в Ниццу. Но Чехов не хотел их брать и, выждав для вежливости небольшой срок, вернул их Морозову, когда тот приехал в Ниццу.

[20] В письмах А. С. Суворину от 15 августа 1894 г. и к Н. М. Линтваревой от 6 сентября 1894 г.

[21] В 1898 г. в Петербурге организовалось книгоиздательское товарищество «Знание», во главе которого вскоре встал А. М. Горький, объединивший вокруг издательства демократических писателей. В «Знании» совсем по-новому решался материальный вопрос: члены товарищества получали значительную часть прибыли от продажи своих книг. А. М. Горький пытался уговорить и А. П. Чехова вступить в товарищество, разорвав кабальный договор с А. Ф. Марксом, на что Чехов из этических соображений не согласился. Деятельность «Знания» подготовила почву для расширения книгоиздательского дела в стране. Это особенно сказалось в период революционной ситуации 1905 г., когда правительство фактически вынуждено было отменить цензуру.

[22] Об условиях договора Чехова с издателем А. Ф. Марксом см. восп. Телешова, с. 472—476.

[23] Это был Д. И. Тихомиров, издатель журнала «Детское чтение», в 11 номере которого за 1895 г. напечатан рассказ Чехова «Белолобый».

[24] Письмо А. С. Суворину от 29 декабря 1895 г.

[25] Из письма к Л. С. Мизиновой от 27 марта 1894 г.

[26] И. Н. Потапенко недооценивал ни значения поездки Чехова на Сахалин, ни его книги «Остров Сахалин», не заметил, как окреп обличительный характер произведений писателя в послесахалинский период. Как и многие другие современники, Потапенко ждал от Чехова художественных произведений из сахалинской жизни. Т. П. Крестинская в статье «Сахалинская тема у Чехова» приводит рассказ В. К. Харкеевич об одной

из встреч с Чеховым: «Однажды она была в гостях у Чеховых. За чайным столом зашел разговор о поездке Чехова на Сахалин. Кто-то из гостей спросил Антона Павловича, почему, кроме «Острова Сахалина» и таких рассказов, как «Гусев» и «В ссылке», он позже почти не вспоминает о Сахалине. Чехов ответил на это какой-то шуткой; потом встал и долго задумчиво шагал взад и вперед по столовой. Совсем неожиданно, не обращаясь ни к кому, сказал: «А ведь, кажется, все просахалинено» (Ученые записки Новгородского Государственного педагогического института, т. XX. Новгород, 1967, с. 111). Критик А. И. Богданович писал в своей статье об огромном общественном значении книги «Остров Сахалин»: «Если бы г. Чехов не написал более кроме этой книги, имя его навсегда было бы вписано в историю русской литературы и никогда не было бы забыто в истории русской ссылки» (Мир божий, 1902, № 9).

[27] Из письма к Л. С. Мизиновой от 13 августа 1893 г.

[28] П. А. Сергеенко.

[29] О народном театре Щеглов написал несколько книг. Основные — «Народный театр в очерках и картинках». СПб., 1895 и 1898, «В защиту народного театра». СПб., 1901.

[30] См. восп. Короленко, с. 43.

[31] Татьянин день — 12 января, традиционный праздник, отмечавшийся московским студенчеством в ознаменование годовщины основания Московского университета.

[32] Первый обед беллетристов состоялся 12 января 1893 г. в петербургском ресторане «Малый Ярославец». На обеде были: А. П. Чехов, Д. В. Григорович, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. С. Баранцевич и др. (всего 18 писателей).

[33] Указана страница № 26 журнала «Нива», где печатались воспоминания Потапенко.

[34] На Театральной улице в Петербурге помещался Цензурный комитет.

[35] В письме И. Л. Щеглову от 23 сентября 1896 г.

[36] Приехала Л. С. Мизинова.

[37] Предупрежденный Чеховым, что на премьере «Чайки» будет Л. С. Мизинова, Потапенко не был в этот день в театре. Они с женой смотрели «Чайку» на втором представлении.

[38] Из письма А. С. Суворину от 22 октября 1896 г.

[39] Письма к М. П. Чеховой, М. П. Чехову и А. С. Суворину от 18 октября 1896 г.

[40] Из письма А. С. Суворину от 22 октября 1896 г.

[41] Имеется в виду шеститомное издание «Писем А. П. Чехова». М., 1912—1916, из которого ко времени написания воспоминаний Потапенко (1914) вышло четыре тома. Значительная часть писем Чехова, которых нет в шеститомнике, вошли в Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. М., Гослитиздат, 1944—1951. С новыми дополнениями — в Полное собрание сочинений и писем Чехова в 30-ти томах. М., Наука, 1974—1983.

М. М. ЧИТАУ

ПРЕМЬЕРА «ЧАЙКИ».

(Из воспоминаний актрисы)

(Стр. 350)

Печатается по тексту первой публикации: Звено. Париж, 1926, № 201.

Читау Мария Михайловна (1860—1935), актриса Петербургского Александринского театра с 1878 по 1900 г. С 1900 г. занималась педагогической деятельностью. Первая исполнительница роли Маши в пьесе Чехова «Чайка», поставленной в Александринском театре впервые 17 октября 1896 г.

[1] Пьеса «Иванов» во второй редакции была поставлена в Александринском театре впервые 31 января 1889 г., но не в бенефис Давыдова, а в бенефис режиссера театра Ф. А. Федорова-Юрковского.

[2] В 1896 г. отмечалось двадцатипятилетие сценической деятельности Е. И. Левкеевой. Спектакль 17 октября был не только бенефисным, но и юбилейным.

[3] Мужские роли исполняли: В. Н. Давыдов — Сорина, К. А. Варламов — Шамраева, Р. Б. Аполлонский — Треплева, Н. Ф. Сазонов — Тригорина.

[4] В этот вечер шла также пьеса Н. Я. Соловьева «Счастливый день» (1877), в которой Левкеева исполняла роль Сандыревой.

[5] При подготовке «Чайки» для журнала «Русская мысль» (декабрь 1896 г.) и затем для сборника пьес (Чехов Антон. Пьесы. СПб., 1897) Чехов внес небольшие сокращения по всему тексту. В Художественном театре «Чайка» была поставлена по напечатанному тексту и также с некоторыми изменениями авторских ремарок, которые внес К. С. Станиславский во время режиссерской работы над пьесой.

[6] Чехов приехал в Петербург 9 октября, но стал бывать на репетициях, когда роли были окончательно распределены.

[7] М. Г. Савина в письме А. С. Суворину от 10 октября 1896 г. объяснила, почему она отказалась от роли Нины Заречной: «Роль Нины вся основана на внешности и вследствие этого совершенно мне не подходит. <...> Годы Нины слишком подчеркнуты! <...> Я думаю, что если Нину отдать Комиссаржевской, а мне сыграть Машу, то пьеса несомненно выиграет. Маша очень интересный тип, и я с большим удовольствием поработаю над ней» (Шнейдерман И. Мария Гавриловна Савина. Л.—М., 1956, с. 272). По-видимому, в самом начале, когда артисты только знакомились с пьесой, предполагалось, что Аркадину будет играть М. Г. Савина, но уже с первых репетиций роль эту исполняла Дюжикова.

[8] В интервью с Савиной, напечатанном в «Петербургской газете»

17 января 1910 г., она так объяснила свой отказ играть Машу: «Артистка, которой поручили эту роль, ни за что не хотела уступить ее даже для одного раза».

[9] Чехов был на трех репетициях «Чайки» — 12 и 14 октября и на генеральной — 16 октября. Только одна репетиция (14 октября) прошла хорошо (см. восп. Потапенко, с. 340—341).

[10] И на первом спектакле были зрители, сумевшие оценить пьесу. М. И. Чайковский писал А. С. Суворину 21 октября: «За много лет я не испытывал такого удовольствия от сцены и такого огорчения от публики, как в день бенефиса Левкеевой» (*Летопись,* с. 436). Ал. П. Чехов послал 17 октября записку брату: «Я с твоей «Чайкой» познакомился только сегодня в театре. Это — чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии и хватающая за сердце» (*Летопись,* с. 433). Писательница С. И. Смирнова-Сазонова написала в дневнике в этот вечер: «Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится. Дайте ей маляра, она поймет» (*ЛН,* т. 87, с. 309). Н. А. Лейкин, написавший 17 октября в дневнике о провале «Чайки», увидел в ней «новые типы и характеры». «Ни банальностей, ни общих мест никаких, а публика Александринского театра любит банальности и общие места» (*ЛН,* т. 68, с. 504). Л. А. Авилова прислала в «Петербургскую газету» «Письмо в редакцию» (напечатано в № 290): «Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу»! <...> Может быть, после таких «не пьес» мы и вокруг себя увидим то, чего не видели раньше, услышим то, чего не услышали. А настоящих пьес будет еще много, очень много».

[11] Чехов ушел из зрительного зала после второго акта, когда провал пьесы был уже очевиден. Просидев до конца спектакля в уборной Левкеевой, он ушел из театра и до двух часов ночи бродил по городу. 18 октября в 12 часов дня первым товаро-пассажирским поездом уехал в Мелихово.

[12] Второй спектакль «Чайки» состоялся 21 октября. Пьеса шла с небольшими купюрами и измененными ремарками, сделанными А. С. Сувориным и режиссером Е. П. Карповым. («С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 р а з », — писал Чехов Суворину 22 октября.) Однако постановка в целом все же оказалась неудачной, и после пятого представления «Чайка» была снята со сцены Александринского театра.

А. И. ЯКОВЛЕВ

У ЧЕХОВА В МЕЛИХОВЕ

(Стр. 356)

Печатается по тексту первой публикации: Русские ведомости, 1909, № 190, 2 июля, подпись: А. Фамилия автора была раскрыта только через 70 лет (см. публикацию воспоминаний А. И. Яковлева в «Литературной России», 1980, № 4, 25 января).

Яковлев Алексей Иванович (1878—1951), историк, доцент, после революции профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук. Сын известного просветителя чувашского народа И. А. Яковлева, друга семьи Ульяновых. А. И. Яковлев — автор воспоминаний о встречах с В. И. Лениным.

[1] А. И. Яковлев с товарищем П. И. Никашиным посетили Чехова в Мелихове, когда они были студентами первого курса Московского университета.

[2] В этот день, 15 апреля 1897 г., отец Чехова Павел Егорович записал в своем дневнике: «Приехали Селиванова и два студента. Был Семенкович» (*ЦГАЛИ*).

[3] В мае 1896 г. Л. Н. Толстой получил коллективное письмо членов петербургского Комитета грамотности с просьбой высказаться по поводу закрытия правительством комитетов грамотности. Ответ Толстого, переросший в статью, нелегально распространялся в России в списках под названием «К либералам». В 1897 г. ответ Толстого был издан В. Г. Чертковым в Лондоне.

[4] Студенческие волнения происходили осенью 1896 г. Первоначальным поводом послужило назначение на медицинский факультет нежелательного профессора Попова. Сходки студентов были сорваны, и зачинщики арестованы. Вступившегося за студентов профессора Эрисмана удалили из университета. Тогда студенческий «Союзный Совет объединенных землячеств» обратился к студентам с воззванием, в котором указывал на то, что «современный университетский режим есть лишь частичное проявление общегосударственной политики. Борясь против насилия и произвола университетского начальства, студенчество будет закаляться и воспитываться для политической борьбы с государственным режимом». Было организовано вторичное выступление уже «с политической окраской», которое повлекло за собой массовые аресты студентов. Тюрьмы не вмещали всех арестованных. Появилась угроза закрытия университета. По ходатайству университетской администрации виновность студентов была разделена на три категории — для второй и третьей аресты заменили дисциплинарными взысканиями. Организаторы и руководители заключены в тюрьмы.

В это же время (в феврале 1897 г.) общество было взволновано смертью петербургской курсистки Ветровой, арестованной по подозрению в сношениях с типографией народовольцев. Не выдержав тяжелых условий заключения в Петропавловской крепости, она облилась керосином из лампы и подожгла себя.

В разговоре с корреспондентом газеты «Киевлянин» Чехов назвал студенческое движение «несерьезным» (Киевлянин, 1904, № 186, 7 июля), а посетившему его в 1901 г. Н. А. Рубакину сказал, что поверит в революцию только тогда, когда ее станут делать люди не моложе сорока лет» (Записки Н. А. Рубакина, *ГБЛ*).

[5] Павел Александрович Никашин, студент юридического факультета Московского университета.

[6] Стихотворение, стилизованное под А. В. Кольцова, было напечатано в «Русском слове» (1896, № 247, 15 октября), редактором-издателем которого был А. А. Александров. Первые буквы стихотворения составляли фразу: «Александров дурак».

[7] См. коммент. 33 в восп. Щеглова, с. 642. Чехов был у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 8 и 9 августа 1895 г.

[8] В. Н. Семенкович жил в Васькине, по пути из Мелихова в Лопасню. Упоминаемая записка, написанная рукою М. П. Чеховой, сохранилась среди писем Семенковичу (*ЦГАЛИ*).

[9] Экземпляр «Палаты № 6» с надписью: «Алексею Ивановичу Яковлеву, 97.16/IV. Мелихово» находится сейчас в Московском Доме-музее А. П. Чехова, куда был передан сыном А. И. Яковлева. Вероятно, такая же надпись была сделана на книге «Хмурые люди», подаренной П. Никашину. По возвращении в Москву Павел Никашин писал Чехову (19 апреля 1897 г.): «Глубокоуважаемый Антон Павлович! Позвольте от души выразить Вам благодарность за то радушие, с которым Вы нас приняли. Есть люди, которых хочется полюбить при первом же знакомстве, а когда расстанешься с ними — любить еще сильнее, и делается грустно. Это — Вы и Ваше семейство. Простите нам нашу шероховатую и тяжелую назойливость: мы так неопытны и так Вас любим, что не умели быть сдержанными. Будьте добры, передайте Вашему семейству наши пожелания всего хорошего. От души желаю Вам здоровья и счастья, чтоб Ваш талант рос все выше и выше! Глубоко Вас уважающий Пав. Никашин» (*ГБЛ*).

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

(Стр. 361)

Впервые — Биржевые ведомости, 1915, № 15185, 2 ноября. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 447.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — юрист, историк и социолог. Уволенный в 1887 году из состава профессоров Московского университета за «вольнодумство», уехал во Францию. Читал лекции в Париже и Брюсселе. В 1901 году основал в Париже высшую русскую школу социальных наук.

[1] В Биаррице Чехов прожил с 8 по 22 сентября 1897 г.

[2] Чехов писал сестре М. П. Чеховой 29 сентября (11 октября) 1897 г.: «Познакомился с Максимом Ковалевским, живущим около Ниццы в Beau-

rieu, в своей вилле. Это тот самый М. Ковалевский, который был уволен из университета за вольнодумство и в которого, незадолго до своей смерти, была влюблена Софья Ковалевская. Это интересный, живой человек; ест очень много, много шутит, смеется заразительно — и с ним весело. Готовится к лекциям, которые будет читать в Париже и Брюсселе».

[3] Чехов был в Ницце зимой 1897/98 и 1900—1901 гг.

[4] Чехов писал В. М. Соболевскому 4 (16) декабря 1897 г. из Ниццы: «Пишу я здесь гораздо меньше, чем рассчитывал. Писать в номере, за чужим столом, <...> в хорошую погоду, когда хочется вон из комнаты, — это трудно, очень трудно. Здесь нужно читать, а не писать»; 14 (26) декабря он писал о том же М. П. Чеховой: «Много сюжетов, которые киснут в мозгу, хочется писать, но писать не дома — сущая каторга, точно на чужой швейной машине шьешь».

[5] Вскоре, в Ницце, Чехов написал рассказ о сельской учительнице «На подводе».

[6] Персонажи произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1878—1879).

[7] См. коммент. 20 к восп. Щепкиной-Куперник, с. 655.

[8] В другом неопубликованном варианте воспоминаний М. М. Ковалевского, сохранившемся в машинописной копии (Архив Академии наук СССР), об этом сказано подробнее: «Во время известного дела Дрейфуса он (Чехов) с жаром читал газеты и, убедившись в невинности «оклеветанного еврея», писал никому другому, как Суворину горячие письма о том, что нечестно травить ни в чем неповинного человека. Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем (6 февраля 1898 г.) написал ему: «Вы меня убедили». Никогда, однако, — прибавил Чехов, — «Новое время» не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом». Чехов хотел выступить в парижской газете с протестом против обвинения Дрейфуса и уже дал интервью французскому публицисту Б. Лазару, но в печати оно не появилось, так как, ознакомившись с записью, сделанной по данным, которые Лазар передал другому лицу, Чехов нашел в ней много искажений. По этому поводу он писал И. Я. Павловскому 28 апреля 1898 г.: «Вначале еще ничего, но середина и конец совсем не то. <...> и план и цели нашей беседы были совсем иные».

[9] Одна из этих книг (Чехов Антон. Рассказы: 1. Мужики. 2. Моя жизнь. СПб., 1897) была подарена Ковалевскому 27 октября 1897 г., с надписью: «Максиму Максимовичу в память об его гостеприимстве, о пикете, о наших обедах в «Pension Busse» и о телеграмме, которую мы вместе и так долго сочиняли. 27 окт./8 ноября 97 г. Ницца. Антон Чехов». Телеграмму Чехов и Ковалевский отправляли М. М. Стасюлевичу по случаю 50-летия его литературной деятельности.

[10] Ночь с 30 на 31 января 1901 г.

[11] Ошибка. В газете «Русский курьер» Чехов не печатался.

[12] Спутники Чехова в поездках, очевидно, не улавливали его внутрен-

него состояния при виде шедевров искусства. А. С. Суворин после одного из их совместных заграничных путешествий рассказывал (и повторил это потом в своих воспоминаниях о Чехове сразу после его смерти — Новое время, 1904, № 10179, 4 июля), будто по приезде в Рим Чехову «захотелось за город, полежать на зеленой траве», а «искусство, статуи, картины, храмы» его «мало интересовали». Чехова, видимо, задели эти разговоры. 23 марта 1895 г. он написал Суворину: «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя Вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади св. Марка и сказал: «Хорошо бы теперь у нас в Московской губернии на травке полежать!» А раньше, по возвращении из-за границы Чехов писал Суворину из Богимова, 27 мая 1891 г.: «...желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто заграница мне не понравилась? <...> Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, кажется, вывез. Ваша статья об ипподроме больше моя, чем Ваша, ибо я Вам уши прожужжал про эту новую форму театра».

[13] Постановка пьесы «Три сестры».

[14] В Мелихове, кроме Чехова, не было врача.

[15] Корректуру пьесы «Три сестры» Чехов читал в Риме 7 февраля 1901 г. и в этот же день уехал в Россию. Напечатана пьеса в «Русской мысли», 1901, № 2, без учета авторской правки.

А. А. ХОТЯИНЦЕВА

ВСТРЕЧИ С ЧЕХОВЫМ

(Стр. 367)

Печатается по тексту: *ЛН,* т. 68, с. 605, где опубликовано впервые.

Хотяинцева Александра Александровна (1865—1942) — художница, талантливая карикатуристка. С Чеховым познакомилась в 1897 году, через сестру Марию Павловну, которая занималась в вечерних классах Строгановского училища, там встретилась с Хотяинцевой и вскоре с ней подружилась. Хотяинцева неоднократно гостила у Чеховых в Мелихове. В конце октября она уехала в Париж, откуда на короткое время приезжала в Ниццу, где в то время жил Чехов. Сохранилось много рисунков, главным образом, карикатур, нарисованных Хотяинцевой в Мелихове и в Ницце, на Чехова и обитателей Русского пансиона в Ницце. Чехов писал Суворину 4 (16) января 1898 г.: «Здесь одна русская художница, рисующая меня в карикатуре раз 10—15 в день». Сохранившиеся рисунки Хотяинцевой находятся, главным образом, в Доме-музее А. П. Чехова в Москве и два рисунка в Ялтинском Доме-музее А. П. Чехова.

[1] В письме от 11 (23) декабря 1897 г. Чехов приглашал Хотяинцеву в Ниццу: «Приезжайте, побродим вместе, поездим, а главное потолкуем о том о сем, вспомним старину глубокую». Хотяинцева приехала 26 декабря и в тот же день написала М. П. Чеховой: «...сегодня утром приехала в Ниццу и застала Антона Павловича в хорошем виде и настроении. Мне пришла в голову бриллиантовая идея вместе встретить Новый год, вот я и прикатила. Ницца встретила меня дождем и сыростью, но все-таки пальмы и апельсины взаправду растут на воздухе, а море хорошо даже и при таком сыром небе, как сегодня. Мы уже два раза гуляли по набережной. <...> В промежутке прогулок завтракали, за табльдотом. Дамы все идолицы, в особенности одна баронесса похожа на рыбу. Я, по-видимому, буду их шокировать моим поведением и отсутствием туалетов. Здесь ведь считается неприличным пойти в комнату к мужчине, а я все время сидела у Антона Павловича» (*ЛН,* т. 68, с. 611—612).

[2] Мария Антоновна Житкова.

[3] Баронессы Дершау.

[4] Наталья Ивановна Янковская. Чехов заботился о ее здоровье, уговорил сделать нужную операцию. Позднее, уже из Мелихова, Чехов запрашивал телеграммой киевского профессора Г. Е. Рейна об исходе операции у его пациентки Янковской (*ПСС,* Письма, т. 7, с. 727).

[5] Чехов посылал газеты русскому вице-консулу в Ментоне, Н. И. Юрасову, своему хорошему знакомому.

[6] Чехов был знаком с доктором В. Г. Вальтером еще по таганрогской гимназии. В 90-х годах Вальтер жил в Ницце, где у него была бактериологическая лаборатория.

[7] Шатилова.

[8] Чехов собирал ранние рассказы для предполагавшегося выпуска своих сочинений у А. С. Суворина. Вопрос этот был поднят в августе 1898 г., а в начале января 1899 г. Чехов уже читал корректуру первого тома. 9 января он писал М. П. Чеховой: «Суворин печатает уже полное собрание сочинений; читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года. С Марксом переговоры, кажется, уже начались».

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

(Воспоминания)

(Стр. 373)

Впервые опубликовано: Ежегодник Московского Художественного театра. 1943. М., 1945, и частично — глава «Вишневый сад» — в книге Станиславского «Моя жизнь в искусстве». М., 1925. Печатается по тексту: *Чехов в восп..,* с. 371.

Станиславский (наст- фамилия — Алексеев) Константин Сергеевич (1868—1938), актер и режиссер, театральный деятель, один из создателей и руководителей Московского Художественного театра. В пьесах Чехова исполнял роли: Тригорина в «Чайке», Астрова в «Дяде Ване», Вершинина в «Трех сестрах», Гаева в «Вишневом саде», Шабельского в «Иванове».

[1] Знакомство Станиславского с Чеховым состоялось, вероятно, 3 ноября 1888 г. в Москве — на открытии Общества искусства и литературы.

[2] Вечер в театре Ф. А. Корша состоялся 15 февраля 1897 г. Станиславский выступал с чтением сцены из пушкинского «Скупого рыцаря» (1836).

[3] Одноактная пьеса Чехова «Медведь» была поставлена в Обществе искусства и литературы в апреле 1895 г. и затем возобновлена в январе 1897 г. Станиславский исполнял в «Медведе» роль Смирнова.

[4] Встреча состоялась в редакции журнала «Русская мысль» 16 февраля 1897 г. Обсуждался сделанный Ф. О. Шехтелем план постройки «Народного дворца», проектировавшегося кружком благотворителей. Проект не был осуществлен.

[5] Имеются в виду строки из телеграммы Чехова от 18 декабря 1898 г., адресованной Вл. И. Немировичу-Данченко: «Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Диавола. Тоскую, что не с вами».

[6] Провал первого спектакля «Чайки» в Александринском театре 17 октября 1896 г.

[7] Вл. И. Немирович-Данченко убеждал Чехова разрешить постановку «Чайки» в Художественном театре. Он писал ему 25 апреля 1898 г.: «Я задался целью указать на дивные, по-моему, изображения жизни и человеческой души в произведениях *«Иванов»* и *«Чайка».* Последняя особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в *каждой* фигуре пьесы при умелой, *небанальной,* чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу. Может быть, пьеса не будет вызывать взрывов аплодисментов, но что настоящая постановка ее со *свежими* дарованиями, *избавленными от рутины,* будет торжеством искусства, — за это я отвечаю. Остановка за твоим разрешением» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. М., 1954, с. 110). Вначале Чехов не давал разрешения, ссылаясь на то, что он «не хочет и не в силах переживать больше театральные волнения, которые причинили ему так много боли» (Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. М., 1936, с. 147). Разрешение было получено только после вторичной просьбы Немировича-Данченко, который писал Чехову 12 мая 1898 г.: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как «Чайка» единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма, с. 111).

[8] Мизансцены «Чайки» были написаны Станиславским летом

1898 г. в имении его брата Андреевке Харьковской губернии и частями высылались в Пушкино, где шли первые черновые репетиции пьесы.

[9] Чехов присутствовал на репетиции «Чайки» в Москве 9 и 11 сентября 1898 г.

[10] В связи с тем, что в Художественном театре одновременно готовились к постановке пьесы «Царь Федор Иоаннович» (1868) А. К. Толстого и «Ганнеле» (1892) Гауптмана, репетиции «Чайки» были прерваны. Возобновлены в декабре того же года.

[11] Хотя М. П. Чехова отрицает этот факт (см. воспоминания об этом в ее книге «Из далекого прошлого». М., Гослитиздат, 1960, с. 187), но, судя по воспоминаниям и О. Л. Книппер, подобный разговор М. П. Чеховой с руководителями Художественного театра все же был. См. восп. Книппер-Чеховой, с. 615—616.

[12] Первый спектакль «Чайки» в Художественном театре 17 декабря 1898 г. В ночь с 17 на 18 декабря Немирович-Данченко телеграфировал Чехову в Ялту: «Только что сыграли «Чайку», успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила, что потом следовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные. Мое заявление после третьего акта, что автора в театре нет, публика потребовала послать тебе от нее телеграмму. Мы сумасшедшие от счастья» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма, с. 145).

[13] По-видимому, описка: не «несколько лет», а несколько месяцев.

[14] Пьеса «Дядя Ваня» была принята к постановке Московским Малым театром, но не состоялась, так как члены Литературно-театрального комитета — Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский и И. И. Иванов — потребовали переделки пьесы (см. коммент. 16). Чехов от переделки отказался и передал пьесу Художественному театру.

[15] Беседа по поводу «Дяди Вани» была с управляющим императорскими театрами В. А. Теляковским. Имеется запись в дневнике Теляковского от 13—14 апреля 1899 г.: «Заходил сегодня А. Чехов говорить по поводу «Дяди Вани» и забраковки этой пьесы Комитетом. Чехов просил не подымать шума из-за этого факта. Переделывать он ничего не хочет, ибо пьеса эта издана уже пять лет назад. Обещал написать для Малого театра новую пьесу к осени. Вообще жаль, что Комитет театральный вместо помощи управляющему делает затруднения. «Дядя Ваня» была единственная пьеса, которую выбрал я и артисты к постановке в этом году, и эту-то пьесу и забраковали» (*ЛН,* т. 68, с. 512).

[16] Имеется в виду один из пунктов протокола, в котором сказано, что «разочарование в таланте профессора, раздражение на его бесцеремонность не может служить достаточным поводом для преследования его пистолетным выстрелом; у зрителя может появиться подозрение, что поступок дяди Вани находится в связи с состоянием похмелья, в котором автор почему-то слишком часто показывает и дядю Ваню и Астрова» (Теляковский В. А. Воспоминания. Пг., 1924, с. 168—170).

[17] Закрытый спектакль «Чайки» был показан Чехову 1 мая 1899 г. в

помещении театра «Парадиз». Чехов не был удовлетворен исполнением ролей: Нины Заречной (Роксановой) и Тригорина (Станиславским), о чем писал А. М. Горькому 9 мая 1899 г. Но спектаклем в целом был доволен. В письме П. Ф. Иорданову 15 мая 1899 г.: «В Москве для меня играли мою «Чайку» в Художественном театре. Постановка изумительная». Об этом спектакле писала Е. В. Алексеевой М. П. Лилина, исполнявшая роль Маши: «В понедельник мы играли «Чайку» в виде репетиции, в театре «Парадиз», для Чехова. Костюмы и гримы были, но декорации какие-то скверные, тем не менее Чехов остался страшно доволен; все ему очень понравилось, исключая самой Чайки, т. е. Роксановой. Он нашел, что она в начале не совсем просто играет, а последний акт чересчур перекричала и переплакала. Про меня он сказал, что я его поразила, так как он не ожидал даже, что можно из этой роли сделать такой яркий тип. Ну я, конечно, на седьмом небе» (Сб. Мария Петровна Лилина. М., 1960, с. 175).

[18] Первый спектакль «Дяди Вани» состоялся 26 октября 1899 г., однако большого успеха не было. Это чутко уловил Чехов из присланных ему телеграмм, сообщавших об успехе. 30 октября 1899 г. он писал О. Л. Книппер: «В телеграммах только и было, что о вызовах и блестящем успехе, но чувствовалось в них что-то тонкое, едва уловимое, из чего я мог заключить, что настроение у вас всех не так чтобы уж очень хорошее. Газеты, полученные сегодня, подтвердили эту мою догадку. Да, актриса, вам всем, художественным актерам, уже мало обыкновенного, среднего успеха, вам подавай треск, пальбу, динамит».

[19] Труппа Художественного театра выехала в Крым 10 апреля 1900 г. для постановки в Севастополе и Ялте четырех спектаклей: «Чайки» и «Дяди Вани» Чехова, «Одиноких» (1891) Гауптмана и «Эдды Габлер» (1890) Ибсена.

[20] Эпизоды фотографирования в первом и четвертом актах «Трех сестер». Чехова снимал актер Тихомиров, фотограф-любитель.

[21] В записной книжке Станиславского сделана более подробная запись о замечаниях Чехова исполнителям «Дяди Вани». Станиславскому он сказал о прощании Астрова с Еленой Андреевной в 4-м действии пьесы:

«— Он же целует ее так (тут он коротким поцелуем приложился к своей руке). Астров же не уважает Елену. Потом же, слушайте, Астров свистит уезжая...

Астров циник, он им сделался от презрения к окружающей пошлости. Он не сентиментален и не раскисает. Он человек идейного дела. Его не удивишь прозой жизни, которую он хорошо изучил. Раскисая к концу, он отнимает лиризм финала дяди Вани и Сони. Он уезжает по-своему. Он мужественно переносит жизнь».

Надо быть специалистом, чтобы оценить филигранную тонкость этих замечаний» (Станиславский К. С. Собр. соч., т. 5. М., 1958, с. 618—619).

[22] Пьеса А. Н. Островского «Снегурочка» (1873) была поставлена

в Художественном театре 24 сентября 1900 г. Пьесы Ибсена «Доктор Штокман» (1882) и «Когда мы мертвые пробуждаемся» (1899) 24 октября и 28 ноября 1900 г.

[23] Чехов приехал в Москву 24 октября 1900 г. и пробыл до 11 декабря, присутствуя почти на всех репетициях «Трех сестер», которые происходили в это время.

[24] По поводу своей пьесы «Вишневый сад», которую Чехов в то время заканчивал, он писал 15 сентября 1903 г. Лилиной: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича».

[25] Полковник В. А. Петров но просьбе Чехова консультировал постановку «Трех сестер» как военный специалист.

[26] Чехов уехал в Ниццу 11 декабря 1900 г., откуда прислал 3-й и 4-й акты «Трех сестер». Отдельные замечания к пьесе он присылал из-за границы в письмах к О. Л. Книппер, К. С. Станиславскому и А. Л. Вишневскому.

[27] Первый спектакль «Трех сестер» состоялся в Художественном театре 31 января 1901 г. После премьеры Немирович-Данченко послал Чехову телеграмму (перевод с французского): «Первый акт — громадные вызовы, энтузиазм, 10 раз. Второй акт показался длинным. Третий большой успех. После окончания вызовы превратились в настоящую овацию. Публика потребовала телеграфировать тебе. Артисты играли исключительно хорошо, особенно дамы. Привет от всего театра» (Ежегодник Московского Художественного театра. 1944. М., 1946, с. 193). Второе представление прошло с бо́льшим успехом, о чем писала Чехову сестра Мария Павловна: «Второе представление выделило пьесу в совершенстве» (Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954, с. 173).

[28] Художественный театр гастролировал в Берлине в 1906 г.

[29] 28 февраля 1901 г., когда Художественный театр гастролировал в Петербурге, пьесу «Три сестры» смотрел А. М. Горький. По возвращении в Нижний Новгород он писал Чехову: «Три сестры» идут изумительно! Лучше «Дяди Вани». Музыка, не игра» (*Горький,* т. 28, с. 159).

[30] Чехов и О. Л. Книппер венчались 25 мая 1901 г. Упоминаемая телеграмма Вишневскому не сохранилась.

[31] Пьеса Ибсена «Дикая утка» (1884) впервые была поставлена в Художественном театре 29 сентября 1901 г.

[32] Первый спектакль «Михаэля Крамера» (1900) состоялся 27 октября 1901 г. По поводу этого спектакля Чехов писал О. Л. Книппер 1 ноября 1901 г.: «Судя по газетам, «Крамер» не имел того успеха, какой я ждал, и теперь мне больно. Нашей публике нужны не пьесы, а зрелища», а 7 ноября ей же: «...«Крамер» идет у вас чудесно, Алексеев очень хорош, и если бы рецензентами у нас были свежие и широкие люди, то пьеса эта прошла бы с блеском». Чехов смотрел пьесу на репетициях в 20-х числах октября 1901 г.

[33] Чехов пробыл в Москве с 17 сентября по 24 октября 1901 г. В этом

сезоне он смотрел «Трех сестер» и остался очень доволен спектаклем. Он сообщал Л. В. Средину 24 сентября 1901 г.: «...«Три сестры» идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон».

[34] Первый спектакль «Мещан» состоялся 26 марта 1902 г. в Петербурге. Станиславский и Немирович-Данченко под угрозой запрещения постановки «Мещан» были вынуждены временно внести ряд дополнительных сокращений в текст пьесы. О. Л. Книппер писала Чехову 17 марта 1902 г.: «Ты не говори Горькому, что мы много помарали помимо цензуры. После первых спектаклей восстановим опять».

[35] Чехов готовил тома для собрания сочинений в издании А. Ф. Маркса.

[36] Чехов и Книппер приехали в Москву 27 мая 1902 г. и были в этот день на происходивших экзаменах в драматическом классе Художественного театра. На экзаменационном просмотре в числе других отрывков были показаны сцены из «Чайки».

[37] Карета от Иверской часовни, развозившая по домам икону иверской божьей матери для служения молебнов.

[38] В это время (весной 1902 г.) по проекту Ф. О. Шехтеля перестраивалось для Художественного театра здание в Камергерском переулке, в котором ранее находился театр Омона.

[39] Чехов прожил в Любимовке с 6 июля до 14 августа 1902 г., а затем уехал в Ялту. О. Л. Книппер еще оставалась на некоторое время в Любимовке.

[40] А. Л. Вишневский.

[41] По мнению Станиславского, роль Епиходова создавалась из наблюдений Чехова над работником в Любимовке Егором, который был очень неловким и незадачливым, а также под впечатлением фокусника в «Аквариуме», которого Чехов очень любил смотреть. Этот фокусник разыгрывал неудачника, с которым приключались «двадцать два несчастья». Как считал М. П. Чехов, для роли Епиходова были взяты некоторые черты близкого знакомого чеховской семьи музыканта А. И. Иваненко (Чехов М. П. Вокруг Чехова. Чехова Е. М. Воспоминания. М., Художественная литература, 1981, с. 109).

[42] Станиславский считал, что прототипом Трофимова был сын горничной в Любимовке, служивший в конторе при имении: «Антон Павлович убедил бросить контору, приготовиться к экзамену зрелости и поступить в университет, говоря, что из юноши непременно выйдет профессор. И юноша действительно выполнил совет Чехова: стал учиться, сдал гимназический экзамен, поступил в университет. Между прочим, некоторые черты этого юноши, его угловатость, его пасмурную внешность «облезлого барина» Чехов затем внес в образ Пети Трофимова» (Речь, 1914, № 177, 20 марта).

[43] Чехов приехал в Москву 5 декабря 1903 г.

[44] После первых спектаклей, в середине февраля 1904 г., Чехов сам внес несколько изменений во второй акт «Вишневого сада»: опущено начало акта — разговор Ани с Трофимовым о поездке к ярославской бабушке, снят конец акта — разговор Шарлотты и Фирса, часть рассказа Шарлотты о своем детстве дана в начале акта, в начальной сцене вставлен «жестокий романс» Епиходова, проходящий на заднем плане.

[45] В 1904 г. исполнилось 25-летие литературной деятельности Чехова. Однако «настоять» на чествовании руководителям театра не удалось. Чехов действительно ничего о нем не знал. Он просто отправился в театр к концу третьего действия, когда за ним приехали и сообщили, что успех спектакля уже очевиден.

[46] Спектакль из миниатюр Метерлинка «Слепые» (1890), «Непрошеная» (1890), «Там внутри» (1894) был поставлен в Художественном театре уже после смерти Чехова, 2 октября 1904 г.

[47] Об этой же пьесе, но в несколько ином варианте Чехов говорил О. Л. Книппер. См. ее восп., с. 631.

В. В. ЛУЖСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 417)

Впервые — Солнце России, 1914, № 228/25, июнь. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 439.

Лужский (наст. фамилия — Калужский) Василий Васильевич (1869—1932), артист Московского Художественного театра с его основания. В пьесах Чехова исполнял роли: Сорина в «Чайке», Серебрякова в «Дяде Ване», Андрея Прозорова в «Трех сестрах», Гаева, Семеонова-Пищика и Фирса в «Вишневом саде», Лебедева в «Иванове», Пришибеева в инсценировке рассказа «Унтер Пришибеев».

[1] В письме к Вл. И. Немировичу-Данченко от 2 ноября 1903 г.

[2] Встреча Чехова с актерами Художественного театра произошла на репетиции «Чайки» 9 сентября 1898 г.

[3] На первых репетициях «Чайки» роль Тригорина исполнял артист Адашев. Станиславский, который должен был играть Дорна, на первых репетициях не участвовал, так как в это время находился в Харьковской губернии, где писал мизансцены «Чайки». Игрой Адашева Чехов был недоволен и просил передать эту роль Станиславскому. В первом спектакле «Чайки» роль Шамраева исполнял А. Р. Артем.

[4] Трагедия Софокла «Антигона» (до 441 г. до н. э.) была поставлена в Художественном театре впервые 12 января 1899 г.

[5] В присутствии Чехова состоялась третья репетиция «Чайки»

11 сентября 1898 г. На другой день (12 сентября) Немирович-Данченко писал Станиславскому: «Приехал Чехов. Привел я его дня три назад на репетицию. Он быстро понял, как усиливает впечатление Ваша mise en scène. Прослушал два первых акта, высказал мне, а потом артистам свои замечания. Они очень волновались. Он нашел, что у нас на репетициях приятно, славная компания и отлично работает. На другой день мы (без Чехова) переделали по его замечаниям (кое-где я не уступил), и вчера он опять слушал. Нашел много лучшим. Но Платоновым и Гандуриной и он, конечно, остался недоволен. Затем начал просить, чтобы Тригорина играли Вы» (Немирович-Данченко Вл. Избранные письма, с. 140—141). Платонов репетировал роль Тригорина, а Гандурина — роль Маши. О присутствии Чехова на репетиции «Чайки» 11 сентября записал в своем дневнике В. Э. Мейерхольд: «Чехов возражал против того, чтобы за сценой квакали лягушки, трещали стрекозы.

— Зачем это? — недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.

— Реально, — отвечает актер.

— Реально, — повторяет А. П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит. — Сцена — искусство. У Крамского есть одна жанровая картинка, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нос и вставить живой? Нос реальный, а картина-то испорчена» (Мейерхольд В. Э. О театре. СПб., 1913, с. 120).

[6] Слова из исполнявшейся А. Р. Артемом роли Телегина в «Дяде Ване».

[7] Квартира в доме Коровина на Петровке была снята в марте 1903 г. Чехов жил в этом доме, приезжая из Ялты в Москву, в 1903—1904 гг.

[8] К. Д. Бальмонт читал свое стихотворение «Лебедь» (Бальмонт К. Д. В безбрежности. М., 1896).

[9] См. коммент. 17 к восп. Станиславского, с. 675.

В. И. КАЧАЛОВ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

(Стр. 421)

Первые два отрывка впервые — альманах «Шиповник», кн. 23. СПб., 1914. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 444. Третий отрывок впервые — Ежегодник Московского Художественного театра. 1946. М., 1951, с. 58, печатается по тексту первой публикации.

Качалов (наст. фамилия — Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), артист Художественного театра с 1900 года. В пьесах Чехова исполнял роли: Тузенбаха и Вершинина в «Трех сестрах», Трофимова в «Вишневом саде», Тригорина в «Чайке», Астрова в «Дяде Ване», Иванова в «Иванове».

[1] N — артист С. Н. Судьбинин, исполнявший в пьесе Горького «Мещане» роль Нила.

[2] Качалов заменил в роли Тузенбаха ушедшего из театра В. Э. Мейерхольда. О том, что Чехов остался доволен игрою Качалова, свидетельствует его письмо к Л. А. Сулержицкому от 5 ноября 1902 г., где он сказал, что Качалов «играет чудесно».

[3] Качалов дублировал роль Вершинина, исполнявшуюся К. С. Станиславским.

[4] Качалов дублировал Станиславского в роли Тригорина в «Чайке», а в сезон 1901/1902 года был единственным исполнителем этой роли.

[5] См. восп. Станиславского, с. 411, и коммент. 45 к ним.

[6] Статья Волжского «Литературные отголоски. О некоторых мотивах творчества Максима Горького» (Журнал для всех, 1904, № 1).

И. А. НОВИКОВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ

(Стр. 425)

Впервые — Литературная газета, 1929, № 13, 15 июля. Для сборника «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М., Гослитиздат, 1947) текст был выправлен автором. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 582.

Новиков Иван Алексеевич (1877—1958), писатель. Первая встреча с Чеховым состоялась в январе 1899 года в Ялте, когда Новиков еще был студентом сельскохозяйственной академии. Вторая встреча — в мае 1900 года в Москве на XXVIII выставке художников-передвижников.

[1] Портрет князя И. И. Воронцова-Дашкова работы художника Н. П. Богданова-Бельского.

[2] Картина «В гости» (1899) молодого художника М. О. Пырина, который в то время кончал Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Картина находится в Третьяковской галерее (о ней см. публикацию М. П. Сокольникова в *ЛН,* т. 68, с. 876-879).

Г. И. РОССОЛИМО

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

(Стр. 428)

Впервые — частично журнал «Правда», 1905, июль, и в «Русских ведомостях», 1914, № 154, 2 июля. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 661.

Россолимо Григорий Иванович (1860—1928), невропатолог, профессор Московского университета. Однокурсник Чехова по медицинскому факультету Московского университета.

[1] В 1879 г. поступили на медицинский факультет Московского университета, кроме Чехова, еще два таганрожца: В. И. Зембулатов и Д. Т. Савельев.

[2] Это прозвище дал Зембулатову Чехов после того, как тот на вопрос учителя, как по-гречески слово «блаженный», ответил вместо «м*а*кар» — мак*а*р.

[3] Даты описываемых встреч не точны. На Неглинной в доме Ганецкой Чехов жил в 1902 г., на Спиридоновке в доме Бойцова — в 1901 г.

[4] Издание юбилейного сборника, задуманного и осуществленного по инициативе Г. И. Россолимо в память 15-летия выпуска врачей 1884 г. (Юбилейный сборник. XV. Врачи, окончившие курс в Московском университете в 1884 году (1884—1899). М., 1900.) В сборнике — фотографии врачей и краткие автобиографии; на товарищеской встрече Чехов не был. Свою автобиографию прислал на имя Россолимо в письме к нему от 11 октября 1899 г.

[5] Встреча у Г. И. Россолимо с А. Б. Фохтом, который читал рассказы В. А. Слепцова, состоялась, вероятно, в 1899 г. 2 января 1900 г. Чехов писал А. М. Горькому: «На медицинском факультете в Москве есть профессор А. Б. Фохт, который превосходно читает Слепцова. Лучшего чтеца я не знаю. Так вот, я ему послал Вашего «Сироту».

[6] «Какой простор!» (1903) — название картины И. Е. Репина, созвучной рассказанному Россолимо (находится в Русском музее в Ленинграде).

[7] 25 февраля 1902 г. доктор В. К. Данилов писал Чехову: «Примите мою глубочайшую и сердечную благодарность за Ваше живое участие ко мне и моей семье и материальную помощь, оказанную Вами» (*ГБЛ*).

[8] Речь идет о писательнице О. Ф. Жихаревой, одной из пациенток Г. И. Россолимо. По его просьбе Чехов 28 сентября 1902 г. обращался в Литературный фонд (Общество пособия нуждающимся литераторам и ученым) с просьбой о выдаче Жихаревой денежного пособия.

[9] Профессор медицинского факультета Московского университета Г. А. Захарьин в своих лекциях указывал, что нет болезней «вообще», а есть конкретные больные, успешно вылечить которых можно лишь учитывая те осложнения, которые болезнь получает из-за множества индивидуальных особенностей каждого случая (З а х а р ь и н Г. А. Клинические лекции. Вып. I. М., 1889, с. 10). Эту мысль Захарьина Чехов хотел взять за основу того курса, который он был готов читать на медицинском факультете Московского университета. Чехов говорил Россолимо, что он читал бы эти медицинские лекции «как бы сидя в шкуре разбираемого больного» (*Летопись,* с. 587).

[10] Можно считать, что Чехов был болен в течение не десяти, а двадца-

ти лет. В письме брату, Ал. П. Чехову, от 2 апреля 1897 г. Чехов писал, что у него с 1884 г., почти каждую весну, бывали кровохарканья. В «истории болезни», записанной наблюдавшим Чехова в клинике доктором М. Н. Масловым, читаем: «В 1884 г. в I — примесь крови в мокроте — дня три. В III — повторилось. — С того — каждую весну в течение нескольких дней. Последний раз началось 21 марта 1897 г.» (сведения взяты из диссертации Н. Кабанова — *Летопись,* с. 14). В июле 1894 г. А. С. Суворин, встречавшийся с Чеховым в Москве, писал своей близкой знакомой, писательнице С. И. Смирновой-Сазоновой, о том, что Чехов «едва ли здоров». На вопрос Суворина, почему он не покажется доктору, Чехов ответил: «Все равно мне осталось жить пять — десять лет, стану ли я советоваться или нет» (*ИРЛИ*).

М. ГОРЬКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 439)

Впервые — «Нижегородский сборник», Знание. СПб., 1905. Дополнения со слов: «Пятый день повышена температура» — в журнале «Беседа». Берлин, 1923, № 2, и отрывок из воспоминаний, озаглавленных «Люди наедине сами с собой» — в книге: Горький М. Заметки из дневника. Воспоминания. Берлин, 1924. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 493. Последний очерк по тексту: *Горький,* т. 15, с. 281.

М. Горький (наст. фамилия — Пешков) Алексей Максимович (1868—1936), писатель. Воспоминания его о Чехове написаны в 1904 году.

В конце октября 1898 года, еще до знакомства с Чеховым Горький послал ему в Ялту свои первые книги: «Очерки и рассказы», т. 1 и 2, и первое письмо. С этого времени началась их переписка, опубликованная в книге: «М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания». М., 1951. Личное знакомство произошло в Ялте, куда Горький приехал 19 марта 1899 года. 22 марта он писал жене, Е. П. Пешковой, в Нижний Новгород: «Чехов человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый <...> Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним» (*Горький,* т. 28, с. 69).

[1] Домик в деревне Кучук-Кой на южном берегу Крыма Чехов приобрел в конце 1898 г., когда еще не была построена его дача в Ялте (впоследствии дом был отдан И. П. Чехову. Чехова М. П. Из далекого прошлого. М., Гослитиздат, 1960, с. 230). В Кучук-Кое Чехов с Горьким были 5 апреля 1899 г. Там Чехов познакомил Горького с местным учителем. Об

этой поездке Горький вспоминает в статье «О женщине» (1930), но в ней ошибочно указан год поездки — 1901 (*Горький,* т. 25, с. 162).

[2] В записной книжке Горького имеется аналогичная запись:

«А. П. Чехов.

Дамы «разворачивались» пред ним, изгибались, показывая все свои округлости, делали масляные глазки, прискорбно спрашивали:

— А. П., отчего вы так грустно пишете о любви?

Покашливая, пощипывая бородку, он отвечал неожиданными вопросами:

— Вы бывали в Миргороде?

— Это — где?

— В Полтавской губернии. Помните Гоголя «Миргород»?

— Ах, значит, это не выдумал Гоголь?

— Гоголь никогда ничего не выдумывал.

— А... а «Вий»?

Но не касаясь «Вия», А. П. пресерьезно рассказывал, что Миргород знаменит своей лужей во всем мире и что смотреть на нее приезжают люди из всех государств Европы.

— У них, в Европе, нет городов с такими лужами на площади...» (Архив А. М. Горького, кн. VI. М., 1957, с. 212).

[3] Вероятно, имеется в виду В. С. Миролюбов.

[4] В своей статье о книге Чехова «Пестрые рассказы» (1886) Скабичевский писал, что Чехов «тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что ему придет в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов». «Книга Чехова, — писал далее Скабичевский, — как ни весело ее читать, представляет собой весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства». Скабичевский писал далее о судьбе «газетных писателей», которым «приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором» (Северный вестник, 1886, № 6).

[5] Подобные высказывания Чехова содержатся в его письме к доктору И. И. Орлову от 22 февраля 1899 г.

[6] Горький писал Е. П. Пешковой 11 или 12 июля 1904 г.: «Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это — мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину — у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему — все равно, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить вагона «для устриц». В этом вагоне — именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного» (*Горький,* т. 28, с. 310).

[7] Горький ехал из Петербурга в Москву на похороны Чехова в том же поезде, к которому был прицеплен вагон с гробом писателя. Он говорит, вероятно, об очень немногочисленной публике, которая встречала гроб

Чехова в Петербурге (до последнего дня в Петербурге не было известно о времени прибытия поезда). О встрече гроба в Москве Горький писал Е. П. Пешковой: «Я видел толпу «публики», ее было, может быть, три-пять тысяч» (*Горький,* т. 28, с. 310).

[8] Письмо А. С. Суворину от 11 июля 1894 г.

[9] Позднее Горький в одной из своих заметок дал другую оценку влияния Д. Лондона на русских читателей: «Джек Лондон. Его волюнтаризм. Рыцари. Воспитал ли он рыцарей в России? Я думаю — да. Это те, которые шли вперед и погибли на фронтах гражданской войны. А воспитал ли он авантюристов? Тоже — да. Плохое прививается легче хорошего» (Архив А. М. Горького, т. VI. М., 1957, с. 213).

[10] Замысел пьесы о Василии Буслаеве возник у Горького в 90-х гг. Затем, в 1912 г. он предполагал написать либретто оперы на эту тему. Замысел остался неосуществленным. В Архиве А. М. Горького сохранился ряд набросков к «Василию Буслаеву». Большую часть собранных материалов Горький отдал А. В. Амфитеатрову, который заинтересовался этой темой и вскоре написал пьесу «Васька Буслаев» (А. М. Горький в воспоминаниях современников, т. 2. М., Художественная литература, 1981, с. 61).

[11] Цитата из стихотворения Г. Гейне «Думы и грезы» (в переводе П. Вейнберга).

[12] В первой записной книжке Чехова находим заметку: «Радикалка, крестящаяся ночью, втайне набитая предрассудками, втайне суеверная, слышит, что для того, чтобы стать счастливой, надо ночью сварить черного кота. Крадет кота и ночью пытается сварить».

[13] См. коммент. 9 к восп. Щеглова, с. 641.

[14] В стихотворении К. Д. Бальмонта «Аромат солнца» (1901).

В. А. ПОССЕ

(ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ)

(Стр. 457)

Печатается по тексту первой публикации: П о с с е В. А. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, 14 глава.

Поссе Владимир Александрович (1864—1940), журналист. По образованию врач. С 1898 года редактор петербургского ежемесячного журнала «Жизнь», в котором была напечатана повесть Чехова «В овраге» (1900, январь).

[1] В. А. Поссе и А. М. Горький приехали в Ялту 16 марта 1900 г. 17 марта Чехов писал П. П. Гнедичу: «Здесь, в Ялте, Горький и Поссе, приехали вчера, я им очень рад. Безлюдье меня утомило».

[2] Слова старого цыгана из поэмы Пушкина «Цыгане» (1827).

[3] Пьеса Чехова «Дядя Ваня» шла в Московском Художественном театре в сезон 1899/1900 г. Премьера — 26 октября 1899 г.

[4] Разговор Чехова с Горьким происходил в Ялте в 1899 г. Тогда же в записной книжке Чехова появилась запись. См. восп. Горького на с. 452—453 и коммент. 12 к ним.

[5] По договору Чехова с А. Ф. Марксом (см. восп. Телешова, с. 472—476), он должен был передать Марксу и те свои рассказы, которые просил не включать в собрание сочинений. После смерти Чехова (и в том же году смерти Маркса) наследники Маркса издали эти рассказы, составившие шесть дополнительных томов.

[6] Чехов, Горький и Поссе были на спектакле «Чайки» в Художественном театре 26 октября 1900 г.

[7] Возмущение Горького бестактностью публики, резкую отповедь поклонникам его таланта раздули газетчики, обвиняя писателя в грубости. Горький был вынужден обратиться в редакцию «Северного курьера» (1900, № 363, 18 ноября) с опровержением измышлений газетчиков. Возразив против приписанных ему грубостей, Горький заключил: «Этим письмом я только протестую против искажения моих слов, но не извиняюсь. А газетчиков, раздувших это пустяковое происшествие, я от души спрашиваю: «Неужели вам, господа, не стыдно заниматься пошлыми пустяками?»

[8] 17 апреля 1901 г. был арестован Горький и посажен в Нижегородскую тюрьму. В докладе департамента полиции сообщалось, что Горький привлечен к расследованию по делу об устройстве демонстрации и недозволенных сборищ и изготовления на гектографе в сообществе с другими сборника тенденциозных произведений (Летопись жизни и творчества А. М. Горького, т. I. М., 1958, с. 315). В апреле же, но позднее, был арестован и Поссе за связь с уже арестованным Горьким. В середине мая Поссе был освобожден, но с запрещением в течение трех лет проживать в столичных и университетских городах и в фабричных губерниях. 17 мая был выпущен Горький.

[9] Статья В. А. Поссе «Московский Художественный театр (по поводу его петербургских гастролей) » напечатана в апрельской книжке «Жизни» за 1901 г.

[10] Письмо Чехова от 21 мая 1901 г. — ответ на письмо В. А. Поссе, посланное из Дома предварительного заключения 7 мая 1901 г.

[11] Одновременно с арестом Горького и Поссе был приостановлен и руководимый ими литературно-политический журнал «Жизнь», орган «легальных марксистов» (в журнале печатался и В. И. Ленин). Журнал боролся против декадентских течений в литературе, отстаивал реализм. 8 июля 1901 г. постановлением правительства журнал за его «весьма тенденциозный характер» был закрыт. В 1902 г. в Лондоне и в Женеве вышло шесть номеров журнала «Жизнь» и в виде приложения двенадцать номеров «Листков Жизни».

[12] Последние произведения Чехова — рассказ «Невеста» и пьеса «Вишневый сад» написаны в 1903 г.

Н. Д. ТЕЛЕШОВ

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 464)

Впервые — Телешов Н. Д. Записки писателя. Воспоминания. М., 1943. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 473.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — писатель. С Чеховым познакомился в 1888 году, но встречи их относятся, главным образом, к концу 90-х и началу 900-х годов.

[1] Сообщенные сведения о сборнике «В сумерках» не точны. Книга вышла в августе 1887 г. и уже с сентября этого года в газетах и журналах появились рецензии. 28 сентября 1887 г. Чехов писал М. В. Киселевой: «Рецензии о себе читаю почти ежедневно...» Приведенное четверостишие В. П. Буренина не относилось к сборнику «В сумерках». Эту книгу Чехова Буренин оценил высоко: «Почти в каждом его рассказе свежий, яркий и оригинальный талант бьет ключом, и автор неистощим и разнообразен в своем творчестве» (Новое время, 1887, № 4155, 23 сентября).

[2] Сборник «Пестрые рассказы» вышел в 1886 г.

[3] Это предположение Н. Д. Телешова неосновательно, так как рассказ «Свадьба» был напечатан в «Осколках» 15 декабря 1884 г., а в доме Клименкова на Якиманке, который имеет в виду Телешов, Чеховы жили с декабря 1885 г.

[4] См. коммент. 15 к восп. Бунина и коммент. 4 к восп. Горького, с. 690 и 684.

[5] Свадьба И. А. Белоусова состоялась 10 февраля 1888 г.

[6] К этому времени вышли четыре книжки рассказов Чехова: «Сказки Мельпомены» (1884), «Пестрые рассказы» (1886), «Невинные речи» (1887), «В сумерках» (1887).

[7] Чехов познакомился с Д. В. Григоровичем в Петербурге в декабре 1886 г. Григорович же был у Чехова в Москве позднее.

[8] См. восп. Короленко, с. 36.

[9] Рассказ «Каштанка» в это время был уже напечатан под названием «В ученом обществе», рассказ «Белолобый» появился только в 1895 г.

[10] В предыдущей редакции воспоминаний о Чехове следовал текст, перенесенный автором в другую главу своей книги «Записки писателя». Приводим его здесь: «В 1900 году в Москве образовался у нас товарищеский кружок литераторов под именем «Среда». Большинство виднейших

писателей того времени, как Горький, Леонид Андреев, Вересаев, Бунин, Скиталец, Куприн были постоянными посетителями наших собраний. Не чуждались и более старые писатели — Короленко, Златовратский, Мамин-Сибиряк... Хотя Чехов жил в Ялте, он всегда интересовался кружком и требовал, чтобы я писал ему о наших новостях. Рядом с серьезными и деловыми беседами у нас допускались и шутки. Так, в одну из зим появились у нас шуточные прозвища нашим постоянным товарищам. Но прозвища эти дозволялось выбирать только из существующих названий тогдашних улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса».

Например, писателю Гославскому за его обычное безмолвие во время споров дали название «Большая Молчановка», а другого товарища (Л. А. Хитрово. — *Н. Г.*), наоборот, за пристрастие к речам прозвали «Самотека». Старику Златовратскому дан был сначала адрес «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды». Редактору «Русской мысли» Гольцеву дали адрес «Девичье поле», но вскоре изменили на «Бабий городок». Тимковский назывался «Зацепа», театральный критик Сергей Глаголь «Брехов переулок», а Шаляпин был «Разгуляй», Бунин, отчасти за свою худобу, а отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов «Пречистенка». Вересаев — за твердость взглядов был «Каменный мост», Серафимович за свою лысину назывался «Кудрино», Куприн за пристрастие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начинающий тогда Леонид Андреев получил адрес «Большой Новопроектированный переулок». В таком же роде были прозваны и многие другие товарищи.

Над этими адресами, помню, потешался и хохотал Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете я докладывал ему о них как новинках только что минувшего сезона.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным адресом.

— Вас не тронули. Вы без адреса.

— Ну, это жалко! — разочарованно говорил он. — Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. Только, пожалуйста, без всяких церемоний, чем смешнее, тем лучше, и напишите — как. Доставите удовольствие.

Когда он узнал, что Миролюбову, издателю «Журнала для всех» за его колоссальный рост дали адрес «Каланчевская площадь», то с улыбкой заметил:

— Вот Глеб Успенский его тоже великолепно окрестил, совершенно невероятным именем, но метко: «Пирамидальный буйвол» — вот это сказано!»

[11] Письмо от 7 февраля 1903 г.

[12] Из интервью А. Зенгер «У Толстого» (Русь, 1904, № 212, 15 июля).

[13] Из письма М. О. Меньшикову от 28 января 1900 г.

[14] См. восп. Короленко и Куприна, с. 45 и 516—517.

[15] Из письма М. Горького Чехову от 27 июля 1901 г.

[16] Чествование Генриха Сенкевича в его юбилейный 1901 год (отмечалось 25 лет литературной деятельности писателя) приняло в Польше характер национального торжества. Сенкевич в день юбилея получил от Польши дар — имение, купленное на деньги, собранные по подписке.

[17] Документ этот хранится в *ЦГАЛИ*.

[18] См. восп. Станиславского, с. 389—392.

[19] Замысел пьесы «На дне» возник у Горького в 1900 г., но пьеса была написана позднее и поставлена в Художественном театре впервые 18 декабря 1902 г. Раньше Горький написал пьесу «Мещане», поставленную в Художественном театре 26 марта 1902 г.

[20] «Иванов» и инсценировки рассказов Чехова «Хирургия», «Злоумышленник», «Жених и папенька» были поставлены в Художественном театре после смерти Чехова. «Иванов» — впервые 19 октября 1904 г., рассказы — в 1905 г.

[21] Из письма к Вл. И. Немировичу-Данченко от 24 ноября 1899 г.

[22] См. коммент. 6 к восп. Горького, с. 684.

[23] Памятник на могиле А. П. Чехова сооружен вскоре после его смерти по проекту Л. М. Браиловского, ограда — по проекту Ф. О. Шехтеля.

[24] См. восп. Лазаревского, с. 579.

И. А. БУНИН

ЧЕХОВ

(Стр. 482)

Впервые — первая часть в сборнике товарищества «Знание» на 1904 год, кн. 3. СПб., 1905. В собр. соч. И. А. Бунина (т. 6, 1915) включена первая часть и впервые напечатана вторая часть, написанная в 1914 году. [Дополнения] извлечены из книги Бунина «О Чехове» (Нью-Йорк, 1955). Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 512.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель. С Чеховым познакомился 12 или 14 декабря 1895 года (14-м декабря датирована надпись Бунина на подаренном им Чехову оттиске рассказа «На хуторе»). Следующая встреча была в 1898 или 1899 году в Ялте, а затем в 1900—1904 годах, к которым и относится их сближение.

Замысел написать книгу «О Чехове» возник у Бунина после того, как он прочитал первые тома писем Чехова, входивших в издававшееся Гослитиздатом Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова (письма в 1948—1951 годах) и сборник «Чехов в воспоминаниях современников»

(М., Гослитиздат, 1947). На экземпляре сборника, принадлежавшего Бунину, много его пометок на полях. Последние месяцы жизни Бунин читал письма Чехова. Когда самому читать стало трудно, ему вслух читала В. Н. Муромцева-Бунина, жена писателя. 9 февраля 1953 г. она писала И. В. Кодрянскому: «Иван Алексеевич пристально изучает Чехова. Если будут силы, бог даст, напишет о нем книгу» (*ЛН,* т. 84, кн. 2, с. 349).

[1] В Ялтинском кабинете Чехова находятся пять картин И. И. Левитана: «Дуб и березка» (1884), «Река Истра» (1885), «Тяга» (1891), «Этюд» (1895), «Стога сена в лунную ночь» (1899).

[2] См. коммент. 4 к восп. Горького, с. 684.

[3] Имеется в виду рекламное объявление издательства «Скорпион» о помещении в альманахе «Северные цветы» чеховского рассказа «В море» (в альманахе название — «Ночью»). Реклама вырезана из неизвестной газеты и наклеена в письме.

[4] Письмо от 8 января 1904 г.

[5] Телеграмма труппе театра Соловцова (январь 1902 г.) не сохранилась.

[6] Слова из пьесы Чехова «Вишневый сад».

[7] В. Г. Короленко писал в рецензии на «Северные сборники» (1908, кн. 5), напечатанной в «Русском богатстве», 1908, № 10, что рассказы Седерберга напоминают ему «простоту и задушевность нашего Чехова».

[8] Речь идет о рецензии В. Г. Короленко «О сборнике т-ва «Знание» за 1903 год», напечатанной в журнале «Русское богатство», 1904, № 8.

[9] В статье Л. Шестова «Творчество из ничего» в его книге «Начала и концы». СПб., 1908.

[10] Чьи воспоминания имел в виду Бунин, не выяснено. Возможно, имелся в виду Б. А. Лазаревский.

[11] Вероятно, Чехов говорил о поэте-символисте И. И. Ореусе.

[12] В «Анне Карениной» (часть вторая, глава IV).

[13] Из стихотворения Н. Ведкова «В ожидании утра» (Русское богатство, 1899, № 8).

[14] См. коммент. 4 к восп. Горького, с. 684.

[15] Имеется в виду статья Н. К. Михайловского о сборнике рассказов Чехова «Хмурые люди» (Русские ведомости, 1890, № 104, 16 апреля). В собрание сочинений Н. К. Михайловского, т. VI, изд. «Русского богатства», включена под названием «Об отцах и детях и о г. Чехове». В этой статье Михайловский писал: «Выбор тем г. Чехова поражает своей случайностью. Везут по железной дороге быков в столицу на убой. Г. Чехов заинтересовывается этим и пишет рассказ под названием «Холодная кровь». Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это — рассказ «Почта»... И рядом вдруг «Спать хочется» — рассказ о том, как тринадцатилетняя девчонка Варька, состоящая в няньках у сапожника и не имевшая ни минуты покоя, убивает порученного ей грудного ребенка потому, что именно он мешает ей спать.

И рассказывается это тем же тоном, с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками, с той же «холодной кровью», как про быков или про почту, которая выехала с одной станции и приехала на другую».

[16] Вероятно, это была рукопись рассказа «Дом с мезонином», который Чехов писал в декабре 1895 г. Повесть же «Бабье царство» была в это время уже напечатана (в январе 1894 г.).

[17] Окончание рассказа «Архиерей».

[18] Письмо это неизвестно.

[19] Книга П. А. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» (М., 1898). В 1903 г. вышло второе издание книги.

[20] О том, что Чехов родился не 17-го, а 16-го января 1860 г., имеются еще свидетельства. Например, в неопубликованном письме В. К. Харкеевич к Чехову от 16 января 1900 г.: она поздравляла Чехова «с днем рождения 16 января и именинами 17 января».

[21] После смерти Николая Павловича Чехова Ал. П. Чехов писал отцу в Москву: «Ревут все. Не плачет только один Антон, и это плохо» (*ГБЛ*).

[22] Имеется в виду четвертая заповедь Евангелия: «Ибо бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертию не умрет».

[23] См. восп. Станиславского, с. 383—392.

[24] 31 января 1901 г. — первый спектакль «Трех сестер» в Художественном театре.

[25] На Луке, в имении Линтваревых, Чехов жил летом 1888 и 1889 гг. В 1888 г. с 14 по 19 июня Чехов совершил поездку по Украине: «Был я в Лебедине, в Гадяче, в Сорочинцах и во многих прославленных Гоголем местах»,— писал Чехов Н. А. Лейкину 21 июня 1888 г. Святогорский монастырь Чехов посетил в мае 1887 г.

[26] Повесть «Скучная история» (1889), рассказ «Тиф» (1887).

[27] Из письма к О. Л. Книппер от 9 сентября 1901 г.

[28] В Аксенове Уфимской губ., где Чехов лечился кумысом, он находился в июне 1901 г.

[29] Перечитывал и частично переделывал свои рассказы для собрания сочинений в издании А. Ф. Маркса.

[30] Чехов писал М. П. Чеховой 16 марта 1901 г., что газета «Курьер» напечатала заметку о том, будто Чехов предлагает стол и квартиру учителям, желающим поехать в Крым. В письме к ней же от 2 марта 1899 г. Чехов сообщал, что «Курьер» напечатал бестактную — по отношению к нему — заметку, в которой использовал его имя для обвинения Суворина.

[31] Чехов приехал в Москву, чтобы присутствовать на репетиции «Трех сестер» в Художественном театре, 16 сентября 1901 г.

[32] О. Л. Книппер приехала в Ялту из Петербурга 14 апреля 1902 г. тяжелобольная.

[33] Художник П. А. Нилус приступил к работе над портретом Чехова 3 апреля 1902 г., но уже 14 апреля пришлось прервать работу из-за болезни О. Л. Книппер. Нилус пишет в воспоминаниях: «Я уехал и только

несколько лет спустя уже после смерти Антона Павловича почел своим долгом, как мог, закончить начатое по наброску и фотографиям» (Нилус Петр. О Чехове. — Речь, 1914, № 177, 2 июля). Портрет находится в Доме-музее А. П. Чехова в Москве.

[34] Ошибка, допущенная во многих изданиях, в которых имелись сведения об Ал. П. Чехове, начиная с энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: на математическом отделении физико-математического факультета Московского университета Ал. П. Чехов пробыл на первом курсе два года. Не перейдя на второй курс, перевелся на естественное отделение, которое и закончил в 1883 г. Тем не менее эрудиция его действительно была огромна. Об этом писал и его сын, знаменитый актер, Михаил Александрович Чехов: «Эрудиция его была поистине удивительная. Он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и т. д., владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется в 2—3 месяца, изучил финский язык» (Чехов Мих. Ал. Путь актера. Л., 1928, с. 17).

[35] Первое представление пьесы Горького «На дне» состоялось в Художественном театре 17 декабря 1902 г.

А. И. КУПРИН

ПАМЯТИ А. П. ЧЕХОВА

(Стр. 507)

Воспоминания написаны в 1904 году. Впервые — в сборнике товарищества «Знание», кн. 3. СПб., 1905. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 539.

Куприн Александр Иванович (1870—1938) — писатель. С Чеховым познакомился в 1901 году.

[1] Первая строка стихотворения А. С. Пушкина без названия (1834).

[2] Ялтинская дача Чехова построена архитектором Л. Н. Шаповаловым. См. его восп. в сборнике *Чехов в восп.,* с. 468.

[3] См. восп. Станиславского, с. 383—392.

[4] О. Р. Васильева.

[5] Первая встреча А. И. Куприна с Чеховым состоялась в Одессе 13 февраля 1901 г. в «Лондонской» гостинице.

[6] Письмо Чехова — отказ от звания почетного академика, посланное на имя председателя отделения русского языка и словесности А. Н. Веселовского 25 августа 1902, было напечатано в Штутгарте, в журнале «Освобождение», 1902, № 10. Журнал этот нелегально распространялся в России. А. И. Куприн писал Чехову 6 декабря 1902 г.: «Большое впе-

чатление произвело в Петербурге Ваше письмо в Академию. О нем нет разногласия: все единодушно находят его чрезвычайно сдержанным и очень сильным» (*ЛН,* т. 68, с. 387). В России письмо было впервые опубликовано в сборнике товарищества «Знание», кн. 3. СПб., 1905, с. 18—19.

Избрание Горького в почетные академики состоялось не в декабре 1901 г., как ошибочно написано в письме Чехова, а 25 февраля 1902 г., о чем Чехова уведомили телеграммами: Н. П. Кондаков — 26 февраля и В. С. Миролюбов — 27 февраля (*ГБЛ*). См. также восп. Короленко, с. 45.

[7] В мае 1901 г. Куприн писал Чехову: «Четверть часа тому назад я встретил на набережной архитектора Секавина, который, помните, доезжал Вас целые три часа. Он, правда, мой старый знакомый, то есть мы были знакомы мальчиками, когда мне было лет пятнадцать, а ему двадцать Я его спросил, зачем он к Вам тогда приходил. Он очень обрадовался и снова рассказал мне эту идиотскую историю. Но как я ни старался ему объяснить нелепость его поступка (даже прибегал к разным сравнениям), он остался непоколебим. «У нас только и есть в России два либеральные писателя — Чехов и Потапенко, которые не побоятся высказать правду в глаза печатно» (*ЛН,* т. 68, с. 379).

[8] Вероятно, генерал говорил о Горьком.

[9] Из письма Куприну от 1 ноября 1902 г.

[10] Чехов познакомился с Н. Д. Телешовым на свадьбе И. А. Белоусова 10 февраля 1888 г.

[11] Вероятно, об академике Н. П. Кондакове.

[12] Сведений об этом друге никаких нет. Скорее всего это действительно «легенда».

[13] Речь идет о поэте Л. И. Пальмине, умершем в 1891 г. См. вступит. статью, с. 16.

[14] Этим начинающим писателем был сам Куприн. М. К. Иорданская писала в своих воспоминаниях, что Куприн рассказывал ей: «...каждое утро к 9 часам <...> я приходил на дачу Чехова работать над своим рассказом «В цирке». Мои денежные дела были в самом плачевном состоянии. Перед отъездом в Ялту я сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Присылка гонорара опаздывала, я сидел без гроша и поэтому особенно стеснялся оставаться обедать у Чехова. Но Антон Павлович видел меня насквозь, и когда я начал уверять, что хозяйка ждет меня с обедом, он решительно прерывал меня: «Ничего, подождет, а пока садитесь за стол без разговоров. Когда я был молодой и здоровый, я легко съедал по два обеда, а вы, я уверен, отлично справитесь и с тремя». Рассказ «В цирке» очень нравился Чехову, и он, как врач, давал Куприну указания, на какие симптомы болезни атлета (гипертрофия сердца) нужно обратить особое внимание и выделить их так, чтобы характер болезни не оставлял сомнений. Он с увлечением прочел Александру Ивановичу целую лекцию о различных сердечных болезнях.

— Я понял, — говорил Куприн, — что если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом» (Огонек, 1948, № 38).

[15] Две выдержки из письма Чехова Куприну от 1 ноября 1902 г. В них идет речь о рассказах Куприна «На покое» и «В цирке».

[16] Из письма Куприну от 22 января 1902 г. Чехов пишет о рассказе Куприна «В цирке» и о книжке его «Миниатюры. Очерки и рассказы». Киев, 1897.

[17] Это отрывок из письма Куприну от 7 февраля 1903 г. Письмо аналогичного содержания Чехов в тот же день послал Телешову.

[18] Чехов был на Сахалине в 1890 г.

[19] В первой записной книжке Чехова находим такую запись:

«Репетиция. Жена:

— Как это в «Паяцах»? Посвисти, Миша.

На сцене свистать нельзя. Сцена — это храм». Этот анекдот затем был использован Куприным в рассказе «Как я был актером» (Театр и искусство, 1906, № 52).

[20] Из письма Куприну от 1 ноября 1902 г.

[21] Из писем Чехова разным лицам от мая 1904 г.

И. Н. АЛЬТШУЛЛЕР

О ЧЕХОВЕ

(Из воспоминаний)

(Стр. 536)

Впервые — «Современные записки». Париж, 1930, XLI. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 585.

Альтшуллер Исаак Наумович (1870—1943), врач, специалист по туберкулезу. Один из основателей лиги для борьбы с туберкулезом. В 1898 году из-за болезни переселился в Ялту; лечил Чехова в последние годы его жизни и Л. Н. Толстого во время пребывания последнего в Гаспре.

Первые воспоминания Альтшуллера о Чехове были напечатаны в газете «Русские ведомости», 1914, 2 июля, под названием: «Отрывки из воспоминаний об А. П. Чехове». Публикуемые воспоминания написаны в 1929 году. 19 июля 1929 года Альтшуллер писал М. П. Чеховой, что к нему, в связи с приближающимся 25-летием со дня смерти Антона Павловича, обращаются с просьбами написать воспоминания о нем. «С одной стороны, я бы сделал это с удовольствием, так как ведь сколько о нем ни написано, но почти всегда новое находится у каждого. С другой стороны,

мне, как бы это сказать, немного страшно, что ли. Мне ведь в последние годы его жизни пришлось очень близко быть около него, иногда, когда других наблюдателей и не было. Да и по положению я мог видеть и наблюдать многое, что недоступно посторонним, то, что, пожалуй, знаете только Вы, хотя мы почти никогда или только очень редко и только вскользь касались этих тем. Исчезнем мы и немногие другие, и, мне кажется, об Антоне Павловиче останется у потомства неверное, точнее, неполное представление» (*ГБЛ*). М. П. Чехова ответила Альтшуллеру: «Воспоминания о брате пишите обязательно, Вы должны это сделать». В последние годы жизни Альтшуллер еще раз написал о Чехове. Воспоминания были дополнены сведениями об истории болезни Чехова в связи с событиями последних лет его жизни. Перепечатаны в *ЛН,* т. 68, с. 681.

[1] Это была, вероятно, статья Н. К. Михайловского «Литература и жизнь. Кое-что о Чехове» (Русское богатство, 1900, № 4).

[2] О встречах с дочерью ялтинского протоиерея, Надеждой Александровной Терновской, Чехов писал М. П. Чеховой 10 марта 1899 г.: «Бываю в Ореанде, Массандре. Катаюсь с поповной чаще, чем с другими,— и по сему случаю разговоров много, и поп наводит справки, что я за человек».

[3] Чехов писал брату Ивану Павловичу 20 января 1899 г.: «За будущие произведения я буду получать (по предварительном напечатают в журналах обычным порядком) 250 р. за лист, потом через пять лет 450 р., еще через пять лет 650 р. за лист и т. д. с надбавками по 200 р. через каждые пять лет. Обещал в телеграмме, что буду жить не долее 80 лет», а 21 января 1899 г. Чехову телеграфировал А. С. Суворин: «Маркс ужасно испугался Вашей угрозы прожить до восьмидесяти лет, когда ценность Ваших произведений так возрастает. Вот сюжет для комического рассказа» (*Переписка,* т. 1, с. 264).

[4] Накануне отъезда в Баденвейлер 2 июня 1904 г. Чехов писал дьякону Л. И. Любимову: «Я болен, со 2-го мая лежу в постели и завтра уезжаю лечиться за границу, но тем не менее все-таки мне удастся сделать что-нибудь для Вашего сына Александра Леонидовича. Сегодня я уже направил одного господина, который будет иметь разговор с ректором, а завтра поговорю с другим». В день отъезда Чехов передал В. А. Гольцеву письмо дьякона и просил помочь ему: «Это пишет дьякон Любимов, учитель нескольких городских училищ, очень хороший, превосходный человек. Нельзя ли сделать что-нибудь? Подумай, голубчик! Дьякон беден, а теперь приходится посылать в Дерпт сыну».

[5] Альтшуллер шутил, сравнивая Чехова с героем его рассказа «Крыжовник».

[6] Картину «Стога сена в лунную ночь» И. И. Левитан написал в декабре 1899 г., когда приезжал к Чехову в Ялту. Другая картина «Этюд» написана им летом 1895 г. в Мелихове.

[7] По-видимому, писатель Б. А. Лазаревский.

[8] Вероятно, фельдшер Г. П. Задера. Из сохранившихся в архиве

Чехова писем к нему Задеры видно, что Чехов редактировал и исправлял его рассказы.

[9] Владелица курорта Суук-Су О. М. Соловьева. Объявление об открытии этого курорта печаталось в ялтинской газете «Крымский курьер».

[10] См. коммент. 15 к восп. Бунина, с. 690.

[11] См. восп. Горького, Щеглова и Короленко. Один из редакторов «Крымского курьера» М. К. Первухин вспоминает свой разговор с Чеховым о Суворине — Чехов отметил положительные черты Суворина: «Мы с ним были большими друзьями! — говорил Чехов. — Потом мы разошлись. Расхождение началось с несчастного дела Дрейфуса, по отношению к которому, по моему мнению, «Новое время» заняло ошибочную позицию. За последние годы между мною и Сувориным осталось уже мало общего. Но все-таки — это воспоминания молодости. Я чувствую себя очень обязанным Суворину. Пусть на него собак вешают. Пусть на него возлагают ответственность за то, в чем его личной вины очень мало, что является коллективным грехом. Но все же «старая любовь», говорят, «не ржавеет». И я до могилы не смогу относиться безразлично к Суворину.

Дальше Чехов горячо заговорил о положительной роли Суворина в русской жизни.

— Кто поднял гонорар газетного работника? — говорил Чехов. — Кто первый стал давать русским писателям такую плату, при которой культурному человеку сделалось возможным целиком отдаться газетной работе? Это сделал именно Суворин. Вы скажете, что просто-напросто он применил коммерческий расчет. Да. Пусть так. Но другие не хотели, да и сейчас не хотят применять этот «правильный расчет».

Кто вообще относился к своим сотрудникам с исключительной заботливостью? Старик Суворин! Загляните в его конторские книги, вы увидите, какие колоссальные суммы розданы Сувориным сотрудникам в виде безнадежных авансов. Кто первым стал обеспечивать своих сотрудников пенсиями? Суворин!

Знаете ли вы, например, дело с У.?

Этот человек был когда-то полезным работником. Суворин его ценил. Хорошо платил. Потом У. заболел нервным расстройством и работником быть перестал. Суворин назначил ему месячное жалованье — двести рублей. Зная гордость У., Суворин отдал приказание в редакции:

— Пусть У. постоянно пишет. Принимайте его вещи, но не печатайте. Ссылайтесь на цензурные условия, на недостаток места, на что хотите. Ссылайтесь на меня лично: говорите, что данная вещь *мне* не понравилась и я не позволил ее печатать! А деньги платите!

И вот У. продолжает годами присылать свой материал, в большинстве случаев являющийся сумбуром, — а Суворин продолжает выплачивать ему гонорар и от времени до времени дает ему отпуск, и на поездку выдает отдельную сумму...

Кто по-человечески обставил своих типографских рабочих? Кто для

типографского персонала создал отличную профессиональную школу, эмеритальную кассу и т. д.? — Суворин.

Кто из русских господ издателей, придя к убеждению, что данный начинающий писатель обещает со временем развернуться, — берет этого писателя к себе, любовно за ним ухаживает, бережет его, направляет его талант? Суворин.

Кто, наконец, из русских издателей способен, заранее зная, что данная книга пойдет туго, будет залеживаться десятилетиями, — все же издать такую книгу и затратить на издание многие десятки тысяч? Только Суворин!

У кого из этих русских издателей в душе живет жилка жажды творчества и кто занимается издательством не столько ради возможных выгод, сколько ради того, что этим создаются культурные ценности? Это — А. С. Суворин.

И вот когда история будет судить его, — пусть она не забудет и этих сторон жизни Суворина...» (*Чехов в восп.,* с. 629—630).

[12] См. коммент. 4 к восп. Горького, с. 684.

[13] Из письма Я. П. Полонскому от 18 января 1888 г.

[14] Судьба писем А. С. Суворина к Чехову неизвестна. О том, что Суворин их уничтожил, можно говорить только предположительно.

[15] См. коммент. 26 к восп. Короленко, с. 640.

[16] Священнику С. Н. Щукину. См. его восп. в сборнике *Чехов в восп.,* с. 453.

[17] Вероятно, артист А. Л. Вишневский. Об этом же он пишет в книге «Клочки воспоминаний». М., 1928, с. 100.

[18] В письме Суворину от 11 сентября 1888 г.

[19] Чехов прервал свою работу над диссертацией по теме истории медицины в России, возможно, узнав о том, что диссертация на аналогичную тему была в 1884 г. защищена в Казани доктором Эккерманом (см. заметку Н. И. Гитович «Почему работа осталась незавершенной» в журнале «Наука и жизнь», 1980, № 3). В настоящее время материалы, собранные Чеховым для диссертации, опубликованы в *ПСС,* т. 16.

[20] См. восп. Россолимо, с. 436.

[21] Из письма А. С. Суворину от 14 октября 1888 г.

[22] Из письма А. С. Суворину от 14 октября 1888 г.

[23] Письмо-завещание на имя М. П. Чеховой датировано Чеховым 3 августа 1901 г.

[24] О. Л. Книппер исполняла в этой пьесе роль Ирины.

[25] О. Л. Книппер написала И. Н. Альтшуллеру после того, как получила письмо от М. П. Чеховой, приехавшей в Ялту на рождественские каникулы. Мария Павловна писала 20 декабря 1901 г.: «Антоша был очень болен, сильно похудел и побледнел; теперь ходит с компрессом на боку, еще не выходил. Настроение у него хорошее, аппетит появился. Теперь вникай и слушай, что сказал мне вчера Альтшуллер. Сказал он, что слушал Антона и нашел ухудшение, ухудшение это он приписывает долгому

пребыванию в Москве, была повышенная температура, кровохарканье и непрерывный кашель. Указывает он на то, что кто-нибудь из нас должен быть около него, так как он капризничает с матерью, часто ничего не ест» (Музей МХАТ). И. Н. Альтшуллер ответил Ольге Леонардовне подробным письмом о состоянии Чехова. В его письме читаем такие строки: «Питался Антон Павлович, по его собственным словам, очень плохо, мне кажется иногда он ничего не ел» и «с приездом Марии Павловны наладилось и кормление, и я раньше никогда не видел, чтобы он столько и с такой охотой ел. Результат сказался сейчас же. Его внешний вид и настроение совершенно изменились. Все это лишний раз показало мне, какой благоприятный процесс у Антона Павловича, как болезнь его ценит оказываемое ей внимание, и как быстро он оправляется при сколько-нибудь правильном уходе и режиме, и с другой стороны как вредны и опасны его легкомысленные экскурсии на север зимой, осенью и ранней весной. Удержится ли этот правильный режим и теперь, после отъезда Марии Павловны, не знаю. <...> тоска и одиночество, в которых пребывает теперь Антон Павлович, также не могут не влиять вредно на его здоровье» (*ГБЛ*). Но все осталось по-прежнему. И О. Л. Книппер, и М. П. Чехова, преподававшая в московской гимназии, продолжали жить в Москве, и вся поправка Антона Павловича, которой добилась Мария Павловна за время своего короткого пребывания в Ялте, пошла на убыль. 20 января 1902 г. М. П. Чехова писала в Ялту брату: «Получила открытку от Погожевой. Она пишет, что у тебя уже не такой блестящий вид, каков был при мне, и ты скучаешь. Это напрасно». А в ответ на письмо Ольги Леонардовны Чехов писал ей 13 февраля 1902 г.: «...пожалуйста, ничего не говори мне об еде. <...> После того, как Маша уехала, все перевернулось и идет по-старому, как до приезда Маши, и иначе невозможно».

[26] Чехов уехал в Москву 2 декабря 1903 г. О том, что Альтшуллер «умолял» его в Москву не ездить, в Москве не жить, Чехов писал О. Л. Книппер 2 октября 1903 г.

[27] В письме к О. Л. Книппер от 6 марта 1903 г.

[28] Из письма к О. Л. Книппер от И апреля 1903 г.

[29] Из предисловия О. Л. Книппер-Чеховой к книге: «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. 1. М., Мир, 1934, с. 43.

[30] См. коммент. 8 к восп. Н. Г. Гарина-Михайловского, с. 705.

[31] Доктор В. А. Щуровский.

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

(Стр. 556)

Впервые — Е л п а т ь е в с к и й С. Я. Близкие тени. СПб., 1909 (частично), и Е л п а т ь е в с к и й С. Я. Воспоминания за пятьдесят лет. СПб., 1929. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 570.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), писатель, врач. Долгое время жил в Ялте, где познакомился с Чеховым, вероятно, в 1898 году.

[1] «Кому повем печаль мою?» — начало духовного стиха «Плач Иосифа и быль» (Бессонов П. Калики перехожие, т. 1. М., 1861, с. 187). Елпатьевский повторил эпиграф, данный Чеховым к рассказу «Тоска».

[2] Положение приезжающих в Ялту лечиться нуждающихся туберкулезных больных производило на Чехова тяжелое впечатление. Он писал А. С. Суворину 10 марта 1900 г.: «Как много здесь чахоточных! Какая беднота и как беспокойно с ними! Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете же себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — и это в благословенной Тавриде». Чехов пришел к мысли о необходимости создания в Ялте общедоступного санатория для приезжающих в Ялту неимущих больных. Он включился в деятельность ялтинского благотворительного общества, которое состояло из врачей-общественников, составил воззвание с призывом присылать пожертвования для организации такого санатория. Разослал его в редакции газет, своим друзьям и знакомым. Чехов писал Горькому в Нижний Новгород 25 ноября 1899 г., которому послал экземпляр напечатанного в типографии воззвания: «Одолевают чахоточные бедняки. <...> Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело. Мы решили строить санаторию, я сочинил воззвание; сочинил, ибо не нахожу другого средства. Если можно, пропагандируйте сие воззвание через нижегородские и самарские газеты, где у Вас есть знакомства и связи. Может быть, пришлют что-нибудь». Благодаря присылаемым пожертвованиям, в Ялте был создан санаторий «Яузляр». На годичном собрании членов ялтинского благотворительного общества Чехов был избран участковым попечителем о нуждающихся приезжих больных.

[3] И. И. Левитан написал эту картину, когда в конце декабря 1899 г. приезжал к Чехову в Ялту. Она вставлена в углубление на камине.

[4] См. вступит. статью, с. 19.

[5] Еще в мае 1889 г. Чехов писал о Гончарове Суворину: «...читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его «Обломов» совсем неважная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину».

[6] Это была заметка в библиографическом отделе журнала «Русская мысль», 1890, № 3, в которой Чехов и Ясинский названы «жрецами беспринципного писания». По этому поводу 10 апреля 1890 г. Чехов отправил издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову письмо: «Беспринципным

писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был. <...> Обвинение Ваше — клевета».

[7] Об изменившемся настроении Чехова вспоминал и Е. П. Карпов, встретившийся с ним в Москве в июне 1902 г. у В. Ф. Комиссаржевской:

«— Написали что-нибудь для театра? — спросила Вера Федоровна.

— Да, пишу... — нехотя, конфузливо улыбаясь, ответил Антон Павлович. — Пишу не то, что надо. Не то, что хотелось бы писать... Нудно выходит... Совсем не то теперь надо...

— А что же?

— Совсем другое надо... Бодрое... Сильное. Пережили мы серую канитель... Поворот идет... Круто повернули...

— Разве пережили? Что-то не похоже... — усомнился я.

— Пережили... уверяю вас... — убежденно сказал Антон Павлович. — Здесь, в Москве, да и вообще в столицах это не так заметно... У нас на юге волна сильно бьет... В народе сильное брожение. Я недавно беседовал с Львом Николаевичем. И он тоже видит... А он старец прозорливый... Гудит, как улей, Россия. Вот вы посмотрите, что будет года через два-три... Не узнаете России... — Антон Павлович оживился, встал с дивана, заложив одну руку в карман, стал ходить по комнате.

— Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... Очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе... Прямо удивительно!..» (Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1954, с. 571—572).

[8] 1 марта 1887 г. группой революционеров-террористов было совершено покушение на Александра III. С заговорщиками жестоко расправились, пятеро из них (в том числе Александр Ульянов) были приговорены к смертной казни через повешение.

[9] Чехову писал парижский корреспондент «Нового времени» И. Я. Павловский, который был убежден в невиновности Дрейфуса, о том, что «Новое время» переделывает посылаемые им телеграммы о деле Дрейфуса, придавая им противоположный смысл (*ГБЛ*).

[10] Рассказ «Невеста» Чехов показывал в корректуре Елпатьевскому, Горькому и Вересаеву (см. восп. Вересаева, с. 602).

Б. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 567)

Печатается по тексту первой публикации: Лазаревский Б. Повести и рассказы, т. 2. М., 1906.

Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), писатель. По образованию — юрист. По окончании Киевского университета служил не-

сколько лет секретарем и следователем военно-морского суда в Севастополе. В эти годы (1899—1903) часто бывал в Ялте, где навещал Чехова. Воспоминания Лазаревского интересны тем, что в них воспроизведены дневниковые записи, сделанные им тотчас же после каждой беседы с Чеховым.

[1] Летом 1899 г. вышла первая книга Б. Лазаревского «Забытые люди. Очерки и рассказы» (Одесса, 1899). 26 августа 1899 г. в севастопольской газете «Крымский вестник» появилась анонимная рецензия на эту книгу: «Внешний вид ее весьма недурен, но далеко нельзя сказать того же о ее внутреннем содержании. <...> шаблонные темы, скучные герои, еще более шаблонные описания». В тот же день Лазаревский послал Чехову свою книгу, рецензию на нее и первое письмо к нему. Он просил Чехова: «Скажите мне, как добрый и честный человек, права ли редакция «Крымского вестника» <...>. Что делать? Неужели не писать ничего, что иногда так волнует? Думаю, что Вы ответите мне» (*ГБЛ*). Еще не дождавшись ответа, Лазаревский 4 сентября приехал в Ялту и зашел к Чехову.

[2] Вторая встреча с Чеховым произошла 29 ноября 1899 г. Чехов был занят рассылкой воззвания (см. коммент. 2 к восп. Елпатьевского, с. 699).

[3] Чехов смотрел свой водевиль «Медведь» 3 февраля 1892 г. в воронежском театре. В изданном в 1897 г. сборнике пьес (СПб., 1897) Чехов в четырех местах снял слово «турнюр».

[4] В 1887 г. П. Ф. Якубович (псевдоним — Мельшин) как революционер-народоволец был сослан в Сибирь на каторгу, замененную потом ссылкой. Здесь он написал книгу «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника», вышедшую в 1899 г. (1 том — второе издание, и 2 том). Чехов высоко ценил Мельшина: «...это большой, неоцененный писатель, умный, сильный писатель, хотя, быть может, и не напишет больше того, что уже написал» (письмо к Л. А. Авиловой от 9 марта 1899 г.).

[5] 21 ноября 1899 г. в Москве тяжело заболел Л. Н. Толстой. В конце месяца его состояние улучшилось, но Чехов не знал об этом. 1 декабря 1899 г. он писал М. П. Чеховой: «Испортился телеграф, нет телеграмм. Не знаю, как здоровье Толстого».

[6] Судя по приведенной фразе, это был рассказ «В овраге».

[7] См. коммент. 20 к восп. Щепкиной-Куперник, с. 655. Э. Золя, ознакомившийся с делом Дрейфуса по документальным материалам, пришел к убеждению о полной невиновности Дрейфуса и выступил в его защиту, публикуя статьи, связанные с этим делом. Когда же военный суд, состоявшийся 11 января 1898 г., оправдал настоящего виновника Эстергази, Золя написал открытое письмо президенту республики Феликсу Фору, в котором обвинял поименно всех лиц, а также генеральный штаб и военное министерство, подстроивших «дело Дрейфуса», в целом ряде преступных действий. Это письмо, озаглавленное «Я обвиняю», было опубликовано в газете» «L'Aurore» 13 января 1898 г.

[8] Жизнь испанского писателя Сервантеса (1547—1616) представляла собою цепь жестоких лишений, невзгод и бедствий. С 1571 г., находясь на военной службе, он участвовал в нескольких походах. Четыре раза был ранен и находился в госпитале. При очередном походе был захвачен турками в плен. Увезенный в Алжир, он провел там пять лет в тяжелых условиях. В 1580 г. был выкуплен и освобожден. К этому времени относится начало его литературной деятельности. Для добывания средств к существованию поступил на службу в интендантство. При выполнении служебных обязанностей у Сервантеса, совершенно неприспособленного к счетной работе, было много неприятностей. Он попадал под суд и дважды приговаривался к тюремному заключению.

[9] См. «Остров Сахалин», гл. XII (петит).

[10] Дело лейтенанта Рощаковского слушалось в Севастопольском Военно-морском суде в мае 1901 г. Рощаковский, плававший в должности ревизора на минном транспорте «Буг», заявил, что у него похищены казенные деньги, которые он хранил в своей каюте. Виновный не был обнаружен. Рощаковский высказал подозрение, что в краже повинен мичман Иловайский. Возмущенный Иловайский ударил его по лицу. Дело кончилось дуэлью, на которой Иловайский был убит. Чехов хорошо знал семью Иловайских, с которыми познакомился в феврале 1892 г. в Воронеже, куда ездил по делам организации помощи голодающим.

[11] Возможно, это был психологический поединок: Достоевский сознательно приписал себе дурной поступок, которого не совершал, с единственной целью — позлить Тургенева.

[12] Рассказ «Огни» (1888), не перечитав его, Чехов не включил в собрание сочинений.

[13] Рассказ написан Диль-Тальх.

[14] См. восп. Короленко и коммент. 26 к ним, с. 45 и 640.

[15] Вероятно, это было посещение одесского журналиста Лоэнгрина (псевдоним П. Т. Герцо-Виноградского). После смерти Чехова он написал воспоминания о своей единственной встрече с Чеховым, состоявшейся 4 мая 1902 г. (Южное обозрение, 1904, № 7854, 4 июля).

[16] Из книги А. М. Федорова «Стихотворения» (СПб., 1903), полученной Чеховым от автора.

[17] Все книги с дарственными авторскими надписями посылались Чеховым в Таганрогскую библиотеку. См. описание этих книг в сборнике «Чехов и его среда». Л., 1930, с. 221.

[18] Возможно, что у Чехова были неверные сведения о своем сожителе в гостинице. То, что он был сыщиком, опровергают современники.

[19] От знакомства с жившим в Ницце Евгением Новицким предостерегал Чехова И. Я. Павловский в письме от ноября 1897 г. (*ГБЛ*). В первой записной книжке Чехова находим запись от 7 октября 1897 г. «Признание шпиона». 27 апреля 1898 г. записал в своем дневнике А. С. Суворин: «Чехов рассказывал о русском шпионе в Ницце. Он получает 700 рублей» (Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923, с. 180).

[20] В дневниковой записи Б. А. Лазаревского отзыв Толстого о Чехове дан в другой редакции: «Чехов — это маленький Пушкин». Но в письмах Лазаревского Чехову от 5 сентября 1903 г. и В. С. Миролюбову от 20 октября 1903 г. переданы слова Толстого так же, как и здесь: «Чехов — это Пушкин в прозе». Мы располагаем еще воспоминаниями Вал. Лазурского, в которых приведены следующие слова Толстого: «Талант Чехова я ставлю гораздо выше собственного. Только Чехов создал новый собственный тип письма. Чехов умеет одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами. Чехов — это Пушкин нашей прозы» (Речь, 1915, № 307, 7 ноября). В дневнике самого Л. Н. Толстого сделана запись 3 сентября 1903 г.: «Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это — большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 54. М., 1959, с. 191).

[21] Сын Л. Н. Толстого Илья Львович писал Чехову 25 мая 1903 г., что Лев Николаевич отметил и разделил его рассказы на два сорта. К первому сорту отнес рассказы: «Детвора», «Хористка», «Драма», «Дома», «Злоумышленник», «Мальчики», «Темнота», «Спать хочется», «Супруга», «Душечка». Ко второму сорту: «Беззаконие», «Горе», «Ведьма», «Верочка», «На чужбине», «Кухарка женится», «Канитель», «Переполох», «Ну, публика», «Маска», «Женское счастье», «Нервы», «Свадьба», «Беззащитное существо», «Бабы» (*Летопись,* с. 750). Эти рассказы Чехова выделены Толстым, надо полагать, не по всему собранию сочинений, а только по отдельным томам.

[22] 22 ноября 1901 г. в Ялте, в исполнении труппы Московского товарищества русских драматических артистов, под управлением И. А. Добровольцева, была поставлена пьеса Чехова «Три сестры». 24 ноября Чехов писал О. Л. Книппер: «Здесь, в Ялте, шли «Три сестры» — отвратительно! Офицеры были с полицейскими погонами, Маша говорила хриплым голосом. Сбор был полный, но публика ругала пьесу отчаянно».

[23] Из XIX главы книги «Остров Сахалин».

[24] Статья А. Басаргина (наст. фамилия — Ал. И. Введенский) «Циничная проповедь бесстыдства. «Трое» М. Горького» — Рассказы, т. 5», в газете «Московские ведомости», 1901, № 358, 29 декабря.

[25] О ком шел разговор, не установлено.

А. СЕРЕБРОВ-ТИХОНОВ

О ЧЕХОВЕ

(Стр. 583)

Впервые — в книге «Год восемнадцатый». Альманах седьмой. М., 1935. Серебров А. — Время и люди. М., 1955, с. 213. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 643.

Тихонов (псевдоним — Серебров) Александр Николаевич (1880—1957) — литератор, по образованию инженер. Воспоминания относятся к июню 1902 года, когда Тихонов, будучи студентом Горного института, был на практике на Всеволодо-Вильвенском заводе С. Т. Морозова и жил в его имении Усолье, куда Морозов пригласил погостить Чехова.

Рукопись своих воспоминаний о Чехове А. Н. Тихонов посылал Горькому, который дал ему некоторые советы, отметил, что «правильно схвачена манера говорить у Чехова» (письмо от 28 марта 1933 г.).

[1] Письмо А. М. Горького Тихонову-Сереброву от 28 марта 1933 г.

[2] О посещении Чеховым Всеволодо-Вильвенского завода вспоминает рабочий В. В. Аликин: «Однажды после обхода по заводу владелец в сопровождении Чехова и других пришел к нам в лабораторию, где вели разговор о непосильной работе, о продолжительности рабочего дня, причем больше всех разговаривал Чехов и настаивал перед Морозовым, чтобы в наших цехах сделали рабочий день 8 часов. На это Морозов дружелюбно ответил: «Хорошо. Сделаю». Действительно, после отъезда Морозова все смены рабочих перешли на 8-часовой рабочий день. А подсобные рабочие как механических мастерских, так и надзорные, остались с 12-часовым рабочим днем, но с перерывами на завтрак 30 минут и на обед 1 час». Копия воспоминаний В. В. Аликина прислана бывшим директором Пермской научной библиотеки А. К. Шарцем и хранится в личном собрании П. И. Гитович.

[3] Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко 25 июня 1902 г.

[4] «Зритель» — псевдоним В. В. Розанова.

[5] Намек на стихотворение В. Я. Брюсова, состоявшее из одной строки «О, закрой свои бледные ноги» (Брюсов В. Iuvenalia. Юношеские стихотворения. 1892—1894).

[6] Речь идет о рассказе Н. С. Лескова «Однодум» (1879).

[7] Именно этот день отъезда Чехова был намечен еще в Москве. В письмах от 22 июня к М. П. Чеховой и 23 июня к О. Л. Книппер Чехов сообщал, что 2 июля непременно будет в Москве.

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

(Стр. 597)

Впервые — Вестник манчжурской армии. Ляоян, № 22, 22 июля. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 658.

Гарин (наст. фамилия — Михайловский) Николай Георгиевич (1852—1906) — писатель, инженер-путеец. Чехов обратил внимание на

писателя Н. Гарина после появления в печати его первого произведения «Несколько лет в деревне» (Русская мысль, 1892, № 3). Он писал А. С. Суворину 27 октября 1892 г.: «Прочтите, пожалуйста, в «Русской мысли», март, «Несколько лет в деревне» Гарина. Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка — сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй». И в письме В. А. Гольцеву от 30 декабря 1892 г. Чехов писал о Гарине: «Я пропагандирую его «Несколько лет в деревне». Личное знакомство и встречи с Чеховым относятся к 1903—1904 гг. Н. Гарин писал 3 октября 1903 г. А. И. Иванчину-Писареву: «Познакомился и полюбил Чехова. Плох он. И догорает, как самый чудный день осени. А завтра... он знает свое завтра и рад, и удовлетворен, что кончил свою драму «Сад вишневый» (*ИРЛИ*).

[1] Н. Г. Гарин-Михайловский в 1903 г. производил в Крыму изыскания для постройки южнобережной железной дороги.

[2] Чествование Чехова происходило в том же 1904 г., в январе. См. восп. Станиславского, с. 411—412.

[3] Первым из известных опубликованных рассказов Чехова было «Письмо к ученому соседу». Напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 10, за подписью: «...въ».

[4] Имеется в виду начавшаяся 26 января 1904 г. война с Японией.

[5] Н. К. Михайловский умер 27 января 1904 г.

[6] В первой записной книжке, которую заполнял Чехов начиная с 1891 г., он в 1903 г. обвел чернилами карандашные записи, начинавшие уже стираться. Позднее он перенес неиспользованные записи из первой записной книжки в четвертую.

[7] В марте 1904 г. Гарин уехал на Дальний Восток.

[8] О своем намерении уехать в действующую армию Чехов сообщал во многих письмах: 12 марта 1904 г. он писал О. Л. Книппер-Чеховой: «Если в конце июня и в июле буду здоров, то поеду на войну...»; 13 апреля 1904 г. писал А. В. Амфитеатрову: «Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент». В этот же день писал Б. А. Лазаревскому: «В июле или в августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток».

В. В. ВЕРЕСАЕВ

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 600)

Впервые — Красная панорама, 1929, № 23, 13 июля. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 673.

Вересаев (наст. фамилия — Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945), писатель, врач.

[1] Вересаев и Горький посетили Чехова в середине апреля 1903 г.

[2] Об отношении Чехова к Суворину см. восп. Короленко, Ковалевского, Поссе, Альтшуллера и коммент. к ним.

[3] Заметный интерес Чехова к общественным и политическим вопросам появился уже в конце 90-х гг. Об общественных настроениях в Москве, Петербурге, Киеве, о происходивших в те годы студенческих волнениях сообщали Чехову его корреспонденты. Чехов оказывал материальную помощь ссылавшимся студентам (см. вступит. статью, с. 23).

[4] Вторая встреча Чехова с Вересаевым состоялась 20 апреля 1903 г.

[5] Горький и Вересаев читали рассказ «Невеста» во второй корректуре. 22 апреля 1903 г. Чехов уехал в Москву, взяв с собой эту корректуру для исправлений. 29 апреля он писал И. Н. Альтшуллеру: «Сижу дома безвыходно и читаю корректуру». Исправленную корректуру Чехов отослал В. С. Миролюбову для «Журнала для всех». В письме к нему от 12 июня 1903 г. он писал: «Простите, делать мне нечего, и вот на досуге я увлекся и почеркал весь рассказ». Третья корректура также испещрена значительными переделками. В последней главе Чехов снял два абзаца, из которых можно было заключить, что, по первоначальному замыслу, героиня рассказа шла на революционную работу. Рассказ «Невеста» был напечатан в декабрьской книжке «Журнала для всех» за 1903 г. после третьей корректуры.

[6] Из письма В. В. Вересаеву от 5 июля 1903 г.

В. П. ТРОЙНОВ

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

(Из воспоминаний)

(Стр. 603)

Печатается по тексту первой публикации: Литература и искусство, 1944, № 29, 15 июля.

Тройнов Виктор Петрович (1876—1948), инженер-экономист, служивший у С. Т. Морозова, и литератор.

[1] «Доктор Штокман» (1882) — пьеса Г. Ибсена.

[2] В 1904 г. вышло второе издание книги: «Роберт Бернс и его произведения в переводе русских писателей», под редакцией И. А. Белоусова. СПб., 1904. Белоусов подарил Чехову эту книгу с надписью: «Дорогому

Антону Павловичу Чехову от искренно любящего его И. Белоусова. 19/IV — 1904 г.».

[3] С трактовкой Художественным театром «Вишневого сада» Чехов не был согласен, как, видимо, и вообще не все принимал в Художественном театре. А. К. Гладков записал следующие слова В. Э. Мейерхольда: «Знаете, кто первым заронил во мне сомнения в том, что все пути Художественного театра верны? — Антон Павлович Чехов. <...> Он со многим в театре не соглашался, многое прямо критиковал» (Тарусские страницы. Калуга, 1961, с. 302).

Н. З. ПАНОВ

СЕАНС

(К портрету А. П. Чехова)

(Стр. 607)

Впервые — Живописное обозрение, 1904, № 40. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 677.

Панов Николай Захарович (1871—1916), художник.

В 1903 году жил в Ялте, где познакомился с Чеховым через писателя Н. Г. Гарина-Михайловского.

10 августа 1903 года нарисовал карандашный портрет Чехова и в тот же день записал свои впечатления о встречах с ним. Портрет был подарен Пановым Чехову, с надписью: «Оригиналу от автора». Где находится сейчас этот портрет и сохранился ли он — неизвестно. Возможно, что после смерти Чехова портрет был дан «Живописному обозрению» для воспроизведения его в журнале и не вернулся в семью Чеховых.

Н. П. УЛЬЯНОВ

К ПОРТРЕТУ А. П. ЧЕХОВА

(Стр. 610)

Печатается по тексту первой публикации: Известия Литературно-художественного кружка. Вып. 3. М., 1914.

Ульянов Николай Павлович (1875—1949), художник.

Портрет Чехова, написанный Н. П. Ульяновым, и портрет, написанный В. А. Серовым, который сам художник считал неоконченным, находятся в Доме-музее А. П. Чехова в Москве.

В. Л. КНИППЕР-НАРДОВ

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ С ЧЕХОВЫМ

(Стр. 611)

Печатается по тексту первой публикации: *ЛН,* т. 87, с. 302.

Книппер (псевдоним — Нардов) Владимир Леонардович (1876—1942), младший брат О. Л. Книппер-Чеховой. Окончил юридический факультет Московского университета, но вскоре сменил специальность: стал певцом. Был режиссером и педагогом. С 1940 года — профессор Московской консерватории.

[1] Встреча Чехова с В. Л. Книппер состоялась в Берлине 7/20 июня 1904 г.

[2] Письмо из Баденвейлера от 15/28 июня 1904 г.

[3] Об этом времени в биографии Чехова вспоминает один из редакторов ялтинской газеты «Крымский курьер» А. Я. Бесчинский. Он рассказал о своей беседе с. Чеховым весной 1904 г., когда шла война с Японией. Чехов говорил о своем «двойственном чувстве» при известиях о поражениях русской армии. «Он сознавал, — писал Бесчинский, — что неудачная война может дать толчок к коренным реформам, но ему не хотелось и поражений» (Приазовская речь, 1910, № 48, 17 февраля).

О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА

О А. П. ЧЕХОВЕ

(Стр. 612)

Впервые — Ежегодник Московского Художественного театра, 1949—1950. М., 1952. Печатается по тексту: *Чехов в восп.,* с. 680.

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1869—1959), актриса Московского Художественного театра с самого его основания. Жена А. П. Чехова. Их переписка опубликована: 1) Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер. Том первый (16 июня 1899 г. — 15 сентября 1901 г.). М., Мир, 1934; 2) Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер. Том второй (26 октября 1901 г. — 10 октября 1902 г.). М., Гослитиздат, 1936; 3) Переписка с А. П. Чеховым (1902—1904) с сокращениями — в книге: «Ольга Леонардовна Книппер-Чехова», часть первая. М., Искусство, 1972.

В пьесах Чехова О. Л. Книппер исполняла роли: Аркадиной в «Чайке», Елены Андреевны в «Дяде Ване», Маши в «Трех сестрах», Раневской в «Вишневом саде», Сарры в «Иванове».

[1] «Трактирщица» (1753) — комедия К. Гольдони.

[2] Сборник: Чехов Антон. Пьесы. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1897.

[3] Пушкино — подмосковная местность по Ярославской железной дороге, где труппа молодого Художественного театра начала репетиции.

[4] Упоминаемые пьесы: «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, «Ганнеле» Г. Гауптмана, «Шейлок» (1596) У. Шекспира.

[5] О. Л. Книппер познакомилась с Чеховым на репетиции «Чайки», состоявшейся в Охотничьем клубе на Воздвиженке 9 сентября 1898 г. 14 сентября Чехов был на репетиции пьесы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», в которой О. Л. Книппер исполняла роль Ирины. 8 октября Чехов писал А. С. Суворину об этом спектакле: «Ирина, помоему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши, а старик (секиры) чудесен. Но лучше всех Ирина Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

[6] А. П. Чехов и О. Л. Книппер венчались 25 мая 1901 г.

[7] Провести зиму 1903—1904 г. под Москвой рекомендовал Чехову профессор А. А. Остроумов.

[8] Через много лет (в 1946 г.) о шести годах знакомства и близости с Чеховым О. Л. Книппер писала своей племяннице А. К. Книппер: «Да, эти шесть лет, что я его знала, были мучительны, полны надрыва из-за сложившейся так жизни. И все же эти годы были полны такого интереса, такого значения, такой насыщенности, что казались культурой жизни. Ведь я не девочкой шла за него, это не был для меня мужчина, — я поражена была им как необыкновенным человеком, всей его личностью, его внутренним миром — ох, трудно писать все это...» (Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, часть вторая. Переписка (1896—1959). М., Искусство, 1972, с. 213).

[9] Из письма к О. Л. Книппер от 27 сентября 1900 г.

[10] Сохранилась запись, сделанная Л. Я. Гуревич со слов Ив. П. Чехова: «Ольга Леонардовна хотела бросить сцену, Антон Павлович не допустил, говоря, что жить без дела, без работы нельзя...» (*Летопись,* с. 691). В записной книжке В. С. Миролюбова, в записи от 5 апреля 1903 г., читаем: «Все зависело от меня, — говорил Чехов, — я потребовал, чтобы она не бросала сцены. Что бы она тут делала в Ялте?» (*ЛН,* т. 68, с. 520).

[11] См. коммент. 4 к восп. Лужского, с. 679.

[12] К. С. Станиславский.

[13] См. коммент. 12 к восп. Станиславского, с. 675.

[14] Чехов приехал в Москву 12 апреля 1899 г. и пробыл в Москве и в Мелихове до 11 июля.

[15] Речь идет о картине И. И. Левитана «Сумерки. Стога» (1899).

[16] Слова Нины Заречной в 4-м действии «Чайки».

[17] Первое письмо Чехова к О. Л. Книппер от 16 июня 1899 г. из Мелихова. Раньше, 20 мая 1899 г., в письме М. П. Чеховой к О. Л. Книппер Чеховым была сделана маленькая приписка.

[18] См. коммент. 19 к восп. Станиславского, с. 676.

[19] М. Горький находился в Крыму с 16 марта по 16 июня 1900 г.

[20] Чехов приехал в Москву 8 мая 1900 г. и прожил здесь до 17 мая.

[21] Чехов с А. М. Горьким, В. М. Васнецовым и А. Н. Алексиным в конце мая 1900 г. уехали из Ялты во Владикавказ для дальнейшей поездки по Военно-Грузинской дороге. По пути, в Мцхете, к ним присоединился Л. В. Средин, выехавший раньше. 3 июня они приехали в Тифлис, где пробыв около недели, уехали в Батум и оттуда в Ялту. В поезде Тифлис — Батум встретили О. Л. Книппер.

[22] Слова Тузенбаха в первом действии пьесы Чехова «Три сестры».

[23] Пьеса А. П. Островского «Снегурочка» поставлена была в Художественном театре впервые 24 сентября 1900 г.

[24] Чехов и О. Л. Книппер заезжали к Горькому 26 мая 1901 г.

[25] Запись о Пьяном Боре в четвертой записной книжке, с. 18.

[26] Письмо от 23 марта 1895 г.

[27] Чехов и О. Л. Книппер ездили в Царицыно 14 февраля 1904 г.

[28] См. восп. Альтшуллера и коммент. 2 к ним, с. 539 и 695.

[29] См. также восп. Станиславского, с. 413.

[30] Доктор И. Шверер, лечивший Чехова в Баденвейлере.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В указатель включены имена и названия периодических изданий, встречающиеся в тексте воспоминаний, вступительной статье и комментариях. Аннотации содержат лишь сведения, необходимые для понимания текста. Широко известные имена и имена мемуаристов не аннотируются. Имена и названия, встречающиеся только во вступительной статье и комментариях, в указатель не включены.

Страницы основного текста печатаются прямыми цифрами, страницы вступительной статьи и комментариев — курсивными.

СОДЕРЖАНИЕ

А. П. ЧЕХОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. П. Чехов в воспоминаниях современников /
Ч-56 Вступ. статья А. Туркова; Сост., подгот. текста и коммент. Н. Гитович.— М.: Худож. лит., 1986.— 735 с. (Лит. мемуары).

В сборник вошли наиболее значительные воспоминания из богатейшей мемуаристики об А. П. Чехове — В. Г. Короленко, Л. А. Авиловой, И. Н. Потапенко, И. Л. Щеглова, Т. Л. Щепкиной-Куперник, А. М. Горького, И. А. Бунина, А. И. Куприна, представителей Московского Художественного театра — Вл. И. Немировича-Данченко, К. С. Станиславского, О. Л. Книппер-Чеховой и др. Впервые включены в сборник воспоминания К. А. Коровина, А. А. Хотяинцевой, В. Л. Книппер-Нардова и др.

Ч $\frac{4702010100-197}{028(01)-86}$ **19-86** **ББК 84Р1**

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Составитель
НИНА ИЛЬИНИЧНА ГИТОВИЧ

Редактор В. Пересыпкина

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Вецкувене

Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4009

Сдано в набор 20.09.85. Подписано к печати А10539 04.03.86. Формат 84X X108 $^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64+1 вкл. + альбом = 39,53. Усл. кр.-отт. 40,0. Уч.-изд. л. 43,58+1 вкл. + альбом = 44,39. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-2016. Заказ № 90. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная. 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



А. П. Чехов. 1890.



В. Г. Короленко.



Л. А. Авилова.
Конец 1890-х годов.



Петербург. Невский проспект.



Л. С. Мизинова.
Конец 1880-х годов.



А. П. Чехов.
1888.



Дом Я. А. Корнеева на Садовой-Кудринской ул.,
в котором Чеховы жили в 1886—1890 годах.



Во дворе дома Я. А. Корнеева. Весна 1890 года.
В первом ряду: М. П. и А. П. Чеховы; во втором — М. Я. Корнеева, Л. С. Мизинова, М. П. и Е. Я. Чеховы, Алеша Корнеев;
в третьем — А. И. Иваненко, И. П. и П. Е. Чеховы.



И. И. Левитан.
Подпись «Милому А. Чехову
И. Левитан. 1887».



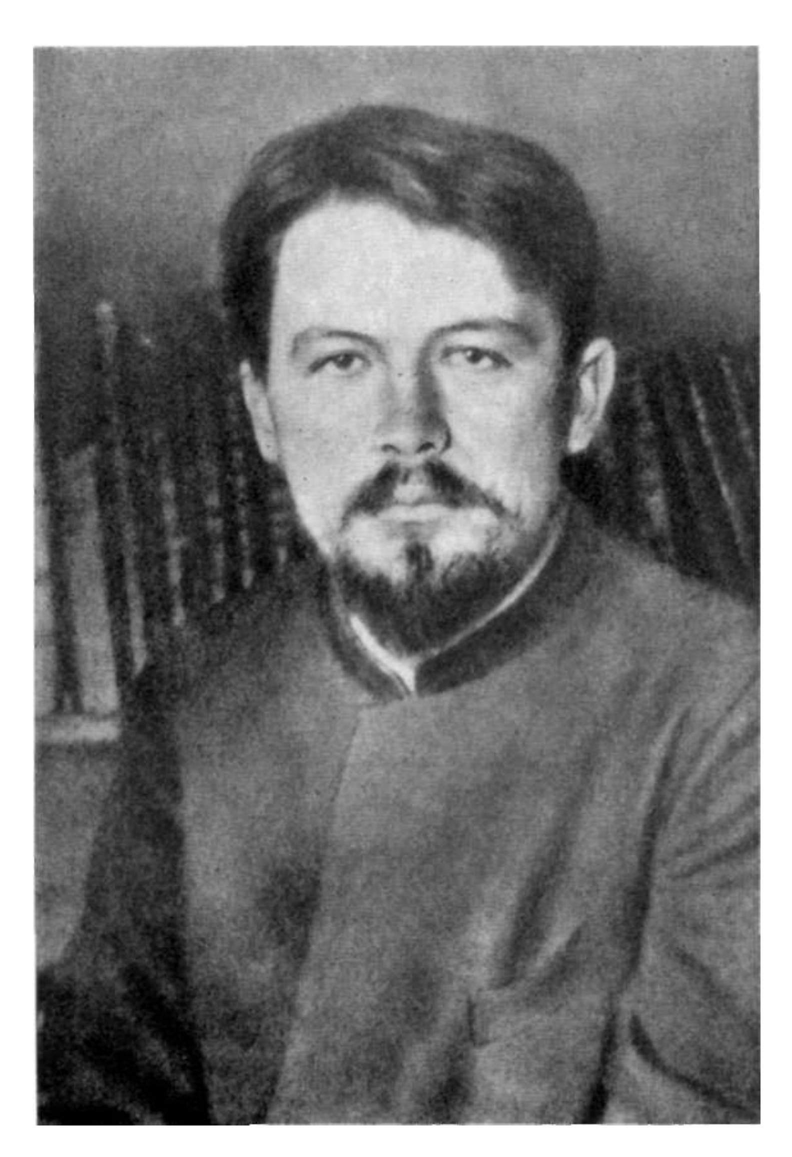
И. Н. Потапенко.
Первая половина 1890-х годов.



Чеховская усадьба в Мелихове.
Фото 1890-х годов.



Т. Л. Щепкина-Куперник, Л. Б. Яворская и А. П. Чехов. 1893.



А. П. Чехов.
Конец марта 1892 года.



Флигель в мелиховской усадьбе,
в котором была написана «Чайка».



Кабинет А. П. Чехова в мелиховском доме.



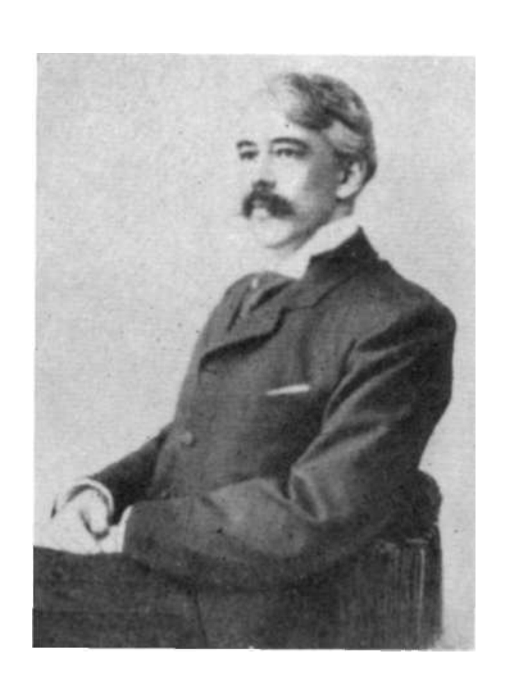
А. П. Чехов в Мелихове с таксой Хиной. 1897.



Вл. И. Немирович-Данченко.
Конец 1890-х годов



Здание Художественного театра.



К. С. Станиславский.
1902.



Афиша «Чайки»
в МХТ.



А. П. Чехов с артистами
Московского Художественного театра. 1899.



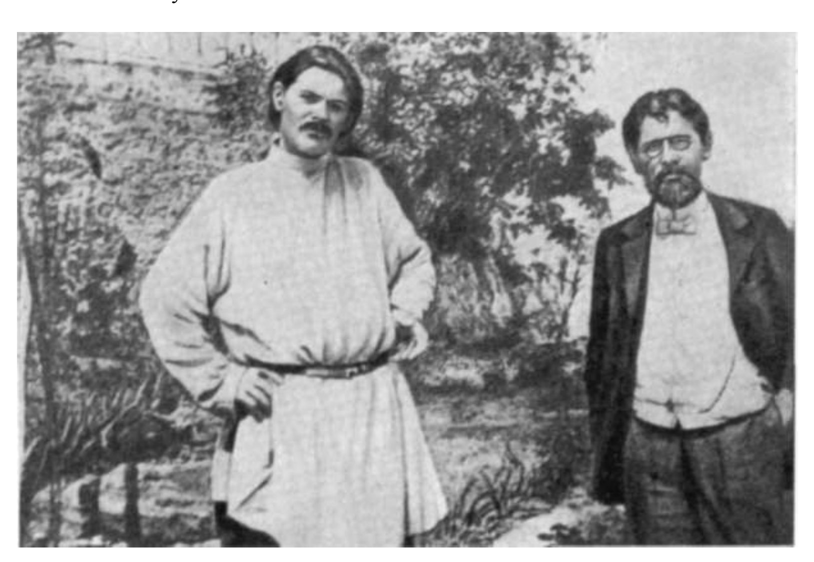
Дом А. П. Чехова в Ялте. 1900.



В. А. Бунин.
Начало 1900-х годов.
Дарственная надпись:
«Глубокоуважаемому
Антону Павловичу Чехову.
Ив. Бунин».



А. И. Куприн.
1901.



А. М. Горький и А. П. Чехов
в саду ялтинского дома. 1900.



А. П. Чехов и Л. Н. Толстой в Гаспре. 1901.



Е. Я. Чехова, М. П. Чехова, О. Л. Книппер,
А. П. Чехов. 1902.



Портрет А. П. Чехова,
написанный Н. Пановым в 1903 году.